This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ИЗДАНІЕ О. Н. ПОПОВОЙ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. И. НАУМОВА.

—

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

ТОМЪ I.

Цѣна за оба тома 3 рубля.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія П. П. Сверчкова (Надеждинская, 40).
1897.

Изданіе О. Н. ПОПОВОЙ.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ, НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„НОВОЕ СЛОВО"

Второй годъ изданія.

Выходитъ ежемѣсячно отъ 25 до 30 печатныхъ листовъ

Подписной годъ съ 1-го октября.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Я. П. Абрамовъ, И. А. Бунинъ, В. В., М. Горькій, П. В. Засодимскій, Н. Н. Златовратскій, Н. А. Каблуковъ, С. Н. Кривенко, проф. И. В. Лучицкій, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Г. А. Мачтетъ, Н. Максимовъ, Д. Л. Михалевскій, Вас. И. Немировичъ-Данченко, Николай — онъ, Л. Е. Оболенскій, В. А. Боссе, И. Н. Потапенко, А. С. Пругавинъ, Н. А. Рубакинъ, В. И. Савихинъ, А. М. Скабичевскій, К. М. Станюковичъ, В. А. Тимирязевъ, проф. К. Тимирязевъ, Ант. П. Чеховъ, Щепотьевы (Е. С. и С. А.), проф. В. Г. Ярецкій, А. И. Эртель и др.

Примѣняясь къ теченію нашей общественной жизни, новый годовой періодъ которой начинается **съ осени**, мы считаемъ цѣлесообразнымъ, по примѣру многихъ западно-европейскихъ журналовъ, начинать также съ этого времени и **журнальный годъ**. Вслѣдствіе этого **годовая подписка на «НОВОЕ СЛОВО» принимается**

съ 1-го октября 1896 года по 1-ое октября 1897 года.

Подписная цѣна съ пересылкой на годъ	10 р.	— к.
» » » полгода	5 »	— »
» » » три мѣсяца	2 »	50 »
» » безъ пересылки на годъ	9 »	— »
» » съ перес. за границу на годъ	12 »	— »

Лица, внесшія сразу полную подписную сумму, за весь годъ, пользуются на прочихъ изданіяхъ О. Н. Поповой даровой пересылкой и уступкой въ 10% исключая сочиненій А. И. Добролюбова и изданій, выходящихъ по подпискѣ.

Адресъ конторы редакціи: С.-Петербургъ, Спасская ул. (уг. Надеждинской), д. № 15, кв. № 1. **Отдѣленіе конторы:** С.-Петербургъ, Невскій пр., д. № 54, «Библіотека Черкесова». **Москва**: книжный магазинъ «Трудъ», Тверская, д. Спиридонова.

Книжные магазины, при полной годовой подписной платѣ, пользуются уступкой 40 к. съ экземпляра. Подписка по частямъ года допускается только черезъ контору редакціи и ея отдѣленія.

Получая неоднократно заявленія отъ провинціальныхъ читателей о затрудненіи въ выборѣ и [illegible] книгъ, контора редакціи беретъ на себя составленіе списковъ, [illegible] и книгъ, и съ удовольствіемъ будетъ отвѣчать на [illegible] провинціальнаго читателя.

Лица, выписыв[illegible] О. Н. Поповой черезъ контору редакціи и [illegible] Петербургъ [illegible] не платятъ, исключая сочиненій И. А. Добролюбова, [illegible] взимается по разстоянію, и изданій, выходящихъ [illegible] изданій по требованію высылается безплатно.

Редакторъ А. И. Поповъ. Издательница О. Н. Попова.

Наумов, N. 2.

ИЗДАНІЕ О. Н. ПОПОВОЙ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. И. НАУМОВА.

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

ТОМЪ I.

Цѣна за оба тома 3 рубля.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1897.

2969

PE 3467
N26
1897
v. 1

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Н. И. НАУМОВА.

УМАЛИШЕННЫЙ.

(Психологическій этюдъ).

Въ декабрѣ 187... года, въ г. Т...ъ былъ доставленъ при рапортѣ крутологовскаго волостного правленія крестьянинъ села Крутые Лога, Осипъ Дехтяревъ, для освидѣтельствованія въ губернскомъ правленіи и для помѣщенія на излеченіе въ домъ умалишенныхъ. На первое время, Дехтярева помѣстили въ городской больницѣ, и, по наблюденію врача и прислуги, въ поведеніи больного и въ рѣчахъ его не проявлялось признаковъ, доказывавшихъ разстройство умственныхъ способностей. Живой, веселый характеръ, плавная, всегда остроумная рѣчь привлекали въ палату, въ которой помѣстили Дехтярева, слушателей изъ другихъ палатъ. Всѣ съ любопытствомъ и недоумѣніемъ смотрѣли на страннаго умопомѣшаннаго, который заткнулъ бы за поясъ любого умника, какъ выражались фельдшера и прислуга. Фельдшеровъ смущало одно только обстоятельство: Дехтяревъ ѣлъ необыкновенно много, ѣлъ почти поминутно, и все-таки чувствовалъ голодъ, но ни разу не жаловался на разстройство желудка или на боли въ немъ; притомъ онъ спалъ крайне мало, иногда двѣ, три ночи онъ не смыкалъ глазъ и не чувствовалъ усталости и упадка силъ.

Въ назначенный для освидѣтельствованія день Дехтярева привезли въ губернское правленіе и ввели въ присутственное зало, гдѣ были всѣ члены комиссіи, губернаторъ и между прочими два военныхъ врача. Помолившись на икону въ переднемъ углу, Дехтяревъ почтительно поклонился присутствующимъ и молча подошелъ къ столу, за которымъ сидѣли члены. На видъ ему было около сорока лѣтъ, роста онъ былъ средняго, худой. Лицо его было блѣдно. Темно-русые волосы на головѣ, остриженные въ скобку, были тщательно причесаны. Небольшая бородка и усы обрамляли красивыя губы, на которыхъ мелькала лукавая улыбка. Живые каріе глаза его выражали острый, проницательный умъ; когда же онъ задумывался, то въ нихъ просвѣчивала грусть. Онъ съ любопыт-

ствомъ осмотрѣлъ всѣхъ членовъ и, еще разъ поклонившись имъ, улыбнулся.

— Какъ тебя зовутъ, братецъ?—спросилъ его губернаторъ.

— Осипомъ!—отвѣтилъ онъ.—По сказкѣ-то пишусь Осипъ Микитинъ Дехтяревъ.

— Ты помнишь, сколько тебѣ лѣтъ?

— Не знаю, ваше почтеніе... или какъ тебя взвеличать-то? Благородіемъ, што ли?.. отвѣтилъ онъ.

— Превосходительство! — подсказалъ сидѣвшій къ нему ближе всѣхъ военный врачъ.

— Ну, присходительство, будь не то...—произнесъ Дехтяревъ.—Вишь, мы неграмотные, живемъ-то въ лѣсу; по нашей-то простотѣ, што ни пень—то икона; встрѣтишь чиновника-то, такъ не знаешь, какъ и взвеличать-то его, думашь, что всѣ они благородные, ну, и крестишь всякаго благородіемъ! Не обезсудь, что обмолвился, не тѣмъ именемъ обозвалъ тебя!—закончилъ Дехтяревъ, поклонившись.—Это ты и есть самый-то набольшій генералъ по губерніи?—спросилъ онъ.

Губернаторъ засмѣялся; засмѣялись и члены.

— Я!..—отвѣтилъ ему губернаторъ.

— Вотъ ты какой!—наивно произнесъ Дехтяревъ, съ любопытствомъ осмотрѣвъ его.—Одобряютъ тебя мужики-то... шибко, слышь, они за тебя Бога молятъ!..

— За что же они одобряютъ меня?.. — спросилъ губернаторъ, слегка покраснѣвъ.

— Угодилъ ты имъ... ужъ такъ, братъ, угодилъ, што чиновниковъ-то своихъ на притужальникѣ держишь, не даешь имъ чужое-то добро по карманамъ шарить,—што не знаютъ, какому чудотворцу за тебя и свѣчу ставить!..

— Такъ теперь ужъ не шарятъ чужое добро по карманамъ, а?..—шутливо спросилъ у него губернаторъ.

— Утихли!.. Не слыхать што-то, развѣ гдѣ по-малости; ну, такъ малость-то пашъ братъ и въ счетъ не кладетъ!.. И они вѣдь тоже люди, слышь, пить, ѣсть хотятъ, а иному государскаго-то жалованья, сказываютъ, и на обутки не хватаетъ; надоть гдѣ-нибудь брать, ну, а коли у него подъ бокомъ овечка пасется... которую всѣ стригутъ, такъ пошто и ему, глядя на другихъ, не сорвать съ нея клочекъ-другой.

Среди членовъ снова пробѣжалъ смѣхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ шопотъ. Всѣ они съ любопытствомъ и удивленіемъ смотрѣли на Дехтярева.

— Ты грамотный?..—спросилъ его одинъ изъ членовъ.

— Нѣ-ѣ-тъ!.. Учили читать-то; родитель, покойная головушка,

радѣлъ объ этомъ, и читалъ я, да забылъ... Нонѣ, пожалуй, и аза не найду въ книгѣ-то, не читаю!..

— Отчего же ты бросилъ читать?.. — спросилъ его одинъ изъ врачей.

— Бросилъ-то пошто?—переспросилъ онъ.—Да какъ тебѣ, братецъ, оповѣстить: не къ лицу ровно нашему брату грамота-то!

— Отчего же не къ лицу?— спросилъ губернаторъ.

— Отчего?.. Хе!.. Да вотъ отчего, твое присходительство,—улыбаясь, отвѣчалъ онъ:—коли ты всякую-то книгу читать станешь, то неровенъ грѣхъ, и умнымъ сдѣлаешься, почнешь обо всемъ судить да рядить, вотъ и бѣ-ѣда!.. Проку-то отъ пересудовъ твоихъ, пожалуй, не выйдетъ, а грѣха-то не оберешься!..

— Какого же грѣха?—спросилъ врачъ.

— Какого грѣха-то?.. А вотъ какого, ваше почтеніе: я вотъ и не письменный человѣкъ, а за то, што поговорилъ по правдѣ съ обществомъ, сталъ передъ нимъ волостного голову на свѣжую воду выводить, такъ и подвели, што я будто не въ своемъ разумѣ, прислали лечить, вашихъ благородіевъ теперь утруждаютъ свидѣтельствомъ меня—въ разумѣ я или нѣтъ... вотъ и суди!.. А коли бы на грѣхъ да еще письменный-то былъ, книги-то читалъ, такъ чего же бы было тогда, а?.. Тогда ужъ, братъ, прямо бы на цѣпь посадили и лечить бы не стали!..

Члены снова вопросительно переглянулись между собой.

— Что же ты выводилъ передъ обществомъ на волостного голову?—спросилъ губернаторъ.

— Всѣ его качества!..

— Говори яснѣе: какія качества—хорошія или худыя...

— Хорошія или худыя?—повторилъ онъ, усмѣхнувшись.—Хорошими-то развѣ кто попрекнетъ человѣка, а?.. Вѣдь только, братъ, на гнилой водѣ пузыри-то всплываютъ, а на проточной-то ты ихъ не увидишь!..

— Плутъ онъ, что ли, а?..

— Плу-у-тъ!.. — снова улыбнувшись, повторилъ Дехтяревъ.— Нѣтъ, братъ, твое присходительство, экое-то слово для него милостиво; его надоть такимъ словцомъ окрестить, чтобъ больнѣй обуха било!..

— Почему же общество терпитъ его, если, по твоимъ словамъ, онъ такой негодяй, а?

— Обчество!—презрительно произнесъ Дехтяревъ и сплюнулъ на сторону. — Добрые люди шапку-то по головѣ выбираютъ, а у насъ, братъ, голову-то по шапкѣ выбрали, вотъ и понимай!.. Обчество-о!—

снова протянулъ онъ послѣ минутной паузы. — Въ нашемъ обществѣ, што ни воръ, што ни плутъ, тотъ и первый человѣкъ, вездѣ ему и честь, и мѣсто, и сладкій кусокъ: вотъ каково наше обчество! — нѣсколько раздраженно закончилъ Дехтяревъ.

— Сердитъ же ты на свое общество. Развѣ оно что-нибудь сдѣлало тебѣ, а?..—спросилъ губернаторъ.

— Насолило, братъ, такъ насолило, што и умру, такъ не проклисну...

— Чѣмъ?..

— Неправдой своей. Продажной совѣстью! За што они меня стегали,—спроси-ко ты ихъ?..

— Кто они?..—прервалъ его губернаторъ.

— Обчественники!

— Когда?..

— Ужъ года два будетъ теперь, если не болѣ. Такъ, братъ, стегали, такъ стегали, што, думалъ, съ душой прощусь. А за што, што я имъ сдѣлалъ? Въ угоду головѣ, голова науськалъ. Вишь, ему не любо стало, што я не такой дуракъ, какъ всѣ мужики, што я всѣ подходы и выходы его выслѣдилъ, такъ ему надоть было безчестье на меня положить, предъ всѣмъ міромъ опозорить, а?.. А у обчества совѣсти хватило въ угоду головѣ тиранствовать надо мной, а?.. Христопродавцы они! Всю свою совѣсть рады въ ведрѣ вина утопить!.. Въ угоду богатому хошь въ могилу бѣдняка вгонятъ, вотъ оно наше-то обчество!— съ дрожью въ голосѣ закончилъ онъ и на блѣдномъ лицѣ его выступилъ яркій румянецъ.

— За что же голова гонитъ тебя?..

— Нѣтъ, братъ, твое происходительство, какъ онъ не гонитъ меня, а ужъ ему меня не догн-а-ать. У меня въ пальцѣ-то больше сметки, чѣмъ въ головѣ его милости, вотъ што скажу я тебѣ! А извѣстно, ему не любо, што нашелся на міру человѣкъ съ глазами, и видитъ все въ потьмахъ, гдѣ другіе ощупью ходятъ, да которому, еще къ эфтому взять — ничѣмъ рта не заткнешь. Ну, и сталъ онъ безчестить меня, сначала обчество напустилъ на меня, наговорилъ ему, что я и гультяй, и бражникъ, што кромѣ вредительности отъ меня и ждать міру нечего, што меня-де поучить надоть; ну, и думалъ, што-какъ шкуру-то снимутъ съ меня, я и уймусь, новой-то, што наростетъ, ужъ жалко мнѣ будетъ. А я, вишь, не унялся, все свое пою. Постигъ онъ, што дѣло не ладно, што поетъ-поетъ парень да чего-нибудь вѣдь и напоетъ на него, и подвелъ струну, што я-де не въ своемъ разумѣ, его-де лечить надоть. Вотъ и гляди, какія дѣла въ мірѣ-то творятся! А лечить-то,

братъ, надоть не меня, а нашего голову, да лечить-то его надоть базарной плетью. Вотъ пропиши-ка ему этакое средствіе, такъ міръ-то за тебя не одну свѣчу предъ Богомъ затеплитъ!

— Да что же онъ дѣлаетъ противузаконнаго, ты все-таки не сказалъ мнѣ. Ты разскажи, для примѣра, хоть одно худое дѣло его.

— Заѣлся, братъ, онъ, вотъ тебѣ, къ примѣру, чего скажу? Превыше себя и закона не знаетъ! И какъ не заѣсться человѣку—слава-те Господи!—третье трехлѣтіе дослуживаетъ, обчество-то, што паукъ, тенетами опуталъ. Когда его въ головы-то выбрали, всего двѣ скотины имѣлъ, изба-то, словно стыдясь, бочепилась отъ добрыхъ людей. а теперь — и-и-и, съ Федоромъ Игнатьичемъ и купцу-то не всякому въ пору тягаться!..

— Отъ чего же разбогатѣлъ онъ: отъ взяточничества, отъ незаконныхъ поборовъ?

— Фальшивые рубли обстроиться помогли!..

Между членами снова пропесся шопотъ. Предсѣдатель губернскаго правленія, нагнувшись къ губернатору, о чемъ-то горячо заговорилъ съ нимъ.

— У тебя есть какія-нибудь улики въ доказательство тѣхъ злоупотребленій, какія дѣлаетъ вашъ голова?—спросилъ губернаторъ.

— Улики!—насмѣшливо произнесъ Дехтяревъ;—развѣ хорошій воръ оставляетъ по себѣ слѣды?—спросилъ онъ въ свою очередь.—А нашъ-то голова изъ самолучшихъ воровъ первый, его, братъ, въ трехъ огняхъ накаливали, да въ трехъ водахъ остуживали, такъ онъ теперь не токма изъ кремня, изъ глины, што-ись огонь вырубитъ... да-а!..

— Что же, вашъ голова самъ занимается дѣланіемъ фальшивыхъ денегъ или только переводитъ ихъ, а?—спросилъ предсѣдатель.

— Зачѣмъ онъ самъ будетъ дѣлать, коли клейменые мастера есть на то,—отвѣтилъ Дехтяревъ. — Слава Богу, изъ Росеи мастеровъ-то этихъ сотнями въ Сибирь шлютъ. Нашему мужику объ это рукомесло и мараться не доводится!..

— Кто же эти мастера?

— Бѣглые каторжники, кто же иной? Сторона у насъ глухая, изъ лѣсовъ да болотъ не скоро на бѣлый-то свѣтъ выглянешь, такъ лѣтомъ фабриканты-то эти по заимкамъ *) у головы да его прихлеб-

*) Большинство крестьянъ Сибири, у которыхъ пашни и сѣнокосы лежатъ иногда въ разстояніи десяти и пятнадцати верстъ отъ деревень и селъ, чтобы не терять въ рабочую пору время на разъѣзды, строятъ около пашень жилыя избы съ печами, въ которыхъ пекутъ хлѣбъ и готовятъ пищу. Избы эти называются «заимками».

никовъ и мастерятъ билеты. Двойная, братъ, имъ нажива отъ самодѣльныхъ-то денегъ! Кругомъ татарва, какія деньги ни дай имъ, все за путныя идутъ! Ну, и сбываютъ имъ за скотъ, шкуры да шерсть и мужикамъ исподтиха подсовываютъ, а коли попадется мужикъ съ этакими деньгами, такъ головѣ съизнова нажива—такъ его острогомъ да слѣдствіемъ застращаютъ, што онъ послѣднюю рубаху сниметъ да отдастъ, только не заводи дѣла, не допущай до начальства, да еще за того же Федора Игнатьича и Бога молитъ, што душевный человѣкъ не подвелъ его подъ гибель. Такимъ-то, братъ, образцомъ и разжился нашъ Федоръ Игнатьичъ, и не онъ одинъ этимъ рукоблудствомъ занимается. Много у него прихлебниковъ, ими онъ и въ головахъ-то держится, а бѣдность по-неволѣ молчитъ, потому такъ они ее опутали, што и пикнуть не смѣетъ. Ты вотъ знашь-ли, што голова-то у насъ, почитай, за половину волости изъ своего кармана подати вноситъ?

— Почему?

— Догадайся ка... какъ они людъ-то путаютъ да заѣдаютъ. Онъ вотъ за тебя подать-то внесетъ, а ты на него круглый годъ, какъ на барина какого, и робь, а пикни ты супротивъ Федора Игнатьича—э-э... онъ за долгъ-то и избы, и скота рѣшитъ, да еще въ контрахтную работу замурмолитъ. Вотъ, братъ, какъ... у насъ мужики-то поживаютъ... всласть слезой умоется, кулакомъ оботрется, а отъ страху-то и словесный бы человѣкъ безсловеснымъ сдѣлался! Любо-ли?.. Голова вотъ сказалъ обществу: „выстегай Осипа Дехтярева, потому што препятствуетъ мнѣ... петлю на васъ забрасывать“, и чуть, братъ, душу не выстегнули изъ меня! Коли кто головѣ не по взгляду пришелъ, ужъ лучше бѣги изъ волости, а то загубитъ, и общество ничего... только за пазуху себѣ вздыхаетъ да раболѣпствуетъ передъ нимъ, потому-што опутано, ни силы, ни голоса у него нѣтъ. А вотъ нашелся этакой мужикъ, какъ я, што ничѣмъ ты его въ резонъ не введешь, ни крестомъ, ни пестомъ, ну, и сдѣлали неразумнымъ, прислали лечить. Лечи.

— Сколько тебѣ лѣтъ?—спросилъ его одинъ изъ военныхъ врачей, все время внимательно наблюдавшій за нимъ.

— Не считалъ... да и тебѣ закажу о мужичьихъ годахъ не справляться!..—не глядя на него, отвѣтилъ Дехтяревъ.

— Отчего же не справляться, развѣ крестьяне не ведутъ счета прожитымъ годамъ?—спросилъ инспекторъ врачебной управы.

— Ведутъ, да по-своему, не всякій въ толкъ-то возьметъ. Мужикъ, братъ, вотъ какъ свои года спознаетъ: коли цѣлы у него зубы, перекусываетъ ленъ да дерево, стало быть молодъ, а коли у него зубы не выбили, а сами выпали, стало быть старъ, пора и изъ подушнаго въ выключку. Вотъ, братъ, какая у насъ о годахъ примѣта!

Среди членовъ пробѣжалъ смѣхъ.

— Что же еще голова дѣлаетъ противузаконнаго, а?—снова спросилъ его губернаторъ.

— А развѣ энтого мало, чего я насказалъ? — съ ироніей спросилъ, въ свою очередь, Дехтяревъ.

— Можетъ быть, ты еще что-нибудь знаешь?

— Знаю!.. Я много про него знаю. Я, братъ, знаю, гдѣ и деньги тѣ лежатъ, которыя морошкинскій староста потерялъ! За што вотъ мужика раззорили, а? Спроси-ка?

— Кого же спросить?

— Меня... я тебѣ до слова все выпишу, какъ дѣло было: прошлаго года о масляной, скажу тебѣ, морошкинскій сельскій староста Титъ Миронычъ Березниковъ привезъ сдавать въ волость деньги девять сотенъ рублевъ, што собралъ съ крестьянства подати. Ладно! Не надоть утаить предъ тобой, што этотъ самый Титъ мужикъ бы по всѣмъ статьямъ былъ праведный, коли бы не любилъ грѣшнымъ дѣломъ со штофомъ лобызаться! Ну, пріѣхалъ онъ и говоритъ головѣ: прими, Федоръ Игнатьичъ, деньги, такъ, говоритъ, они словно камнемъ на душѣ лежатъ, скорѣй бы сдать ихъ; а голова и поетъ въ отвѣтъ ему: повремени, куда спѣшить, дѣло-то теперь празднишное, пойдемъ-ка лучше ко мнѣ, говоритъ, въ блины около сковородокъ поиграемъ. И пошли это, голова, Титъ, писарь да еще человѣка два сподручныхъ. Долго-ль тамъ они въ блины играли, не скажу тебѣ, только Титъ захмѣлѣлъ и свалился. А голова, какъ Титъ-то очнулся на утро, и зоветъ его въ волость деньги сдавать. Пришли. Хватился Титъ денегъ—въ одномъ карманѣ нѣтъ, да и въ другомъ—пусто, и заметался туда, сюда, денегъ и слѣдъ простылъ, да такъ, братъ, и по сейчасъ мечется, ищетъ ихъ.

— А какъ же деньги, въ казну внесъ кто-нибудь?

— Титъ и заплатилъ, до копеечки выложилъ. Продалъ скотъ, скарбъ, *) какой былъ, въ долги въѣхалъ на сажень выше росту, да .. а теперь по міру ходитъ!

— Ты сказалъ, что знаешь, гдѣ лежатъ эти деньги?

— Знаю! У головы съ писаремъ.

— Почему же ты думаешь, что у нихъ именно, а?

— А гдѣ же болѣ-то?.. Вѣдь Титъ-то у головы въ домѣ спалъ. Неужь со стороны человѣкъ пошелъ бы въ домъ головы мужика обворовывать, а? Онъ съ писаремъ и обдѣлалъ все дѣло, на чего-нибудь вѣдь и писаря-то обстроиваются! Изъ нашей волости ужъ двое писа-

*) Скарбъ—имущество.

рей въ купцы вышли, да и третій, братъ, не сегодня, завтра за прилавокъ сядетъ. У насъ, братъ, лафа тому жить, кто совѣсть потерялъ и объявки о розыскѣ ея не сдѣлалъ. Вѣрь! А про это што ты скажешь?—снова началъ онъ. — Лѣтъ пять ужъ будетъ теперь, ѣздилъ по нашей волости купецъ съ товаромъ и, сказываютъ, денежный, ѣздилъ, ѣздилъ, да куда-то туда Богъ его занесъ, што и не вынѣхалъ! Только ужъ когда снѣга стаяли, такъ ноги его изъ-подъ ракитова куста на бѣлый свѣтъ выглянули!..

— Замерзъ или убили?

— Безъ головы оказался! Головы-то такъ и не нашли, а только по обуви да по платью признали его. Ну, слѣдствіе сейчасъ, судъ пошелъ! Мало ли тогда милый міръ-то встряхивали! Искали, искали, никого повинныхъ не нашли, такъ въ воду дѣло и кануло. А ужъ потомъ, братецъ, года черезъ три время, то у головы штука ситца проявится, то у писаря, и не простого ситчика, а такого, какой у купца того примѣчали, а у головы опосля еще и уздечку спознали, и хомутъ, какой на лошади у купца того былъ. Ну, чего-жъ пошептались объ этомъ на міру, пошептались, да и махнули на все рукой. Вотъ, братъ, какія дѣла-то у насъ дѣлаются. Умные-то люди ихъ и видятъ, да молчатъ, а дураки-то, какъ я, благовѣстятъ! Ну, вотъ и нелюбо, за это вотъ и посылаютъ лечить, чтобъ лекаря ума подбавили, штобъ зналъ мужикъ, про чего ему говорить и про чего молчать!..

— Ты все это и выводилъ передъ обществомъ? — спросилъ его предсѣдатель.

— Какъ на ладонкѣ выкладывалъ!

— За это тебя и сѣкли?

— Нѣ-ѣтъ!.. За это меня въ неразумные произвели да лечить прислали! Снизойдите, господа честные, явите мнѣ милость; курить я свычку имѣю, а меня, слышь, когда схватили да повезли на вашъ судъ, такъ што есть зипунишка-то не дали почище надѣть, сапоговъ-то покрѣпче. Въ какой рвани былъ, въ той и прислали, руки-то скрутили мнѣ, посмотри, до синихъ рубцовъ (и, сбросивъ съ правой руки рукавъ полушубка, онъ засучилъ рубаху и показалъ синѣвшіе на рукахъ слѣды отъ веревокъ); дайте мнѣ двадцать копеекъ — табачку купить, справлюсь, Богъ дастъ, отдамъ.

Одинъ изъ членовъ досталъ изъ бумажника три рубля и подалъ ихъ Дехтяреву.

— Много этого, куда мнѣ столько... мнѣ бы двадцать копеекъ за глаза!—произнесъ онъ.

— Возьми, возьми!..

— Ну, дай тебѣ Богъ здоровья! – отвѣтилъ онъ, поклонившись.— А это, слышь, никакъ еще впервой на свѣтѣ, што чиновникъ мужику денегъ далъ, а то все болѣ мужики чиновниковъ ими снабжали!.. — съ ироніей произнесъ онъ, держа въ рукахъ ассигнацію.

Губернаторъ засмѣялся въ отвѣтъ на выходку Дехтярева, среди членовъ также пробѣжалъ смѣхъ. Дехтярева увели. Комиссія признала его совершенно здоровымъ, или, какъ сказано было въ актѣ, „вполнѣ владѣющимъ умственными способностями“; только одинъ изъ военныхъ врачей, все время наблюдавшій за нимъ, утверждалъ, что онъ умопомѣшанный. По распоряженію губернатора, была назначена особая слѣдственная комиссія для производства дознанія по выводамъ Дехтярева, а также удостовѣренія о личности самого Дехтярева и обстоятельствахъ, вызвавшихъ звѣрское обращеніе съ нимъ сельскихъ властей и общества.

Дехтяревъ былъ сильно обрадованъ извѣстіемъ, что онъ поѣдетъ домой вмѣстѣ съ членами слѣдственной комиссіи. Во всю дорогу не покидало его веселое настроеніе; онъ потѣшалъ казаковъ, съ которыми ѣхалъ, своими прибаутками и часто пѣлъ. Въ памяти его былъ неисчерпаемый запасъ пѣсенъ, и большинство ихъ, повидимому, были его собственнаго творчества. Объ этомъ можно было судить по ихъ сатирическому складу и потому, что въ нихъ воспѣвалась общественная бездѣятельность и неурядицы сельской жизни; мѣткими чертами обрисовывались волостные начальники, судьи, писаря, иногда въ нихъ звучали меланхолическія ноты, особенно когда воспѣвался какой-нибудь бѣднякъ, задавленный горемъ и общественными нападками.

На пятый день по выѣздѣ изъ города комиссія въѣхала въ предѣлы крутологовской волости. На станціяхъ, во время перепряжки лошадей, къ экипажамъ сбѣгалось почти все населеніе деревень, привлекаемое любопытствомъ посмотрѣть на Дехтярева. Народъ съ участіемъ и состраданіемъ относился къ нему. На послѣдней станціи къ селу Крутые Лога произошла довольно оригинальная сцена. Экипажи, по обыкновенію, были окружены густою толпой. Дехтяревъ, закутанный въ шубу, сидѣлъ въ пошевняхъ.

— Здоровъ ли ты, Осипъ Микитичъ? — спрашивали его окружающіе.

— Здоровъ, братцы, вылечили!—съ улыбкой отвѣтилъ онъ. — Теперь Федору Игнатьичу чередъ хворать пришелъ; вишь, сколько лекарей-то везу его милость въ разумъ вводить, а?

— Ужъ не введешь его теперича въ разумъ, Осипъ Микитичъ,— опоздалъ, вчерашняго дня онъ ужъ Богу душу отдалъ!—отвѣтили ему въ толпѣ.

— Вре-е-шь!—протянулъ съ изумленіемъ Дехтяревъ и поблѣднѣлъ.

— Скоропостижно, другъ, пришибла его смерточка-то!

Дехтяревъ сидѣлъ съ минуту неподвижно, пораженный этимъ извѣстіемъ.

— А за неправды-то свои кому же завѣщалъ онъ отвѣтъ-то дать? — спросилъ вдругъ онъ.

— Ну, братъ, на экое-то наслѣдье едва-ли охотники найдутся!— со смѣхомъ отвѣтили ему въ толпѣ.

— А-а-а, Осипъ!—раздался въ это время голосъ и къ пошевнямъ подошелъ пожилой крестьянинъ весьма степенной наружности, одѣтый въ казанскій полушубокъ. При его приближеніи толпа почтительно разступилась и дала ему дорогу.—Ну, какъ поживаешь, а?—спросилъ онъ, подойдя къ Дехтяреву.

— Отмѣнно хорошо, Моисей Сильверстычь!—отвѣтилъ, приподнимая шапку, Осипъ.

— Ну, подавай Богъ тебѣ... пора! — съ ироніей отвѣтилъ ему Моисей Сильверстычъ.

— Ручку-съ!..

— На, на... — подавая ему руку, покровительственно сказалъ онъ.—Образумился ли нонѣ?..

— Въ точности!—отвѣтилъ Дехтяревъ.—Другихъ вотъ въ разумъ вводить ѣду, Моисей Сильверстычъ!..

— О-о-о! Вотъ ты нонѣ чѣмъ занимаешься...

— Нонѣ и мы при занятіяхъ, Моисей Сильверстычъ,—насмѣшливо отвѣтилъ Дехтяревъ. —Хороводы съ чиновниками вожу, прибауточками ихъ благородія тѣшу, съ ихняго чаю ополоски спиваю .. дѣла много!.. Горе, што Федоръ-то Игнатьичъ померъ, а то бъ и его милость похлебкой изъ чиновниковъ угостили!.. Вы-то какъ поживаете, Моисей Сильверстычъ, все ли по добру, по здорову? спросилъ онъ.

— Живу, пока Богъ грѣхамъ терпитъ.

— Обтерпѣлся ужъ Богъ отъ грѣховъ-то вашихъ, Моисей Сильверстычъ. Поминаете-ль когда на молитвахъ Митьку-то Безпалова?— съ улыбкой спросилъ Дехтяревъ.

— А што мнѣ его поминать-то, родня онъ мнѣ былъ што-ли?

— Ближній бы, кажись, свойственникъ.

— Съ которой это руки-то?..

— Съ обѣихъ бы ручекъ, кажись... Вѣдь вы, ровно, крестнымъ-то тятенькой были, когда его на морозѣ то студеной водицей крестили, а кнутиками отогрѣвали, аль запомнили, отъ кого онъ ума-то рехнулся да въ землю-то ушелъ?..

— Што ты мелешь-то,—пустая голова твоя?..—весь вспыхнувъ, крикнулъ Моисей Сильверстычъ.

— Да вотъ грѣхи-то ваши и перемалываю, Моисей Сильверстычъ, хочу изъ нихъ крупки надрать, штобъ господа чиновники кашку сварили да расхлебывали!..

Моисей Сильверстычъ сплюнулъ и, весь поблѣднѣвъ, отошелъ отъ пошевней, сопровождаемый звонкимъ смѣхомъ Дехтярева.

— Э-э-хъ, Осипъ, Осипъ! укоризненно пронеслось въ толпѣ, — не всякое бы ты слово съ языка-то спущалъ, въ иную бы пору и помолчать тебѣ надоть!..

— Молчать-то пусть умные, братцы, а вѣдь я дуракъ, а нонѣ время такое, што за дурью рѣчь хвалять, а за умную парятъ!.. — отвѣтилъ Дехтяревъ.

Скоропостижная смерть волостного головы, послѣдовавшая за два дня до пріѣзда въ село Крутые Лога комиссіи, показалась весьма подозрительной членамъ ея. Былъ вытребованъ докторъ для опредѣленія ея причинъ и, по вскрытіи трупа, оказалось, что голова померъ отъ аневризма. Прежде, чѣмъ приступить къ разслѣдованію злоупотребленій по выводамъ Дехтярева, было спрошено все общество о личности самого Дехтярева. Крестьяне отозвались о немъ чрезвычайно хорошо и называли его „несчастнымъ“ человѣкомъ, а одинъ изъ нихъ, старикъ Корнѣевъ, приходившійся Дехтяреву дядей по матери, подробно разсказалъ жизнь его съ самаго дѣтства.

— Балованное дитятко былъ Осипъ... нечего грѣха таить! — такъ началъ разсказъ свой старикъ Корнѣевъ.— Родитель-то его, покойная головушка, Микита Дмитричъ, души въ немъ не чаялъ. Мужикъ-то былъ онъ денежный, скупенекъ. Домъ-то былъ, какъ полная чаша, только на дѣтокъ урожаю Богъ не давалъ. Осипъ-то родился отъ сестры моей!.. она и вышла-то за него за вдоваго... ужъ почесть подъ старость его... И то опять надо въ разсудокъ взять, какой бы отецъ не радовался, глядя на умное дѣтище, да не мирволилъ ему? Супротивъ Осипа и средь погодковъ его, да кто и постарше-то его былъ, такъ едва-ли ровня-то нашолся бы: онъ съ измальства, слышь, за словомъ-то въ карманъ не лѣзъ. По себѣ теперь глядя судишь: ужъ старъ человѣкъ, какого народа не видывалъ на вѣку, какого горя на плечахъ не вынесъ, а все въ ину пору не скоро человѣка спознаешь, каковъ онъ есть, а вѣдь Оську, бывало, угораздитъ сразу смекнуть, кто чѣмъ прихрамываетъ... Диво! Ну, и озорной ужъ былъ, упаси Господи... на баловство ли, на пакость ли какую окромя Оськи не было молодца, и бивали его не разъ и отецъ-то въ эфтихъ случаяхъ по-

тачки не давалъ, да нѣтъ... не унимался! Когда ужъ въ возрастъ-то сталъ входить, такъ мало ли грѣха съ нимъ изъ-за дѣвокъ бывало. Страсть!.. Разъ это настигъ дѣвку въ лѣсу да за то, слышь, что она гдѣ-то подсмѣялась надъ нимъ, отрѣзалъ ей косу; хотѣли мы тогда міромъ унять его... постегать, но такъ только, ради слезъ отца, простили... присудили тогда отцу-то его безчестье дѣвкѣ заплатить! Отецъ-то его бралъ подряды отъ купцовъ по доставкѣ товаровъ изъ Ирбита и въ Ирбитъ, ну, и сына-то, значитъ, радѣлъ къ этому же дѣлу приручить. И задумалъ старикъ-то отдать его въ грамоту, подговорилъ дьячка учить его; дьячекъ-то, покойникъ Антонъ Матвѣичъ, мужикъ былъ простой, къ чарочкѣ болѣе склонный и нрава-то былъ непокойнаго, не разъ даже на священника длань поднималъ, опасались его въ нетрезвомъ-то видѣ. Ну, вотъ и сошлись они, дьячекъ да Оська, и пошла у нихъ грамота! Сколько смѣху-то на деревнѣ было!.. Однова это дьячекъ-то шибко прибилъ Осипа, а Осипъ возьми да и высмоли ему сонному бороду и голову, такъ что дьячекъ-то обстричься долженъ былъ... Нечего было дѣлать — отецъ-то заплатилъ дьячку безчестье, да на томъ и порѣшилъ съ грамотой.

Когда ужъ Осипъ въ возрастъ вошелъ, такъ не мало грѣха у него и съ отцомъ пошло. Отцу-то бы надоть было въ извозъ его пустить, оно-бы, можетъ, лучше было, покрайности бы Осипъ при дѣлѣ былъ, баловство-то бы лишнее на умъ ему не шло. Парень-то онъ былъ острый, проворный, сметкой-то въ головѣ за десятерыхъ его Господь надѣлилъ. Ознакомившись съ работой-то, пристрастку бы къ ней получилъ и человѣкъ бы вышелъ, и старики-то не разъ отцу его говаривали: пусти сына, не держи его при себѣ, приспособь къ работѣ. Ну, не хотѣлъ, покойная головушка, слушать, не спускалъ его съ своихъ глазъ, поджидалъ, пока совсѣмъ въ разсудокъ войдетъ, думалъ, что такъ-то лучше будетъ; да вышло-то не то. Девятнадцати лѣтъ исщо Осипу-то не было, какъ его ужъ спуталъ грѣхъ съ дѣвушкой, жившей по сосѣдству съ ихнимъ домомъ въ работницахъ. Матреной-сиротиной звали ее, она и по сейчасъ мыкается въ работницахъ; дѣвка-то она умная, што сказать, и работящая, да одна бѣда: на скоромную косточку падка, качествами-то этими не подходила ко двору Микиты Дмитрича. Старика-то всѣ чтили и обидно казалось ему этакой-то невѣсткой обзавестись; не допустилъ онъ Осипа жениться на ней, а оно бы, гляди, больше толку-то было. Женилъ его старикъ-то почесть насильно на богатой невѣстѣ изъ сосѣдней деревни, думалъ, остепенится сыночекъ, а сыночекъ то совсѣмъ отъ рукъ отходить сталъ, — попивать началъ... и пошелъ въ ихъ домѣ грѣхъ. Отецъ, бывало, слово

скажетъ Осипу, а Осипъ ему два въ отвѣтъ. Особливо много грѣха пошло между ними, когда провѣдалъ старикъ, што добро его таетъ, какъ снѣгъ по веснѣ. Чего вѣдь бывало: придетъ кто-нибудь къ старику хлѣба взаймы попросить, откажетъ онъ въ ину пору, а Осипъ скрадетъ у него ключи отъ амбаровъ, нагребетъ хлѣба, да какъ воръ, крадучись по задворкамъ, и снесетъ къ тому.

— Тебѣ же, непутному, добра припасаю! — говаривалъ, бывало, отецъ-то, укоряя его.

— Не топи за меня своей души! Не надоть мнѣ твоего добра, все пропью, все прахомъ пойдетъ, што останется!..—огрызался Осипъ.

Горько плакивалъ старикъ-то отъ этакихъ словъ сына, въ которомъ души-то не чаялъ, и частенько сталъ жаловаться на непутность его. Померъ онъ... Можетъ быть, кручина-то эта и подкосила его на старости. Похоронилъ его Осипъ, и пошло у него въ домѣ разливное море, не прогулять бы ему и за десятки годовъ добра, што припасъ отецъ. Однѣхъ лошадей болѣе сотни насчитывали, не говоря о деньгахъ и о томъ, што въ домѣ было. Ну, добрые люди помогли. Кто бы съ какой докукой ни пришелъ къ Осипу, отказа никому не было. О лошадкѣ ли кто поплачется ему—поди, выбирай любую! Денегъ ли занадобилось на подушную или на иную потребу—бери, объ отдачѣ и слова не было! „Ты што это, Осипъ, безъ пути отцовское-то добро расхищаешь?“ говаривали ему старики, останавливая его отъ непутной жизни, а онъ только посмѣивался да одинъ отвѣтъ давалъ, што по тятенькѣ поминки правитъ! Не прошло и шести годковъ, какъ все хозяйство упало, а теперь и самъ онъ нищій, ничего нѣтъ, окромя дома да двухъ лошаденокъ. Все разнесли и развезли! Много и богомольцевъ за него на міру, да немало и такихъ, што, вдостоль поживившись отъ него, надъ его же простотой теперь глумятся! Какъ бы ни пилъ Осипъ, какъ бы ни бражничалъ, это все бы ничего, не онъ первый, не онъ послѣдній. Мало ли теперь среди насъ найдется степенныхъ людей, пособниковъ міру, которые по молодости и-и-и въ какихъ только качествахъ не грѣшили, да оглянулся же Богъ, въ разумъ да въ лѣта вошли и жизнь свою остепенили, люди теперь! А Осипъ былъ съ головой парень, пришелъ бы еще въ себя и отрезвился бъ! И бѣдность-то была бы не лиха ему, нашлись бы люди. што, памятуя добро его, и ему бы въ свой чередъ помочь сдѣлали... Ну, такъ языкъ его былъ лютый ему супостатъ и ворогъ! Душа-то у него добрая, да языкъ его поперегъ его жизни сталъ и до всѣхъ напастей довелъ! Не жилось ему въ ладу съ людьми. За кѣмъ, бывало, только спознаетъ какой грѣхъ, такъ и шугаетъ его прямо въ глаза; языка его боялись, што шила,—

тачки не давалъ, да нѣтъ... не унимался! Когда ужъ въ возрастъ-то сталъ входить, такъ мало ли грѣха съ нимъ изъ-за дѣвокъ бывало. Страсть!.. Разъ это настигъ дѣвку въ лѣсу да за то, слышь, что она гдѣ-то подсмѣялась надъ нимъ, отрѣзалъ ей косу; хотѣли мы тогда міромъ унять его... постегать, но такъ только, ради слезъ отца, простили... присудили тогда отцу-то его безчестье дѣвкѣ заплатить! Отецъ-то его бралъ подряды отъ купцовъ по доставкѣ товаровъ изъ Ирбита и въ Ирбитъ, ну, и сына-то, значитъ, радѣлъ къ этому же дѣлу приручить. И задумалъ старикъ-то отдать его въ грамоту, подговорилъ дьячка учить его; дьячекъ-то, покойникъ Антонъ Матвѣичъ, мужикъ былъ простой, къ чарочкѣ болѣе склонный и нрава-то былъ непокойнаго, не разъ даже на священника длань поднималъ, опасались его въ нетрезвомъ-то видѣ. Ну, вотъ и сошлись они, дьячекъ да Оська, и пошла у нихъ грамота! Сколько смѣху-то на деревнѣ было!.. Однова это дьячекъ-то шибко прибилъ Осипа, а Осипъ возьми да и высмоли ему сонному бороду и голову, такъ что дьячекъ-то обстричься долженъ былъ... Нечего было дѣлать — отецъ-то заплатилъ дьячку безчестье, да на томъ и порѣшилъ съ грамотой.

Когда ужъ Осипъ въ возрастъ вошелъ, такъ не мало грѣха у него и съ отцомъ пошло. Отцу то бы надоть было въ извозъ его пустить, оно-бы, можетъ, лучше было, покрайности бы Осипъ при дѣлѣ былъ, баловство-то бы лишнее на умъ ему не шло. Парень-то онъ былъ острый, проворный, сметкой-то въ головѣ за десятерыхъ его Господь надѣлилъ. Ознакомившись съ работой-то, пристрастку бы къ ней получилъ и человѣкъ бы вышелъ, и старики-то не разъ отцу его говаривали: пусти сына, не держи его при себѣ, приспособь къ работѣ. Ну, не хотѣлъ, покойная головушка, слушать, не спускалъ его съ своихъ глазъ, поджидалъ, пока совсѣмъ въ разсудокъ войдетъ, думалъ, что такъ-то лучше будетъ; да вышло-то не то. Девятнадцати лѣтъ исщо Осипу-то не было, какъ его ужъ спуталъ грѣхъ съ дѣвушкой, жившей по сосѣдству съ ихнимъ домомъ въ работницахъ. Матреной-сиротиной звали ее, она и по сейчасъ мыкается въ работницахъ; дѣвка-то она умная, што сказать, и работящая, да одна бѣда: на скоромную косточку падка, качествами-то этими не подходила ко двору Микиты Дмитрича. Старика-то всѣ чтили и обидно казалось ему этакой-то невѣсткой обзавестись; не допустилъ онъ Осипа жениться на ней, а оно бы, гляди, больше толку-то было. Женилъ его старикъ-то почесть насильно на богатой невѣстѣ изъ сосѣдней деревни, думалъ, остепенится сыночекъ, а сыночекъ то совсѣмъ отъ рукъ отходить сталъ. — попивать началъ... и пошелъ въ ихъ домѣ грѣхъ. Отецъ, бывало, слово

скажетъ Осипу, а Осипъ ему два въ отвѣтъ. Особливо много грѣха пошло между ними, когда провѣдалъ старикъ, што добро его таетъ, какъ снѣгъ по веснѣ. Чего вѣдь бывало: придетъ кто-нибудь къ старику хлѣба взаймы попросить, откажетъ онъ въ ину пору, а Осипъ скрадетъ у него ключи отъ амбаровъ, нагребетъ хлѣба, да какъ воръ, крадучись по задворкамъ, и снесетъ къ тому.

— Тебѣ же, непутному, добра припасаю! — говаривалъ, бывало, отецъ-то, укоряя его.

— Не топи за меня своей души! Не падоть мнѣ твоего добра, все пропью, все прахомъ пойдетъ, што останется!..—огрызался Осипъ.

Горько плакивалъ старикъ-то отъ этакихъ словъ сына, въ которомъ души-то не чаялъ, и частенько сталъ жаловаться на непутность его. Померъ онъ... Можетъ быть, кручина-то эта и подкосила его на старости. Похоронилъ его Осипъ, и пошло у него въ домѣ разливное море, не прогулять бы ему и за десятки годовъ добра, што припасъ отецъ. Однѣхъ лошадей болѣе сотни насчитывали, не говоря о деньгахъ и о томъ, што въ домѣ было. Ну, добрые люди помогли. Кто бы съ какой докукой ни пришелъ къ Осипу, отказа никому не было. О лошадкѣ ли кто поплачется ему—поди, выбирай любую! Денегъ ли занадобилось на подушную или на иную потребу—бери, объ отдачѣ и слова не было! „Ты што это, Осипъ, безъ пути отцовское-то добро расхищаешь?“ говаривали ему старики, останавливая его отъ непутной жизни, а онъ только посмѣивался да одинъ отвѣтъ давалъ, што по тятенькѣ поминки правитъ! Не прошло и шести годковъ, какъ все хозяйство упало, а теперь и самъ онъ нищій, ничего нѣтъ, окромя дома да двухъ лошаденокъ. Все разнесли и развезли! Много и богомольцевъ за него на міру, да немало и такихъ, што, вдостоль поживившись отъ него, надъ его же простотой теперь глумятся! Какъ бы ни пилъ Осипъ, какъ бы ни бражничалъ, это все бы ничего, не онъ первый, не онъ послѣдній. Мало ли теперь среди насъ найдется степенныхъ людей, пособниковъ міру, которые по молодости и-и-и въ какихъ только качествахъ не грѣшили, да оглянулся же Богъ, въ разумъ да въ лѣта вошли и жизнь свою остепенили, люди теперь! А Осипъ былъ съ головой парень, пришелъ бы еще въ себя и отрезвился бъ! И бѣдность-то была бы не лиха ему, нашлись бы люди. што, памятуя добро его, и ему бы въ свой чередъ помочь сдѣлали... Ну, такъ языкъ его былъ лютый ему супостатъ и ворогъ! Душа-то у него добрая, да языкъ его поперегъ его жизни сталъ и до всѣхъ напастей довелъ! Не жилось ему въ ладу съ людьми. За кѣмъ, бывало, только спознаетъ какой грѣхъ, такъ и шугаетъ его прямо въ глаза; языка его боялись, што шила,—

ну, и не любили его, у всѣхъ онъ былъ, какъ бѣльмо на глазу. И увѣщали его, кто добра-то ему хотѣлъ, не разъ увѣщали: „брось-де, Осипъ, смѣшки свои, блюди, знай себя, стереги свою совѣсть да душу, а другихъ не тревожь, людей-де не переучишь, всякаго на свою колодку не передѣлаешь!“ Нѣтъ! Онъ все, бывало, свое твердитъ: „оттого, говоритъ, и неурядица въ обществѣ идетъ, што всякій правду за пазуху прячетъ! Я, говоритъ, буду молчать, другой будетъ молчать, а мошеннику-то и на руку, што всѣ языки прикусываютъ. А распояшько, говоритъ, ротъ-то, не давай никоему спуску, такъ, гляди-ко, чего будетъ: иной бы и смошенничалъ, да побоится, уличатъ,—такъ волей-неволей укоротитъ руки-то да будетъ по чести жить!“ Ну, и договорился, за чѣмъ пошелъ, то и нашелъ! Взъѣлись на него всѣ... всѣ взъѣлись!.. Всѣ-то ждали только подходящаго часу, штобы отплатить ему свою обиду! Когда это выбирали въ головы Федора Игнатьича, такъ чего, чего не пѣлъ про него Осипъ на сходѣ, и общество-то ругалъ, што обходятъ добрыхъ людей, а честятъ мошенниковъ. Съ этой самой поры и пошла межъ головой да Осипомъ усобица. Много лѣтъ подкапывался подъ него Федоръ Игнатьичъ. Мужикъ былъ,—не тѣмъ будь помянутъ,—хитрый, изъ-подъ тиха, съ усмѣшечкой рылъ свои подходы; ну, и Осипъ-то былъ не промахъ, не оставался въ долгу и зорко стерегъ за нимъ. Съ другимъ-то бы Федоръ не поцеремонился, скрутилъ бы его, што и не услышалъ, ну, а Осипа-то побаивался, не другимъ онъ былъ чета: голой-то рукой не хватай, обожжешься! Ну, и выпалъ такой случай. Былъ это разъ сходъ въ волости, былъ на немъ и Осипъ, а около этого времени, сказать надо, въ сосѣдней деревнѣ Овражкахъ такой грѣхъ вышелъ: полюбилось тамошнему цѣловальнику, большому пріятелю головы, да, однако, еще и сродственнику, одно мѣсто, высокой такой пригорокъ посередь самой деревни, а сзади его озерко и рощица. Въ озеркѣ-то этомъ бабы все ленъ мочили. На этомъ самомъ пригоркѣ стояла изба Мирона Сивкова, мужикъ-то онъ бѣдный, немощный. Цѣловальникъ-то и стань подбиваться къ нему, отдай ему это мѣсто подъ домъ, и голова-то почни намеки дѣлать Мирону, а Миронъ--то, какъ на грѣхъ, уперся, не отдаетъ мѣста. Видя, значитъ, такую неустойку, цѣловальникъ, долго не думая, закупилъ это лѣсу, порядилъ изъ той же деревни рабочихъ и давай рубить избу на пригоркѣ, загородивъ Мирону и свѣтъ, и входъ. Миронъ къ головѣ, а голова нарочно уѣхалъ, штобы все это безъ него сдѣлалось, а онъ какъ стало-быть не причемъ! Миронъ къ обществу, плачетъ: „защитите!“ Собралось общество и взялось-было на перво пришугнуть цѣловальника и шугнуло бъ!.. А цѣловальникъ-то тоже,

братъ, зналъ, какимъ подпилкомъ мужичью совѣсть подтачивать, возьми да и выкати боченокъ вина; опосля того и ношелъ ужъ судъ да расправа, и рѣшили: мирить Мирона съ цѣловальникомъ, избу цѣловальника, какъ новую, оставить на мѣстѣ, а избу Мирона, какъ старую, снести и поставить на коштъ цѣловальника на новое мѣсто! Поплакалъ, поплакалъ Миронъ да и съѣхалъ съ насиженнаго мѣста. Опосля онъ было и въ городъ ѣздилъ, жалобу подавалъ, да гдѣ-то о сю пору застряла! А Осипъ все это провѣдалъ... и все молчалъ, да на сходѣ-то внезапу это... улучилъ минутку и говоритъ: „А вотъ бы, говоритъ, ваше почтеніе Федоръ Игнатычъ, чего бы порѣшить намъ міромъ надо, штобы въ волости такцыю на стѣнѣ вывѣсить! Оно бы и мошенникамъ-то было виднѣй и волостнымъ-то съ руки, а то безъ такцыи-то народъ у насъ безъ ума путается!..

— Такцыю, какую такую такцыю?—спрашиваетъ голова.

— А вотъ бы какую, къ примѣру тебѣ сказать: коли отберетъ мошенникъ у кого-нибудь мѣсто подъ домъ, то снеси головѣ, скажемъ, двадцать рублевъ—и правъ будешь; за лошадь, не по правдѣ отобранную, положить бы можно пять рублевъ, за корову—три, за свинью и полтины будетъ... потому, говоритъ, отъ этой животины у насъ по волости проходу нѣтъ!.. Не дорога!

— Слышали, обчественники, што Осипъ-то Микитичъ разсказываетъ?..— спросилъ голова, безъ всякаго это сердца, да и усмѣхнулся, а ужъ коли Федоръ Игнатьичъ усмѣхнулся, такъ ужъ стало не быть добру.—Это ты къ чему-же такія-то слова мнѣ приводишь?—спросилъ онъ у Осипа.

— Къ чему, ужъ будто не знаешь—къ чему!..—спрашиваетъ Осипъ,—ужъ будто, говоритъ, не на твоихъ глазахъ благопріятель-то твой, овражкинскій цѣловальникъ, выжилъ Мирона-то съ избой съ насиженнаго мѣста, а?.. Ну, вотъ я и говорю, штобъ ты вывѣсилъ такцыю, за какую цѣну правду продаешь! Можетъ быть, и мнѣ занадобится кого-нибудь съ мѣста сжить, такъ ужъ я и буду знать, што слѣдуетъ головѣ снести, штобы правымъ быть!..

— Развѣ я судилъ Мирона-то съ цѣловальникомъ? — спросилъ его голова.

— Обчество, знамо!..

— Такъ къ чему же, говоритъ, ты меня чужимъ-то грѣхомъ попрекаешь?..

— А-а, и ты, говоритъ, зовешь это грѣхомъ, такъ пошто же, говоритъ, коли ты знаешь, што это грѣхъ, што у обчества совѣсть-то давно ужъ съ вина перегорѣла, такъ што и угольковъ отъ нея не оста-

лось,—не присудилъ дѣла по своему? Вѣдь ты голова... всему дѣлу вершитель. На твоихъ бы глазахъ я человѣка убилъ, обчество бы за вино меня оправило, а ты и гляди и молчи бы, а а?..

— Осипъ Микитичъ, ты за што это обчество-то поносишь?.. — спросили его.

— Поношу!.. Такое развѣ вамъ поношенье-то, говоритъ, надоть, а?.. Вы въявѣ, говоритъ, на себя энтотъ ярлыкъ-то навѣсили, такъ ужъ запрета не положите говорить-то объ немъ, а то гляди... не смѣй еще и поносить... Хвали... небойсь... васъ, а-а-а?..

Съ эвтихъ самыхъ словъ Осипа и пошелъ грѣхъ... А Федоръ Игнатьичъ, не будь простъ, да подъ шумокъ и подведи Осипа... натолкни обчество, штобъ составили приговоръ посѣчь его... за поношеніе головы и обчества на сходѣ; и составили, и выстегали тогда Осипа, и крѣпко выстегали; тутъ ужъ каждый выместилъ на шкурѣ его всякое словцо... натѣшились до-сыта, нечего правды таить!.. И жалко его было, многіе жалѣли, да ничего подѣлать-то не могли: волостной-то сходъ — сила, поспорь-ко поди съ ней!.. Долго хваралъ послѣ этой оказіи Осипъ. Съ эвтой-то ровно поры понемногу и стали примѣчать, што съ нимъ что-то неладное дѣется, не то, штобъ онъ въ словахъ или въ умѣ бы путался, нѣ-ѣ-ѣтъ, а чудныя дѣла сталъ творить, какія бы человѣку-то въ своемъ разумѣ и не подстать-бы были! Однова, это сколько смѣху-то на деревнѣ было. Прибѣгъ откуда-то Осипъ домой, лошадь вся въ мылѣ, а самъ весь въ синякахъ и въ крови. Спрашиваемъ: откуда ты, Осипъ Микитичъ, кто тебя такъ почествовалъ?.. Смѣется!.. „Въ Мокшѣевой, говоритъ, новаго старосту ставилъ, такъ благодарили!“ На другой день, слышимъ, разсказываютъ, чего нашъ Осипъ натворилъ. Въ деревнѣ Мокшѣевой ходилъ о ту пору въ старостахъ Гордѣй Савельичъ Пленкинъ, человѣкъ старый и, сказать-то коли правду, неизвышеннаго ума. Осипъ то завсегды объ него зубы обтачивалъ. И приди-жъ ему въ голову, Осипу-то: поѣхалъ въ лѣсъ, вырубилъ это осину, обтесалъ, привезъ ее въ Мокшѣево и давай вколачивать посередь деревни. Извѣстное дѣло, народъ, видя это, сбѣжался, спрашиваютъ: чего ты дѣлаешь? „Старосту, говоритъ, новаго ставлю на смѣну Гордѣй Савельичу; оба, говоритъ, они одного пенька вѣтки, только Гордѣй-то, говоритъ, мохомъ обросъ, пора-бъ его и на отдыхъ, а энтотъ посвѣжей выглядитъ, а вамъ-то, говоритъ, вѣдь все равно, было бы только, кому кланяться!..“ Э-эхъ, какъ взъѣлись это мокшѣевцы-то и приняли его, кто во што попало, едва онъ утекъ отъ нихъ. Сколько послѣ того смѣху-то по волости пошло. Мокшѣевцы бѣда не любятъ съ тѣхъ поръ, коли спросишь: „Ладно ли они съ новымъ старостой жи-

вутъ?“ А то разъ также былъ сходъ въ волости, пріѣхалъ и Осипъ, и приди это въ волость-то съ горшкомъ горячихъ углей, да давай это ходить по волости да курить ладономъ. Спрашиваемъ: что ты это, Осипъ, дѣлаешь? „Нечистую силу, говоритъ, изъ головы съ писаремъ выкуриваю!“ Хотѣли было его тогда съизнова поучить, да ужъ догадались, што тутъ другая наука требуется. Дня, слышь, не проходило, штобъ онъ чего-нибудь не накуралесилъ; стали его и побаиваться: долго ли до грѣха, еще убьетъ кого или деревню спалитъ, и поди суди его тогда! Порѣшили покрѣпче поглядывать за нимъ. Иную пору недѣли двѣ живетъ тихо, какъ слѣдуетъ быть человѣку, и по дому ровно обихаживаетъ, а тамъ, гляди, ни съ чего задуритъ. Однова это лошадь свою утопилъ... спуталъ ей ноги да и загналъ въ рѣку. Хватились это, побѣжали за нимъ, штобъ отнять ее, да ужъ поздно! Спрашиваемъ: за што ты животину загубилъ? Смѣется: „а пошто, говоритъ, она впередъ головой ходитъ, коли мы съ вами и почище ея разумомъ, да взадъ пятки отъ всего пятимся. Вотъ и вразумляй поди его! А то разъ поймалъ это Осипъ цыпленка и давай его живого ощипывать. „Что ты, Осипъ, дѣлаешь, въ умѣ ли ты, говоримъ ему, за что ты живую птицу тиранишь, побойся Бога!..“

— А вы-то въ умѣ ли?—спрашиваетъ онъ.—Вы-то, говоритъ, сплошь да рядомъ послѣднюю рубаху съ человѣка сдираете и тиранствуете надъ нимъ, да Бога-то не боитесь, а на курочку глядя, такъ у васъ, говоритъ, и совѣсть проснулась, и про Бога вспомнили!.. Такъ живую ощипалъ да на глазахъ у всѣхъ и съѣлъ ее... такъ со стороны-то стало тошно, глядя на него въ тѣ поры. Ну, да все еще полагали, что Господь пристанетъ за него, образумится онъ; што, можетъ, это и съ вина съ нимъ дѣялось, а ужъ пить-то ему въ тѣ поры стало не на што! Приглядывали только за нимъ, на ночь всегда, бывало, кто-нибудь въ домъ къ нему спать шелъ. Опасались, штобъ не сдѣлалъ чего-нибудь надъ женой да дѣтищемъ. Грѣшнымъ дѣломъ сказать, жена-то его по сторонкѣ погуливала. Примѣчалъ это Осипъ, зналъ, да только смѣясь приговаривалъ, бывало, „што чужой-то кусъ завсегда слаще своего!“ Такъ вотъ и шло время до зимняго Миколы... пока не стряслась напасть... О Миколѣ-то въ село къ намъ гости наѣзжаютъ, потому какъ престолъ у насъ... праздникъ. Ну, вотъ и нынѣ съѣхалось также много народу. Отошла это обѣдня, разошелся народъ по домамъ, у всякаго гости... только слышимъ, около полудня ударили въ церкви въ набатъ. Все село всполыхнулось, всѣ полагали, что пожаръ въ церкви. Батюшка отецъ Василій съ гостьми прибегъ, волостные торкнулись въ церковь, а церковь на запорѣ; глядимъ, и

трапезникъ тутъ же въ народѣ стоитъ да только охаетъ, да руками разводитъ; глянули на колокольню, а тамъ Осипъ глядитъ на народъ-то да смѣется. „Што это ты дѣлаешь, дурья голова твоя?—закричалъ ему батюшка и народъ-то,—што ты людей мутишь?“

— Мнѣ, говоритъ, голова велѣлъ въ колоколъ ударить да народъ собрать!—крикнулъ онъ съ колокольни,—просилъ, говоритъ, оповѣстить обчество, што онъ совѣсть гдѣ-то обронилъ, такъ въ случаѣ коли кто найдетъ ее, такъ объявки бы не дѣлалъ въ волость, а притаилъ бы ее у себя, потому, говоритъ, какъ безъ совѣсти Федору Игнатьичу не въ примѣръ способнѣе въ головахъ ходить! Ну-у, и пошелъ тутъ нести про него, а голова тутъ же въ народѣ стоялъ, да все это слушалъ и отпыхивался. Какъ ни было морозно, а пробилъ его въ тѣ поры потъ! Вплоть до вечера маялись мы тогда съ Осипомъ, едва-то, едва сманили его съ колокольни. Подмѣтилъ онъ это, што трапезникъ-то отлучился изъ церкви, вырвалъ кольца вмѣстѣ съ замкомъ, вошелъ въ церковь, заперъ за собой дверь на засовъ да и надѣлалъ сполоху. Въ тѣ поры ужъ и священникъ и народъ-то пристали къ волостнымъ, штобъ отправить его въ городъ: всѣхъ опаска взяла держать его на селѣ, всѣ грѣха стереглись. Не хотѣлось, признаться, головѣ-то отсылать его, боялся онъ языка его, чуялъ, што накличетъ на него Осипъ бѣды, да ужъ дѣлать-то было нечего. Съ той поры, какъ свезли Осипа въ городъ, Федоръ Игнатьичъ и заскучалъ, и заскучалъ, да и душу-то Богу отдалъ какъ-то внезапу, до самаго смертнаго часу на ногахъ вѣдь былъ. Признаться, и насъ-то сумлѣнье брало, не выпилъ ли онъ чего... ну, да видно ужъ такъ суждено ему было, предѣлъ, знать, таковъ“,—закончилъ старикъ Корнѣевъ разсказъ свой и глубоко вздохнулъ.

Около трехъ недѣль занималась коммиссія разслѣдованіями по выводамъ Дехтярева. Большинство крестьянъ отозвалось объ умершемъ головѣ весьма дурно. Не было никакого сомнѣнія, что онъ дѣйствительно занимался переводомъ фальшивыхъ денегъ и, по общему отзыву, эксплуатировалъ крестьянъ тѣмъ, что, уплачивая за нихъ подати, скупалъ у нихъ за долгъ хлѣбъ по крайне дешевымъ цѣнамъ, сбывая его въ Киргизскую степь въ обмѣнъ на лошадей, овецъ и рогатый скотъ. Конечно, многіе факты, которые послужили бы къ разъясненію обнаруженныхъ Дехтяревымъ преступленій, такъ и остались недоказанными, благодаря давности времени и тщательно скрытымъ слѣдамъ, но что преступленія эти были совершены—едва ли можно было сомнѣваться.

Съ перваго же дня по пріѣздѣ въ Крутые Лога Дехтяревъ все чаще и чаще впадалъ въ раздраженное состояніе. Встрѣча съ антипатичными для него лицами, воспоминанія пережитыхъ страданій и на-

несенныхъ ему обидъ иначе и не могли дѣйствовать на воспріимчивую и впечатлительную натуру его. Нерѣдко подъ вечеръ, когда уже кончались допросы, онъ приходилъ къ членамъ коммиссіи и выспрашивалъ, чего показали крестьяне. „Э-эхъ, ваши благородья,—часто говорилъ онъ послѣ своихъ разспросовъ;—никогда вы не добьетесь отъ мужика правды, все будетъ передъ вами шито да крыто! Голова-то померъ, да вѣдь прихлебники-то его живы; если кто правду-то покажетъ, такъ того вѣдь съ бѣлаго свѣта сживутъ, загрызутъ, што черви; вотъ мужики-то и молчатъ, и плачутъ, да молчатъ!“ Въ этихъ словахъ Дехтярева было много правды. При допросахъ крестьяне, замѣтно было, во многомъ заминались, отмалчивались или давали уклончивые отвѣты.

Однажды, когда уже слѣдствіе приходило къ концу, Дехтяревъ по обыкновенію пришелъ вечеромъ въ квартиру, въ которой помѣщались члены коммиссіи, и, поздоровавшись, сѣлъ на лавку. Ему дали чаю.

— Ну, что, Осипъ, не надумалъ-ли еще чего нибудь новаго, а?—шутя, спросилъ его уѣздный стряпчій, пожилой уже человѣкъ, который отъ скуки почти ежедневно велъ съ нимъ богословскіе споры.

— Надумалъ!—отвѣтилъ Осипъ, схлебывая съ блюдца чай.—Ты вотъ письменный человѣкъ, стряпчій, скажи-ка ты мнѣ, пошто это земля черная?..

Стряпчій, образованіе котораго не превышало программы уѣзднаго училища, замѣтно смутился при подобномъ вопросѣ Осипа, пытливо наблюдавшаго за нимъ.

— Отчего черная?—покраснѣвъ, отвѣтилъ онъ. — Оттого, братецъ, что ужъ такъ создана Богомъ!..

— Анъ врешь!—прервалъ его Осипъ.—Богъ-то создалъ ее чистенькой да бѣленькой... што пшенишное зернышко, а ужъ это она отъ человѣчьей крови почернѣла! Да-а-а!.. Съ той самой поры, какъ, значитъ, Каинъ убилъ брата своего Авеля, она обагрилась... и почернѣла. Съ той самой поры и непорядокъ на землѣ пошелъ! Ты вотъ видалъ-ли когда Бога-то?—неожиданно спросилъ Осипъ, всегда любившій озадачить какими-нибудь неожиданностями своего собесѣдника.

— Нѣтъ, братецъ, не видывалъ!..—съ ироніей отвѣтилъ стряпчій.

— А я видѣлъ!.. Чиновнику-то, братъ, онъ не проявится, а мужика удостоилъ, самъ ко мнѣ пришелъ!..

— Самъ пришелъ! О-го-о!.. За что-жъ онъ тебѣ такое предпочтеніе сдѣлалъ, а?..

— А за то, братецъ ты мой, што я, по-мужичьему званію, завсегда подъ бѣдой, какъ подъ шапкой, ходилъ, а поэтому, значитъ, и завсе Бога помнилъ!..

*

— А чиновники-то, по-твоему, развѣ не помнятъ Бога?

— Въ рѣдкость!..

— А-а... ну, будь по-твоему!—смѣясь, отвѣтилъ стряпчій.—А каковъ же онъ изъ себя, а?..—спросилъ онъ.

— Богъ-то? А такъ, братецъ, совсѣмъ какъ бы старичекъ, сѣденькій весь... въ азямчикѣ...—отвѣтилъ Осипъ.

— Вотъ какъ!.. Получше-то ужъ, вѣрно, не нашлось чего надѣть-то на себя... а?..—спросилъ стряпчій.

— Нашлось бы, братъ... добра-то у него, Владыки Небеснаго, много... да боязно, говоритъ, въ хорошемъ-то нарядѣ на міру ходить.

— Отчего?..

— Ограбятъ! Потому, говоритъ, нонѣ люди шибко волю рукамъ дали... не ровенъ часъ да мѣсто, такъ и Богу-то отъ нихъ достается... и на его добро длань простираютъ!..

— Что же онъ самъ тебѣ это сказалъ, или ужъ ты выдумалъ?

— Самъ мнѣ сказалъ!.. Пришелъ это и говоритъ мнѣ: потерпи, Осипъ... Стой за правду крѣпко! Много, говоритъ, грѣха и блуда на міру развелось... не соблазняйся... и скажи, говоритъ, головѣ и всѣмъ его прихлебникамъ, што забыли они меня и я до нихъ доберусь...

— Ну, ты и сказалъ?..

— Сказалъ!.. за то, братъ, и стегали меня... какъ вѣдь, братъ, стегали-то, а-а-ахъ... Другой бы на моемъ мѣстѣ, можетъ, и съ душей бы разстался... ну, а за меня Богъ присталъ... ожилъ!.. Исщо бы вотъ мнѣ надоть до одного мужичка добраться, братъ! Зовутъ-то его Моисеемъ Сильверстовымъ, ужъ такой-то степенный на видъ мужикъ, што безъ Бога да креста и слова не скажетъ, а по качествамъ, если разобрать его, то хуже идола... Вотъ возьмись-ко его въ резонъ ввести, а-а?.. И на тебя, можетъ, Богъ оглянется!..

— Кого же въ резонъ-то ввести?..

— Моисея Сильверстова Чулкова, такъ онъ пишется... въ Панютиной деревнѣ живетъ! Ты вотъ знашь ли, чего онъ сдѣлалъ, а-а? Работника своего убилъ!..

— Ну-у!.. Ты опять, Осипъ, за свое принялся?—замѣтилъ ему стряпчій.—Вѣдь врешь это все, а?..

— Я-то вру?.. Нѣтъ, братъ, кабы всѣ-то мужики такъ врали, какъ я, такъ на бѣломъ-то свѣтѣ царство бы небесное было, а не житье, да-а-а!—раздраженно произнесъ онъ.—Вру-у-у!.. Ты вотъ собери-ко мужиковъ и спроси ихъ: какъ, молъ, Чулковъ, Моисей Сильверстычъ, работника своего, Митьку Безпалова, кнутьями до полусмерти стегалъ да опосля того въ морозъ-то водой его изъ колодца окачивалъ, а?.. Онъ отъ этого и въ землю ушелъ... вотъ какъ я вру-то!..

— Давно это было?

— Года два ужъ будетъ теперь!.. Вру-у!.. Нѣ-ѣтъ, ты спроси-ко у обчества, какъ голева-то, покойникъ, да самый этотъ Мосейка уламывали стариковъ-то, отца и мать-то Безпалова, штобъ они не жалобились на него, не заводили дѣла?.. Мосейка старикамъ-то за это лошадь подарилъ, корову, да денегъ сто рублевъ выдалъ, избу имъ новую срубилъ.

— И они взяли?

— Взяли!.. Да еще Мосейку же теперь похваливаютъ, благодѣтелемъ зовутъ, да-а-а!.. Вотъ ты говоришь: пошто Богъ-то по землѣ въ азямчикѣ ходитъ, а? Надѣнь-ко Онъ хорошій-то мундеръ, такъ чего будетъ? Середь улицы обдерутъ, и слѣдовъ не отыщешь, милый.

— Ну, ладно, ладно... вѣрю тебѣ! — прервалъ его стряпчій.— Ты вотъ скажи-ко лучше, за что же Чулковъ-то стегалъ Безпалова?

— Стегалъ-то за што?—повторилъ, по обыкновенію, Дехтяревъ.— А это видишь, братецъ, вотъ какъ дѣло-то спервоначалу вышло, сказать тебѣ. Безпаловы-то, старики-то, шибко бѣдные; самъ-то старикъ-то, братецъ ты мой, по пріискамъ все въ работу ходилъ, пьющій такой, ни скотинки у нихъ, ни ворошинки въ домѣ-то не было; вотъ сынъ-то ихъ, Митька-то, значитъ, подросъ когда, такъ старики-то и отдали его въ батраки къ Мосейкѣ-то, почесть изъ-за хлѣба отдали-то. Паренекъ онъ былъ смирный такой, безотвѣтный; ему всего о ту пору девятнадцатый годъ шелъ. Ну, ладно, а Чулковъ-то этотъ, скажу тебѣ, богатѣй, на языкѣ у него завсе Богъ, а въ душѣ—чортъ. Вѣрь! Ну, жилъ это Митька-то никакъ съ годъ у него, все было ладно; только однова это и пріѣдь къ Мосейкѣ-то купецъ въ гости; ночь-то это онъ съ Мосейкой прохороводился, а на утро и домой собрался; вотъ Мосейка-то и подпреги ему въ повозку што ни лучшихъ коней тройку, особливо былъ жеребчикъ у него соврасенькій, самъ онъ его и выкормилъ, въ цѣнѣ былъ конь! Ну, и посади на козлы Митьку-то; Митькѣ-то и не впервой бы ямщичать-то, навыкшій былъ парень-то, да отъ грѣха-то вѣдь не убережешься, гдѣ подкатитъ. Грѣхъ-то человѣка, што воронъ добычу, караулитъ—вѣрь! Ну, то ли, слышь, соврасенькій-то жеребчикъ заранѣ ужъ испорченъ былъ, то ли, въ самомъ дѣлѣ, Митька-то, угождая купцу, коней-то гналъ очертя голову, только, слышь, соврасенькій-то жеребчикъ и палъ на дорогѣ. Съ того и весь грѣхъ вышелъ! Какъ вернулся это Митька-то домой, услыхалъ Мосейка-то, што соврасый его подохъ, и возьми его злость на Митьку, што загналъ онъ его коня, и учни онъ его бить: би-и-илъ, би-илъ, окровянилъ всего... мало! Ногами, сказываютъ, топталъ, и этого мало!.. Почесть ужъ полумертваго, сказываютъ, привязалъ къ столбу,

— А чиновники-то, по-твоему, развѣ не помнятъ Бога?

— Въ рѣдкость!..

— А-а... ну, будь по-твосму!—смѣясь, отвѣтилъ стряпчій.—А каковъ же онъ изъ себя, а?..—спросилъ онъ.

— Богъ-то? А такъ, братецъ, совсѣмъ какъ бы старичекъ, сѣденькій весь... въ азямчикѣ...—отвѣтилъ Осипъ.

— Вотъ какъ!.. Получше-то ужъ, вѣрно, не нашлось чего надѣть-то на себя... а?..—спросилъ стряпчій.

— Нашлось бы, братъ... добра-то у него, Владыки Небеснаго, много... да боязно, говоритъ, въ хорошемъ-то нарядѣ на міру ходить.

— Отчего?..

— Ограбятъ! Потому, говоритъ, нонѣ люди шибко волю рукамъ дали... не ровенъ часъ да мѣсто, такъ и Богу-то отъ нихъ достается... и на его добро длань простираютъ!..

— Что же онъ самъ тебѣ это сказалъ, или ужъ ты выдумалъ?

— Самъ мнѣ сказалъ!.. Пришелъ это и говоритъ мнѣ: потерпи, Осипъ... Стой за правду крѣпко! Много, говоритъ, грѣха и блуда на міру развелось... не соблазняйся... и скажи, говоритъ, головѣ и всѣмъ его прихлебникамъ, што забыли они меня и я до нихъ доберусь...

— Ну, ты и сказалъ?..

— Сказалъ!.. за то, братъ, и стегали меня... какъ вѣдь, братъ, стегали-то, а-а-ахъ... Другой бы на моемъ мѣстѣ, можетъ, и съ душей бы разстался... ну, а за меня Богъ присталъ... ожилъ!.. Исщо бы вотъ мнѣ надоть до одного мужичка добраться, братъ! Зовутъ-то его Моисеемъ Сильверстовымъ, ужъ такой-то степенный на видъ мужикъ, што безъ Бога да креста и слова не скажетъ, а по качествамъ, если разобрать его, то хуже идола... Вотъ возьмись-ко его въ резонъ ввести, а-а?.. И на тебя, можетъ, Богъ оглянется!..

— Кого же въ резонъ-то ввести?..

— Моисея Сильверстова Чулкова, такъ онъ пишется... въ Панютиной деревнѣ живетъ! Ты вотъ знаешь ли, чего онъ сдѣлалъ, а-а? Работника своего убилъ!..

— Ну-у!.. Ты опять, Осипъ, за свое принялся?—замѣтилъ ему стряпчій.—Вѣдь врешь это все, а?..

— Я-то вру?.. Нѣтъ, братъ, кабы всѣ-то мужики такъ врали, какъ я, такъ на бѣломъ-то свѣтѣ царство бы небесное было, а не житье, да-а-а!—раздраженно произнесъ онъ.—Вру-у-у!.. Ты вотъ собери-ко мужиковъ и спроси ихъ: какъ, молъ, Чулковъ, Моисей Сильверстычъ, работника своего, Митьку Безпалова, кнутьями до полусмерти стегалъ да опосля того въ морозъ-то водой его изъ колодца окачивалъ, а?.. Онъ отъ этого и въ землю ушелъ... вотъ какъ я вру-то!..

— Давно это было?

— Года два ужъ будетъ теперь!.. Вру-у!.. Нѣ-ѣтъ, ты спроси-ко у обчества, какъ голова-то, покойникъ, да самый этотъ Мосейка уламывали стариковъ-то, отца и мать-то Безпалова, штобъ они не жалобились на него, не заводили дѣла?.. Мосейка старикамъ-то за это лошадь подарилъ, корову, да денегъ сто рублевъ выдалъ, избу имъ новую срубилъ.

— И они взяли?

— Взяли!.. Да еще Мосейку же теперь похваливаютъ, благодѣтелемъ зовутъ, да-а-а!.. Вотъ ты говоришь: пошто Богъ-то по землѣ въ азямчикѣ ходитъ, а? Надѣнь-ко Онъ хорошій-то мундеръ, такъ чего будетъ? Середь улицы обдерутъ, и слѣдовъ не отыщешь, милый.

— Ну, ладно, ладно... вѣрю тебѣ! — прервалъ его стряпчій.— Ты вотъ скажи-ко лучше, за что же Чулковъ-то стегалъ Безпалова?

— Стегалъ-то за што?—повторилъ, по обыкновенію, Дехтяревъ.— А это видишь, братецъ, вотъ какъ дѣло-то спервоначалу вышло, сказать тебѣ. Безпаловы-то, старики-то, шибко бѣдные; самъ-то старикъ-то, братецъ ты мой, по пріискамъ все въ работу ходилъ, пьющій такой, ни скотинки у нихъ, ни ворошинки въ домѣ-то не было; вотъ сынъ-то ихъ, Митька-то, значитъ, подросъ когда, такъ старики-то и отдали его въ батраки къ Мосейкѣ-то, почесть изъ-за хлѣба отдали-то. Паренекъ онъ былъ смирный такой, безотвѣтный; ему всего о ту пору девятнадцатый годъ шелъ. Ну, ладно, а Чулковъ-то этотъ, скажу тебѣ, богатѣй, на языкѣ у него завсе Богъ, а въ душѣ—чортъ. Вѣрь! Ну, жилъ это Митька-то никакъ съ годъ у него, все было ладно; только однова это и пріѣдь къ Мосейкѣ-то купецъ въ гости; ночь-то это онъ съ Мосейкой прохороводился, а на утро и домой собрался; вотъ Мосейка-то и подпреги ему въ повозку што ни лучшихъ коней тройку, особливо былъ жеребчикъ у него соврасенькій, самъ онъ его и выкормилъ, въ цѣнѣ былъ конь! Ну, и посади на козлы Митьку-то; Митькѣ-то и не впервой бы ямщичать-то, навыкшій былъ парень-то, да отъ грѣха-то вѣдь не убережешься, гдѣ подкатитъ. Грѣхъ-то человѣка, што воронъ добычу, караулитъ—вѣрь! Ну, то ли, слышь, соврасенькій-то жеребчикъ заранѣ ужъ испорченъ былъ, то ли, въ самомъ дѣлѣ, Митька-то, угождая купцу, коней-то гналъ очертя голову, только, слышь, соврасенькій-то жеребчикъ и палъ на дорогѣ. Съ того и весь грѣхъ вышелъ! Какъ вернулся это Митька-то домой, услыхалъ Мосейка-то, што соврасый его подохъ, и возьми его злость на Митьку, што загналъ онъ его коня, и учни онъ его бить: би-и-илъ, би-илъ, окровянилъ всего... мало! Ногами, сказываютъ, топталъ, и этого мало!.. Почесть ужъ полумертваго, сказываютъ, привязалъ къ столбу,

да и прими его съ сыномъ въ кнутья жарить... Отвязали ужъ Митьку, говорили опосля, совсѣмъ мертваго,—такъ и упалъ, не дышалъ ужъ. Увидѣлъ какъ Мосейка-то, што дѣло не ладно, и давай его ледяной-то водой изъ колодца отливать! Всего только съ недѣлю опосля того Митька-то и выжилъ: такъ, какъ лежалъ безъ памяти, такъ и померъ безъ памяти! Вотъ, братъ, и послушай, да мотай на усъ, какъ у насъ по будничному-то въ деревняхъ живутъ, какіе у насъ, стало быть, по мужичьему званію ангелы водятся...

— А днемъ или ночью онъ билъ-то его?..

— Середь бѣлаго дня, на глазахъ всей деревни... Сказываютъ, какъ Митька-то кричалъ, такъ-што изъ-за околицы слышно было! Вотъ, братъ, каковъ у насъ народецъ-то!.. Старики-то Безпаловы шибко спервоначалу-то убивались, особливо мать-то! Ну, да голова-то съ Мосейкой урезонили ихъ; такъ, братъ, все дѣло вмѣстѣ съ Митькой въ землю и зарыли... Сказывали сначала, што батюшка-то ровно не хотѣлъ Митьку отпѣвать... да ужъ какъ тамъ сдѣлались — Богъ ихъ знаетъ... Вотъ приголубь-ко, слышь, Мосейку-то, штобъ и другимъ наука была; вотъ и къ тебѣ тогда Господь, можетъ, зайдетъ... обѣгать не будетъ!..

Разсказъ Осипа былъ настолько важенъ, что члены коммиссіи признали неудобнымъ оставить дѣло безъ разслѣдованія. Поэтому были вытребованы старики Безпаловы и крестьяне деревни Панютиной. Но на заданные вопросы отецъ и мать Дмитрія Безпалова отозвались, что ничего подобнаго не было съ ихъ сыномъ, что онъ померъ отъ огневицы, и если Чулковъ поставилъ имъ новую избу, подарилъ лошадь, корову и далъ денегъ, такъ единственно изъ снисхожденія къ ихъ сиротству и преклоннымъ лѣтамъ. Показаніе ихъ подтвердили и крестьяне деревни Панютиной. Когда уже допросъ былъ оконченъ, въ комнату неожиданно ворвался Дехтяревъ и, протолкавшись чрезъ толпу, сѣлъ въ переднемъ углу на лавкѣ.

— Скучно мнѣ, братцы, среди васъ,— началъ онъ, качая головой.—Уйду я отъ васъ... убѣгу, въ лѣса убѣгу... буду лучше жить съ волками да медвѣдями!..

— Полно, Осипъ Микитичъ, не спѣши!.. Богъ дастъ, очнешься, еще поживешь и съ нами, не гнѣви Бога, Онъ еще и на тебя оглянется!—кротко отвѣтилъ ему какой-то старикъ, среди всеобщаго молчанія, прерываемаго порою глубокими вздохами.

— На меня-то Онъ давно оглянулся, да вамъ-то это не въ примѣту,— отвѣтилъ Дехтяревъ,—а вотъ отъ васъ-то Онъ отвернулся... потому вы не и люди!..

— А кто-жъ мы, по-твоему?—спросилъ старикъ.

— Идолы!..

— Полно, Осипъ Микитичъ, полно... за што ты ругаешь насъ, чего мы тебѣ сдѣлали, какое зло?

— Зло-о-о!.. Вы-то мнѣ много зла сдѣлали, а себѣ-то исщо болѣ...

— А коли мы сдѣлали себѣ какое зло, такъ тебѣ-то что-жъ отъ эфтого? Пущай всякій за свое зло и купается, и идетъ въ отвѣтъ! — отвѣтили ему въ толпѣ.—За што ты міръ-то маешь, слѣдствія-то накликаешь на всѣхъ!—заговорили крестьяне.

— Я... я... я... васъ маю?..—вскочивъ со скамьи, раздраженно закричалъ Дехтяревъ. — Худо еще васъ маютъ-то, ху-у-удо. Всякій за свое зло въ отвѣтъ иди!.. То-то, што въ отвѣтъ-то за ваше зло другіе ходятъ, а вы только въ молчанку играете. Идолы, такъ идолы и есть... Неужто, кабы вы люди-то были, такъ не шевельнулись бы въ васъ души, глядя на то, чего дѣется кругомъ да около? Ты вотъ, Акимъ, старый человѣкъ,—обратился онъ къ старику, который первый заговорилъ съ нимъ.—Голова-то и борода у тебя бѣлѣй мельничной притолоки, ты на Бога-то при каждомъ словѣ, какъ на костыль, упираешься, а вотъ совѣсть-то свою, небойсь, ничѣмъ не подопрешь, чтобъ прямѣй держалась, а не виляла изъ стороны въ сторону, какъ собачій хвостъ. На вашихъ глазахъ середь бѣлаго дня Мосейко-то загубилъ Митьку, билъ его, топталъ ногами, полу-мертваго стегалъ кнутьями; вся волость знаетъ, што онъ отъ эфтаго въ землю ушелъ, а вы молчите... никто и слова не пикнетъ объ этомъ душегубствѣ... потому-што Мосейко бо-га-а-атъ... всякій изъ васъ думаетъ къ нему носъ приткнуть, а будь-ка онъ бѣдный—и-и и, ты бы первый его въ острогъ усадилъ...

— Полно, полно, Осипъ Микитичъ, не грѣши занапрасно!..— уговаривали, желая успокоить, его крестьяне.

— Идолы!..

— Не грѣши... полно!..

— Песьи души!.. — кричалъ онъ, все болѣе и болѣе разгорячаясь;—окаянные,—мало у васъ своихъ-то грѣховъ, такъ вы еще и чужіе-то на себя примаете... Глянь-ко, кто это... да скажите мнѣ?..— крикнулъ онъ, указавъ на икону, висѣвшую въ переднемъ углу.

— Икона святая... Богъ!..—тихо отвѣтилъ ему старикъ Акимъ, понуривъ глаза и голову.

— Нѣшто такой Богъ-то, а? Неужто Богъ-то станетъ носить на себѣ вашъ звѣриный обликъ! Нѣ-ѣ-ѣтъ, я ужо покажу вамъ настоящаго Бога... што не похожъ на васъ...

И Осипъ съ азартомъ бросился въ передній уголъ; но его удер-

жали. Онъ завязалъ съ крестьянами борьбу... и только послѣ долгихъ усилій его смяли и принуждены были связать ему руки и ноги.

Послѣописанной сцены Осипъ притихъ, въ теченіе нѣсколькихъ дней онъ не выходилъ изъ дома, хотя ему предоставлена была полная свобода ходить вездѣ и приставленные къ нему казаки слѣдовали за нимъ только издали. Все время онъ лежалъ на лавкѣ, уткнувшись лицомъ въ полушубокъ, замѣнявшій ему подушку, но не спалъ,—сонъ совсѣмъ почти покинулъ его; иногда онъ что-то бормоталъ... но что именно—никто не могъ понять. Стряпчій, которому доставляло удовольствіе вести съ нимъ различные диспуты, раза два посѣтилъ его; но Осипъ на всѣ его вопросы не отвѣчалъ ему ни слова. Однажды, часу въ одиннадцатомъ вечера, когда ужъ вся деревня покоилась глубокимъ сномъ, въ квартиру, занимаемую членами коммиссіи, прибѣжалъ испуганный казакъ съ извѣстіемъ, что Осипъ едва не зарѣзалъ свою малолѣтнюю дочь, но у него успѣли вырвать ножъ и онъ нанесъ только во время борьбы легкую рану въ руку казака. Когда привели Осипа и спросили, за что онъ хотѣлъ зарѣзать дочь, онъ сѣлъ на лавку и обхватилъ голову руками.

— Добро я хотѣлъ ей сдѣлать,— отвѣчалъ онъ.—Неужто у меня не болитъ сердце-то о моемъ дѣтищѣ? Вѣдь она кровь моя; ну, какая ей услада въ жизни-то будетъ!.. Отецъ не въ своемъ разумѣ, мать потаскуха, неужто ей сладко будетъ на міру-то въ батрачкахъ мыкаться? И всякой-то будетъ глумиться надъ ней!.. Э-эхъ, въ могилѣ-то ей легче бы было... въ могилкѣ-то ти-ихо, не шелохнетъ!.. Зимой-то ее снѣжкомъ укрыло-бъ, а лѣтомъ-то травкой, цвѣтиками.

И Осипъ зарыдалъ... Грудь его тяжело колыхалась и какіе-то глухіе, точно раздавленные звуки вырывались изъ нея...

Съ этого времени за нимъ усилили надзоръ.

Когда по окончаніи слѣдствія Дехтярева повезли изъ деревни, онъ не простился ни съ женой, ни съ ребенкомъ и ни съ кѣмъ изъ крестьянъ, хотя все село собралось и густою толпою окружило пошевни, на днѣ которыхъ онъ легъ, закутавшись съ головою въ шубу. Многіе изъ крестьянъ заплакали, провожая его. Плакала и жена Осипа и болѣе версты шла пѣшкомъ за пошевнями, неся на рукахъ пятилѣтнюю дочь, ожидая, что Осипъ, можетъ быть, одумается и простится съ ней. Веселое настроеніе покинуло Осипа. Всю дорогу онъ молчалъ и на станціяхъ рѣдко выходилъ изъ пошевней; когда ему давали ѣсть, онъ ѣлъ... но если о немъ забывали, то онъ не напоминалъ о себѣ. По прибытіи въ городъ, Осипа помѣстили сначала на излеченіе въ больницу, но когда сумасшествіе его приняло бѣшеный характеръ, его перевели въ домъ умалишенныхъ, гдѣ онъ и померъ.

ПОСКОТНИКЪ *).

(РАЗСКАЗЪ).

Въ жизни нерѣдко случаются такія встрѣчи, которыя, не смотря на всю свою мимолетность, производятъ до того глубокое впечатлѣніе, что спустя десятки лѣтъ сохраняются въ памяти съ поразительною яркостью и полнотой въ самыхъ мельчайшихъ подробностяхъ, какъ будто еще не давно, не далѣе, какъ вчера, ты видѣлъ эти лица и бесѣдовалъ съ ними. Такое впечатлѣніе оставила по себѣ и встрѣча моя со старикомъ Ларіономъ...

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 186* года я ѣхалъ по дѣламъ службы въ село Бунгуръ. Дорога вилась, какъ лента, среди полей, засѣянныхъ хлѣбомъ. Солнце только что закатилось и окрестности слегка подергивались прозрачною синевой, придающей лѣтнему пейзажу мягкій, нѣжащій зрѣніе колоритъ. Вдали на горизонтѣ виднѣлись скучившіяся строенія села и темною массою обрисовывались на безоблачномъ небѣ высокая колокольня сельской церкви и въ безпорядкѣ разбросанныя вокругъ села вѣтряныя мельницы. Ямщикъ мой—молодой словоохотливый парень — въ продолженіе всего пути сообщавшій мнѣ длинную повѣсть о томъ, какъ медвѣдь разорилъ цѣловальника, открывшаго питейный домъ въ лѣсу на перекресткѣ трехъ дорогъ,—когда мы стали подъѣзжать къ изгороди поскотины, крикнулъ: „Эй... Ларивонъ, отворяй проѣзжающимъ!“ Скоро кони остановились уже передъ широ-

*) Въ Сибири выгонъ для скота окружаетъ обыкновенно село или деревню и обносится изгородью (выгонъ называется тамъ поскотиной), при въѣздѣ и выѣздѣ изъ села или деревни у воротъ поскотины лѣтомъ живетъ какой-нибудь бездомный старикъ нанимаемый обществомъ за незначительную плату. Обязанность этихъ стариковъ, заключается въ томъ, чтобы отворять проѣзжимъ и запирать за ними ворота поскотины и чтобы скотъ, пасущійся въ выгонѣ, не могъ попадать на пашни: для этихъ стариковъ обществомъ крестьянъ всегда устраивается у воротъ поскотины избушка или землянка для жилья и старики эти называются обыкновенно «поскотниками».

кими воротами поскотины, а Ларіонъ и не думалъ показываться изъ своей низенькой землянки, походившей скорѣе на муравейникъ, чѣмъ на жилье человѣка. Ямщикъ соскочилъ съ облучка, сбросилъ сплетенную изъ вѣтвей петлю съ воротъ, растворилъ ворота, издавшія при этомъ пронзительный стонъ, провелъ въ нихъ лошадей и снова крикнулъ: „Эй, Ларивонъ Маркычъ, здоровъ-ли?..“

— Кто тутъ?—послышалось изъ землянки.

— Проѣзжающіе!.. — смѣясь, отвѣтилъ ямщикъ, выгребая изъ дымившагося костра, разложеннаго передъ землянкой, уголекъ, чтобъ раскурить трубку.—Здоровъ-ли, говорю?—снова крикнулъ онъ.

— А коли хворъ скажу, такъ нѣшто ты поможешь мнѣ?—спросилъ Ларіонъ, просунувъ въ узенькую дверь землянки голову, украшенную сѣдыми, рѣденькими волосами.

— Никакъ ты сердить понѣ?..— смѣясь, спросилъ ямщикъ.

— Сердить, аль милостивъ—тебѣ опять-таки дѣла нѣтъ!..—отвѣтилъ Ларіонъ, вылѣзая изъ землянки и вытягиваясь во весь ростъ. Это былъ высокій, худощавый старикъ, державшійся прямо по привычкѣ, привитой къ нему, повидимому, дисциплиной. Голова его была покрыта сѣдыми, спереди крайне рѣденькими волосами, завивавшимися въ кольца на вискахъ и затылкѣ. Коротенькая, слегка окладистая борода и щетинистые усы скрывали нижнюю часть лица его, которое вообще было крайне блѣдно и изрѣзано морщинами. Сначала я не обратилъ вниманія на Ларіона и только случайно, пристально взглянувъ въ лицо его, неожиданно увидѣлъ легкую, едва почти замѣтную синеву на щекахъ его и на лбу, обозначавшую роковыя буквы: на правой щекѣ К, на лбу А и на лѣвой щекѣ Т. Это былъ поселенецъ изъ каторжныхъ, отбывшій опредѣленный срокъ работъ. Замѣтивъ, что я пристально смотрю на него, старикъ нисколько не смутился и въ свою очередь не сводилъ съ меня своихъ сѣрыхъ, прищуренныхъ глазъ. Онъ былъ въ одной рубахѣ грубаго холста, довольно уже заношенной, въ портахъ, спускавшихся немного ниже колѣнъ, и босой.

— Ну, што-жъ ты сталъ... што ты не ѣдешь-то?..— крикнулъ онъ, обратившись къ ямщику. Вишь, вѣдь молоко исшо на губахъ не обсохло, а ужъ табакъ сосетъ... Трогай... чего безъ пути торчать-то!— крикнулъ онъ и поглядѣвъ, плотно-ли заперты ворота поскотины, почесалъ себѣ поясницу и полѣзъ въ землянку.

— Осерчалъ старина-то! Видать, кто ни на есть разбередилъ его за день-то,—произнесъ ямщикъ, усаживаясь на облучекъ и трогая лошадей. Ужъ поворчать это любитъ,—говорилъ онъ, поворачиваясь ко мнѣ. А душа, слышь, старикъ-то... не гляди, што бранчивый...

— Онъ поселенецъ?—спросилъ я.

— Посельшикъ... изъ каторжныхъ, слышь... Годовъ ужъ пять будетъ время-то, какъ живетъ здѣсь... За убивство въ каторгѣ-то былъ... Мужики-то, слышь, здѣшніе сказывали, што поглядѣли разъ въ банѣ на спину-то его, такъ ужасти, говорятъ, подобно... такая эта страсть взяла ихъ, не доведи Господи, сказываютъ! — горячо жестикулируя правою рукою, пояснилъ онъ. — Съ первоначалу-то какъ глянули, говорятъ, и не въ примѣту было—тѣло, какъ тѣло... а въ пару-то это, слышь, въ тепломъ-то духѣ—оно, видать, отошло што-ли, такъ словно, говорятъ, спина-то вся кровью полита. Ну, какъ не возьметъ ужасть—по себѣ посуди.

— Отчего же это?..—прервалъ я.

— Отъ плетей, сказываетъ... плетями вѣдь его бучили...—пояснилъ парень. Не легкое же, видать, братъ, дѣло... О-охъ... не доведи Господи!—съ глубокимъ вздохомъ произнесъ онъ, покачавъ головою. Въ ину пору теперь сказываетъ... едва, говоритъ, ноги волочу... вотъ оно сколь легко видать, а!..

— Чѣмъ же онъ занимается, живя здѣсь?

— Старъ ужъ... чѣмъ заниматься-то?.. Силенки-то тоже, братъ, поубыло; въ каторгѣ-то, поди, не миловали!.. Лѣто вотъ въ поскотникахъ бьется—десять рублевъ ему за лѣто обчество-то платитъ — на готовомъ харчѣ... А зимой-то кое у кого по хозяйству подсобитъ, аль-бо што... ну и кормятъ... Тавлинки дѣлаетъ теперя...

— Какія тавлинки?..

— Подъ табакъ... вотъ что нюхаютъ... табатерки штоль—сказать-то тебѣ!.. Мы-то ихъ тавлинками зовемъ... И столь-то онъ это, братецъ, навострился дѣлать ихъ... а-ахъ... ты шутъ его... На иную, слышь, любо глядѣть...

— Изъ чего же онъ дѣлаетъ ихъ?..

— Изъ бересты... да такъ-то пріузоритъ, слышь, што любо-два!.. Нонѣ, сказываютъ, отцу Микитѣ, попу здѣшнему, такъ церковь, слышь, на тавлинкѣ-то вырѣзалъ и домъ его, попа-то, какъ есть вотъ въ явѣ обнатурилъ. Мало-ль дивились... и-искусникъ! Теперича у него этихъ тавлинокъ сколь торговцы-то покупаютъ, да въ городъ возятъ на продажу.

— И хорошо платятъ ему?

— Ужъ гдѣ, поди, не платятъ!.. Она вотъ и малая вещь, а тоже вѣдь за ней посидѣть надоть, покорпѣть... пла-а-тятъ!.. — протянулъ онъ.

— А не боятся его, а?.. Худого за нимъ ничего не примѣчаютъ?..— полюбопытствовалъ я.

— Съ первоначалу-то оно, што грѣха таить, оглядывались за нимъ... Узоръ-то на лицѣ тоже всякому глазъ кололъ... остерегались!.. Вѣдь Богъ его знаетъ, каковъ онъ... въ каторгу-то, поди не даромъ шлютъ. Но только, братецъ, все это занапрасно сумнѣніе на человѣка клали... ду-у-шевный старикъ, ворчливый — это поискать такихъ, а смиренный, погожій старикъ. Мужики-то здѣшніе, слышь, не нахвалятся имъ...

Въ это время мы подъѣхали къ селу, и ямщикъ, по общей страсти всѣхъ ямщиковъ, съ гикомъ пустилъ лошадей вскачъ по широкой улицѣ села, устланной сплошною гатью, и не безъ усилія осадилъ ихъ передъ воротами земской квартиры. Дѣло, вызвавшее пріѣздъ мой въ Бунгуръ, задержало меня въ немъ на нѣсколько дней. Послѣ разговора съ ямщикомъ, описавшимъ мнѣ въ такихъ привлекательныхъ чертахъ личность Бунгурскаго поскотника, я совершенно забылъ объ немъ... да и мало-ли доводилось мнѣ на своемъ вѣку, при постоянныхъ разъѣздахъ изъ села въ село на разстояніи нѣсколькихъ тысячъ верстъ, слышать самыя разнообразныя разсказы о личностяхъ, выдававшихся въ глазахъ крестьянъ какими-нибудь особенностями. Но случай совершенно неожиданно столкнулъ меня со старикомъ Ларіономъ. Спустя два дня послѣ пріѣзда моего въ Бунгуръ, прождавъ часовъ до двухъ крестьянъ, вызванныхъ мною для спроса изъ ближайшей къ Бунгуру деревни, и убѣдившись, что они не прибудутъ ранѣе слѣдующаго дня, я пошелъ побродить отъ скуки по окрестностямъ Бунгура. День былъ жаркій. Выйдя за черту села въ поскотину, я пошелъ полемъ вправо къ опушкѣ березовой рощи, часть которой захватывалась изгородью поскотины, и войдя въ рощу, направился тропинкой, вившейся среди густыхъ частыхъ березъ, листва которыхъ, переплетаясь въ воздухѣ, образовывала надъ головою сводъ, дававшій тѣнь и прохладу. Дойдя по тропинкѣ до крутого берега рѣчки Бунгуръ, я пошелъ берегомъ, любуясь бурливымъ теченіемъ ея, мчавшимся почти водопадами среди груды камней, загораживавшихъ ей путь. Крутые, глинистые берега, ежегодно подмываемые и осыпавшіеся, были очень живописны. Они спускались къ рѣчкѣ иногда отвѣсной стѣной, обнажая то синеватые, то желтые и розовые пласты глины,—и сочетаніе этихъ красокъ съ густой и сочной зеленью травы и росшихъ на вершинѣ деревьевъ придавали имъ чрезвычайно оригинальный видъ. Иногда берега были изрыты уступами, висѣвшими наклонно надъ потокомъ, и росшія на вершинѣ ихъ деревья, казалось, едва держались, такъ что обнаженные корни ихъ висѣли на воздухѣ, точно гнѣзда какой-нибудь гигантской птицы. Повидимому, достаточно было промчаться болѣе порывистому

вихрю, чтобы весь уступъ съ росшими на немъ деревьями рухнулъ въ потокъ. Порою рѣка круто заворачивала вправо или влѣво и совершенно скрывалась изъ глазъ въ густой заросли молодыхъ березъ, лѣпившихся внизу по берегамъ ея, и затѣмъ вновь выскакивала, какъ шальная, и пѣнистыя струи ея, казалось, катились съ удвоенною яростію. Увлеченный разнообразіемъ этого дикаго ландшафта, я не замѣтилъ, какъ зашелъ слишкомъ далеко, и глухой ударъ грома, неожиданно раздавшійся вдали, заставилъ меня остановиться. Съ востока медленно плыла совершенно черная, грозовая туча, и глухія, частыя раскаты грома предвѣщали одну изъ тѣхъ грозъ, какія рѣдко проходятъ безъ несчастій. Надо было спѣшить укрыться отъ дождя и грозы, которая всего опаснѣе въ лѣсу. Я спустился внизъ къ рѣкѣ, съ трудомъ придерживаясь за сучья деревьевъ, росшихъ по склону. Перейдя Бугуръ въ бродъ по камнямъ, я съ трудомъ поднялся на кручу противоположнаго берега, предпочитая идти прямымъ путемъ, который скорѣе привелъ бы меня къ селу, чѣмъ тотъ, которымъ я шелъ. Въ это время солнце скрылось уже за тучей, въ воздухѣ наступила удушливая тишина, обыкновенно предшествующая грозѣ... Я бѣжалъ по незнакомому мнѣ лѣсу, поминутно спотыкаясь о валежникъ и толстые корни деревьевъ, выступившіе наружу и заросшіе густою травой, доходившей иногда до колѣнъ. Назойливое карканье воронъ, съ шумомъ ютившихся въ листвѣ березъ, также предвѣщало наступающую бурю. Меня скоро охватила мгла... раскаты грома становились все рѣзче и рѣзче... молнія, прорѣзывая лѣсную чащу, ослѣпляла глаза... Крупныя, хотя и рѣдкія еще капли дождя стали похлопывать по листвѣ, начинавшей уже трепетать отъ повѣявшаго теплаго вѣтра. Въ это время я выбрался изъ лѣса на поляну; весь небосклонъ былъ сплошь охваченъ тучей... вдали за виднѣвшимся селомъ шелъ уже проливной дождь, спускаясь сплошною темною синевой. Не болѣе, какъ саженяхъ во ста отъ того мѣста, гдѣ вышелъ я, виднѣлась изгородь поскотины и землянка старика Ларіона. Я побѣжалъ къ ней, и только что успѣлъ войти въ ворота поскотины и постучаться въ низенькую дверь землянки, какъ хлынулъ дождь съ градомъ величиною почти въ горошину.

— Ой, погодка... ну, бѣ-ѣ-ѣда кого захватитъ въ полѣ!—произнесъ старикъ, пропуская меня въ свое душное, низенькое жилье. Войдя въ землянку, я ничего не могъ видѣть кругомъ себя, такъ какъ крошечное оконце или вѣрнѣе отдушина, вѣроятно, и въ ясную-то погоду пропускала очень мало свѣта, при наступившей же почти ночной мглѣ въ землянкѣ было темно, какъ въ могилѣ.

— Ну, счастливъ ты, баринъ, што во-время добѣгъ! — съ худо-

скрытой ироніей въ голосѣ произнесъ старикъ. —Постой, ужо я засвѣчу для твоей милости жировичекъ, вишь, палаты-то у меня не шибко, штобы свѣтлыя!—говорилъ онъ, шаря въ углу землянки и бормоча про себя: „вишь, куда запало... штобъ тебя Богъ любилъ!“ Затѣмъ онъ сталъ вырубать огнивомъ огонь и, приложивъ къ труту длинную сѣрную спичку, зажегъ фитиль въ небольшой глиняной плошкѣ, наполненной жиромъ. Все время, пока онъ вырубалъ огонь и зажигалъ жировикъ, я стоялъ на одномъ мѣстѣ, не смѣя пошевелиться въ темнотѣ изъ боязни споткнуться на что нибудь. Засвѣтивъ жировикъ, старикъ поднесъ его къ самому лицу моему, какъ бы желая лучше разсмотрѣть меня.

— Милости просимъ, батюшка... погости ужо, присядь, авось погодка-то и скоро перейдетъ на твое счастье... Не шибко, штобы красно у меня было здѣся!.. — съ ироніей продолжалъ онъ, ставя жировикъ на доску, замѣнявшую столъ. Ну, да все лучше, чѣмъ въ полѣ-то подъ капелью быть!..

Землянка, жилье Ларіона, была дѣйствительно некрасна на видъ и могла удовлетворять только человѣка съ самыми неприхотливыми требованіями. Это, просто, былъ четыреугольный срубъ, не болѣе двухъ съ половиною аршинъ вышины. Стоя съ Ларіономъ другъ противъ друга, мы занимали почти все свободное пространство въ ней. У стѣны на правой сторонѣ лежали двѣ доски, а на нихъ — свѣженакошенная трава вмѣсто перины; въ изголовьи лежалъ полушубокъ и узелъ грязнаго тряпья, вѣроятно, замѣнявшей подушку. Доска, на которой стоялъ жировикъ, освѣщавшій тускло-багровымъ свѣтомъ только ближайшіе предметы, распространяя вмѣстѣ съ тѣмъ удушливый, сальный запахъ,—замѣняла, повидимому, столъ. На этой доскѣ валялись клочки береста, лоскутья синей, розовой и бѣлой фольги, осколки отъ простого стекла, ножъ, шило—и тутъ же въ кусокъ грубаго сѣраго сукна было воткнуто нѣсколько швейныхъ иголъ различныхъ величинъ. У стола стоялъ, вмѣсто стула, деревянный обрубокъ. Въ углу—небольшая кадушка съ водой, надъ нею полочка, на которой виднѣлся берестяный туясъ, деревянная чашка и на ней краюха чернаго хлѣба. Сырой, затхлый воздухъ въ землянкѣ отъ плотно припертой двери, въ которую хлесталъ теперь дождь, сдѣлался невыносимо удушливъ. По бревнамъ сруба, слегка покрытымъ зеленоватою плѣсенью и небольшими гнѣздами мелкихъ, бѣлыхъ грибковъ, мѣстами уже просачивалась вода отъ дождевого ливня. Вода капала мѣстами и съ потолка, протекая чрезъ дернъ, которымъ была выкрыта землянка. Я сѣлъ по приглашенію старика на обрубокъ, стоявшій у доски, на которой были разложены его инструменты по выдѣлкѣ тавлинокъ. Самъ Ларіонъ прислонился къ стѣнѣ въ углу, и сѣлъ на кровать, уступая только моей просьбѣ.

— По дѣлу ходилъ... аль такъ погулялъ, батюшка... што непогодь-то захватилъ? — полюбопытствовалъ старикъ, пристально смотря на меня своими щурившимися глазами.

— Гулялъ, Ларіонъ Маркычъ!..—отвѣтилъ я.

— Откуда же ты, батюшка, узналъ это мое-то имя, отечество?..— удивленнымъ тономъ спросилъ онъ.

— Ямщикъ сказалъ прошлый разъ...

— Памятливъ же ты, погляжу... памятливъ!..—повторилъ онъ, покачавъ головой. „Ларивонъ Маркычъ“, снова повторилъ онъ и усмѣхнулся. „Д-и-иковина!“—протянулъ наконецъ онъ.

— Какая диковина, въ чемъ?—спросилъ я.

— Я такъ... это, батюшка, про себя промолвилъ!.. — уклончиво отвѣтилъ онъ. Вишь, погодка-то какъ расходилась, а?..—началъ онъ, какъ бы желая избѣгнуть дальнѣйшихъ разспросовъ. Ну, кому чего, а нашимъ мужичкамъ — все горе... Экой полой... да градъ, о-о-о... не одного изъ нихъ безъ хлѣба оставитъ... Гляди, какъ хлѣбъ-то выбьетъ, али повалитъ... ну — да Божья воля. Я, признаться-таки, съ утра чуялъ, што быть погодкѣ... Моя-то уже примѣта не обманетъ!

— Какая же у тебя примѣта?..

— А такъ скажу, милостивецъ, што коли къ непогодѣ когда такъ всего-то тебя разломитъ, каждая ровно косточка въ тебѣ скрыпитъ, да ноетъ... измучаешься весь...

— Старъ ужъ ты, Ларіонъ Маркычъ, а-а?..

— Не старъ бы еще... какіе года!.. Другой въ мои-то годы исшо женится, да робятъ плодитъ... успѣвай только баба поворачиваться... Какіе мои годы... полвѣка, не болѣ отмѣрялъ-то!.. Муки-то немало принялъ... вотъ и сказывается подъ старость-то!

— Какой же муки?

— Аль не знаешь ты меня?..—пытливо посмотрѣвъ на меня, спросилъ онъ.

— Не знаю!..

— Ишь вотъ... Ямщикъ-то твой имя и отечество сказалъ, небось, тебѣ, а кто я, и не повѣдалъ... Ну, я ужо увижу его, соловую голову... погоди-и!—не то съ ироніей, не то шутливо произнесъ онъ. Ну, коли не знаешь, такъ и я не скажу...

— Отчего?

— А не ровенъ часъ... еще испужаешься.

— Чего же пугаться-то мнѣ?..

— Чего-о-о?.. — насмѣшливо протянулъ онъ, и сѣрые глаза его сверкнули какимъ-то лучистымъ огонькомъ. Энто нынѣ, батюшка, скажу

тебѣ...—началъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія...—ѣхалъ мимо не то купецъ, не то што... а полагать болѣ надоть, што купецъ... Тарантасъ это отмѣнный... такой... ну, и все прочее при немъ по хорошему... видать, што богатѣ-ѣй! Ладно!.. Подъѣхалъ это къ поскотинѣ-то и кричитъ: о-отворяй! А я-то, сказать тебѣ, позамѣшкался чего то въ ту пору... Хорошо! Выхожу это, отперъ ворота,—отперъ это я ихъ, а онъ и напустись на меня: я тебя, говоритъ, такой сякой разъэтакой... развѣ ты смѣешь задерживать проѣзжихъ, а?.. На то рази приставленъ тутъ, штобъ спать, а?.. Да я тѣ, говоритъ, такъ и такъ... А я стою супротивъ его, слушаю... Выкричался онъ, утихъ. Ну, думаю, не великъ ты кобелекъ, да лай-то звонокъ!.. Глянулъ ему это въ самое, почесть, лицо — да и молви: А ты, говорю, добрый молодецъ, погляди-ка наперво: какое тавро-то на мнѣ стоитъ, а?.. Эхъ, ты, говорю, кудельная смычка! Да вѣдь у меня, говорю, въ спинѣ-то восемьдесятъ плетей лежитъ, а што кнута межъ реберъ напрятано и не сочтешь... и ты это меня испужать задумалъ, а?.. Вѣдь мнѣ, говорю, такую-то ворону, какъ ты, пришибить-то легче, чѣмъ въ горсть воды зачерпнуть... знаешь ты это, а?.. Помертвѣлъ вѣдь, батюшка, онъ, какъ глянулъ это на меня-то... вѣрь не вѣрь!.. Словно листъ вотъ на осинѣ—задрожалъ весь... лепечетъ, лепечетъ чего-то, а слово-то ровно не выходитъ у него... И разбери же меня смѣхъ... А-а ахъ, ты, думаю, аршинный воевода! Глотка-то шире котла, а сердце то уже лапы заячей... Такъ вотъ ты, батюшка, у какого богатыря въ гостяхъ-то сидишь, да еще Ларивономъ Маркычемъ величаешь, а къ лицу-то мнѣ одна только кличка—варнакъ *)...—не то съ ироніей, не то съ горечью закончилъ старикъ.

Въ это время, казалось, надъ самою землянкой раздался оглушительный ударъ грома... Я невольно вздрогнулъ. Старикъ трижды перекрестился, произнося полушопотомъ „Святъ... Святъ... Святъ...“—Ну, и пого-о-одка! — протянулъ онъ, выдвигая изъ угла кадушку съ водой, такъ какъ у двери, по бревнамъ землянки, уже текла дождевая вода, мѣрно капавшая на земляной полъ.

— Ты давно живешь здѣсь, Ларіонъ Маркычъ?.. — спросилъ я, когда онъ снова сѣлъ.

— Въ Бунгурѣ-то, аль въ Сибирь-то давно-ли пришелъ, спрашиваешь ты?—переспросилъ онъ, скрестивъ на груди руки.

— Въ Бунгурѣ?

---

*) Варнаками называютъ въ Сибири каторжныхъ. Слово «варнакъ» — самое позорное, ругательное слово на языкѣ сибирскихъ крестьянъ.

— Давненько ужъ, батюшка, народъ-то здѣсь порчу, а особливо бабъ да дѣвокъ... никакъ годковъ пять, аль и всѣ шесть будетъ время-то!.. Обжился ужъ! — отвѣтилъ онъ. — Старожилъ!

— Какъ это, бабъ да дѣвокъ портишь? Чѣмъ?

— Колдую!..

— Ты колдуешь! да развѣ ты знахарь?..

— А ты какъ бы, батюшка, полагалъ, а?.. — смѣясь, отвѣтилъ онъ. За мной, братъ, ремесловъ-то много водится... промышленный человѣкъ! — съ ѣдкой ироніей замѣтилъ онъ. Всякій наговоръ знаемъ, отъ какой хошь болѣзни ослобонимъ, и напустить сможемъ... Всякій грѣхъ водится...

— Я думалъ, ты только однѣ тавлинки дѣлаешь!

— Забавляемся и тавлинками... одно другому не препятствуетъ, батюшка...

— Покажи-ка мнѣ твою работу, — попросилъ я.

— Изволь, изволь, кормилецъ... погляди... одобришь-ли!.. — сказалъ онъ, вставая, и взявъ въ руки жировикъ, нагнулся и выдвинулъ изъ-за досокъ, служившихъ ему кроватью, небольшой деревянный ящикъ и раскрылъ его.

Я заглянулъ въ ящикъ: въ немъ хранилось свернутое въ трубку бересто, тщательно очищенное и приготовленное для работы; въ ящикѣ, какъ и на столѣ, валялись стекла, клочки бумажекъ, повидимому, съ рисунками, фольга, кисетъ, сшитый изъ ситцевыхъ лоскутковъ, въ которомъ, можетъ быть, хранился и весь необширный капиталъ старика, и нѣсколько готовыхъ уже тавлинокъ различныхъ величинъ.

— На-ка, погляди, кормилецъ!.. — произнесъ онъ, поднимаясь и подавая мнѣ двѣ выбранныя имъ тавлинки совершенно одинаковой величины и, закрывъ ящикъ, снова поставилъ жировикъ на доску, замѣнявшую столъ.

Обѣ тавлинки были не болѣе полутора вершка каждая въ діаметрѣ; крышки ихъ были сдѣланы изъ гладко-очищеннаго дерева. Болѣе всего, конечно, привлекли мое вниманіе замыселъ и выполненіе рисунка на такомъ неблагодарномъ матеріалѣ, какъ бересто. Глядя на эту работу, на обстановку, въ какой производилась она, и на лицо художника, отмѣченное роковыми буквами К. А. Т., — мнѣ невольно пришла мысль: какъ много талантовъ гибнетъ въ нашемъ народѣ, не находя никакого исхода для развитія и проявленія себя — и кто знаетъ: можетъ быть, самый талантъ, скрытый въ человѣкѣ, брошенномъ судьбою въ темную среду, служитъ и роковою причиной его гибели.

На одной изъ тавлинокъ не было никакого рисунка, но она каза-

лась сплошь покрытою тонко-плетенымъ кружевомъ. Узоръ кружева, тонкость работы въ выполненіи ткани, которая казалась прозрачной, выдѣляясь на фонѣ подложенной подъ бересту бѣлой фольги,—сдѣлали бы честь первоклассному художнику. На другой тавлинкѣ была изображена крестьянская изба съ рѣзнымъ коникомъ и двумя окнами, въ которыя были вставлены кусочки голубой фольги; пошатнувшійся нѣсколько досчатый заборъ сдѣланъ былъ до того отчетливо, что каждое бревно въ избѣ, тёсина въ заборѣ и столбы носили на себѣ оригинальную особенность... Я залюбовался на эти вещи, не зная, которой изъ нихъ отдать предпочтеніе.

— Гдѣ ты учился этому мастерству, Ларіонъ Маркычъ?—спросилъ я.

— Гдѣ?..—усмѣхнувшись, спросилъ онъ въ свою очередь.—Побывай, батюшка, въ каторгѣ-то, такъ всему научишься... Всякое художество спознаешь—и худое, и доброе!..—со вздохомъ отвѣтилъ онъ.

— Ты долго былъ въ каторгѣ-то?

— Пятнадцать годочковъ, какъ одинъ денекъ выжилъ... Было время-то поучиться... бы-ы-ыло!..—протянулъ онъ.

— Какими же инструментами, Ларіонъ Маркычъ, ты работаешь... напримѣръ, вотъ это кружево ты чѣмъ дѣлалъ?..—спросилъ я, показавъ на тавлинку.

— Иголочкой...

— Неужели... одной только иглой, и болѣе ничѣмъ?

— Да чѣмъ болѣ-то?.. Болѣ-то ничего у меня и нѣту. Ну, вотъ ножичкомъ поковыряешь въ ино мѣсто, гдѣ погрубѣй-то требуется, стекломъ, подпилочекъ въ дѣло тоже идетъ, а болѣ-то ничего, батюшка, у меня нѣту... никакихъ инструментовъ! Да вѣдь я... такъ балую только этимъ, а не то, штобы взаболь мастерилъ!.. Глаза-то ужъ вотъ плохи становятся, кормилецъ...—съ грустью въ голосѣ пожаловался онъ.—А прежде и-и-и... мастеръ я былъ... чего сказать, не потаюсь...

— Ты и теперь мастеръ...

— Ну-у... ужъ... гдѣ мнѣ въ мастера... Ты мастеровъ-то еще не видалъ, кормилецъ... Э... э... такіе-ли мастера-то живутъ на свѣтѣ!—Вотъ у насъ мастеръ былъ — скажу тебѣ: въ одной со мной казармѣ жилъ... ну, такъ-мастеръ... вотъ это ма-а-астеръ!.. — воодушевленно произнесъ онъ. — Изъ глины тебѣ патретъ твой, бывало, слѣпитъ, такъ диву дашься... ровно живой, только вотъ не говоришь... Шибко его начальство-то баловало за это... А бумажки, братъ, это дѣлалъ онъ—ассигнаціи, такъ словно выльетъ... што его бумажку возьми, што настоящую .. не отличишь, хошь въ сто глазъ гляди... — вотъ это

ма-а-астеръ!—снова протянулъ старикъ,—стоющій человѣкъ!.. Онъ вотъ тебѣ на бумажкѣ-то, въ коемъ мѣстѣ письмо полагалось, што ись рукой-то не писалъ... знаешь-ли эта, а?..

— А чѣмъ же, машинкой какой-нибудь?..

— Ногой!.. *).

— Не можетъ быть...

— Ногой!.. вѣрь мнѣ... врать не стану... Возьметъ это, бывало, разуетъ правую ногу, вложитъ перо-то промежъ большого пальца, положитъ бумажку-то на полъ и пишетъ... вотъ и подиви!.. Такъ самонастоящіе-то мастера, глядя на него, бывало, съ диву ахали!.. Вотъ они, братъ, мастера каковы бываютъ... Ну, средь экого-то народа какъ поживешь, такъ всякую науку твердо выучишь...

— Гдѣ-же теперь этотъ мастеръ, въ каторгѣ остался?

— Сгорѣлъ!

— Какъ сгорѣлъ... отчего?

— Живьемъ спалили!.. Въ Сибири-то, батюшка, шибко любятъ экихъ-то мастеровъ приголубливать... только спасибо-то не всегда говорятъ имъ...

— Да кто же спалилъ его?

— Нашелся добрый молодецъ, што очистилъ отъ грѣха огнемъ его душу... Теперь ужъ онъ—купецъ, слыхалъ я, почетный купецъ, со званіемъ человѣкъ сталъ!.. Черезъ эстаго самаго мастера и въ купцы-то вышелъ, потому онъ ему капиталъ-то саморучно начеканилъ... Дѣло-то, сказывали, такъ было, милостивецъ: мастеръ-то этотъ, настоящаго-то прозванья его не скажу тебѣ, потому и самъ-то онъ путался въ немъ... Въ ино время скажется Перфильевымъ, въ другое Васьковымъ... а Васьковъ или Перфильевъ и самъ, пожалуй, не вѣдалъ... есть, братъ, тамъ и экіе молодцы!—говорилъ старикъ, снова присаживаясь на кровать и скрещивая на груди руки. — Житье-то ему въ каторгѣ было бы не худое... Чего сказать напрасно!.. Начальство-то

*) Подобный-же фактъ былъ обнаруженъ въ военно-судной коммиссіи, учрежденной въ Томскѣ надъ поддѣлывателями фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ, кажется, въ 1856 или 1857 году. Одинъ изъ виновниковъ, бѣглокаторжный, на вопросъ слѣдователя: чѣмъ онъ писалъ текстъ на ассигнаціи, «по предъявленіи сего билета», рукою или какимъ-нибудь инструментомъ,— каторжный отвѣчалъ: «Ногою!» Сначала этотъ отвѣтъ былъ принятъ за насмѣшку, но онъ вызвался доказать на дѣлѣ правоту его. Самъ очинилъ гусиное перо и положилъ поданный ему листъ бумаги на полъ, прижалъ его лѣвой ногой... Затѣмъ, разувъ правую ногу, сѣлъ на стулъ—и, вложивъ перо между большимъ пальцемъ ноги, написалъ по нѣскольку строкъ крупнымъ, среднимъ и мелкимъ почеркомъ. Члены коммиссіи были поражены и сознавались, что они въ жизни своей никогда не видали болѣе тонкаго, правильнаго и изящнаго письма.

баловало его... Вотъ энтими патретиками, да поддѣлками всякими угождалъ онъ имъ... иконостасы въ церкви писывалъ... мастеръ-то на всѣ руки былъ,—и денежки водились у него... допущало ему начальство эту льготу... Житье бъ... Ну, спанилъ лукавый въ побѣгъ... Ладно! Ушелъ—и такъ тебѣ, какъ камень въ воду, ни слуху, ни духу... Опосля ужъ только... стали это поговаривать: спалили его... Пробрался онъ, слышь, сказывали, въ городъ Т... уѣздный городишкото... и съ компаніей, говорили, человѣка три ихъ артели-то было... Ну и снюхались они тамъ съ мѣщаниномъ... Щелваковъ его прозвището... Изъ худенькихъ это былъ онъ, изъ бѣдноты — скотомъ накачалъ... Сколотится какъ ни какъ деньгой то, скупитъ хлѣба, да въ степь киргизамъ и сбудетъ; наменяетъ на скотъ—продастъ, да съизнова хлѣба закупитъ... Одно слово, накачалъ... Ну, какъ съ этой то артелью спознался онъ, и не будь плохъ — подговори: иди-де жить ко мнѣ... вы деньги мнѣ куйте, а я-де сбывать стану, барышъ пополамъ... Ну, тѣ... ужъ народъ прожженный... плечъ-то зря подъ сыромятную набойку не хотѣлось подставлять... да видятъ: парень онъ верткой, и глазъ, и ухо вострѣй шила,—стало быть, дѣло вести съ нимъ можно, и ударили по рукамъ. Онъ и помѣсти ихъ, братецъ, на заимку, куда, стало быть, лѣтомъ и по осени скупленный скотъ на пастьбу сгонялъ... Бумагу, краски и все, што, значитъ, для энтаго мастерства требуется, онъ доставлялъ имъ, а они чеканили, да чеканили. Ладно! Купитъ это Щелваковъ хлѣба, ситцевъ, того сего на настоящія деньги, свезетъ въ степь, наменяетъ у киргизовъ скота, да прикупитъ еще вдвое, втрое, на деньги своего завода, пригонитъ и распродастъ... Да годочка-то, можетъ, за два, за три, батюшка, такъ расторговался на эту комерцію-то, што и добрымъ тысячникамъ не въ мочь съ нимъ тягаться стало. Ну, видитъ онъ, што пока Богъ пронесъ—на грѣхъ не наткнулись, такъ надо дѣло улаживать... Пріѣзжаетъ однова это на заимку, будто съ угощеньемъ... Угостилъ... ихъ такъ, милый человѣкъ, што кто гдѣ сидѣлъ—тутъ и свалился... Какъ угостилися они, онъ приперъ дверь-то у избы коломъ, ставешки-то у оконъ призаклепалъ, обложилъ избу то соломкой, пустилъ пѣтушка, да и пропѣлъ всѣмъ вѣчную память. Тѣмъ и порѣшилъ дѣло! Вотъ какія шутки съ мастерами изъ нашего брата шутятъ по Сибири-то!..— закончилъ онъ...

— Отъ кого-же ты узналъ эту исторію, если всѣ сгорѣли?..

— Слухомъ-то, батюшка, сказываютъ, земля полна!.. Экія-то дѣла тоже подолгу въ мѣшкѣ не залеживаются. Своя же братья... лѣсные лицари дознались, да вѣсть-то принесли... И начальство опо-

сля распознало все это, да ужъ прискрестись-то не могло... А ѣздили... слыхъ-то былъ... и подъ пожарищемъ-то копались: не осталось-ли гдѣ слѣдовъ какихъ! Нѣтъ... все прикрыть съумѣлъ... л-ловкой... А теперь, слышь, сказываютъ, въ орденѣ ходитъ... да-а... Много по Сибири, батюшка, народу съ капиталомъ стало отъ нашего-то брата — вольныхъ мастеровъ... мно-о-ого!..

— Ты за что судился-то, Ларіонъ Маркычъ?—спросилъ я.

— Э... э... батюшка, што ужъ старое перетряхивать! О покойникахъ, сказываютъ, не къ ночи, а ко дню вспоминать-то надоть... За убійство!..—отвѣтилъ старикъ, но тонъ, какимъ произнесъ онъ послѣднее слово, звучалъ такою болью, что я изъ понятнаго чувства деликатности не сталъ болѣе разспрашивать. По всему было видно, что я дотронулся до тяжелой душевной раны, которой и время не успѣло еще залечить.

Разговоръ невольно смолкъ между нами. Снаружи долетали до насъ учащенные раскаты грома и шумъ ливня. Внутри же нарушалъ тишину только однообразный звукъ капель, падавшихъ съ потолка и стѣнъ въ лужицы, образовавшіяся на полу землянки.

— Вотъ ужъ шестой годочикъ, батюшка, на спокоѣ-то живу... на вольной-то волѣ...—неожиданно началъ онъ, качая головою.—А все равно воли-то не вижу... все, слышь, муки-то не избавился...

— Теперь-то какая же у тебя мука, Ларіонъ Маркычъ?..

— А хворь-то, кормилецъ, нешто легкое, думаешь, дѣло, а?.. Въ ину пору вѣдь такъ изниметъ, особливо къ погодкѣ-то, што жизни не радъ... ноги едва волочишь...

— Простужены... вѣрно?

— Отбиты!.. Ременная это простуда-то сказывается, вѣрь!.. Сколь этой ломки—битвы кости-то приняли... дивую, какъ это исшо Господь Богъ живымъ-то вынесъ. Умри я теперь, да ужъ коли небесный Творецъ судилъ и на томъ свѣтѣ муку терпѣть, такъ ужъ энта мука-то будетъ ровно и не въ муку. О-обтерпѣлся!.. О-охъ, каторга-то энта, родимый, шибко увѣчитъ нашего брата!..

— Тяжелыя работы тамъ, а?

— Што работа!..—произнесъ онъ.—Рабочему человѣку къ работѣ-то не навыкать, милостивецъ... и на волѣ-то мужику работа не власть... не работой мучитъ каторга, нѣ-ѣ-ѣтъ!..

— А чѣмъ же?..

— Тиранствомъ... битвой... вотъ чѣмъ каторга-то губитъ. Утро-то, бывало, встанешь—да только и думашь: не въ послѣдній-ли Божій-то свѣтъ видишь... Прошелъ коли день, не стеганъ, не битъ ты—

ну, и слава тѣ Господи, да вѣдь такихъ-то деньковъ немного выпадало кому, сердешный. Ужъ не тебѣ говорить, знашь поди—сколь народу изъ каторги-то бѣжитъ, да звѣрствуетъ по Сибири. Не вини ихъ, батюшка,—люди изъ нихъ звѣрей-то сдѣлали, люди!.. Возьми ты собаку, къ примѣру, да учни ее бить, да бить... развѣ не станетъ она бросаться да кусать встрѣчнаго и поперечнаго?..

— Ну, конечно!

— И не вини человѣка, коли онъ звѣрю сталъ подобенъ... не принимай энтаго грѣха на душу!.. Вотъ къ слову скажу тебѣ, батюшка, не погнѣви, коли оно не подстать будетъ. Гляжу я теперь на тебя, да и дивую... Какіе нонѣ чиновники-то пошли... ровно, слышь, и не чиновники...

— Почему такъ?

— Сурбодинаціи-то нѣту въ нихъ надлежащей...

— Какъ такъ?—произнесъ я, невольно улыбнувшись.

— Да такъ... энто-бы прежній чиновникъ сталъ тебѣ съ варнакомъ разговаривать... да еще Ларивономъ Маркычемъ величать его. У-упаси Господи! На прежняго-то чиновника, батюшка, взглянешь, бывало, такъ оторопь возьметъ... Мужику, ровно, и мать-то Богъ на то только давалъ, штобъ у чиновниковъ на концѣ языка безъ пути мотаться... Не знашь-ли вотъ ты, не слыхалъ-ли: живъ, аль померъ теперь Федоръ Семенычъ Р—еевъ? Смотрителемъ онъ былъ у насъ на Карійскомъ золотомъ промыслѣ...

— Не знаю, не слыхалъ!..

— Вотъ чиновникъ былъ, такъ чино-о-овникъ. .

— Хорошій?

— Сыра-то земля, поди, дрогнетъ... да не приметъ въ себя, коли умретъ онъ. О-охъ, батюшка, какъ только уродятся экіе люди на свѣтѣ—подивить-бы! Ужъ каторжникъ—послѣдній человѣкъ на свѣтѣ, ну, и въ немъ, милый, сердце есть... есть!.. А экій человѣкъ, какъ Федоръ Семенычъ, Господь его знаетъ—кто: тигра не тигра, змѣй не змѣй, а только не человѣкъ... Сколько на его душенькѣ животовъ лежитъ, и-и-и счету нѣтъ... Лютый убивецъ былъ... Ни за што, ни про что въ гробъ людей вбивалъ. Р—ія розги, батюшка, по всей Сибири въ славу вошли; кнутъ легче на спину ложился, чѣмъ лоза его... Битый и перебитый вѣдь народъ былъ подъ началомъ-то у него... У иного въ спинѣ-то по двѣнадцати тысячъ палочекъ лежало; кажись, отерпѣлся человѣкъ... ну, а съ его лозы горькими плакивали!.. Не въ моготу были!.. У него порядокъ-то былъ, штобъ лоза-то ворохами парилась день и ночь въ горячемъ соляномъ разсолѣ; такъ—какъ ножъ

въ тѣло-то врѣзывалась... Ну, и дра-а-алъ! — протянулъ старикъ, вздохнувъ.—Ужъ кого кликнутъ, бывало: иди въ сборную къ смотрителю,—такъ могутной человѣкъ, што малъ малоденецъ, изъ лица-то помертвѣетъ, да идучи-то у всякаго прощенья попроситъ... не поминать зломъ... На смерть шли...

— Неужели на смерть задиралъ?..

— Задиралъ...

— Правда-ли это, Ларіонъ Маркычъ?..

— Э... эхъ, не спрашивалъ-бы ты—правда-ли, а спросилъ-бы лучше: то-ли еще бывало!.. Суди: человѣкъ-ли былъ али тигра: дере-е-етъ, деретъ бывало—видитъ ужъ голосу не даетъ человѣкъ, изъ памяти вышибло. Стой, скомандуетъ: всыпь ему соли, очнется... Ну, и очнется... какъ по живому-то мясу солью посыплютъ... завоетъ... А-а-а, говоритъ, запѣ-ѣ-ѣлъ... ну-ко, вспрысни еще лозьемъ-то... ну, и начнутъ съизнова прыскать... Мясо вѣдь, батюшка, лоскутьями летѣло—вотъ какъ вспрыскивали! Ну, послѣ экой-то вспрыски и зачнетъ тебѣ человѣкъ чахнуть... чахнетъ — чахнетъ, да и Богу душу отдастъ... Перекрестишься только, бывало, за поминъ души да и ждешь своей очереди. Вотъ она, безсудная-то каторга, какова!..

— За какіе же проступки онъ наказывалъ такъ?

— Проступки!..—произнесъ старикъ, улыбнувшись съ какою-то грустью.—Жилъ со мной, батюшка, въ одной казармѣ арестантъ, Антонъ Дрожкинъ... Старъ ужъ былъ человѣкъ и до скончанья то срока недолго ужъ оставалось ему... человѣкъ былъ — такъ тебѣ скажу — воды не замутитъ. . и за што онъ только судился, Богъ его вѣдаетъ. Одно только всѣ почесть примѣчали за нимъ, не въ своемъ онъ ровно умѣ былъ—все, бывало, бормочетъ чего-то, а чего человѣкъ бормочетъ, никому невдомекъ. Киластый онъ былъ... грыжей слышь, маялся. Изниметъ энта грыжа-то его, бывало, такъ, вѣрь мнѣ, дерево зубами грызъ... сдавитъ это кулаками животъ, а самъ-то, словно, вотъ уголь изъ лица-то выглядитъ. Въ ину пору по землѣ это катается... мученикъ былъ!..—набожно перекрестившись, произнесъ Ларіонъ.—Ну, вотъ однова поскажу тебѣ... дѣло-то на работѣ привелось... воду изъ шахты откачивали... А былъ у насъ въ тѣ поры приставомъ дозорнымъ за нами Мозжухинъ Митька... Головней мы звали его болѣ... Сколько это отъ него утягченья народъ-то терпѣлъ... и—и языкъ не вымолвитъ... Послѣдній то грошъ у кого, бывало, подмѣтитъ, и тотъ изъ тебя вытянетъ... Аспидъ былъ, по его навѣтамъ болѣ и отъ Федора-то Семеныча страждили мы... Што вѣдь, батюшка, дѣлывалъ этотъ Митька, послухай: ужъ знашь, поди, не легко кандалы то та-

скать, — третъ ногу-то... ну такъ, обручъ то у ноги и обматывашь тряпками... подкандальники, кабы сказать тебѣ... Такъ энтотъ Митька-то чего выдумалъ: какъ на работу идти и скомандуетъ: разувайся!.. Подкандальники, говоритъ, долой, жи-и-во!.. Батюшка! взмолимся... Снизойди! Чего они тебѣ доспѣли... не утягчай...

— А-а, говоритъ, такіе-сякіе... вы думаете, каторга на утѣху вамъ дана... Долой!.. А то перековать велю, штобъ въ тѣло обручъ-то вросъ... Ну, и сбросятъ вѣдь... власть!.. Такъ вѣдь обручами... кожу-то на ногѣ до живого мяса сотретъ тебѣ... Свѣтъ-то изъ глазъ у тебя выкатывается, а ты робь, коль лозы не отвѣдалъ. Вотъ чего дѣлывали, батюшка!.. Ну, такъ вотъ, бишь, началъ-то я обсказывать тебѣ... толи ужъ Митька-то не въ духѣ былъ, аль ужъ зубъ точилъ на Антона што-ли — не могу тебѣ доказать... только какъ увидалъ онъ въ тѣ поры, што Антонъ-то объ боли упалъ на землю и подскочи къ нему и ну его палкой встряхивать. „Знаю я, говоритъ, такъ и такъ тебя... энту болѣзнь твою я тѣ, говоритъ, вылечу!“ Поднялся Антонъ да, видать, его изъ памяти вышибло, аль ужъ Богъ ему такъ судилъ— только ухвати онъ камень съ земли, да и свисни Митьку-то... да такъ-то, братъ, засвѣтилъ, што у того голова только затрещала...

— Убилъ?..—прервалъ я.

— Отдо-о-охъ... Убьешь экаго сразу... Ну, только мы и видѣли Антона, скажу тебѣ, братецъ мой... такъ его на нашихъ глазахъ и заполыхали...

— Безъ суда?

— Суда захотѣлъ!.. да развѣ надъ нашимъ братомъ есть судъ?.. О-о-о, батюшка, кабы тебѣ все-то разсказать, чего глаза видѣли, да плечи вынесли, такъ ты бы подивилъ: какъ исшо живы люди-то выходятъ!.. И суди теперь, суди ты по Божьи—какого добра отъ человѣка ждать, коли онъ вырвется изъ эстакой-то жизни на волю, да знаетъ, што не сегодня—завтра съизнова туды же угодитъ... Иной вѣдь такъ на смерть-то и лѣзетъ... Себя-ли ему убить, другого-ли кого — все единственно. Былъ у насъ, скажу тебѣ, вотъ этакій-то козырь... изъ солдатъ званьемъ-то!.. На двадцать пять годовъ сроку сужденъ былъ... Такъ на него иной разъ находила болѣзть... Такъ ужъ, бывало, какъ начнетъ онъ скучать—запримѣтятъ это—такъ и стерегутся его, какъ звѣря... у-убьетъ...

— Какая же болѣзнь-то находила на него?

— Крови, стало быть, человѣку хочется... убить кого ни на есть надоть ему... тоску отвести...

— Неужели ты думаешь, что есть такая болѣзнь, а?..

— Есть, батюшка, вѣрь — не вѣрь, твое это дѣло!.. а я тѣ доподлинно говорю: есть этакая болѣзть... Не дай-то Господи никому ея. За родительскіе грѣхи, можетъ, Господь наказываетъ иного, а есть— помни мое слово. Скажу я тебѣ, батюшка, послушай: какова эта болѣзть-то, чего она съ человѣкомъ-то дѣлаетъ! Въ мое энто время бѣжало у насъ двое молодцовъ — Золотовъ Максимъ, изъ мѣщанъ онъ сказывался, и Антроповъ Василій... опосля ужъ Золотовъ-то на вѣчную былъ осужденъ и къ тачкѣ прикованъ... Дружили это они промежъ себя все время, ну и бѣжали... Хорошо! Идутъ это лѣсомъ, идутъ не день, не два и нападни вотъ эта смертная-то тоска на Золотова. Чуетъ онъ бѣду, самъ опосля сознавался. Ну, идутъ. Вотъ Максимъ-то и говоритъ Василью: „Уйди, говоритъ, ты отъ меня, уйди съ глазъ моихъ, а то быть, говоритъ, бѣдѣ — убью я тебя!“ А тотъ, слышь, возьми да подними его съ дуру-то на смѣхъ. Максимъ, слышь, объ одномъ молитъ его: уйди!.. Не послушалъ онъ его... ну, и сложилъ свою голову... Зарѣзалъ его Золотовъ-то, испилъ его крови и словно, говоритъ, въ себя пришелъ... словно рукой, говоритъ, тоску-то сняло *).

Много лѣтъ прошло со времени встрѣчи моей со старикомъ Ларіономъ, передававшимъ мнѣ такимъ спокойнымъ голосомъ возмущающія душу сцены изъ жизни отверженниковъ... Я никогда не забуду этихъ разсказовъ. Мнѣ было больно въ ту минуту, такъ же больно, какъ и теперь, когда я пишу эти строки, больно за участь этихъ душевнобольныхъ людей, подвергаемыхъ вмѣсто леченія—мукамъ, людей, которые сами сознаютъ, что они больны и не имѣютъ силъ преодолѣть въ себѣ болѣзненныхъ симптомовъ, проходящихъ, по ихъ понятіямъ, отъ глотка свѣжей крови, выпитой изъ раны убитаго ими брата. Кромѣ разсказаннаго я приведу еще слѣдующій фактъ: Въ 1865 году въ Тобольскѣ ходилъ по домамъ, продавая булки и крендели, крестьянинъ Сметанинъ. Наружность этого человѣка была весьма степенная и даже симпатичная; онъ былъ сдержанъ въ рѣчахъ и замѣтно не любилъ даромъ тратить словъ. Принося мнѣ ежедневно къ утреннему чаю булки, Сметанинъ не разъ пилъ по моему приглашенію чай со мной и иногда, разговорившись, выказывалъ обильный запасъ юмора. Однажды, утромъ, Сметанинъ не явился съ булками и въ тотъ же день я узналъ, что онъ задержанъ ночью полиціей вмѣстѣ съ своими единомышленниками, намѣревавшимися ограбить чиновника А-ва. При производствѣ слѣдствія по этому дѣлу обнаружилось, что Сметанинъ въ короткое время убилъ девять человѣкъ и, между прочимъ, показалъ слѣдующее: по дорогѣ

*) Истинное происшествіе.

въ г. Тобольскъ онъ убилъ крестьянина, который велъ въ городъ лошадь. Убивъ несчастнаго, онъ никакъ не могъ отойти отъ него, такъ какъ ему постоянно слышалось, что убитый гонится за нимъ съ крикомъ: „добей меня!“ Какъ ни добивалъ его Сметанинъ, возвращаясь къ трупу, крикъ этотъ все-таки преслѣдовалъ его. Тогда Сметанинъ, напившись крови убитаго, положилъ на грудь ему копеечку за поминъ души и послѣ этого, съ успокоенной совѣстью, отошелъ отъ трупа, не преслѣдуемый болѣе галлюцинаціею. Преданный военно полевому суду Сметанинъ былъ разстрѣлянъ.

Живя въ Сибири и слыша чуть не каждый день разсказы о преступленіяхъ, совершаемыхъ бѣгло-каторжными, мнѣ невольно приходили на память слова старика Ларіона: „не вини человѣка, что онъ сталъ подобенъ звѣрю!“ И дѣйствительно: можно-ли ждать состраданія отъ людей, къ которымъ никто въ свою очередь не имѣетъ состраданія, которые стоятъ внѣ законовъ, ограждающихъ жизнь и права другихъ, съ которыми обращаются самымъ варварскимъ образомъ за ничтожное слово, сказанное предъ начальникомъ, сказанное иногда не съ цѣлью нагрубить ему, а по невѣжественной наивности, или за поступокъ, вызванный злоупотребленіями самой же надзирающей за ними власти. Послушайте разсказовъ бѣгло-каторжныхъ, содержащихся въ сибирскихъ тюрьмахъ, о причинахъ, вызывающихъ побѣги ихъ — и у васъ волосы станутъ дыбомъ на головѣ отъ этихъ простыхъ, незатѣйливыхъ разсказовъ, въ которыхъ кнутъ, палки, розги представляютъ самое обыкновенное явленіе. Должно быть, мало же привлекательнаго имѣетъ жизнь для человѣка, если онъ для избѣжанія всѣхъ этихъ пытокъ нарочно совершаетъ преступленіе, зная, что погибнетъ страшною, мучительною смертью подъ кнутомъ или палками, но по крайней мѣрѣ погибнетъ сразу. Это лучше, нежели изо дня въ день постепенно, въ теченіе, можетъ быть, долгихъ лѣтъ испытывать эти муки.

Я знаю, найдутся такіе знатоки русской жизни и порядковъ, которые прямо заявятъ, что все сказанное мною—ложь, но такихъ любителей казовыхъ сторонъ нашей жизни не прошибешь никакимъ фактомъ. Для нихъ и письмо бывшаго прокурора Павлова-Сильванскаго и „Записки изъ мертваго дома“ г. Достоевскаго представляются, можетъ быть, плодомъ разстроеннаго воображенія, хотя г. Достоевскій, по всей вѣроятности, по независящимъ отъ него причинамъ, умолчалъ о многихъ подвигахъ такого дѣятеля, какъ бывшій въ Омскѣ плацъ-маіоръ Кривцовъ, котораго вѣрнѣе всего можно характеризовать выраженіемъ старика Ларіона: „тигра не тигра, змѣй не змѣй, а только не человѣкъ!“ И такимъ-то личностямъ, какъ Р—еевъ, Кривцовъ и

т. п., ввѣрялась почти безконтрольная власть надъ несчастными отверженниками.

Лѣтъ тридцать тому назадъ въ г. Омскѣ существовала суконная фабрика, устроенная по иниціативѣ бывшаго генералъ-губернатора Западной Сибири, князя Горчакова, для снабженія мѣстныхъ войскъ суконами. Фабрика находилась въ чертѣ города и работы на ней производились каторжными. Бывшій въ то время смотрителемъ этой фабрики капитанъ Кобылянскій до того безчеловѣчно обращался съ несчастными, что однажды днемъ нѣсколько человѣкъ каторжныхъ, выскочивъ изъ зданія фабрики на улицу, закричали: „Суди насъ Богъ и Государь, но у насъ нѣтъ больше силы терпѣть!“ Они бросились на платформу, схватили лежавшія въ сошкахъ ружья караула и кинулись на Кобылянскаго съ цѣлью убить его. Но караулъ успѣлъ удержать и обезоружить каторжныхъ. Весь городъ ходилъ потомъ смотрѣть, какъ этихъ несчастныхъ гоняли сквозь строй на смерть. Все это совершалось въ виду главнаго начальства края, и Кобылянскій все-таки былъ оставленъ смотрителемъ этой фабрики. А между тѣмъ большинство преступниковъ, осужденныхъ влачить подобную жизнь, несомнѣнно, люди душевно-больные, совершающіе преступленія въ какомъ-то болѣзненномъ состояніи. Неужели найдется человѣкъ, который признаетъ душевно-здоровымъ каторжника Золотова, умолявшаго своего товарища уйти отъ него, предупреждая, что иначе онъ убьетъ его? Неужели здоровымъ человѣкомъ назовутъ Сметанина, который, убивъ человѣка безъ всякой побудительной причины, не руководясь даже цѣлью грабежа, подъ вліяніемъ преслѣдующей его галлюцинаціи—пьетъ кровь убитаго и кладетъ ему на грудь копеечку за успокоеніе души. Не каторга, но больница должна бы быть удѣломъ этихъ, дѣйствительно „несчастныхъ“ людей, какъ и называетъ ихъ народъ нашъ; здѣсь я приведу примѣръ, слышанный мною въ дѣтствѣ отъ человѣка, производившаго слѣдствіе по очень странному дѣлу. Въ селѣ Боготолъ, Томской губерніи, лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ жилъ поселенецъ, отбывшій срокъ каторжной работы. Выйдя на поселеніе, онъ женился, занялся хлѣбопашествомъ, торговлей—и дѣла его пошли такъ удачно, что подъ старость онъ нажилъ крупное состояніе, прекрасный домъ и хозяйство. Дочь его была выдана замужъ за богатаго купца. Старшій сынъ также вышелъ въ купцы и торговалъ въ городѣ, младшій завѣдывалъ по дряхлости отца дѣлами его. Старикъ пользовался общимъ почетомъ и уваженіемъ, отличался добротой и набожностью. Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ былъ церковнымъ старостой и сдѣлалъ крупныя пожертвованія на церковь — и вдругъ этотъ дряхлый старикъ убиваетъ ночью

двухъ церковныхъ сторожей и крадетъ изъ церковной кружки нѣсколько копеекъ, крадетъ, имѣя тысячи и сдѣлавъ крупныя пожертвованія на ту же церковь... Неужели это не больной человѣкъ, нуждающійся въ глубокомъ психическомъ анализѣ, вмѣсто кары?

Въ Сибири не рѣдкость встрѣтить людей, отбывшихъ двѣнадцать, пятнадцать лѣтъ каторжной работы и водворенныхъ на поселеніе. Многіе изъ нихъ отличаются примѣрнымъ трудолюбіемъ, трезвою жизнью и пользуются хорошимъ благосостояніемъ и отличною репутаціею въ обществѣ. Значитъ, не всѣ же изъ этихъ несчастныхъ—неисправимые злодѣи, достойные только мукъ, совершаемыхъ надъ ними людьми, повидимому, утратившими, въ свою очередь, всѣ лучшія человѣческія чувства.

Гроза постепенно стихала, хотя время отъ времени до насъ доносились еще глухіе раскаты грома; но проливной дождь не переставалъ лить, какъ изъ ведра. Старикъ не разъ уже, свертывая изъ береста трубки, втыкалъ ихъ въ землю въ углы, въ которыхъ сквозь пазы сруба и сквозь дернъ на потолкѣ образовалась течь.—Э... эхъ, хоромина-то совсѣмъ сквозная стала!—произнесъ онъ.—Того и гляди—размоетъ ее.

— А не холодно тебѣ въ ней по ночамъ-то?—спросилъ я.

— Привышны! . Я вѣдь въ ведро-то на улицѣ болѣ снлю... блоха выживаетъ; блохи этой страсть сколь здѣсь... А въ ведро-то на улочкѣ хорошо... Просто-оръ кругомъ тебя... тихо все... а подъ зорьку-то птахи тебѣ стрекотъ поднимутъ... ровно и развѣешься...

— Какъ это развѣешься?..

— Отъ тоски-то, батюшка... тоска сосетъ въ иную пору... Есть тоже о чемъ подумать-то!.. Ужъ какая теперь моя жизнь... на што она мнѣ... Посуди... Ни силы-то во мнѣ нѣту, ни кола, ни двора... Всѣмъ-то я чужой на свѣтѣ!—говорилъ онъ слегка дрожащимъ голосомъ.—Спасибо хоть добрые-то люди исшо не сторонятся, да кормятъ меня...

— Ты откуда же родомъ то, изъ какой губерніи?—спросилъ я.

— Костромичъ, батюшка... Костромской...

— Есть родные на родинѣ?..

— Надо бы быть-то... братъ есть—живъ, аль померъ теперь, не знаю... сестры... племянники...

— Переписываешься съ ними?

— Нѣтъ!..—отрывисто отвѣтилъ онъ.

— Отчего?

— Не пишется чего-то, батюшка. Сначала-то, какъ на волю-то вышелъ, оповѣстилъ ихъ о себѣ... два письма посылалъ... да ни от-

вѣту, ни привѣту не дождался...—И старикъ, не докончивъ, махнулъ рукой. — Вѣдь только богатыхъ сродственниковъ любятъ да памятуютъ... а бѣдный-то и-и-и хошь вѣкъ его не будь... — съ болью въ голосѣ произнесъ онъ.

— Худо же ты думаешь объ людяхъ, Ларіонъ Маркычъ!

— Не повелось какъ то подумать-то лучше, не суди!

— А на родину тебя не тянетъ?..

— Въ ину пору, чего таить, беретъ, слышь, скука-то; такъ бы вотъ хоша бы глазкомъ глянулъ на родимыя-то мѣста. Што кто ни говори, а своя сторона завсегда мила. Ну, да подумаешь, подумаешь— и махнешь рукой... Не дологъ ужъ вѣкъ-то мой—скоротаю, какъ ни на есть... Знать ужъ судьба такая, предѣлъ!.. Одному ужъ оно такъ и отъ Бога написано: живи въ спокоѣ, будь талантливъ и удачливъ во всемъ; а иному одно только заповѣдано: терпи! Ужъ за родительскій грѣхъ што-ли Богъ наводитъ на человѣка экую заповѣдь—не мнѣ судить, батюшка... теменъ!.. Не дологъ мой вѣкъ-то да горемъ избыточенъ... всячины я насмотрѣлся—о-о-охъ, всячины!.. Суди меня Богъ, а вчастую сумлѣньемъ задаюсь... Пошто это невиннымъ-то Богъ страждить попускаетъ?—съ грустью въ голосѣ спросилъ онъ.

— Какъ это такъ?..

— Да какъ... Вотъ у насъ въ каторгѣ то на нашихъ глазахъ извѣлся человѣкъ, неповинно всю жизнь свою страждившій... совсѣмъ неповинно...

— Кто же это?—прервалъ я его.

— Старикъ одинъ былъ... крестьянинъ, какъ сказывался... Онуфріемъ его звали! Я ужъ, придя-то, засталъ его, почесть, на послѣдяхъ, двадцать одинъ годочикъ онъ, милостивецъ, тиранство-то безвинно несъ, да такъ и въ землю ушелъ, недождавшись суда праваго. А всѣ знали, што невинно гибъ человѣкъ. Вотъ и помышляй!..

— За что же онъ былъ сосланъ-то?

— За убивство судился-то, а тутъ же вмѣстѣ съ нимъ робилъ и настоящій-то убивецъ, за кого онъ грѣхъ несъ, и всѣ это знали.

— И начальство знало?

— Знало; и просьбу онъ подавалъ... и убивецъ-то винился; искупить его хотѣлъ...

— И неужели ничего этого не приняли во вниманіе?

— Знать, не приняли, коли по гробъ своей жизни муку несъ... Онъ тутошній былъ сибирякъ... Жилъ-то, сказывалъ, не бѣдно—жена, дѣти большія на мѣстѣ-то остались... Хозяйство, говоритъ, въ большой исправности было. Да, вишь, грѣхъ-то какъ подкатилъ,—произнесъ Ла-

ріонъ, глубоко вздохнувъ: — „Въ деревнѣ то, гдѣ жилъ онъ, былъ, слышь, крестьянинъ,—помнится, Бурановымъ звалъ онъ его,—тоже не бѣдный былъ мужикъ, но верткой, говоритъ, этакой разбитной — на всѣ руки. Жили-то они промежъ себя—это, стало быть, Онуфрій-то и Бурановъ—не то, штобы въ ссорѣ, сказать тебѣ... ну, и дружбы-то не было, а все болѣ усобицы, да перекоръ шелъ межъ ними... и все изъ того будто бъ, што Бурановъ за все, почесть, поперекъ дороги Онуфрію-то становился... Оба, видать, богатенькіе были, стяжаніемъ заимствовались, ну, и вѣстимо — завидовали другъ дружкѣ. Старикъ-то Онуфрій не разъ плакался, што, можетъ, Господь за то на него и участь такую надѣлъ, што онъ завидовалъ Буранову, што всякое-то дѣло у него въ трижды спорилось, а у тебя, говоритъ, чего ты не дѣешь, все ровно клинъ кто вобьетъ! Возьметъ, говоритъ, это въ ину пору зло, особливо какъ Бурановъ-то зачнетъ, бывало, подскрынивать, и не разъ это въ сердцахъ-то при всемъ обчествѣ говаривалъ ему: „Ужъ я тѣ, пса, доѣду когда-нибудь... жди!..“—Эхъ, ты, соломенная голова, тебѣ ли меня доѣхать,—смѣхомъ огрызался Бурановъ,—ты исшо и колесъ-то у телѣги не успѣшь смазать, а ужъ я тѣ пыли въ носъ пущу, штобъ чихалъ, да не прочихался. „Ну, кто допрежь чихнетъ, поглядимъ ужо, дай время“. А обчественники, извѣстно, глядя на эту усобицу да перебранки, только гоготали. Ужъ не скажу тебѣ, батюшка, долго ль, коротко ль время шли эти перекоры межъ ними и изъ-за чего сыръборъ загорѣлся, только Бурановъ-то шибко подъѣлъ, слышь, Онуфрія въ какомъ-то дѣлѣ... „Ужъ такъ-то мнѣ, говоритъ, было обидно въ тѣ поры“,—сказывалъ старикъ-то, покойная головушка, дай ему Господи царство небесное, свѣтлое мѣсто, — „такое-то, говоритъ, горе взяло меня, што хоть хлѣба лишись, такъ въ ту же пору... и не стерпѣлъ это я однова и скажи ему при народѣ: „Ну... Иродъ, помни ты меня... ужъ заткну я тѣ глотку, отучу тебя изъ чужого рта кусокъ вырывать!“ Съ этихъ-то словъ, говоритъ, я и на страду пошелъ. Вотъ оно, слово-то, батюшка, сколь его съ оглядкой выпущать-то надоть изо рта!.. потому, говоритъ, обчество то опосля подъ присягой энти похвальныя слова мои и вывело... Ну, и жили они такъ-то до поры до время, ни въ ладу, ни въ ссорѣ. Подошелъ, говоритъ, Успеньевъ день—праздникъ на селѣ-то, съѣзжій по здѣшнему-то зовется, у всякаго, говоритъ, гости, гульба... хорошо! И встрѣться гдѣ-то Онуфрій-то съ Бурановымъ за чарочкой, какъ обсказывалъ старикъ, и пойди у нихъ похвальба... Рѣчь-то, вишь, о томъ, быдто, зашла, што есть-де на свѣтѣ экіе молодцы, што вотъ разболокутъ тебя до ниточки и ты не услышишь, потому-де „слово“ экое знаютъ усыпляющее... „Э-э... все, го-

воритъ, энто пустое, бабья брехня одна..." Бурановъ-то говоритъ. „Энто штобъ меня раздѣли, да я не слыхалъ бы, а-а?.. Да я сплю-то, такъ слышу, какъ муха летитъ... Раздѣнька вотъ поди... сунься"...— Раздѣну!.. Онуфрій-то говоритъ ему внезапу это... „Ты, говоритъ, это раздѣнешь меня!" — Я... Ужъ коли раздѣть, говоритъ, не раздѣну, такъ ужъ подушку изъ-подъ головы навѣрняка унесу и ты не услышишь, не тряхнешься—ажъ потому, говоритъ, я энто слово-то знаю... „А-ахъ, ты, говоритъ, вяленый языкъ... ты бы, говоритъ, это унесъ у меня изъ-подъ головы подушку и я бы не слыхалъ, а!.. Н-ну, говоритъ это ему Бурановъ-то,—коли ты взаболь энто слово знаешь и унесешь у меня подушку изъ-подъ головы и я не услышу, то вотъ тебѣ обчество въ поруку—проси тогды, чего хошь... все твое будетъ; все отдамъ"... — И соловаго жеребчика отдашь? спрашиваетъ Онуфрій. „Не постою... твой!.. только унеси подушку изъ-подъ головы! говоритъ Бурановъ. — Но мотри, говоритъ, парень, коли ты да прохваснешь, то, говоритъ, при энтомъ же обчествѣ дегтемъ ужъ я тебя вымажу... знай!.." — Мажь!.. говоритъ Онуфрій.—Ну, ударили это по рукамъ, посмѣялся надъ ними народъ-то и разошлись. Ужъ зналъ-ли точно Онуфрій этакое слово, аль ужъ такъ съ дуру сбрехнулъ —грѣхъ-то его путалъ!.. не скажу тебѣ... и самъ-то онъ опосля спознавался, што, можетъ, Богъ-то и отвелъ бы, говоритъ, меня отъ энтой участи, кабы Бурановъ-то словно на зло не подскрынивалъ. Ровно, слышь, кто толкалъ его на бѣду-то мою: гдѣ бы ни встрѣлись мы съ нимъ, сичасъ это на смѣхъ вздыметъ меня. „Ужъ я, говоритъ, запасъ лагушку што ни есть самолучшаго дехтю... ужъ моего дехтю, говоритъ, не смо-о-оешь, Онуфрій... нѣ-ѣ-ѣтъ!.. де-еготь—первый сортъ... самъ его, говоритъ, на твою милость курилъ!" Ну, ладно!.. Осень ужъ это подошла. Однова — сказать, дѣло-то, говоритъ, это подъ хмѣлькомъ было — и взбреди мнѣ... подшутить-то надъ нимъ... Семъ-ка, думаю, будетъ ужо смѣху-то на міру!.. Ходы-то и выходы въ избѣ-то его зналъ, говоритъ, какъ въ своей. Самъ-то онъ, Бурановъ, завсе спалъ въ избѣ... въ повалку на полу, на войлокѣ... Ночь-то выпала темная... Я и говорю Федюшкѣ, старшему сыну: дай-ка ужо топоръ мнѣ! — „На што, говоритъ, тебѣ топоръ-то въ экую пору занадобился?" — Не твое, говорю, это дѣло знать! А топоръ-то, говоритъ, взялъ я на тотъ случай, што въ ино время Бурановъ-то свычку имѣлъ окна-то съ улицы ставешками припирать, такъ, можетъ, думаю, не занадобилось бы ставешекъ-то отодрать... Хорошо! Разулся, говоритъ, это—взялъ топоръ, подошелъ къ избѣ, а изба-то его, сказать, стояла, почесть, посередь деревни и задворками-то выходила въ поле... а за полемъ-то, неподa-

лечку и лѣсокъ шелъ. Ну, ладно!.. Подошелъ, говоритъ, къ избѣ-то... вижу, не приперты окна ставешками. Послухалъ... тихо все въ избѣ, спятъ, только одно, говоритъ, мнѣ маненько чудно показалось въ тѣ поры... собака на дворѣ-то жила у него злющая... и—и, бѣдовая собака... одно слово... не чуетъ — не даетъ это голосу... Ну, да ладно, думаю, мнѣ же лучше... Потрогалъ это створки у окна-то: вижу, веревочкой одной приперты... просунулъ, говоритъ, это топоръ подъ нихъ... натянулъ одну-то створку, перерѣзалъ топоромъ веревочку и растворилъ окно... спятъ, слышу, спятъ и не чухаютъ... „Вотъ тѣ и чуткой, думаю, а!“ Влѣзъ это тихо—тихо... пошарилъ его, Буранова-то, у лавки спитъ!.. Въ головахъ-то полушубокъ... вынулъ я энтотъ полушубокъ и назадъ... назадъ... лѣзу это опрометью... Не спустился исшо изъ окна-то на землю... слышу: „стой, говорятъ, што за человѣкъ!..“ А староста это ѣздилъ за чѣмъ-то въ волость, да какъ разъ на энтотъ случай и подкати на вершной съ крестьяниномъ однимъ изъ ихней же деревни. Увидѣвъ это, што онъ изъ окна-то лѣзетъ — спрыгнулъ съ вершной-то и крикнулъ: „стой!“ — Пуст-и-и!.. говоритъ Онуфрій-то. — О-о, штобъ тѣ, неужъ не узналъ меня, Онуфрія-то? „Да што ты, говоритъ, парень, въ умѣ-ль... по ночамъ-то задумалъ въ чужія избы въ окна лазить?.. спрашиваетъ его староста.—Молчи... Онуфрій-то говоритъ ему.—Выпивка-то ужо будетъ здо-о-оровая!.. Теперь ужъ, говоритъ, соловой-то жеребчикъ мой, хошь не хошь, а будь слову вѣренъ!.. ну, обсказываетъ старостѣ, што про закладъ то бились... Ну, и староста-то зналъ про энтотъ споръ ихъ. Смѣются... И не пошевельнулся, говоритъ, какъ я у него изъ-подъ головы полушубокъ-то вынулъ... вотъ сколь чутко дрыхнетъ!.. Не токма разболоки, а хошь за ноги-то выволоки, такъ не услышитъ! Ну, съизнова, говоритъ, это посмѣялись и пошли было. Только староста-то остановись, да и говоритъ; „Вернемся-ка, говоритъ, парень, да побудимъ его... ладно-ли такъ-то уйти? — Пойде-е-емъ, говоритъ Онуфрій. — Ужо завтра полушубка-то хватится... будетъ смѣху-то... „Не взъѣлся бы, слышь...„—А и взъѣстся, такъ што жь — неужь укуситъ... иди-и! „Нѣтъ, парень, побудимъ!.. Ловчѣй, говоритъ, дѣло-то будетъ...“ настаиваетъ староста,—и вернись... Ну, вѣстимо, и Онуфрій-то съ нимъ же вернулся... подошли къ окну, изъ котораго Онуфрій-то вылѣзъ... староста и крикни Буранову-то смѣхомъ: „Эй, надѣнька, говоритъ, ужо полушубокъ-то, да выдь-ка на улицу-то!“ Отвѣта нѣтъ... „Ну, и спи-и-итъ же парень...“ говоритъ себѣ, смѣясь, Онуфрій-то съ мужикомъ. Вотъ староста и вдругорядь крикни и примись стучать, не въ шутку ужъ кулакомъ-то зазыкалъ... но въ избѣ, слышь, хоть бы ше-

лохнули тебѣ... Тутъ ужъ и изъ сусѣдскихъ избъ на стукъ-то окна поотворялись... народъ сталъ показываться, а въ избѣ Буранова не щелкнетъ што ись!.. „Што за диво!“ говоритъ староста-то.—„Разоспался-то какъ нашъ Бурановъ... ужъ ладно ли дѣло то, братцы? Давай-ка ужо огоньку, да буди народъ-то!..“ Ну, взбудили кое-кого, кто поближе... огню-то припесли, глянули... А полушубокъ-то, што въ рукахъ у Онуфрія, былъ весь въ крови... „Такъ я, говоритъ, братцы, сказывалъ Онуфрій-то,— какъ стоялъ это на мѣстѣ-то, такъ и обомлѣлъ весь, такъ и похолодѣлъ... и куды это хмѣль изъ головы дѣвался!“ Ну, вошли, говоритъ, какъ въ избу-то и примолкли. Бурановъ убитъ... Жену его подъ кроватью нашли ужъ безъ дыханья... Дочь была на возрастѣ, тутъ же успокоена... Сынокъ, говоритъ, паренекъ лѣтъ десяти... и што ись собака-то на дворѣ и та пришиблена. Слыхалъ экое диво?—спросилъ Ларіонъ, пристально посмотрѣвъ на меня.

— Кто же убилъ?..

— Кто?..—переспросилъ онъ.—Кто убилъ, тотъ руки-ноги не оставилъ... Вотъ и посуди: куды его шуточка-то привела... Ну, чего жъ разсказывать далѣ-то! И пошло судъ да дѣло—и клялся, и божился, покойникъ-то Онуфрій; сказывалъ, што не мой-де это грѣхъ, не повиненъ я въ ихъ крови... да рази дадутъ тебѣ вѣру, коли свидъ на лицо, а?.. Его у окна поймали, топоръ, какъ онъ положилъ на окно, отворивъ его, такъ и оставилъ, какъ въ попыхахъ-то въ обратній лѣзъ... и самъ отъ полушубка-то въ крови выпотрался... и обчество, говоритъ, подъ присягой доказало, што не однова Онуфрій-то похвалялся заткнуть ротъ Буранову. Такъ ужъ дадутъ-ли вѣру твоей слезѣ въ эфтомъ случаѣ, по себѣ посуди, а?.. Ну, и смазали его... только не дегтемъ, какъ сулилъ ему Бурановъ, а плетьми, да ужъ такъ-то, што во вѣкъ не смоешь... да на двадцать годковъ каторги осудили сердешнаго... Вотъ сколь легко пошутилъ-то!..

— А какъ же открылось, что не онъ виновникъ?

— Открылось-то?.. а случай, батюшка, подошелъ такой... Съ пустого разговора дѣло-то зашло. Лѣтъ за пять исшо до моего прихода, пришелъ на заводы-то молодецъ одинъ... Онъ ужъ и ранѣ былъ въ каторгѣ-то, да убѣгъ... и лѣтъ никакъ болѣ десяти въ бѣгахъ-то по каторгѣ скучалъ... Ефимъ Козловъ прозывался... изъ дворянъ исшо выдавалъ себя... Ну, и съизнова попалъ въ то же гнѣздо... И выпади разъ такое дѣло: отрядили, слышь, партію изъ нашихъ-то верстъ за пятнадцать отъ завода дрова рубить и попади-къ въ эфту партію и Онуфрій-то старикъ, и Ефимъ. А партіи-то энти иной разъ по мѣсяцу живугъ въ лѣсу безсмѣнно. Ну, ладно... Тамъ-то однова и разгово-

рись Ефимъ-то съ Онуфріемъ. Откуда, да што, да какъ... На повѣркуто и выйди, што Ефимъ-то всѣ тѣ мѣста знаетъ, изъ коихъ Онуфрій-то... и деревню-то знаетъ... проживалъ, говоритъ, въ ней, хоша и не въявь.—„У кого?“ спрашиваетъ тотъ—„У Буранова“, говоритъ... „Когда?“ „Въ такое-то время“... да внезапу, кабы сказать тебѣ, и спроси Онуфрія-то: „да ты говоришь, изъ тѣхъ мѣстъ, што ли?“—„Изъ тѣхъ, Онуфрій-то говоритъ, изъ той самой деревни, гдѣ Бурановъ жилъ“.—„За што судился?“—За убійство, говоритъ,—будто бы самаго энтого Буранова“... Посмотрѣлъ, говорятъ, на него Ефимъто... долго столь посмотрѣлъ да и говоритъ: „Ну, сердешный, никакъ ты тутъ безпричинно муку несешь... не твой энто грѣхъ... не твое бы здѣсь и мѣсто...—„Не мой, говоритъ Онуфрій-то, видитъ Богъ, не мой!..“ „Не твой, говоритъ Ефимъ.—За нашъ, говоритъ, грѣхъ ты муку несешь... знай!.. Мы, говоритъ, Буранова-то уходили“... И повѣдай онъ тутъ, што Бурановъ-то энтотъ станъ имѣлъ у себя: стало быть бѣглые тайно проживали у него... и занимались конокрадствомъ... Ефимъ-то съ двумя молодцами и проживали у Буранова въ лѣсу на пасѣкѣ... да што-то и повздорили съ нимъ однова... Бурановъ-то и пригрози выдать ихъ... Какъ угрозу-то энту онъ вымолвилъ имъ, они, не запущая дѣла, и порѣшили уходить его, да ночью проберись это полемъ-то и войди въ домъ—задворками... и только, говоритъ, порѣшили съ нимъ... стали деньги, было, да худобу искать въ избѣ... слышимъ... съ улицы-то стали створку у окна подергивать... и видимъ—человѣкъ въ окно-то съ улицы глядитъ. „Бѣ-ѣда!“ думаемъ... знать, мужики-то возню услыхали, спохватились, да избу окружили... И давай Богъ ноги—въ бѣгъ!.. Ну, и ушли съ эстихъ мѣстъ... Одинъ-то изъ товарищей—отшатнулся, говоритъ, опосля... да безъ вѣсти пропалъ... Другой-то ужъ въ острогѣ померъ, а Ефимъ-то и угоди съизнова въ каторгу.

— Ну, что же, заявилъ Ефимъ о своемъ преступленіи?—прервалъ я.

— Заявилъ!... Повинился предъ начальствомъ... Обсказалъ все, какъ дѣло было... и што ранѣ-де не винился въ эфтомъ грѣхѣ единственно, штобъ не утягчить своей участи... Ну, да не приняли, вишь, повинной-то его... оставили втунѣ... Полагали, можетъ статься, што энто сказки все... потому вчастую это, батюшка, бываетъ, што наша братья за деньги принимаетъ на себя чужіе грѣхи... Бывали и такіе случаи... А ужъ убивался же Онуфрій-то... и сказать тебѣ не могу, какъ убивался... инда вчужѣ жалость брала...—съ грустью въ голосѣ произнесъ Ларіонъ Маркычъ.

— Онъ такъ тамъ и померъ?..

— Въ скорости, почесть, послѣ эфтаго и конецъ принялъ... Старъ ужъ былъ... ну, и сокрушенья-то немало было ему... Все энто тосковалъ, все убивался—почесть, до послѣдняго часа дѣтокъ все вспоминалъ, мѣста свои... Вотъ и подумай, кормилецъ, снова началъ Ларіонъ послѣ минутнаго молчанія. Ну, грѣшенъ... ужъ кто... повиненъ... такъ по дѣломъ вору и мука... сказываютъ... А какого оно энти муки-то терпѣть... неповинному-то человѣку, а-а?..

— Ужасно...

— Ужасть... вѣрно ты это сказалъ...—согласился онъ.—Э... эхъ... батюшка... не радъ я, што и языкъ-то свой расчесалъ съ тобой... право!..—вдругъ неожиданно заключилъ онъ, махнувъ рукою.

— Отчего?

— Молчать-то лучше бы... грѣха меньше... а то вотъ разболташься какъ, такъ ровно дрожжа въ пивѣ дума-то бурлить въ тебѣ почнетъ... Сколько этаго непотребства въ голову полѣзетъ. А кто бы и говорилъ-то... хоша бы человѣкъ!..—съ нескрытымъ презрѣніемъ въ голосѣ произнесъ онъ.

— А развѣ же ты не человѣкъ, Ларіонъ Маркычъ?

— Человѣ-ѣкъ... Ужъ какой я человѣкъ... червь пресмыкающій...

— Ну, полно... для чего ты такъ унижаешь себя?

— Вѣрно тебѣ говорю... вѣрь!.. Ужъ униженнымъ какое исшо униженье знать... Ужъ одну мнѣ только думу надо думать теперь: „Прости Господи прегрѣшенія раба твоего Ларивона“. А я еще въ помыслы пущаюсь, гдѣ не моего ума дѣло... и то бы-де не такъ надоть... и другое бы не этакъ... Ндравятся тебѣ, батюшка, тавлинки-то мои, што ли? — какимъ-то отрывистымъ, сердитымъ тономъ спросилъ вдругъ онъ.

— Нравятся... хороши...

— Ну, и за то спасибо, што похвалилъ... все утѣха...

— Продай-ка мнѣ ихъ, Ларіонъ Маркычъ?—спросилъ я.

— О-о-о!... Неужъ и взаболь онѣ тебѣ любы?..

— Я, не шутя, тебѣ говорю...

— Продай!—усмѣхнувшись, произнесъ онъ...—А што, сердешный баринъ, не почтешь ты моего слова за обиду?..—ласково спросилъ онъ, и на лицѣ его отразилось что-то беззавѣтно доброе.

— Не знаю... какое вѣдь слово...

— Прими ты ихъ отъ меня, будто бы какъ въ даръ, не погнушайся... а-а?

— Да за что же ты даришь меня, Ларіонъ Маркычъ?..

— Прими... окажи эту милость!..

— Ежели ты этого хочешь... изволь...

— Прими... сердешный ты человѣкъ... прими... Дарю-то я ихъ за привѣтъ... за привѣтъ твой, за доброе твое слово, што не погнушался вотъ ты варнакомъ, не презрилъ его.

Старикъ заплакалъ.

Я растерялся и, положительно, не нашелся, что сказать въ отвѣтъ ему.

— Э... эхъ... батюшка!—снова началъ онъ.—Для меня ласка-то, доброе-то слово—дороже горы золота. Мнѣ вотъ въ радость, што ты, вотъ, поговорилъ-то со мной, какъ съ путнымъ... по Божьи... не погнушался вотъ клеймомъ-то...—говорилъ старикъ.

. . . . . .

Было около девяти часовъ вечера, когда я возвратился на занимаемую мною квартиру, и на другой же день уѣхалъ изъ Бунгура... Мнѣ не довелось быть болѣе въ этомъ селѣ и встрѣчаться со старикомъ Ларіономъ. Несмотря на всѣ мои разспросы крестьянъ изъ той мѣстности, о дальнѣйшей участи Ларіона я ничего не слыхалъ. Вѣроятно, вѣкъ его былъ не дологъ...

ПАУТИНА.

(Сцены).

Былъ жаркій іюльскій день, когда я въ первый разъ подъѣзжалъ къ селу Т...ь. Усталые кони съ трудомъ взбирались на гребни холмовъ, на которые взбѣгала порою узенькая проселочная дорога. Въ воздухѣ было тихо и душно, и даже комары, стаями кружившіеся, преслѣдуя насъ во весь путь, попрятались отъ зноя. Ямщикъ дремалъ, лѣниво понукая лошадей и помахивая на нихъ кнутомъ. Когда же показалось село, внезапно выглянувшее изъ-за холма, онъ оживился и, обернувшись ко мнѣ, спросилъ: „къ Кузьмѣ Терентьичу завезти тебя, што-ли?“

— Вези къ кому хочешь!—отвѣтилъ я.

— Поѣдемъ къ нему: домовитый мужикъ-то, первый въ селѣ. У него всякое начальство останавливается, по-купецки живетъ! — пояснилъ онъ.

— Богатый, значитъ?—спросилъ я.

— И-и, страсть вымолвить!—протянулъ онъ, сидя на облучкѣ, въ полъ-оборота ко мнѣ.—Коней однихъ што о, упаси Господи! Всякій заводъ есть, касательно чего ни возьми. Однихъ самоваровъ, скажу тебѣ, никакъ съ дюжину будетъ, во-отъ какой чинный мужикъ!

— Торгуетъ развѣ чѣмъ? — спросилъ я, заинтересованный его поясненіями о домовитости Кузьмы Терентьевича.

— Торгующій! У нихъ вѣдь тамъ чуть не половина села все торгующіе!—дополнилъ онъ, нѣсколько помолчавъ. — Торговый народъ, ловкій, маху, братецъ, не дадутъ, нѣ-ѣ-ѣтъ, и крещенаго человѣка, и нехристя на одномъ сучкѣ окрутятъ.

— Чѣмъ же они торгуютъ?

— Первое дѣло, братецъ ты мой, виномъ, второе тебѣ дѣло—харчами. У нихъ, почесть, што ни домъ, то и постоялый дворъ, и кабакъ. Лавокъ, братъ, этихъ множество, ситцами теперича торгуютъ, обувью

и всякимъ товаромъ, — ну, касательно и бабъ ихнихъ скажу тебѣ, стра-а-асть сколько денегъ зашибаютъ!

— Бабы-то чѣмъ же?—полюбопытствовалъ я.

— Чѣмъ? Хэ!—съ ироніей переспросилъ онъ и, приподнявъ картузъ, почесалъ затылокъ, до того изъѣденный комарами, что онъ представлялъ изъ себя сплошной нарывъ:—самороднымъ таланомъ, произнесъ, наконецъ, онъ, растворивъ ротъ въ широкую улыбку.

Дорога выбѣжала въ это время на лугъ и взвилась вдали на высокій, расположенный террасами, холмъ, снова скрывшій отъ нашихъ глазъ село. По правую сторону дороги лежала глубокая лощина, такъ что вершины росшихъ въ ней деревьевъ не достигали крутого обрыва холма, обнесеннаго толстыми сплошными перилами. Настеганныя ямщикомъ лошади пустились рысью, но, поднявшись только на первую террасу, остановились въ изнеможеніи.

— Дай, братецъ, лошадкамъ-то передохнуть, сдѣлай милость!—обратился ко мнѣ ямщикъ, приподнимая шапку и слѣзая съ облучка.

Я вышелъ изъ телѣги и, подойдя къ обрыву, сѣлъ на высунувшійся изъ земли камень, густо обросшій мхомъ. Ямщикъ тоже подошелъ ко мнѣ и, доставъ изъ-за пазухи трубку, набилъ ее табакомъ изъ кисета, сшитаго изъ ситцевыхъ лоскутковъ, и, вырубивъ огня, опустился на землю.

— Какія благодатныя мѣста у васъ,—сказалъ я, любуясь на снѣговыя горы Алтая съ блѣдно-розовыми вершинами, клубившимися на горизонтѣ, какъ облака. Вдали, за зеленѣющею грядою холмовъ, сплошною стѣною тянулись лѣса, окутанные легкою синеватою дымкой, „чернь“, какъ называетъ ихъ народъ. Внизу, у подошвы самаго холма, на которомъ сидѣли мы, лежала долина, покрытая роскошною растительностью, какою отличаются долины предгорій Алтая.

— Мѣста у насъ—умирать, братъ, не надо!—отозвался ямщикъ на мое замѣчаніе. — По этимъ мѣстамъ только жить бы да жить нашему брату, а все, другъ мой сердешный, мается народъ-то: и хлѣба теперича урожай, не пожалуемся, и пчелка водится, медку-то тебѣ за лѣто съ избыткомъ припасетъ она, а маемся, диви вотъ!—заключилъ онъ.

— Отчего же вы маетесь?

— Отчего?—повторилъ онъ.—И хорошія, братъ, мѣста у насъ, да глухія, суди самъ: теперича въ урожайный-то годъ хлѣбъ-то хошь даромъ отдавай, такъ никто не беретъ у тебя, вотъ оно дѣло-то! А подать-то не ждетъ, по хозяйству тоже безъ гроша клина не вобьешь, а гдѣ ихъ, грошей-то, брать прикажешь? И отдаешь все задаромъ, да

еще наклапяешься, только возьми Христа-ради! Ну, у кого лошадей много да во времени избытокъ, нагрузитъ воза да въ Т...ъ городъ везетъ, ему и выгода, и богатѣетъ, а нашему-то брату не сподручно это, потому и лошадушекъ намаешь, и время-то тебѣ терять не доводится. Вѣдь на ѣзду-то въ городъ, братецъ ты мой, по путному волоку мѣсяца полтора клади; харчи тоже надоть тебѣ и конямъ, оно и выйдетъ, што коли ты и продашь хорошо, такъ на себя да на копей протравишь сколько, а домой-то все съ пустымъ карманомъ вернешься. Да и въ городу-то, коли много нашего брата наѣдетъ, такъ тоже наплачешься, цѣну-то тебѣ такъ сшибутъ, што хошь домой вези или задаромъ тому же прасолу отдавай. Сподручно-ль оно, суди самъ! Вотъ ты и у хлѣба сидишь, а горя все не минуешь. Вонъ т...цамъ лафа, и не сѣютъ, да жнутъ. Не они, братъ, за деньгами гоняются, а деньги за ними. Они, вонъ, круглый годъ на печи лежатъ, пальцъ о палецъ не ударятъ, а другіе на нихъ робятъ да тыщами имъ несутъ! Струна, братъ имъ!— закончилъ онъ, сдернувъ съ головы картузъ и сердито почесывая изъѣденный затылокъ.

— Кто же это работаетъ на нихъ да тысячами къ нимъ носитъ, а?—спросилъ я.

— Кто? Таежники, пріисковые рабочіе, вотъ кто!—отвѣтилъ онъ, искоса взглянувъ на меня.—Вишь, село-то ихъ стоитъ первымъ на пути по выходѣ рабочихъ изъ тайги-то! Лѣто-то таежники робятъ, свѣту не видятъ, никакой, значитъ, льготы имъ хозяева-то не даютъ,—ну, денегъ-то зарабатываютъ ничего себѣ; иной, коли въ акуратѣ содержитъ себя, и помногу выноситъ ихъ съ пріисковъ-то! Ну, какъ придутъ въ Т...ъ-то, а тутъ и не зѣваютъ, встрѣчаютъ ихъ, братецъ ты мой, со всякимъ удовольствіемъ, а тѣ, извѣстно, и распояшутся, да все, чего не заробятъ за лѣто, своими руками и покладутъ въ карманы т...скихъ мужиковъ. Слыхалъ? Ну, какъ не житье, а?

— Этимъ только и живутъ т...цы?

— Самымъ этимъ промысломъ. И ловкачи же, братъ, они,—а-а-ахъ, ты Боже мой! Ну, какъ не скажешь, што всякому своя фортуна, а?— тоскливо воскликнулъ онъ.

— Завидно, поди, вамъ, глядя на такой промыселъ, а?

— Какъ, братецъ, въ ину пору не позавидуешь! — уныло отвѣтилъ онъ послѣ непродолжительнаго раздумья. — Ты робишь, робишь всю жизнь, не покладая рукъ, а все у тебя прорѣхи однѣ, нигдѣ цѣльнаго мѣста не найдешь, а тутъ вонъ подъ бокомъ у тебя твой же братъ, мужикъ, да вѣдь какъ къ энтому-то дѣлу приладился. И живетъ-то всласть, ни горя-то у него, ни заботы, и всего-то у него вдоволь, и

знашь ты, што онъ такой же мужикъ, какъ ты, а робѣешь предъ нимъ, издали-то завидишь его, такъ сама рука къ шапкѣ тянется.

— Чего же робѣть-то?..

— Какъ ты не обробѣешь предъ нимъ,—прервалъ онъ меня.— Вѣдь онъ купецъ, вѣдь у него карманъ то отъ денегъ трещитъ да врозь лѣзетъ. Какая напасть тебя пристигнетъ, куда ты безъ него-то дѣнешься? Захочетъ онъ, изъ петли тебя вынетъ, а разсерди его—самъ на тебя петлю накинетъ. Ну, и ублажаешь его на всякій манеръ!— Такъ къ Кузьмѣ Терентьичу тебя завезти-то, што-ли? — снова спросилъ онъ, выколотивъ докуренную трубку и завертывая ее въ кисетъ.

— Вези къ нему!..

— Богатый мужикъ!—повторилъ онъ, взлѣзая на облучекъ,—и голова же, братъ, о-о!..

— Умный?

— Ума этого у него въ три беремя не облапишь. Да вотъ поглядишь самъ, каковъ онъ есть, Кузьма-то Терентьичъ!—произнесъ онъ, трогая лошадей.

Отдохнувшіе кони пошли бодрѣе въ гору, и черезъ нѣсколько минутъ мы были на вершинѣ холма, у подножія котораго лежало село. Общій видъ села, особенно съ вершины холма, напоминалъ своею формою подкову, упиравшуюся обоими концами въ обрывистый берегъ рѣки Т—ь, по имени которой называлось и самое село. По срединѣ села стояла высокая каменная церковь, и куполъ ея, обшитый бѣлой жестью, ярко горѣлъ теперь отъ солнечныхъ лучей. Спустившись съ холма, мы въѣхали въ широкую, прямую улицу, обнесенную по обѣимъ сторонамъ низенькими, иногда покосившимися и вросшими въ землю избушками, среди которыхъ то по одну, то по другую сторону улицы неожиданно выросталъ передъ глазами высокій одноэтажный или въ два этажа домъ, съ балконами, покоившимися на затѣйливо выточенныхъ колонахъ, съ рѣзными, ярко раскрашенными ставнями и плотными деревянными заборами. Странный контрастъ представляли подобные дома, высившіеся среди убогихъ сосѣдей своихъ, изнуренныхъ лѣтами и непогодами. Они походили какъ будто на новыя, яркія заплаты, нашитыя на ветхомъ рубищѣ нищаго, и своею вычурной красотой только сильнѣе оттѣняли убогій и невзрачный видъ лѣпившихся около нихъ лачугъ.

Ямщикъ остановилъ лошадей передъ однимъ изъ такихъ выдающихся наружностью домовъ, и едва я слѣзъ съ телѣги, какъ плотныя рѣзныя ворота раскрылись настежь и меня встрѣтилъ крестьянинъ лѣтъ пятидесяти на видъ, въ тиковомъ халатѣ, накинутомъ поверхъ

чистой ситцевой рубахи. Сѣдые, нѣсколько вившіеся волосы на головѣ его были подстрижены въ скобку и отчасти закрывали высокій лобъ, изрѣзанный морщинами. Маленькіе каріе глазки, свѣтившіеся изъ морщинистыхъ орбитъ, пристально остановились на мнѣ.

— Добро пожаловать, милости просимъ! — произнесъ онъ, кланяясь.—А мы, признаться, давно ужъ поджидаемъ вашу милость! — говорилъ онъ, ведя меня по лѣстницѣ, устланной чистымъ холщевымъ половикомъ, въ верхній этажъ своего новаго, красиво и удобно расположеннаго дома.

Введя меня въ обширную комнату, оклеенную пестрыми обоями, съ окрашенными подъ шахматъ полами, Кузьма Терентьевичъ вышелъ, чтобъ присмотрѣть за моими вещами. Комната была уставлена массивными креслами съ мягкими подушками, обтянутыми свѣтлымъ съ бирюзовыми полосами ситцемъ. У передней стѣны между окнами стоялъ большой мягкій диванъ; около дивана круглый столъ, накрытый бѣлою скатертью, и на столѣ красовался массивный бронзовый подсвѣчникъ съ тремя стеариновыми свѣчами. Въ простѣнкѣ висѣло большое зеркало въ рѣзной, орѣховаго дерева, рамѣ. По стѣнамъ были развѣшены въ деревянныхъ рамкахъ гравированные портреты членовъ царской фамиліи и портретъ Ермака, писанный масляными красками. Завоеватель Сибири былъ изображенъ въ рыцарскомъ шлемѣ съ огромнымъ страусовымъ перомъ краснаго цвѣта, въ кольчугѣ и съ копьемъ въ рукѣ. Кисейныя занавѣски на окнахъ, прикрѣпленныя вмѣсто розетокъ розовыми ленточками, дополняли убранство комнаты. Большая стеклянная дверь въ углу вела на балконъ, съ котораго открывался прелестный видъ на окрестности села.

— Пожалуйте-ка, ваша милость, выкушайте, съ дорожки-то оно очень способно!—раздался сзади меня голосъ Кузьмы Терентьевича, поднесшаго мнѣ на небольшомъ корковомъ подносѣ рюмку съ виноградным виномъ.—Обычай у насъ такой, штобъ съ дороги обогрѣть человѣка,—отвѣчалъ онъ на мой отказъ;—входя въ домъ, отъ хлѣба-соли грѣшно отказываться!

Намъ подали чай. Усадивъ меня на диванъ къ круглому столу, Кузьма Терентьичъ сѣлъ около порога и, закинувъ полы своего халата, еще разъ пристально оглядѣлъ меня. Не говоря объ убранствѣ въ домѣ, которое рѣзко бросалось въ глаза своею щеголеватостью, хотя отчасти и безвкусной, объ обширномъ дворѣ, обнесенномъ громадными пристройками, каждая мелочь, на которую падалъ взглядъ, доказывала не только крупную зажиточность Кузьмы Терентьича, но даже знакомство его съ нѣкоторымъ комфортомъ. Варенье къ чаю

было подано въ хрустальныхъ вазахъ, которыя бы сдѣлали честь любому купеческому дому. Чайныя ложки, щипчики для сахара, вилочка для лимона были изъ чистаго серебра; даже поданы были салфеточки подъ стаканы и сухари и печенья московскаго издѣлія, достигающія въ Сибирь чрезъ ирбитскую ярмарку,—все это какъ-то странно было встрѣтить въ домѣ крестьянина, въ селѣ, заброшенномъ въ такую глушь. Замѣтивъ, что я обратилъ па окружающую меня обстановку вниманіе, Кузьма Терентьичъ улыбнулся и окинулъ меня самодовольнымъ взглядомъ, какъ бы говоря: „А что, братъ, не ожидалъ, небойсь, этого встрѣтить, такъ вотъ знай же теперь, каковы мы, т...скіе мужики!“

— Понравилось-ли вашей милости село-то наше? — улыбаясь, спросилъ онъ, наливая чай на блюдце.—Многіе его очень одобряютъ, особливо когда въ первый разъ заѣдутъ къ намъ.

— Красивая мѣстность!—отвѣтилъ я. — И самое село по большинству своихъ зданій скорѣе походитъ на городъ. Въ первомъ еще селѣ я встрѣтилъ такое обиліе лавокъ, только гдѣ же вы находите покупателей на свои товары?—спросилъ я.

— Не мы, сударь, покупателей ищемъ, а покупатель насъ. Въ глухое время-то пожаловали вы къ намъ. По осени-бы вамъ заѣхать сюда, любопытнѣй бы для васъ было.

— А осенью развѣ что-нибудь особенное происходитъ у васъ?

— Много особенностей, мно-о-ого-съ! — повторилъ онъ. — Къ таежникамъ бы приглядѣлись на всю ихнюю неосновательность. Безобразный народъ! — заключилъ онъ, ставя на столъ допитое блюдце.

— Чѣмъ?

— Какъ вамъ разсказать—чѣмъ, съ разу-то всего не разскажешь. Это надобно, сударь, своимъ глазомъ видѣть. Теперича, не утаивая правды, скажу, про наше село худая слава идетъ, чай и вы, поди, слышали?—съ ироніей посмотрѣвъ на меня, спросилъ онъ.—По людской-то молвѣ хуже нашего мужика и на свѣтѣ нѣтъ: и грабители-то мы, и народъ-то спаиваемъ, штобъ легче его подъ пьяную руку обирать, и чего, чего, какихъ только художествъ и качествъ не говорятъ про насъ! Какъ послушаешь всѣхъ рѣчей, такъ ровно у насъ и не село, а разбойный притонъ.

— Поговариваютъ, что такъ...—прервалъ я.

— Знаемъ, сударь, што поговариваютъ, какъ не знать, — покачавъ головой и подувши слегка на чай, налитый на блюдце, продолжалъ онъ. — А только все это неправда, сударь, клевета одна да зависть. Кушайте еще-съ, пожалуйте, милости просимъ, чаекъ у меня

хорошій, — говорилъ онъ, принимая отъ меня допитый стаканъ, — ящиками покупаю, торгую имъ малымъ дѣломъ, въ числѣ прочаго. Худымъ ужъ вашу милость не поподчуемъ! Я вѣдь и на пріиски, сударь, въ ину пору чаи поставляю, а пріискатели—народъ тонкій, на эту матерію разборчивый...

— Вѣрю, и чай у васъ, дѣйствительно, прекрасный, только я не хочу болѣе...

— Жаль, што мало кушаете, а мы такъ, признаться, съ утра и до ночи около самоварчика-то охолаживаемся, очень къ чаю-то навыкли. Можетъ, закусить не прикажете-ли чего, у насъ и балычекъ астраханскій есть, и икра, и сардиночки, и вина, какихъ только пожелаете.

— Домовито вы живете, Кузьма Терентьичъ!—замѣтилъ я.

— Нельзя иначе, сударь. Коли съ хорошими людьми компанію водить, такъ и про запасъ держи все хорошее. У меня вѣдь, сударь, всѣ золотопріискатели остановку имѣютъ, народъ—тысячники, худого имъ не подашь, коли спросятъ чего. А мы, теперича, хоша и въ крестьянскомъ званіи состоимъ, а тоже амбицію свою соблюдаемъ! — заключилъ онъ, многозначительно взглянувъ на меня.

— Вы здѣшній уроженецъ?

— Природные здѣшніе! И батюшка покойникъ, и дѣдушка не выѣзжали никуда изъ здѣшнихъ мѣстовъ. Вѣдь наше, сударь, село и жить-то пошло съ тѣхъ поръ, какъ золото въ тайгѣ открыли, а допрежь того на этомъ мѣстѣ поселокъ стоялъ, въ которомъ было-ли и шесть дворовъ; ну, а когда золото открыли, то потребовалось для пріисковъ и то, и другое, и третье, золота въ тѣ поры добывали много, деньги-то были дешевы, такъ сказать, нипочемъ, пріискатели-то зря ихъ метали за всякую маломальскую послугу, ну народъ-то и повалилъ сюда ради наживы, да изъ шести-то дворовъ теперь выросло безъ малости триста. А нашъ то родъ — издавніе здѣшніе старожилы. Тятенька, покойникъ, и церковь-то самолично заложилъ, и своимъ коштомъ воздвигъ оную. Двѣ серебряныя медали покойникъ носилъ, одну малую, другую большую на шеѣ, а все-таки остался, сударь, въ крестьянскомъ чинѣ и мнѣ благословенія не далъ изъ сермяги вылѣзать!

— Отчего же, по любви къ своему сословію или по другимъ какимъ причинамъ?

— Покойникъ такъ говаривалъ, сударь: съ твоимъ-де капиталомъ да властью по крестьянству ты завсегда будешь первымъ человѣкомъ, и чего бы ты ни сдѣлалъ, все тебѣ съ рукъ сойдетъ, потому ты мужикъ, а съ мужика какой взыскъ! А коли въ купцы, говоритъ,

выйдешь, то въ ранговые-то не попадешь, а на задворкахъ путаться и самъ не захочешь.

— Въ какіе же это ранговые?—полюбопытствовалъ я.

— По вашему-то, сударь, сказать бы первостатейные...

— Но вы все-таки торгуете же?..

— По купеческому свидѣтельству, и въ то же время всѣ крестьянскія тяготы несемъ, наравнѣ съ иными прочими. Торговля наша, сударь, не то, штобы обыденное занятіе, а ближай всего на ярманку смахиваетъ. Разъ въ году, не болѣе мѣсяца, мы эфтимъ дѣломъ занимаемся, когда, значитъ, по осени пріисковые рабочіе изъ тайги выходятъ, а въ остальное время мы и лавокъ не растворяемъ, развѣ только за товаромъ приглядѣть да лавку провѣтрить понадобится. Да и товары-то у насъ, сударь, не ахтительные, по скусу рабочихъ закупаемъ ихъ: готовыя ситцевыя рубахи, шаровары плисовые, шляпы поярковыя, сапоги, бродни, полушубки, ну, опоиски, што поузорнѣй, зипуны, а такихъ, штобы дорогихъ, нѣтъ. У меня, окромя этихъ товаровъ, бакалейные еще имѣются: пряники, орѣхи разные, конфеты, варенья, што касается, значитъ, до лакомства; ну, вина разныя и закуски. А главная теперича статья—это постоялые дворы, харчи и прочее содержаніе рабочихъ. Вѣдь мимо нашего села-то, сударь, не одна тыща этого народа проходитъ; вѣдь если бы теперича не мы, ваша милость, оберегали рабочихъ, такъ тутъ бы одинъ Господь вѣдалъ, чего бы дѣлалось на свѣтѣ...

— Вы оберегаете рабочихъ,—чѣмъ же это и отъ чего?..

— Мы-съ!.. Истинно говорю вамъ, што благодѣтельствуемъ имъ; если бы только не мы, о-о Господи, и слова то не найдешь сказать, чего бы только не творилось межъ ними! — произнесъ онъ, махнувъ рукой и пытливо изподлобья посмотрѣвъ на меня, какъ бы желая уловить, какое впечатлѣніе производятъ на меня его слова. — Грабежу бы этого, убійства сколько было,—продолжалъ онъ,—да такъ, скажу вамъ, сударь, што и третья бы часть ихъ не возвращалась домой, всѣ бы перерѣзали другъ друга, ей-богу-съ!.. Теперь вотъ въ народѣ зовутъ насъ плутами, грабителями, а все это зависть одна людскимъ языкомъ ворочаетъ, глядя на нашу избыточную жизнь, а если бы попытали на себѣ, сколько хлопотъ намъ съ этимъ народомъ да непріятностей, такъ не то бы заговорили...

— Какія же такія непріятности и хлопоты? Объясните мнѣ, я все-таки не понимаю,—спросилъ я.

— Хлопоты, сударь, такія, што и врагу ихъ не пожелаешь. Вѣдь на пріиски работать идетъ все такой народъ, у котораго ни Бога, ни

совѣсти нѣтъ; идутъ-то все болѣе варнаки-посельщики, што ни самые оголтѣлые. Денегъ-то они заработываютъ и выносятъ оттуда помногу. Придетъ онъ къ намъ и почнетъ ломаться, дорвется до вина-то, такъ вѣдь обликъ человѣческій потеряетъ, въ эфтомъ-то видѣ такъ и норовитъ другъ друга ограбить, а то и на ножъ посадитъ. Ну, не остереги его во-время, такъ чего бы было?.. Вотъ и оберегаешь его, Бога памятуя, а чего стоитъ тебѣ оберечь-то его отъ худыхъ-то дѣлъ, никто не видитъ, а што живемъ-то избыточно, такъ это вотъ всѣмъ глаза колетъ!

— Какъ же вы оберегаете ихъ?

— А какъ несмышленыхъ младенцевъ няньки остерегаютъ, сударь, такъ и мы. Пустишь ихъ на постой къ себѣ, да и смотришь за ними въ оба, какъ опекунъ какой!

— Вотъ что! Но все-таки опека-то эта приноситъ же вамъ какую-нибудь выгоду?

— Слова нѣтъ, не безъ выгоды! Какая же опека бываетъ безъ выгоды, хе, хе! Да вѣдь выгода-то выгодѣ розная, сударь. Рабочій-то приходитъ къ намъ голодный, оборванный, на иномъ такой гардеробъ болтается, што всѣ родимыя пятнышки сквозятъ: изъ хозяйскихъ-то запасовъ на пріискахъ они не очень-то любятъ заимствоваться, потому тамъ съ нихъ за всякую малость вдесятеро берутъ. Ну, ты и одѣнешь его, какъ подобаетъ человѣческому званію, напоишь, накормишь, теплomъ его душу отведешь,—въ энтомъ, полагаю, сударь, вѣдь нѣтъ грѣха? изподлобья, съ усмѣшкой посмотрѣвъ на меня, спросилъ онъ.

— Конечно,—нѣтъ, согласился я.

— А вѣдь теперича всего энтого тоже даромъ ему не дашь,—продолжалъ онъ.—Вѣдь все, чего ни даешь ему, ты и самъ покупаешь, вѣдь рубахи, сапоги и зипуны не растутъ въ лѣсу, какъ грибы, да если бы и возрастали даже, такъ мы такъ судимъ, што и собрать-то ихъ все же бы и трудъ, и время требовалось, хе, хе! Если ты и одѣнешь его съ ногъ до головы, то все-таки супротивъ ихнихъ-то хозяевъ, пріискателевъ-то, берешь съ него самую божескую плату. Поить и кормить его даромъ намъ тоже не доводится... потому ужъ очень убыточно бы было... этакъ-то хлѣбосольствовать. Вѣдь его пустыми щами да кашей, сударь, не ублаготворишь, нѣ-ѣ-тъ. Мы, говоритъ, тухлой-то солонины подъ соусомъ изъ червей и на пріискахъ досыта наполоскались, хе, хе! очень, говоритъ, довольны эфтимъ явствомъ, такъ ужъ ты, говоритъ, намъ теперича ѣды-то отмѣнной отворачивай. Первымъ дѣломъ щей со свѣжей свининой, каши, лапши всякой, и штобъ все это плавало въ жиру и маслѣ; вторительно поросенка, гуся, да-а-асъ, хе,

хе! Вотъ вѣдь они каковы, пріисковые-то работнички!—съ ироніей заключилъ Кузьма Терентьичъ.—А вѣдь чуть теперича не уважилъ его, не по скусу его сдѣлалъ, такъ вѣдь онъ, сударь, и посуду въ дребезги объ полъ махнетъ, и ѣду за окно выброситъ, потому, говоритъ, поколь у меня деньги есть, такъ ты меня уважай, хе, хе!

— И уважаете?

— Уважаемъ-съ! Даже въ полномъ чувствѣ.

— А чѣмъ же вы выказываете подобное уваженіе къ нимъ?

— Принаровкой къ ихъ скусу и ндраву; потребовалъ онъ, къ примѣру, поросенка, ну, и жаришь ему поросенка; захотѣлъ онъ гуся—подашь ему и гуся: ѣшь, не ѣшь, а ужъ цѣну, што стоитъ, плати, и ужъ насчетъ платежу, правду сказать надо, они содержатъ себя по чести, што ни спроси съ него, отдастъ безъ слова.

— Не торгуясь?

— Избави Господи! Завода энтого нѣтъ, даже за обиду считаютъ торговаться. Иному, сударь, ради потѣхи скажешь, особливо если покупаетъ што: „не дорого-ли будетъ, молъ, для тебя, подумай!“ Такъ куда тебѣ, сейчасъ въ азартъ войдетъ. „Што, говоритъ, развѣ у меня денегъ нѣтъ, а?..“ И какая у него сумма есть, всю на лицо представитъ: знай-де меня! Вотъ каковъ народецъ-то! Платятъ безъ слова, чего ни спроси, за копеечную вещь десять рублевъ безъ разговора выложитъ, только потрафляй ему!

— И по долгу живутъ они въ вашемъ селѣ?

— А жительство ихъ, сударь, длится, смотря по деньгамъ: у кого денегъ побольше, тотъ и живетъ подольше, и всѣ, почесть, проживаются до послѣдней копейки.

— Неужели до послѣдней?

— По порядку-съ, какъ изстари повелось! Покамѣстъ онъ не пропьетъ и не проѣстъ своего заработка, не уйдетъ изъ села. А ужъ когда дойдетъ до конца, выворотитъ карманы, тогда надѣваетъ на себя дерюгу, въ какой пришелъ или какую дашь ему изъ милости, соболѣзнуя объ немъ; вздѣнетъ на плечи кошель, попрощается, степенно, по чести, и идетъ домой, побираясь христовымъ именемъ, а болѣ всего опять на тѣ же пріиски ворочается въ хозяйскій контрахтъ.

— Чѣмъ же въ такомъ случаѣ вы ихъ благодѣтельствуете, Кузьма Терентьичъ, и отъ чего охраняете?—спросилъ я.—Я думалъ, что вы имъ не даете заживаться въ вашемъ селѣ, чтобъ они не пьянствовали и не мотали заработанныхъ денегъ, и тѣмъ охраняете и ихъ, и семьи ихъ отъ нищеты.

— Превратно поняли, сударь!—строго произнесъ онъ.—Неужели

вы полагаете, што мы не христіане, што въ насъ ни души, ни совѣсти нѣтъ, штобъ мы осмѣлились воспрещать человѣку передохнуть недѣльку-другую съ дороги, а стали бы гнать его домой и послѣ этакой, теперича, каторжной жизни и работы, какую они несутъ на пріискахъ, не дали бы имъ полакомить своей утробы! Напрасно вы, сударь, такъ полагаете объ насъ,—говорилъ онъ, укоризненно качая головой.—Избави Господи! Да неужъ мы не люди? Вѣдь онъ тамъ робитъ-то, сударь, передыху не знаетъ: еще солнышко не взойдетъ, а его ужъ на работу гонятъ, да съ послѣдней зорькой спустятъ съ нея. Тепло-ли, холодно-ли, здоровъ-ли, немощенъ-ли, его не спросятъ; знай одно—робь, подчасъ по колѣно въ водѣ. Отъ грязи да отъ всякой нечисти у него вѣдь кожа-то съ тѣла лупится. Вотъ сколь сладко ему деньги-то достаются! Кормятъ-то его тамъ такимъ добромъ, што собака рыло отворотитъ, а вѣдь онъ человѣкъ, сударь, ему, какъ и намъ, грѣшнымъ, и отдохнуть хочется, и сладкимъ кусочкомъ побаловаться, и чистую рубашку на обмытое тѣло вздѣть, и хошь денекъ-другой пожить всласть, по своей волѣ, господиномъ своего достатка; такъ неужъ у добраго человѣка, въ комъ христіанская-то душа есть, повернется языкъ сказать ему: а ты вотъ не пей, сладко не ѣшь; путной одежи себѣ не покупай, а подь отъ насъ со Христомъ къ своему двору. Нѣтъ, сударь, такъ поступать не гожо-о. А на мой умъ, пущай онъ балуется, Господь съ нимъ, ему только и услады-то, можетъ, въ жизни, штобы хоть недѣльку-другую сладко попить и поѣсть, а если онъ и пропиваетъ и проѣдаетъ все до копеечки, такъ вѣдь не чужое, а свое кровное, сударь, и Господь съ нимъ: всякой своему добру хозяинъ и воленъ ему распорядокъ имѣть.

Голосъ Кузьмы Терентьича, когда онъ произносилъ эту тираду, дышалъ такимъ неподдѣльнымъ сочувствіемъ къ безотрадной жизни пріисковаго рабочаго и въ то же время такимъ сознаніемъ высокаго христіанскаго подвига, какой совершаютъ т—скіе жители, предоставляя ему возможность сладко пить и ѣсть у нихъ за свои кровныя деньги, что доказывать ему значеніе этихъ услугъ въ ихъ настоящемъ свѣтѣ было бы безполезно.

— Прогнать!—раздраженно произнесъ онъ послѣ минутнаго молчанія.—Да какъ вы его прогоните, сударь? Да нѣшто найдется такая власть, которая удержала бы таежника отъ разгула послѣ той жизни, какую онъ влачитъ на пріискахъ!? Невозможное дѣло-съ!.. Да не дайте вы ему вина, не потрафьте по его скусу, скажите-ка ему: поди, молъ, домой, а у насъ зря не балуйся, такъ вѣдь знаете-ли, чего будетъ-то?

— А что?

— Онъ по бревну разнесетъ всю деревню, истинно, какъ предъ

Богомъ говорю вамъ! На ножи пойдетъ! Допрежъ чѣмъ осуждать-то насъ, сударь, надоть знать, съ какимъ мы народомъ дѣло-то ведемъ. Вѣдь это оголтѣлый человѣкъ-то, онъ и свою-то жизнь ниже гроша цѣнитъ, а чужая-то ему и того дешевле. Поразсказать если бы вамъ, чего они другъ съ другомъ творятъ, такъ ужасть возьметъ! Съ пріисковъ-то они идутъ партіями, человѣкъ по пятидесяти, иной разъ по сту и болѣе. Ужъ каждый изъ нихъ другъ отъ дружки денежки хоронитъ или въ онучу, или зашиваетъ куда: до нашего-то мѣста ихъ еще казаки [1]) сопровождаютъ, охрану имъ содержатъ, и то не помогаетъ, и тутъ, кто половчѣй, высмотритъ, гдѣ у благопріятеля деньги спрятаны, улучитъ минуту и ограбитъ его. Вѣдь какъ отъ лютаго врага они другъ отъ друга-то стерегутся. Не мало и убійствъ бываетъ среди нихъ, ваша милость, за копейку задушатъ отца родного. Вотъ вѣдь это какой народецъ-то, сударь. Бо-о-ольшой навыкъ требуется дѣло-то съ ними вести. Годами надоть механику-то эту постигать. Около пріисковаго рабочаго, какъ около огня, ходи да поглядывай, штобы и себя не сжегъ, и тебя не опалилъ!

— А случается, и опаливаетъ?

— Богъ милуетъ, сударь. Потому ужъ политично струну натягиваешь, чтобъ играла, да не заигрывалась. Первое дѣло — ужъ характеръ каждаго изъ нихъ знаешь, какимъ ему словомъ или дѣломъ потрафить и чѣмъ унять въ случаѣ азарта.

— Когда же вы успѣваете характеры-то изучать, помилуйте, сами же говорите, что ихъ проходитъ чрезъ ваше село по нѣскольку тысячъ? Вѣдь это невозможно.

— Самое легкое дѣло, сударь!—отвѣтилъ онъ, усмѣхнувшись.— Ужъ каждый рабочій знаетъ теперича своего хозяина: ужъ если онъ сегодня присталъ на фатеру ко мнѣ, такъ и пойдетъ ужъ на всю жизнь къ моему дому приворачивать. Насчетъ этого они народъ ручной... ну, тутъ и примѣчаешь за нимъ, поколь не спознаешь его, што за птица, а спознать это — не ахти какая наука, всѣ они народъ очень натуральный!

— Какъ это натуральный, что это значитъ?

— А такъ теперича доложу вашей милости, што по естеству-то своему неотесанный, што у него на умѣ, то и на языкѣ, ужъ если онъ лютъ ндравомъ, такъ ужъ съ перваго дня и покажетъ весь этотъ свой норовъ. Ну, за такимъ человѣкомъ и уходъ у насъ особливый.

---

[1]) Въ Западной Сибири на золотые пріиски постоянно командируется сотня линейныхъ казаковъ, какъ для охраненія порядка на пріискахъ, такъ и для сопровожденія партій рабочихъ по окончаніи работъ отъ пріисковъ до населенныхъ пунктовъ.

— Какой же?

— Съ исподтиха окручиваешь его, што ты, молъ, лютъ, да и во мнѣ, молъ, этой лютости тоже очень достаточно: ужъ если што, благослови Господи, такъ и у меня расправа коротка... Потому-де на лютость и мы лютость питаемъ!.. Ну, этими резонами и введешь въ разсудокъ, укротишь его. Муки много съ ними принимаемъ, ваша милость, не даромъ тоже отъ нихъ хлѣбъ ѣдимъ, а истинно можно сказать, што въ трепетѣ сердца и въ потѣ лица.

— Отчего же вы трепетъ то сердечный ощущаете, Кузьма Терентьичъ? Если вы знаете характеръ каждаго изъ нихъ, умѣете съ каждымъ изъ нихъ обойтись, такъ, мнѣ кажется, вамъ и бояться ихъ нечего.

— Много опаски, сударь, испытываемъ. Правду надо сказать, што половина сентября и октября самое доходное для нашего брата время, самая, можно сказать, жатва, потому въ энти мѣсяцы мы на весь годъ хлѣбъ выручаемъ. Но иной разъ, сударь, такъ дѣло выходитъ, што во весь годъ отъ страху-то не отдышешься, какого за энто время наберешься! День-то деньской на мѣсто не присядешь, да и ночь-то спокою не знаешь, потому въ чужую-то душу, какъ ты ни знай ее, а все не влѣзешь, только и ходишь да сторожишь, какъ бы тебя не подпалили, какъ бы кто кого не убилъ, аль въ тебя бы не пустилъ желѣзнаго козыря. Каторга энто время для насъ, сущая каторга! Иной бы на нашемъ мѣстѣ, еслибъ съ недѣльку понесъ на себѣ энто иго да тревоги, такъ не сталъ бы говорить, што намъ деньги зря плывутъ въ руки, не сталъ бы намъ завидовать да поносную славу про насъ по свѣту разносить, нѣ-ѣтъ, не сталъ бы, а скорѣе пожалѣлъ бы насъ!

— Если вы сознаете, Кузьма Терентьичъ, что подобное ремесло, которымъ вы занимаетесь, и тяжело, и опасно, такъ отчего же не оставите его, чтобъ не испытывать болѣе такихъ трудовъ и опасностей, а?..

— Это легко сказать только, сударь, брось!

— А что же?

— Хе! Это по нашему все единственно, што сказать голодному человѣку: не ѣшь! Брось, а жить-то чѣмъ прикажете?

— Какъ чѣмъ? У васъ у всѣхъ есть достатокъ, вы живете на такихъ прекрасныхъ хлѣбородныхъ мѣстахъ, займитесь хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ, пчеловодствомъ,—въ убыткѣ навѣрное не будете.

— Отвыкли-съ!—сухо отвѣтилъ онъ.

— Развѣ у васъ въ селѣ никто хлѣбопашествомъ не занимается?

— Кое кто и сѣются, есть, а намъ не къ чему-съ! Мало-ли окрестъ насъ селъ и деревень хлѣбопашество то, ведутъ, въ хлѣбѣ-то

по уши зарылись, а все нищіе, все около насъ же колотятся. Куда вы его сбывать-то будете? У иныхъ вонъ есть хлѣбъ-то въ скирдахъ по пяти, по шести лѣтъ стоитъ, а у него бродней купить не на што, штобы отъ холоду оборониться. Вотъ и сѣйте его. Нѣтъ, не дѣло, это сударь. Сколь ни опасенъ нашъ промыселъ, какая худая слава не идетъ про него, а все онъ прибыльнѣй! За глаза-то насъ всѣ ругаютъ, а чуть нужда, къ намъ же бѣгутъ—выручи.

— Кто же это къ вамъ за выручкой-то идетъ?

— Да всѣ, почесть: и крестьяне изъ сусѣдскихъ селъ и деревень, да подчасъ и городское купечество, и господа чиновники, и золотопріискатели въ ножки намъ кланяются: снабди капиталомъ.

— И снабжаете?

— Што же подѣлашь, коли человѣкъ убивается предъ тобой, стоитъ иной разъ да плачетъ, готовъ тебѣ, мужику, въ ноги поклониться!.. Ну, и сжалишься, дашь! Развѣ иной разъ только зло заберетъ, такъ вымолвишь: „пошто, молъ, это мы на твоемъ языкѣ подлецы и воры, а ты честный человѣкъ да въ ноги намъ кланяешься, ссуды просишь, а-а? Это у подлеца-то!.. Если, молъ, у меня деньги краденыя, такъ пошто же это ты-то, честный человѣкъ, свои-то руки объ нихъ пачкать хочешь, а? Я бы, молъ, на твоемъ мѣстѣ, по честности своей, не коснулся бы до нихъ“.

— Ну, что же они говорятъ на это?

— Хе, хе, што говорятъ! Да коли честному человѣку, сударь, деньги надо, такъ подлецъ-то ему хошь въ глаза плюнь, онъ и тутъ слова не вымолвитъ, только ссуди его, выручи, будь ему отецъ-благодѣтель! Э-эхъ, сударь, насмотрѣлся я на честныхъ-то!—усмѣхнувшись, произнесъ Кузьма Терентьичъ, и съ презрѣніемъ махнулъ рукой.—Онъ потоль и честенъ, поколь ему украсть негдѣ, такъ всѣ вотъ эти честные-то люди, што завсегда объ деньгахъ скучаютъ, гдѣ бы только промыслить ихъ, и ругаютъ нашего брата воромъ и подлецомъ, а посидѣли бы они на нашемъ мѣстѣ, такъ хуже бы насъ въ тысячу кратъ были, какъ предъ Богомъ говорю вамъ.

— Не лестнаго же вы мнѣнія о честныхъ людяхъ, Кузьма Терентьичъ,—замѣтилъ я.

— Злобу питаю къ нимъ, истинно скажу вамъ, сударь.

— За что?

— За самую энту ихнюю честность!

— Развѣ она вамъ глаза колетъ?

— Въ моихъ глазахъ, сударь, столько бревенъ сидитъ, што ужъ не токма сучку, а иглѣ-то мѣста не найдется въ нихъ; поистинѣ скажу

вамъ, таиться не буду, не къ чему! Я теперича такое размышленіе имѣю о себѣ: я воръ, грабитель,—одно мнѣ званіе,—ну, и пущай будетъ такъ, и не я одинъ теперича, а все наше опчество воры и грабители; такъ ужъ коли мы этакіе худые люди выродились, такъ пущай весь честной людъ и забудетъ объ насъ, презритъ насъ, забудетъ—въ какомъ мѣстѣ и дорога-то къ намъ идетъ! Нѣ-ѣ-ѣтъ, отбою вѣдь намъ отъ честныхъ-то людей нѣтъ, сударь, о-о-отбою нѣтъ!.. Такъ какіе же опосля этого они честные люди, коли къ зазнамому подлецу за всякой нуждой бѣгутъ... За глаза, по-ихнему, хуже меня человѣка нѣтъ, а въ глаза мнѣ такихъ сластей насказываютъ, што слюны текутъ, слушая ихъ. Вотъ за энту-то неправду во всемъ я и злобствую на нихъ. А ужъ коли ты честный человѣкъ, а я подлецъ, такъ ты и презри меня, ругай и за глаза, и въ глаза; у тебя и черствая корка, да честнымъ путемъ добыта, а у меня и сдобный пирогъ, да краденый, такъ ужъ ты на мой-то коровай ротъ-то не разѣвай, а плюй на него, попирай его ногами, тогда и я, можетъ, совѣсть восчувствую и позавидую твоей скудной коркѣ. А теперича оно такъ выходитъ, што я, можетъ, для того ворую и граблю, штобъ только надъ честнымъ человѣкомъ издѣваться да за всякое время его же изъ бѣды выручать,—для того и сдобный пирогъ ѣмъ, штобъ онъ съ голоду-то зубы на него скалилъ да завидовалъ мнѣ... хе... хе-е... Очень это тяжело, сударь, какъ поразсудишь...

— Отчего же собственно тяжело-то вамъ?..

— Отъ людской-то неправды, отъ зависти-то энтой да отъ ругани, а какъ посмотришь, говорю, поприщурившись, на людей-то, такъ честные-то мы самые и есть, потому никого не ругаемъ, никому не завидуемъ, ни на кого не клевещемъ... Знаемъ всѣ свои грѣхи и не скрываемъ ихъ, и пущай ихъ судитъ Господь Богъ, а не люди, — произнесъ онъ, вздохнувъ и посмотрѣвъ въ передній уголъ, гдѣ висѣла огромная икона Божіей Матери въ золотой ризѣ и въ богатомъ вызолоченномъ кіотѣ. — А поистинѣ скажу, ваша милость, какъ кто ни думай, а мы истинные благодѣтели для пріисковыхъ рабочихъ, потому и жизнь ихъ охраняемъ, и охраняемъ ихъ отъ смертнаго грѣха.

Голосъ Кузьмы Терентьича снова зазвучалъ при этомъ сознаніемъ высокихъ христіанскихъ добродѣтелей и подвиговъ, принимаемыхъ на себя съ такимъ самоотверженіемъ для спасенія заблудшихъ и погрязшихъ въ порокахъ оголтѣлыхъ рабочихъ.

Поѣздка моя въ Т...ь послѣдовала по порученію произвести официальное удостовѣреніе по жалобѣ крестьянъ т...го сельскаго общества на злоупотребленія волостного головы Клокачева. Въ прошеніи, подан-

номъ крестьянами, въ числѣ разныхъ незначительныхъ оговоровъ говорилось, между прочимъ, о насильственныхъ денежныхъ поборахъ, производимыхъ съ нихъ Клокачевымъ подъ предлогомъ взиманія податей, превышавшихъ по ихъ расчету существовавшій окладъ, о притязательныхъ дѣйствіяхъ его къ лицамъ, содержавшимъ питейные дома, и къ сельскому старостѣ, котораго Клокачевъ, превысивъ власть, самовольно устранилъ отъ его обязанностей, безъ объясненія причинъ. Въ прошеніе были включены „похвальныя“ слова Клокачева, произнесенныя имъ, говоря языкомъ составителя просьбы, въ неистовомъ азартѣ и съ пѣной у рта, при всемъ т...омъ сельскомъ обществѣ, „что онъ-де, Клокачевъ, живъ не будетъ, коли не разоритъ ихъ всѣхъ и не пуститъ по-міру, въ поученіе всѣмъ крестьянамъ, кои вздумаютъ противиться власти волостного головы!“ Прошеніе это, подписанное болѣе чѣмъ сотней домохозяевъ, взывало къ заступничеству властей за угнетаемое общество крестьянъ отъ несправедливыхъ и корыстныхъ притѣсненій головы, питающаго злобу къ нимъ за то, что при выборѣ его въ головы они не подавали за него голоса, какъ за человѣка, который еще съ юности неоднократно былъ замѣчаемъ въ воровствѣ и избѣгалъ законнаго преслѣдованія только по неимѣнію уликъ. Самый выборъ Клокачева въ головы, какъ говорилось въ просьбѣ, произведенъ былъ незаконно: за него не было подано голоса ни однимъ крестьяниномъ, пользующимся уваженіемъ, а выбранъ онъ былъ исключительно злонамѣренными людьми, которые, въ видахъ потворства Клокачева къ ихъ преступнымъ дѣйствіямъ, выкрикивали его, какъ говорилось въ прошеніи „нахрапомъ!“

Волостного голову Клокачева я зналъ, какъ человѣка честнаго, пользовавшагося большимъ уваженіемъ и довѣріемъ среди крестьянъ. Въ теченіе трехлѣтней службы его я ни разу не слышалъ даже незначительной жалобы на его дѣйствія... Человѣкъ онъ былъ грамотный, что рѣдко встрѣчается въ Сибири, трезвый, обладавшій яснымъ практическимъ умомъ, который, при всей своей видимой мелочности, на дѣлѣ всегда оказывался глубоко-дальновиднымъ. Земскія власти не симпатизировали ему и отзывались объ немъ, какъ о человѣкѣ грубомъ и своехарактерномъ. У Клокачева было много непріятностей по службѣ, вслѣдствіе постоянныхъ доносовъ на него и волостного писаря, боявшагося его зоркаго глаза, и духовенства, подозрѣвавшаго его въ принадлежности къ какой-то сектѣ, и вслѣдствіе частыхъ не исполненій приказаній своего ближайшаго начальства. Такъ, однажды, ему предписали, въ виду проѣзда какой-то особы, выслать немедленно крестьянъ для исправленія дорожныхъ участковъ. Предписаніе это послѣдовало

въ началѣ августа, въ самую дорогую рабочую пору. Клокачевъ оставилъ его безъ исполненія. Особа проѣхала, не обративъ даже вниманія, въ какомъ состояніи дороги, а Клокачева послѣ проѣзда ея вытребовали въ городъ для объясненія, грозили предать суду, но ограничились тѣмъ, что посадили его на недѣлю подъ арестъ. „А все-таки крестьянство-то и съ сѣномъ, и съ хлѣбцемъ... слава тебѣ Господи... во-время управилось!“ — произнесъ онъ, перекрестившись, когда его повели въ кутузку. Каждой жалобѣ на Клокачева земскія власти придавали особенное значеніе, а тѣмъ болѣе было придано значенія прошенію т...аго сельскаго общества на притѣсненія его, унизанному въ концѣ болѣе сотни подписей. Желая узнать мнѣніе Кузьмы Терентьича, какъ человѣка, повидимому, вліятельнаго въ средѣ своего общества, о причинахъ, вызвавшихъ столкновеніе крестьянъ съ головою, я спросилъ его: „что за человѣкъ, по его мнѣнію, Клокачевъ?“

— Флегонтъ Митричъ, сударь, — отвѣтилъ онъ, пристально посмотрѣвъ на меня,—человѣкъ, што сказать, хорошій, правдивый, совѣстливый. Это и грѣшить нечего.

— А вамъ извѣстно, что многіе изъ крестьянъ вашего общества подали жалобу на его притѣсненія?

— Извѣстно-съ, какъ не извѣстно-съ!.. Въ деревнѣ бы жить, да не знать, чего дѣется въ ней,—съ усмѣшкой отвѣтилъ онъ.—Въ деревнѣ-то, сударь, вы и шепоткомъ слово скажете, а отголосокъ-то отъ него на всѣхъ концахъ откликнется, ка-а-акъ же-съ, очень даже извѣстны насчетъ эфтого дѣла,—повторилъ онъ.

— Вѣрно это, что онъ притѣсняетъ вашихъ однообщественниковъ?

— Господь его знаетъ, сударь,—уклончиво отвѣтилъ онъ;—мы въ сторонѣ отъ энтихъ дѣловъ живемъ, по-особицѣ.

— Какъ по-особицѣ?

— Што не касается насъ, такъ и не вмѣшиваемся.

— Но вы знаете же причины, вызвавшія эту жалобу?

— Поспорили они по-малости между собой, ваша милость, — отвѣтилъ онъ, нѣсколько подумавъ,—ну, и вышла усобица: и Флегонтъ Митричъ погорячился маненько, и общество въ строптивость впало... Не хвалю!..

— Кого?

— Обоихъ, коль сказать по правдѣ, сударь. А впрочемъ, устраните меня отъ энтого разговора; потому какъ дѣло это до меня некасающе, то, по завѣту еще тятеньки-покойника, имѣю навыкъ въ энтакихъ случаяхъ языкъ за зубы прятать!—съ ироніей произнесъ онъ.—Въ сторонкѣ, сударь, лучше жить, безобиднѣй: ни дождикомъ тебя не

мочитъ, ни солнышкомъ не печетъ... хе, хе! —пояснилъ онъ, смѣясь.— Не прикажете-ли закусить подать, винца какого, алибо што? — спросилъ онъ, поднимаясь со стула, и когда я отказался, онъ раскланялся со мной, отозвавшись необходимостью присмотрѣть за хозяйствомъ.

По уходѣ его я вышелъ на балконъ. Солнце закатилось за дальній лѣсъ, и яркіе лучи его, прорѣзываясь порою сквозь вѣтви деревьевъ, пробѣгали тоненькими, искристыми струйками по вершинамъ холмовъ, застилавшихся снизу уже дымчатымъ паромъ. Отчетливо виднѣвшіеся днемъ на горизонтѣ контуры снѣжныхъ горъ теперь исчезли изъ глазъ, задернутые мглистою, синеватою дымкой, изъ которой выдѣлялись, и то въ какомъ-то полусумракѣ, только ближайшіе къ селу лѣса и горы. Несмотря на то, что село было обширное, оно поразило меня своею пустынностью и безжизненностью: на улицѣ не видно было ни души, изрѣдка гдѣ-нибудь скрипнетъ калитка и изъ нея выйдетъ женщина съ ведрами на коромыслѣ или какой-нибудь подростокъ, съ прутикомъ въ рукахъ, выгонитъ со двора лошадей на водопой. Обширная базарная площадь, обнесенная рядомъ лавокъ, была также пуста, и въ густой травѣ, какою заросла она, мирно паслись теперь огромныя стада гусей, наполняя воздухъ своимъ немолчнымъ гоготаньемъ.

— На сельцо-то наше любуетесь? — раздался со двора голосъ Кузьмы Терентьича, отворившаго въ это время ворота, пропуская мимо себя скотъ, который работникъ его погналъ на водопой. — Теперича скучно у насъ, сударь, пусто, а вотъ по осени милости просимъ, загляните-ко; тогда у насъ отъ веселья-то и уши глохнутъ, и ребра трещатъ... хе, хе!—сострилъ онъ и, пожелавъ мнѣ покойной ночи, вошелъ въ домъ.

На другой день утромъ ко мнѣ явился вытребованный мною въ Т—ь волостной голова Клокачевъ. Ему было около сорока пяти лѣтъ, росту онъ былъ высокаго, нѣсколько сутуловатый. Достаточно было взглянуть на широкое лицо его, обросшее густою бородой, и на сѣрые, добродушные глаза, чтобы убѣдиться, что подобный человѣкъ не способенъ сдѣлать кому-либо зла. Прочитавъ ему поданное на него прошеніе, я спросилъ: „Справедливы-ли эти оговоры на тебя?“

— Штобы превыше подати я сталъ, сударь, поборы брать съ нихъ, за этотъ извѣтъ на меня пущай Богъ ихъ судитъ! — совершенно спокойно отвѣтилъ онъ.—Въ воровствѣ меня тоже никто не примѣчалъ, да Богъ и не попуститъ меня до этого ремесла, по совѣсти говорю, и за это пущай они отвѣтъ Богу дадутъ. Въ головы я также не напрашивался, а кланялся, и слезно кланялся міру, обойти меня этой честью;

ну, ихъ власть-воля была почтить меня, а остальное прочее, чего пишутъ они, все правда, сударь, также спокойно отвѣтилъ онъ:—и кабашниковъ я стѣснялъ, сударь, не потаю, заколотилъ у нихъ и двери, и окна, пущай ищутъ съ меня отвѣта судомъ!

— За что же ты такъ круто обошелся съ ними?

— За добродѣтели ихнія, сударь!—съ иронією отвѣтилъ онъ.

— И сельскаго старосту отстранилъ отъ его обязанностей?

— Устранилъ! Ужъ не знаю, какъ оно по закону-то взыщется съ меня за то, а по совѣсти, коли бы власть да воля моя была, такъ я бы его со всѣмъ ихнимъ обчествомъ въ острогѣ сгноилъ! Нѣшто здѣшніе обчественники, сударь, имѣютъ крестьянскій обликъ, какой Богомъ-то заповѣдано мужику носить?

— А какой же обликъ-то Богомъ заповѣдано мужику носить, Флегонтъ Дмитричъ?—прервалъ я.

— Жить по чести, въ радѣніи другъ о другѣ, добывать себѣ хлѣбъ въ потѣ лица; а какими способьями здѣшніе-то мужички себѣ хлѣбъ промышляютъ, а? Вотъ, какъ я взялся за нихъ было, задумалъ ихъ сократить по силѣ мочи, и не любъ сталъ, и чернятъ меня. Свою-то кличку да на мою шею навѣсили, я вотъ воръ-то вышелъ, а не они! Э-эхъ, кабы начальство-то всѣ свои дѣла по совѣсти дѣлало, сударь, такъ вѣдь село-то это давно бы надоть тремя заборами огородить отъ пріисковаго-то работника. Они вонъ и церковь божью въ два этажа вывели. Спросить бы только надоть, угодна-ли она Богу? Въ ней, сударь, каждый кирпичикъ мужичьей слезой облитъ, а то такъ и кровью: не одинъ, можетъ, за свое-то добро кровное подъ фундаментъ-то ея и свою головушку положилъ!—покачавъ головой, произнесъ онъ.

— Что ты этимъ хочешь сказать, Флегонтъ Дмитричъ? — спросилъ я.

— А то хочу, сударь, сказать, што въ здѣшнемъ мѣстѣ человѣчья-то жизнь дешевле рѣпы. Вы бы вотъ поспрошали хозяина-то вашего, какими рукомеслами онъ деньги-то добываетъ и по какой родительской заповѣди живетъ! Не скажетъ, а любопытно-бъ!

— А ты знаешь, Флегонтъ Дмитричъ?

— Въ здѣшнихъ мѣстахъ, сударь, и родился, и выросъ, и до сѣдого волоса доживаю. Какъ не знать! Вамъ-то все это, коли разсказать бы, въ диковинку показалось, а намъ-то ужъ примелькалось и дивиться перестали. Воровство, грабежъ, распутство,—вотъ, сударь, какими путями они хлѣбъ себѣ снискиваютъ. За што я кабаки закрывалъ? Не малоумный же я, штобы наѣхалъ да началъ заколачивать въ нихъ и окна, и двери. Вѣдь это прошлогодней осенью дѣло-то было,

когда у нихъ партіи таежниковъ гостили, вѣдь они нарочито спаиваютъ ихъ, сударь, да надоть знать, какимъ виномъ — травленымъ, съ дурманомъ, штобъ его въ безпамятствѣ-то ошарпать было ловчѣй! Вѣдь до половины рабочихъ изъ эптого села и домой не трогаются, а голодные да оборванные сызнова идутъ на пріиски въ наемъ на работу. У здѣшняго мужика нѣтъ того разума, што эфтотъ рабочій такой же, какъ и онъ, мужикъ, што онъ на то и робитъ безъ отдыху, штобъ копейку залучить; дома-то его ждетъ семья голодная, нагая и босая, што онъ этими-то деньгами семью бы свою осчастливилъ, хозяйство бы оправилъ и казенныя, и мірскія повинности съ плечъ свалилъ; они объ энтомъ не думаютъ! — съ жаромъ говорилъ онъ. — Нѣ-ѣ-ѣтъ, имъ было бы только кого обобрать, зато и живутъ господами: звонъ, какіе дома-то вытягиваютъ, шапка съ головы валится, коли вверхъ-то взглянешь. Рабочій-то съ пріисковъ придетъ и нагой, и босой,—они свои мангазеи съ товарами растворяютъ,—а товаръ-то, прости Господи, гнилье одно,—зазываютъ его, навязываютъ—купи, да грабятъ: одно сказать, за грошевую вещь, бросовую — рубли берутъ; накупится онъ у нихъ съ пьяныхъ-то глазъ на десятки рублевъ, можетъ, да тутъ же у нихъ пропьется, и всю одежду, што накупилъ, сызнова имъ же отдастъ за какой-нибудь штофъ, а они ее почистятъ, попровѣтрятъ, мало-мало, да на будущій годъ опять въ продажу пущаютъ, опять десятки рублевъ гребутъ за нее,—вотъ и торговля ихняя, сударь. Какъ при экой комерціи домовъ не вытягивать, диво-ль! А если коснуться теперича иного прочаго — о-охъ, Господи! Языкъ-то не во всякую пору повернется вымолвить, да-а! Женъ и дочерей вѣдь въ явѣ продаютъ, бери, проклажайся, сколь хочешь, только деньги подавай... Тьфу ты!—съ омерзѣньемъ сплюнувъ на сторону и тряхнувъ головой, произнесъ онъ.—Отъ срамной болѣзти вѣдь заживо тутъ иные гніютъ у нихъ, вѣдь путный-то мужикъ, сударь, изъ одной чашки съ ними ѣсть не станетъ, потому опаска беретъ и хоронятся! Вотъ вѣдь здѣсь, сударь, какой народецъ-то гнѣздышко себѣ свилъ.

— Неужели все это правда, что ты говоришь, Флегонтъ Дмитричъ?

— Э-эхъ, сударь, немного еще я вамъ доложилъ,—съ какой-то грустью въ голосѣ произнесъ онъ.—А лживую рѣчь вести и языкъ не повернется, да и не изъ чего.

— Все село исключительно и живетъ только насчетъ пріисковыхъ рабочихъ, а?

— Въ рѣдкость тутъ, сударь, съ совѣстью человѣка найдете, въ рѣдкость. Да и какъ среди этого гомона совѣсть соблюдешь? Иной бы,

можетъ, и по совѣсти жилъ, да видитъ, чего кругомъ и около дѣется, люди не сѣютъ, не жнутъ, а въ избыткѣ живутъ, и онъ, глядя на другихъ, распоряшетъ руки, а совѣсть-то за поясъ заткнетъ, да и примется, благословясь, за энто же рукомесло, благо оно прибыльно! Въ рѣдкость, сударь, въ рѣдкость здѣсь степеннаго мужика встрѣтите. Вѣдь и прежніе-то волостные начальники што, сударь, дѣлали? — снова началъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія.—Какъ только осень, они и съѣдутся сюда, будто за дѣломъ, да вмѣстѣ со всѣми и наживаются, бывало, около рабочихъ. Да што, сударь, грѣха-то таить, и господа-то чиновники не отставали отъ нихъ, бывали такіе!.. Э-э, сударь, не пришло еще время все разсказывать, што тутъ дѣяли они! Господа-то чиновники! Ну, извѣстно, при энтакихъ порядкахъ, чего кто ни дѣлалъ, всякому все съ рукъ сходило, все было шито да крыто; ну, и любы были экіе-то начальники, а што меня вотъ грѣхъ попуталъ не потакнуть имъ, такъ и воръ, и мошенникъ сдѣлался. Изъ-за чего вѣдь содомъ-то вышелъ у насъ, сударь? Пришла партія рабочихъ сюда, я и сдѣлалъ распорядокъ: перекуси-де здѣсь да сейчасъ же съ Богомъ и трогай изъ села, куды кому путь лежитъ, иди домой да тамъ и твори, чего хошь, а тутъ-де не пропивайся, и безъ того ужъ у насъ по волости дѣловъ-то не оберешься, а тутъ, молъ, у васъ еще слѣдствіе за слѣдствіемъ пойдетъ, однимъ разгономъ лошадей окольный-то людъ смаялся отъ вашихъ непутствъ, говорю. Ну, и поднялся споръ. Вѣдь они меня, сударь, въ колья было приняли.

— Рабочіе или здѣшніе крестьяне?

— И крестьяне, а за ними и рабочіе; едва убѣгъ отъ нихъ, изъ сосѣдняго села ужъ народъ сбилъ. Пріѣхалъ съ народомъ да тогда ужъ заклепалъ кабаки-то и старосту устранилъ за то, што онъ супротивъ этого распорядку пошелъ, замѣсто того, штобъ мнѣ помочь! Они сызнова кабаки растворили. Што-жъ, побился-побился я съ ними да и махнулъ на все рукой, што я одинъ-то подѣлаю, сударь? Только жизнь свою подъ пагубу подведу. Ну, вотъ и подали просьбу: разоряюде ихъ, а што сами они не одну тыщу народа разоряютъ, — объ этомъ и рѣчи нѣтъ. И все вѣдь это, сударь, на виду у начальства и дѣялось съ искони, и дѣется, и могли бы этотъ разбой сократить, да не хотятъ видать.

— Почему ты думаешь, что не хотятъ?

— Невыгодно, што-ли, Богъ ихъ знаетъ, не намъ судить о вышней власти, сударь,—уклончиво отвѣтилъ онъ.

— Ну, а какъ же ты думаешь, Флегонтъ Дмитричъ, почему бы невыгодно было и кому бы именно невыгодно отъ этого было, а? Вѣдь ты все-таки предполагаешь же что-нибудь.

— Наше дѣло темное, мужичье, сударь,—также уклончиво сказалъ онъ.—Полагаемъ же про себя, што коли здѣшній мужикъ насчетъ грабежу въ благодати живетъ, то, можетъ, эта благодать-то и не въ одинъ его карманъ плыветъ, а вторительное дѣло—отъ энтого порядка и золотоискателямъ выгода.

— А тѣмъ какая же выгода?

— Э-э, имъ-то отъ этого, сударь, прямая выгода. Коли рабочій-то только вышелъ съ пріисковъ да тутъ же и пропился, такъ имъ и лучше того не требуется. Коли онъ бы заробленныя деньги свои въ цѣльности до дому донесъ, приспособилъ бы ихъ на оправу хозяйства, такъ они бы его и крупичатымъ кренделемъ въ другорядь-то на пріиски не заманили, сударь: порядки-то тамъ вѣдь не сладкіе, только горькая нужда одна гонитъ мужика-то на энту золотую каторгу, а коли онъ вотъ тутъ-то пропьется до послѣдней нитки, такъ онъ самъ къ нимъ сызнова въ работу придетъ и закабалится на какіе хошь контрахты, только не допусти души до пагубы, а имъ это и надо... Э-эхъ, много, сударь, чрезъ ихнее-то золото мужичьихъ слезокъ течетъ, оттого оно, знать, и блеститъ такъ ярко, што не простой водицей промыто,—добавилъ онъ, усмѣхнувшись и покачавъ головой.—Да ужъ про нихъ, сударь, энтихъ золотоискателей, и говорить нечего. Богъ съ ними! Мужикъ для нихъ разѣ человѣкъ, разѣ они понимаютъ, што въ немъ такая же душа, какъ и въ нихъ? Они скотину свою, сударь, болѣе цѣнятъ и дорожатъ ею, чѣмъ рабочимъ. У иного изъ нихъ скотина-то въ большей холѣ живетъ, слаще ѣстъ и пьетъ, чѣмъ ихній рабочій; знаемъ мы тоже, бывали на пріискахъ-то!.. Ну, да одно ужъ скажу: они купцы, у нихъ совѣсть-то сквозная, только будто золотомъ обернутая. А што вотъ нашъ-то братъ, мужикъ, эдакъ-то съ рабочимъ обороты ведетъ, ужъ тутъ, сударь, грѣхъ потакнуть, грѣ-ѣ-ѣхъ! Ужъ это, кабы моя власть да воля была, сократилъ бы я ихъ. Ну, да выше росту не прыгнешь, выше головы волосы не растутъ,—съ горечью въ голосѣ заключилъ онъ. Чего мнѣ теперича будетъ по ихней-то челобитной, судить станутъ меня, што-ль?..—съ ироніей спросилъ онъ.

— Не бойся, Флегонтъ Дмитричъ, обойдется дѣло,—успокоилъ я его.

— О-о-о?.. А они-то грозили меня тогда и въ острогъ запереть, особливо Кузьма-то Терентьичъ, хозяинъ-то вашъ, очень даже изъ сердцовъ выходилъ въ тѣ поры, распинался за обчество!..

— Развѣ и онъ принималъ участіе въ этомъ дѣлѣ?..

— Онъ-то и главный заводчикъ всему дѣлу!.. Си-и-ила онъ!.. По его-то слову, какъ по дудочкѣ, всѣ и пляшутъ здѣсь. Ну, да и въ

губерніи-то за него ходателевъ много найдется, вѣдь иные и золотоискатели-то, сударь, по его ниточкѣ ходятъ!..

— Объясни, какъ это по его ниточкѣ ходятъ?..

— Въ долгу, стало быть, у него на большую половину сидятъ. Вы не взирайте, сударь, што онъ мужикъ, капиталу-то у него—о-о-о! Городъ купитъ, коли захочетъ, не сумняйтесь.

— И все это такимъ путемъ нажито, какъ ты разсказывалъ?

— Много у нихъ было путей-то, сударь, всего-то и въ недѣлю время не обскажешь. Мно-о-ого!—повторилъ онъ.—Отецъ-то его, покойная головушка, Терентій Савичъ, поколь не объявилось золото по здѣшнимъ мѣстамъ, въ бо-ольшой бѣдности жилъ, не разъ за подушную подать его и дирали, и въ контрахтную работу отдавали, сударь, а померъ-то вѣдь съ какими тыщами. Храмъ божій воздвигъ, единственно. почесть, на свой достатокъ, двѣ медали носилъ, усчастливился до всякаго почету, а на душѣ его немало грѣховъ лежало, если поразсказать-то все, какъ онъ до фортуны своей доходилъ! Когда вѣдь золото-то объявилось, сударь, такъ народъ-то валомъ повалилъ на пріиски, всякаго льстилъ прибыльной заработокъ, съ порядками-то ихними не ознакомились тогда еще, ну, и шли!.. У иного крестьянина вѣдь какое хозяйство-то было, вѣкъ бы въ довольствѣ прожилъ; польстился наживой, пошелъ, а съ нимъ и все пошло прахомъ. Отъ энтихъ пріисковъ, сударь, не одна тыща нашего брата, мужика, по міру пошла, раззоръ отъ нихъ народу, а не польза. Другой бы мужикъ, гляди, приспособился бы къ хозяйству и жилъ бы, если не лучше другихъ, то и не хуже бы, а теперь онъ идетъ на пріиски, хозяйство-то бросаетъ, жена-то съ робятками мается по міру, домъ и все у него рушится, да и онъ-то не воскреснетъ! Съ начетами да перечетами на пріискахъ коли и получитъ какія деньги за работу на руки, вырвется сюда да тутъ ихъ и положитъ въ распахнутые карманы, а домой-то придетъ съ нищей сумой, хотъ и встрѣчай жена радѣтеля о хозяйствѣ, его же обуй, одѣнь да и прокорми зиму, вотъ какіе порядки отъ пріисковъ-то въ народѣ идутъ, сударь.

— А какъ же нажился отецъ-то Кузьмы Терентьича?—спросилъ я, прервавъ его.

— А какъ нажился, сударь? Въ первый-то годъ по открытіи пріисковъ народъ-то вывалилъ съ нихъ, извѣстно, съ деньгами, вырвался изъ энтой каторги-то и захотѣлъ загулу, а разгуляться-то было негдѣ, на мѣстѣ-то энтомъ стоялъ одинъ починокъ всего о семи-восьми дворахъ,—какой тутъ загулъ, коли и кабака не было да и обогрѣться, и передыхнуть-то негдѣ? Терентій-то и смекни, што струна выпадаетъ,

што была бы лапа, а загребать есть чего. Перебейся, какъ ни какъ, да и открой кабакъ. Ходила въ народѣ молва тогда, што ему и денегъ-то на кабакъ золотоискатель какой-то далъ, съ тѣмъ, штобы онъ спаивалъ народъ, штобъ имъ, значитъ, легче было снова рабочихъ-то въ контрахтъ залучить. Ну, какъ открылъ онъ кабакъ-то, тутъ ужъ и повали-и-ило ему и полило-о-ось вино изъ посудинъ, а деньги въ сундукъ. Въ первую же зиму онъ и домъ вырубилъ новый, просторный,— сгорѣлъ онъ, рабочіе же, сказываютъ, и спалили; теперь на эфтомъ мѣстѣ ужъ лавки стоятъ, и на-а тебѣ, изъ дому-то постоялый дворъ снарядилъ, и пошло тутъ у него народу всякое удовольство: и дѣвокъ на ихъ прохладу держалъ, и мангазей съ товарами снарядилъ, да одинъ Господь только вѣдаетъ, чего тутъ не было! Два раза, сударь, покойникъ-то подъ ножемъ былъ ужъ, какъ только Господь оборонилъ его, диво! А рубецъ на лбу такъ и проносилъ всю жизть, топоромъ, сказываютъ, махнули его, да увернулся, только краемъ кожу до кости просѣкло: не часъ, знать, былъ! Ну, и отъ него, какъ поговаривали старики, не одна головушка допрежь время въ землю ушла, — всего бывало, денежки-то тоже не даромъ доставались ему! Увидалъ какъ народъ-то, што Терентій своимъ заводомъ фортуну приманилъ къ себѣ, и повали-илъ сюда на жительство, да теперича изъ поселка-то вонъ какое село выровнялось, съ инымъ городомъ поспоритъ! Гдѣ наперво-то одинъ Терентій хозяйствовалъ, а теперь ужъ ихъ десятками считать приводится. Вѣдь тутъ однихъ мангазеевъ съ товарами, сударь, болѣ двадцати насчитываемъ! Чѣмъ не городъ?.. А кабаковъ и-и-и, Господи твоя воля!.. Да каждый домъ—кабакъ и блудное мѣсто, — вотъ какъ по правдѣ-то говорить надоть!

— Терентій-то давно померъ?

— Годовъ ужъ двадцать будетъ теперь время. Въ послѣдни-то годы онъ ужъ не хозяйствовалъ, сыну все предоставилъ, а самъ на покоѣ жилъ. Какъ только выклалъ церковь, такъ и прилѣпился къ ней и пищи мясной не прималъ, однимъ благочестіемъ заниствовался, за все только Богу молился и денно, и нощно, сказываютъ, на колѣнахъ предъ иконами простаивалъ!.. Ну, и сынку-то, сударь, тоже много годковъ потребуется грѣхи-то молитвами отскребать. Тятеньку-то, пожалуй, на добрую версту перегналъ!—смѣясь, закончилъ онъ.

На очной ставкѣ лица, подписавшія прошеніе, не могли представить никакихъ доказательствъ въ подтвержденіе своего вывода въ насильственныхъ поборахъ, производимыхъ Клокачевымъ подъ предлогомъ взиманія съ нихъ податей, а также не привели ни одного факта, который бросалъ бы тѣнь на репутацію его. Просьба эта была однимъ

изъ тѣхъ явленій, какія, къ несчастію, нерѣдко практикуются въ народѣ и особенно среди зажиточныхъ крестьянъ, когда имъ для достиженія своихъ неблаговидныхъ цѣлей необходимо отстранить какое-нибудь лицо, отъ котораго они встрѣчаютъ или надѣются встрѣтить препятствіе. Это доносъ, ни на чемъ неосновательный, а если и основанъ на какомъ-нибудь фактѣ, то самый фактъ всегда представляется въ искаженномъ и преувеличенномъ видѣ. Крестьяне сосѣдняго села, бывшіе въ качествѣ понятыхъ при закрытіи Клокачевымъ кабаковъ, вполнѣ подтвердили все то, что говорилъ самъ Клокачевъ, и на повальномъ обыскѣ въ одинъ голосъ доказывали неблаговидность поведенія своихъ сосѣдей. Можетъ быть, благодаря происканъ такого вліятельнаго лица, какъ Кузьма Терентьичъ, Клокачевъ, выбранный всею волостью въ головы на второе трехлѣтіе, не былъ утвержденъ въ этой должности вслѣдствіе неодобрительнаго отзыва о немъ его ближайшаго начальства.

Не такъ уже приглядны показались мнѣ красивые дома съ узорными балконами на точеныхъ колонахъ, когда я проѣзжалъ мимо ихъ на обратномъ пути изъ Т...я. „Если бы моя власть да воля была,— я загородилъ бы это село тремя заборами отъ рабочихъ!“ невольно припомнились мнѣ, при видѣ ихъ, слова Клокачева. Не одна, можетъ быть, сотня теперь бездомныхъ крестьянъ коротаетъ свой жалкій вѣкъ на пріискахъ, созидая своимъ тяжелымъ многолѣтнимъ трудомъ чужое благосостояніе и благосостояніе своихъ же братьевъ крестьянъ, съумѣвшихъ соткать для нихъ, на перепутьѣ ихъ въ родныя села и деревни, такую искусную паутину, въ которой волей-неволей запутываются они и становятся жертвами ихъ. И неужели нѣтъ никакихъ средствъ прорвать и смести эту паутину, подрывающую въ корнѣ благосостояніе не одной тысячи рабочаго люда? „Невыгодно! снова припомнились мнѣ слова Клокачева.—Можетъ быть, благодать-то эта и въ другихъ карманахъ прорѣхи затыкаетъ!“ И предо мной съ поразительной ясностью обрисовалось лицо его съ той ядовитой улыбкой, игравшей на его губахъ, когда онъ произносилъ эти слова.

Покидая Т—ь, я не предполагалъ, что мнѣ снова доведется посѣтить это село въ самый разгаръ своеобразной дѣятельности его обитателей и быть очевидцемъ глубоко-потрясающихъ сценъ. Несмотря на то, что я давно уже покинулъ Сибирь, а эти сцены и теперь еще живо проносятся передо мной, порождая во мнѣ глубокую грусть и боль за положеніе рабочаго люда, забитаго и униженнаго, но достойнаго лучшей участи.

Помимо того, что я слышалъ отъ Кузьмы Терентьевича и Клокачева, въ памяти моей еще съ дѣтства сохранялось много разсказовъ, слышанныхъ отъ людей, близко знакомыхъ съ бытомъ пріисковыхъ рабочихъ, — разсказовъ, въ которыхъ эти люди, подъ условіемъ тяжелыхъ работъ и не менѣе тяжелой надорванной жизни, представляли изъ себя такой своеобразный типъ, подобный которому едва-ли встрѣтится гдѣ-нибудь. Пріисковой рабочій, или „таежникъ", какъ называютъ ихъ въ Сибири, въ большинствѣ случаевъ олицетворяетъ собою, выражаясь народнымъ языкомъ, человѣка „отпѣтаго", которому нечего терять въ жизни и для котораго самая жизнь потеряла свою притягательную силу. Онъ всегда находчивъ и неустрашимо смѣлъ и въ минуты буйнаго разгула, и въ минуты крайней опасности, съ какими соединяется иногда его работа. Застигнутый какимъ-нибудь горемъ, онъ все-таки продолжаетъ беззаботно острить и смѣяться, не потому, чтобъ онъ неспособенъ былъ къ душевной боли, причиняемой нравственными страданіями, а просто потому, что вся его бездомная, скитальческая жизнь есть одно только безысходное горе, и никакое другое горе глубоко не поразитъ его; онъ сжился уже со всякимъ горемъ, привыкъ къ нему, какъ привыкаетъ человѣкъ къ смертельной болѣзни, подтачивающей организмъ его, и смотритъ на всякое горе, какъ на неизмѣннаго спутника своего странствія въ земной юдоли. Его не запугаешь никакими наказаніями и это опять-таки потому, что съ большинствомъ ихъ онъ знакомъ весьма основательно: „Бѣлое тѣло и плети ѣло"!— это любимая поговорка таежника. Не запугаешь его также и никакою властью, ибо большинство пріисковыхъ рабочихъ имѣло въ своей жизни много столкновеній съ властями и не только привыкло со всякой изъ нихъ приличный разговоръ вести, но своимъ внушительнымъ тономъ даже отстранять ее отъ себя на почтительное разстояніе.

Таежникъ живетъ только настоящей минутой, не помышляя о будущемъ, не сожалѣя о прошломъ. Сегодня у него сотни рублей въ карманѣ, и онъ беззаботно щеголяетъ въ плисѣ и шелковыхъ рубахахъ, поитъ всякаго встрѣчнаго „и ямацкимъ ромомъ", и другими винами, что почуднѣй и позаористѣй, одѣнетъ въ плисъ съ ногъ до головы перваго попавшагося ему на глаза человѣка, отдастъ послѣднюю асигнацію бѣдному крестьянину на взносъ податей, на покупку коровы или лошади, нисколько не кичась при этомъ своею тароватостью; а завтра самъ надѣваетъ на плечи какую-нибудь рвань, всласть грызетъ поданную ему христа-ради корку и идетъ на ту же золотую каторгу, съ которой только-что воротился, нисколько не соболѣзнуя о брошенномъ на вѣтеръ заработкѣ. Въ деревняхъ и селахъ, находящихся вблизи

золотыхъ пріисковъ, много можно услышать разсказовъ о подвигахъ этихъ отпѣтыхъ людей. Обрисовывая картину ихъ дикаго разгула, вамъ разскажутъ, какъ рабочій, вынесшій благодарный заработокъ, купилъ бочку водки и, выкупавшись въ ней посреди улицы, пригласилъ честной людъ распить эту горячую ванну, и какъ честной людъ, небрезгливый по натурѣ своей, распилъ ее до дна, за здравіе выкупавшагося. Разскажутъ, какъ другой рабочій, накупивъ ситцу, устлалъ имъ всю улицу и пройдясь по ней, одѣлилъ прекрасный полъ кусками этой дорогой мостовой. Разскажутъ и про то, какъ рабочіе по лѣтнему пути еще катаются по селу на санкахъ, въ которыя за приличное вознагражденіе впрягаются, вмѣсто лошадей, дѣвицы и замужнія женщины; да тутъ же кстати разскажутъ не одну исторію, какъ таежникъ выручилъ изъ бѣды какого-нибудь нищаго крестьянина, отдавъ ему на домообзаводство весь свой заработокъ, или заплатилъ за кого-нибудь всю недоимку и тѣмъ выкупилъ несчастнаго изъ контрактной работы. Немало разскажутъ вамъ случаевъ, какъ они, самоотверженно жертвуя своею жизнью, спасали другихъ отъ неминуемой смерти; и особенно много разскажутъ такихъ исторій, какъ эти люди,—про которыхъ установилось мнѣніе, что у нихъ нѣтъ ни Бога, ни совѣсти,—пропивъ до послѣдней копейки свой собственный заработокъ, питаясь милостыней, свято сохраняли зашитыми гдѣ-нибудь въ воротѣ рубахи или полушубка иногда не одну сотню рублей, врученную имъ на храненіе товарищами, и, придя домой, отдавали эти деньги ихъ женамъ, отцамъ и матерямъ. Когда у таежника украдутъ его собственныя деньги, онъ много-много, если вздохнетъ объ нихъ разъ, другой; но деньги, врученныя ему на храненіе товарищемъ, у него можно взять только вмѣстѣ съ жизнью. Разъ мнѣ довелось слышать отъ лица, служившаго на пріискахъ, разсказъ про таежника, который два раза въ своей жизни судился за убійство, не разъ былъ нещадно битъ плетьми и кнутомъ, вынесъ на своихъ плечахъ двадцать лѣтъ каторжной работы,—какъ этотъ нищій, всѣми отвергаемый за позорныя клейма на лицѣ, разъѣзжая съ нимъ одинъ на одинъ по глухимъ лѣсамъ и дебрямъ, свято сохранялъ врученную ему на сбереженіе сумку съ десятками тысячъ рублей; какъ, оставаясь одинъ въ какомъ-нибудь селѣ безъ всякаго посторонняго надзора, когда довѣрителю его необходимо было отлучиться по дѣламъ въ сосѣднія села и деревни, иногда на разстояніи сотни верстъ, этотъ каторжникъ-нищій не спалъ ночей, охраняя драгоцѣнную сумку, и не принялъ потомъ никакой награды за свою услугу, кромѣ рюмки водки. Мнѣ до сихъ поръ еще памятенъ разсказъ одного молодого человѣка, открыть фамилію котораго я не имѣю права. Въ 1863 г., по окончаніи

курса наукъ въ иркутской семинаріи, онъ отправился изъ Иркутска пѣшкомъ въ петербургскій университетъ. По дорогѣ, неподалеку отъ г. Ачинска, его настигла небольшая партія бѣгло-каторжныхъ, и онъ волей-неволей долженъ былъ присоединиться къ нимъ и идти вмѣстѣ съ ними. „Въ первый день пути съ ними, какъ разсказывалъ онъ, я былъ самъ не свой отъ страха и считалъ себя неминуемо погибшимъ, если не спасетъ какой-нибудь случай“. Они отвлекли его отъ дороги въ лѣсъ, изъ опасенія какой-нибудь неблагопріятной для нихъ встрѣчи и, по всей вѣроятности, опасаясь также отпустить его отъ себя, чтобы по приходѣ въ первую деревню на пути онъ не выдалъ ихъ. Наконецъ, они понемногу разговорились съ нимъ, узнали — кто онъ, куда и зачѣмъ идетъ. Вечеромъ, когда они расположились на ночлегъ въ полѣ, подъ стогомъ сѣна, и онъ разулся, то одинъ изъ каторжныхъ, увидя его изъязвленныя отъ ходьбы ноги, снялъ съ себя единственныя бывшія у него бродни и отдалъ ему, говоря: „путь-то твой, паренъ, длинный, сапоги-то свои ты побереги, сгодятся еще тебѣ, а теперь иди въ бродняхъ; въ нихъ, братъ, ногѣ-то не въ примѣръ легче, не трешь!“ Свои же ноги онъ обмоталъ онучами и, за неимѣніемъ обуви, подвязалъ къ подошвамъ бывшія у него въ запасѣ деревянныя дощечки, въ родѣ сандалій. Когда они примѣтили также, что у него всего одна рубаха, и та уже пропотѣла и загрязнилась, то тотъ же каторжный, обратившись къ одному изъ своихъ сотоварищей помоложе, сказалъ ему: „Митрій, у тебя въ запасѣ есть рубаха, отдай-ка ее пареньку-то!. Все жъ, братъ, на смѣну ему сгодится; а его-то рубаху, Богъ дастъ, подойдемъ ужо къ рѣчкѣ,—постираемъ, высушимъ, она у него и пойдетъ про запасъ чистенькой!“ Онъ нѣсколько дней шелъ вмѣстѣ съ ними; они отдавали ему лучшіе куски хлѣба и, какъ замѣтилъ онъ, обдѣляли себя. Когда однажды вечеромъ отъ утомленія съ нимъ сдѣлался лихорадочный припадокъ, то они, рискуя быть открытыми, развели небольшой огонь, сварили въ котелкѣ бывшій у кого то изъ нихъ маленькій кусочекъ кирпичнаго чаю, напоили его и укутали своими сермягами. Родные братья такъ не позаботились бы обо мнѣ, разсказывалъ онъ,— какъ эти клейменые, отверженные обществомъ люди. Все время пути съ ними мнѣ было стыдно за себя,—говорилъ онъ,—за свою боязнь ихъ при первой встрѣчѣ съ ними, за свою гадливость къ ихъ сообществу. Разставаясь съ ними, я не могъ удержаться отъ слезъ,—и что же?—эти несчастные отверженники почти силой навязали мнѣ на разставаньи бывшіе у нихъ гроши и копейки, говоря одно: „бери, путинка-то твоя дальняя; каждая копеечка еще сгодится тебѣ!“ Онъ хранилъ, какъ святыню, эти гроши и копейки. Вотъ какъ отнеслись

несчастные отверженники изъ невѣжественнаго класса людей къ человѣку, шедшему учиться, тогда какъ многіе почтенные купцы-милліонеры и чиновники г. Иркутска, къ которымъ онъ рискнулъ обратиться за денежной помощью на проѣздъ, не только отказали ему въ ней, но даже насмѣшливо отнеслись и къ самому предпріятію его. Кто въ этомъ случаѣ выше по своей нравственности, кто болѣе достоинъ названія человѣка—предоставляю судить читателю...

Въ указанныхъ мною мѣстностяхъ много можно услышать крайне оригинальныхъ разсказовъ о пріисковыхъ рабочихъ, ярко характеризующихъ ихъ нравственный уровень. Такъ, напримѣръ, одинъ рабочій, которому при расчетѣ на пріискахъ довелось получить на руки всего только нѣсколько рублей, воспользовался оплошностью своего пріятеля, получившаго на руки около сотни, и укралъ у него всѣ деньги. Тотъ и не подозрѣвалъ настоящаго вора. Вмѣстѣ пришли они въ село, вмѣстѣ съ воромъ онъ кутилъ, не подозрѣвая, что кутитъ на свои же деньги, и вмѣстѣ съ нимъ попалъ снова въ работу на тѣ же пріиски. Получивъ на другой годъ прибыльный расчетъ, воръ вдругъ обращается къ своему пріятелю: „А вѣдь я, Семенъ, въ должку у тебя; надоть-бы намъ, братъ, сосчитаться!..“ и, разсказавъ ему про свою продѣлку съ нимъ, возвратилъ ему сполна украденную у него сумму. Еще характернѣе разсказъ, какъ пріисковой рабочій относится къ деньгамъ, получаемымъ за свой каторжный трудъ. Я слышалъ его отъ человѣка, долго служившаго на пріискахъ и завѣдывавшаго наймомъ рабочихъ. Двое совершенно трезвыхъ крестьянъ, задавшись цѣлью обставить свое хозяйство, нѣсколько лѣтъ работали на пріискахъ, пока не скопили по полторы тысячи рублей каждый. Получивъ на руки всѣ свои деньги, они разстались съ пріисками, сказавъ на прощаньи лицу, нанявшему ихъ: „Ну, ваше почтеніе, теперь ужъ наши ножки не потопчутъ таежной дорожки; теперь ужъ мы сами хозяевами поживемъ; будетъ, помыкались!“ Они бережно донесли до дому всѣ деньги и принялись за домоустройство, но деньги эти скоро были украдены у нихъ у обоихъ. На слѣдующій годъ, когда наниматель заѣхалъ въ это село, они снова явились къ нему съ просьбой принять ихъ на службу. „О-охъ, ваше почтеніе, видать, што ваши деньги Богомъ заклятыя: только ворамъ онѣ и идутъ въ прокъ!“ съ ироніей отвѣтили они на вопросъ его: что понуждаетъ ихъ снова идти на пріиски?

Конечно, отъ золотопромышленниковъ и большинства лицъ, составляющихъ пріисковую администрацію, рѣдко можно услышать доброе слово о таежникахъ, которые, по ихъ мнѣнію, уподобляются звѣрямъ, готовымъ погубить за копейку и лучшаго друга, и родного отца.

Съ иронической улыбкой они скажутъ каждому, кто бы вступился за этотъ обездоленный народъ: „Да что вы распинаетесь за нихъ? Да развѣ это люди? Вы прежде присмотритесь къ нимъ, поживите съ ними, да потомъ ужъ и ратуйте за ихъ человѣческое достоинство!..“ И въ подтвержденіе этого мнѣнія приведутъ вамъ тысячи фактовъ, какъ таежники, не смотря на всѣ благодѣнія, оказываемыя имъ хозяевами, впавъ въ неоплатные долги, бѣгутъ съ пріисковъ и причиняютъ тѣмъ много хлопотъ и пріисковой администраціи, и земской власти. Любой управляющій пріискомъ, иногда даже весьма развитой человѣкъ, не безъ достоинства скажетъ вамъ, что примѣнить къ рабочему гуманное обращеніе такъ же немыслимо, какъ немыслимо урезонить словами волка не трогать беззащитной овцы, — что если работы на пріискахъ и идутъ успѣшно, то благодаря лишь строгимъ дисциплинарнымъ мѣрамъ, въ которыхъ розга и палка играютъ не послѣднюю роль, что, только благодаря присутствію на пріискахъ казаковъ, можно удерживать въ повиновеніи этотъ людъ, не имѣющій ни чести, ни совѣсти, и готовый всегда пустить въ дѣло и хитрость, и ножъ. А въ заключеніе приведетъ, какъ вѣскій аргументъ, существующія въ нѣкоторыхъ большихъ городахъ Сибири распоряженія—не впускать въ городъ пріисковыхъ рабочихъ, возвращающихся осенью по домамъ во избѣжаніе грабежей, поджоговъ, убійствъ иногда цѣлыхъ семействъ и другихъ преступленій, какія совершаются исключительно будто бы таежниками. Нельзя не сознаться, что въ этихъ упрекахъ нравственнымъ качествамъ пріисковыхъ рабочихъ есть доля и правды, что третья часть ихъ, если не половина, состоитъ изъ ссыльно-поселенцевъ, нравственность которыхъ глубоко расшатана и вліяніемъ острога, и привычкой къ бродячей жизни; но вѣдь подобныя порицанія падаютъ на всѣхъ вообще рабочихъ, не исключая и крестьянъ, идущихъ на этотъ промыселъ для поправленія своихъ стѣсненныхъ обстоятельствъ, а между тѣмъ нравственность этой части таежниковъ не подточена ни развращающимъ вліяніемъ острога, ни привычкой къ бродячей жизни. Не всѣ же, наконецъ, и ссыльно-поселенцы непремѣнно люди съ испорченной нравственностью. Между ними весьма и весьма часто встрѣчаются лица, достойныя глубокаго уваженія и за свою честность, и за свою трезвую, трудолюбивую жизнь. Порицая безнравственность рабочихъ, ни одинъ золотопромышленникъ и ни одинъ управляющій пріискомъ не оглянется на свои, установившіяся годами, отношенія къ рабочимъ и не потрудится провѣрить, насколько сами хозяева нравственны по отношеніямъ къ таежникамъ. Ни одинъ изъ нихъ не скажетъ, почему рабочіе впадаютъ въ неоплатные долги и бѣгутъ съ пріисковъ. Ни одинъ

не скажетъ, почему онъ, не смотря на свой, повидимому, благодарный заработокъ, едва-ли получаетъ на руки и половину его и остается вѣчнымъ нищимъ. Любопытнаго оказалось бы много, если бы только эти мѣшки съ золотомъ хоть разъ въ жизни задумались надъ этими вопросами и отнеслись къ нимъ по совѣсти. Спросите любого изъ этихъ благодѣтелей: почему за всякую ничтожную вещь, стоющую копейки, онъ беретъ съ таежника рубли? Почему онъ за кожаныя бродни, которыя не пронашиваются во время работъ болѣе мѣсяца и стоятъ въ продажѣ не болѣе 1 р. 70 к., не стѣсняясь, беретъ четыре рубля? Почему за готовую рубашку, сшитую изъ гнилого ситца, которой красная цѣна 15, много 20 копеекъ, онъ беретъ 1 рубль и рубль 50 копеекъ и не краснѣетъ, когда черезъ недѣлю рабочій принесетъ ему отъ этой рубахи одни лохмотья?

Народъ бѣденъ, и особенно въ Сибири; онъ всюду ищетъ, для пополненія своего неприхотливаго бюджета, посторонняго заработка, который спасалъ бы его отъ нищеты и горькой необходимости быть законтрактованнымъ волостью въ работу для уплаты казенныхъ недоимокъ. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, въ народѣ нѣтъ настолько здраваго смысла, что, находясь въ безвыходномъ положеніи, онъ сталъ бы избѣгать труда, который такъ благодарно оплачивается, сталъ бы избѣгать людей, которые отнеслись бы добросовѣстно къ его труду и по-человѣчески къ нему самому? Нѣтъ, народъ нашъ настолько трудолюбивъ, честенъ и добръ, что онъ никогда не отплатитъ неблагодарностью за добросовѣстныя отношенія къ нему; въ этомъ, вѣроятно, убѣдился всякій, имѣвшій дѣло съ крестьяниномъ, неразвращеннымъ посторонними вліяніями. И этотъ самый народъ, при всей своей безвыходной бѣдности, сплошь и рядомъ говоритъ, что его и калачемъ не заманятъ на пріиски, толпами бѣжитъ съ нихъ, проклиная попечительныхъ объ немъ хозяевъ, предпочитаетъ законтрактовываться въ какую угодно работу, только не на пріиски. Почему же это? Повторяю опять, что любопытнаго раскрылось бы много, если бы представилась возможность разоблачить во всей наготѣ существовавшія и существующія даже въ настоящее время отношенія пановъ къ своимъ рабочимъ.

Меня тянуло неодолимое любопытство присмотрѣться хотя мелькомъ къ положенію пріисковаго рабочаго и къ буйному разгулу его по выходѣ съ пріисковъ, о которомъ носится по Сибири такъ много легендъ. Спустя два года послѣ того, какъ я былъ въ Т—ѣ, мнѣ снова довелось заѣхать въ эту мѣстность въ концѣ сентября. Стоявшая все время ненастная погода прояснилась, настали тѣ ясные осенніе дни, когда днемъ еще бываетъ тепло, смѣняемое по вечерамъ и особенно

ночью рѣзкимъ холодомъ, такъ что по берегамъ рѣчекъ и озеръ появляются иногда забереги. Село, въ которомъ я жилъ по дѣламъ службы, лежало отъ Т—я въ сорока двухъ верстахъ, и, выбравъ свободный день я поѣхалъ въ Т — ь, съ цѣлью прожить въ немъ нѣсколько дней, въ качествѣ частнаго человѣка. Ямщикъ,—на всѣ мои разспросы отвѣчавшій одними точно заученными фразами: „Богъ его вѣдаетъ!“ или „Господь его знаетъ, какъ оно“,—привезъ меня на квартиру къ какому-то Данилѣ Анфимычу, объяснивъ, что у Кузьмы Терентьича теперь самый развалъ и, чай, иголкѣ въ дому негдѣ упасть! Мы въѣхали въ Т—ь вечеромъ. Не смотря на глубокую темноту, всюду было замѣтно оживленіе: окна домовъ были ярко освѣщены, по улицамъ сновалъ народъ, слышались говоръ, пѣсни, ругань. Въ темнотѣ, на изгибѣ улицы, лошадей неожиданно схватили подъ уздцы и осадили ихъ; послышался окликъ: „кто ѣдетъ?“

— Чиновникъ!—отвѣтилъ ямщикъ.

— Заворачивай оглобли, вези его къ лѣшему, откуда привезъ! На што намъ чиновниковъ; мы и безъ нихъ всласть проживемъ!“ — отвѣтилъ подъ самымъ моимъ ухомъ пьяный голосъ, сопровождаемый смѣхомъ толпы, обступившей экипажъ.

— Не трожь его, пусти! Поѣзжай, говоримъ, по плакату! — закричали въ толпѣ ямщику. — Здравія желаемъ, ваше благородіе! — насмѣшливо пробасилъ чей-то зычный голосъ, заглушаемый дружнымъ раскатистымъ хохотомъ толпы.

— Ну, и наро-одецъ!—произнесъ ямщикъ, когда пріударенные имъ кони помчались по улицѣ. — Никакой у нихъ, братецъ ты мой, палитуры нѣтъ!—произнесъ онъ, обратившись ко мнѣ.

— Какой это политуры, объясни мнѣ?—спросилъ я.

— А это стало быть обращенья, по нашему-то какъ бы значитъ—обходительности съ человѣкомъ!..—заикаясь, пояснилъ ямщикъ.

Проѣхавъ мимо гостинаго ряда, въ которомъ лавки уже были заперты, мы безъ особенныхъ приключеній завернули въ узенькій переулокъ, тянувшійся на другомъ концѣ села, и остановились у воротъ небольшого домика, наружность котораго трудно было разсмотрѣть въ темнотѣ. Почтенный на видъ старикъ,—какъ оказалось, самъ Данило Анфимычъ,—выйдя съ фонаремъ въ рукѣ, привѣтливо встрѣтилъ меня и ввелъ въ небольшую низенькую горенку, уставленную крашенными деревянными стульями, и при этомъ заранѣе извинился предо мною за безпокойство, какое, можетъ быть, будутъ причинять мнѣ остановившіеся у него на квартирѣ рабочіе. Онъ самъ принялся и услуживать мнѣ, объяснивъ, что всѣ его домочадцы прислуживаютъ рабочимъ и

вмѣстѣ съ тѣмъ присматриваютъ за ними. Подавъ самоваръ, Данило Анфимычъ сообщилъ мнѣ, какъ новость дня, что у нихъ на селѣ была сегодня крупная драка, что таежники прибили одного изъ крестьянъ.

— За что?—спросилъ я.

— Да поцалъ онъ имъ въ обѣдъ щей,—началъ онъ.—Ну, они и не покажись имъ чего-то: нескусные были што-ль, мяса въ нихъ мало было, аль жиру,—Богъ ихъ вѣдаетъ!.. Ну, они и загалди, што коли-де деньги берешь за постой, такъ ужъ не жалѣй варева, подавай его вдоволь, што-бъ не токма хлебать, а коль охота придетъ и купаться можно бы было! Ему бы смолчать надоть, а онъ не стерпи и скажи имъ, што кабы они допрежъ куражу платили, а не опосля, какъ заживутся, такъ можно бы потакать имъ было, а то-де вы и за прошлый годъ въ долгу остались, да и нонѣ-то захлебались никакъ свыше достатка. Слово за слово, и пошелъ межъ ними расчетъ. А въ энту пору кто-то изъ нихъ не обробѣй, да и махни въ мужика-то горячими щами, да какъ исшо Господь помиловалъ, што въ лицо не угодилъ, а въ грудь да въ плечо... ошпарилъ... Съ эвтого и пошелъ свалъ; едва уняли ихъ...

— Чѣмъ же уняли?

— Которыхъ поучили слегка да досыта, а иныхъ повязали да въ судъ.

— Въ какой судъ?

— Къ волостнымъ, благо всѣ теперь здѣсь. Ну, тѣ и присудили, штобъ рабочіе, значитъ, расплатились и за ѣду, и за посуду, што похряскали объ полъ, и за окна, што повыбивали, за весь ущербъ выходитъ. А за то, што помяли кое-кого изъ нашихъ, особливую плату въ вышнемъ размѣрѣ обсудили...

— И тѣ заплатили?

— Заплатили!.. Вѣдь они въ эфтихъ случаяхъ всѣ другъ за друга платятъ... Аккуратно покончили, даже лобзались и крестъ цѣловали...

— А крестъ-то зачѣмъ же цѣловали?

— Стояли на томъ, штобъ имъ быть, значитъ, съ нашими мужиками въ самой што ни есть пріязни и нынѣ, и завсегда. Вина этого и ратафіи никакъ ведеръ пять обсушили; а волостнымъ за снисхожденіе рому теперича и шенпанскаго ставили.

— Шампанскаго? — спросилъ я, пораженный этимъ открытіемъ.

— Судацкое оно што-ли зовется-то. Здѣсь-то болѣе все шенпанскимъ его кличутъ,—объяснилъ онъ.—У насъ, вѣдь, сударь, теперича кажинный день судъ да расправа: не то, такъ другое стрясется; даже часу, можно сказать, въ спокойствіи не пробудешь; пьяный народъ-то—огульникъ, чуть не доглядѣлъ за нимъ и пошло-о!..

Въ это время дверь растворилась, и молодая женщина, просунувъ свое миловидное лицо въ дверь, полушепотомъ произнесла: „Тятенька, подь-ко сюда!„ Данило Анфимычъ поспѣшно вскочилъ, вышелъ, и я болѣе не видалъ его въ тотъ вечеръ.

На другой день, часу въ девятомъ утра, я пошелъ гулять по Т—ю. Ворота во всѣхъ почти домахъ были раскрыты настежь: въ нѣкоторыхъ домахъ, гдѣ, повидимому, болѣе скопилось приставшихъ на квартиру рабочихъ, настежь раскрыты были и окна, не смотря на то, что утро было холодное. Около домовъ, во дворахъ, и по улицѣ, всюду виднѣлся народъ. По оживленію, какое встрѣчалъ я на каждомъ шагу, село представляло своимъ видомъ что-то праздничное или, вѣрнѣе, ярмарочное. Попадавшіеся мнѣ рабочіе были щеголевато одѣты: иные въ новыхъ бѣлыхъ зипунахъ, грудь, рукава и окопечности полъ у которыхъ были узорно расшиты разноцвѣтными шелками, въ новыхъ котиковыхъ шапкахъ на головѣ или въ картузахъ, сшитыхъ изъ треугольниковъ синяго и чернаго сукна. Попадались и щеголи, одѣтые въ красныя и синія шелковыя рубахи, въ синія или черныя съ золотыми разводами и пуговицами жилетки и въ плисовыя безрукавки. Вертѣлись среди нихъ и люди, рѣзко бросавшіеся въ глаза своими убогими сермягами и зипунами, но такіе субъекты сравнительно были рѣдки. Весь попадавшійся мнѣ людъ былъ уже замѣтно навеселѣ; въ рукахъ у большинства были гармоники, балалайки, встрѣчались гитары, а иногда и скрипки. Разряженныя молодыя женщины и дѣвушки въ голубыхъ и алыхъ косынкахъ на головахъ сновали среди рабочихъ и по улицѣ, суетливо перебѣгая изъ дома въ домъ, провожаемыя шуточками и смѣхомъ молодцоватыхъ щеголей. Порою по улицѣ проносилась, какъ вихрь, лихая тройка, вся убранная лентами, неистово звеня колокольцами и бубенчиками, и въ телѣгѣ, среди расфранченныхъ рабочихъ, въ обнимку съ ними, сидѣли не менѣе разряженныя женщины, заливаясь звонкой, хотя и нескладной пѣсней. Встрѣчные провожали подобныя тройки хохотомъ, свистомъ и криками. Пѣсни звенѣли на каждомъ перекресткѣ. Иногда по улицѣ шла съ пѣсней густая, пестрая толпа рабочихъ, и среди нихъ опять виднѣлись разодѣтыя во всѣ радужныя цвѣта женщины, звонкіе голоса которыхъ рѣзко отличались отъ сильныхъ мужскихъ басовыхъ нотъ. Впереди толпы шелъ непремѣнно какой-нибудь франтъ весь въ плисѣ, окутанный крестъ-на-крестъ шалями, въ пояркової шляпѣ, перевязанной широкою алой или пестрой лентой: это „князь“ со своей свитой. Князьями называются на языкѣ таежниковъ тѣ изъ рабочихъ, которые выпесли слишкомъ крупный заработокъ или которымъ посчастливилось найти

золотую самородку и получить плату по вѣсу найденнаго въ ней золота *). Въ рукахъ князя бутылка съ виномъ; бутылки съ виномъ въ рукахъ и безотлучно сопровождающихъ его ассистентовъ или, вѣрнѣе, адъютантовъ, безпрекословно исполняющихъ всѣ его приказанія. Каждая пѣсня оканчивается непремѣнно „славой честному князю Маркелу Савичу“ и его спутникамъ, и послѣ каждаго славословія князь и его адъютанты угощаютъ толпу виномъ, пряниками, орѣхами и конфектами. Иногда они одѣляютъ не только сопутствующихъ князю, но и всѣхъ встрѣчныхъ алыми и пестрыми платками, кусками ситца, шалями. Чаще всего князь гуляетъ впереди толпы, обнявшись съ избранною имъ подругой, которая покидаетъ его только съ послѣднимъ рублемъ. Въ этихъ случаяхъ вмѣстѣ съ княземъ славословятъ и честную княгиню его.

Около кабаковъ, встрѣчавшихся чуть не на каждомъ шагу, стоялъ гулъ, скорѣе похожій на вой приближающейся бури, чѣмъ на человѣческую рѣчь. Народъ толпами, съ пѣснями, свистомъ, переходилъ изъ кабака въ кабакъ. Порою впереди толпы, заливающейся хохотомъ и ревомъ, мчались танцоры, то разстилаясь по землѣ, то выбивая носками и каблуками своихъ глянцевитыхъ сапогъ самыя замысловатыя колѣнца. Поводя въ воздухѣ руками съ платочками, плыли среди нихъ женщины; иногда навстрѣчу имъ шла такая же толпа съ танцорами впереди, и тогда образовывался плотный кругъ, въ срединѣ котораго танцоры стремились затмить другъ друга своимъ искусствомъ. Попадались около кабаковъ и такія группы, которыя готовы были ежеминутно вступить въ драку изъ-за самаго пичтожнаго повода. Въ этомъ бушующемъ хаосѣ, среди пестро-нарядnаго люда, нерѣдко скользили совершенно нагіе субъекты; это были уже пропившіеся рабочіе, гуляющіе насчетъ своихъ болѣе счастливыхъ товарищей. Они не поражали своею наготою никого, ни даже женщинъ, какъ видно привыкшихъ ко всевозможнымъ картинамъ. Разбитый носъ или разсѣченная губа, изъ которыхъ лилась кровь на плисовую поддевку или шелковую рубаху,

*) Нахожденіе золотыхъ самородокъ во время работъ—не рѣдкость. Если самородка найдена рабочимъ въ обыкновенный рабочій день, тогда онъ не получаетъ никакого вознагражденія за нее. Въ подобныхъ случаяхъ рабочіе, чтобы не потерять своей выгоды, прибѣгаютъ къ хитрости: они зарываютъ самородку, найденную въ будни, въ землю и вырываютъ ее въ воскресенье или въ другой какой-либо праздникъ, въ который не полагается работать, но въ которые они, какъ и въ будни, выгоняются на работы, съ тою только разницей, что за работу въ праздничные дни, называемую «старательскою», они получаютъ не обычную, условную плату, а плату за количество добытаго ими золота. Предъявивъ самородку, найденную будто бы въ праздничный день, рабочій получаетъ вознагражденіе по количеству оказавшагося въ ней золота.

заплывшій въ синей опухоли глазъ—такъ же проходили незамѣчаемыми, какъ самыя обыденныя и даже неминуемыя явленія. Иногда, среди хохота, пѣсенъ и несмолкаемаго гула отъ говора, рѣзко проносился тонко дребезжавшій звукъ выбитаго стекла или вылетѣвшей изъ окна рамы, затѣмъ слышался хриплый стонъ или удушливый крикъ „кара-у-у-улъ!“, заглушаемый и гоготаньемъ, и глухимъ шлепаньемъ ударовъ, щедро сыпавшихся кругомъ на друга и недруга. Яркое осеннее солнце обливало своими еще грѣющими лучами эту шумную картину, поражавшую пестротою своихъ красокъ, а еще болѣе пестротою содержанія, гдѣ въ каждомъ углу этого широкаго полотна, обрамленнаго роскошною природою и чистымъ лазурнымъ небомъ, безучастно глядѣвшимъ на все, совершались оригинальныя сцены, обрисовывающія нравы этихъ людей, одичавшихъ отъ нищеты и горя, — а теперь и отъ необузданнаго разгула.

На площади, по правую сторону которой тянулись лавки или, правильнѣе, магазины, — такъ какъ устройство ихъ нисколько не отличалось отъ тѣхъ магазиновъ „съ панскими“ и „бакалейными“ товарами, какіе встрѣчаются въ уѣздныхъ городахъ—происходила самая оживленная дѣятельность. Здѣсь также пестрѣли толпы рабочихъ и женщинъ, всюду сопровождавшихъ тароватыхъ гостей своихъ. Бойкіе на руки и расторопные на языкъ владѣльцы магазиновъ кипѣли въ этой сутолокѣ, какъ въ котлѣ, успѣвая отмѣривать куски ситца и въ то же время нахваливать опояски, шали, поддевки и шаровары, развѣшанныя на жердочкахъ около стѣнъ. Въ одномъ изъ такихъ магазиновъ, тщедушный мужичекъ низенькаго роста, съ всклоченной бородой и съ совершенно заплывшими въ опухшихъ вѣкахъ глазами, примѣривалъ на себѣ азямъ, тщательно ощупывая заскорузлыми пальцами полы его, широкіе рукава и грудь. Отъ мозолей, похожихъ на тѣ трутные парости, какіе встрѣчаются на березахъ, пальцы его едва сгибались; по всему было видно, что онъ никакъ не можетъ опредѣлить плотности матеріи и ощупываетъ болѣе для успокоенія совѣсти, чѣмъ для достиженія практическихъ результатовъ.

— Ты пальцами-то отдушины во лбу протри лучше, а не азямъ, то-орговецъ,—смѣясь, крикнулъ ему хозяинъ магазина, плотный, среднихъ лѣтъ человѣкъ, подвижности глазъ котораго позавидовалъ бы любой изъ тѣхъ турокъ, какихъ рисуютъ на циферблатахъ стѣнныхъ часовъ.—Вишь, какъ ихъ плотно бутылошнымъ-то туманомъ заволокло у тебя. Давно изъ тайги-то?—спросилъ онъ.

— Вчера только свѣтъ увидали, милый! — пожаловался мужичекъ.

— А-а, то и очи-то затянуло... Съ разу видать, хлебанулъ бѣлаго-то свѣту до сумерокъ, да и бродишь теперь во тьмѣ, голова!.. Замѣсто того, штобъ глазомъ зрѣть, ты пальцемъ скоблишь; а вотъ кабы ты на шелки-то глянулъ, узоръ-то бы зрѣлъ, такъ какую бы ты мнѣ цѣну-то далъ, а?.. А теперича вотъ гляди на тебя, да и соболѣзнуй!

— Не болѣй! За цѣной я, милый, не постою.

— Ну, коли не постоишь, такъ чего-жъ щупаешь-то, хе-хе-е!.. — со смѣхомъ протянулъ хозяинъ магазина, пристально осмотрѣвъ вошедшихъ въ это время трехъ рабочихъ, одѣтыхъ заново въ бѣлые расшитые шелкомъ азямы и въ шаляхъ, крестъ-на-крестъ повязанныхъ на груди.—Молодцамъ наше што ни есть нижайшее!..—произнесъ онъ, приподнимая картузъ.

— А ты нагнись-то пониже, крестца-то не жалѣй! — отвѣтилъ одинъ изъ нихъ, гордо окинувъ его своими черными смѣющимися глазами.—Экихъ-то, какъ мы, покупателей чествуй!

— По кое же мѣсто честь-то воздать, а?

— По крайности по пупъ.

— Не низко-ли, молодцы, будетъ? Съ экаго-то поклона неравно и косточку свихнешь, хе-хе-е! Ты честь-то примешь, да и былъ таковъ, а я калѣчество лечи, траться: у-убытошно! А картузомъ мы хошь до полу махнемъ и денегъ не спросимъ,—смѣясь произнесъ онъ, снимая картузъ и кивнувъ головой.

— О-охъ, Иванъ... какъ тебя по отцу-то крестить? псовичемъ штоль?.. ужъ требуется донять тебя, вотъ какъ!—потряся въ воздухѣ сжатымъ кулакомъ, произнесъ рабочій и, присѣвъ на скамейку, стоявшую у прилавка, онъ подбодрился и, смотря въ упоръ на смѣющагося хозяина, спросилъ:—Понялъ?

— Внятно сказано; какъ не понять!.. За што же ты меня экимъ-то гостинцемъ усластить хошь?

— Отвѣть мнѣ: душа въ тебѣ есть?

— Батюшко, отецъ Василій сказываетъ, што имѣется...

— Попу-то ты не шибко вѣрь; это онъ тебѣ за цѣлковый говоритъ, што въ тебѣ душа есть, а души въ тебѣ на-астолько вотъ нѣтъ!..— отвѣтилъ рабочій, показавъ ему на конецъ мизинца лѣвой руки.

— Што жъ ты съ азямомъ-то мѣшкаешь, другъ? Обѣщался не стоять, а самъ все топчешься?!—крикнулъ хозяинъ магазина мужичку, продолжавшему оглядывать со всѣхъ сторонъ азямъ, полы котораго волочились по землѣ. — И слава Богу, милый, што нѣтъ души-то,— обратился онъ къ сидѣвшему рабочему, поглядывая въ то же время

на двухъ его сотоварищей, которые, сидя на приступкѣ у лавки, проворно лущили кедровые орѣхи.—И слава Богу, говорю, што нѣтъ; потому живется-то не въ примѣръ легче, безъ муки будто... Такъ ты съ эстой объявкой только и зашелъ ко мнѣ, а?—спросилъ онъ.

— А это што? Какъ по твоему называется?..—спросилъ рабочій, вставъ со скамьи, и, поднявъ при этомъ полу зипуна, онъ показалъ ему на плисовыя шаровары, широко треснувшія по серединѣ колѣна.

— Дыра!

— Не у тебя я вчера ихъ купилъ, а? Похвалъ-то твоихъ товару на трехъ возахъ не увезъ бы: говорилъ, што износу имъ не будетъ, а это што?—хлопнувъ рукой по прорванному колѣну, спросилъ онъ.—Вѣдь ты съ меня за все-то про все тридцать рублевъ сгребъ, а-а?..

— Бываетъ!.. Случается, говорю, и не съ тобой однимъ!—хладнокровно отвѣтилъ торговецъ.—Обзавелся сударкой-то? Аль исто не успѣлъ?—неожиданно спросилъ онъ.

— Зачѣмъ тебѣ это знать понадобилось?

— Попадобилось, значитъ, коли спрашиваю.

— Ну, а если скажу—завелся.

— И не горюй, коли обзавелся: всякая тварь парами живетъ... И подь теперича къ ней, штаны-то сними, она тебѣ ихъ въ единый моментъ зашьетъ... Я тебѣ, пожалуй, и ниточекъ дамъ, снеси... Моточекъ-то не Богъ знаетъ чего стоитъ,—всего пятиалтынный; найдется, чай, у тебя... Ниточки-то и опосля тебѣ пригодятся. Къ вечеру вѣдь дыръ-то поди накопится, што звѣздъ на небѣ.

— А-ахъ... шутъ тебя возьми!.. Ужъ такъ, слышь, кулаки чешутся безъ нитки языкъ-то тебѣ пристегнуть...

— Мо-олодъ! Допрежь свой обточай!.. Вѣдь я тебѣ сколько шальваръ на выборъ-то накидалъ вчера, припомни-ка. Говорилъ тебѣ: возьми веницейскаго плису шальзары, скажешь спасибо; переплатилъ-то всего бы три рубля... Самъ за дешевизной погнался, ну, и знай теперь, што дешевое-то гнило, а дорогое-то мило! Веницейскій-то плисъ во всякой дракѣ устоитъ, а энтотъ русскій плисъ — самая пропащая матерія. Вотъ лопанулъ тебя кто ни на есть, онъ и треснулъ!

— Меня-то бы это лопанули, а? — заносчиво спросилъ рабочій.

— Извѣстно, прищемили!.. Въ жизть не повѣрю, штобы сама собой матерья лопнула. У меня, братъ, товаръ стоющій, не то, што у другихъ. Ты помнишь-ли, вчера чего съ тобой-то было, а? Кто тебя по скулѣ-то погладилъ, што вздулась отъ огорченья, а?

— А кто, братъ, погладилъ, такъ тотъ теперича по дворамъ шарится, зубы свои собираетъ на посѣвъ къ будущему урожаю, знай!.. хвастливо отвѣтилъ рабочій, проводя рукой по опухшей щекѣ.

— А ты на меня взъѣлся, товаръ-де гнилой далъ тебѣ, души-де нѣтъ. Э-эхъ, и въ порѣ ты человѣкъ, а все еще разума на настоящую точку не поставилъ. А вотъ я бы на твоемъ мѣстѣ теперича, особливо если при деньгахъ еще, замѣсто укора то пришелъ бы да чинно сказалъ: Иванъ Матвѣичъ, за то, што не послушалъ вчера я тебя, дыру на шальварахъ пріобрѣлъ, и, искупаючи грѣхъ свой, хочу купить у тебя новыя, веницейскаго плиса. Вотъ я бы и зналъ, съ кѣмъ имѣю дѣло, што ты голова-а, и уважилъ бы тебя, въ такія бы шальвары облекъ, што хошь въ три дубины крести тебя, устояли-бъ.

Иванъ Матвѣичъ засмѣялся, засмѣялись и всѣ остальные.

— Вонъ молодецъ-то, какъ не похвалишь за обычай,—снова началъ Иванъ Матвѣичъ, указавъ на мужика, который все еще продолжалъ вертѣть въ рукахъ азямъ: — цѣлый часъ вонъ щелки-то таращитъ, азямъ оглядываетъ. Вотъ ужъ у него дыры не заполучится, нѣ-ѣ-нѣтъ; развѣ, благослови Господи, полы не досчитаться; а штобъ дыра—ни-и-ни. Што-жъ, молодецъ, покупаешь, што ль?—крикнулъ онъ.

— Вещь-то ровно того бы. Цѣной-то только ладно-ли будетъ?—спросилъ тотъ.

— Иди, присядь, поточимъ языкъ-то! —пригласилъ его Иванъ Матвѣичъ.—Орѣхи-то грызешь, а?—спросилъ онъ, когда мужичекъ переступилъ порогъ лавки и, держа въ рукахъ азямъ, присѣлъ на скамеечку рядомъ съ рабочимъ, получившимъ въ наказаніе за предпочтеніе отечественнаго плиса веницейскому дыру на шальвары.

— Ну, ихъ къ Богу,—отвѣтилъ тотъ,—не охочь!

— Бери, бери! — произнесъ Иванъ Матвѣичъ, всыпавъ ему въ колѣни горсточку каленыхъ орѣховъ. — Ну, побалуешь кого-нибудь, коли самъ не грызешь... Жена-то есть? — съ участіемъ спросилъ онъ.

— Э-э, путнаго-то чего нѣту, а энтимъ... добромъ ранѣ разума въ головѣ... запасся...

— Гостинцы, чай, понесешь ей, а?..

— Ни-иветъ и безъ нихъ; не та пора нонѣ.

— Што-жъ такъ? А ты бы и ее польстилъ!.. Э-эко, братецъ, а? Самъ-то придешь вонъ въ какомъ азямѣ, тринадцать рублевъ цѣной, а ей ничего... не похвалю!—покачавъ головой, замѣтилъ Иванъ Матвѣичъ.—Вѣдь она скучаетъ, чай, по тебѣ, съ радости-то такъ, поди, обланитъ тебя, што хошь бревномъ будь и тутъ сучки взыграютъ, а ты съ пустыми руками выйдешь. Не хорошо! Вонъ у меня есть ситчикъ голубой съ малиновыми цвѣточками,— кра-а-са! Вотъ бы ей-то въ самую бы пору...

— И себѣ-то ужъ покупаю не отъ избытка, другъ: въ экомъ-то рѣ-

шетѣ далеко не уйдешь,—тоскливо отвѣтилъ ему мужикъ, показывая на ветхій, сѣраго сукна армякъ.—Холодно; а нонѣ не та пора, штобы деньгами-то баловать, гостинцы-то разносить.

— Мало вынесъ развѣ?

— Налегкѣ.

— А-а; ну, энто другой разговоръ,—согласился Иванъ Матвѣичъ.—Ужъ тутъ, извѣстно, до гостинцевъ-ли: пособи Богъ дойти-то! Я, вѣдь, если и пытаю тебя, сердешный, такъ болѣ о бабѣ-то твоей пекусь, потому и она вѣдь живой человѣкъ, обновки-то всякому хочется. Рублевъ-то двадцать все же вынесъ поди, а?..—спросилъ онъ.

— Два-а-адцать, хе!.. Я нонѣ, братъ, за всякимъ расходомъ, полагаю про себя то, што рублевъ сто чистыми до дому донесу. А то двадцать, хе-е-е! Двадцать-то рублевъ по нашему хозяйству все одно, што тьфу-у. Съ меня вотъ одной подушной болѣ сорока рублевъ въ годъ сходитъ; а то два-а-адцать... хе!

— Многосемейный што-ль?

— Есть кому жевать-то, только припасай!

— Своедѣльшинка?—спросилъ Иванъ Матвѣичъ, подмигнувъ рабочему, молча слушавшему ихъ разговоръ.

— Хе, надоть бы полагать, што своего завода. Баба у меня, другъ, къ слову сказать, тихая и на энтотъ обиходъ, если взять, степенная. Стоющая баба. Рази одно вотъ: языкъ, почитай што, длиннѣе волоса, а касательно иного прочаго, избави Господи!

— Экую бабу цѣнить, братъ, надо особливо при энтихъ качествахъ!—внушительно замѣтилъ Иванъ Матвѣичъ.

— Цѣню, цѣню, сердешный! Какъ ты не станешь цѣнить ее? Теперича возьми одно: весь домъ на ея рукахъ, все хозяйство. Я руки-то за лѣто вонъ какъ мозолями окуталъ!—произнесъ онъ, показывая ему свои мозолистые пальцы:—замѣсто рукавицъ теперича пойдутъ на зиму, да и она вѣдь, милый, не цвѣла.

— Ужъ гдѣ, поди, цвѣла, до цвѣтовъ-ли!

— Не цвѣла, нѣ-ѣ-ѣтъ! Тоже горбъ-то, поди, такъ нагнула, што и за зиму не выправишь, да-а-а!

— Ну, ты-то сразу выправишь: мужикъ, чего еще, въ порѣ, особливо, какъ ситчику-то прихватишь ей. Вѣдь бабій-то горбъ особливая статья! горемъ его нагнетъ, а лаской выправитъ... Такъ чего же, мѣрить, што-ль, ситецъ-то? Къ экой-то бабѣ и ты съ пустыми руками придешь. А цѣню, говоришь; рази это оцѣнка? Да я бы на твоемъ мѣстѣ экую-то бабу озолотилъ; я бъ ей нетомка ситцу, а прихватилъ бы и платъ на голову, и шаль, да не одну бы: на вотъ, молъ, кра-

суйся! Вонъ, вишь, сидитъ человѣкъ да скучаетъ, што ему дыру на штанахъ навертѣли, и надумываетъ новые поплотнѣй покупать;—вотъ и ты бы заодно съ нимъ, а ужъ я бы обоихъ уважилъ. Э-эхъ, вотъ закусить-то будто нечего, а то бъ поподчивалъ васъ,—говорилъ Иванъ Матвѣичъ, шаря рукою въ ящикѣ прилавка.—Петюшка!—крикнулъ онъ, пріотворивъ заднюю дверь въ чуланчикъ.—Подь-ко, принеси ужо студня съ хрѣномъ, да хлѣбца прихвати, соли, да проворнѣй бѣгай: одна нога штобъ здѣсь, а другая тамъ, слышь,—говорилъ онъ мальчику лѣтъ десяти, съ бѣлокурыми вьющимися волосами на головѣ. Бо́льшіе сѣрые глаза ребенка, лукаво оглядывавшіе посѣтителей, заранѣе предрекали, что этотъ молодой отпрыскъ Ивана Матвѣича далеко пойдетъ по стопамъ родителей и въ умѣньи очаровывать, и въ умѣньи обирать.

— А то пока, до закуски-то, ополоснитесь-ко—произнесъ Иванъ Матвѣичъ, вынимая изъ-за прилавка штофъ и большой граненый стаканъ.—Ну-ко, обиженный, задуй-ко, благословясь, неугасающую-то свѣчу!—произнесъ онъ, протянувъ налитый виномъ стаканъ рабочему съ изъяномъ на шальварахъ.

— Это за обманъ ты што-ль угощашь-то?—спросилъ тотъ, принимая стаканъ.

— За што почтешь, опосля ужъ сосчитамся, а теперича пей, посудину-то зря не задерживай.

— Ну, будь здоровъ, дай тебѣ Господи!—отвѣтилъ рабочій и, перекрестившись и подувъ на стаканъ крестъ-на-крестъ, съ маху опорожнилъ его.—А-а.. ну, и водка!—крякнувъ и поморщившись, произнесъ онъ, возвращая стаканъ.

— Промой-ко глаза-то, авось сызнова свѣтъ увидишь, хе-хе... какъ, бишь, тебя по имени-то и отчеству?—спросилъ Иванъ Матвѣичъ, поднося налитый стаканъ покупателю азяма.

— Евсей,—отвѣтилъ онъ,—Макарычемъ буду; Макаромъ отца-то звали.

— О-о!.. Евсей, да еще и Макарычъ! Ну, будь здоровъ!—произнесъ Иванъ Матвѣичъ на его пожеланія.—А бабы своей не забывай, грѣ-ѣ-ѣхъ; подругу жизни, такъ сказать, и не цѣнить... Я тебѣ вотъ ужо ситчикъ-то покажу. А вы, молодцы, што-жъ? Эй, разлюбезные, промочите въ горлышкахъ-то; чай, съ молчанки-то у васъ тамъ закуржавѣло!—крикнулъ онъ рабочимъ, сидѣвшимъ на приступкѣ лавки.

Тѣ сначала оглянулись на его зовъ, потомъ встали и, медленно раскачиваясь, вошли въ лавку.

— Угощенье?—почти въ голосъ спросили они.

Въ это время Петюшка, запыхавшись, вбѣжалъ въ лавку, неся большую хлѣбную чашку съ крошенымъ студнемъ, облитымъ хрѣномъ и краснымъ хлѣбнымъ уксусомъ. Нѣсколько деревянныхъ ложекъ лежало поверхъ каравая хлѣба, которымъ была покрыта чашка. Иванъ Матвѣичъ и гости его, выпившіе уже по другому стакану, обступили чашку и, вооружившись ложками, быстро опорожнили ее.

— Я, милый, што-жъ... я бы всей душой! — говорилъ замѣтно охмѣлѣвшій Евсей Макарычъ.—Неужъ я своей бабѣ цѣны не знаю, а?.. Да я то ись всѣ ея качества постигъ, вотъ вѣдь какъ распинаюсь; да, вишь, достатки-то мои... суди!.. Сорокъ цѣлковыхъ вѣдь одной подушной, а-а, шутка-ли... Изъ чего вѣдь и робить-то ходишь. Неужъ, кабы што...

— Спра-а-авишься, никто какъ Богъ; а бабу польсти!.. Полюбовницъ люди честятъ, а ты законное естество обойдешь... не хвалю!— строго отвѣтилъ Иванъ Матвѣичъ.

— Кто похвалитъ!—произнесъ одинъ изъ рабочихъ, свертывая изъ картузной бумаги папиросу.

— Я, вопъ, Матрешкѣ,—а што она мнѣ, припека,—и тутъ, братъ, шаль-то безъ мала въ сажень выворотилъ; а ужъ она ли не шкура!—похвалился рабочій съ изъяномъ на шальварахъ.—А кажи-ко веницейскія-то,—вдругъ спохватился онъ.

— Мѣрять, што-ль? Заодно бы ужъ? — настойчиво спросилъ Иванъ Матвѣичъ,—обратившись къ Евсею Макарычу.

— Мѣрь!—крикнули въ голосъ рабочіе.—Самъ послѣ спасибо скажетъ. Вѣдь нашего брата на путное-то дѣло въ зашей толкай, на худое-то только безъ спросу лѣземъ.

— Вѣрно, молодцы, люблю за правду!—крякнувъ, одобрилъ ихъ Иванъ Матвѣичъ.

— А-а-ахъ, други вы мои!—всплеснувъ руками, произнесъ Евсей Макарычъ, какъ бы оправдываясь передъ ними.—Достатки-то мои, а-а-а!..—И, махнувъ рукой, онъ отвернулся въ сторону, но чрезъ минуту рѣшительными шагами подошелъ къ прилавку и крикнулъ:—Мѣ-ѣ-рь! штобъ тебя раздуло, за одно ужъ!—На глазахъ его сверкали слезы.

— Не горюй; баба-то тебя сторицей усладитъ за экій приносъ,— утѣшилъ его Иванъ Матвѣичъ, съ непостижимымъ для лѣтъ его проворствомъ сдернувъ съ полки штуку ситца и связку шароваръ веницейскаго плиса. У Евсея Макарыча и остальныхъ присутствующихъ даже зарябило въ глазахъ отъ быстраго мелканія аршина при отмѣриваніи ситца.—Ситчикъ, милый, ножемъ не взрѣжешь,—говорилъ онъ,

положивъ на прилавокъ совсѣмъ уже свернутый кусокъ его.—Съ другого бы за этотъ ситецъ я и полтину-то за аршинъ взять подумалъ бы да и подумалъ, а съ тебя, по божьи говоря, единственно снисходя къ твоимъ недостаткамъ, сорокъ копеекъ кладу, вѣрь... А шаль-то возьмешь?

— Ни-и въ жизть, провались ты.

— Ну-у... Экой скупящій вѣдь ты; а-а-ахъ, братецъ, да рази можно этакъ-то?..

— Убей, говорю.

— Пригодишься исшо. А-ахъ, ты какой; да ты погляди, вѣдь въ глазахъ-то, чай, съ двухъ стаканчиковъ посвѣтлѣй стало...

— Не блазни; о-ой, не блазни.

— Огляди!—быстро развернувъ передъ глазами его шаль, пестрѣвшую яркимъ узоромъ и цвѣтами, говорилъ Иванъ Матвѣичъ.—Узоръ-то чего стоитъ! Вѣдь баба то тебя за экую-то шаль, а-ахъ, какъ уконтентуетъ, съ искрившимися отъ смѣха глазами говорилъ онъ.—Въ потъ вдаритъ отъ ласки то ея,—помяни!

— Не анаѳема-ль?—съ болью въ голосѣ произнесъ Евсей Макарычъ, обратившись къ остальнымъ рабочимъ, поглощеннымъ разсматриваніемъ шароваръ.—Говори ужъ, сколько съ меня денегъ-то?

— Давно бы вотъ такъ-то,—отвѣтилъ Иванъ Матвѣичъ, берясь за счеты и проворно побрякивая косточками; — а то убей, да провались,—только и разговору; а все и дѣло-то съ азямомъ вмѣстѣ—двадцать шесть рублей сорокъ копеекъ стоитъ. Изъ чего только бились... э-эхъ!..

— Бились!.. Хе... какъ побьешься, братъ, за лѣто-то, такъ надъ каждымъ грошемъ вздохнешь, да дважды на него оглянешься, допрежъ чѣмъ изъ рукъ-то выпустить... Побьешься!.. А ты по божьи-ли считалъ-то?

— Саваофа въ свидѣтели позову. Лучше-свое передамъ, чѣмъ твоей трудовой копейкой обременюсь.

— Трудовая, братъ, она, о-о-охъ,—это ты вѣрно...

— Еще-бъ. Намъ-ли не знать!

— О-охъ!.. Мѣдный вотъ опъ грошъ-то. Кому ихъ зря Богъ-то даетъ, чего онъ ему стоитъ, и званья ему нѣтъ... А для тебя энтотъ грошъ — о-о-о... жи-изть одно слово, да-а-а! — ударивъ пальцемъ о прилавокъ, говорилъ оживившійся Евсей Макарычъ.—Што божій свѣтъ въ окнѣ, то и энтотъ грошъ въ твоемъ глазу, да-а!..

— Пособляетъ, точно.

— Да какъ исшо пособляетъ-то! Слезу утретъ!

— Утретъ; а особливо коли глазъ ненарокомъ подобьютъ, только потри имъ, грошемъ-то, сейчасъ кровь планируетъ; отъ многаго пособляетъ, чего говорить, — согласился Иванъ Матвѣичъ. — Ну, такъ покамѣстъ што, вынимай-ко, полюбуемся, какими тебя граматами-то снабдили!

— Ужъ такъ-то, братъ, тошно мнѣ казну-то починать а-а-ахъ!— произнесъ, вздохнувъ и качая головой, Евсей Макарычъ и, снявъ съ себя старый азямъ свой, воротникъ котораго былъ обшитъ кожей,—до того засаленной, что онъ лоснился,—ощупалъ его, затѣмъ поковырялъ его своимъ закорузлымъ пальцемъ и, снова покачавъ головой, вздохнулъ. — Дай-ко, другъ, ножика, — обратился онъ къ Ивану Матвѣичу:—дратву-то зубомъ не возьмешь! Распоровъ поданнымъ ему ножемъ пространство въ вершокъ на внутренней сторонѣ воротника, онъ вынулъ изъ-подъ кожи тщательно завернутыя въ бумажку деньги.

— Бережливый ты! — замѣтилъ Иванъ Матвѣичъ, пристально наблюдавшій за нимъ.

— Ученъ, братъ! Разъ у меня свистнули ихъ, такъ мало-ли горя-то было!.. Сколько же тебѣ отсчитывать, а?..

— Давай всѣ, сколько есть.

— О-о-о, всѣ, хе е... Экъ-то, братъ разопре—етъ...

— Сохраню.

— Мѣсто и мы найдемъ; ничего, учены...

— Учены да невыучены... Давай; у меня, по крайности, въ сохранности лежать будутъ, а то вѣдь пойдешь путаться по селу, то долго-ль до грѣха: сызнова свистнутъ.

— Свистѣть-то и мы нонѣ умѣемъ.

— Ой, просвистишься; давай лучче...

— У сердца, во, складу...

— Ну, какъ знаешь, твое дѣло. Считай дадцать шесть рублевъ сорокъ копеекъ.

— Многонько чего-то, паренекъ, сдается, а?

— Ну, ну, подавай; мнѣ время-то не терпитъ на пустомъ точилѣ языкъ вертѣть; сторговано и подавай! — сурово отвѣтилъ ему Иванъ Матвѣичъ.

Евсей Макарычъ, махнувъ рукой, молча отсчиталъ двадцать семь рублей и, получивъ сдачу, мѣдныя деньги положилъ въ карманъ, а асигнаціи, снова завернувъ въ бумажку, затолкалъ за кожу воротника. Распростившись любезно со всѣми, заявивъ при этомъ, что онъ вечеромъ пойдетъ въ дальнѣйшій путь, ибо заскучалъ о семьѣ, Евсей Макарычъ вышелъ изъ магазина. Но, по злой иронiи судьбы, его въ тотъ

же вечеръ видѣли гулявшимъ въ толпѣ рабочихъ въ обнимку съ какою-то миловидною женщиной, на плечахъ которой красовалась шаль, купленная имъ для жены. Плохо владѣвшій ногами Евсей Макарычъ одѣтъ былъ въ новый зипунъ, сползавшій съ плечъ его, такъ что полы его тащились по землѣ, покрытыя густымъ слоемъ грязи.

Въ то время, какъ въ магазинѣ Ивана Матвѣича происходила описанная выше сцена, въ небольшой лавочкѣ, сколоченной изъ досокъ и обставленной весьма скудно, толпилось нѣсколько человѣкъ рабочихъ. Хозяинъ лавки, низенькій, но коренастый и полный человѣкъ, стоялъ за прилавкомъ, то и дѣло снимая съ головы картузъ и обтирая ситцевымъ платкомъ потное лицо, слегка попорченное оспой. Пухлыя губы его постоянно складывались въ привѣтливую улыбку, съ какою онъ встрѣчалъ входившихъ къ нему покупателей. А покупателей у него было много. Съ ранняго утра и до поздняго вечера лавка Семена Петровича Костылева стонала отъ говора стекавшагося къ нему народа. Двое сыновей его, красивыхъ, молодыхъ людей съ цвѣтущими физіономіями, и работникъ, превращенный на это время въ приказчика, едва успѣвали справляться съ аршиномъ, удовлетворяя разнообразные запросы. Предпочтеніе, оказываемое на этотъ разъ небогатой лавочкѣ Семена Петровича передъ прочими лавками, объяснялось тѣмъ, что онъ объявилъ неслыханную еще въ Т—ѣ „дешевую распродажу товаровъ“. Новость эта произвела сильное впечатлѣніе на его сотоварищей по ремеслу и вызвала со стороны ихъ громкія порицанія его нововведенію.

— Мошенники,—объяснялъ теперь Семенъ Петровичъ тѣснившимся въ лавкѣ покупателямъ, обтирая платкомъ лицо и наблюдая за дѣйствіями сыновей и приказчика,—право мошенники; имъ бы только теперича обобрать бѣднаго человѣка, навязать ему за тройную цѣну всякаго гнилья, а нѣтъ того соображенья — какъ бы помочь ему! Нѣшто у нихъ дрогнетъ душа, видя теперича, што люди робили, робили за лѣто, нѣто-нѣтъ выпесли какія-то копейки, вышли в наги, и босы,—такъ взять съ него божескую... цѣну, если, къ примѣру, онъ и захотѣлъ бы пріодѣться.

— Ужъ гдѣ дрогнетъ!—отозвался на слова его пожилой крестьянинъ, убого одѣтый и толкавшійся въ лавкѣ чуть не съ утра. — А какъ божеская-то цѣна за рукавички-то энти? — спросилъ онъ, указавъ на рядъ кожаныхъ рукавицъ съ шерстяными вязанными варежками, висѣвшихъ на шестѣ, протянутомъ чрезъ всю лавку.

— Рубь восемь гривенъ, милый!..

— Тэ-экъ,—протянулъ крестьянинъ.—Ужъ гдѣ дрогнетъ, што ты,—снова повторилъ онъ, продолжая начатый ранѣе разговоръ.—Я такъ теперича полагаю, сердешный, што ежели обойти съ конца краю всю вашу деревню, такъ душой-то нигдѣ и не попахнетъ!..

— Не говори этакъ-то!—обидчиво отвѣтилъ Семенъ Петровичъ.

— О-о!.. Ну, статься можетъ, и есть гдѣ заблудшая!

— Не говори; не у всякаго совѣсть съ рѣшетомъ споритъ — у кого дыръ болѣ, — нѣ-ѣтъ! Есть, што и Бога памятуютъ: да я вотъ первой скажу тебѣ, да и не тебѣ одному, а на весь свѣтъ возвѣщу: ежели теперича, въ случаѣ, по ошибкѣ, я допущу какой фальшъ, — ночи не усну, изведусь!.. А ты, Митрій Савичъ, не рядись! — обратился онъ къ рабочему, торговавшемуся съ однимъ изъ его сыновей:— мы безъ запроса товаръ отпущаемъ, по божески, не какъ другіе... Нѣшто не слыхалъ, какъ меня честятъ за то, што радѣю о васъ?..

— Радѣтелю!..—громко произнесъ, подхвативъ послѣднее слово Семена Петровича, молодцовато вошедшій въ лавку высокій, плечистый рабочій, съ красивыми чертами лица, одѣтый въ поношенный полушубокъ и бродни. — И ты нонѣ на купецкую ногу живешь? — фамильярно спросилъ онъ.—Говорятъ мнѣ, лавку снарядилъ, торгуешь... А-ахъ, ты, думаю, дуй его горой, дай пойду погляжу, каковъ онъ въ купецкомъ-то чинѣ... Узнаешь-ли?— спросилъ онъ остановившись противъ Семена Петровича, отдѣленнаго отъ него только прилавкомъ.

— Признаться... што-то...—произнесъ замѣтно смутившійся Семенъ Петровичъ,—ровно въ первой...

— Говори ужъ: знать не знаешь, вѣдать не вѣдаешь!..

— Похоже, милый, на то, не погнѣви; а ты объявись на перво, кто ты?..

— О-объявись!.. Не признаешь, купецкая душа твоя? Въ первой, небось, видишь! Ну-ко, не знаешь-ли ты, пощупамъ, кто это въ лонѣшномъ году болѣ трехсотъ рублевъ у меня изъ кармана вытянулъ?— спросилъ рабочій, вперивъ въ Семена Петровича свои сѣрые, нѣсколько на выкатѣ глаза.

— А ты, болѣзный, коли съ вечера угорѣлъ, такъ очнись, нонѣ вѣдь день. Ты кто такой есть? — возвышая голосъ, спросилъ его поблѣднѣвшій Семенъ Петровичъ.

— А ты не знашь?..

— Вижу по лапамъ, што гусь, да у каждаго вѣдь гуся своя кличка.

— Такъ таки Финогена Зарубаева ты и не видывалъ никогда-а?— говорилъ рабочій, стоя уже въ кругу любопытныхъ, привлеченныхъ

ихъ разговоромъ. — А не ты ли, въ прошломъ-то году, зазвалъ меня къ себѣ въ домъ, угощалъ меня, сулилъ еще мнѣ племянницу свою сватать, всячески улещалъ, самъ исшо мнѣ и постель стлалъ. Только на утро-то я очнулся подъ заборомъ, безъ копейки денегъ, а тебя и слѣдъ простылъ: изъ села убѣгъ... Не ты?..

— Иди-ко, милый, безъ грѣха отселева, слышь... послушай моего добраго слова... Лексѣй,—насмѣшливо обратился Семенъ Петровичъ къ одному изъ сыновей,—подай-ко ему гривенникъ на похмѣлье, авось въ память войдетъ... Хе-хе, изъ того вѣрно и бьешься, милый. Триста рублевъ я скралъ у него, а-а?!. — обратился онъ къ окружающимъ.—О-образумься, нечисть ты экая, — возвышая голосъ, заговорилъ онъ;—у тебя-то ни кола, ни двора поди нѣтъ, нагъ и босъ, а я пятьдесятъ три года непороченъ живу на свѣтѣ и сталъ бы это около тебя пачкаться...

— Въ зашей бы его, тятенька, а ты разговариваешь! — крикнулъ Алексѣй, щеки котораго горѣли отъ волненія.

— За што въ зашей, а?.. Што ты купецъ, такъ ужъ съ тобой и не разговаривай?—вступились окружающіе.

— А можетъ, ты и точно скралъ: за вами, братъ, непорочными-то людьми, энта добродѣтель водится!—сверкая глазами, заговорилъ одинъ изъ окружающихъ таежниковъ. — Стой-ка, други, разберемъ дѣло!—обратился онъ къ остальнымъ.—Ты, можетъ, на его-то деньги лавку соорудилъ, да его же теперь и нищимъ ругаешь, нечистью.. Да ты-то кто, а?..

— Съ тобой развѣ я разговариваю?—спросилъ значительно понизившимся тономъ Семенъ Петровичъ.—Ты што лѣзешь въ чужой-то горшокъ со своей ложкой?.. Братъ ты ему, али сватъ?..

— Братъ; по Христу вотъ братъ... и по матери горькой долѣ! Ну, можешь ты поносить его, а? — наступая на него, горячился неожиданный защитникъ. — Ты вотъ на наши-то деньги въ купцы выползъ, да мы же и нечисть, а-а?..

— Ми-и-илые, ми-и-илые!.. Да што вы, одумайтесь; да нѣшто можно къ слову-то вязаться, што впопыхахъ обронено?!..—унизительно ласковымъ тономъ заговорилъ Семенъ Петровичъ, успокаивая ихъ.— Ну, погорячился, што-жъ; вѣдь я въ лѣтахъ человѣкъ; легко-ль мнѣ въ ворахъ-то быть, посудите?

— Воръ ты и есть!—произнесъ Зарубаевъ.

— Сами вотъ слышите, милые, а?.. Должонъ я вступаться за такое поношенье, аль нѣтъ,—рѣшайте...

— Стой, братцы! — произнесъ таежникъ, назвавшійся братомъ

Зарубаева по общей матери ихъ горькой долѣ. — Говори по совѣсти, смотри, безъ фальшу,—обратился онъ къ Зарубаеву:—какъ дѣло было?

— А было оно, други, сказать теперича, не утаивая, очень даже просто, совсѣмъ кабы невзначай... На фатерѣ-то стоялъ я въ прошломъ году у Нефеда Перетолчина... Ладно... И не шибко штобы пьяный былъ, только это однова и зашли мы, братцы, сказать такъ, подъ вечеръ время, вмѣстѣ съ иными прочими, вотъ къ эфтому самому Лазарю,—произнесъ Зарубаевъ, указавъ на Семена Петровича, который усмѣхнулся при этомъ и, отойдя нѣсколько отъ прилавка, шепнулъ что-то работнику своему, быстро скрывшемуся изъ лавки. — Хорошо... Народъ-то это, опосля того сего, разошелся, — продолжалъ Зарубаевъ,— и я хотѣлъ по ихъ теперича слѣдамъ идти; а денегъ у меня, братцы, было триста рублевъ, да мелкими бумажками рублевъ, можетъ, двадцать... Онъ и запримѣть, што я изъ денежныхъ...

— Изъ денежныхъ, хе!.. насмѣшливо подхватилъ Семенъ Петровичъ, отирая платкомъ потное лицо.

— Смѣйся... Я-те выведу на свѣжу-то воду...

— Самъ-то не захлебнись оной!

— Всплыве-емъ; чиста-то совѣсть не тонетъ,—огрызнулся Зарубаевъ.—Запримѣть онъ это, говорю,—продолжалъ онъ, — и поведи рѣчь со мной, што въ молодыхъ-де лѣтахъ оченно бы было пріятно экому молодцу да при хорошей семьѣ быть не изъ послѣднихъ; лучше, говоритъ, чѣмъ въ каторгѣ-то убиваться!.. Водочки это поддавать мнѣ зачалъ, рюмочку за рюмочкой... пью... Хорошо... И говоритъ онъ мнѣ: племянница, говоритъ, у меня есть сирая, дѣвица въ примѣръ бы прочимъ чистотой; вотъ бы экому молодцу кладъ... Што-жъ, молъ, отвѣтствую, у насъ на всякій кладъ руки цѣпки; а тѣмъ временъ все домой порываюсь... А онъ и говоритъ: ложись у меня, полюбился ты мнѣ, а за утро, коли-што, еще потолкуемъ. И постель, какъ теперича, братцы, помню, сталъ мнѣ стлать... и свалился я у него, какъ предъ Богомъ, говорю, лопнуть; а очнулся на утро-то, глядь,—подъ заборомъ лежу, на другой сторонѣ улицы... Хватился денегъ, — пусто... Кинулся въ домъ къ нему,— сказываютъ, вечеро-сь изъ села уѣхалъ... Я въ волость съ объявкой, а тамъ меня на смѣхъ подняли... Вотъ оно какъ дѣло-то все было, — съ дрожью въ голосѣ закончилъ Зарубаевъ.— Не ты, скажешь, а-а? — обратился онъ къ Семену Петровичу. — Не ты-ы?

— Сказка складная; ма-астеръ, хе... хе!..

— А-а, сказка, расхожая душа твоя, ска-а-азка, — повторилъ онъ.—У меня родитель безъ ногъ лежитъ, міромъ кормится, мать по

людямъ въ работѣ мыкается; мы на энти-то деньги вѣкъ бы свой усчастливѣли, кабы ты ихъ не сгребъ. Вотъ чего мнѣ энта сказка-то стоитъ, гра-а-абитель!..

— Придержи языкъ, милый; о-ой, мотри...

— Н-ну... моли ты Бога, купецъ, што ускользнулъ отъ меня въ прошломъ году, мо-о-оли!..

— А што-жъ бы...

— Ннну...—встряхнувъ головой, отвѣтилъ Зарубаевъ.

— Договаривай, што-жъ зубы-то сжалъ...

— А видать, почтенный, што у тебя рука коротка, да ноготокъ длинный! — вступился названный братъ Зарубаева... Знашь, чего я тебѣ оповѣщу?..—спросилъ онъ.

— Сблаговѣсти, авось и перекрестимся, хе-хе! — отвѣчалъ все болѣе и болѣе ободрявшійся Семенъ Петровичъ, съ нетерпѣніемъ выглядывая изъ-за прилавка на улицу, какъ бы поджидая кого.

— Ты Бога-то хоть маненечко памятуешь?

— Во всю даже мѣру... хе...

— Не ссорься ты съ нами, купецъ, ой-ой, не ссорься, слышь: намъ терять нечего... а тебѣ мо-отри... Понимаешь-ли это слово-то?..— сверкнувъ глазами, спросилъ названный братъ Зарубаева.

— А ты ужо до волостныхъ бы поберегъ энти слова-то...

— Не пужай; мы и не такихъ соколовъ за хвостъ имали, да обрывали имъ крылья, а у экой-то вороны пуху-то надергать намъ въ полугоря... Ты купецъ, а онъ нищій,—указывая на Зарубаева, говорилъ онъ;—чего на немъ, то и при немъ... Мирись...

— А вотъ, посмотримъ, какъ волостные присудятъ; мы тоже поношенія своей чести даромъ не спущаемъ, да и за похвальныя слова у насъ, братъ, платятся: здѣсь вѣдь не тайга...

— Мирись!..

— Семенъ Петровичъ,— вступился и мужичекъ, торговавшій рукавицы,—не ты-ль хвалился, што у тебя совѣсть спорѣй рѣшета? Вѣдь если онъ теперича и поношенье твоей чести оказалъ, такъ вѣдь суди, милый, слезы его говорятъ, слезы... утри ихъ!..

— Рукотерниковъ-то нѣтъ, не торгуемъ ими. Антону Антипычу наше нижайшее, — произнесъ Семенъ Петровичъ, привѣтствуя сельскаго старосту, вошедшаго въ это время въ лавку въ сопровожденіи сотскихъ, за которыми и бѣгалъ работникъ Семена Петровича.— А у насъ тутъ безчинство; заступись...

— За кого?.. — спросилъ староста, оглянувшись кругомъ себя, причемъ нѣкоторые изъ рабочихъ, бывшихъ свидѣтелями всей этой сцены, поспѣшили потихоньку выйти изъ лавки.

— Воромъ, Антонъ Антипычъ, сдѣлался на склонѣ своихъ лѣтъ, да-а! Спроси-ко вотъ молодцовъ-то...—указавъ на Зарубаева, названнаго брата его и старика, торговавшаго рукавицы, пожаловался онъ.— Вишь, вотъ триста рублевъ будто скралъ, а, слыхалъ?..

— А теперича... съ процентомъ ихъ требуютъ, што-ль?..

— Съ лихвой, да еще похваляются.

— Пойдемъ-ко, други, въ волость, разберемся!.. — пригласилъ староста.

— Пойдемъ,—отвѣтилъ Зарубаевъ.

— Иди-ко. Ты и этихъ, Антонъ Антипычъ, прихвати,—произнесъ Семенъ Петровичъ, указывая на остальныхъ:—одного поля ягодки-то... Вотъ ужо посидишь денька четыре въ темной, да за каждое словечко отвѣтишь рублемъ, и нау-ука будетъ: въ другоредь сказки-то не станешь сказывать, хе-хе!—говорилъ, улыбаясь, Семенъ Петровичъ, когда рабочіе, въ сопровожденіи старосты и сотскихъ, пошли изъ лавки.—А я ужо слѣдомъ за тобой, Антонъ Антипычъ; вотъ только поуправлюсь,—крикнулъ онъ старостѣ, отирая платкомъ свое смѣющееся и покрытое потомъ лицо.

— Князь! А-а, князь! свѣтлѣющій!—кричалъ, стоя въ дверяхъ лавки, высокій, худой старикъ, одѣтый въ мерлущатый бешметъ и сафьянные татарскіе ичиги, проходившему мимо лавки рабочему, украшенному шалями поверхъ халата изъ тонкаго чернаго сукна, опоясаннаго алымъ шелковымъ кушакомъ.—Осчастливь, загляни; косякъ-то у двери моей высокій; спѣсью-то объ него не треснешься!..

— Зачѣмъ я тебѣ?.—спросилъ тотъ, остановившись.

— Угощу...

— О-о?.. А чѣмъ жъ?

— Чего душа твоя потребуетъ, изволь; достатку-то про экого дорогого гостя хватитъ. Вѣдь годъ, поди, не видались. За энто время ты, вишь, въ какую сажень выросъ, сызнова въ князья произошелъ... Любопытно!..

— Вороти, братцы, — смѣясь, обратился къ своей свитѣ князь, или, вѣрнѣе, рабочій Василій Долгополовъ, называемый болѣе въ своей артели „Васькой Дергачемъ“. Дергачъ былъ старинный рабочій, чуть-ли не попавшій на пріиски еще въ ранней молодости. Онъ перебывалъ почти на всѣхъ пріискахъ Т—ой тайги; его цѣнили вездѣ, какъ опытнаго работника, особенно незамѣнимаго во время пробныхъ работъ при развѣдкахъ новыхъ золотоносныхъ площадей; но въ то же время и не долюбливали за невыносимо заносчивый характеръ, тѣмъ болѣе, что

Дергачъ, сознавая свое значеніе, какъ незамѣнимаго въ извѣстныхъ случаяхъ человѣка, любилъ показать всякой пріисковой власти, что ему, въ сущности, наплевать на нее, что за такого человѣка, какъ онъ, руки всегда будутъ. Дергачъ всякій разъ выносилъ съ пріисковъ хорошій заработокъ. Онъ не любилъ забирать у хозяевъ вещи въ долгъ; все время работъ на пріискахъ отказывалъ себѣ въ самой ничтожной прихоти, но зато уже, при выходѣ съ пріисковъ, любилъ щегольнуть средствами. Конечно, при томъ разгулѣ, какому обыкновенно предавался Дергачъ, средствъ его хватало всего на нѣсколько дней, но довольный и тѣмъ, что онъ пожилъ „хоть на часъ да вскачъ“, Дергачъ, пропивъ послѣднюю копейку, снова отправлялся на пріиски и работалъ до упаду, поддерживая ослабѣвавшія силы мыслью о будущемъ отдыхѣ и разгулѣ. Одѣвшись щеголеватѣе всѣхъ, хотя и припрятавъ свою старую рвань,—ибо зналъ, по опыту многихъ годовъ, что чрезъ нѣсколько дней она снова понадобится ему,—Дергачъ, вынесшій по обыкновенію хорошій заработокъ, гулялъ въ Т—ѣ уже третій день, не безъ удовольствія выслушивая славословія, какія усердно расточала ему подобранная имъ свита.

— Зазвалъ, такъ угощай!—говорилъ Дергачъ, войдя въ лавку въ сопровожденіи своей свиты и, привѣтливо поздоровавшись съ хозяиномъ, важно сѣлъ на поданный ему стулъ, тогда какъ свита его, изъ почтенія къ нему, размѣстилась внѣ лавки, по ступенькамъ высокой панели, обносившей весь гостиный рядъ.—А ты, Микита Онуфричъ, все такой же сычъ, какъ и былъ: не старѣешь и не молодѣешь!—сказалъ онъ, снимая съ головы бобровую шапку и кладя ее на прилавокъ.

— Чего пьешь-то нонѣ, скажи ты мнѣ, чѣмъ угощать-то тебя?—спросилъ вмѣсто отвѣта Никита Онуфричъ. — Вѣдь простой-то, чай, не потребляешь, санъ не допущаетъ...

— Поддавай, чего покрѣпче, штобъ шипѣло на каменкѣ-то...

— Рому?

— Наилучшаго, мотри...

— Извѣстно, при такой бы персонѣ... да конфузится. Степанъ!—обратился Никита Онуфричъ къ парню лѣтъ двадцати, служившему у него, повидимому, въ качествѣ прикащика.—Подь-ка къ Кузьмѣ Терентьичу, возьми у него бутылочки три рому наилучшаго, мотри; лимончиковъ съ пятокъ захвати, пряничковъ съ фунтикъ, а деньги, скажи, опосля самъ я занесу. Да проворнѣй; скажи, молъ, свѣтлѣющій ждетъ!—съ ироніей заключилъ онъ.—Ну, какъ же ты нонѣ, ваше сіятельство, поживаешь, а?.. — спросилъ онъ, когда Степанъ пустился бѣгомъ изъ лавки по направленію къ погребку Кузьмы Терентьича.

— Живу—не тужу, чего пропью—вновь заслужу. Жизть у меня одна!

— Много понѣ денегъ-то вынесъ, а?

— Въ силѣ!..

— Талантливый ты .. Это, братецъ ты мой, въ ину пору подумаешь: при твоемъ бы умѣ, да при твоей-то снаровкѣ ко всякому дѣлу, какъ бы то ись можно усчастливиться, а! А у тебя все прахомъ идетъ! Вотъ тебя теперича княземъ величаютъ; оно, извѣстно, льститъ, чего говорить; прирожденный мужикъ, да вдругъ теперича въ этакій санъ затесаться, — хошь у кого взыграетъ духъ. Да только, милый, величаютъ-то такъ, поколь у тебя деньги есть...

— А ты какъ же бы полагалъ?

— То и говорю, што поколь ты при деньгахъ, ну, и князь, а безъ денегъ все та же грязь!..

— Э-эхъ, Микита, да вѣдь всякая грязь при деньгахъ-то — князь... Нѣшто я одинъ на бѣломъ свѣтѣ экимъ-то княземъ выгляну? Неужъ ты думаешь, што я и въ самомъ дѣлѣ такъ полагаю про себя, а?.. Вѣдь я мужикъ, какъ есть вотъ мужикъ, съ пятъ до рыла, а бренчатъ деньги у меня въ карманѣ, ну, меня и славословятъ, а я и слушаю, и любо. Угощу за энто... Я вотъ мужикъ; ну, што ты скажешь на это?

— Мужикъ, чего-жъ болѣ сказать-то!

— Мужикъ!.. А теперича вотъ княземъ меня величаютъ, вишь, вонъ прихлебниковъ-то сколь набралось, а? Хе... Э-эй, вы, сиди да не дремли, содержи себя въ струнѣ, потому надъ вами понѣ око есть! — крикнулъ Дергачъ, обратившись къ своей свитѣ и грозя ей кулакомъ.— А за што меня славословятъ? Какіе во мнѣ таланы, а?.. За деньги... Одинъ вотъ таланъ, о коемъ всѣ люди скучаютъ и всѣ его честятъ, паче всякой заслуги...

— Вѣрно; чего супротивъ энтого скажешь...

— А какъ это понимать, ежели теперича въ разумѣ человѣкъ, а?

— Глядя по разуму, Василь Петровичъ... у всякаго вѣдь свой разумъ-то. Это глядя по точкѣ, на какой фундаментъ выкладенъ...

— А ты узорныхъ-то словъ не плети, говори по естеству. Я вотъ такъ полагаю: я мужикъ, да если вотъ при деньгахъ, такъ и я въ почетѣ, и я князь, и ты вотъ меня въ гости зазвалъ, и другой зазоветъ, и властенъ я все дѣлать, и все мнѣ съ рукъ сойдетъ...

— Ну, ужъ и все!..

— Все!.. Потому заплачу... И разговоръ я могу держать теперь, какой на душѣ моей зудитъ... Я вотъ, можетъ, другъ ты мой, крѣ-

плюсь-крѣплюсь за годъ-то, чего только на душѣ-то моей не насаднѣетъ, какой, говорю, мозоли жизть-то не натретъ на пей, — колотя себя кулакомъ въ грудь съ ожесточеніемъ, говорилъ Дергачъ, — крѣплю-юсь!.. Потому власти во мнѣ энтой нѣтъ въ тѣ поры разговаривать-то; а деньги, Микита, сила... Это въ ину пору я, братецъ, тоже сумнѣньемъ-то задаюсь: коли бы всякой-то мужикъ да богатъ бы былъ, а-а... чего бы было...

— Взыграли-бъ?..

— И-и!.. Какъ бы исшо взыграли-то!.. И у птицы бы, што въ поднебесьи летаетъ, пухъ-то пообщипали бы!.. Да-а!.. Мужикъ... Ты не почитай, што мужикъ-то дуракъ, а по себѣ суди теперича: вѣдь и ты не вышняго чина человѣкъ, и я не прирожденный князь... Всѣ мы, братецъ, свѣтъ-то божій сквозь бычачій пузырь узрѣли, а вѣдь тоже помышляемъ и всякій разговоръ держать можемъ, и все черезъ деньги... Смѣлость они, милый, придаютъ.

— Чего говорить; безъ денегъ человѣкъ... и не въ цѣпяхъ бы, кажись, а все путается; все ровно скованъ даже и въ помышленіяхъ...

— Скованъ; а раскуй-ко, ободри!..

— Во-озмечтали-бъ!..

— А-а-ахъ, ма-а!.. Гдѣ вотъ Степашко-то твой съ угощеніемъ-то запропалъ? Молодцы, ну-ко сбѣгай кто-нибудь, понудьте-ко парня-то пошире шагать!—произнесъ Дергачъ, обратившись къ своей свитѣ.— Да-а, раскуй-ко нашего брата золотымъ-то молотомъ... а?—снова произнесъ онъ послѣ минутнаго раздумья, обратившись къ Никитѣ Онуфричу. — Э-эхъ, Микита, Микита!.. Вотъ ты давѣ укорилъ меня, што все у меня прахомъ идетъ, што при моемъ бы умѣ да таланѣ я бы очень могъ усчастливиться... И могъ бы, вотъ бы какъ могъ!.. Я, братъ, фортуну-то не разъ за подолъ ималъ и то-ись какъ бы могъ приголубить ее, да душа не лежитъ...

— Къ фортунѣ-то?

— Да-а!.. Вотъ ты и гляди на меня!.. Иной всю жизнь за ней гоняется, какъ собака за тѣнью; такъ она къ тому, братъ, не льнетъ, потому у нея весь бабій норовъ; а кто вотъ отъ нея воротитъ рыло, такъ тотъ ей и любъ. А мнѣ на нее плевать, истинно, какъ предъ Богомъ, говорю тебѣ! Нѣшто, ты думашь, деньги-то счастливятъ? Дороги онѣ мнѣ, а-а? Тьфу-у!—сплюнувъ, произнесъ онъ и отвернулся.— На, вотъ, гляди на нихъ,—говорилъ онъ,—доставъ изъ кармана плисовыхъ шароваровъ толстый пукъ скомканныхъ асигнацій и показавъ ихъ ему.— Ну, землю бы я купилъ, лошадей, домъ бы выклалъ, хозяйство установилъ бы, бабой бы обзавелся, а далѣ-то чего-жъ бы было? Нѣшто,

ты думашь, усидѣлъ бы я на мѣстѣ, а? Ни въ жизть! На завтра же все бы опаскудѣло мнѣ, вѣрь! Во-оля мнѣ, милый, дорога, во-о-олюшка, и нѣтъ, то-ись, милѣй ея красоты на свѣтѣ!.. Да гдѣ-жъ это твой Степка-то, съ угощеньемъ запропалъ?—крикнулъ онъ.

— Песъ его знаетъ, гдѣ его тамъ уколачиваетъ!—произнесъ засуетившійся Никита Онуфричъ, на котораго показанный ему пукъ асигнацій произвелъ, повидимому, сильное впечатлѣніе. Выскочивъ изъ-за прилавка, онъ выбѣжалъ на панель и, приставивъ къ глазамъ ладонь руки, торопливо посматривалъ по сторонамъ.—Чо-ортъ, право, чортъ! —сердито рычалъ онъ, когда, немного погодя, Степанъ, держа въ шапкѣ бутылки, вбѣжалъ, запыхавшись, въ лавку. — По-о смерть только посылать тебя,—ворчалъ на него Никита Онуфричъ. — Я-те вотъ лѣшему вколочу гвоздей въ сапоги-то, такъ будешь напредки пошеве́ливаться.

— Не протолкаться, ей Богу, столько народу набилось!—оправдывался Степанъ, проворно раскупоривая бутылку и съ маху обтирая рукавомъ крупныя капли пота съ лица.

— Ну-ка, Василь Петровичъ, пригубь! — пригласилъ Никита Онуфричъ, поднося Дергачу объемистый гранепый стаканъ съ ромомъ.

Дергачъ, молча, принялъ изъ рукъ его стаканъ и, пристально посмотрѣвъ на налитую въ немъ жидкость темно-краснаго цвѣта, сильно распространявшую запахъ клоповъ, покачалъ головой.

— Отрава энто питье, Микита; однимъ только и беретъ, — лютостью!—произнесъ онъ.—Ты ужъ и молодцовъ-то моихъ почествуй,—обнеси!

— Бѣленькимъ, разѣ...

— Ни-ни, ромомъ. Всѣ мы, братецъ, люди, всѣ человѣки, помни. Вознагражу, а молодцовъ моихъ не обидь.

— Эхъ, милый, да разѣ я въ обиду? Вѣдь если я теперича тебя чествую, такъ вѣдь я знаю—кого я чествую. Вѣдь ты умный; понимаешь, что чего стоитъ, а опи-то што?

— Люди; и у нихъ, братецъ, понятія есть!

— Всѣ мы люди, — точно, и всѣ по одному покрою, да не изъ одной матерьи, другъ: овый изъ холста, овый изъ ситца, а овый изъ шелковъ сотканъ; поэтому, другъ, каждому и цѣна своя. Кушай-ка во здравіе!

Дергачъ перекрестился и медленно, безъ отдышки опорожнивъ стаканъ, крякнулъ и произнесъ: „ну, и пали-и-итъ!“

— Плесни-ко еще шаечку на каменку-то, хе-хе! — смѣясь говорилъ Никита Онуфричъ, наливая второй стаканъ, который Дергачъ

опорожнилъ уже съ маху и, выкативъ свои большіе сѣрые глаза, съ минуту безсознательно смотрѣлъ на Никиту Онуфрича.

— И огонь же питье, а-а-ахъ! — произнесъ, наконецъ, онъ. — Ужъ я, братъ, лютъ, а энта стихія никакъ исшо лютѣе будетъ!—говорилъ онъ, прожевывая откушенную имъ половину лимона.

— Нѣшто ты лютъ?—спросилъ его Никита Онуфричъ, передавъ одну бутылку и небольшую рюмку спутникамъ Дергача и одѣливъ каждаго изъ нихъ по прянику.

— У-у, звѣрь.

— Гляди-жъ, а мнѣ все казалось, што ты добрый.

— Я-то? Э-э, лютости энтой во мнѣ, Микита, а-а-ахъ, Боже мой.

— По-олно; съ чего-бъ?

— Захлебываюсь ею, какъ бѣшенная собака пѣной, вѣрь! Не таюсь. Временъ я тихъ, не таю, ну, энто, милый, тоже забава! Я вѣдь умный!

— Чего умнѣй!

— И ехидства энтого во мнѣ—Бо-оже ты, Господи! Ты думашь, я такъ вотъ ни за што, ни про што и мыкаюсь по бѣлу свѣту? О о!.. Хе... я все, братъ, выглядываю, во все проникаю, я... я... дойду до точки.

— О-о? До какой же?

— Энта точка, другъ, н-ну! Кто ее сковырнетъ, тому въ царство небесное дорога широ-о-окая будетъ, да-а!.. Васька Дергачъ... Хе... и имячко-то вѣдь подобрали, хе, хе...

— Окрестилъ-то тебя кто этимъ-то именемъ, скажи-ко?

— Ишь, вотъ въ метрику-то не пишутъ, кто первый взвеличаетъ. Извѣстно кто: наша же братья—перекати поле—не дадутъ ли болѣ. Кто?.. А ну-ка, плесни исшо мнѣ. Вѣдь это вотъ пагуба,—говорилъ онъ, взявъ въ руки вновь налитый стаканъ,—а вѣдь нашему брату жить безъ нея не можно, вѣрь! Ты не зри такъ на меня, я вправду говорю: сколь опа энтой горести въ тебѣ тушитъ, а? Теперича взять меня къ примѣру: што я? Бобыль, ни кола, ни двора; ну, какая моя жизть? Годъ каторги, да день просвѣта; ты робишь, робишь, жизть кладешь, и все ты нищій, а другой за твое здоровье, сложа руки, въ прохладѣ живетъ. Нѣшто такъ должонъ жить человѣкъ, а? Въ какомъ законѣ писано, что я вотъ, Васька Дергачъ, стой подъ одной планидой съ безсловеснымъ твореніемъ, а? Ну, отвѣтствуй!

— Предѣлъ, милый, ужъ это кому какъ.

— Кто его городилъ, предѣлъ-то энтотъ? Объяви!

— А ужъ это, Василь Петровичъ, кѣмъ оно огорожено,—поумнѣй

кого спроси, потому мы грамотой-то, признаться, не задались,—уклончиво отвѣтилъ Никита Онуфричъ.

— Точка, а? Точка вѣдь, хе-хе. Постигъ теперь ее? Ну,—и выпивъ стаканъ, Дергачъ стукнулъ имъ о прилавокъ и, посмотрѣвъ пристально въ глаза Никиты Онуфрича своими значительно посоловѣвшими глазами, засмѣялся, обнаруживъ рядъ бѣлыхъ, какъ перламутръ, и крѣпкихъ зубовъ.—Ну, постигъ теперь, а?—снова началъ онъ.—Э-эхъ, Микита, Микита, да што тутъ слова-то терять! А энтихъ талановъ твоихъ мнѣ не надо, ни... ни! во-о-оля—вотъ, милый, красота-а-а, и не продамъ ее ни за какія тыщи, озолоти! Завсегда я самъ себѣ баринъ: сегодня я князь, назавтра грязь, а все баринъ. Ну, можешь-ли понять теперича, што я за человѣкъ, а-а? За деньги меня честятъ теперь, и чести—плевать,—за што ни чести, да чести, а придетъ точка, ты и за умъ меня почтишь!

— Не въ цѣнѣ онъ, милый! Съ умомъ-то по нонѣшнимъ временамъ плохое житье. При деньгахъ оно исшо въ полугоря, а умъ безъ денегъ, милый, одно только званье, неособливая статья. А што-жъ, Василій Петровичъ, похвалялся ты нонѣ, што тебѣ плевать на деньги-то, а? Вправду это?—смѣясь какимъ-то приниженно-заискивающимъ смѣхомъ, спросилъ Никита Онуфричъ, ласково заглядывая въ осоловѣвшіе глаза своего гостя.

— Плевать.

— Плюнь-ко, слышь, и въ мою сторону... отъ щедрыни-то, а?

— Изволь!—и, харкнувъ, Дергачъ плюнулъ ему прямо въ лицо.

— Ну, это ужъ, Василь Петровичъ, не гожо-о-о! —растерявшись отъ неожиданности и обтирая полою бешмета лицо, произнесъ побагровѣвшій Никита Онуфричъ.—Нѣтъ, это ужъ того... уволь, за это вашего брата учатъ.

— Нашего брата, Микита, за все, про все учатъ, и сколь ты, милый, ни живи, никакъ, то-исть, изъ энтой науки не выйдешь... А што если теперича я супротивъ тебя безчинство сдѣлалъ, такъ ты не серчай; съ твоего жъ слова, ты жъ просилъ—плюнь, и я завсегды съ полнымъ даже удовольствіемъ.

— Я не сержусь,—успокоилъ его Никита Онуфричъ;—только въ другорядь, говорю, Василь Петровичъ, энтихъ-то шутокъ остерегись: неровенъ часъ да время!

— О-о, чего-жъ ты грозишь-то? Ну, што?

— Не грожу, а предваряю только: стерегись.

— Микита, ты на што меня въ гости-то зазвалъ, а-а?

— Угощать.

— За што ты меня чествуешь такъ, а? Вишь, сколь закусокъ-то накупилъ, а? А вѣдь ты скупой, ты Иродъ; ты стакана воды даромъ не дашь, а меня, вишь, ромомъ успащиваешь. Ну, за што же экая милость ко мнѣ, а?

— Стоишь, стало быть, и понимай!

— Стою!—съ ироніей повторилъ Дергачъ.—Еслибъ я и въ тыщи разъ стоющѣй былъ, да коли бы денегъ не было, такъ ты бы мнѣ корки хлѣба не кинулъ. Пра-ахвостъ ты, Микита, одно тебѣ званье.

— Спасибо и за энто. Хорошо. Ай-да князь!

— А-ахъ, Микита, Микита, насквозь вѣдь я тебя вижу! Я вотъ тебѣ какую хошь пакость сдѣлаю и вторительно въ лико плюну,—сойдетъ, только другой полой оботрешься. Во-отъ онъ магнитъ-то, вишь, хе-хе-е,—вынувъ изъ кармана тотъ же комокъ асигнацій и перекатывая его на ладони лѣвой руки, говорилъ Дергачъ, любуясь имъ.—Си-ила они! За энто самое я и люблю ихъ окаянныхъ, хе-хе... Сколь ты ни кощунствуй надъ человѣкомъ, какого бы чина онъ ни былъ, да только покажи ему энту пшеничку, сичасъ какъ воробушекъ носикъ протянетъ къ ней, и все тебѣ сойдетъ, какъ съ гуся вода. Правда? Отвѣтствуй.

— Статься можетъ, кому вѣдь што! Тебѣ деньги-то зря валятъ, а намъ они, Василь Петровичъ, до-орого даются.

— Зря-я!.. Хе... Кровью добываемъ ихъ, кровью, слышь ты это?—ударивъ себя кулакомъ въ грудь, отвѣтилъ Дергачъ.

— Кровью бы добылъ, такъ не расточалъ бы.

— Расточаю?.. Я низменный человѣкъ и не хочу быть выше энтого званья, а могъ бы, у меня талапъ, мнѣ во какъ фортить, а не хочу, знай! Я въ энтой долѣ родился, въ энтой долѣ и умру, наравнѣ съ иными прочими, и не хочу превыше ихъ быть, не хочу, совѣсть не попущаетъ. Не гляди, што я нищій, а во мнѣ вотъ совѣсть есть, да-а. Понялъ? Я вотъ ихъ, окаянныхъ, кровью добываю, а они мнѣ—тьфу. А мнѣ жизть-то, Микита, такъ же дорога, какъ и тебѣ... Почему?

— Богъ тебя знаетъ, за што ты отъ своего талану отрекашься.

— Богъ-то, братъ, все знаетъ и все онъ это зритъ, чего межъ людьми дѣется; ну, до поры до времени, милый, не угнѣвили, знать, вдосталь владыку небеснаго, а ужъ, э-э-эхъ, сказалъ бы я тебѣ исшо одно словечко.

— Зачѣмъ же дѣло-то стало? Говори.

— Ужъ такое словцо... дрогнешь!

— Не зябкій я, а особливо отъ словъ-то,—смѣясь замѣтилъ Никита Онуфричъ.

— Дро-огнешь...

— О-о, сказывай, што-жъ, послушамъ.

— Не по твоимъ ушамъ оно, пра-ахвостъ ты.

— О-о, это и есть словцо-то?

— Это самое!.. На!..—неожиданно закончилъ онъ, бросивъ на прилавокъ десяти-рублевую асигнацію.

— За што это?

— За угощенье... А энту, братъ, бутыль-то я съ собой прихвачу; ну, и лимончики-то тоже сгодятся, — говорилъ онъ, опуская въ карманъ остальныя деньги и заткнувъ за пазуху халата нераскупоренную бутылку и лимоны.

— Сиди, куда-жъ ты?

— Пойду горе, братъ, размыкивать со своими молодцами... Эй, вы, трогай!—крикнулъ онъ свитѣ, выходя изъ лавки колеблющимися шагами, и черезъ минуту улица огласилась звонкою хоровою пѣсней удалявшейся компаніи.

Подобравъ пряники, Никита Онуфричъ засмѣялся и, разгладивъ скомканную асигнацію, посмотрѣлъ на нее къ свѣту и молча опустилъ въ выручку. Выйдя къ дверямъ лавки, онъ сталъ, опершись о косякъ, въ ожиданіи покупателей, которые замѣтно рѣдѣли, такъ какъ день клонился уже къ вечеру. Но зато шумнѣе и безобразнѣе становился разгулъ на улицахъ села, пока рано сгустившіяся осеннія сумерки не скрыли изъ глазъ всю неприглядную наготу его.

Утро было холодное, ясное. Иней, какъ прозрачная пелена, разостланная невидимою рукой, покрывалъ и кровли домовъ, и виднѣвшіеся луга, и горы, искрившіеся, подъ лучами ярко взошедшаго солнца, миріадами свѣтлыхъ точекъ. Жизнь давно уже проснулась въ селѣ, проявляясь въ своихъ обыденныхъ нуждахъ. По улицамъ всюду слышалось мычанье коровъ и блеяніе овецъ, выгоняемыхъ изъ дворовъ въ поля. Къ скрытому спуску у рѣки, запертой въ высокихъ, почти отвѣсныхъ берегахъ, сгоняли на водопой лошадей. Женщины и дѣвушки, — вчера такія нарядныя, гулявшія въ цвѣтныхъ шелковыхъ платкахъ на головѣ и яркихъ лентахъ, вплетенныхъ въ косы,—сновали теперь по улицамъ босыя, въ однѣхъ рубахахъ да синихъ рядныхъ юбкахъ, сгибаясь всѣмъ корпусомъ подъ тяжелыми ведрами съ водой, висѣвшими на коромыслахъ. Изъ трубъ валилъ густой дымъ, столбами поднимавшійся въ воздухѣ. Въ раскрытыя окна домовъ можно было видѣть съ улицы яркое пламя въ печахъ и суетливыя хлопоты хозяекъ, мѣсившихъ хлѣбы или булки или приставлявшихъ горшки съ горя-

чимъ къ обѣду. Проснпавшіеся рабочіе сплошь и рядомъ совершали на улицѣ до крайности незатѣйливый утренній туалетъ свой. Поплескавъ воды изъ берестяного или желѣзнаго ковша на руки и лицо, они утирались запросто подоломъ рубахи и, напившись воды изъ того же ковша, усердно крестились на востокъ и, поклонившись по обычаю на всѣ четыре стороны, входили въ домъ или присаживались, въ ожиданіи завтрака, на завалины. Какъ близкій предвѣстникъ вновь наступающаго разгула, прерваннаго только на нѣсколько часовъ ночью, порою долетала откуда-то нескладная пѣсня какого-нибудь, еще несмыкавшаго глазъ, гуляки или слышался звонъ колокольцевъ запрягаемой тройки. Проснулся и гостиный рядъ, распахнувъ настежъ двери своихъ гостепріимныхъ магазиновъ; проснулись и кабаки, и проснулись чуть-ли не ранѣе всѣхъ. По крайней мѣрѣ степенный Кузьма Терентьичъ, одѣтый въ черный суконный халатъ, опоясанный пестрымъ кушакомъ, и въ теплый картузъ, плотно надвинутый на его широкій, изрѣзанный морщинами лобъ, давно сидѣлъ въ своемъ „ренсковомъ погребѣ и фрухтовомъ магазинѣ“, какъ гласила вывѣска, прибитая надъ входной дверью небольшого флигелька, пристроеннаго къ дому его. Ренсковый погребъ и фруктовый магазинъ Кузьмы Терентьевича по обстановкѣ своей далеко превосходилъ всѣ подобныя заведенія въ селѣ. Каждая мелочь въ немъ была до того искусно расположена, что глазъ посѣтителя невольно останавливался на ней, и у человѣка, совершенно сытаго, пробуждалось желаніе познакомиться со вкусомъ соблазнительно разложенныхъ предъ нимъ предметовъ. Деревянныя пирамиды, симметрично расположенныя за прилавкомъ, были заставлены разноцвѣтными и, если можно такъ выразиться, разнофасонными бутылками съ этикетомъ на каждой изъ нихъ. Этикеты не отличались особеннымъ изяществомъ. Они были изъ простой писчей бумаги и, видимо, домашняго издѣлія, не выдавались они и красотою надписей на нихъ, но текстъ этихъ надписей, вызывавшій улыбку въ прихотливомъ читателѣ, въ грамотномъ простолюдинѣ, возбуждалъ эффектъ и страстное желаніе испробовать водки съ такимъ заманчивымъ, особенно для пріисковаго рабочаго, названіемъ, какъ, напримѣръ: „пей съ горя и радости для большей сладости!“ и т. п. Бутылки съ иностранными винами стояли рядами на полкахъ, расположенныхъ въ четыре яруса по стѣнамъ магазина. Несмотря на ранній часъ утра, дѣятельность въ заведеніи Кузьмы Терентьевича была въ полномъ разгарѣ. Четыре молодца, исполнявшіе въ лѣтнее время и зимой домашнія работы въ домѣ своего хозяина, а теперь превращенные въ приказчиковъ, суетливо выряли между пирамидами, полками и

длинными лавками, на которыхъ, какъ на столахъ, были разложены въ деревянныхъ ящикахъ различныя лакомства и закуски. Молодцы проворно отвѣшивали требуемые предметы и еще проворнѣе завертывали ихъ въ бумагу или ссыпали въ полы азямовъ и рубахъ покупателей. Въ манерѣ обращенія молодцовъ съ покупателями проглядывала изысканная, хотя нѣсколько оригинальная вѣжливость. „Что вамъ прикажете, чернобровый?“ „Чѣмъ угодно потѣшиться, соколикъ?“ обыкновенно привѣтствовали они вошедшихъ и съ любезною улыбкою на губахъ терпѣливо ожидали, пока „чернобровый“ или „соколикъ“, не совсѣмъ еще очнувшіеся отъ вечерняго разгула, опухшими, налившимися кровью глазами высматривали, чтобы пришлось имъ по душѣ изъ разложенныхъ передъ ними сокровищъ. Впрочемъ, каждый почти посѣтитель, войдя въ магазинъ и поздоровавшись съ Кузьмой Терентьевичемъ и молодцами, съ минуту стоялъ неподвижно, оглядывая пирамиды и лавки, съ разложенными на нихъ лакомствами и закусками. Многіе, не ограничиваясь обозрѣніемъ, брали въ руки какую-нибудь ягоду, засахаренную апельсинную корку или что-нибудь подобное и широко улыбнувшись, обводили присутствующихъ добродушно веселымъ взглядомъ. „Эко, братъ, сколь тутъ услады то для брюха, а-а?..“ невольно восклицали при этомъ иные изъ нихъ.

— А што это, къ примѣру спросить, за вещь такая, Кузьма Терентьевичъ?—спросилъ одинъ изъ такихъ посѣтителей, взявъ въ руку плитку красной пастилы и показавъ ему, осторожно придерживая ее двумя пальцами.

— Пастила!—отвѣтилъ тотъ, искоса взглянувъ на нее.

— Фрухта, аль такъ баловство какое, а?..

— Фрухтой зовется, братецъ, такая вещь, што растетъ; къ примѣру взять, ягода аль плодъ, лимонъ теперича если взять, иль померанецъ; а энто, нѣшто не видишь, произведеніе рукъ... Пастила!—съ достоинствомъ пояснилъ Кузьма Терентьевичъ покупателю, плохо знакомому съ подобными предметами.

— Э! Чай, поди, аглецкая вещь-то, а?..—снова спросилъ тотъ, оглядывая плитку пастилы къ свѣту.

— Заграничная. Мы иного товару не держимъ, окромя какъ высшихъ сортовъ изъ-за границы, — горделиво замѣтилъ Кузьма Терентьевичъ.

— Шту-у-ука!.. Хе!.. Глянь-ко, Дмитрій Егорычъ,—произнесъ рабочій, повертывая пастилу передъ носомъ сѣденькаго, сгорбленнаго старичка, который тоже, улыбнувшись, осмотрѣлъ ее своими подслѣповатыми глазками и, чмокнувъ губами, покачалъ головой.

— Хе... скусная поди, а-а?—спросилъ тотъ, снова обратившись къ Кузьмѣ Терентьевичу.

— Отвѣдай.

— А што энтотъ брусокъ-то стоитъ, ежели па деньги класть?

— Энтотъ товаръ, другъ, по фунтамъ отпущаемъ, не иначе.

— А-а-а!.. Ну, оно извѣстно, аглецкая вещь,—согласился рабочій.—Сколько же полѣшковъ въ фунтъ-то пойдетъ, а-а?

— Ужо свѣсимъ! Варсонофъ!—крикнулъ Кузьма Терентьевичъ одному изъ молодцовъ.—Отвѣсь-ко пастилы фунтъ молодцу-то.

— Сто-ой!..—крикнулъ покупатель.—Ты на-перво скажи мнѣ, сколько слупишь-то?

— Рубь двадцать копеекъ за фунтъ продаемъ...

— Цѣна-а-а!.. Гляди-ко, смотрѣть не на што, а рубь двадцать копеекъ, а?.. Ну, энто, братъ, цѣна-а-а! Слышь, Митрій Егорычъ, рубь двадцать копеекъ, а?.. Вотъ она заграничная-то вещь, а-а? Нѣ-ѣтъ, братъ, наше брюхо аглецкой закуской баловать на-а-акладно; а ты вотъ, Кузьма, отпусти-ко намъ „бабьей желчи“ бутылочку; вотъ энто статья будетъ! Ну, и водка; ужъ точно, что бабья желчь. И гдѣ ты экое зелье травишь на нашего брата, а? Тоже отъ аглича?..

— Энто русская... Ты нѣшто не знаешь, што если взять крѣпостью, то супротивъ русскаго вина во всемъ свѣтѣ напитка нѣтъ?..— спросилъ Кузьма Терентьичъ.

— А-а! Вишь, мы чѣмъ взяли!.. — удивленно протянулъ рабочій. — Ну, и точно, экой водкой, какъ бабья желчь, хоть кого доѣдешь,—зе-е-елье!

— А то, можетъ, другого сорта испробуешь, а?.. Есть, пожалуй, и крѣпче; отвѣдай, можетъ и по скусу придетъ, — произнесъ Кузьма Терентьичъ.—Варсонофъ, дай-ко ужо бутылочку „мужичьей слезы“ *).

— А-ахъ-ха-ха-а-а!.. Это вину—то такое прозванье, а? Мужичья слеза, а! Слышь, Митрій Егорычъ? Ну, это, братъ, должно, покрѣпчай. Мужичья слеза, хе!.. Давай-ко, плеснемъ ужо наше добро да въ наше нутро, не все его другимъ черезъ край ковшами хлебать...

Варсонофій, крайне подвижной человѣкъ, небольшого роста, съ миніатюрнымъ лицомъ, густо усѣяннымъ веснушками, и съ мутно-сѣрыми подобострастными глазами, проворно сдернувъ съ пирамиды бу-

*) Чтобъ для читателя не казались утрированными подобныя названія водокъ, долгомъ считаю оговориться, что въ Сибири и въ Перми въ сельскихъ питейныхъ домахъ часто встрѣчаются курьезныя названія водокъ, напримѣръ: «Услада души», «Мужичье сердце», «Утренняя заря», «Полночная роса», «Дѣвичьи слезы» и т. п.

тылку съ жидкостью неопредѣленнаго цвѣта, быстро отбилъ краемъ штопора темный сургучъ, которымъ была залита пробка, и, раскупоривъ, подалъ покупателю.

— Мутна же, братъ, наша-то слезница!—произнесъ покупатель, посмотрѣвъ на бутылку къ свѣту.—Ну, да и то сказать надоть, што чистой-то ей и быть не съ чего!.. А што-жъ, молодецъ, ты-бъ и стаканчиковъ...

— Одинъ или пара потребуется?—спросилъ Варсонофій.

— Изотычъ!.. — крикнулъ вмѣсто отвѣта покупатель, обратившись къ вошедшему въ магазинъ рабочему, одѣтому въ красную кумачную рубаху, поверхъ которой былъ накинутъ смурый азямъ, съ расшитыми бѣлью полами. На головѣ вошедшаго была надѣта поярковая шляпа, изъ-подъ которой выбивались черные, вьющіеся въ кольца волосы. Смуглое, худощавое лицо, обрамленное небольшою черною бородкой, было весьма красиво, и особенною красотою отличались въ немъ большіе черные глаза, загоравшіеся какимъ-то лихорадочнымъ блескомъ всякій разъ, когда онъ говорилъ. Улыбка не сходила съ полныхъ, красивыхъ губъ вошедшаго. Иногда она казалась какою-то безцѣльною; въ другое же время въ ней проглядывала глубоко-затаенная злость, и что-то мрачное, отталкивающее появлялось въ эти минуты на симпатичномъ лицѣ его.

Услышавъ свое имя, Изотычъ быстро подошелъ къ рабочему, державшему въ рукахъ бутылку съ „мужичьими слезами“, и, тряхнувъ головой, при чемъ надѣтая на ней шляпа слегка колыхнулась, молча взялъ изъ рукъ его бутылку, прочиталъ надпись на этикетѣ и усмѣхнулся, выказавъ два ряда крѣпкихъ и бѣлыхъ зубовъ.

— По какимъ это святцамъ ты крестишь, Кузьма Терентьичъ, нашу-то пагубу, а-а?—спросилъ Изотъ.—„Мужичьи слезы!“—смѣясь произнесъ онъ.—Ты возьми-ко меня въ кумовья-то; я тѣ почище накрестилъ бы. А то—мужичьи слезы! Кому ихъ пить-то нонѣ, скажи-ко, а? Дворянину пора отошла; другой, поди, сызмальства такъ хлебанулъ ихъ, што и теперь ходитъ, какъ одурѣлый, да съ горя своими опохмѣляется; а мужику и покупать не зачѣмъ: съ утра до ночи отъ своей мути пошатываетъ, а ты исшо бутылошной хошь подбавить ему. И остается только самому тебѣ потреблять ихъ на добро здоровье, а рази это по комерціи не убытокъ, а?.. — насмѣшливо сверкнувъ глазами, спросилъ онъ.

Облокотившись лѣвой рукой на придѣланную къ прилавку конторку, на которой лежала книга для записыванія товара, выходящаго въ расходъ, Кузьма Терентьевичъ молча, съ добродушной улыбкой на губахъ, выслушалъ Изотыча.

— А што тебя давно не видно было по нашимъ мѣстамъ? Гдѣ нонѣ на фатерѣ-то стоишь?—спросилъ его Кузьма Терентьевичъ.

— У Поршнякова, Матвѣя.

— Што-жъ меня-то обошелъ, а?

— Ужъ подъ стать-ли воронѣ вить гнѣздо въ хоромѣ, Кузьма Терентьичъ... Для нашего брата и овинъ — палата! — отвѣтилъ Изотъ.—Все-ли по добру, по здорову поживаете?—спросилъ онъ.

— Живе-е-емъ!—благодушно отвѣтилъ ему Кузьма Терентьичъ, подавая руку.

— Эй, Флегонтъ не изъ тутошнихъ, угощай слезьми-то! — шутливо крикнулъ Изотъ рабочему, купившему бутылку „мужичьихъ слезъ“ и громко теперь разсуждавшему въ кучкѣ покупателей на другомъ концѣ магазина. — Свои-то за лѣто выплакали, такъ хоть твоихъ, Кузьма Терентьичъ, отвѣдаемъ; чай, скусны, а? — съ ироніей спросилъ онъ.

При имени „Флегонтъ не изъ тутошнихъ“, среди рабочихъ прокатился смѣхъ; даже „молодцы“, забывъ свою вѣжливость, захохотали, а самъ Флегонтъ, называвшійся въ дѣйствительности Еремеемъ Косяковымъ, шутливо погрозилъ Изоту рукой, въ которой держалъ бутылку, и, раскачиваясь, подошелъ къ нему.

— Ну, другому бы я... выдолбилъ на затылкѣ, изъ коихъ мѣстовъ пришелъ, а ужъ тебѣ, такъ и быть, спущу!—фамильярно хлопая Изота по спинѣ, сказалъ Косяковъ.—Голова, братъ, онъ у насъ, Кузьма; знаешь-ли ты, што это за человѣкъ, а-а? —спросилъ онъ, ставя бутылку на прилавокъ.—Ду-у-ша,— одно, братъ, ему званье... Изотъ, вѣрный ты человѣкъ аль нѣтъ, сказывай!

— Языкъ-то ссохся, а то пошто бы не сказать, какой мы вѣры...

— Сказалъ бы, это вѣрно, Кузьма; онъ сказалъ бы!..—убѣдительно говорилъ Косяковъ, точно Кузьма Терентьевичъ сомнѣвался въ способности Изота, съ лица котораго не сходила улыбка, объяснить, какой онъ вѣры.—Давай-ко ужо посуды-то, ополоснемся...

— Варсонофъ, дай-ко стаканчиковъ!.. — произнесъ Кузьма Терентьевичъ.—Да раскупорь коробочку сардинокъ для гостей-то!— добавилъ онъ, когда Варсонофъ бойко стукнулъ о прилавокъ донышками граненыхъ стаканчиковъ.

Какъ только Варсонофій подалъ стаканы, Косяковъ проворно наполнилъ ихъ водкой и пригласилъ Изота промочить ссохшійся языкъ, пожелавъ по пути всякаго благополучія и Кузьмѣ Терентьевичу.

— Горька же, братъ, мужичья-то слеза... а-а!..—произнесъ Косяковъ, опорожнивъ стаканъ и съ гримасой сплюнувъ на сторону.

— Какъ и слѣдуетъ быть... Только дѣвичья предъ вѣнцомъ, сказываютъ, сладка-то бываетъ!.. — отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ, придвигая къ нимъ раскупоренную коробку сардинокъ, изъ которой Косяковъ вынулъ пальцемъ рыбку и, показавъ ее Изоту, произнесъ:— Вотъ такъ рыба, глянь-ко, Изотъ! Тоже, поди, аглецкая, а? — спросилъ онъ у Кузьмы Терентьевича.

— Заграничная.

— Ди-и-ивья! У насъ, братъ, экихъ-то рыбъ бабы подолами имаютъ, во-о!.. А коли настоящій неводъ запустить, такъ осетра-то пуда въ три выхватятъ, вотъ такъ ры-ы-ыба! А то... хе... и на пальцѣ-то не видать, а заграничная... Чай, коробка-то дороже рыбы обходится, — заключилъ онъ, проглотивъ сардинку и облизывая съ пальца масло...

Въ это время двери съ шумомъ распахнулись, и въ магазинъ вошелъ Дергачъ въ сопровожденіи своей многочисленной свиты. Шляпа его, обвитая лентами, была уже сильно помята, новый суконный халатъ былъ облитъ саломъ и еще чѣмъ-то, а одинъ рукавъ его висѣлъ только на ниточкѣ. Измятая и заспанная физіономія Дергача носила слѣды самаго буйнаго разгула.

— Стой!—крикнулъ онъ, размахивая руками.—Кто тутъ есть—ни съ мѣста!.. Угощаю! Ну, Кузьма, поддавай пару...

— Вотъ молодецъ, люблю за обычай... Сейчасъ видать, што князь!—заигрывающимъ голосомъ отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ.

— Молодецъ?—спросилъ Дергачъ, хвастливо избоченившись.

— Поиска-ать! Съ одного слова видать, што князь.

— Изотка, да никакъ это ты?—неожиданно крикнулъ Дергачъ, увидя Изота и подходя къ нему.—А-ахъ, ты, кусай тебя мухи!.. да ты это откелева взялся здѣсь, а-а? — спросилъ онъ, ударивъ его съ размаху своей широкой ладонью по плечу и тряся его. — Н-ну, нахо-о-одка!..

— Нѣшто знакомы?—спросилъ Кузьма Терентьичъ.

— Съ Изоткой-то это?.. Да ты спроси, што—мы, а? а? Ну-ко, Изотъ, отруби ему словечко, што мы есть такое, а?..

— И самъ онъ сдогадается, Василь Петровичъ, какого мы поля ягодки,—смѣясь, отвѣтилъ Изотъ.

— А-ахъ, ты... дуй тебя въ колья. Ну, нахо-о-одка! Изотъ!..

— О-о?..

— Ежели мы теперича вдвоемъ-то съ тобой, а?.. Што мы есть?.. Сила!

— При какомъ случаѣ взять, Василь Петровичъ; въ одномъ, можетъ, и точно компанія, а въ другомъ чемъ—и два дѣла розь.

— Угощаю!.. Кузьма!.. Теперича для Изота, какъ, стало быть, самаго закадышнаго моего... Ставь!..

— Чего-жъ ставить-то?

— Ставь!.. Чего только есть на полкахъ, все ставь.

— Добра-то на полкахъ, Василь Петровичъ, на тыщи... Сообразись...

— На тыщи!—повторилъ Дергачъ и, приподнявъ шляпу, почесалъ въ затылкѣ.—Много-ли тутъ, считай!—сказалъ онъ, вынувъ изъ кармана плисовыхъ шароваръ комокъ асигнацій, значительно уменьшившійся въ своемъ объемѣ, и бросивъ его на прилавокъ.

Кузьма Терентьичъ, расправивъ асигнаціи, подложилъ ихъ по порядку и неторопливо пересчиталъ, послюнивая время отъ времени пальцы.

— Ну, на эвтотъ капиталъ пирамидку-то можно очистить, Василь Петровичъ,—съ улыбкой проговорилъ онъ.—Хватитъ!

— Исшо считай!—сказалъ Дергачъ, выхвативъ изъ другого кармана комокъ асигнацій, далеко полнѣе перваго, и также хвастливо бросивъ его на прилавокъ.

— Во-отъ князь, такъ князь!—произнесъ Кузьма Терентьичъ, причмокнувъ губами и обведя столпившихся около прилавка рабочихъ какимъ-то торжествующимъ взглядомъ.—Запасливый же ты, Василь Петровичъ. Ну, кабы всѣ-то содержали себя въ такомъ акуратѣ, житье-бъ около васъ было!.. Варсонофъ!—крикнулъ онъ, не досчитавъ еще кучки,—достань-ко бутылочку ромку, съ задней полки, што съ бѣленькимъ ошейничкомъ; для экихъ-то гостей и расходоваться любо!—говорилъ онъ, продолжая считать.

— Деньги-то увидалъ, такъ и бутылочкой разманить хошь. О-охъ, Кузьма, Кузьма!—замѣтилъ Дергачъ.

— Нонѣ честь-то воздаютъ не по роду, а по карману, Василь Петровичъ,—отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ, не смутившись укоризненнымъ замѣчаніемъ Дергача. — На-ко, всего твоего капиталу, стало быть, триста сорокъ два рубля. Помни!

— Обчелся... не всего еще...

— А-а, исшо есть въ запасѣ?

— Есть!

— Фо-ортитъ! Ну, какъ же, скажешь, не фортитъ тебѣ, а-а? Да, чай, вѣдь еще прокурилъ-то уже немало?.. Што-жъ ты ранѣ-то не объявился намъ, а?

— Объявимся, обожди!—усмѣхнувшись, отвѣтилъ Дергачъ, весь избоченившись на сторону и пряча деньги въ карманъ.—О-объявимся...

Только покажь намъ бѣленькій-то ошейникъ... Знашь ты этого парня, а-а?—спросилъ онъ, указавъ на Изота.

— Видывали!

— Ты изъ-подъ ручки глянь: это, братъ, парень-то... да што тутъ говорить... Изотъ!—крикнулъ онъ, снова хлопнувъ его по плечу.

— Чего, Василь Петровичъ?—обведя его искоса лукавымъ взглядомъ, спросилъ тотъ.

— Много мы на вѣку воды мутили, а?

— Мутили, Василь Петровичъ, мутили, штобъ чище отстаивалась.

— Хе... и перья не подмачивали, а?

— Случалось, и подмачивали, аль забылъ? И съ гуся-то не вся вѣдь вода стекаетъ, ина капелька и пристаетъ...

— Пристаетъ, это вѣрно!.. Н-ну, Кузьма, чистъ я душой, чи-и-истъ!—началъ Дергачъ, колотя себя въ грудь,—а скажи ты мнѣ теперича: „Дергачъ, подь за Изоткой въ острогъ“,—по-о-ой-ду, вѣрное слово, и не оглянусь, пойду... Слышалъ, вотъ это какой парень, а?.. Што-жъ ты бѣленькимъ-то ошейничкомъ поманилъ, да и пѣтъ тебя, а?.. Подавай его, будь вѣренъ слову!—назидательно заключилъ онъ.

— Варсонофъ, што-жъ ты застрялъ тамъ?—крикнулъ Кузьма Терентьичъ, и когда Варсонофъ поспѣшно подалъ ему бутылку, Кузьма Терентьичъ собственноручно раскупорилъ ее, обтеръ чистымъ полотенцемъ стаканы, налилъ ихъ и любезно откланялся на пожеланія Дергача и Изота.

— Молодцовъ-то обнести,—спросилъ Кузьма Терентьичъ,—аль нѣтъ? Ровно вѣдь ты всѣхъ обѣщалъ угощать, а?

— Угощаю!.. Обноси!.. Вѣдь это теперича, если я, Изотъ да вся наша артель, такъ знашь-ли, чѣмъ это пахнетъ, а?..

— Сотенной, чѣмъ болѣ-то!—съ иронією отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ.

— Сотенной!—повторилъ Дергачъ.—Ты только около сотенныхъ бѣлками-то и ворочашь; а не хошь, мы разнесемъ всю твою погребицу, а?.

— Ну... ужъ на эфтомъ благодаримъ покорно... ослобони-и...

— Ослобонить! Эхъ, Кузьма, Кузьма! Старъ ты, сѣдъ человѣкъ, а все только сотенныя въ помыслѣ держишь, а нѣтъ, штобы о божьемъ потрудиться!—нравоучительнымъ и отчасти меланхолическимъ тономъ произнесъ Дергачъ, когда они выпили по второму стаканчику рому и закусили семгой съ теплыми пшеничными калачами, принесенными для нихъ изъ дому Кузьмы Терентьевича однимъ изъ молодцовъ его.

— А што, Кузьма Терентьичъ, дозволите какъ-бы къ слову спро-

сить,—началъ Изотъ, прерывая Дергача.—Акшауловскіе служащіе не выѣзжали еще съ промысловъ: управляющій Матвѣй Петровичъ Шустовъ и становой *) ихній Иванъ Артемычъ?

— Наниматься къ нимъ хошь, што-ль? — спросилъ Кузьма Терентьичъ.

— Нѣтъ, я такъ про всякій случай освѣдомился; потому какъ съ Иваномъ-то Артемычемъ мы въ большой пріязни живемъ, такъ думалъ, коли здѣсь они, понавѣдаться о ихъ здоровьи,—съ лукавой улыбкой отвѣчалъ Изотъ.—О-отмѣнный человѣкъ, и житье мнѣ нонѣ было у нихъ—не давай лучше!

— У акшауловскихъ-то это?—удивленно спросилъ Дергачъ.—А пошто-жъ народъ-то это плачется на ихніе порядки, а?

— Оно што сказать, и мы спервоначалу-то немало слезъ сквозь подолъ цѣдили, но опосля того, по нѣкоторомъ удальствѣ, на отмѣнныхъ харчахъ состояли. Вотъ и хочу понавѣдаться къ его милости Ивану Артемычу поблагодарить за расположеніе.

— Изо-о-отка... пе-есъ!.. Што на умѣ, сказывай!

— Про што, Василь Петровичъ?

— Смошенничалъ, што ни есть, говори!..

— Зачѣмъ мошенничать! Дѣло по чести велось, Василь Петровичъ, не полагай! А што на бѣшеный ндравъ Ивана Артемыча имѣли въ охрану своего интереса недоуздокъ, не потаю!.. Позвольте за ваше здоровье еще стаканчикъ.

— Пей... шутъ тебя!.. Кузьма, ну, развѣ это не парень, а?—спросилъ Дергачъ съ какою-то восторженностью, показывая на Изота.—И што это за мать родила тебя, Изотка? Поглядѣть бы, а?..

— Мачиха, Василь Петровичъ; потому какъ тятенька-то на второй былъ женатъ, такъ мы отъ вторительнаго брака пошли по свѣту-то гулять, а тѣ, што отъ первой-то произошли, и по сю пору въ родномъ гнѣздѣ лаптями пустыя щи хлебаютъ,—съ ироніей и не переводя почти духу, отвѣтилъ Изотъ. — За ваше здоровье, Кузьма Терентьичъ, и вашей милости, Василь Петровичъ, желаемъ всякаго благополучія,—произнесъ онъ, медленно выпивая стаканъ.—А винцо-то даже очень порядочное, — замѣтилъ онъ, почмокивая губами, — хотя и не то, штобъ изъ первыхъ сортовъ, а ближай всего изъ бочешныхъ ополосковъ, но по здѣшнимъ мѣстамъ за большую честь идти можетъ.

*) Становыми на золотыхъ пріискахъ называются служащіе, на обязанности которыхъ лежитъ распредѣленіе рабочихъ по роду работъ и наблюденіе за правильнымъ выполненіемъ ихъ. Становые въ сущности помощники управляющихъ пріисками.

— Ахъ, ты рыло... — не то шутливо, не то обидчиво отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ.—Почище тебя пьютъ, да одобряютъ, а то бочешные ополоски... знашь ты толкъ-то?

— Не погнѣвите, Кузьма Терентьичъ, а оно точно самаго энтаго достоинства; потому какъ мы сызмальства въ Москвѣ при ренскомъ погребу состояли, такъ настоящее понятіе имѣемъ о винахъ, вкусу подобныхъ! Энто вино, если теперича разобрать его по качествамъ, домашняго фабрикату будетъ.

— Што-о, Кузьма?—торжествующимъ голосомъ крикнулъ Дергачъ.—Вотъ энто человѣ-ѣ-ѣкъ, видѣлъ?

— Сокровище, какъ не видать! Ты посельщикъ, што-ль?—спросилъ онъ Изота.

— Поселенецъ!

— За што въ Сибирь-то присланъ?

— За рукоблудство. Потому, какъ проживая около благородныхъ людей, што не сѣютъ, не жнутъ, а на чужое жизутъ, прельстились энтимъ мастерствомъ и единственно только по неосторожности споткнулись черезъ Уралъ-порогъ...

— Ку-у-узьма, да рази энто не парень, а? Изотка, дуй тебя въ каменку... цѣлуй!..

— Извольте!—И, обтеревъ губы полою азяма, Изотъ сдернулъ съ своей курчавой головы шляпу и быстро, крестъ-па-крестъ, трижды поцѣловалъ Дергача, оторопѣвшаго отъ такой неожиданной поспѣшности.—А теперича за ваше здоровье, Васпль Петровичъ, дозвольте стаканчикъ?—спросилъ онъ, надѣвая шляпу.

— Пей... угощаю!.. А-ахъ, ты, братецъ мой, а? Ку-узьма, да вѣдь съ экимъ парнемъ, што-жъ... сквозь огонь и воду... Вѣдь однимъ языкомъ тебѣ мостъ соорудитъ, а?

— Неопалимый даже можемъ поставить, Василь Петровичъ! — отвѣтилъ Изотъ, наливая стаканы. — А вы, Кузьма Терентьичъ, началъ онъ, обратившись къ нему,—не полагайте объ насъ дурного мнѣнія: мы хоша и ссыльно-поселенцы и только ступенькой до варнака *) не дошли, а тоже честь свою стро-ого соблюдаемъ! Къ примѣру, вотъ энта бутылочка, што у васъ цѣной, позвольте узнать?

— Али платить охота пришла, што справляешься?

— На случай, для соображенія.

— Два съ полтиной...

*) «Варнакъ»—такъ называютъ сибирскіе крестьяне бѣглокаторжныхъ и каторжныхъ вообще. Это самая позорная и обидная ругань среди тамошняго населенія.

— Я-бъ вамъ и рубь-то съ великимъ азартомъ за нее выдалъ, нда-асъ! Конечно, при вашемъ ремеслѣ морочить почтенную публику на всякій образецъ очень выгодно; а если на знающаго человѣка, такъ онъ васъ за энтотъ фальшь очень можетъ скрутить. А теперича за ваше здоровье!—съ ироніей произнесъ онъ, такъ же медленно выпивая стаканъ, какъ и предыдущій.

— Што-о-о, Кузьма, паскочилъ? Энто-ли не парень, а?—восхищенно воскликнулъ Дергачъ, держа въ рукахъ стаканъ и расплескивая его.

— Тьфу ты, прости Господи!—съ презрѣніемъ сплюнувъ на сторону, отвѣтилъ побагровѣвшій Кузьма Терентьичъ.—Скрутить за фальшь! — повторилъ онъ.—Не ты-ли это, расейскій высѣвокъ, скрутишь-то меня, а? Видать, што Иванъ-то Артемычъ не всю еще тлю изъ шкуры-то твоей выхлопалъ; на племя, вѣрно, до новыхъ вѣниковъ гнѣзда оставилъ. Зна-а-ающій, гляди-ко! Ба-ахвалъ и все тебѣ званье!..

— Ну, ужъ, Кузьма Терентьичъ, кому другому и вѣникъ въ руки парить нашего брата, только не Ивану Артемычу! Вы полюбопытствуйте-ко на-перво, опросите ихъ, какъ пріѣдутъ: по какой стрункѣ они хаживали предо мной.

— Это Иванъ бы Артемычъ сталъ передъ тобой по стрункѣ ходить, а? — насмѣшливо-презрительнымъ тономъ спросилъ Кузьма Терентьичъ.

— На цыпочкахъ.

— Иванъ Артемычъ?!.

— Такъ точно-съ, они самые. Даже сапожки снимали, штобы скрипу по тайгѣ не было, — съ такою осторожностью прогуливались передъ нами...

— Тьфу ты, идолъ!—такъ же презрительно сплюнувъ на сторону, отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ, пожимая плечами.

— Оно статься можетъ, што и съ идоломъ сходство имѣемъ, а только вы безъ сумлѣнія въ эфтомъ дѣлѣ положитесь на мое слово. Съ большимъ они почтеніемъ относились къ намъ, нда-асъ! И если бы теперича намъ настоящаго рому бутылочку, такъ мы не хвастовства ради потѣшили бы васъ, разсказали, какимъ манеромъ расейскіе высѣвки съ немолотой ржи шелуху сдираютъ.

— А-ахъ, ты песь, н-ну... Ставь ему, Кузьма!—крикнулъ Дергачъ.—И на какомъ ты это точилѣ, братецъ мой, языкъ навострилъ, а?

— На острожномъ, Василь Петровичъ; на энтомъ брускѣ, бывалые люди сказываютъ, и дерево вострѣй желѣза въ ину пору натачивается...

— Нутко-сь, знающій человѣкъ,— съ ироніей прервалъ его Кузьма Терентьевичъ, раскупоривая новую бутылку, которую самъ досталъ съ одной изъ полокъ и горлышко у которой было опечатано желтымъ свинцомъ,—о-одобри-ко, какой энто фабрики?..

Изотъ взялъ въ руки стаканчикъ, вытеръ его тщательно полой азяма и, когда Кузьма Терентьевичъ налилъ въ него рому изъ новой бутылки, медленно, съ видомъ дѣйствительнаго знатока, отпилъ вино, почмокалъ губами и, прищурившись, пристально, съ злою улыбкою на губахъ, посмотрѣлъ на Кузьму Терентьевича, который тоже въ свою очередь не сводилъ съ него глазъ.

— По расейскимъ цѣнамъ если класть, энта бутылка въ рубь двадцать копеекъ... Сортъ, оно точно, почище, а все мѣшаный...

— Ахъ, ты анафема!.. Да ты и взаболь разбирашь, што чѣмъ пахнетъ!..—съ удивленіемъ произнесъ Кузьма Терентьичъ.

— Што о-о, Кузьма, наѣхалъ, а?.. Это вѣдь креме-е-ень парень, не твоимъ огнивомъ изъ него огонь вырубать... Изо-отъ, цѣлуй! — И не успѣлъ Изотъ сдернуть съ головы шляпы, какъ могучія руки Дергача стиснули его въ объятіяхъ и въ погребкѣ раздались поцѣлуи, звуки которыхъ издали можно было бы принять за пощечины.—Угощаю!..—крикнулъ Дергачъ, высвободивъ Изота изъ своихъ объятій.— Што, Кузьма, ты думашь, мы, мужики, въ заграничныхъ настойкахъ толку не знаемъ, а?.. Нѣтъ, вре-е-ешь, мы все понимамъ... Вотъ она бутылка-то, рубь двадцать цѣной, а мы пьемъ ее за свои деньги... Пей, Изотъ, угощаю!..—снова крикнулъ онъ, хлопнувъ его по плечу, такъ что тотъ покачнулся.

— Ну, такъ какъ, бишь, тебя звать-то, Езопъ штоль? — умышленно коверкая имя его, насмѣшливо спросилъ Кузьма Торентьевичъ.

— Обмолвились, сударь: Изотъ.

— Ишь, вѣдь какими кличками по Расеи-то крестятъ васъ!.. Съ утра-то, не обмоловши еще языка, не съ разу и вывернешь его... Изотъ!.. Ну, и имя!.. Такъ какъ же это, Изотъ, Иванъ-то Артемычъ по стрункѣ предъ тобой ходилъ, обсказывай... Ужо свижусь съ нимъ, такъ все-жъ хоть посмѣяться будетъ чему.

— Ужъ ради вашего удовольствія, извольте.

— Ну, ну, ври, да поскладнѣй, смотри.

— Ври-и-и?.. Нѣтъ, ужъ вы, Кузьма Терентьичъ, насчетъ нашего-то слова будьте благонадежны... Зря-то мы не любимъ его съ колка спущать!—сверкнувъ глазами, произнесъ Изотъ.—А про Ивана Артемыча мы такъ рѣчь поведемъ, што по нашей тайгѣ на каждаго туза свой козырь найдется. Вѣрно-ли-съ?..

— Пожалуй што,—согласился Кузьма Терентьичъ.

— Очень Иванъ Артемычъ лютъ ндравомъ, въ ину пору цѣпную собаку превосходятъ свирѣпствомъ, а передъ нами, не похваляючись скажу, сробѣли, и не токма штобъ на рожнѣ, а на простомъ сучкѣ мы окрутили ихъ, да-а-а съ!..

— Ну... ну... повѣримъ на сей день, хошь и сумнительно што-то, штобъ Ивана Артемыча кто-нибудь окрутилъ! — покачавъ головой, отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ.

— И не веревкой, а ниточкой!..—улыбаясь прервалъ его Изотъ.— Дѣло это, точно, было большой смѣлости... Вы полюбопытствуйте ужо, спросите, какъ пріѣдутъ они: „Каково, молъ, здоровье Палагеи Мироновны?..“

— Какой Палагеи Мироновны?

— Крали, для коей сыръ-боръ рубили, а въ карманъ къ намъ щепки прилетѣли! И если бы теперича только воздержность ваша, то мы даже при большихъ бы средствахъ могли быть отъ харчей Ивана Артемыча. Ну, не умѣли прифортунить судьбы, — разведя руками, произнесъ Изотъ.—А очень бы могли оправиться на ихнемъ иждивеніи, не похваляючись скажу вамъ.

— Не плети околесицы-то, а скажи наперво толкомъ мнѣ: кто эпта Палагея-то?..—прервалъ его Кузьма Терентьичъ.

— Мироновна-съ, а по фамиліи Одерина.

— Причемъ она въ эфтомъ твоемъ разговорѣ?..

— Нажйвкой для фортуны... ихъ супруга была, вотъ причемъ-съ!.. Двое зайчиковъ, изволите видѣть, на одной зацѣпкѣ сидѣли, а третій стойки рубилъ... хе-е!.. Ка-амедь это была, если посказать! Въ половинѣ мая прибылъ, изволите видѣть, на энтотъ промыселъ, гдѣ мы маялись грѣшнымъ дѣломъ, рабочій Максимъ Одеринъ; звали-то его болѣ Фыпъ *), потому, какъ бывало подопьетъ онъ, а это случалось съ нимъ вчастую, такъ первымъ дѣломъ уткнетъ голову въ колѣни и ну пѣсню выть, и столь-то жалостную, што ни дать, ни взять фыпъ въ кочку дуетъ. Хорошо-съ!.. На пріискъ-то онъ пришелъ съ эстой самой Палагеей Мироновной... Баба была... а-ахъ, ты провалъ ее возьми!.. Бѣлая, румяная... по всѣмъ статьямъ разобрать если... фи-игура!.. Н-ну, глядимъ, не прошло и недѣли времени, управляющій Матвѣй Петровичъ Шустовъ, какъ человѣкъ, стало быть, одинокаго характера, присусѣдилъ ее въ стряпухи къ себѣ. Ладно!.. Немного

*) Выпь—птица изъ породы цапель. Она кричитъ по ночамъ, уткнувъ обыкновенно свой длинный клювъ въ землю или въ болотную кочку. Въ глубокую ночь крикъ ея, похожій на тяжкій удушливый стонъ, наводитъ невольный ужасъ.

опосля того соображаемъ—и Фыпъ въ гору пошелъ, зафортунило. Што, молъ, за притча?.. Спервоначалу-то онъ на обчей работѣ былъ, а тутъ его въ конюха произвели, а тамъ, и мѣсяцу нѣтъ, подрядъ ему предоставили, стойки для ортъ *) рубить.

— Это Максимкѣ-то?.. — прервалъ Дергачъ, сидѣвшій на прилавкѣ, сдвинувъ шляпу на затылокъ и распустивъ по полу полы своего тонкаго халата.

— Максимкѣ-то!.. — отвѣтилъ Изотъ, не глядя на него. — По любопытству своего ндрава,—продолжалъ онъ,—я тѣмъ временемъ и поразспроси кое-кого: кто, молъ, касательно Фыпа дѣломъ орудуетъ? Съобча, говорятъ: и Иванъ Артемычъ, и управляющій... Э-е! думаю. По нашему соображенью выходитъ, што два гуся въ одной лужѣ полощутся... Ну, говорю себѣ, не моргай, Изотъ, по сторонамъ, а гляди прямо... Рабочіе и то, и се городятъ промежъ себя; кто изъ нихъ надъ Фыпомъ смѣется, а кто и прислуживаться сталъ, подъ началъ къ нему въ артель полѣзъ, а я молчу...

— Ха-а, молчишь-таки!..— прервалъ Дергачъ.

— Молчу!.. Сметану-то, думаю, съ краевъ горшка починаютъ снимать, а не по середкѣ. Мо-о-олчу!..—протянулъ онъ, тряхнувъ головой.—Хорошо!.. Скоро теперича сказка сказывается, да не скоро вѣдь только дѣло дѣлается, и сталъ я во опо время примѣчать, што пока управляющій Матвѣй Петровичъ на промыслѣ, такъ Иванъ Артемычъ и глазомъ не ведетъ на Палагею Мироновну и даже кажетъ видъ, што она ему очень супротивна; а только управляющій отвернулся куды въ отъѣздъ, такъ и пошло у него съ Палагеей Мироновной хи-хи хи! да ха-ха-ха!.. И платочки это аленькіе ихняго подарка завелись у нея, и колечки, и сережечки, и на-а-поди,—совсѣмъ расфуфырь-павой баба глядѣть начала. А-а! думаю... Стой же, Иванъ Артемычъ!.. Лакома наживка, да востеръ крючекъ, зацѣ-ѣ-ѣпишься!..

— А самъ все молчишь, а?—спросилъ Дергачъ.

— Молчу!..—тряхнувъ головой, отрывисто отвѣтилъ Изотъ.—

---

*) На золотыхъ пріискахъ не всегда бываетъ поверхностное золото. Чаще всего золотоносные пески лежатъ въ землѣ на глубинѣ пяти, шести, даже десяти и болѣе саженъ. Случается, что золотоносный пластъ находится на глубинѣ даже двухсотъ саженъ. Въ этихъ случаяхъ, для избѣжанія излишняго труда при съемкѣ такого громаднаго количества торфа, роютъ шахты и «орты». Ортою называется длинный подземный корридоръ, который ведетъ косвенно въ глубь земли изъ разрѣза, т.-е. съ мѣстности, съ которой снятъ торфъ или верхній слой земли. Во избѣжаніе обваловъ, внутри этихъ корридоровъ или ортъ по бокамъ и сверху ставятся деревянныя стойки, нормальная ширина которыхъ должна быть не менѣе восьми вершковъ въ діаметрѣ.

Въ долгѣ-ли, въ короткѣ ли,—признаться, время-то не считалъ,—а только началъ это Фынъ и стойки поставлять. Гляжу: примаютъ безъ слова и управляющій, и Иванъ Артемычъ, а стойки ниже положенья: не токма, штобы восьми вершковъ, а въ инсй и на пятомъ просчитаться. Ну, и накатали они, сердешные, экихъ-то стоекъ не одну тысячу... Перекрестись, говорю, Изотъ, и за дѣло. Теперича и твой чередъ подошелъ на фортуну самоловъ *) закидывать. Сталъ я съисподтиха сначала промежъ рабочихъ словечки ронять, што такъ и такъ молъ, а съ экими стойками кто-нибудь изъ насъ, молъ, жизти рѣшится: быть, молъ, обвалу въ ортѣ неминучему. Не экимъ стойкамъ сотни тысячъ пудовъ торфу сдержать, коли иная, говорю, и на корню-то ужъ подгнила. Словцо за словцомъ, што капелька за капелькой и камень подточитъ, не токма што разумъ у мужика. Спачала-то, какъ водится, стали затылки почесывать, а опосля того и разговоры повели, и надумали обчимъ разумомъ, штобъ шелъ я къ управляющему доложить,—убиралъ бы онъ эти стойки, коль добра себѣ хочетъ; а то, молъ, и до горнаго исправника дойдемъ, и работу зашабашимъ! А мнѣ только энтаго и надоть было!.. Не медля ни мало, пошелъ я это на-перво водицы испилъ, помылся да, благословясь на востокъ, и шагни къ Ивану Артемычу. Встрѣлись честь честью, обхожденіе знаемъ, не впервой съ благородными людьми рѣчь вести... Такъ и такъ, говорю, ваше степенство, явите божескую милость, не прикажите гинуть, прикажите жить. Стойки-то, молъ, што супругъ Палагеи Мироновны, Максимъ Федорычъ, поставлять изволятъ, неблагонадежны...

— „Въ чемъ, говоритъ, оная ихъ неблагонадежность?“ А самъ это такъ и палитъ, такъ и палитъ меня глазами-то. Вижу, гроза собирается,—бо-о-дрюсь!.. Ну, и обсказываю, какъ то-исъ по нашему бы разуму надлежащей мѣры и крѣпости имъ слѣдовало быть.

— „Ты кто, говоритъ, есть?“

— Это онъ-то спрашиваетъ, Артемычъ-то?—прервалъ Дергачъ.

— Онъ!.. Чернорабочій, говорю, Изотъ, по пашпорту Неплюевъ.

— „Твое-ли, говоритъ, это дѣло ходить да указывать намъ. Да какъ ты насмѣлился, а?“ — Смѣлости, говорю, этой, Иванъ Артемычъ, въ насъ весьма достаточно!.. отвѣчаю ему... Ка-а-акъ я ему, значитъ, это словцо-то выворотилъ,—думалъ, и земля встрепенется. И-и-и пошелъ мой Иванъ Артемычъ заливаться, што соловушка по веснѣ!

---

*) Самоловъ—рыболовный снарядъ, состоящій изъ длинной бичевы, усаженной тѣсно крючками. Самоловы бываютъ до пятидесяти саженъ длины и закидываются на ночь въ глубокія мѣста рѣкъ на крупную рыбу и преимущественно на стерлядь.

Пѣ-ѣ-ѣлъ, пѣлъ, а я стою передъ нимъ, што свѣча теплюсь .. Далъ ему это время съ сердца-то своего пѣну снять, да и говорю: па все, молъ, власть-воля ваша, Иванъ Артемычъ. Вы, молъ, теперича господа, а мы подъисподки; только во всякомъ случаѣ, говорю, не взирая на это, извольте доложить ихъ милости управляющему, штобъ супругъ Палагеи Мироновны энти стойки убралъ, а поставилъ бы мѣрныя, по положенію, а то, говорю, ради прохлады ихъ супруги мы своей жизти покладать не намѣрены... А коли, говорю, вы не доложите, такъ мы и самолично объяснимъ, по какимъ кустикамъ голубки въ ихъ отсутствіи гпѣздышки вьютъ!..

— А-ахъ-ха-ха а-а!..—залился Дергачъ, стукнувъ пустымъ стаканомъ о прилавокъ.—Н-ну, Изо-о-отка! А-ахъ, ты, братецъ мой, а?.. Такъ и сказалъ?!

— Вымолвилъ, какъ сейчасъ вотъ передъ вами...

— Ку-у-узьма, это-ли не парень, а?

— Чего-жъ онъ тебѣ на эвто слово твое отвѣтилъ?..—спросилъ Кузьма Терентьичъ, видимо заинтересованный разсказомъ Изота.

— Опѣшилъ... А потомъ ужъ, спустя того время, и спрашиваетъ: „Какіе, говоритъ, голубки?“

— Сизоперые, говорю, Иванъ Артемычъ! Да недолго это думая, вижу, што оробѣлъ онъ, и махни: э-эхъ, молъ, младъ ты, паренекъ, жиру-то на вольныхъ хлѣбахъ болѣ ума нагулялъ! Да вѣдь я, говорю, теперича, коли тебѣ тысяшное мѣсто твое дорого, какую хошь изъ тебя веревку совью; знаешь это, а? Коли ты послушашь моего путнаго слова, усчастливишь, говорю, меня,—смолчу, а нѣтъ, такъ сейчасъ пойду къ управляющему да обскажу, какъ ты безъ него съ Палагеей-то по кустамъ порхашь и за энто не глядючи примаешь стойки, отъ коихъ рабочій человѣкъ можетъ жизти рѣшиться, а? Хошь, говорю?..

— Лло-о-овко!—протянулъ Дергачъ.

— Лловко!..—такимъ же тономъ, какъ и онъ, замѣтилъ Изотъ.—Даже самъ опосля того сдивился отчаянности энтой въ себѣ. Н-ну, вывезло!—сверкнувъ глазами, произнесъ онъ.—Оробѣлъ-то онъ крѣнко. Словно вѣдь обухомъ его по лбу-то шаркнуло: што ись не пикнулъ; ротъ-то это розѣвать, а духу-то нѣтъ!.. И-и... пошла мнѣ съ эстой поры жизть самая разлюбезная,— неожиданно заключилъ онъ пѣвучимъ голосомъ.—Не однова даже съ Палагеей Мироновной чай у Ивана Артемыча вмѣстѣ кушали, да-а! Мало того, што онъ мнѣ сто рублевъ безъ слова выкатилъ,—молчи только,—а въ матерьяльные допущалъ, да не пожелалъ я,—скромно замѣтилъ Изотъ.

— О-о, што-жъ такъ? — спросилъ Кузьма Терентьичъ. — Матерьяльнымъ-то жи-изть: и работы почесть нѣтъ, и доходы кругомъ...

— Прохлада бы, чего говорить, да ндраву нашему не соотвѣтствуетъ. Рабочіе-то это диву дались, глядя на мое житье, и все пытали: какимъ это словомъ я сократилъ Ивана Артемыча? Ну, какъ имъ обскажешь истинную суть?—Отвѣтствовалъ одно, што у меня-де корешокъ этакой имѣется отъ неболтай-травы, при коемъ змѣй не жалитъ, бѣшена собака не кусаетъ и злой человѣкъ стережется. Вѣрили! Ей-Богу!.. Вотъ вѣдь сиволапы какіе, и все допрашивали: покажь да покажь его.

— Однако ты парене-е-екъ, погляжу, коли не зря языкомъ-то мелешь!—произнесъ Кузьма Терентьичъ, измѣривъ его своимъ пронизывающимъ взглядомъ. — Тебя, поди, чай, на каждомъ промыслѣ въ три полуды лудятъ, а?—съ ироніей спросилъ онъ. — Должно, тебѣ и острогъ-то не въ диковинку.

— Острогъ-то?—тряхнувъ головой, спросилъ Изотъ, и по лицу его пробѣжала при этомъ словѣ одна изъ тѣхъ улыбокъ, которыя невольно заставляли сторониться каждаго отъ этой надломленной нечальною жизнью натуры.—Острогъ-то!—снова повторилъ онъ. — А на мой глупый разумъ, Кузьма Терентьичъ, по Расеи милѣй энтаго заведенія и мѣста нѣтъ. Слыхалъ-ли?..

— Впе-ервой, братъ, слышу...

— Нѣтъ!—повторилъ Изотъ. — Даромъ што стѣны у него высоки, а выходны двери узки,—нѣтъ!.. Если теперича разобрать, такъ энти заведенія на то и строютъ, штобъ нашъ братъ мужикъ шлифовался въ нихъ да всякую изнанку постигалъ. Я вотъ на родимой-то грядкѣ съ одного только боку подрумянился, а въ острогѣ-то меня и съ другого подпекли. и вышелъ совсѣмъ особенный плодъ,—съ ироніей произнесъ онъ. — Кто меня теперича раскуситъ, такъ тотъ дважды облизнется да почмокаетъ, да-а-а-съ!—сверкая глазами, насмѣшливо говорилъ онъ.—Нѣтъ, еслибъ начальство-то знало, какія по острогамъ ягодки-то спѣютъ да по Сибири сѣмячки разносятъ, такъ давно бы ужаснулось...

— Чего-жъ бы, къ примѣру?—спросилъ Кузьма Терентьичъ.

— Чего?—прищуривъ глаза и насмѣшливо глядя на него, переспросилъ Изотъ.—А это вотъ когды я въ Нижнемъ содержался по дорогѣ въ Сибирь,—навигаціи, стало быть, выжидали,—началъ онъ послѣ непродолжительной паузы,—такъ въ острогѣ-то промежъ насъ сидѣлъ одинъ молодецъ съ Дону. И штой-то за голова была! На ладони воду кипятилъ да не шпарился, ей-Богу! Такъ онъ это не однова говаривалъ: „Ну, говоритъ, братцы, у Расеи голова за Ураломъ горой, у Терека ноги, грудь съ подоплекой по Волгѣ легли, по Дону да по

Днѣпру ручки протянулись; а посередь, говоритъ, одно только пузо лежитъ, и коли быть, говоритъ, непогодѣ когды, такъ жди ея съ востока... и постигай, къ чему вотъ эти слова старыми людьми сказаны...

— Изотка!.. — восторженно крикнулъ Дергачъ, вскакивая съ прилавка.—А-ахъ, ты, братецъ мой, а-а? Ку-узьма, ну, не гусля-ли это? Пей, штобъ тебя закачало!—кричалъ онъ, наливая нетвердою рукою стаканы и расплескивая вино по прилавку.

— А ты повоздержнѣй лей... Што даромъ-то плещешь его?—замѣтилъ ему Кузьма Терентьичъ.

— Заплачу; нѣшто денегъ нѣтъ, а?

— Знамъ, што заплатишь, — не дарено; да все-жъ подтирать поди надоть!—сухо отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ.—Варсонофъ, подько сюда, оботри чѣмъ ни на есть!—крикнулъ онъ.

Варсонофъ, заворотивъ полу тиковаго халата, поверхъ котораго повязанъ былъ бѣлый фартукъ весьма сомнительной чистоты, проворно вытеръ прилавокъ полой и, выжавъ ее въ углу, заткнулъ для просушки за поясъ.

— Острогъ, Кузьма Терентьичъ, вотъ какой статьи заведеніе;—снова началъ Изотъ, выпивъ налитый ему Дергачемъ стаканъ:—входишь-то въ него, такъ ровно и самого себя боишься, передъ всѣмъ-то тебя оторопь беретъ... Только хнычешь да кланяшься. А какъ понатрешься тамъ среди умныхъ-то людей, понаслушаешься ихъ рѣчей да присказокъ, спознашь всѣ законы, почему и какъ все на свѣтѣ дѣется... и... Боже мой, отколь энтой смѣлости въ тебѣ вздымется! Только въ тѣ поры и спознашь, што и ты такой же человѣкъ, какъ и иные прочіе, и требухой, и норовомъ нисколь не ниже самыхъ преизвышенныхъ; и возьметъ тебя злость!

— А-а!—протянулъ Кузьма Терентьичъ.—Озлобишься же!

— Лютость, не плошь звѣря, почуешь въ себѣ, — процѣдилъ сквозь зубы Изотъ,—и ужъ въ тѣ поры не подходи-и-и...

— Укусишь?

— Изгрызть радъ, вѣрь слову!

— Гляди-жъ... Ну, да чего говорить, и собаку запрешь, такъ мечется... Это што-жъ, стало быть, острожна-то болѣзнь замѣсто родимчика встряхиваетъ, а?—насмѣшливо спросилъ онъ.

— Не подходи!.. Одно тебѣ слово. И каковъ же ты долженъ быть человѣкъ опосля того, а-а? — сверкая воспаленными глазами, спросилъ Изотъ.—Если, стало быть, пребывалъ все въ слѣпотѣ и прозрѣлъ, а?

— Это съ эстой болѣзни, што-ль, зрячими-то становятся тамъ, а?

— Ну, когда бѣльма-то съ глазъ снимутъ и спознашь ты, къ примѣру, естество... какъ оно все и почему... По-о-очему, къ примѣру, всякому иному жизть—мать, одному только мужику—мачиха, а?.. По-о-очему изабольшіе воры во всякомъ благополучіи живутъ и нѣтъ на нихъ ни суда, ни управы, а коли мужикъ укралъ... можетъ, съ горести передышку хотѣлъ только зубамъ дать на пшеничномъ калачѣ... и за энто самое долженъ всю жизть страждить... По-о-очему?

— Оно, чего говорить, извѣстно, надоть бы по головкѣ гладить: воруй-де, сердешный, воруй!.. Потому и зубъ-то, вѣстимо, устаетъ все сухую корку жевать; да не вникаютъ вѣдь въ эфто ни обчество, ни начальство!..—съ ироніей отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ.

Замѣтивъ насмѣшливый тонъ Кузьмы Терентьича, Изотъ сдвинулъ брови и пристально посмотрѣлъ на него. Затѣмъ по лицу его неожиданно промелькнула улыбка, въ которой отразились и злость, и въ то же время лукавство. Оглянувшись кругомъ и увидя, что Дергачъ и вся пьяная свита его, распахнувъ двери погребка, угощались, и въ говорѣ или, вѣрнѣе, въ общемъ крикѣ и хохотѣ, наполнявшемъ погребокъ какимъ то стономъ, тонула всякая отдѣльная рѣчь, онъ медленно налилъ себѣ стаканъ вина и неторопливо выпилъ его.

— Ты давно ужъ по Сибири сапоги-то треплешь?—спросилъ его Кузьма Терентьичъ.

— Двѣнадцатый годокъ съ Покрова пойдетъ, какъ мыкаемся въ оныхъ мѣстахъ! — отвѣтилъ Изотъ. — Умнѣй бы надоть быть-то, учить, да въ мѣру, теперича и очень бы даже благоденствовалъ!..— какъ бы вскользь замѣтилъ онъ.

— Ты это кого поучилъ, да промахнулся? Аль тебя учили, да не выучили?..—насмѣшливо спросилъ Кузьма Терентьевичъ.

— Я!.. Въ купцѣ одномъ совѣсть будилъ, да сколь его не тыкали въ бока-то, до совѣсти не достучались. У купцовъ-то, въ породѣ говорятъ, она потомъ выходитъ,—замѣтилъ онъ.—Ужъ и шельма же была, о-охъ!.. Это онъ въ селѣ у насъ торговалъ... Запольемъ село-то зовется; около рабочихъ все колотился... Я-то у него состоялъ, какъ бы вотъ при васъ теперича Варсонофъ, только куда-а-а, бойчѣй былъ...

— Вида-а-ать!—протянулъ Кузьма Терентьичъ.

— Не въ примѣръ бойчѣй!—съ неуловимой ироніей похвалился Изотъ.—Теперича чего онъ бывало выдѣлывалъ, посказать вамъ! Погребокъ у него былъ такъ же, какъ у васъ бы къ слову. А вѣдь по нашимъ мѣстамъ, на Волгѣ, судорабочій народъ все бьется, загульный народъ, какъ и здѣшній, грѣшнымъ дѣломъ... Расчетъ получитъ и пойде-е-етъ курить, а Артамону Савичу Ожорину это и на руку, какъ

бы вамъ теперя, къ слову говоря... И гра-а-билъ! Упаси Господи! Меня-то онъ содержалъ при себѣ за то собственно, што мы сызмальства въ Москвѣ при ренсковомъ погребу по питейной части образовывались, такъ онъ это при нашей-то помощи и орудовалъ... Мы вѣдь фабрикацію винъ, Кузьма Терентьичъ, въ точности постигаемъ,— сверкнувъ глазами, замѣтилъ онъ:—дрей-мадеру ли, лисабонское, все это перваго, можно сказать, качества произвести можемъ. Или ромъ теперича выдѣлать,—насъ возьми... Припусти это въ полугаръ пережженнаго сахарку съ перчикомъ, сандальчику съ настоемъ чернослива для окраски, бѣлены подбавь, штобъ потребитель особливый хмѣль чувствовалъ, да эстраку для запаху подбавь,—и получится самый ямайскій напитокъ, нисколько не плоше вотъ энтого,—говорилъ онъ, указавъ на бутылку. — Вотъ за бутылку-то экихъ иностранныхъ напитковъ Артамонъ Савичъ и жарилъ по два да по три рубля... Не грабежъ-ли, а?

Насупивъ брови, Кузьма Терентьичъ молча слушалъ Изота, измѣривая его время отъ времени своими пронизывающими глазами.

— Какого вы мнѣнія объ энтакихъ дѣлахъ, а? — снова повторилъ Изотъ свой вопросъ.

— Досказывай; поглядимъ, чего далѣ-то!..

— А далѣ-то вышла такая канитель, сударь... Глядѣлъ я энто, глядѣлъ на такой денной разбой, и возьми меня муть... Однова это не вытерпѣлъ да и говорю: Артамонъ Савичъ! Ежели-бы, говорю, теперича и добраго вора къ эфтому мастерству приставить, и у того бы совѣсть, што вода послѣ дождя, замутилась, а у вашего степенства, говорю, при всей вашей чести, и ликъ, и подошва одной матери, сыромятной шкуры, дѣтки: ни отъ какихъ дѣловъ не краснѣютъ.

— О о!.. Ну, онъ чего-жъ, въ зашей, поди, тебя?

— Такъ точно-съ, въ самый почесть ленъ ковырнулъ.

— И по пути!

— Пожалуй, што по пути, не зазнавайся!—согласился Изотъ.— Только мы энтого дѣла, положа рукъ, не спустили... Улучилъ я этакъ минутку да всѣ-то его качества передъ рабочимъ людомъ и выписалъ: какими, стало быть, образцами онъ опаиваетъ ихъ... и наусти-и-и!.. Что-жъ вѣдь, сударь! По бревну разнесли весь его погребъ, и ему, штобъ червонныя кудри расчесывать, не привелось ужъ опосля того гребня покупать.

— Ты за это и судился?..

— Въ соприкасательствѣ только къ эфтому обвинялся; а болѣ-то за то, што во время свалки понавѣдался, плотны-ли замки у его выручки.

— Эвонъ за што!.. Ну, по нашимъ мѣстамъ такого молодца и до суда бы не допустили, а камень бы на шею да и подь съ Богомъ въ рѣку, промышляй рыбкой!—холодно, съ какою-то нервною дрожью въ голосѣ отвѣтилъ Кузьма Терентьичъ.—Ты допилъ, што-ль?—спросилъ онъ, взявъ бутылку и поболтавъ ее.

— Окончили, благодаримъ покорно!.. — отвѣтилъ Изотъ, приподнимая шляпу.

— На здоровье!—сказалъ Кузьма Терентьичъ, отодвигая отъ него бутылку и стаканъ. — А теперича я тебѣ, добрый молодецъ, вотъ чего спою, — началъ онъ, погладивъ ладонью усы и бороду: — энта твоя сказка хороша, а моя никакъ лучше будетъ... На досугѣ ужо свѣсь, чья перетянетъ... Похаживалъ въ нашемъ селѣ годовъ съ десятокъ назадъ удалъ-молодецъ, такъ же вотъ языкомъ-то ни вѣсть какія кружева плелъ и вознамѣривался было кой-кого опутать ими да ужъ такъ-то хитро выткалъ ихъ, што допрежъ другихъ самъ въ нихъ запутался и ножки потерялъ. Видали его опосля въ телѣжкѣ, по деревнямъ ѣздилъ, милостыней побирался!.. Понялъ?.. Дерга-а-ачъ! Василь Петровичъ! Подь-ко сюда! — крикнулъ Кузьма Терентьичъ, искоса взглянувъ на Изота, который, плутовато улыбнувшись послѣ разсказа его, почесывалъ затылокъ, приподнявъ шляпу.

— А-а, меня, што-ль?.. Иду-у!..—отозвался Дергачъ, пролѣзая въ дверь, около которой, съ наружной стороны погребка, на плотно утоптанной площадкѣ, въ кружкѣ сомкнувшихся рабочихъ кипѣла орлянка.

— Ты за угощенье-то платишь?..—спросилъ Кузьма Терентьичъ, когда онъ подошелъ къ прилавку.

— Я, я..

— То-то!.. Молодецъ-то тутъ, вишь, заболтался, такъ провѣтриться бы надоть сходить ему!.. Подь-ко, слышь, за добра ума, какъ-бишь, тебя звать-то... Изотъ, што-ль? Тебѣ здѣсь совсѣмъ не мѣсто...— произнесъ, обратившись къ Изоту, Кузьма Терентьевичъ.

— Покорнѣйше благодаримъ! — отвѣтилъ Изотъ. — Это, стало быть, слова ваши такъ понимать надоть: поди вонъ?..—спросилъ онъ.

— Убирайся, попросту сказать; замѣсто кочерги-то торчать здѣсь нечего.

— Извольте, уйдемъ, съ полнымъ даже удовольствіемъ. Только позвольте напредь полюбопытствовать нѣсколько: гдѣ у васъ патентъ на право торговли, промысловое и приказчичьи свидѣтельства, а равно примите трудъ, не откажите предъявить намъ дохтурское свидѣтельство, што въ вашихъ питьяхъ не имѣется зловредныхъ примѣсей...

Опосля того мы съ полнымъ удовольствіемъ выйдемъ, поблагодаривъ васъ за ласку?..

— Чего, чего тебѣ надоть-то... повторь-ко!..—удивленно спросилъ Кузьма Терентьичъ, широко раскрывъ свои глаза.

— Патентъ на право торговли, говорю, желаемъ мы видѣть, промысловое и приказчичьи свидѣтельства и дохтурское о безвредности питей, кои по закону должны быть повѣшены въ вашемъ заведеніи на самомъ видномъ мѣстѣ; а окромя энтого ничего иного не желаемъ отъ васъ...—насмѣшливо отвѣтилъ Изотъ.

— А-ахъ, ты, идолъ, идолъ, а-а?!.—произнесъ, неестественно захохотавъ, Кузьма Терентьичъ.—Глянь-ко, левизоръ какой нашелся, а-а?!—говорилъ онъ, обратившись къ Дергачу.

— Изотка, не-есъ! Да ты и взаболь одурѣлъ никакъ?—спросилъ Дергачъ.

— А вы помалчивайте, Василь Петровичъ, потому энто совсѣмъ не вашего ума дѣло!.. — строго взглянувъ на него, отвѣтилъ Изотъ.

— За-а-абавникъ же ты, погляжу, ха-ха-а! — говорилъ Кузьма Терентьичъ.—Ну, а исшо чего выдумашь, а-а?—спросилъ онъ.

— Окромя энтого ничего-съ...

— Хошь рубь заробить на голодные зубы, а?

— Отчего-жъ, не прочь.

— Три дамъ, куды не шло, не оскудѣю, будто на камедь глядѣлъ. Скажи только, не моргая глазомъ: покажу я тебѣ патентъ и свидѣтельства, а далѣ-то чего-жъ изъ энтого выйдетъ?

— Тронемся въ ту-жъ минуту, ослобонимъ васъ отъ себя.

— Только и было всего?

— Только съ!..

— А коли не предъявлю, такъ, стало быть, ты засудишь меня, што-ль?—кичливо глядя на него, спросилъ онъ.

— Судить не властны, а непріятностей навлечемъ, не скрою.

— Ну-ко, сблаговѣсти, какихъ же, къ примѣру...

— Не потаимся, объяснимъ, извольте-съ! Понравится-ли вамъ, если мы теперича самолично примемъ трудъ предоставить ваши ликеры во врачебную управу, а? И, по разсмотрѣніи оныхъ, окажутся въ нихъ сандалъ, бѣлена и свинцовый сахаръ, который мы очень тонко различали въ вашемъ ромѣ?—съ язвительной улыбкой глядя на него, отвѣтилъ Изотъ.

— И въ эфтомъ вся твоя наука мнѣ? а?

— Достаточно, кажется; разсудите, одобрятъ-ли васъ за энто?

— А што ты скажешь мнѣ, сердешный другъ, послушать бы,

ежели я теперича, допрежъ чѣмъ ты соберешься въ управу-то идти, измелю тебя въ два жернова, а-а?—стиснувъ зубы и злобно глядя на него, спросилъ Кузьма Терентьичъ.

— Мелите! Мы и отъ энтого не прочь, потому хорошо понимаемъ, што за помолъ уплатите.

— И платить не буду, знай.

— За чѣмъ же дѣло стало? Насмѣльтесь!..

— Исшо разъ, молодецъ, скажу я тебѣ на память, такъ и быть... заруби въ своей курчавой башкѣ. Видали мы не такихъ, какъ ты, соколиковъ, да и тѣ, сердешный, съ подстриженными крылышками ухаживали отъ насъ. А экой-то саранчи, какъ ты, мы и ногой топтать не станемъ, сама съ голоду сдохнетъ. Понялъ?.. Меня ты энто вздумалъ управой устращивать, а-а?..—приподнявъ картузъ на лбу и съ презрѣніемъ глядя на Изота, произнесъ Кузьма Терентьичъ.—Ну, не дуракъ-ли ты, а? Да вѣдь у меня рука-то черезъ всю губернію хватаетъ!.. Цѣнишь-ли ты энто мое слово, а?..

— Цѣнимъ-съ!..

— А-а, цѣнишь! Почувствовалъ? а энто ты въ какую цѣну поставишь, што инѣ только свистнуть теперича, языкомъ пошевелить, такъ тебя по косточкамъ разнесутъ, а?

— Статься можетъ, и энто случится:..

— Сво-о-олочь, тьфу!—съ сердцемъ сплюнувъ, протянулъ Кузьма Терентьичъ. — Ты думалъ, и здѣсь Расея?.. Нѣ-ѣ-ѣтъ, здѣсь вѣдь, братъ, Сиби-ирь. Здѣсь экаго-то, какъ ты, не токмо за ребро, за языкъ на первой осинѣ повѣсить можно, и виноватаго не сыщешь. Слышалъ?..

— Слышалъ-съ!..

— Теперича чего исшо предъявить тебѣ прикажешь? Говори!..

— Три рублика, што обѣщали, потому, какъ мы и единожды не моргнувши слушали ваши увѣщанія...

— А-ахъ, ты, шутъ гороховой, а! И только всего?

— Только-съ!..

— Ай-да Изо о-отъ! Вотъ такъ креме-е-ень! Съ трехъ рублевъ осѣчку даетъ!.. — презрительно покачавъ головой, говорилъ Кузьма Терентьичъ.—Ну, нечего дѣлать,—продолжалъ онъ, щелкнувъ ключемъ въ выручкѣ, и, доставъ трехрублевую асигнацію, подалъ ему.—На... прими, будто Христа-ради... Такъ это ты изъ-за энтого только и колотился тутъ битый часъ и трепалъ свой языкъ, а?

— Единственно изъ-за этого, Кузьма Терентьичъ; потому намъ очень желательно было показать, какъ расейскій высѣвокъ и у такой

паршивой собаки, какъ ваша милость, хоша клочекъ шерстки да урветъ,—сжавъ асигнацію въ ладони и злобно захохотавъ, отвѣтилъ Изотъ.— А теперича прощенья просимъ за безпокойство! — вѣжливо приподнимая шляпу, говорилъ онъ.—Ужо, когда по косточкамъ-то разносить меня станете, такъ и свои-то не забывайте пощупывать. До свиданія-съ!

И, пронзительно свистнувъ, онъ неторопливо вышелъ изъ погребка.

Весь блѣдный, Кузьма Терентьевичъ, по уходѣ его, съ минуту стоялъ неподвижно, сжимая въ рукѣ штопоръ. Потомъ, снявъ картузъ, онъ провелъ ладонью по лбу и по головѣ и, бросивъ штопоръ на прилавокъ такъ, что тотъ зазвенѣлъ, забарабанилъ пальцами правой руки по книгѣ, въ которую вписывался расходъ товара; и только по движенію его бровей и морщинъ на лбу Варсонофій, притаившійся въ углу магазина, слѣдилъ за бурей, какая кипѣла въ душѣ хозяина.

На окраинѣ Т—я, около глубокаго и длиннаго оврага, чрезъ который перекинутъ былъ небольшой мостикъ, далеко въ сторонѣ отъ другихъ строеній стоялъ одноэтажный домъ, заново обшитый тесомъ. Окна его выходили въ поле; обширный дворъ былъ обнесенъ досчатымъ заборомъ. Правая половина двора была закрыта навѣсомъ изъ тонкихъ тесницъ и соломы, придавленной жердями. Подъ навѣсомъ хранились красивыя телѣжки, дубовыя колеса которыхъ были окованы желѣзомъ, повозки съ рогоженными кузовами, глухія зимнія кибитки, обтянутыя рогожей и кошмой. Столбы, на которыхъ держался навѣсъ, были сплошь увѣшаны конскими сбруями. За дворомъ, примыкая одной стороной къ оврагу, тянулся обширный скотный дворъ или „стайка“, какъ говорятъ крестьяне, въ которую загонялось на ночь около десятка лошадей, на случай требованія земскихъ подводъ. Домъ этотъ принадлежалъ содержателю земской гоньбы, Юрію Петровичу Плѣшкову.

На рундукѣ крылечка, пристроеннаго къ дому со двора и обнесеннаго точеными перилами, надъ которымъ на четырехъ рѣзныхъ столбикахъ держался досчатый навѣсъ, по ступенькамъ и на завалинѣ, обносившей домъ, сидѣло нѣсколько человѣкъ рабочихъ, только-что кончившихъ обѣдъ. Одни изъ нихъ курили изъ небольшихъ трубокъ съ гибкими волосяными чубуками, поплевывая на стороны, другіе, поднимая съ полу соломенку или прутикъ, ковыряли ими въ зубахъ; кто потягивался, растянувшись на завалинѣ во весь свой богатырскій ростъ. Въ это время на крыльцо вышла изъ дома высокая, красивая женщина со жбаномъ въ рукахъ. При появленіи ея, рабочіе, сидѣв-

шіе на рундукѣ и по ступенкамъ, тѣснѣе сдвинулись между собой, уступая ей дорогу. По возвращеніи ея съ погребицы, жбанъ, наполненный густымъ пѣнистымъ квасомъ, сталъ медленно переходить отъ рабочаго къ рабочему.

— Квасо-о-окъ!—говорилъ почти каждый изъ нихъ, отирая ладонью густую пѣну съ усовъ.—И штой-то за мастерица ты, Дарьюшка, на всѣ руки!..

— Не ахти какая мудрость сварить-то, было-бъ изъ чего!—отзывалась каждый разъ Дарьюшка на похвалы ея искусству варить квасъ.

— Ужъ надоть бы, братцы, бабѣ-то женишка подыскать, право... Чай, наскучалась во вдовьемъ-то житьѣ, а?

— Чего и говорить!.. Не замужемъ-ли веселье-то спросила она.

— Все-жъ, какой ни есть мужъ, да мужъ: о-охрана, дому глава...

— Дивья-я, чего и говорить!.. За иной головой-то изъ вашего брата только и работы, што съ зари до зари ходи да доглядывай, гдѣ бы не ткнулся глазомъ на сукъ... О-охрана!..

— Дарьюшка,—крикнулъ Изотъ, сидѣвшій на верхней ступенькѣ, подложивъ одну ногу подъ себя, а другую спустивъ за перила.

— Чего, касатикъ?— отозвалась она.

— Экой молодецъ, какъ я, любъ тебѣ аль нѣтъ?

— Испей-ко квасу лучче, свѣженькой!—вскинувъ на него своими большими синими глазами, насмѣшливо отвѣтила Дарья.

— А-ахъ, ха-ха-а! Што, Изотка, съѣлъ?!—крикнулъ, закатываясь веселымъ смѣхомъ, Дергачъ.—Не крута гора, видать, да емка, а? Съ маху-то не взлѣзешь...

— Не замайте-ко, молодцы, бабу-то!—крикнулъ, выглянувъ въ окно, старикъ Плѣшковъ, доводившійся свекромъ Дарьѣ, бывшей замужемъ за умершимъ сыномъ его.—Неси-ко исшо квасу-то, вѣдь здѣся ждутъ!—строго сказалъ онъ ей.—Чѣмъ бы вотъ мѣсить по двору-то взадъ да впередъ со жбаномъ, взяла бы налила въ ведро квасу-то да поставила въ сѣнцы... а то толчется, прости Господи, какъ ступа!—ворчалъ онъ, запирая окно.

— Старикъ-то! — произнесъ Изотъ, мигнувъ рабочимъ, когда Дарья, по лицу которой разлился яркій румянецъ, поспѣшно пошла въ домъ.—Юрій Петровичъ, а Юрій Петровичъ!—крикнулъ Изотъ.

— О-о!—отозвался тотъ, отворяя оконце.

— Чего кости-то въ избѣ паришь? Выходи, сказку скажу.

— Слы-ыхивали!—отвѣтилъ старикъ, захлопнувъ окно.

— Ту-угой же старикъ, э-э! — говорилъ Изотъ, тряхнувъ голо-

вой.—Покойный сынъ-то, сказываютъ, отъ него болѣ и загуливалъ, и въ землю ушелъ. Какъ ржа, говорятъ, ѣлъ онъ покойника-то съ утра до ночи. У него вѣдь, гляди, братцы, всѣ по одной половицѣ въ домѣ-то ходятъ, пра-аво. Вторительный Кузьма Терентьичъ, только будто въ карманѣ-то пожиже.

— На-абьетъ исшо!—отозвались слушатели.

— Набье е-етъ!—протянулъ одинъ изъ рабочихъ, пожилой человѣкъ съ кроткими, добродушными чертами лица.—Теперича вѣдь гляди, какой онъ иродъ, братцы... Афоньку-то, слышь, и обѣдать не садитъ: изъ избы-то въ баню выжилъ... Што ись кошмы-то не далъ ему подослать подъ себя: духомъ-то своимъ, говоритъ, провоняшь ее. Такъ на соломѣ и валяется теперь, а спервоначалу-то поколь деньги у того были, уха-а-аживалъ...

— Какой это Афонька?—спросилъ Дергачъ.

— Рабочій одинъ тутъ, съ компанейскихъ промысловъ, сказываетъ. Съ промысловъ-то исшо кое-какъ онъ вышелъ, а теперича вотъ ужъ другая недѣля идетъ, совсѣмъ, почесть, обезножилъ,—вотъ какое дѣло-то.

— Здѣсь онъ, говоришь? У эфтого хозяина?—спросилъ Изотъ.

— Здѣся; въ банѣ ужъ который день лежитъ.

— Сходимъ, братцы, къ мужику-то!—отозвался Изотъ.—Ведико,—сказалъ онъ, обратившись къ рабочему и вставая съ крыльца.—Н-ну, на-ародецъ!—произнесъ онъ, идя къ банѣ, низенькой покосившейся избенкѣ, стоявшей въ полѣ, у самаго оврага, саженяхъ въ десяти отъ скотнаго двора.

Рабочіе, лѣниво поднимаясь съ крылечка и завалины, гуськомъ, одинъ за однимъ, шли неторопливыми шагами за Изотомъ. Отворивъ низенькую покосившуюся дверь, Изотъ съ трудомъ пролѣзъ въ баню, въ которую едва проникалъ свѣтъ черезъ узенькое оконце. Въ углу бани, на низенькомъ, узкомъ полкѣ, настланномъ на каменья, на потникѣ, разостланномъ поверхъ соломы, лежалъ человѣкъ лѣтъ сорока на видъ, покрывшись худенькимъ полушубкомъ. Ноги его были обуты въ кошомныя валенки, въ головахъ, вмѣсто подушки, лежалъ холщевый мѣшокъ. Всклоченные, слипшіеся отъ поту волосы прядями падали на исхудалое лицо его, обросшее длинной бородой. Услышавъ скрипъ двери, онъ открылъ глаза и, увидѣвъ Изота, съ трудомъ приподнялся на локтяхъ и сѣлъ.

— Помогай Богъ! — произнесъ Изотъ, пристально вглядываясь въ больного въ полумракѣ, наполнявшемъ баню, который казался еще болѣе сильнымъ отъ черныхъ, закоптѣвшихъ стѣнъ ея.—Болѣнъ, ска[illegible]отъ?—спросилъ онъ, присаживаясь на лавочку.

— Вотъ ужъ съ недѣлю никакъ время изняли ноженьки, што и приступить не могу!—кряхтя, сказалъ Афанасій разслабленнымъ, прерываемымъ одышкою голосомъ.—Ты кто же будешь, милостивецъ? — спросилъ онъ.

— Рабочій.

— Рабочій же,—повторилъ онъ.—Съ чьихъ же промысловъ-то?

— Съ акшауловскихъ.

— А-а... Давно вышедши-то?

— Ужъ третій день никакъ крутимся здѣсь.

— А-а... Я-то ужъ болѣ двухъ недѣль зажился. Немочь-то настигла, што ты будешь дѣлать-то съ ней,—пожаловался онъ.

Дверь въ баню снова отворилась, и рабочіе одинъ за другимъ пролѣзали въ нее. Одни изъ нихъ крестились, болѣе по привычкѣ осѣнять себя крестомъ при входѣ въ каждое жилое мѣсто, и привѣтствовали больного словами: „помогай Богъ“, „будь здоровъ“ и т. п. Скоро въ банѣ стало тѣсно отъ набравшихся въ нее гостей, со смѣхомъ и шутками размѣщавшихся на узенькой лавочкѣ, шедшей вдоль стѣны, покрытой на палецъ сажей, на кадушкѣ, опрокинутой вверхъ дномъ, стоявшей въ заднемъ углу бани, и на кривомъ полу, съ разошедшимися и мѣстами провалившимися половицами. Нѣсколько человѣкъ усѣлись даже на камняхъ, кучей наваленныхъ на небольшой печкѣ въ углу.

— Навѣщаемъ!—отозвался Дергачъ, садясь около больного.— Сказываютъ, тебя старикъ Юрій обидѣлъ, а? — спросилъ онъ, пристально осматривая его.

— Чѣмъ это обидѣлъ? Пошто?—спросилъ Афанасій.

— Въ баню изъ избы-то выкурилъ!

— А-а... Ну, оно точно, сердешный, холодно ровно здѣсь-то, зябнется въ ину пору; обѣщался онъ даве протопить ее... Духъ вѣдь отъ меня тяжелый идетъ, милый. И его-то дѣло взять если, посуди. У него вѣдь, вишь, сколь народу-то стоитъ; не всякому, поди, любо въ экомъ-то духѣ будетъ...

— Духъ-то пошто идетъ отъ тебя? — спросили рабочіе.

— Отъ ногъ, сердешные, валитъ! Скорбью *) маюсь ужъ съ годъ никакъ время. На промыслахъ фершалъ лечилъ, мазь было давалъ мнѣ, да способья-то ровно не видалъ я отъ нея... Какъ потрешься, такъ спервоначалу-то и полегчаетъ будто, а на работу-то выйдешь, такъ сызнова изниметъ. Ломить это почнетъ, не попусти Господи, ровно

*) Скорбутъ рабочіе называютъ «скорба» или «скорбь», а цынгу — «десновицей».

молотомъ по костямъ-то дробитъ тебя! Индѣ свѣтъ изъ глазъ выкатывается,—слабымъ голосомъ говорилъ онъ.

— Экъ ты, парень, убился-то какъ, а! — съ участіемъ говорили рабочіе.

— У-убился, сердешные!.. Теперича ноги-то самому оглянуть, такъ муть беретъ. Почернѣли, словно у мертвеца, и ду-у-ухъ, духъ это отъ нихъ... а-а!..

— Эко ты дѣло-то, а! Покажь-ко!—сказалъ Дергачъ.

— Моторно, други, глядѣть-то!—отозвался Афанасій.

— Што-жъ, всѣ мы подъ Богомъ ходимъ, чего брезговать-то! Не ты, такъ я; не сегодня, такъ завтра Господь за грѣхи каждаго найдетъ,—говорилъ Дергачъ.—Ужъ наше, братъ, дѣло такое: завсегда на волоскъ отъ бѣды да отъ смерти ходи!

При помощи одного изъ рабочихъ, Афанасій снялъ съ ногъ валеные, кошомные сапоги, обшитые снизу кожей, кряхтя и охая, размоталъ на ногахъ длинныя двойныя онучи сѣраго солдатскаго сукна, прикрѣпленныя къ ногамъ бичевками. Едва онъ снялъ онучи, какъ въ банѣ распространился смрадный трупный запахъ. Снявъ синія холщевыя тряпицы, онъ обнажилъ свои черно-багровыя, опухшія ноги, покрытыя ранами, изъ которыхъ сочилась кровь. Опухоль и язвы поднимались уже выше колѣнъ. Рабочіе, молча, глядѣли на это тяжелое зрѣлище. Иные изъ нихъ сумрачно покачивали головами и перешептывались; другіе, сплевывая на сторону отъ невыносимаго запаха, потихоньку выбирались изъ бани.

— Теперь надоть бы вотъ домой идти,—началъ Афанасій, старательно окутывая ноги, и изъ глазъ его покатились при этомъ крупныя слезы,—а куды пойдешь? Мнѣ вотъ съ полка-то тяжело спустить ихъ, а вѣдь до дому-то идти, почесть, двѣсти верстъ надоть... Отмѣряй-ко ихъ на экихъ-то ногахъ. Кабы заработку вынесъ, доѣхалъ бы; все-жъ бы горя-то меньше было: дома-то бы, можетъ, отдохъ. А куды я теперь?—надрывающимся голосомъ говорилъ онъ и изъ груди его вырвался вздохъ, скорѣе похожій на стонъ.

— Ты у кого на промыслѣ робилъ-то? — съ участіемъ спросилъ Дергачъ.

— На Г—омъ!.. Такъ-то они компанейскими все кличутся!

— Э-эва гдѣ! Ну, оттедова, братъ, заработку много не вынесешь.

— Обида только одна, сердешный, была. И все бы горе въ полъгоря, говорю, кабы здоровья-то Богъ не отнялъ, а то куды я теперь? Ни ногъ, ни денегъ. Суди!

— Все ишшо Петръ Кузьмичъ хозяйствуетъ тамъ, а?

— Онъ!..

— Знаемъ его; какъ не знать Петра Кузьмича! Экого аспида поиска-а-ать!.. — протянулъ Дергачъ.

— А-аспидъ!.. А-ахъ, ты, Боже мой! А-аспидъ!.. Столько-то, сердешный, утѣсненія отъ него вынесли за годъ, што сказывать—слеза прошибетъ!.. Я вѣдь впервой исшо на эту каторгу попалъ. Нужа, милостивецъ, идти-то заставила. Слыхивалъ отъ бывалыхъ людей, што не сладкая жизть на промыслахъ-то, да куды отъ бѣды-то дѣнешься? Три года кряду, почесть, неурожай стоялъ. Пудовка-то муки до полуторыхъ рублевъ доходила. Покормись-ко и подушну за четверыхъ справь. Суди, какая неволя погнала.

— О-о!.. Чего и говорить, сказка-то энта вездѣ одна!..—произнесъ кто-то изъ рабочихъ, глубоко вздохнувъ.

— Я то исшо изъ исправныхъ былъ,—продолжалъ Афанасій;— у меня и скотинка водилась, пять лошадокъ держалъ. Слава тѣ, Господи, што ни што, а все достатокъ; а каково маломочнымъ-то переживать экую напасть, а?.. Какъ туго-то подошло оно, все бывало, одну скотинку продашь да перебьешься, да другую... оно и свѣтъ ровно увидишь. А тутъ ужъ чѣмъ Господа угнѣвилъ — и ума не приложу: двѣ скотины кряду по веснѣ-то пали,—не бѣда ли это?..

— Какой исшо надо!

— Словно подъ гору, милые, скатился, вотъ какъ скосило!..

— Спотыкнись только, такъ и лба не успѣшь окрестить, какъ покатишься... чего говорить!..—пронеслось среди слушателей.—Не нами сказано: одна бѣда не идетъ, а всегда за собой двѣ другихъ ведетъ.

— Ведетъ, ведетъ... Словно вотъ въ поводу ведетъ!—повторилъ Афанасій.—И пошелъ на пріиски, — чего оставалось? Думалъ оправиться, да вотъ и оправилъ Господь, — видали ноги-то? Ну, куды я теперь?—произнесъ онъ, покачавъ головой и разведя руками.—Одно осталось: по куски ходить.

— О-охъ, не дай-то, Господи!—пронеслось среди слушателей.

— И все бы сердце не болѣло!—началъ онъ послѣ непродолжительной паузы. — Ну, наказалъ Господь, стало быть, угнѣвилъ его многомилостиваго, — съ грустною покорностью въ голосѣ говорилъ онъ, — а то и здоровье-то, сердешные потерялъ, и заработокъ-то, почесть, изъ рукъ вырывали, — не бѣдко ли, а? Да пошли имъ, Господи, — произнесъ онъ, крестясь, — досыта напиться моей-то слезой!..

— Кто-жъ это тебя объегоривалъ, — Петръ Кузьмичъ?— сумрачно спросилъ Дергачъ, сидѣвшій понуривъ голову.

— Онъ, и все понапрасну, насердка одна была,—отвѣтилъ Афанасій.—Подписался-то я въ обчій контрахтъ, и работа за мной, милостивецъ, не стояла, одобряли. Пришли какъ мы на промыселъ-то, меня сразу въ забой *) поставили, потому человѣкъ-то я, вишь, могутной изъ себя. Робилъ, и все бы, можетъ, ладно пошло, кабы сызнова бѣда не настигла. Снимали мы однова турфа, и съемка-то, почесть, къ концу подходила, всего день, ну, можетъ, два оставалось робить намъ. Петръ Кузьмичъ и надумай сразу порѣшить съ эстой работой, взялъ да урки-то **) и отмѣрялъ намъ свыше положенія.—Мы было честью просить его стали: ослобони-де, не отнимай у иного изъ насъ счастья! Стоитъ на одномъ: робь! Я, говоритъ, здѣсь наибольшій, моя власть воля, чего велю, то и дѣлай. Далѣ да болѣ, и пошло слово за слово! Мы и попутайся, сцѣпись съ нимъ. Онъ одного-то изъ нашихъ и за воротъ было ухватилъ, а тотъ и говоритъ ему: сто-ой! энтого, говоритъ, въ контрахтѣ не писано, штобъ ты мнѣ воротники обрывалъ. Не оробѣй, слышь, это да и ковырни его по затылку...

— А-ахъ-ха-а!—прокатилось среди слушателей.—Ло-овко! Молодецъ видно былъ! Ну, Кузьмичъ-то чего-же?

— Отсталъ!.. Да сичасъ же и пошли за горнымъ исправникомъ. Ну, и пошло... судъ да дѣло. и все бы, братцы, можетъ, оно ничего, обошлось бы, да выискался одинъ изъ нашей братьи... Штобъ подольститься къ Петру-то Кузьмичу, возьми да и докажи, што всему дѣлу причина—мы будто бы четверо.

— Ну, экіе прохвосты водятся середь нашего брата,—произнесъ Дергачъ.—Помнишь, Изотъ, Данилку-то, што Кукушкой все звали, а?—спросилъ онъ.

— Памятенъ,—отвѣтилъ тотъ.

— Ну, чего-жъ опосля доказательства-то было?—спросилъ Дергачъ.

---

*) При веденіи шахтъ или ортъ особенно сильные и ловкіе рабочіе назначаются исключительно для того, чтобы первыми откайливать камни и грунтъ. Рабочіе эти называются забойщиками и получаютъ по 50 коп. въ сутки, а въ праздничные дни 1 р. 50 к.

**) Работы между рабочими на пріискахъ распредѣляются по урокамъ становыми или управляющими пріисками. Рабочаго, отработавшаго свой урокъ, не имѣютъ права назначить на какую-нибудь другую работу, а потому свободное отъ урочныхъ работъ время они хотя и работаютъ, но работы эти называются «старательскими» и за нихъ идетъ отдѣльная плата. Обыкновенно, рабочіе, отработавшіе свои уроки, просятся на промывку золота, гдѣ они получаютъ за каждый промытый ими золотникъ золота по два рубля. Вотъ почему назначеніе урока, превышающаго обычную мѣру, всегда возмущаетъ рабочихъ, такъ какъ лишаетъ ихъ возможности идти на старательскую работу, гдѣ они могутъ иногда промыть два-три золотника золота и получить за нихъ четыре или шесть рублей.

— Было-то чего?—переспросилъ Афанасій.—А чего оно было-то,—повторилъ онъ.—Древесины-то стра-а-асть сколь обломали объ насъ, вотъ чего и было!.. Да што-жъ, и энто бы исшо не бѣда, кабы насердкой-то Кузьмичъ не обидѣлъ. Все ему, вишь, казалось, што мало насъ поучили, такъ онъ чего съ нами выдѣлывалъ. Я-то всю зиму, почесть, въ забой ходилъ, а онъ все меня въ лепортичкахъ-то писалъ въ отвалѣ *) да въ отвалѣ... это, посчитай-ко, по двадцать копеекъ въ суточки съ костей-то моихъ снимали, а?.. Не обида-ль?.. Я урокъ-то, бывало, отроблю да на старательскую работу прошусь, на промывку, а онъ не пущаетъ Отдохни, говоритъ, тебѣ силы надоть набрать. Энто, говорю, мое ужъ дѣло, Петръ Кузьмичъ, когда мнѣ силы набирать. Допусти меня, дозволь помыть, можетъ Господь меня и усчастливитъ. Ну, не пущаетъ, хошь убейся. А какъ заболѣлъ я, такъ, Господи, чего только выдѣлывалъ онъ со мной! Какъ праздникъ, бывало, я на старательскую работу иду, а онъ меня, аспидъ, въ лазаретъ шлетъ. А то иной день и роблю, а онъ въ лазаретъ меня выпишетъ; а въ будни, гдѣ бы мнѣ въ ину пору и точно отдохнуть надоть, онъ на работу выгонитъ... Не злодѣй-ли, а?.. Меня вѣдь, други, не разъ замертво изъ орты-то вытаскивали. Тамъ я и ноженьки свои погубилъ, та-а-амъ! Расчетъ-то подошелъ какъ, такъ чего-жъ... кругомъ да около... и вышли одни недохватки. Спорь поди съ ними!.. Однихъ энтихъ штрафовъ наклали на меня, такъ и Господи Боже мой!.. Двадцать семь рублевъ пришлось на руки-то; не обида-ли, други, а?.. Усчастливили, пошли имъ, Господи, всякаго счастья, мыться до бѣла тѣла въ слезѣ-то моей!..—закончилъ онъ, всхлипывая.

Среди рабочихъ царствовало глубокое молчаніе, прерываемое порою только вздохомъ кого-нибудь изъ нихъ.

— А докащика-то энтого поучили вы опосля, аль нѣтъ?—спросилъ Дергачъ.

— Господь съ нимъ; пущай на его душѣ энтотъ грѣхъ лежитъ!..

— О-о, нѣтъ, братъ!.. Энтихъ дѣловъ спущать не доводится,—произнесъ Дергачъ, качая головой.—Нѣ-ѣтъ, энто, стало быть, только плодить ихняго брата. У насъ однова, когда мы съ Изотомъ въ енисейской тайгѣ робили, у Р—ыхъ на промыслѣ, выискался было экой-то шалунъ. Ну, такъ не долголѣтенъ оказался!—съ ироніей закончилъ онъ.

— Помяли, должно?—спросило нѣсколько голосовъ.

---

*) Отваломъ называется мѣстность, куда свозятъ промытые пески, потому и рабочіе, паряжаемые на свозъ песковъ, называются отвальными. Они получаютъ 30 коп. въ сутки.

— И пальцемъ не тронули!.. Такъ же вотъ мы однова пошумѣли съ управляющимъ, ну, и зашабашили робить. Изоткѣ памятно это дѣло: никакъ все лѣто на шкурѣ-то рубцы зашивалъ!—съ ироніей произнесъ Дергачъ. — Хорошо-о-о... Какъ водится, также до исправника это дѣло дошло. Наѣхалъ, да не говоря, братцы, ни слова, и сталъ выкликать одного за однимъ, меня это въ первую голову, Изотку, да еще троихъ сподручныхъ намъ. Словно кто шепнулъ ему, што въ насъ-то и сидятъ ключики отъ энтого замочка.

— Чего-жъ, досталось поди вамъ, а?—прервали его.

— Объ энтомъ што и разговаривать, палудили-таки кастрюли-то. Ладно, смирились!.. Што ни што, думаю, а ужъ кто ни есть изъ насъ назвался Іудѣ братомъ. Хорошо-о-о. И начни я примѣчать, кто бы, молъ, за энто ремесло взялся?.. А былъ промежъ насъ, сказать вамъ, братцы, мужиченка Данилка Мережниковъ,—звали-то его болѣе Кукушкой,—ю-юркой такой паренекъ, и ужъ въ случаѣ чего, бывало, первый энто починъ держалъ: запѣвало. Никому бы и въ умъ не впало, што въ немъ всѣ энти блохи сидятъ, за коихъ чужія спины чешутъ!.. И какъ я намѣтилъ-то его?.. Спали мы въ одной съ нимъ казармѣ. Только, однажды это ночью, проснулся я и выдь на улицу, а казарма-то наша, почесть, наискось фатеры управляющаго была. Гляжу, а мой Данилка шасть вдругъ съ задняго крыльца отъ управляющаго, да лѣсочкомъ это, крадучись, обойди сторонкой и выдь къ казармѣ-то совсѣмъ съ другой стороны. Э-э, думаю, сто-ой, парень! Што, молъ, ты это за безкозырную игру по ночамъ съ управляющимъ ведешь? Ну, только самъ это и виду никому не даю, што подмѣтилъ, а понемножечку дослѣживаю себѣ. Разъ это ночью я укараулилъ его, въ другой... О-о, думаю, молодецъ! За энтой-то водицей коли ходить, такъ кувшину-то надоть о двухъ головахъ быть,—при одной-то опасно. Какъ-никакъ, братцы, а вошелъ я съ нимъ наперво въ пріязнь...

— Для какой же надобности?—спросилъ одинъ изъ слушателей.

— Для какой?—переспросилъ Дергачъ.—А вотъ, къ примѣру, для какой. Грѣхомъ-то человѣка поклепать недолго, да боязно: обмолвишься ты, а какъ занапрасно, тогда што, а?.. Не лиха бѣда, братъ, комокъ грязи въ парня бросить, а лиха бѣда его смыть!.. Вотъ для чего я и побратался съ Данилкой, штобъ ужъ въ точности дознать это дѣло. Ну, и дозна-а-алъ. Сколь онъ ни былъ сторожекъ, а однова это подъ хмѣлькомъ промолвился, што ему-де фо-ортитъ здѣсь, и работа, молъ, самая легкая, только во-время, говоритъ, на ушко шепни... Хорошо-о-о... Намъ, говорю, милый, только это и требовалось!.. И сыгралъ же я съ нимъ штуку. Суди меня только Богъ по вторитель-

номъ пришествіи. Каюсь!.. Подошелъ это къ промыслу какъ-то спиртоносъ *); купилъ я у него бутылокъ пять спирту, пронесъ ихъ на пріискъ, да ночью-то и угости мою Кукушечку до безчувствія. Когда ужъ онъ потерялъ это память-то, облилъ я его спиртомъ и зажги-и-и... Пока это тамъ спохватились да затушили, а ужъ дѣло-то было сдѣлано...

— Померъ?—почти въ голосъ спросили слушатели.

— Нѣтъ. Никакъ съ мѣсяцъ исшо жилъ! Передъ смертью-то, когды ужъ, значитъ, худо ему стало, и изними меня, други, тоска... Такая-то, говорю, болѣзнь засосала, што жизти сталъ не радъ. Пошелъ это однова въ лазаретъ, гдѣ лежалъ онъ, и говорю: „Ну, Данило, хошь—выдавай меня головой, не хошь—какъ хошь, твоя власть-воля, а только нѣту моей силы терпѣть, видя твою муку... Каюсь, прости меня, окаяннаго, што загубилъ тебя: мое энто дѣло!..“ Што-жъ вѣдь, братцы: горючими облился мой Данилушка, да и говоритъ: „Вы-то, говоритъ, други, простите меня, окаяннаго, што видя, говоритъ, ваше утягченіе, ради алшности принялъ на душу грѣхъ и продалъ васъ, какъ Іуда...“ Такъ меня, други, слеза прошибла въ тѣ поры, не таюсь; а отъ роду, слышь, не плакалъ...

— И не доказалъ?

— Такъ и унесъ, сердешный, мое слово въ могилу! — вздохнувъ, закончилъ Дергачъ.—И жалко мнѣ, братцы, было его, судите!.. Ужъ лучше бъ ему бока встряхнуть, право... Энто и нонѣ въ ину нору вспомню, такъ даже ужасть заберетъ. Ужъ это я завсегда свѣчу Миколѣ угоднику ставлю, за поминъ души его... Ну, никто, какъ самъ онъ, причина. Украдь, — нѣтъ тебѣ грѣха, ей-богу. И нашего вѣдь брата не балуютъ, дочиста обираютъ на каждомъ, почесть, шагу; но продать своего брата, надѣть на него вотъ такую участь,— энто, милые, послѣднее дѣло. Энтакой человѣкъ хуже душегубца, хуже ни вѣсть чего.

— Ху-уже!.. Энтакихъ учить надоть, и жалѣть нечего!—пронеслось среди слушателей.

— Учи-и-ить!.. И другому штобъ неповадно было, — произнесъ Дергачъ.—Ну, я-бъ вотъ и вашего-то докащика,—обратился онъ къ Афанасію,—тоже на спирту бы поджа-а-арилъ, ужъ такъ бы онъ не ушелъ отъ меня. Ужъ, можетъ, я и каялся бы опосля, а ужъ его бы

---

*) Спиртоносами называются люди, которые, тайнымъ образомъ, открываютъ по близости золотыхъ пріисковъ торговлю виномъ и спиртомъ, рискуя ежеминутно быть пойманными пріисковою администраціею и преданными суду, такъ какъ торговля спиртными напитками на пріискахъ и по близости пріисковъ строго воспрещается. Иногда спиртоносы группируются въ артели и охватываютъ пріиски, какъ сѣтью, и тогда уследить за ними трудно.

поучилъ.—Чего-жъ ты, скорбная голова твоя... какъ о себѣ-то полагашь теперь?—спросилъ онъ Афанасія послѣ минутнаго молчанія.—Деньги-то есть у тебя, а?

— Деньги? Да што, милый, рубля-то три никакъ осталось,—отвѣтилъ онъ, шаря рукою за рубахой.—Съ нріиска-то исшо кое-какъ вышелъ, а далѣ-то не могъ ужъ идти, подводу взялъ. Здѣсь теперича прохарчился. Велики-ли деньги двадцать семь рублевъ,—носуди,—сказалъ онъ.

— Горе, парень!—вздохнувъ, произнесъ Дергачъ.

— Какъ не горе... Съ полка ногъ-то спустить не могу, вотъ какъ убился!.. Полагаю исшо, что Господь пристанетъ, можетъ и отлежусь, дойду какъ ни на есть.

— Ну-ка, братцы,—заворотивъ полу своей рубахи въ родѣ кисета, произнесъ Изотъ, поднявшись съ кадушки, на которой все время сидѣлъ въ какой-то грустной задумчивости.—Сгребай Христову копну... Клади рубь, клади денежку, у Бога все зачтется!—говорилъ онъ, обходя рабочихъ.

Молча вынимали рабочіе изъ кармановъ деньги и клали ихъ въ этотъ импровизированный кисетъ. Иные снимали сапоги и, разматывая онучи, доставали изъ нихъ асигнаціи, другой вынималъ кредитки изъ агашника у портовъ.

Все время пока шелъ сборъ, Афанасій, неподвижно сидя на полкѣ, крестился и плакалъ. „Дай вамъ, Господи, братцы, да пошли вамъ, Творецъ небесный!“ шепталъ онъ. Молча подалъ ему Изотъ довольно толстую пачку денегъ и, глубоко вздохнувъ, сѣлъ около Дергача, обхвативъ свою голову руками. Рабочіе также молчали, понуривъ глаза въ землю...

Утромъ, чуть свѣтъ, старикъ Плѣшковъ заложилъ въ телѣгу пару лошадей и, набросавъ въ нее сѣна, разостлалъ на немъ потникъ. Двое рабочихъ подъ руки вывели изъ избы Афанасія, на которомъ надѣта была новая шуба, и усадили его въ телѣгу. Когда все было готово, Афанасій снялъ шапку, перекрестился и поклонился на всѣ стороны провожавшимъ его рабочимъ.

— Пошли вамъ, Господи, здоровья, братцы, и всякаго талану... да подай вамъ, Господи, за ваше неоставленье!— говорилъ онъ, утирая катившіяся по щекамъ слезы.

— Ну, прощай... подь съ Богомъ... Трогай!—крикнулъ Дергачъ и махнулъ рукой. Телѣга тронулась, и рабочіе, кучкой выйдя за ворота, долго глядѣли ей вслѣдъ и долго видѣли они, какъ Афанасій осѣнялъ свою наболѣвшую грудь широкими крестами.

Въ тѣсной избѣ, вдоль тесовыхъ стѣнъ которой шли широкія лавки, въ переднемъ углу, около стола, сидѣло человѣкъ пять рабочихъ, повидимому, только-что кончившихъ обѣдъ. На столѣ, накрытомъ грубою синею скатертью, стоялъ деревянный, засаленный лотокъ съ остатками мелко искрошеннаго мяса и валялись куски хлѣба и крошки. Пожилая женщина, одѣтая въ свѣтлое ситцевое платье, въ темной шелковой косынкѣ на головѣ, хлопотливо собирала со стола деревянныя ложки и тарелки, сгребла въ большую сѣльницу, наполненную засохшими кусками и корками хлѣба, оставшіяся на столѣ хлѣбныя крошки, и, снявъ со стола скатерть, отряхнула ее и повѣсила у притолоки печи для просушки. Не смотря на то, что окна въ избѣ, выходившія въ огородъ, обнесенный плетнемъ, были раскрыты настежъ, въ избѣ было нестерпимо душно отъ жарко-натопленной печи. Стѣны и потолокъ были густо усѣяны мухами, рои которыхъ съ жужжаніемъ носились по избѣ, облѣпляя висѣвшую въ переднемъ углу икону и лубочные портреты генераловъ, которыми были увѣшаны стѣны. Разобрать черты этихъ почтенныхъ воиновъ было очень трудно—до того они были засижены мухами, и, судя по скопившимся на нихъ остаткамъ отъ мухъ, можно было заключить, что портреты были давно пріобрѣтены хозяиномъ этой избы, Маркомъ Антоновичемъ Лубновымъ.

Маркъ Антоновичъ, одѣтый въ пеструю ситцевую рубаху, воротъ которой былъ растегнутъ, стоялъ у печи, опершись лѣвой рукой о притолоку. Онъ только-что возвратился домой и выпрягъ тройку изъ кованной телѣжки, на которой катались по селу рабочіе изъ партіи, недавно вышедшей съ пріисковъ. По наблюденію жены его, Степаниды Ивановны, онъ былъ не въ духѣ: ноздри его широко раздувались, что обыкновенно дѣлалось съ нимъ тогда только, когда онъ находился въ раздраженномъ состояніи, а углы губъ судорожно подергивались, особенно во время разговора. Маркъ Антоновичъ уже нѣсколько дней ходилъ, какъ говорится, самъ не свой. Оно и было отчего: приставшіе къ нему на квартиру рабочіе, какъ онъ замѣтилъ, давно прожились. Это легко было заключить изъ того, что они по цѣлымъ днямъ просиживали въ избѣ или спали, или выходили и усаживались на завалинку около дома, забавляясь невинною игрою въ четъ и нечетъ. Въ другое время Маркъ Антоновичъ не только не сокрушался бы отъ того, что судьба послала ему скромныхъ жильцовъ, а, пожалуй, даже радовался бы. Но видя, что рабочіе изъ вновь прибывающихъ партій далеко богаче и тароватѣе на подарки и расплату, видя, что сосѣди его, пользуясь широкимъ разгуломъ ихъ, загребали деньги, какъ говорится, обѣими руками, Маркъ Антоновичъ проникся завистью къ

этимъ счастливцамъ и злобою на своихъ скромныхъ жильцовъ, которые, занимая у него квартиру, лишали его возможности имѣть другихъ, болѣе выгодныхъ квартирантовъ. Онъ нѣсколько разъ уже намекалъ своимъ жильцамъ, что имъ „пора бы и по домамъ идти!“ Не далѣе, какъ вчера еще, онъ не выдержалъ и рѣзко заявилъ имъ, что „отъ этакой шушеры, какъ они, хозяевамъ не доходъ, а убытокъ!“ Но каждый разъ недогадливые жильцы или отмалчивались, или отшучивались отъ его выходокъ въ не менѣе рѣзкой формѣ.

Степанида Ивановна вполнѣ раздѣляла мнѣніе своего супруга, что коли они будутъ держать такихъ жильцовъ, отъ которыхъ никогда ничѣмъ не поживишься, такъ они и вѣкъ свой изживутъ въ этой избѣ, тогда какъ другіе на ихъ глазахъ будутъ обстраиваться, набивать карманы да подсмѣиваться надъ ихъ простотой. Съ женской находчивостью она прибѣгла къ иной системѣ выживанія „неразгульной шушеры“. Еще нѣсколько дней тому назадъ ухаживавшая за гостями съ любезною предупредительностью, она вдругъ, какъ говорится, „надула губы“: по цѣлымъ днямъ не говорила съ ними ни слова, и жильцы, имѣвшіе до этого за обѣдомъ и ужиномъ свѣжую свинину, жареныхъ гусей и сычуги, начиненные саломъ и гречневою кашей, другой или третій день уже кушали пустые щи, чуть-чуть подбѣленныя сметаной, остатки говядины отъ стараго варева да снятое молоко.

Убравъ со стола, Степанида Ивановна присѣла на лавку противъ печки и, подперши щеку лѣвой рукой, тоскливо посматривала въ окно на гряды изъ-подъ выкопаннаго картофеля и на поблекшую мякину гороха, забывъ по разсѣянности принести квасу, хотя жильцы уже нѣсколько разъ напоминали ей объ немъ.

— Што-жъ разгуляться не идете, господа? — спросилъ Маркъ Антоновичъ, придавая своему голосу по возможности мягкое выраженіе.—Погодка хорошая; поглядѣли бы, по крайности, какъ добрые люди прохлаждаются, коли самимъ-то ужъ не на што,—язвительно замѣтилъ онъ.—Вотъ сорокъ семой годъ на свѣтѣ живу, а экой гульбы, какъ нонѣ щ—іе рабочіе развернулись, не вида-алъ!.. И щедры же...

— Щедры?—переспросилъ, сплюнувъ на сторону, одинъ изъ рабочихъ, пожилой человѣкъ, съ широкимъ шрамомъ, пересѣкавшимъ правую щеку.

— Ще-е-едры!.. Много-ли каталъ ихъ? Поди часу не будетъ, а десять рублевъ, братецъ, выдали, а виномъ такъ хошь захлебнись, ей-богу! Гляди-ко, какой мнѣ кушакъ подарили да рукавицы!—говорилъ онъ, снимая съ полатей и показывая слушателямъ алый шелковый кушакъ и черныя замшевыя перчатки.

— Вонъ какъ добрые-то люди жертвуютъ!—произнесла какъ бы про себя Степанида Ивановна, продолжая осматривать огородныя гряды.

— Экимъ и служить-то, говорю, сердце лежитъ! — произнесъ и Маркъ Антонычъ, принимая обратно кушакъ и перчатки, когда рабочіе осмотрѣли ихъ, а иные даже примѣрили перчатки на свои руки.

— Ужъ экимъ жильцамъ не плеснулъ бы, братъ, пустыхъ щей въ чашку, нѣ-ѣ-ѣтъ!—съ ироніей протянулъ пожилой рабочій, длинная волнистая борода котораго могла бы служить образцомъ для художника при воспроизведеніи какого-нибудь библейскаго патріарха.—Экіе жильцы не то, што мы грѣшные: чего ни дай, все жуемъ, хотя тѣ же денежки платимъ.

— Немного мы еще видѣли, Матвѣй Федорычъ, какими деньгами карманы-то твои удручены!—отвѣтилъ ему Маркъ Антонычъ.

— До время-то и глядѣть на нихъ не приводится, а то еще, не ровенъ часъ, такъ на нихъ зазришься, што и волосъ вспыхнетъ, а онъ у тебя и то ужъ чуть не полымемъ горитъ!—съ ироніей отвѣтилъ Матвѣй Федоровичъ, намекая на рыжій цвѣтъ волосъ на головѣ и бородѣ Марка Антоновича.

— Э-эхъ, Маркъ, далъ ты маху!—прервалъ Матвѣя Федоровича сравнительно еще молодой, красивый рабочій, плутоватые сѣрые глаза котораго никакъ не могли сосредоточиться на одномъ предметѣ, а поминутно бѣгали по сторонамъ, точно на проволокѣ.

— Далъ, милой, и самъ теперь вижу!..

— Промахнулся, и я скажу. Это коли бы ежели я фатеру держалъ, да не приголубилъ бы къ себѣ жильца, у коего не токмо карманы, душу хоть вывороти, такъ онъ не услышитъ, такъ не я бы былъ,— лопнуть! Это жить въ экомъ притоманномъ мѣстѣ, какъ ваше село, около нашего брата—всесвѣтныхъ работничковъ, да жаться въ избѣ, какъ твоя, гдѣ коли ноги протянешь, такъ голова увязнетъ, а голову выкрутишь, такъ ногѣ мѣста не найдешь... про-оваллился-бъ! На людей-то бы со стыда не глядѣлъ, ей-богу!—заключилъ онъ, махнувъ рукой.

— Немало смѣются надъ простотой-то нашей, Иванъ Парменычъ!—отозвалась Степанида Ивановна, попрежнему оглядывая поблекшую мякину гороха на грядахъ.—День-то деньской настанетъ— голова кругомъ пойдетъ: того напеки да другого нажарь, а благодарности-то, видно, не жди!

— Захотѣла ты, Степанида Ивановна, отъ оголтѣлыхъ, какъ мы, доброе слово услышать! — смѣясь, отвѣтилъ ей Иванъ Парменычъ.—

*

Да я бы на вашемъ мѣстѣ давно экихъ жильцовъ безъ богородской травы изъ избы выкурилъ *).

— Доводится, милый!.. Спасибо, што указалъ!—замѣтилъ Маркъ Антонычъ.

— А штобъ не срамиться, я и разсчитываться бы съ ними не сталъ, ей-богу.

— А-а! Гляди-ко, богачъ какой!.. Насколько бы у тебя ни напили, ни наѣли, а ты бы только поклонился имъ вслѣдъ: благодаримъ-де покорно, што не обошли моей избы, а-а? — съ злою улыбкой спросилъ Маркъ Антонычъ.

— И кланяться бы не сталъ, а на-просто дверь бы заперъ за ними и все тутъ... Это штобъ съ шушерой мараться, расчету отъ нея ждать, когда я, можетъ, сотеннаго жильца изъ рукъ упущаю, а-а? И ни въ жизть! Анбиціей бы одной не попустился, ей-богу!—съ серьезнымъ воодушевленіемъ говорилъ Иванъ Парменычъ, хотя насмѣшливые глаза его такъ и ныряли отъ одного собесѣдника къ другому. — Ты вотъ спроси хошь у дяди Матвѣя, какъ мы въ запрошломъ году на фатерѣ у Максима Болдырева стояли и такъ же вотъ зажились, какъ и у тебя теперь: поджидали довѣреннаго съ Б—хъ промысловъ... Избеночка-то у него тѣсная, самъ знаешь, какая. А къ нему и наверись въ ту пору жилецъ-то во-отъ какой тузъ, карманъ-то въ три обхвата, да и то исшо надставка требовалась. Ну, Максимка-то и говоритъ намъ: подьте-ко, говоритъ, съ Богомъ, молодцы, не тѣсните избы-то; чего, говоритъ, и взять-то съ васъ! Во-отъ такъ хозяинъ!.. Мы такъ и ушли по его слову безъ расчету, а его опосля какъ Господь усчастливилъ-то, а? Молодца-то онъ этого никакъ сотенъ на пять нагрѣлъ... Слышалъ?

— Слышу!

— Вотъ какъ Господь платитъ тому, кто за малымъ-то не гонится, а норовитъ гдѣ побольше сорвать. А то што мы! Какіе жильцы! Велики-ли наши достатки!? Ни мы разгуляться, ни мы гостей привесть, отъ коихъ бы на харчи хозяевамъ сошлось. Самое пропащее дѣло вязаться съ голью.

— Слушаю я тебя, Иванъ Парменычъ, да ума набираюсь,—произнесъ ноблѣднѣвшій Маркъ Антоновичъ, губы котораго судорожно кривились при послѣднихъ насмѣшливыхъ словахъ Ивана Парме-

*) Въ нѣкоторыхъ деревняхъ въ Сибири крестьяне имѣютъ обыкновеніе въ крещенскій сочельникъ курить въ домахъ такъ-называемою «богородской травой», для изгнанія изъ жилыхъ мѣстъ нечистой силы. Этою же травою окуриваютъ и отелившихся коровъ.

ныча. — И то, говорю, за добра-ума уходите-ка вы отъ меня съ Богомъ... только напредь разочтитесь.

— Ма-аркъ Антонычъ!—укоризненно отвѣтилъ Иванъ.—Неужъ ты срамоту экую на себя примешь,—станешь разсчитываться съ нами, а?

— Приму, сизый! Не изъ тѣхъ, што даромъ поятъ, кормятъ вашего брата.

— Примали ужъ срамоты-то! — вступилась и Степанида Ивановна.—Чего срамнѣй, какъ ономнясь Матвѣй-то Федорычъ ввалилъ въ избу весь-то въ добрѣ... тьфу ты, прости Господи, и вымолвить-то тошно!—произнесла она, сплюнувъ.—Почесть, до полночи ходила за нимъ, подтирала да подмывала.

— Отблагодарствовали, кажись бы, немало за энтотъ случай, Степанида Ивановна, — конфузливо отозвался Матвѣй Федорычъ, тряхнувъ своей волнистой бородой.

— Чѣмъ это отблагодарствовалъ, ну-ко? — спросила она, вскочивъ со скамьи, какъ ужаленная.

— Платъ-то, помнится, што подарилъ тебѣ, рубль семь гривенъ заплаченъ: де-е-еньги...

— Пла-а-атъ! — презрительно протянула она. — Да знатье бы, такъ я и близко-то васъ къ воротамъ дома не подпустила, не токмо штобъ на фатеру принять!—взвизгнула она.—Гляди-ко, какой подарокъ сдѣлалъ, — платъ: замѣсто половика-то постлать, такъ совѣсть возьметъ! Пла-а-атъ... тьфу ты, безстыжіе твои глаза! — съ сердцемъ сплюнувъ, говорила она.—Мнѣ въ прошломъ году Кудряшовъ, Сила Макарычъ за то, што я подмывала да подтирала за нимъ, на платье подарилъ, пятнадцать рублевъ за кусокъ-то далъ, да серьги рублевъ въ десять, да косынку шелковую. Вотъ какъ добрые люди за безпокойство-то жертвуютъ, безсовѣстный! А то платъ,—тьфу, ты прости Господи!—снова сплюнувъ, крикнула она.—Ты, Марко, пущалъ ихъ на фатеру, ты и ходи за ними, и стряпай на нихъ, а я имъ не послуга болѣ!—крикнула она мужу, выходя изъ избы и съ сердцемъ хлопнувъ дверями.

— Э-эхъ, дядя Матвѣй, дядя Матвѣй!—укоризненно качая головой, произнесъ Иванъ Парменычъ по уходѣ Степаниды Ивановны,—борода-то у тебя, какъ и волосъ у бабы, длиннѣй ума, пра-а-аво! Экую персону да обидѣть подаркомъ въ рубь семь гривенъ, а-а?.. Ну, статочное-ли это дѣло! И жильцы же подобрались, ай-ай!..

— Вотъ чего, господа честные, скажу я вамъ, — прервалъ его Маркъ Антонычъ, приперевъ отошедшую дверь и садясь на лавку.—Любя мы сошлись, любя и разойдемся.

— Извѣстное дѣло, Маркъ Антонычъ; я даже хоть сичасъ, такъ съ радостью, потому отъ энтихъ пустыхъ щей твоихъ чувствую большую для себя истому.

— Хорошая-то ѣда, милый, за хорошія деньги варится!

— Извѣстно, это чего говорить, мы и не ропчемъ! Намъ вѣдь нонѣ, Маркъ Антонычъ, сказать-ли тебѣ, какими асигнаціями плату-то отпустили?..

— Разочтетесь, такъ увидимъ.

— Глядѣть-то будетъ не на што, вотъ вѣдь какая бѣда.

— А-а... рваныя нешто?

— И то бы не лихое дѣло. Невидимки!.. Посторонній глазъ ни за што ихъ не примѣтитъ, точно будто и нѣтъ ихъ въ карманѣ-то, ей-богу... вѣрь!

— А-а-ахъ, ты, точеная баляса!—произнесъ, разразившись громкимъ смѣхомъ, рабочій со шрамомъ на щекѣ, коему вторилъ и дядя Матвѣй, и всѣ остальные.—Ну, Маркъ, протури ты его поскорѣе отселева, а то и безъ того животъ-то съ твоей ѣды надорванъ, да еще со смѣху-то растрясешь его, такъ чего же будетъ? Одно утрудненье Степанидѣ Ивановнѣ.

— Вы не глумитесь, молодцы, слышите!—остановилъ ихъ Маркъ Антоновичъ, сверкнувъ своими сѣрыми глазами.—Поглумиться-то я захочу, такъ покрѣпче словомъ-то ушибу... знай! Пустыя щи животъ, вишь тебѣ, надорвали, а ты спросилъ бы, стоишь-ли ты еще путныхъ-то щей?

— Стоимъ! Мы-ль не молодцы, а? Одной бородой дяди Матвѣя всю твою избу замѣсто кровли застелемъ! — отозвался Иванъ Парменычъ при дружномъ хохотѣ своихъ сотоварищей.

— Стоишь, хе! Бородой-то одной и взяли, а болѣ-то нечѣмъ, видать... Въ чемъ энта твоя-то стоимость, изъ чего видна?

— Изъ кармана.

— Покажь, разсѣй сумнѣніе, и я тебѣ сейчасъ цѣлую свинью сварю.

— Э-эхъ, Степаниды-то Ивановны нѣтъ, а то бы показалъ ей въ утѣшеніе!—произнесъ Иванъ Парменычъ, слова котораго снова были покрыты раскатистымъ хохотомъ его сотоварищей. — Ужъ поѣли бы щецъ со свининкой.

— Иванъ! — строго остановилъ его Маркъ Антоновичъ. — Ты мнѣ экихъ словъ не мечи! Смотри... я крѣпокъ, смолчу, да до время... знай!

— Скрѣпись, милый; не по сердцу слово—што дымокъ изъ трубы:

вылетѣлъ и нѣтъ его; вѣдь ты же крѣпился, видя худыя-то дѣла: ничего, Богъ миловалъ!

— Какія такія худыя дѣла я видѣлъ, укажи.

— Эхъ, Маркъ Антонычъ! Не я бы говорилъ, не ты бы слушалъ. Неужъ ты молоденецъ, — полагашь, што наша братья платья-то да серьги даритъ за подтирку? Э-эхъ! Да и это тоже не шибко, братъ, хорошее дѣло— обижать насъ. Ужъ кто мы? И людьми-то обйдены, и Богомъ забыты... одно слово—слезопромыватели... И насъ-то это пустыми щами да съемнымъ молочкомъ продовольствовать! Грѣ-ѣ-ѣхъ... право, грѣхъ! Ну, какой же мы расчетъ опосля этакаго обращенья съ нами дадимъ тебѣ, а? По гривнѣ за день развѣ,—одно.

— Пустыя-то щи ты когда ѣлъ, скажи-ко?

— Сегодня утруждались ими, и вчера, не въ укоръ Господу, съ тѣхъ же яствъ голодали.

— А раньше-то чего ты ѣлъ?

— Раньше-то, благодаренье Богу и хозяевамъ, сыты были, клспать занапрасно не буду.

— Сытъ былъ?..

— Доволенъ! Одной энтой отрыжкой, какъ гуслей, публику утѣшалъ... забавлялись.

— И за энто довольство по гривенкѣ взять съ тебя, а?

— Избави Господи обидѣть! За хорошую ѣду мы въ день по рублику съ поклономъ съ человѣка кладемъ и сдачи не спросимъ!

— А мы считаемъ по три рубля, Иванъ Парменычъ, не погнѣви.

— А-а-а!.. Ну, ужъ это будетъ никакъ жирнѣе тѣхъ щей, какими ты кормилъ насъ, Маркъ Антонычъ! Энто што же ты хочешь взять съ насъ, а? Пришли-то мы къ тебѣ въ понедѣльникъ, на другой день Покрова, а сегодня у насъ галка на шестѣ выкрикивала тринадцатое число. Пятокъ поперекъ субботы легъ, какъ добры-то люди говорятъ. Такъ стало быть тринадцать дней... Энто... энто... Што-жъ, по твоему счету, какую сумму тебѣ изъ кармана-то выложить?

— Сто девяносто пять рубликовъ!

— Это съ пятерыхъ-то? Ничего-о-о!.. Оно хошь бы и не слыхать, такъ въ ту же пору,—отозвался старикъ Матвѣй.—Не даромъ же ты похвалялся, што своимъ-то словомъ крѣпче нашего ушибешь. Уши-и-ибъ! Сто девяносто пять рубликовъ, а? Неужъ это каждый изъ насъ наѣлъ и напилъ у тебя на три рубля въ день, а?

— Да я первой, какъ пришелъ къ тебѣ, такъ ѣлъ-ли у тебя хошь съ недѣлю, а?—спросилъ, насупивъ брови, рабочій со шрамомъ на щекѣ.

— А хошь бы ты и однова не ѣлъ у меня, по мнѣ это все равно,—

спокойно отозвался Маркъ Антонычъ, снова поднявшись со скамьи и опершись лѣвой рукой о притолоку печи. — Мнѣ только денежки подай, невидимки-то свои покажи.

— За што же казать-то ихъ тебѣ? Объяви на-перво.

— За безпокойство! Ѣлъ ты, аль не ѣлъ,—это особъ статья, а мы тратились, пекли, варили, жарили, а для кого, а?

— А чего ты пекъ, варилъ да жарилъ? Ты болѣ другихъ самъ-то ѣлъ.

— Ѣлъ, што-жъ изъ эфтаго... не собакамъ же выкидывать.

— А мы плати за твое удовольство?

— Плати!

— За то, што ты за наше здоровье скусно ѣлъ.

— Хоша бы и за это, а все плати!.. Ты ѣшь не ѣшь, а мы на всякій разъ будь на готовѣ, запасай для тебя... Понимаешь ты этотъ расчетъ, умная голова, аль нѣтъ?.. Ты вотъ, можетъ, въ полночь ввалишь въ избу-то, да исшо съ гостями вдобавокъ, и закричишь: подавай всѣмъ намъ ѣсть... Должонъ я угодить своему жильцу, аль нѣтъ— угостить его званыхъ, а-а?..

— Должонъ!..

— А а... Тутъ такъ должонъ!.. Стало быть у меня завсегда должно быть все на готовѣ. Вы вотъ, какъ пристали на фатеру-то, ѣли не ѣли, а я за это время двѣ свиньи освѣжевалъ... Онѣ бы теперь ходили, сердешныя, да похрюкивали, а я ихъ въ жертву вашему мамону принесъ... А въ теперешнюю пору ты свиньи-то на селѣ и за пятьдесятъ рублевъ не купишь, потому всякій бережетъ ее про свой обиходъ, — знаешь ты это, аль нѣтъ?.. А што мнѣ за дѣло, ѣлъ ты ихъ, аль не ѣлъ?.. Троихъ гусей заклалъ, и все это для вашего чрева; сычуговъ однихъ сколь перекупилъ. А масла-то развѣ мало извели на блины да оладьи вамъ, а?.. Тебѣ вотъ пустыхъ-то щей дашь, такъ ты до дыръ языкъ-то свой источишь, глумясь надъ ними... Подавай тебѣ все жирное да скусное, а платить пора придетъ, такъ вмѣсто рублей-то одни прибауточки мечете!.. Нѣ-ѣтъ... Любишь ѣсть, такъ люби и платить... Мы вотъ избу-то нажаривали для васъ—дохнуть не въ мочь, а што мнѣ за дѣло, спишь ты въ ней, аль нѣтъ?.. Я тепло-то для тебя припасаю... Вотъ и плати за весь энтотъ расходъ да безпокойство. Кто-то изъ васъ вонъ мису фаянсову хряснулъ, а я мису-то въ городѣ покупалъ, два рубля далъ за нее, и заплати!.. А энто вы во што почтете, въ какую цѣну: ты вотъ спишь и ногъ подъ собой не слышишь, а я всю ночь хожу, какъ шальной, стерегу васъ...

— Отъ какой же напасти?—спросилъ старикъ Матвѣй.

— Отъ всякой!.. Мало-ли какой грѣхъ можетъ быть... Народъ-то вы тоже со всячинкой, мастера на всѣ руки... У тебя вотъ, можетъ, деньги пропадутъ, свой же братъ тебя обчиститъ, а ты поклепъ-то на хозяина положишь... Вотъ и стерегъ...

— А-а!.. вишь ты какой добрый!—съ ироніей замѣтилъ Иванъ Парменычъ.—Ну, и счетъ—длиннѣй семисотной версты *). А за сапоги-то, што трепалъ, ходивши на караулѣ, тоже платить тебѣ? — спросилъ онъ.

— За што не слѣдъ, за то не спрашиваю!.. А за энто вотъ заплати по-особицѣ, што ты ономнясь непотребство въ избѣ завелъ... Срамоты-то тоже немало было для нашего чувства. Мы съ женой-то въ законѣ живемъ, взирать-то на экое озорство даромъ не приходится...

— За отводъ-то глазъ, стало-быть, сколь же заплатить тебѣ?..

— Три рубля!..

— А за поношенье чувства?..

— Поношенье-то ужъ мы на себя принаемъ: наше дѣло такое,— около сажи ходить да пачкаться,—язвительно замѣтилъ Маркъ Антонычъ.—Такъ вотъ теперича покажите ко свои-то невидимки, да и подите съ Богомъ на другую фатеру, гдѣ посытнѣй кормятъ... На томъ и разговоръ покончимъ...

— Кваску бы вотъ, Маркъ, далъ ты намъ испить на-перво,— сказалъ Иванъ Парменычъ.

— Не варили еще, голубь... Вотъ подайте-ко расчетъ, такъ сбѣгаю, куплю ведерко, куда ни шло, потрачусь... угощу съ радости...

— Ну, и мужи-и-икъ же ты, Маркъ!—протянулъ старикъ Матвѣй, потряхивая своей волнистой бородой. — Это по нашимъ бы мѣстамъ если бы экой выискался, какъ ты, такъ знашь, чего бы ему было отъ обчества, а-а?

— Скажи, такъ узнаю...

— Поѣдомъ бы съѣли, со свѣту бы сжили тебя за энто скопидомство...

— А-а... гляди-жъ, какой обиходъ въ вашихъ мѣстахъ заведенъ!— съ ироніей отвѣтилъ ему Маркъ Антонычъ. — У насъ энтаго нѣтъ; у насъ, милый, народъ-то попросту живетъ, энтакихъ порядковъ не заводитъ!.. То-то изъ вашихъ мѣстовъ и валятъ все больше на промысла-то: видать, съ добродѣтели-то брюхо не пучитъ, а-а?..

— Совѣсть зато, милый, не зазритъ... знай...

---

*) Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Сибири до настоящаго времени еще сохранились старыя версты въ 700 саженъ, и ямщики нерѣдко обманываютъ неопытныхъ путниковъ, разсчитывая дорогу по старой верстѣ.

— А-а-а...

— Чиста!.. — ударивъ себя въ грудь кулакомъ, воскликнулъ дядя Матвѣй.

— Гляди-жъ!.. Ну, извѣстное дѣло, што съ чистой совѣстью куда вольготнѣй на свѣтѣ жить; ужъ гдѣ же въ эфтихъ дѣлахъ нашему мужику равняться съ вами. А чего жъ у васъ и въ карманахъ-то такъ же чисто, какъ на совѣсти, а-а-а?—улыбаясь, спросилъ онъ.

— Чисто... не грузно... таить правды не буду! — покраснѣвъ и замявшись, отвѣтилъ ему Матвѣй. — Зато мы, Маркъ, завсегда можемъ предъ Богомъ отвѣтъ держать!

— Житье-е-е!.. какъ не позавидуешь вамъ, право!—насмѣшливо качая головой, заговорилъ Маркъ Антонычъ.—Нѣтъ, милый, у насъ народъ проще живетъ, куды какъ проще супротивъ вашего... У насъ о совѣсти-то энтой и попеченья не кладутъ, потому, сказываютъ, што хлѣбъ-то на деньги продаютъ, а на совѣсть-то его не вѣшаютъ... Ну, и точно, чего сказать, по нашимъ мѣстамъ всѣ грѣшны передъ Богомъ, ужъ праведнаго не сыщешь... Поэнтому самому у насъ и щи то приправляютъ не молитвой, какъ у васъ, а мясомъ... Такъ и живемъ вотъ всѣ во грѣхѣ, полегоньку, не мотая слезъ на кулакъ, а праведныхъ—и-и-и... не ищи лучче, въ заводѣ нѣтъ... Такъ чего-жъ, распоясывайтесь, кажите невидимки-то ваши, и кваскомъ угощу! — съ ироніей закончилъ онъ.

Въ избѣ на минуту воцарилась глубокая тишина, прерываемая только жужжаніемъ летающихъ мухъ. Рабочій со шрамомъ на щекѣ молча переминалъ пальцами правой руки табакъ, насыпанный на ладонь лѣвой, и, набивъ имъ коротенькую трубочку, взялъ чубукъ въ зубы и сталъ вырубать огонь. Иванъ Парменычъ пристально наблюдалъ за вылетающими изъ кремня искрами, точно будто подобная процедура въ первый разъ происходила передъ его глазами. Одинъ только дядя Матвѣй, глубоко вздыхая, порою поглаживалъ свою волнистую бороду да пытливо поглядывалъ на двухъ своихъ молчаливыхъ сотоварищей, молодыхъ еще парней, повидимому, сильно робѣвшихъ передъ такими авторитетами, какъ Иванъ Парменычъ, рабочій со шрамомъ на щекѣ и самъ дядя Матвѣй.

— Што-жъ вы, молодцы, примолкли, а?—насмѣшливо спросилъ Маркъ Антонычъ. — Надѣвать сапоги-то бѣжать за квасомъ, аль нѣтъ?—улыбаясь, спросилъ онъ.

— Ужъ коли сапоги надѣвать, такъ лучше по водочку!—отвѣтилъ ему Иванъ Парменычъ.

— Обжечь штобы глоточку... Што-жъ, можно и за энтой при-

чиной сходить, — недалеко; только ужъ допрежъ расчетъ подайте, а то потомъ съ вами и не сообразишь, добры молодцы... Мы ужъ въ энтихъ передѣлахъ-то бывали, стережемся оныхъ!..

— Бывалъ таки?.. — пустивъ струю табачнаго дыма, спросилъ рабочій со шрамомъ.

— Около васъ-то потрешься — всего испробуешь! — отвѣтилъ Маркъ Антоновичъ.—А вотъ подайте-ко мнѣ теперича честнымъ манеромъ двѣсти рубликовъ.

— Двѣсти?—прервалъ его рабочій со шрамомъ.

— Двѣсти! — повторилъ Маркъ Антонычъ. — Потомъ, благословясь, мы выпьемъ по стаканчику, да по доброму слову и на разстань пойдемъ.

— А ежели мы не хочемъ идти, ежели намъ не время, — тогды какъ?— спросилъ Иванъ Парменычъ.

— Выволочемъ!..

— Выволочешь?—переспросилъ онъ, въ упоръ глядя на него.

— Такъ точно... У насъ это коротко дѣлается: позовемъ старосту, кликнемъ народъ, да коли путемъ со двора не пойдешь, такъ и за вихры полегонечку изъ избы выволочемъ! А только, молодцы, я одно скажу вамъ: надоѣло мнѣ и бабѣ волочиться съ вами; любя сходились, любя и разойдемся; подавайте мнѣ деньги да и подите со Христомъ,—рѣшительно заключилъ Маркъ Антонычъ. —Ко мнѣ жильцы-то почище васъ просятся; отъ нихъ мы настоящій доходъ увидимъ, а отъ экихъ-то, какъ вы, у коихъ и на совѣсти, и въ карманахъ чисто, ослобони Богъ всякаго.

Иванъ Парменычъ и рабочій со шрамомъ на щекѣ, утопавшій въ густыхъ облакахъ табачнаго дыма, молча переглянулись между собой, и по лицу Ивана Парменыча пробѣжала при этомъ лукаво-злобная улыбка.

— Вотъ, Карпъ Сидорычъ, и учи-и-ись, какъ добры-то люди наживаются,—началъ Иванъ Парменычъ.—Гляди и году не пройдетъ, какъ у Карпа новый домъ вырастетъ, а мы то .. э-эхъ!.. хошь бы разъ сплутовать, говорю, Богъ привелъ, штобы добрые люди совѣстью не корили! А што, Мархъ Антонычъ, коли мы тебѣ не дадимъ энтихъ денегъ, а?.. Чего будетъ?—спросилъ онъ, обратившись къ нему.

— Отда-а-ашь!—самоувѣренно протянулъ тотъ.

— Поглядѣть вотъ хочу, какъ ты выволакивать будешь, а?

— Смотри, парень, не скусно покажется.

— Испробую... И пустыя щи не шибко-то скусны, да ѣли; грабежъ-то энтотъ, братъ, тоже мы видывали. Коли бы ты грабилъ исшо,

да въ мѣру... ну, куда бы ни шло, а ты ужъ, милый, сверхъ оной забрался. Потакать вашему брату тоже не доводится. Выволакивай-ко!— произнесъ Иванъ Парменычъ, поднимаясь съ лавки и расправляя свои могучіе члены.

— Оставь, Иванъ! —строго остановилъ его Карпъ Сидорычъ, поднимаясь съ лавки. — Съ хозяевами такъ разставаться не гожо; любя сошлись, любя и разойдемся. Беретъ онъ двѣсти рублевъ — и бери; пей нашъ потъ... Вынимай-ко, братцы, деньги, съ кого сколь слѣдъ.

— Позвольте, Карпъ Сидорычъ!—началъ было дядя Матвѣй.

— Вынимай! — почти крикнулъ ему Карпъ. — Вы, названные сынки, распоясывай-ко кушаки да клади чего доводится,—повелительно обратился онъ къ молодымъ парнямъ, молча сидѣвшимъ на лавкѣ и ухмылявшимся время отъ времени на выходки своихъ старшихъ собратій.

— Такъ-то вотъ лучше, милые!—ласково заговорилъ Маркъ Антонычъ, когда рабочіе, доставъ деньги, стали сводить между собою счетъ.—Вѣдь вы теперича все полагаете, што васъ грабятъ. И... и... Боже мой, сохрани, говорю, Владыко Небесный каждаго отъ энтаго ремесла,—говорилъ онъ, присѣвъ на лавку и жадно оглядывая ассигнаціи, переходившія изъ рукъ въ руки между считавшимися рабочими.—Грабить!—продолжалъ онъ.—Теперича вѣдь, въ эвто время, тебѣ за пятьдесятъ рублевъ никто свинки не продастъ, потому всякій энту живность про свой обиходъ пасетъ... Вѣдь я, милые, по рублю за сычугъ платилъ, — де-е-еньги... а въ другое-то время ихъ тебѣ на гривну пять дадутъ; и судите сами, гдѣ онъ, грабежъ-то, въ чемъ, а-а?.. Единственно убытокъ, если разобрать по суставамъ-то, убытокъ, одно слово...

— Примай нашу жертву!—прервалъ его Карпъ Сидорычъ, подавая ему деньги.

— Покорнѣйше благодаримъ, што безъ спору, безъ слова, по чести отдали. И всякому теперича закажу, што вы люди... то-ись... вотъ какъ предъ Богомъ... безъ сумнѣнія, — говорилъ совершенно растаявшій Маркъ Антонычъ.

— Чисто?—спросилъ его Карпъ, когда онъ пересчиталъ деньги.

— Завсегды бы подавай Богъ такъ получать.

— Доволенъ?

— Ахъ, милые!.. Если бы, говорю, только не попуталъ меня грѣхъ дать слово Матюшкѣ Парвову со щ—хъ промысловъ, што примаю его къ себѣ на фатеру, и не потревожилъ бы васъ, и сумнѣнья бы не питалъ. Ну, грѣхъ попуталъ, не гнѣвите ужъ, молодцы,—говорилъ онъ,

кланяясь имъ. — Чего-жъ, водочки выпьемъ, а-а? — спросилъ онъ заискивающимъ тономъ.

— Неси!.. По чести разочлись, по чести и разстанемся! — отвѣтилъ ему Карпъ Сидорычъ.

Не прошло и полчаса времени, какъ на столѣ появилась четвертная бутыль съ водкой, и плотный, граненый стаканъ уже два раза обошелъ собесѣдниковъ. Настроеніе пирующихъ было, повидимому, самое благодушное.

— Ну, Маркъ, — началъ Карпъ Сидорычъ, когда стаканъ еще разъ обошелъ круговую,—квитъ мы теперь, а?

— И слава тебѣ Господи, други!..— отвѣтилъ замѣтно охмѣлѣвшій Маркъ Антонычъ.

— Владѣй нашимъ добромъ. Пущай оно тебѣ въ прокъ идетъ. Я тебѣ, Маркъ, вотъ чего скажу: будешь ты богатъ, и пошли тебѣ Господи болѣ... Грабь!

— Милый, зачѣмъ энти слова! — укоризненно остановилъ его Маркъ Антонычъ.

— Молчи!..—крикнулъ Карпъ Сидорычъ.

— Ну... ну... смолчу, изволь, потѣшу тебя, смолчу.

— Грабь!.. Мы, Маркъ, какіе люди по твоему соображенью, а?—спросилъ, подсаживаясь къ нему, Карпъ Сидорычъ.

— Какіе мы люди, Маркъ Антонычъ, по-озвольте попытать васъ, ну, будто на прощаньи, на послѣдяхъ-то, по сущей правдѣ? — спросилъ и Иванъ Парменычъ, также подсаживаясь къ нему съ другой стороны.

— Хорошіе люди... Одно скажу всѣмъ и каждому; чистые люди, степенные и въ расчетѣ теперича примѣрные люди, безъ спору, безъ свары, не токма, какъ другіе.

— За што же ты ограбилъ насъ?.. Нешто мы наѣли у тебя на двѣсти рублевъ въ тринадцать-то дней, а?

— За што вы, Маркъ Антонычъ, иго-то это на насъ наложили?— спросилъ и старикъ Матвѣй, также подсаживаясь къ нему.

— А-ахъ, други... други!.. Умные вы люди, всѣмъ и каждому скажу—умные, а нѣтъ въ васъ энтой точки, штобъ разсчитать, какъ оно чего все стоитъ... нѣ-ѣтъ!.. Неужъ мало тревоги и безпокойства съ вами-то, а-а? Да жизть вѣдь въ ину пору проклянешь, а вы говорите—обобралъ...

— Обобралъ!..

— Милые, перекрещуся—не грѣшенъ... Вотъ святитель Микола, угодникъ Божій... да пусть онъ разразитъ меня на мѣстѣ, коли я грѣшенъ въ эфтомъ.

— Воръ ты, Маркъ, это тебѣ и Микола-угодникъ скажетъ.

— Ну... молчу, пущай будетъ по вашему—воръ такъ воръ.

— Грабитель!..

— Снесу... все снесу; говорите, чего хотите. Пущай вотъ разразитъ меня Владычица Небесная, коли я... вотъ хоть одну копейку съ васъ лишку взялъ. Пущай.

— И копейки лишку не бралъ?

— Не грѣшенъ.

— Перекрестись!

— Изволь, икону сниму, коли на то пошло.

— Снимай.

— Сниму, изволь!

И Маркъ Антонычъ, поднявшись на лавку, снялъ висѣвшую на гвоздѣ икону Николая-чудотворца и, перекрестившись, приложился къ ней.

— Видѣли?—спросилъ онъ.—Пусть онъ разразитъ меня, многомилостивый, коли я по неправдѣ...

Но не успѣлъ Маркъ Антоновичъ окончить, какъ въ избѣ раздался звукъ отъ вѣской пощечины, нанесенной ему Карпомъ Сидоровичемъ. Маркъ Антоновичъ пошатнулся и упалъ на столъ, съ котораго полетѣли на полъ и недопитая четвертная, и стаканъ. Въ избѣ завязалась борьба, среди которой слышались только отрывистыя, удушливыя слова: „сто-о-ой“, „вре-е-ешь“ и т. п. Не прошло и часу послѣ описанной сцены, какъ окна въ домѣ Марка Антоновича были выбиты вмѣстѣ съ рамами, двери сорваны съ петлей, а на улицѣ и въ самой избѣ кипѣла одна изъ тѣхъ ожесточенныхъ дракъ, какія надолго остаются въ памяти рабочихъ и жителей Т—я. Одного крика: „нашихъ бьютъ!“ было достаточно, чтобы разъярить и крестьянъ, вступившихся за своихъ однообщественниковъ, и разгулную толпу рабочихъ. Начавшись въ одной избѣ, драка охватила чуть не всю улицу. Среди рева и стона клочьями летѣли волосы, полы отъ рубахъ, полушубковъ и азямовъ. Сбѣжавшіеся волостные чины бросались въ самый разгаръ свалки, разнимая разъяренную толпу. Драка затихла только къ ночи и сами же дравшіеся, за отсутствіемъ медицинскаго персонала, подавали первоначальную помощь изувѣченнымъ и избитымъ собратьямъ, въ числѣ которыхъ оказались и Маркъ Антонычъ, и старикъ Матвѣй Федоровичъ, отъ пышной бороды котораго уцѣлѣли одни жалкіе клочки.

Къ концу сентября все чаще и чаще повторяются подобныя сцены; все чаще и чаще въ стѣнахъ двухъэтажнаго зданія т-го волостного

правленія съ крикомъ и бранью толпятся призываемые для разбирательства крестьяне и рабочіе въ рваныхъ рубахахъ и зипунахъ, съ окровавленными головами и лицами. Задняя часть зданія волостного правленія, раздѣленная толстыми деревянными рѣшетками на нѣсколько камеръ, рѣдкій день не наполняется арестованными за буйство и воровство рабочими и крестьянами, заключенными впредь до разбирательства дѣла или до производства слѣдствія чиновникомъ земской полиціи. Но до формальнаго слѣдствія рѣдко когда доходитъ дѣло. Только объ уголовныхъ преступленіяхъ, которыхъ нельзя скрыть, волость доноситъ по принадлежности, а всѣ остальныя дѣла рѣшаются мировою. Да и трудно поступать иначе при совершенно особенныхъ условіяхъ жизни крестьянъ этого села и временно наполняющихъ его пріисковыхъ рабочихъ. Четвертая часть послѣднихъ, отдохнувъ день, два, идетъ далѣе, домой; большинство же, пропивъ весь свой заработокъ, живетъ въ селѣ до пріѣзда лицъ, уполномоченныхъ золотопромышленниками для найма рабочихъ на пріиски. Дождавшись ихъ, рабочіе снова нанимаются на пріиски, подписываютъ контрактъ, которымъ отдаютъ свою личность въ безотчетное распоряженіе пріисковой администраціи, берутъ въ задатокъ отъ 25 до 50 рублей и получаютъ рубаху, зипунъ или полушубокъ, чтобъ прикрыть свою тѣлесную наготу, такъ какъ многіе изъ нихъ буквально спускаютъ съ себя все до рубахи. Изъ задатка рабочій расплачивается съ хозяиномъ квартиры, если оставался ему должнымъ, оставшуюся отъ расчета сумму снова пропиваетъ и чуть не нагой, иногда въ страшный, трескучій морозъ, идетъ въ партіи своихъ злосчастныхъ сотоварищей на пріиски. Нерѣдко рабочіе, пропивъ два, три полушубка, покупаемые имъ по дорогѣ къ пріиску нанявшимъ ихъ довѣреннымъ, идутъ уже подъ конецъ пути, окутавъ себя съ головы до ногъ снопами соломы, прикрѣпленными къ тѣлу бичевками... Оригинальная картина, которая встрѣтится наблюдателю только въ Сибири и только въ быту пріисковыхъ рабочихъ. Узкая проселочная дорога покрыта дѣвственнымъ снѣгомъ, ярко сверкающимъ отъ солнечныхъ лучей. Вверху безпредѣльная лазурь неба, холодная и строгая синева котораго становится еще рѣзче отъ бѣлаго яркаго покрова, окутавшаго поля, пригорки и лѣса. Дорога, какъ змѣя, вьется иногда среди хмурыхъ сосенъ, пихтъ и елей, стелющихъ по землѣ свои длинныя лапообразныя вѣтви, опушенныя снѣгомъ, и по этой дорогѣ вереницами бѣгутъ и прыгаютъ, грѣя себя всевозможными тѣлодвиженіями, соломенные снопы, изъ которыхъ выглядываютъ головы, съ закуржевѣвшими отъ мороза волосами и бородами и въ рѣдкихъ случаяхъ окутанныя какимъ-нибудь платкомъ или

тряпкой. Не думайте встрѣтить унынія и отчаянія среди этихъ оригинальныхъ путешественниковъ. Нѣтъ, уныніе и отчаяніе несвойственны этому народу; напротивъ, среди нихъ чаще всего слышатся шуточки другъ надъ другомъ, остроты надъ своею жизнью и положеніемъ, остроты надъ своими хозяевами и нанявшими ихъ на работу довѣренными. Кто-нибудь выкинетъ при этомъ курьезную штуку, — пройдется, напримѣръ, колесомъ на рукахъ, не хуже, если не лучше, любого клоуна въ циркѣ, и выходка его, покрытая дружнымъ хохотомъ, возбуждаетъ неудержимое веселье и вызываетъ залпъ шутокъ и остротъ.

На пути виднѣется вдали деревня, станція, гдѣ ожидаетъ прибытія рабочихъ сопровождающій ихъ до пріиска довѣренный, обыкновенно уѣзжающій впередъ. При видѣ деревни соломенные снопы ускоряютъ бѣгъ; нѣкоторые изъ нихъ мчатся къ околицѣ деревни взапуски другъ передъ другомъ, и горе, если въ деревнѣ или селѣ есть кабакъ... а въ какомъ же селѣ или деревнѣ по дорогѣ къ пріискамъ нѣтъ кабака и лавокъ? Снопы съ шумомъ и гамомъ врываются прежде всего въ кабакъ, и тогда все забыто: снова начинается пиръ, ликованье, и никакая сила не остановитъ ихъ... Иногда рабочіе по два, по три дня пьянствуютъ въ селѣ, и сколько курьезныхъ сценъ происходитъ въ это время между рабочими, сопровождающимъ ихъ довѣреннымъ и чинами земской полиціи! Однажды подобная партія рабочихъ заперла въ пустую холодную избу земскаго засѣдателя, вздумавшаго попугать ихъ розгами. Несчастный чуть не замерзъ, и только слезами и клятвами выставить своимъ мучителямъ нѣсколько ведеръ вина спасъ себя отъ гибели. Обыкновенно въ этихъ случаяхъ и довѣренные, и полиція дѣйствуютъ на рабочихъ лаской, поятъ ихъ виномъ, покупаютъ имъ шубы, сапоги, шапки,—конечно, въ счетъ будущаго заработка,—подряжаютъ для нихъ лошадей и везутъ ихъ на тройкахъ, минуя по дорогѣ тѣ села и деревни, въ которыхъ есть питейныя заведенія. Бываютъ случаи, что подобныя партіи рабочихъ положительно раскатываютъ по бревну дома у крестьянъ, чѣмъ-нибудь выведшихъ ихъ изъ терпѣнія. Однажды, въ обширномъ селѣ Салтонѣ, Кузнецкаго округа, Томской губерніи, партія рабочихъ, озлобившись на крестьянъ за то, что они, по просьбѣ сопровождавшаго партію довѣреннаго, перевязали нѣсколько человѣкъ болѣе буйныхъ рабочихъ, выбили окна, разнесли заборы, оборвали съ петлей двери и ворота въ домахъ тѣхъ крестьянъ, которые вязали рабочихъ. Въ подобныхъ случаяхъ строгія дѣйствія не ведутъ ни къ чему хорошему, потому что рабочіе, привыкшіе почти на каждомъ шагу рисковать своею жизнью, не особенно дорожатъ ею и пойдутъ на что

угодно. Одно только ласковое, доброе слово да обѣщаніе купить имъ вина всегда водворяютъ среди нихъ порядокъ.

Волостные чиновники и чины земской полиціи хорошо понимаютъ, съ какимъ народомъ они имѣютъ дѣло, и никогда не прибѣгаютъ ни къ брани, ни къ какимъ-либо крутымъ мѣрамъ. На брань рабочіе всегда отвѣтятъ такою же бранью, а крутая мѣра поведетъ только къ уголовному преступленію. Мировая—единственный исходъ, тѣмъ болѣе вѣрный, что рабочій незлобивъ по своей натурѣ. Онъ воспламеняется какъ фосфоръ, но и въ то время, когда съ налившимися кровью глазами онъ готовъ броситься на обидчика и убить его, не думая о послѣдствіяхъ,—какое-нибудь острое словцо, шуточка парализуютъ его гнѣвъ и заставляютъ разразиться хохотомъ, сглаживающимъ изъ памяти всякую обиду. Какъ-то странно даже видѣть, что люди, за часъ еще съ остервененіемъ дравшіеся, вдругъ, обливаясь слезами, цѣлуются, испрашивая другъ у друга прощенія за удары, отъ которыхъ распухли лица, затекли глаза и долго къ ненастной погодѣ ломитъ грудь и бока... И не только цѣлуются, но въ порывѣ чувства обмѣниваются крестами, въ знакъ неразрывнаго братства.

— Ну, Митька, и саданулъ же ты меня, чо-ортъ экой... а-а-ахъ-ха-ха-а-а!.. — раздается раскатистый голосъ и хохотъ какого-нибудь Голіафа, черты лица котораго трудно разобрать среди сплошной опухоли, слившей ихъ въ безформенную лепешку.—Думалъ,—издохну... ей-богу, издохну... О-а-ахъ, какъ саданулъ!..

— У меня, братъ Евсей, кулакъ-то што молотъ!..

— Мо-о-олотъ!—соглашается Евсей. — Ну, и я, Митюха, коли подъ сердцевину-то подъѣду—де-е-ержись!..

— О-о-о... бьешь?..

— Бью!.. Здо-о-ровъ я на эту подхватку! — дружелюбно бесѣдуютъ, вспоминая полученные другъ отъ друга удары, друзья, бывшіе за часъ врагами, готовыми растерзать одинъ другого!..

Немало происходитъ въ это время разбирательствъ въ волости и по другимъ недоразумѣніямъ, возникающимъ между крестьянами и рабочими, хотя въ случаяхъ начетовъ со стороны домохозяевъ на своихъ жильцовъ рабочіе чаще всего поплачутся только передъ своею братьей да и махнутъ на все рукой, — дескать, „гдѣ наше не пропадало!“ но иногда они обращаются съ жалобою въ волость, впрочемъ, болѣе для успокоенія совѣсти, чѣмъ въ надеждѣ достигнуть какихъ-нибудь результатовъ. Съ жалобой въ волость идутъ рабочіе и въ случаяхъ покражи у нихъ денегъ, а случаи эти повторяются постоянно и бываютъ крайне разнообразны. Нерѣдко рабочій, имѣвшій въ карманѣ сто или

полтораста рублей, опьянѣвъ до безпамятства или въ порывѣ откровенности шепнетъ хозяину, гдѣ хранить свои деньги,—и на утро просыпается нищимъ. Бываетъ и такъ, что рабочій въ пьяномъ видѣ самъ отдастъ ихъ на храненіе хозяину квартиры, и тотъ потомъ нагло, въ глаза, отпирается отъ нихъ, говоритъ, что никогда не бралъ отъ него никакихъ денегъ...

— Опомнись, промой глаза-то!—говоритъ какой-нибудь Сидоръ Степанычъ, имѣющій домъ въ два этажа, до тридцати лошадей и коровъ и слывущій за степеннаго, ни въ чемъ незамѣченнаго мужичка, усовѣщивая на разбирательствѣ какого-нибудь рабочаго, стоящаго предъ волостными чинами въ рваномъ полушубкѣ и бродняхъ.—Опомнись, говорю, Семенъ... О, да Господи Боже мой!—восклицаетъ, разводя руками, Сидоръ Степанычъ. — Это, штобъ я покусился на твою копейку, да статочное-ли это дѣло, а?..

— Покусился!—угрюмо утверждаетъ Семенъ.—Нечего руками-то разводить... воръ...

— Очнись, што ты поносныя-то клички мечешь на меня!.. Опамятуйся... не топи души-то своей въ грѣхѣ! Ради какой надобности я бы сталъ утаивать твои деньги, коли бы ты въ самомъ-то дѣлѣ отдалъ ихъ мнѣ, а?..

— Извѣстно, тебѣ больше надоть, вотъ и вся надобность...

— Оскудѣлъ я, што-ль? Аль меня мало Господь усчастливилъ, што я на твое-то позарился?..

— Видать, што мало.

— О, Господи!.. Да я бы одной этой срамоты-то на себя не принялъ,—стоять вотъ здѣсь съ тобой да судиться... Меня, слава тѣ Господи, и начальники-то всѣ знаютъ... Сидору Макунину отъ всѣхъ поклонъ да доброе слово, а ты-то кто? Оглянись-ка на себя: заплатами, што бисеромъ, унизанъ... И это я сталъ бы около тебя руки свои пачкать, а-а?

— Што ты мнѣ заплатами-то въ глаза тычешь!—весь вспыхнувъ, прерываетъ его Семенъ.—Моя-то заплата, можетъ, во сто кратъ чище твоего кафтана, да-а... Я вотъ и званья не возьму промѣнять ее на твое добро: она—вотъ заплата, да она моя, а у тебя все крадено... воръ! Ишь ты бѣлками-то ворочаешь, да Бога-то изо всѣхъ угловъ на помочь кличешь, штобъ оправдать паскудство. Я тебѣ деньги, какъ честному мужику, своими руками на храненье отдалъ; отопрись-ка вотъ, скажи—не бралъ.

— Не бралъ...

— Ишь совѣсть-то у тебя сколь легка на взъемѣ...

— Не бралъ, истинно скажу. Пусть вотъ Лаврентій Митричъ, почтенный человѣкъ, голова, старшой межъ нами, судитъ насъ... Не бралъ и не видалъ, какія у тебя деньги были,—горячо говоритъ, воодушевляясь, и Сидоръ Степанычъ.

— Ты докажи, што ты отдалъ ему свои деньги,—вступается волостной голова, Лаврентій Дмитричъ, въ глубинѣ души у котораго все-таки смутно шевелится подозрѣніе, что злосчастный Семенъ, стоящій передъ нимъ въ рваномъ зипунѣ, совершенно правъ. — А то ты этакъ-то придешь да скажешь, што и мнѣ деньги отдалъ, а я притаилъ...

— Да нѣшто я собака, ваше почтеніе, што зря-то буду лаять на всякаго?.. Ну, разсуди ты самъ, пошто бы я пошелъ жаловаться на него напрасно, а?.. Пьянъ я былъ, не потаюсь, пьянъ...

— Свѣтъ-то ты видѣлъ-ли въ тѣ поры, объяви...

— Видѣлъ... Какъ ни былъ пьянъ, да все еще въ разумѣ былъ, не кори... Извѣстно, мнѣ бѣдко было, ваше почтеніе, што робилъ, робилъ я и потеряю свое добро; а какъ не потеряшь его?.. Народу-то у него много на фатерѣ стоитъ и знамаго, и незнамаго... Иной, можетъ, только и стережетъ, какъ бы кого ошарить изъ нашего брата да уйти не съ пустыми руками... Прихожу къ нему: такъ и такъ, говорю, Сидоръ Степанычъ, ты дому хозяинъ, всегда въ тверезомъ видѣ, остереги меня, яви божескую милость. Вотъ, говорю, семьдесятъ три рубля,—припрячь ихъ... И самъ ему своими руками отдалъ. И деньги-то были бумажками все, въ старенькомъ платочкѣ завернуты... Онъ исшо и сказалъ мнѣ тогда: спасибо, говоритъ, по крайности отъ грѣха стережешься... Не говорилъ ты мнѣ этого, а, когда деньги-то бралъ мои?— спросилъ Семенъ, сдвинувъ свои густыя русыя брови.

— Пошто-жъ бы я сталъ запираться-то въ твоихъ деньгахъ... для чего? Скажи ты мнѣ, разумный человѣкъ, а? Семьдесятъ три рубля! Экое, подумаешь, богатство... а?.. Ну, и капита-а-алъ!.. Есть на чего глазамъ горѣть, хе, хе!.. Ай, да Сидоръ Макунинъ!.. Вотъ такъ мужи-и-икъ! На старости-то лѣтъ до чего опустился... а! Ну, чего будешь дѣлать, Лаврентій Митричъ, суди меня, — съ ироніей говоритъ Сидоръ Степанычъ. — Только полегче суди-то, побереги мои старыя кости до другого случая: того и гляди, придетъ кто ни на есть да скажетъ, што я у него гривну затаилъ, взявши на храненье... Ну, и народецъ же вы, пріискатели! Ни Бога-то у васъ, ни совѣсти... Это штобъ я отнынѣ кого-нибудь изъ васъ на фатеру пустилъ... да лопни мои глаза!

— Ну-устишь!.. Ты вѣдь энтихъ случаевъ только и ждешь, живешь ими.

*

— Молю тебя Богомъ, Семенъ, —скажи ты мнѣ при его милости головѣ, на што мнѣ твои деньги: на смертну рубаху што-ль, покрыться мнѣ нечѣмъ, какъ умру, а-а?..

— Ужъ это ты лучше скажи; тебѣ энто дѣло ближай знать!

— Я тебѣ вотъ чего, срамная душа твоя, скажу; у меня капиталу-то, можетъ, болѣ пяти тыщъ, знай! Одной скотинки пасется на полѣ—што тебѣ вѣкъ изжить да не нажить. Да это я бы принялъ во вниманье свою душу топить за семьдесятъ три рубля, а?

— Твоя-то душа, братъ, што пузырь, поверхъ всякаго грѣха всплыветъ. Ишь сколь ты правдивый человѣкъ, а? Самъ же хвалишься тыщами, а на рубли позарился. Ну, не воръ-ли ты. Э-эхъ, мужикъ, мужикъ! Потуда въ тебѣ и совѣсть-то была, покуда карманъ былъ пустъ, а деньгой-то, што волной, всякую совѣсть захлестываетъ.

— Сидоръ Степанычъ,—вмѣшивается голова,—не паскудься ты на старости лѣтъ, выбрось ты ему евоныя деньги, не убудетъ тебя... плюнь, говорю.

— На чего это, Лаврентій Митричъ, плевать-то прикажешь?

— Плюнь, говорю, брось ему энти семьдесятъ три рубля. Послушай моего ума-разума... брось.

— Нѣтъ ужъ, ваше почтеніе, избавь.

— Неужъ срамиться то лучче?

— Не по планту дѣло ведешь. Это опосля того, кто ни придетъ съ жалобой на меня, што я притаилъ деньги, я и раскидывай ихъ... Покорнѣйше благодарю за милость, Лаврентій Митричъ... Этакъ-то проплюешься, милый, што опосля и самъ испить захочешь, да ужъ негдѣ будетъ. А ты веди дѣло до суда—отвѣтимъ!

— Захотѣлъ, штобъ онъ отдалъ!.. Ему легче съ душой-то разстаться, чѣмъ съ рублемъ. А-аспидъ, вотъ што... воръ! Такъ и знай!.. Подавись ты энтими деньгами, кривая душа... Не разбогатѣшь, братъ, на нихъ, нѣ-ѣ-ѣтъ; а на насъ исшо, можетъ, оглянется Господь,— желчно говоритъ Семенъ, оканчивая этими отрывистыми, льющимися изъ оскорбленной души словами свою жалобу.

Въ тотъ же день вечеркомъ, по дорогѣ изъ Т—тя, съ холщевой котомкой за плечами, привязанной крестъ-на-крестъ какою-нибудь старой опояской, идетъ несчастный Семенъ къ семьѣ своей, немало наголодавшейся во время его отсутствія. Съ часу на часъ ожидаетъ семья возвращенія его съ заработкомъ, надѣясь хоть день, два отдохнуть отъ тяжелой нужды, безустанно стучавшейся съ зари и до зари въ ихъ избу. Но мало радости принесетъ семьѣ возвратившійся съ заработка хозяинъ. Поплачетъ жена его горькими слезами, услышавъ незатѣйли-

вую повѣсть похищенія денегъ. Съ улыбкой недовѣрія покачаетъ головой сельскій староста, пришедшій къ Семену съ требованіемъ уплатить подать и недоимку, услышавъ эту же повѣсть. Въ умѣ его невольно мелькнетъ: „вре-е-ешь, парень, видать, што пропилъ!“ И не далѣе, какъ на слѣдующее лѣто, волость законтрактуетъ Семена въ работу, засчитавъ полученныя за него деньги въ подать и недоимку и предоставляя семьѣ его питаться и поддерживать падающее хозяйство, чѣмъ она знаетъ.

У опытныхъ домохозяевъ, хорошо изучившихъ характеръ и наклонности рабочихъ, расчеты съ ними не порождаютъ никакихъ жалобъ и недоразумѣній.

— Ну, што, соколики, чай и по домамъ пора или довѣреннаго ждать будете, а? — спроситъ иныхъ рабочихъ, какъ будто невзначай, Кузьма Терентьичъ, отъ опытнаго глаза котораго никогда не ускользнетъ, что средства его жильцовъ плохи, и если во-время не разсчитаться съ ними, то, значитъ, навѣрное потерять свою выгоду.

— Аль ужъ наскучили тебѣ, Кузьма?—спроситъ иной изъ нихъ.

— И не думалъ скучать... Это съ экими-то молодцами да скучать!.. Да вы одной прибауткой меня на годъ натѣшили, право. Вѣдь экіе груздочки, какъ вы, чай по нашей тайгѣ только и растутъ.

— Пожалуй, што въ другомъ мѣстѣ не сыщешь,—хвастливо соглашается съ нимъ рабочій.

— Особливую бы плату положили изъ-подъ рукъ-то на васъ поглядѣть, ей-богу,—не безъ иронія говоритъ Кузьма Терентьичъ.

— Э-эхъ, Кузьма Терентьичъ, ужъ экаго хозяина, какъ ты, не наживешь!—восклицаетъ кто-нибудь изъ нихъ.

— О-о! любъ, што-ли, вамъ?

— Утѣшеніе!..

— Ну, слава тѣ Господи, што потрафилъ.

— Утѣшеніе!.. Вотъ тебѣ вѣрное слово!.. И напоишь, и накормишь, и тепломъ обогрѣешь, да въ ту же такцію еще и похвалишь!.. ну, гдѣ же ты сыщешь экаго хозяина, а-а?

— По жильцамъ, сказываютъ, и хозяинъ, други! — серьезно замѣчаетъ Кузьма Терентьичъ.

— И это вѣрно! Ежели теперича я вотъ, взядши, Ферапонтъ Вахрушевъ, живу теперича чинно, какъ значитъ пречестнымъ манеромъ... никакихъ отъ меня, стало быть, качествъ хозяевамъ, ни другимъ жильцамъ не имѣется, потому какъ я, если и въ загулѣ ино время состою, то всегда тихими стопами, любовно... то долженъ почитать экаго жильца хозяинъ, а?

— Экому жильцу первое мѣсто теперича, подъ божничкой.

— Точно, уважь его.

— И, Господи!.. Да вѣдь экаго-то человѣка и уважать любо.

— Справедливо! А што я теперь, Ферапонтъ Вахрушевъ, долженъ полагать въ своемъ умѣ про эфтакаго, къ примѣру, хозяина, какъ ты, Кузьма, а? Вѣдь ты, Кузьма, карманомъ-то зашибить меня можешь.

— За што же это зашибать-то я тебя буду?..

— Это я къ слову говорю, пойми! Къ слову, стало быть, какъ бы къ примѣру взять.

— Ну, слышу, слышу, понимаю.

— Понимаешь, ну, и помни! У тебя теперича и хозяйство всякое въ отличку, по-купецки, и самъ ты степенный человѣкъ, торгующій. Стало быть, какъ бы въ почетѣ. И завсегда ты теперича съ нами чинно, съ добрымъ словомъ, да лаской, обогрѣшь, напоишь, накормишь. Должонъ я уважать такого хозяина, а?

— Это ужъ какъ ты почтешь... твое дѣло.

— Нѣшто мы безчуственные, а? Безъ понятіевъ люди, а? Нѣтъ, мы, Кузьма, понимаемъ, кто чѣмъ пахнетъ... Мы тоже, братъ, хоша и изъ сыромятной кожи шиты, а насчетъ обхожденія-то благодаримъ покорно, не взыщи, очень даже свободно понимаемъ... Другой тебѣ хозяинъ-то, и весь вотъ онъ—наплевать... Онъ вотъ мнѣ въ ноги будетъ кланяться: иди къ нему на фатеру... Онъ вотъ съ меня рубь за день возьметъ. Чего бы лучче, а?

— Извѣстно, чего же лучче...

— А я не пойду. Я вотъ два рубля за день-то отдамъ, да знаю, кому отдамъ: Кузьмѣ. Потому Кузьма людей понимаетъ... Кузьма знаетъ, какъ кого обойти,—мнѣ и любо это. У Кузьмы вотъ тыщи, а у меня гроши, а все же Кузьма меня чтитъ, потому я Кузьмѣ хлѣбъ даю...

— Извѣстно, какъ бы не вы, други, мы бы и голодомъ насидѣлись.

— И насидѣлся-бъ! А мы кормимъ вотъ вашего брата, и ты вотъ это понимаешь и не зазнаешься, и я вотъ тебя за это всегда награжу. Изволь... Ну, скажи вотъ, сколь мы у тебя напили и наѣли...

— Ужо поглядимъ.

— Погляди! Чинно все это обслѣдуй! — говоритъ рабочій, идя вмѣстѣ съ своими товарищами за Кузьмой Терентьевичемъ по высокой лѣстницѣ въ верхній этажъ, гдѣ въ небольшой комнатѣ, уставленной образами, въ столѣ хранилась особая книга, въ которую Кузьма Терентьичъ тщательно записывалъ каждый день имена и фамиліи оста-

новившихся у него на квартирѣ рабочихъ и, на основаніи отчетовъ, отдаваемыхъ ему домашними, вносилъ въ эту книгу посуточно все, что требовали жильцы: стоимость отпускаемаго имъ въ долгъ вина, разбитой кѣмъ-нибудь изъ нихъ посуды и т. п. Вынувъ изъ футляра свои большія, совершенно круглыя очки въ серебряной оправѣ, Кузьма Терентьичъ неторопливо отыскивалъ въ книгѣ ту или другую фамилію, высчитывалъ, при помощи небольшихъ костяныхъ счетовъ, причитающуюся въ уплату съ каждаго изъ нихъ сумму и мягкимъ, дружелюбнымъ тономъ объявлялъ ее жильцу.

— Безъ обману ужъ, милый; мнѣ твоей копейки не надо, меня ужъ, слава Богу, наградилъ Господь, — набожно крестясь, говоритъ Кузьма Терентьичъ. — Есть деньги—отдай, „благодарю покорно“ скажу, нѣтъ—обождемъ...

— Кузьма!.. Да неужъ теперича, штобъ мы, пивши, ѣвши, да не отдали-бъ денегъ? Да я вотъ, еслибъ и не было ихъ, душу заложу...

— И-и-и, полно! Есть изъ чего въ закладъ ее нести, побереги, пригодится исшо. Ты вотъ экія-то слова стерегись-ко ронять, милый: врагъ-то силенъ, въ какой часъ его вымолвишь.

— Заложу!.. Въ своей душѣ я воленъ.

— Ну, ну, закладывай. Всякъ своему добру хозяинъ.

— Э-эхъ, Кузьма, Кузьма! Не деньги намъ дороги, — почетъ. Почти ты меня, и я къ тебѣ всей душой. Вотъ ты напой меня чаемъ, мнѣ и любо. Мнѣ вотъ на чай-то твой плевать, а мнѣ любо: это-де Кузьма меня уважилъ, да-а! Мы тоже, милый, съ норовцомъ люди: обласкай, облюби, и будь хошь ты изъ воровъ воръ, мы за тебя лоскомъ ляжемъ... Такъ сколь, говоришь, тебѣ денегъ-то?

— Восемнадцать рубликовъ доводится по счету-то.

— Изволь, сейчасъ, ужо получай.

— Ты провѣрь меня, просчитай наперво. Я, можетъ, со слѣпа-то и накинулъ на тебя,—любезно оговаривается Кузьма Терентьичъ.

— И-и, копейка-ль перейдетъ, рубь-ли, — владай: за уваженье кладу...

По-долгу длятся иногда подобныя объясненія между расчувствовавшимися рабочими и практичнымъ Кузьмой Терентьевичемъ, и нужно видѣть, съ какими поклонами и пожеланіями добра разстаются съ нимъ эти люди и изъ года въ годъ приворачиваютъ не иначе, какъ къ дому облюбованнаго ими хозяина.

— А што, Кузьма Терентьичъ! Вѣдь нонѣ, миляга, я какъ будто въ винѣ передъ тобой!—говоритъ иной изъ рабочихъ, когда наступаетъ время разсчитаться за хлѣбъ и соль.—Не обезсудь ужъ меня: маненечко я перехвастнулъ!—говоритъ онъ, почесывая затылокъ.

— О-о, въ чемъ бы это?—отвѣчаетъ Кузьма Терентьичъ, какъ будто не догадываясь, къ чему клонитъ рѣчь перехвастнувшій квартирантъ.

— Грѣхъ попуталъ меня, братецъ: о-обчелся!..

— О-о?

— И какъ это перемахнулъ за препорцію, ума и по сейчасъ не приложу. Нѣту вѣдь денегъ-то у меня, нечѣмъ, слышь, расплатиться-то... Вѣрь, и берегся вѣдь, пуще глазу берегся. Ну, вошелъ въ мечтаніе и перемахнулъ.

— Экой грѣхъ-то, а-а? качая головой, соболѣзнуетъ Кузьма Терентьичъ.

— Какого исшо грѣха тебѣ надо!—сокрушаясь, подтверждаетъ и рабочій.—Обождешь-ли, а?

— До кѣихъ поръ уплату-то отложить тебѣ?

— Ужъ довѣреннаго буду ждать... Чего болѣ дѣлать-то? Нечего...

— Къ кому ты нонѣ наниматься-то хочешь?—спрашиваетъ Кузьма Терентьичъ, поглаживая свою бороду.

— Кто первый подъѣдетъ, тотъ и мой... Чего ихъ разбирать-то!

— Обождать, оно што, не въ трудъ. Обождать можно,—съ разстановкой говоритъ Кузьма Терентьичъ.—Я вотъ ужо, на досугѣ, опосля подсчитаю, сколь доводится съ тебя получить-то... Только, помнится мнѣ, што ты ровно и у меня-то зарвался. Подождать я подожду, отчего не подождать, не каплетъ, только ужъ ты, говорю, сердешный, болѣе-то не зарывайся, покрѣпче себя содержи, а то и тебѣ будетъ не въ моготу, и мнѣ-то накладно...

— Ужъ сдержимся, не сумлѣвайся...

— То-то... Я и довѣреннаго попрошу накинуть задатку-то тебѣ, штобъ хвостовъ-то за тобой не оставалось; а все-же сдержись, загулъ-то этотъ брось, до добра-то онъ не доводитъ; и въ писаніи сказано, што врагъ-то человѣческій душу-то виномъ уловляетъ! Гулять тоже надо съ толкомъ. Погулялъ, отвелъ душу—и очнись, провѣрься, сообразись съ силой!.. Видишь, коли достатку мало у тебя, и скрѣпись. Жить во всемъ надо по чести. Самъ ты будешь честно жить, и къ тебѣ будетъ довѣріе. Понялъ?

— Понялъ, милый, какъ не понять!.. Экое слово, какъ твое, ровно, слышь, въ душу каплетъ.

— И пущай каплетъ, умягчитъ душу-то.

— Облегчилъ ты меня, Кузьма Терентьичъ, пошли тебѣ Господи.

— Ну, и слава тебѣ Господи! А тѣмъ временемъ вѣдь голодомъ тебя тоже не оставишь: живой человѣкъ-то, могутной; зубамъ-то от-

дыху не привыкъ, поди, давать. Ну, и поробь за кормежъ-то, подсоби мнѣ по хозяйству.

— По-одсобимъ!..

— Дровецъ поруби мнѣ. Сѣнца вотъ надоть съ покосу свозить... да мало-ль чего по хозяйству-то набѣжитъ. Господь-то вѣдь заповѣдалъ намъ хлѣбъ-то въ потѣ лица ѣсть, и труды онъ, многомилостивый, любитъ. Такъ и заповѣдалъ: ѣшь, говоритъ, хлѣбъ твой въ потѣ лица своего. Поэтому ужъ я того... Коли и подсобишь мнѣ, скидки-то со счету не буду тебѣ дѣлать. Ужъ это будто за снисхожденье пойдетъ, работа-то твоя, помога-то, говорю...

— Ужъ ты только обожди, а энто што-о! Чего сробимъ, денегъ не спросимъ,—отвѣчаетъ обрадованный рабочій.

— Ну, и оставайся съ Богомъ, живи! Я ужо сегодня скажу Степану, пущай онъ тебя снарядитъ, къ дѣлу-то приставитъ,—заключаетъ Кузьма Терентьичъ свою поучительную рѣчь.

У рабочаго, тяготившагося сознаніемъ, что ему нечѣмъ расплатиться за съѣденную хлѣбъ-соль, послѣ подобной бесѣды становится легко на душѣ. Не менѣе хорошо чувствуетъ себя и Кузьма Терентьичъ. Деньги онъ все-таки получитъ съ рабочаго всѣ до копейки: получитъ даже за прокормъ его и въ то время, когда онъ будетъ у него проживать въ ожиданіи пріѣзда довѣреннаго не въ качествѣ уже квартиранта, а въ качествѣ работника-пособника по хозяйству. Зарвавшійся и замотавшійся пріисковый людъ, остающійся на квартирѣ въ ожиданіи пріѣзда довѣренныхъ, свозитъ ему сѣно съ покосовъ, нарубитъ дровъ на зиму и строевого лѣса для построекъ и подѣлокъ. Всѣ флигеля и хозяйственныя пристройки Кузьмы Терентьевича воздвиглись ихъ руками. Они надѣлаютъ ему пошевень и дровней, обтянутъ колеса шинами... да чего не сдѣлаетъ пріисковый рабочій хозяину за то, что онъ благодушно относится къ нему, ждетъ за нимъ долгъ, кормитъ его до пріѣзда перваго довѣреннаго.

Унылую картину представляетъ Т—ь, когда пройдетъ періодъ шумнаго разгула, придававшаго ему такой праздничноликующій видъ. Его можно сравнить въ это время съ залой, въ которой только-что кончился шумный пиръ,—гости разъѣхались, и усталые оффиціанты не успѣли еще привести въ порядокъ мебель, прибрать посуду, подмести въ комнатахъ и провѣтрить ихъ. Правда, на улицахъ села еще замѣтно оживленіе, но это уже не прежнее праздничное оживленіе, не слышится разгульной пѣсни, звонкаго смѣха и говора. Теперь уже не попадаются на глаза щеголи, разодѣтые въ плисовыя безрукавки или поддевки, въ

суконные халаты, съ шелковыми шалями на груди, въ поярковыхъ шляпахъ или въ смушковыхъ шапкахъ на головахъ, — пѣтъ: и плисовыя безрукавки, и поддевки, и халаты, и шляпы, и всѣ тѣ костюмы, за которые такъ дорого было заплачено, снова возвращены въ тѣ-же магазины съ панскими товарами, въ которыхъ они были куплены. и возвращены за какіе-нибудь два, три рубля.

Я знаю, многимъ покажется невѣроятнымъ тотъ фактъ, что всѣ почти магазины съ панскими товарами, находящіеся на золотыхъ пріискахъ и въ селахъ, стоящихъ на пути къ пріискамъ, рѣдко когда пополняются новыми товарами, за исключеніемъ развѣ ситцевъ, холста, рукавицъ, сапоговъ и т. п., а всѣ предметы щегольства рабочихъ большею частью остаются по нѣскольку лѣтъ одни и тѣ же, переходя изъ магазина въ руки рабочаго, а отъ рабочаго снова въ тотъ же магазинъ. Дѣлается это очень просто. Покупаетъ рабочій шелковую рубаху и весь франтовской костюмъ, платя за все неимовѣрно высокія цѣны, тѣмъ болѣе, что иногда его нарочно подпоятъ въ самомъ магазинѣ. Ему въ это время не до того, чтобъ торговаться и тщательно осматривать, прочны-ли и достаточно-ли свѣжи продаваемыя ему вещи: ему поскорѣе хочется освободиться отъ рвани, болтающейся на плечахъ, показать всему крещеному люду, что онъ богатъ, что онъ можетъ, коли захочетъ, и въ трехъ поддевкахъ заразъ ходить. Проходятъ нѣсколько дней въ самомъ буйномъ разгулѣ; деньги таютъ не по днямъ, а по часамъ. У болѣе злополучнаго онѣ исчезаютъ въ первую же ночь по приходѣ въ село, скраденныя или своимъ же братомъ-рабочимъ, или ловкимъ хозяиномъ дома, или голубкой, опьянившей его своими ласками. День-два рабочій пьетъ еще, пристроившись къ какой-нибудь компаніи; но когда уже не на что пить, онъ снимаетъ съ себя шелкъ и плисъ, надѣваетъ прежнюю рвань, если сохранилъ ее, какъ дѣлалъ это дальновидный Дергачъ, и идетъ въ магазинъ съ панскими товарами, въ которомъ еще за нѣсколько дней, сознавая свое значеніе, какъ богатаго покупателя, дозволялъ себѣ фамильярничать съ хозяиномъ его, а иногда и ругнуть его какимъ-нибудь крѣпкимъ словцомъ!

Т—іе торговцы хорошо знаютъ, что купленныя у нихъ вещи снова возвратятся къ нимъ, такъ что въ сущности они и не продаютъ ихъ рабочимъ, а только даютъ ихъ во временное пользованіе, получая съ рабочихъ за право пощеголять въ шелку, плисѣ и тонкомъ сукнѣ слишкомъ высокую арендную плату. Періодъ разгула миновалъ, а между тѣмъ магазины открываются попрежнему, и Иваны Матвѣевичи, Кузьмы Терентьевичи и Никиты Онуфріевичи терпѣливо сидятъ въ нихъ, ожидая возврата арендованныхъ у нихъ вещей.

— Здравствуй-ка, Иванъ Матвѣичъ... Все-ли по здорову Богъ несетъ тебя!—говоритъ, входя въ магазинъ, подобный арендаторъ, почтительно снимая шапку, если только на головѣ есть какая-нибудь шапка, и не осмѣливаясь уже протянуть такъ фамильярно руку, какъ протягивалъ ее нѣсколько дней тому назадъ.

— А-а! Да никакъ Петръ, какъ, бишь, тебя по отцу-то?—говоритъ, прищурившись, Иванъ Матвѣевичъ, показывая видъ, что забылъ вошедшаго и только теперь припоминаетъ его, хотя въ сущности хорошо помнитъ не только какъ величаютъ его по отцу, но даже всю его подноготную: гдѣ онъ остановился на квартирѣ, сколько прокутилъ денегъ и что и гдѣ покупалъ.

— Максимычъ!—съ улыбкой подсказываетъ рабочій.

— Ну, ну, вспомнилъ, вспомнилъ теперь! Максимычъ, такъ и есть. Вишь, вѣдь сколько васъ тутъ перебываетъ за это время, што память-то хоть шире полубочья будь, и то всѣхъ-то не сохранишь въ ней. Такъ ты неужъ еще здѣсь? — съ замѣтной ироніей спрашиваетъ Иванъ Матвѣичъ.

— Здѣсь, самъ видишь,—конфузливо отвѣчаетъ рабочій.

— Да ты, ровно, уѣзжать собирался... Помнится, какъ бы говорилъ, што и тройку порядилъ до дому-то везти тебя.

— Рядилъ... да вишь вотъ, не вырядилъ...

— О-о, што-жъ такъ?

— Стихъ, знать, такой подкатилъ.

— А-а, вишь, грѣхъ-то какой вышелъ, хе... Такъ чего-жъ ты теперя, какъ тутъ, на какомъ, говорю, основаніи проживаешь?

— А ужъ такъ, должно полагать, безъ основанія.

— Гляди-жъ, какая притча-то, а-а... Ну, да оно, чего говорить, не съ тобой первымъ это случается. Въ экой сутолокѣ жить, какъ здѣсь, не всегда отъ блазни-то остережешься,—съ участіемъ говоритъ Иванъ Матвѣичъ, покачивая головою.—Чего же, довѣреннаго, поди, ждешь, а?

— Поджидаю.

— Хозяинъ-то кормитъ-ли тебя?

— Кормитъ пока.

— И то слава Богу. Какъ не скажешь, што свѣтъ не безъ добрыхъ людей! Ты вѣдь, ровно, у Харитона стоишь на фатерѣ-то? Ну, Харитонъ—мужикъ исправный, совѣстливый и до вашего брата теперича жалостливый... Вотъ она, гулянка-то, до чего, говорю, доводитъ, а?.. Гдѣ бы теперича, на мой умъ, коли заробилъ деньгу, послалъ Господь экое счастье, и пошелъ бы себѣ степеннымъ образомъ домой, зажмуривъ бы очи отъ всякаго соблазна, а вы, вишь, какой народецъ!..

До вина-то допахаетесь, прости Господи, такъ душу энто рады утопить въ немъ... О-охъ, горе, коли ума-то въ головѣ нѣтъ, горе! Чего это у тебя въ рукахъ-то?—какъ бы только теперь увидѣвъ висѣвшія у него на рукѣ вещи, спрашиваетъ Иванъ Матвѣичъ.

— Наряды-то свои принесъ къ твоей милости, купи!.. Тебѣ-то они сгодятся, а ужъ намъ, братъ, видать, не струна фортить-то въ нихъ,—со вздохомъ отвѣчаетъ рабочій.

— А на што же ихъ мнѣ-то... посуди... ну, на што?

— Все-жъ куда ни на есть ткнешь, поди.

— Охъ, ты Господи, Господи!—вздохнувъ, восклицаетъ Иванъ Матвѣевичъ.— И што вы за народъ!.. Сердце-то изболитъ вѣдь, глядя на васъ, ей-богу... Это, теперича кабы при умѣ-то, какъ бы жить-то надоть вашему брату, а-а? Красоваться!.. А мы все гнѣвимъ Господа... Господь о насъ печется, счастье намъ шлетъ, а мы оное, какъ блудныя дѣти, зарываемъ въ землю... А-а-ахъ, не глядѣлъ бы на васъ! — отвернувшись въ сторону, заключаетъ Иванъ Матвѣичъ.—Кажи не то, чего тутъ у тебя, посмотрю...

Рабочій молча кладетъ на прилавокъ алую или синюю шелковую рубаху, обшитую позументомъ, плисовую безрукавку или поддевку, шаровары, иногда шелковую шаль или шляпу. Молча качая головой, осматриваетъ Иванъ Матвѣичъ всѣ эти вещи къ свѣту, по нѣсколько разъ выворачивая и переворачивая ихъ. Зоркій глазъ его видитъ каждое пятно, да трудно, впрочемъ, и не замѣтить этихъ пятенъ отъ свинаго и гусинаго жира, этихъ дыръ и висящихъ клочковъ, вырванныхъ во время дружескихъ объятій или въ какой-нибудь свалкѣ.

— Какія вѣдь вещи-то были, а!—соболѣзнуя, говоритъ какъ бы про себя Иванъ Матвѣичъ.—Што на подборъ одна къ другой... Мнѣ за энту безрукавку въ позапрошломъ году Хрисанфій Яковличъ, шушляевской довѣренный, двадцать рублевъ давалъ, да наступалъ, што съ ножомъ къ горлу: продай! Не взялъ, на трехъ рубляхъ разошлись, и дуракъ былъ, што не отдалъ, дуракъ! Теперя што получилось, хе... Плисъ-то вѣдь какой! Чище иного бархата, а-а-ахъ, а-а-ахъ!—вздыхая и точно оплакивая безрукавку, протягиваетъ Иванъ Матвѣичъ.— Ну, и люди же вы! Вамъ и носить экія вещи!.. Другому бы человѣку коли экая-то вещь бы попала, такъ износу бы ей не было... Кабы съ бережью-то да въ акуратѣ, такъ рази бы сынъ али внучекъ доносилъ бы... А ты... хе... хе... гляди-ка, двухъ недѣль нѣтъ, а какъ устряпалъ ее, а? Собирай свое добро да неси его со Христомъ домой!—сурово-соболѣзнующимъ топомъ заключаетъ Иванъ Матвѣичъ.

— Милый, куды-жъ мнѣ теперя съ ними, посуди!..

— А мнѣ-то куды-жъ ихъ дѣвать... ну, научи!

— Все-жъ куда ни на есть ткнешь, говорю.

— Чудной! Да куды-жъ ты ткнешь рвань-то экую? На половикъ развѣ; да и то путная баба не постелетъ, потому зазоръ возьметъ отъ однихъ этихъ пятенъ. Возьми, говоритъ; а спроси, куда мнѣ съ ними дѣться—и самъ не знаетъ. Возьми!.. Ну, ладно, говорю, хорошо; снисходя будто къ твоей нищей долѣ, возьму я всю энту рвань... Што-жъ, ты даромъ отдашь ее мнѣ, а-а?

— Эхъ, Иванъ Матвѣичъ, горе-то мое...

— Горе... хе... хе... а кто причиненъ въ эфтомъ горѣ-то, а? Скажи-ка?..

— Оно, чего говорить...

— И молчи, и рта касательно этого не разѣвай!.. Горе!.. У меня всегда душа повернется, коли я увижу горе, какое Господь на человѣка, испытуя его, послалъ: или пожаромъ его сокрушилъ, скотинка выпала, на работѣ убился, алибо што... А развѣ ты можешь на Творца многомилостиваго хулу слать! Не давалъ тебѣ Господь счастья, а? Ты самъ его втунѣ презрилъ, по кабакамъ расточилъ съ блудницами, а?.. И ты можешь теперича говорить, што горе убило тебя, а? Срамникъ ты, вотъ что... Неси... я вотъ и глядѣть-то не хочу на экую мерзость... Ты, можетъ, объ эту безрукавку всякую печисть обтиралъ, а тутъ исшо руки объ нее пачкай, тьфу-у...

— О-охъ, Господи... Господи! — со вздохомъ говоритъ рабочій, уныло поводя глазами по сторонамъ.

— Вѣдь вотъ ты принесъ вещи ко мнѣ,—снова начинаетъ послѣ минутной паузы Иванъ Матвѣевичъ,—дескать Иванъ Матвѣевичъ купитъ, выручитъ изъ нужды... А спроси тебя—на што тебѣ деньги, а-а?..

— На што... съ грустной улыбкой повторяетъ рабочій.

— Ну... на што?..

— Петровки теперь, што-ль... аль, думаешь, я не зябну въ эвтомъ-то рѣшетѣ?—указавъ на дырявый зипунъ, отвѣчаетъ онъ.

— А ты, ровно, помнится, и тулупъ покупалъ...

— Покупалъ...

— Гдѣ-жъ онъ у тебя, тулупъ-то?

— Гдѣ... Ужъ чего объ энтомъ теперя вспоминать, чего покупалъ, аль не покупалъ,—съ досадой отвѣчаетъ рабочій.

— А-а, и вспоминать не надо хе!.. Въ тѣ поры, стало быть, полагалъ, что Петровъ-то день близенекъ... хе... хе-е-е!... Вѣдь ужъ, чай, поди, у тебя и робята гдѣ ни на есть водятся, а вѣдь сколь ты легокъ умомъ-то, погляжу... Ну, какой бы теперича завѣтъ могъ ты

своему дѣтищу положить, а-а?.. О-охъ, люди, люди!—со вздохомъ качая головой, произнесъ Иванъ Матвѣевичъ.—Неужъ ты полагашь въ самомъ дѣлѣ, што я тѣ за экую рвань такую плату положу, што ты тулупъ купишь, а-а?..

— Хошь бы изъ милости-то, говорю, ты мнѣ десять рублевъ далъ, а тамъ бы што ни што...

— Де-е-е-сять?.. Не мало-ль запросилъ, —одумайся-ко... Десять, хе... хе-е... Ну-ко, того ужо, Петръ Максимычъ, возьми-ко все энто съ прилавка-то, время-то тебѣ досуже теперь, походи-ко съ нимъ... вонъ хоть къ Микитѣ Онуфричу сходи, аль Кузьмѣ Терентьичу покажь... Можетъ, они и подороже у тебя купятъ, кто ихъ знаетъ!.. Обижать я тебя не хочу, не доводится... я-то такъ полагаю, што рубь, два на нищету твою еще можно пожертвовать! Ну, а они, кто-жъ ихъ знаетъ, можетъ и пятнадцать рублевъ дадутъ тебѣ: вѣдь въ какой часъ придешь— не узнано,—насмѣшливо заключаетъ Иванъ Матвѣевичъ.

Петръ Максимычъ хорошо знаетъ, что ни Кузьма Терентьевичъ, ни Никита Онуфріевичъ не только не дадутъ ему двухъ рублей, которые предлагаетъ въ порывѣ великодушія Иванъ Матвѣевичъ, но едва взглянутъ на принесенныя вещи, какъ отошлютъ его безъ слова назадъ къ тому, у кого онъ купилъ ихъ... Помнется Петръ Максимычъ передъ прилавкомъ, не разъ почешетъ въ затылкѣ, раздумывая о своемъ безвыходномъ положеніи, да и отдастъ дорого купленныя вещи за предложенные ему два рубля... Иной изъ этихъ продавцовъ или, вѣрнѣе, арендаторовъ и попробуетъ поторговаться и поплакать, и если выплачетъ какой-нибудь четвертакъ, то почитаетъ себя счастливымъ. Зимою всѣ эти вещи распарываются, пятна изъ нихъ выводятся и закрашиваются, насколько это возможно сдѣлать, подшивается новая подкладка, и на будущій годъ въ освѣженномъ видѣ онѣ снова поступаютъ въ продажу и сбываются подъ вечерокъ какому-нибудь пьяному рабочему, какъ самолучшій товаръ, за ту же цѣну, а иногда и выше той, за какую были проданы въ прошедшемъ году. Подобныя операціи производятся надъ вещами до тѣхъ поръ, пока онѣ окончательно не превратятся въ лоскутья, но и лоскутья у этихъ находчивыхъ людей не пропадаютъ даромъ: изъ лоскутьевъ они шьютъ картузы, пояса, украшая ихъ мѣдными бездѣлушками, кисеты подъ табакъ, обшивая послѣдніе бисеромъ, золотыми и серебряными блестками, и снова продаютъ ихъ по дорогой цѣнѣ щеголеватымъ рабочимъ.

Однажды подъ вечеръ въ магазинъ Ивана Матвѣича вошелъ знакомый намъ Евсей Макарычъ, тотъ самый мужичекъ, который съ такой осмотрительностью оглядывалъ покупаемый имъ бѣлый азямъ и ни за

что не хотѣлъ покупать въ гостинцы женѣ шали и платка. Иванъ Матвѣевичъ собирался уже запирать магазинъ и, сидя въ углу его, дочитывалъ только житіе св. Феодоры. Онъ до того былъ углубленъ въ назидательное чтеніе странствій ея по аду, что въ первое время и не замѣтилъ вошедшаго Евсея Макарыча, державшаго въ рукахъ бѣлый азямъ съ расшитыми шелкомъ полами.

— Што скажешь, добрый молодецъ?—спросилъ онъ, когда тѣнь Евсея заслонила ему свѣтъ, проникавшій только черезъ дверь лавки, и, закрывъ книгу и снявъ очки, онъ пристально посмотрѣлъ на вошедшаго.—А-а, да никакъ старый знакомый?—радостно произнесъ онъ.—Евсей Макарычъ, такъ што-ли, а-а?—спросилъ онъ.

— Добраго здоровья, Иванъ Матвѣичъ; здравствуй-ко, твоя милость!—отвѣтилъ тотъ, кланяясь.

— Спасибо, спасибо... Садись-ко, посиди,—привѣтливо пригласилъ его Иванъ Матвѣевичъ, видимо обрадовавшійся случаю побесѣдовать.

— Постоимъ...

— Присядь, присядь, чего стоять-то?... Ужъ время-то вверхъ расти ушло, теперь ужъ книзу пришла пора клониться, къ землѣ; сади-ись!.. Ты чего, ужъ изъ дома это вернулся, а?..

— Вернулся... захотѣлъ! — грустно отвѣтилъ ему, махнувъ рукой, Евсей Макарычъ.

— Неужъ здѣсь все болтался?

— Молчи ужъ, не надрывай! — отвѣтилъ Евсей Макарычъ, въ какомъ-то изнеможеніи опускаясь на скамью.—Пенять къ тебѣ, братъ, пришелъ, благодарствовать!—грустно произнесъ онъ.

— За што-жъ бы это?

— За смущенье твое...

— О-о!..

— Э-эхъ, Иванъ Матвѣичъ! Надѣлъ ты на меня долю... н-ну, милый... Коли снесу, слава тебѣ Господи; а коли нѣтъ, пущай на твоей душѣ энтотъ грѣхъ лежитъ... Пущай!—отрывисто говорилъ Евсей Макарычъ, махая руками и качая головой въ тактъ произносимыхъ имъ словъ. Въ голосѣ его слышались слезы, накипѣвшія отъ тяжелой душевной истомы.

Съ ироническою усмѣшкой на губахъ смотрѣлъ на него Иванъ Матвѣичъ и слушалъ.

— Съ твоей, милый, чарочки словно колъ проглотилъ, словно, говорю, ума рехнулся,—продолжалъ Евсей Макарычъ. — Молилъ я тебя тогда: пусти ты меня, не трожь, не вводи въ расходъ... Ну, не

слушалъ ты меня. Силкомъ мнѣ товару своего навалилъ... На, на, вотъ теперь, погляди-ко на меня...

— Гляжу...

— Видишь-ли теперя, каковъ я есть?

— Вижу: каковъ былъ остолопъ, таковъ и остался.

— Ругай, ругай меня, милый. Стою я энтого, стою! Ну, только одно помни: не одна, можетъ, слеза моя на твою душу канетъ. Терпи ее... Энта слеза, сердешный, словно въ котлѣ выкипѣла, горрю-ючая...

— Ты, помнится, и въ тѣ-то поры пришелъ, свѣту бѣлаго не видавши; неужъ и досель исшо полугаръ-то изъ тебя слезы гонитъ?— насмѣшливо спросилъ Иванъ Матвѣичъ.

— Горе ихъ гонитъ...

— О-о! бутылочное...

— Мученское... сердешное... Сгинулъ я. Н-ну... Божья, знать, на то воля,—произнесъ Евсей. — Иванъ Матвѣичъ, скажи мнѣ, вымолви по душѣ: есть у тебя Богъ?— неожиданно спросилъ онъ.

— На што это тебѣ понадобилось?

— Скажи, не натрудитъ вѣдь одно-то слово языка.

— Глупый! Всякая тварь и та Бога признаетъ, такъ неужъ я бы насмѣлился, а-а?

— Вѣришь въ Бога— выручи!—И Евсей Макарычъ при послѣднемъ словѣ повалился, какъ снопъ, въ ноги Ивана Матвѣича и заплакалъ.—Выручи, сердешный!—всхлипывая и колотясь лбомъ о грязный полъ лавки, шепталъ онъ.—Сгинулъ я, сгинулъ!..

Сурово нахмуривъ брови, Иванъ Матвѣичъ съ минуту стоялъ въ какой-то нерѣшительности, молча глядя на Евсея Макаровича, неподвижно лежавшаго на полу у ногъ его. Наконецъ, покачавъ головой, онъ вздохнулъ.

— Встань!—произнесъ онъ.—Встань, говорю!—почти крикнулъ онъ и, нагнувшись, приподнялъ Евсея, лицо котораго было омочено слезами.

— О-охъ, Господи, Господи! — произнесъ Иванъ Матвѣичъ.— Ну, не мука ли, говорю, глядѣть-то на васъ, а? — тихо заговорилъ онъ, обратившись къ Евсею, снова опустившемуся въ изнеможеніи на скамью. — Неужъ, ты думаешь, не надрывается сердце, глядя, какъ томитъ васъ бутылошное-то горе, а?.. „Выручи“... Ну, изъ какой напасти выручать-то тебя, обскажи хоть толкомъ.

— Рѣшился вѣдь я всего, чего ни заробилъ.

— Рѣшился-таки, а? А кому я говорилъ: отдай мнѣ деньги, со-

храню, а? Такъ нѣ-ѣтъ, куда тебѣ,—бахвалиться-то сталъ въ тѣ поры, што и не слушалъ бы... Вотъ тѣ и ученъ, да вышло не выучепъ. И просвистался, безпутая голова.

— Стянули, милый; не кори напрасно-то!

— Кто-жъ?

— И сумнѣнья не знаю на кого класть, какъ передъ Богомъ скажу тебѣ, и не приму грѣха на душу кого бы клепать.

— Свѣтъ-то Божій не въ овчинку ли казался тебѣ въ энти дни, скажи-ко наперво...

— Не въ овчинку; видитъ Богъ, во всю мѣру его видѣлъ... Стянули, милый, не судачь. Какъ ты обронишь алибо што, коли бумажки-то въ воротникѣ азяма были зашиты у меня? Какъ, стало быть, разсчитался тогда я съ тобой-то, домой пришедши, сейчасъ же, милый, зашилъ ихъ, своими руками зашилъ, остальныя-то бумажки. Оно, точно, грѣшенъ... Суди меня Творецъ небесный судомъ своимъ праведнымъ... Суди! Погулялъ два денька... Ну, очнулся... Изболѣло, милый, сердце о домѣ... Пойду, думаю... Хватился за воротникъ-то азяма,—цѣлъ, зашитъ, какъ былъ мной зашитъ, такъ и есть...

— Зашитъ?

— Стежка въ стежку, словно вотъ самъ иглой ковырялъ. Такъ бы и ушелъ, слышь, полагая, што всѣ деньги въ цѣлости домой несу.

— А-а-а!

— Вѣрь! Ну, разсчитался это за фатеру, какъ слѣдуетъ; все это степенно, и не хвати у меня, слышь, семи гривенъ додать... Дай, думаю, размѣняю... Путинкой-то пойду, въ ино время, можетъ, и занадобится копейка, такъ ужъ не стать вынимать ихъ въ то время... И распоролъ воротникъ-то... И што-жъ, милый, гляжу? И бумажка-то тутъ лежитъ, въ кою деньги то завернуты были...

— Хе... въ воротникѣ? На томъ же мѣстѣ, куда ты клалъ?

— На самомъ томъ мѣстѣ, тутъ же, гдѣ клалъ и запошилъ ее.

— Иску-у-у-усно!

— Модель, какъ есть, братецъ, модель!... Ну, вынулъ я эту бумажку, разворачиваю.

— Пусто?

— И вѣкъ, ровно, не клалъ.

— Ай, ай... Ну, это, братъ, во-о-оръ... видать, што воръ!..

— Воръ, воръ... Какого тебѣ еще надо вора-то? Сыщика экаго...

— На кого-жъ полагаешь? Кто-жъ бы это, а?

— На кого? Нѣшто онъ мѣтку оставилъ, гдѣ искать его... Ну, на кого ты сумнѣнье покладешь, посуди! Вишь, вѣдь народу-то сколь

вездѣ! И то исшо посуди, вѣдь я и азяма-то съ себя не снималъ: дневалъ и ночевалъ въ немъ, какъ передъ Богомъ говорю тебѣ... Суди-жъ теперь мое-то дѣло по-божески. Суди!.. Што я теперь подѣлаю? Куда я, милый? Семья вѣдь у меня, четверо... што ни малъ-мала менѣ... Хозяйство... Баба-то за лѣто убивалась-убивалась, всю, поди, надежу покладала—вернусь, какая недостача въ хозяйствѣ—оправимъ ее. Оглянется Господь, прозимуемъ-то безъ горя... А што я теперь, куда? А-ахъ, Господи, Господи!—всхлопнувъ руками, произнесъ онъ, и изъ глазъ его покатились слезы.—Иванъ Матвѣичъ, оглянись ты на меня, выручи... И Господь тебѣ пошлетъ, со сторицей, можетъ, пошлетъ!—заключилъ Евсей, снова падая ему въ ноги.

— Э-эхъ ты, болѣзный, а? Да чѣмъ же я те выручу? — какъ будто дрогнувшимъ нѣсколько голосомъ спросилъ Иванъ Матвѣевичъ, снова приподнимая его.

— Купи! — шепотомъ отвѣтилъ ему совсѣмъ почти разбитый Евсей Макарычъ, показавъ на азямъ, лежавшій на скамьѣ. — Дай ты мнѣ четвертную бумажку за него; дай, милый, взыщетъ тебя Господь...

— Четвертную, говоришь?

— Ну... не на прогулъ прошу, не на прогулъ мнѣ, сердешный. . Слезу утереть по крайности. Я приду, подушну-то хоть очищу, а тамъ и оглянется, можетъ, Господь... справлюсь...

— Экое дѣло-то, хе... Жаль мнѣ тебя, другъ, и очень это даже прискорбно... ну, не судачь, не могу...

— Бога-то ради...

— Стеречься надо было, опять и скажу тебѣ... Гдѣ вотъ у тебя шаль-то, што бабѣ-то своей купилъ, а?

— О-охъ, не вспоминай, слышь,—съ болью въ голосѣ отвѣтилъ Евсей Макарычъ, не глядя на него.

— Не вспоминать!.. Вотъ, можетъ, Господь-то за это и караетъ вашего брата, што бабу, съ которой тебя Богъ обсоюзилъ, которая, можетъ, и денно, и нощно о твоемъ добрѣ радѣетъ, да о дѣтищахъ, спину-то, говорю, безъ устали гнетъ... такъ ты не хошь почтить... Куды-ы-ы-де, на што ей шаль да платъ!.. Таковская, штобъ горбъ-то гнуть безъ просвѣта да въ дермѣ ходить, изъ-подъ коего, можетъ, всѣ родимыя пятна сквозятъ! А шкурѣ какой-нибудь, прости Господи, такъ шаль пожертвовалъ, кою бабѣ своей уготовалъ, и то съ моихъ словъ... Чинно это, а?—строго спросилъ его Иванъ Матвѣичъ.

— Бей меня... бей... легче, говорю, будетъ.

— Бей!.. Эко утѣшенье какое,—бей!.. А теперя вотъ плачешь, въ ногахъ ползаешь... выручай вотъ тебя... Я вотъ посторонній чело-

вѣкъ, всего другой разъ тебя и вижу, да иди вотъ къ тебѣ на выручку, а за што, а? За то, што онъ вотъ тутъ проклажался съ какой-то шкурой да шары свои виномъ наливалъ, а? Чу-удно, право чудно!.. Нѣтъ, милый, чего, говорятъ, сѣютъ, то и жнутъ... Не судачь.

— Иванъ Матвѣичъ...

— Ну, я Иванъ Матвѣичъ. Чего-жъ тебѣ надо отъ меня? Нѣшто не слыхалъ, чего я сказалъ тебѣ, а? Для чего ты въ тотъ же день не ушелъ отселева, коли бы ежели у тебя сердце-то о домѣ болѣло? А еще попрощался со всѣми, какъ и путный какой... Для чего не отдалъ денегъ мнѣ на охрану, коли я тебя остерегалъ тогда единственно по добротѣ своего сердца, а-а?..

— А-а-ахъ, ты Боже мой... Господи... Да кабы знатье-то, говорю...

— А... а... тутъ такъ и „кабы знатье, говорю“, а? Ну, вотъ и учись, вотъ и наука, штобъ слушать добрыхъ людей, и свисти теперь, коли хвалился, што умѣшь свистать-то... хе-хе... Чу-у-удакъ, право чудакъ!.. А гляди, тоже я-жъ вотъ и виноватъ передъ нимъ сталъ. Онъ же вотъ еще и съ пенями ко мнѣ ввалилъ, посулилъ свою слезу на мою душу пролить, што я ему въ тѣ поры единственно по доброхотству рюмочку, другую поднесъ. Остолопъ ты, остолопъ, одно тебѣ и званье отъ меня!.. Помогай имъ... выручай ихъ... хе!.. Гляди, какія крестныя дѣтки нашлись!.. Да гдѣ вы и родитесь-то экіе? Поглядѣть бы хошь на тѣ мѣста да подивиться, право... Картину бы хошь списать, въ какомъ это урочищѣ экіе болваны на свѣтъ происходятъ, право... Четыре рубля дамъ, бери... и то ужъ по снисхожденью.. ну, будто сердце изныло...

— Четыре!—госкливо повторилъ Евсей Макарычъ.

— И то ужъ по добротѣ своего сердца, говорю. Понимай!

— Сердешный... куда-жъ я съ ними... Чего они мнѣ?

— Ужъ это твое дѣло; куда хошь, туда и дѣвай ихъ.

— О-охъ, Господи, Господи!..

— На-ко, получай! — произнесъ Иванъ Матвѣичъ, подавая ему четыре рублевыя асигнаціи.—И чувствуй... моли, говорю, Бога, што на меня напалъ, што я не въ другихъ, што душа-то, говорю, у меня какъ воскъ... А другой бы тѣ за одно твое похвальство да пени энти въ зашей бы наклалъ замѣсто помочи... Помни!..

Евсея Макаровича какъ будто пошатывало, когда онъ вышелъ изъ магазина Ивана Матвѣича и пошелъ вдоль улицы. Въ воздухѣ было холодно, а онъ былъ въ одномъ своемъ ветхомъ азямѣ, въ воротникѣ котораго прежде хранился скраденный у него заработокъ. На

село надвинулись уже густыя сумерки, въ окнахъ домовъ мелькали огни и тѣни, которыхъ нельзя было различить. Сумерки не дозволяли видѣть выраженія лица Евсея Макаровича. Пройдя улицу, онъ свернулъ направо въ переулокъ и, подойдя къ дому, въ которомъ стоялъ на квартирѣ, присѣлъ, обхвативъ голову руками, на бревно, лежавшее у забора. Сумерки давно смѣнились темною, непроглядною осеннею ночью. На дворѣ дома давно все стихло, какъ стихло все и на селѣ, только изрѣдка долеталъ откуда-нибудь лай собакъ или слышался скрипъ калитки, растворенной возвратившимся домой запоздавшимъ гулякой, а Евсей Макаровичъ продолжалъ сидѣть на бревнѣ, не чувствуя, повидимому, ни усталости, ни рѣзкаго ночного холода.

На утро хозяинъ дома, у котораго квартировалъ онъ, нисколько не безпокоясь о томъ, что жилецъ его не пришелъ ужинать и ночевать, вошелъ въ стайку, чтобъ выгнать коровъ и лошадей на водопой, и, случайно заглянувъ за уголъ ея, вздрогнулъ и отшатнулся... И было отчего отшатнуться: на опояскѣ, прикрѣпленной однимъ концомъ къ верхнему бревну угла, висѣлъ трупъ злосчастнаго Евсея Макарыча.

При осмотрѣ тѣла его волостными чинами въ карманѣ его шароваръ нашли четыре рубля и бумажку, въ которую былъ завернутъ скраденный у него заработокъ; дошли-ли хоть эти четыре рубля до семьи его, я не знаю.

Съ первыхъ чиселъ октября въ Т—ль начинаютъ наѣзжать довѣренныя отъ золотопріискателей лица для наемки рабочихъ. Съ пріѣздомъ довѣренныхъ и по мѣрѣ найма ими рабочихъ Т—ль быстро начинаетъ пустѣть, такъ какъ прямой интересъ довѣренныхъ вынуждаетъ ихъ формировать поскорѣе партіи изъ нанятыхъ ими рабочихъ и отправлять эти партіи на пріиски. Каждый довѣренный, кромѣ опредѣленнаго ему жалованья, получаетъ еще отъ золотопріискателя по рублю за каждаго нанятаго и доставленнаго имъ на пріискъ рабочаго и платитъ за каждаго бѣжавшаго изъ партіи рабочаго пять рублей штрафу; кромѣ того, вся сумма, какую онъ выдалъ въ задатокъ бѣжавшему, ставится на счетъ довѣреннаго. Въ довѣренные для найма рабочихъ пріисковая администрація выбираетъ людей опытныхъ, хорошо знакомыхъ съ условіями крестьянской жизни. Подобные люди среди пріисковыхъ служащихъ вырабатываются годами, и ими такъ же дорожатъ, какъ опытнымъ управляющимъ пріиска, отъ распорядительности котораго и знанія дѣла зависитъ все благосостояніе золотопріискателя. Большинство рабочихъ состоитъ изъ людей, которые, разъ попавъ на пріиски и втянувшись въ эту безотрадную жизнь, въ силу

большею частію постоянныхъ неоплатныхъ долговъ своимъ хозяевамъ, влачатъ эту жизнь уже до гробовой доски, или пока не останутся ни на что непригодными калѣками и тогда изъ милости проживаютъ уже на пріискахъ или пропитываются подаяніемъ, скитаясь по городамъ и селамъ. Иногда рабочему удается выпутаться изъ долговъ одному хозяину, и тогда уже по выбору они нанимаются къ другому, у котораго разсчитываютъ на болѣе лучшее житье или заработокъ. Большинство этихъ рабочихъ состоитъ изъ ссыльно-поселенцевъ, людей бездомныхъ, у которыхъ нѣтъ связующей нити съ крестьянскими общинами, къ которымъ они приписаны. Много подобныхъ рабочихъ и изъ крестьянъ, раззорившихся отъ какихъ-нибудь несчастныхъ случайностей. Годами скитаясь по пріискамъ, они утрачиваютъ всякую возможность возстановить свое хозяйство и, наконецъ, теряютъ всякую охоту къ осѣдлой жизни. Она становится для нихъ даже невыносимой. Среди сибирскихъ крестьянъ человѣка, ушедшаго на пріисковыя работы, не безъ основанія считаютъ погибшимъ человѣкомъ. Самая среда рабочихъ, въ которую онъ попадаетъ, дѣйствуетъ на него въ большинствѣ случаевъ растлѣвающимъ образомъ. Подобныхъ крестьянъ, также какъ и поселенцевъ, можно смѣло сравнить съ отрѣзанными отъ ихъ общества ломтями. Они по нѣскольку лѣтъ не показываются въ свою родную деревню, или село, предоставляя пріисковой администраціи высылать въ волость деньги, слѣдуемыя съ нихъ въ подать и мірскія повинности, и получать паспорта. Жены подобныхъ рабочихъ, если у нихъ есть жены, иногда вмѣстѣ съ ними скитаются по пріискамъ, вступая въ артели рабочихъ для исполненія женскихъ работъ или въ прислуги къ членамъ администраціи. Говорить-ли, какъ разрушительно дѣйствуетъ на этихъ несчастныхъ обстановка пріисковой, или, какъ говорятъ въ Сибири, „таежной жизни“. Онѣ впадаютъ въ самый крайній развратъ, пропивая вмѣстѣ съ мужьями иногда весьма крупныя средства, пріобрѣтаемыя подобнымъ путемъ, и чаще всего кончаютъ свою жизнь самымъ трагическимъ образомъ отъ рукъ своихъ безчисленныхъ поклонниковъ. Не менѣе печальна жизнь и тѣхъ женщинъ, мужья которыхъ скитаются по пріискамъ иногда по нѣскольку лѣтъ, не давая о себѣ никакой вѣсти. Онѣ мыкаются въ работницахъ, вынося всю безотрадность вдовьяго житья, пропитывая дѣтей единственно своимъ трудомъ. Иногда въ волость вмѣстѣ съ просроченнымъ паспортомъ придетъ письмо и на ея имя отъ дражайшаго супруга со вложеніемъ десяти, много пятнадцати рублей на нужды семьи и съ вѣстью, что онъ живъ и здоровъ. И снова пройдетъ послѣ того годъ, два, томительной неизвѣстности о судьбѣ ушедшаго. Иногда, возвра-

тившись послѣ долгой разлуки, супругъ встрѣчаетъ въ семьѣ своей приростъ и, махнувъ на все окружающее его рукой, снова уходитъ на пріиски и вѣсть о немъ получается уже изъ какого-нибудь острога, а иногда онъ такъ и пропадаетъ безъ вѣсти, падая или жертвой убійства или погибая отъ обвала въ шахтѣ или отъ тифа. Много подобныхъ безотрадныхъ разсказовъ объ участи крестьянъ, ушедшихъ въ заработокъ на пріиски можно услышать въ каждомъ сибирскомъ селеніи и деревнѣ. „Да такъ и замотался!“ заканчиваютъ обыкновенно крестьяне, повѣствуя о какомъ-нибудь Иванѣ или Сидорѣ, изба котораго стоитъ съ заколоченными наглухо окнами, накренившись на бокъ, точно съ тоски о своемъ владѣльцѣ. Если путнику, объѣзжающему сибирскія деревни и села, попадаются подобные дома, то это непремѣнно дома крестьянъ, замотавшихся на пріискахъ. Съ этимъ-то замотавшимся бездомнымъ людомъ и приводится имѣть дѣло лицамъ, довѣреннымъ отъ золотопріискателей для наемки рабочихъ. Понятно, что опытный довѣренный, занимающійся десятки лѣтъ наемкой рабочихъ, встрѣчаясь чуть не каждый годъ все съ одними и тѣми же лицами, отлично знаетъ всѣ нравственныя достоинства ихъ и недостатки. Не смотря на самыя дурныя условія жизни для рабочихъ, существующія на какомъ-нибудь пріискѣ, ловкій и умный довѣренный все-таки съумѣетъ залучить рабочихъ къ себѣ, залучить даже изъ тѣхъ людей, которые налагали заклятья на себя—не заглядывать на этотъ пріискъ.

— Эхъ, Иванъ, или какъ, бишь, тебя попъ-то впервые въ купели обругалъ?—говоритъ добродушно заигрывающимъ голосомъ подобный довѣренный какому-нибудь рабочему, физическая сила котораго и смышленность, развитая долговременнымъ пребываніемъ на пріискахъ, вынуждаетъ его дорожить пріобрѣтеніемъ подобнаго человѣка: — Ну, чего ты къ намъ-то не идешь, чего ты кобенишься, у другихъ-то развѣ лучше порядки-то, а?

— По сказкамъ-то выходитъ, кабы не въ примѣръ, нагляднѣй, ваше почтеніе, Петръ Ѳедорычъ!

— По сказкамъ... по сказкамъ,—говоритъ довѣренный, слегка передразнивая манеру выраженій рабочаго: — кто это сказки-то тебѣ сказываетъ, скажи-ка!

— Вѣстимо, кому же ихъ сказывать, какъ не нашей же братьѣ, рабочимъ.

— И ты вѣришь этому?

— А для ча бы и вѣры не дать, Петръ Ѳедорычъ? Воронъ ворону глазъ не выклюнетъ. Рабочій своего брата зря на пустомъ словѣ не станетъ проводить. Ужъ на вашихъ-то порядкахъ, не во гнѣвъ твоей

милости сказать, благодаримъ покорно!.. Ѣшь-то солоно, только запить окромя слезы нечѣмъ. Ужъ хуже-то, чай, нигдѣ не будетъ, такъ полагаемъ, а ужъ къ вашей милости при всемъ бы нашемъ радѣніи никакъ не могимъ, увольте!..

— Слушай, Иванъ, такъ што-ли я зову-то тебя,—ты Иванъ?

— Оно будто бы, ваша милость, и не совсѣмъ Иванъ, видать, запамятовали... Митріемъ кличемся болѣ-то, ну, да што-жъ, коли угодно, такъ для вашей милости и Иваномъ побудемъ: для насъ это все единственно!—съ лукавой ироніей отзывается рабочій.

— Такъ ужъ не пойдешь ко мнѣ, а-а?

— Не утруждайтесь, Петръ Ѳедорычъ, не могимъ!

— Гм... жаль, братъ, жаль! Такихъ работниковъ, какъ ты изъ тысячи одинъ выдастся,—жаль, откровенно говорю тебѣ! Ну, не идешь, такъ какъ знаешь—дѣло это твое—ты вольный казакъ: насильно милъ никому не будешь. А жаль, жаль—я тебя мѣтилъ еще и старостой въ партію назначить. Ну, ничего не подѣлаешь!—съ грустью говоритъ Петръ Ѳедорычъ, похаживая по комнатѣ. Водку-то пьешь?

— Потребляемъ-съ! хе... Отъ чего иного, а отъ энтой прорвы-то никуды не убѣжишь.

— Ну, покрайности выпей на послѣдкахъ-то, не даромъ будто разговаривали,—хоть языкъ смочи!

— Выпить оно што-жъ? Выпить мы отъ вашей милости завсегда готовы!—самодовольно улыбаясь, отвѣчаетъ рабочій, заранѣе обтирая отъ удовольствія усы и бороду.

Петръ Ѳедорычъ съ самымъ радушнымъ видомъ выноситъ несговорчивому рабочему стаканъ вина и какой-нибудь кренделъ. Осѣнивъ грудь крестнымъ знаменіемъ, Дмитрій, готовый для удовольствія довѣреннаго побыть Иваномъ, принимаетъ изъ рукъ его стаканъ и, пожелавъ ему всякаго благополучія, неторопливо опоражниваетъ его и закусываетъ кренделемъ.

— Оно што сказать, ваше почтенье, Петръ Ѳедорычъ, — начинаетъ Дмитрій, проглотивъ послѣдній кусокъ кренделя и замѣтно впадая въ болѣе уступчивый тонъ: житье-то нашему брату вездѣ не всласть! Энтакихъ порядковъ никакъ исшо и въ заводѣ нѣтъ, штобы касательно нашего брата попеченіе имѣть. Ну, ужъ только супротивъ вашего хозяина не взыщется иного — избави, говорю, Господи! Для вашей бы милости, Петръ Ѳедорычъ, рубаху бы снять готовъ, потому какъ вы завсегда къ намъ наипаче, говорю, милостивы, и то-исъ вотъ разорваться бы готовъ!.. Ну, только увольте, какъ предъ Господомъ Богомъ говорю, не могимъ къ вашему хозяину идти—потому свыше силъ!..

— Ну, не можешь, такъ чего же и разговаривать—какъ знаешь, дѣло это твое!..—соглашается съ нимъ довѣренный.

— То-ись вотъ... а-ахъ, Господи! Душу бы, говорю, выложилъ для вашей милости, ну, взядши хозяина вашего въ примѣръ, не могу... увольте!..

— Иди, иди съ Богомъ, дѣлать нечего!

— Съ радостью бы и въ огонь бы и въ воду—н-ну, не струна!—съ глубокимъ вздохомъ, всхлопывая себя руками по бедрамъ, говоритъ рабочій. Жизть-то вѣдь на вашемъ промыслѣ, ахъ, ты Боже мой, какъ подумаешь, а? Н-ну, пошли Господи вашему хозяину! А што, Петръ Ѳедорычъ, не во гнѣвъ спрошу, не пожалуете-ли мсшо изъ милости стаканчикъ, потому какъ мы отощали маненько на послѣдкахъ-то, стосковалися будто по прорвѣ-то эптой! — съ заискивающей улыбкой заканчиваетъ онъ. Ужъ ну, на послѣдкахъ-то будто снизойдите!

— Изволь, отчего же, выпей!

— Такъ-то ужъ мнѣ горько, што для экого-то барина, какъ ваша милость, одолженія-то сдѣлать не могимъ! — оговаривается Дмитрій, все болѣе и болѣе уступчивымъ тономъ, принимая вновь налитый водкою стаканъ: н-ну, чего доспѣшь, пошли вамъ Господи, Петръ Ѳедорычъ, за ваше добро!—говоритъ онъ, также неторопливо опорожнивая стаканъ и возвращая его. Ужъ такъ-то, говорю, сердце-то мое радѣетъ къ вамъ. А-ахъ, ты напасть, разорвался бы.

— Не разрывайся-ко, не отъ чего, а иди лучше ко мнѣ: будешь доволенъ, о-ой... идп!.. не забуду...

— Знамъ, што ужъ ваша милость не забудете!

— Ну, такъ зачѣмъ же дѣло-то стало, по рукамъ, а?

— Зачѣмъ... хе... иди... энто, стало быть, Петръ Ѳедорычъ, сызнова цѣльный годъ слезой прорѣхи въ карманѣ зашивай, а-а?

— Въ другомъ-то мѣстѣ, думаешь, покрѣпче нитокъ дадутъ тебѣ, а-а?

— Оно што сказать! Извѣстно, у пріискателевъ другихъ нитокъ про нашего брата въ запасѣ не держатъ, да все-жъ,—говоритъ онъ, съ нерѣшительностью почесывая въ затылкѣ, — а-ахъ, ты злочесть какая... н-ну! Давай не то мсшо стаканъ, Петръ Ѳедорычъ!—рѣшительнымъ тономъ говоритъ онъ.

— А пойдешь ко мнѣ въ наемъ, а?

— Поподчуй, а-ахъ, ты напасть, а? Вѣдь ужъ какъ заклинался, скажу тебѣ, Петръ Ѳедорычъ!—говоритъ Дмитрій, опорожнивъ третій стаканъ и впадая окончательно уже въ добродушно-откровенный тонъ: какъ заклинался, страсть тебѣ вымолвить, штобы это къ твоему хо-

зяину идти? Разрази... Ну, подбилъ ты меня этой прорвой-то! Э-эхъ, Петръ Ѳедорычъ, да што тутъ,— говоритъ онъ, махая рукой,—сколь ни говори—одно только путное слово и молвишь: давай задатокъ!

— Давно бы вотъ такъ-то, Митрій! — говоритъ видимо обрадованный Петръ Ѳедорычъ.

— Тебѣ, конешно, Петръ Ѳедорычъ, одинъ антиресъ — нанять бы человѣка! А мнѣ-то каково, а? Вѣдь я жизнь продаю, а? Ты што-о? Ты—баринъ добрый, завсегды скажу, радѣтельный, для тебя я теперича рубаху сниму, вѣрь, сниму, только ужъ и ты меня не гнети... семьдесятъ рублевъ мнѣ безъ слова!..

— Изволь,—дамъ!

— И штобы шубу мнѣ, это ты первымъ дѣломъ купи!

— Купимъ и шубу!

— И въ контрахтъ я тебѣ впишусь — што я вотъ, Митрій Петровъ Докучаевъ, о-отдаюсь тебѣ въ работу, безъ отдыху, ну, милый, только блюди...

— Чего блюсти-то?

— Соблюдай, говорю, што коли ежели Митрій Петровъ напаче чего залѣнится, альбо што—дери, и дышать ему не давай, какъ, стало быть, пробному мошеннику, но штобы насчитывать, штрафы класть избави тебя Господи! Блюди! Вѣдь съ меня, милый, однихъ энтихъ штрафныхъ у васъ болѣ сотни рублевъ изъ разсчета выдернули! Нѣшто это порядокъ, штобы за каждое слово пять рублевъ, да пять рублевъ брать, а? Я, можетъ, слово съ сердцовъ скажу, а ты и пиши его въ репортъ, обижай человѣка пятирублевкой, а? Нѣ-ѣ-ѣтъ! Ты рабочаго человѣка блюди, ты къ его копейкѣ не касайся ни подъ какимъ видомъ. За лѣность дери, хошь сни, говорю, на шкурѣ-то, толста—сдюжитъ. Но къ копейкѣ—избави тебя Господи касаться! Понялъ этотъ мой завѣтъ...

— Понялъ.

— Такъ и пиши, а теперь, стало быть, ты мнѣ господинъ, я тѣ слуга, а допрежъ только задатокъ, братъ, выложь! Э-эхъ, Петръ Ѳедорычъ, — продолжаетъ Дмитрій, пересчитывая данныя ему деньги: ужъ надоть бы съ тебя исшо стаканчикъ, будто для почину, а? Дашь што-ли?

— Вотъ ты и напьешься, Дмитрій, и пойдешь курить, и задатокъ весь спустишь съ рукъ!..—оговаривается довѣренный.

— Спать уйду, не трожь ты меня энтимъ словомъ.

— Ну, смотри же.

— И только ты крикни: „Митрій, въ дорогу!“ Сейчасъ, какъ

встрепанный, выскочу, ей-богу! Э-эхъ, Петръ Ѳедорычъ, ужъ ты, миляга, вѣдь знаешь меня... ра-а-аботникъ я, у-у-ухъ! Разнесу, де-е-ержись только! ..

— Работникъ-то, работникъ—чего говорить!

— Ну, и все тутъ слово, а теперь я, братецъ, на волѣ, теперь ты меня не обижай! Стаканчикъ-то, милый, исшо въ пору мнѣ будетъ—налей!

Дмитрій еще выпиваетъ стаканъ и окончательно разчувствовавшійся довѣряетъ по-безграмотству подписать за себя контрактъ, который ему даже и не читается. Деньги, полученныя въ задатокъ, исчезаютъ изъ рукъ его въ первые же дни и, сумрачный, какъ туча, онъ идетъ въ партіи на пріиски, гдѣ, конечно, выговоренный имъ завѣтъ не касаться къ заработанной копейкѣ остается безъ исполненія.

На обширномъ дворѣ Кузьмы Терентьевича, на улицѣ, около дома его и флигеля, въ которомъ помѣщался ренсковый погребъ, тѣснилась партія рабочихъ, готовыхъ къ отправкѣ; за плечами ихъ на опоясках, перекинутыхъ крестъ-на-крестъ, болтались холщевые мѣшки; у иныхъ весь походный багажъ заключался въ какомъ-нибудь узелкѣ съ короваемъ хлѣба да десяткомъ-двумя вареныхъ яицъ. Изъ оконъ сосѣднихъ домовъ съ любопытствомъ выглядывали женскія и дѣтскія головы; у воротъ стояли Т—іе мужички, вышедшіе проводить своихъ тороватыхъ гостей. Партія рабочихъ тѣснилась около дома Кузьмы Терентьевича въ ожиданіи повѣрки довѣреннаго, всѣ ли нанятые имъ люди на лицо.

На одной изъ ступенекъ крылечка дома Кузьмы Терентьевича сидѣли Дергачъ, Изотъ и еще нѣсколько человѣкъ рабочихъ; кто бы взглянулъ теперь на Дергача, то не повѣрилъ бы, что это тотъ самый щеголеватый князь, хвастливо кидавшій, нѣсколько дней тому назадъ, пригоршни денегъ. Онъ былъ въ старомъ рваномъ зипунѣ, въ войлочной шапкѣ и только бродни на ногахъ его отличались свѣжестью.

— Энто што-о!.. — говорилъ онъ, надвинувъ шляпу на глаза и почесывая правою рукою затылокъ.—Энто исшо въ мѣру куражится, энто исшо што за куражъ: часъ, другой подождать его? Нѣтъ, братъ, другой изъ ихняго брата дрыхнетъ себѣ до полсутокъ, почесть, а ты стой на ногахъ ни свѣтъ, ни заря, да выжидай его. А энтотъ што-о!.. энтотъ смиренный...

— Нѣшто ты знашь его?..—прервалъ его одинъ изъ молодыхъ рабочихъ, стоявшій у крылечка, опершись на лавку.

— Ты спросилъ бы лучше, кого и чего я не знаю, обстоятельнѣй бы былъ!..—отвѣтилъ ему Дергачъ. Матвѣя-то Иваныча,—продол-

жалъ онъ, я знаю съ кѣихъ еще поръ, когда его впервые въ контору-то привезли, почесть, еще мальчикомъ; на моихъ глазахъ онъ всѣ должности происходилъ. Ну, теперь, вишь, изъ посконнаго-то ряду въ довѣренные выползъ... чинъ тоже не малый.

— И доходный?..

— И... и... доходу имъ отъ нашего брата... знай загребай... на то и должность эта, штобы рука длиннѣй мѣры росла... Ужъ коли ты увидишь человѣка, у коего, къ примѣру, рука, какъ грабля, такъ ужъ и знай: што альбо онъ управляющимъ на промыслахъ былъ, али довѣреннымъ, — заключилъ Дергачъ, сдвигая шапку на затылокъ. Эх-ма-а-а!—протянулъ онъ.—Вотъ ужъ на пятый десятокъ перекатилъ, братцы... Тридцать годковъ безъ удержу таежныя-то тропы топчу... Ну, не видывалъ еще среди служащихъ подходящаго человѣка, штобы таперича сказать можно было: дай ему Господи добро здоровье. Не видывалъ!.. Бакланъ!..—неожиданно крикнулъ онъ.—Эй! Баклуха!..—повторилъ онъ.

— О-о-о!.—отозвался стоявшій у воротъ пожилой уже рабочій съ мясистымъ наростомъ на шеѣ, отчего голова его казалась нѣсколько склоненной на сторону.

— Подь сюда, присядь, чего у Кузьмы ворота-то замѣсто столба подпирашь? Вотъ, братцы, ровесникъ почесть, вмѣстѣ мы съ нимъ впервые на работу эту пошли, да вотъ сызнова вмѣстѣ угодили, видать ужъ въ послѣдній!?.

— Не зарекайся!..—отозвались слушатели.

— Въ жизнь свою на себя зароковъ не клалъ и класть не буду, знай!.. Какъ ты можешь, немощный человѣкъ, зарокомъ утруждать свою совѣсть, што вотъ-де этого, аль того не сдѣлаю?.. Коли я не знаю, чего со мной завтра будетъ аль што, а? А только ужъ годы, други, идутъ!.. И тотъ же Дергачъ да не тотъ ужъ становлюсь, чую!.. Э-эхъ, не тотъ!.. Энто кто бы на меня посмотрѣлъ годковъ двадцать назадъ, а-а?.. И... и былъ конь, ну, изъѣзженъ!..—съ какою-то грустью въ голосѣ произнесъ онъ. „Изъѣзженъ!..—повторилъ онъ, тряхнувъ головой, отчего шапка снова подалась на затылокъ. Энто теперь въ ину пору подумашь: што есть человѣкъ?.. бреніе, истинно!.. это въ писаніи сказано. Съ первоначалу-то это, съ молодыхъ-то годовъ, прибытокъ льстилъ, рвался бывало вѣдь изъ кожи, штобы тебѣ теперича лишній рубь въ карманъ залучить; а не было во мнѣ энтой струны, други, штобы къ хозяйству приручиться.

— Да ты откелева, Дергачъ, родомъ-то будешь?..—спросилъ его одинъ изъ слушателей.

— Отсюда, братъ, не видать, далеко!..

— Домъ гдѣ есть, што-ли?

— Былъ бы, какъ бы захотѣлъ, можетъ почище, чѣмъ у Кузьмы... да-а, былъ бы... Н-ну, не тянетъ. И штой-то я за человѣкъ, други, въ понятіе взять не могу. Вѣрь... Сколь этихъ денегъ, што воды, межу пальцевъ просочилось, страсть!.. Въ ину пору даже тоска изниметъ, особливо разнеможешься когды, што зря ихъ пробросалъ. И могъ бы я жить, милые, припѣваючи, въ полномъ коштѣ, не натруждая спины. Ну... попадутъ только, проклятыя, въ руки, такъ словно, слышь, пальцы жгутъ, словно уголья, говорю... диви-жъ вотъ! Нѣтъ ужъ, други, видать, энто дѣло такое, што разъ ты пошелъ по какой дорогѣ, такъ ужъ тебя, што упрямаго мерина, ничѣмъ съ нея не своротишь.

— Василь Петровичъ!..—неожиданно прервалъ его Изотъ, по лицу котораго при послѣднихъ словахъ его пробѣжала злобно-лукавая улыбка,—ты што это въ меланхолію-то вдарился, а-а, поддержи характеръ-то, а то, эво, гляди, о домѣ заскучалъ!.. да нѣшто про нашего брата домовъ нѣтъ, а-а? коли объ отдыхѣ взгруснется.

— Гдѣ-жъ экія строенія?..

— Гдѣ?.. хе!.. не ты бы говорилъ, не я бы слушалъ! Гдѣ?.. въ любомъ городѣ хоромы-то эти высятся и не простыя, а каменныя. Отдыхай, сколь знашь, и харчей тебѣ нанесутъ, ѣшь не хочу, знай жирѣй; а то-есть о чемъ горевать, а?.. о домѣ изъ-за готоваго строенія.

— Изотка, и шельма же ты, погляжу!

— А ты въ первой примѣтилъ исшо!.. Э-эхъ, Василь Петровичъ, а тоже умомъ хвалишься въ ину пору. Да нѣшто мы съ тобой пригодные къ хозяйству люди?.. Нѣшто перелетная птица усидитъ тебѣ на одномъ мѣстѣ, а? Ни въ жизть!.. Вотъ голову прозакладую: дай тебѣ домъ, хозяйство, золоти, чѣмъ хошь, но скажи: сиди только дома, не усидишь!

— Вѣрно!

— Не усидишь, сама нога пойдетъ!.. Да возьми ты меня, неужъ я промѣняю энту жизть на хозяйство?.. да убей меня Господи! Ужъ одно тебѣ, вольный казакъ, ходи себѣ по бѣлому свѣту да выглядывай, гдѣ на какой манеръ народъ мыкается. Отдохнуть захотѣлъ, такъ нѣшто въ острогъ-то двери заперты для нашего брата, а-а? Милости просимъ, завсегды намъ рады тамъ, радехоньки, а отдохнулъ, успокоился, сдѣлай одолженіе, была бы голова на плечахъ, ужъ скважинку, въ какую вылѣзть, найдешь.

— А-а, ахъ-ха-ха-а!..—раздалось среди слушателей,—найдешь!

— Изыщешь, плевое это дѣло!.. Теперича вотъ такъ скажу: и очень мнѣ даже не понутру это въ работу идти; ну, задатокъ взялъ,

стало быть, волей не волей, а иди, робь. А все не горюю и меланхоліи этой близъ себя не подпущу. Взгрустнется коли, въ бѣгъ ударился, отдохнуть захотѣлъ, объявись только Иваномъ Непомнющимъ изъ небывалой губерніи, незаписаннаго уѣзда, неоплатной волости, изъ деревни ни кола, ни двора и отдыхай себѣ въ каменной хоромѣ, сколь хошь. Ну, это ли не жизть, а?..

— О-о-охъ, и жи-изть, шутъ ее дери! — пронеслось среди слушателей.

— Деньги коли занадобились, и тутъ истомы не подпущу къ себѣ, сичасъ, сколь угодно, найду ихъ! — хвастливо дополнилъ Изотъ.

— Не заврался-ли, Изотка, ой, пощупай-ко языкъ-то! — насмѣшливо прервалъ его Дергачъ.

— Не свычное для насъ это дѣло, Василь Петровичъ! — обидчиво отозвался на замѣчаніе его Изотъ. Ужъ кто другой, а вы-то нашу персону достаточно, кажись, спознали; заврался!.. А што вы теперича скажете на это мое слово, если я въ самомъ што ни есть ближайшемъ времени, коли захочу, то въ тыщи-то, какъ въ орѣхи, буду играть, а-а? — подбоченившись и ухорски сбивши свою скомканную шляпу на бекрень, спросилъ Изотъ.

— Ты... это?!.. — пристально глядя на него, спросилъ Дергачъ.

— Я, ссыльно-поселенецъ, Изотъ, по пачпорту Неплюевъ.

— О-о!.. ну, и диво же будетъ! аль и тутъ тебя корешекъ отъ неболтай-травы выручитъ, а? — насмѣшливо произнесъ Дергачъ.

— У насъ на всякій случай особенный корешекъ имѣется, Василь Петровичъ! Знайте да помалчивайте, да-а-а! А штобы теперича Изотъ Неплюевъ, пройдя огонь и воду, и мѣдныя трубы, да коли захотѣлъ бы найти свою фортуну, такъ не нашелъ бы ее, а-а? со дна моря ее за хвостъ вытяну, знай! Это штобы теперича экій молодецъ, какъ я, да коли бы захотѣлъ, такъ въ такой задвенной сторонушкѣ, какъ Сибирь не мшеная, да въ чинъ бы не вышелъ, медали бы не надѣлъ, да разрази меня горой, и живъ быть не хочу!..

— Тьфу ты, болото! — произнесъ Дергачъ, сплюнувъ, при общемъ хохотѣ слушателей, — „ме-е-е-едаль!“ — презрительно протянулъ онъ: рази на желѣзной цѣпи на ноги? ну, это, пожалуй, самый по тебѣ нарядъ будетъ.

— На выю-съ!

— Ты энто на выю медаль получишь?!

— Я-съ, и даже первымъ человѣкомъ могу по губерніи стать, коли захочу. Да-а-асъ! Што очи-то таращите, аль сумнѣніемъ задались, а-а? Э-эхъ, Василь Петровичъ, Василь Петровичъ! — произнесъ

ПОСЛѢДНЕЕ ПРОСТИ.

На площади около казармъ и общественнаго городского сада стояла совсѣмъ готовая къ походу партія рекрутовъ. Вокругъ ея толпились мужики и бабы, наѣхавшіе изъ сосѣднихъ деревень для послѣдняго прощанья съ родичами, идущими на чужбину. Повсюду среди нихъ слышался громкій говоръ. Изрѣдка явственно раздавалось тоскливое всхлипываніе какой-нибудь молодухи или нескладно затянутая пѣсня не совсѣмъ еще отрезвившимся отъ дикаго разгула бобылемъ-наемщикомъ.

Небо было хмурое, осеннее, непривѣтно озарявшее эту картину, порой накрапывалъ мелкій дождь. Порывистый вѣтеръ со свистомъ нагибалъ обнаженныя деревья и назойливо сдергивалъ покрывала съ лотковъ калачницъ, расположившихся тутъ же съ своимъ заманчивымъ товаромъ и звонко зазывавшихъ къ себѣ на перебой другъ у друга покупателей.

Въ сторонѣ, у самой рѣшетки сада, у телѣги, запряженной буланою, понурившею голову, кляченкою, сидѣла молодая женщина въ синемъ байковомъ шушунѣ; голова ея, уродливо обвитая красной шалью, склонилась на грудь сидѣвшаго рядомъ съ ней рекрута, на колѣняхъ котораго копошился двухъ-годовой ребенокъ, играя кожанной пуговицей его форменнаго пальто. Старуха-мать укладывала въ развязанный ранецъ разнаго вида и объема узелки, и старшій сынъ ея, братъ рекрута, мужчина съ блѣднымъ болѣзненнымъ лицомъ, помогалъ ей, то придерживая его, то уталкивая колѣномъ неплотно уложившіяся вещи. Между тѣмъ высокій худощавый старикъ-отецъ угощалъ водкой конвойнаго солдата и вмѣстѣ съ тѣмъ дядьку новаго служаки.

— Такъ ужъ, почтенный, того... ослобоняйте по возможности: парень молодой, непривышный еще къ вашему дѣлу!—говорилъ онъ съ легкимъ дрожаніемъ въ голосѣ, поднося ему до полна налитую чарку.

— Насчетъ эфтого, одно слово, будьте безъ сумленія!—отвѣчалъ тотъ, обтирая усы, запачканные сокомъ только-что съѣденнаго имъ морковнаго пирога;—мы вѣдь тоже на эфтотъ счетъ понятіе имѣемъ!

— Да пожалуйте, просимъ милости, откушайте!

— Нѣтъ, отъ эфтого ужъ ослобоните: и безъ того много доволенъ

вашимъ усердствованіемъ, ублаготворился! — и служивый легонько отвелъ рукой подносимую ему чарку: — вѣдь намъ таперича походъ ломать.

— Пожалуйте!—настаивалъ старикъ:—да закусите, чѣмъ Богъ послалъ, не поспѣсивтесь!

— Закусить оно точно слѣдуетъ, путь дальній... можно-съ! — и онъ взялъ изъ телѣги, гдѣ лежали приготовленные въ дорогу новобранцу припасы, давно уже замѣченную имъ жирную тыквенную ватрушку.

— Митюха, подь сюда!—крикнулъ старикъ.

Рекрутъ, сидѣвшій все въ томъ же положеніи, отдалъ ребенка женѣ и подошелъ къ нимъ.

— Вотъ, Митюха,—началъ старикъ,—господинъ служивый обѣщался коли и ослобонять тебя, чего дѣлать-то!—и онъ, вздохнувъ, посмотрѣлъ безцѣльно въ сторону, какъ бы желая утаить навернувшуюся на глазахъ его слезу...—да пожалуйте, кушайте, — и онъ снова поднесъ служивому чарку.

— На счетъ какихъ ни на есть порядковъ или таперича чего прочаго, одно слово, будьте безъ сумленія; мы вѣдь тоже сами лекрутами были,—говорилъ дядька,—а касательно водки, такъ будто не могъ отказаться... Желаемъ благополучности!—сказалъ онъ, принимая чарку.

— Просимъ милости! — отвѣчали, кланяясь, и старикъ, и рекрутъ:—пожалуйте на доброе здоровье.

Дядька за одинъ духъ выпилъ ее и крякнувъ принялся за ватрушку.

Въ это время раздался бой барабана. . били сборъ; тяжело отозвались звуки его въ сердцахъ присутствовавшихъ.

— Ну, скорѣе, маменька, укладывай, вонъ ужъ барабанятъ, — говорилъ, утряхивая ранецъ, братъ Митюхи.

— Сейчасъ, Ѳедя, постой, сейчасъ, — отвѣчала она, укладывая въ него послѣдній узелокъ, снятый ею съ груди своей: въ немъ были завязаны завѣтныя для нея трудовыя копейки, которыя, можетъ, она пасла къ своему смертному часу.

— Ну, пора, болѣзные, и попрощаться!—покончивъ расчетъ съ ватрушкой и заслыша барабанъ, сказалъ служивый, надѣвая на себя ранецъ.

— Вотъ, Митя, я все поклала, чего надоть; коли починиться зануждаешься, такъ тамотка по два пасма и черныхъ, и бѣлыхъ ниточекъ я припасла тебѣ... знала-ли я, прявши ихъ, что они пойдутъ съ тобой на чужбинушку... О-охъ!—и старуха заплакала.—Да вотъ, гос-

сподинъ служивый, ужъ не забывайте его, попомните мою материнскую жалость, — говорила она, обратившись къ солдату и подавая ему трубку холста...—примите, не побрезгайте—это я вамъ на память!

— Вотъ ужъ эфто, доложу вамъ, совсѣмъ лишнее, и безъ того много доволенъ вашими милостями,—отвѣчалъ онъ, принимая трубку и опустивъ ее въ широкій карманъ своихъ шароваръ.

— Ну, все, што-ль, готово?—спросилъ старикъ.

— Все, родной мой, все!.. ахъ!.. не видать ужъ мнѣ моего соколика, на то-ли я вспоила, вскормила его, на такую ли безталанную горькую долю взростила!..—старуха зарыдала; сидѣвшая у телѣги жена новобранца, укачивавшая ребенка, тоже не выдержала и заголосила; проснувшійся ребенокъ, корчась отъ холода, покрылъ наконецъ рѣзкимъ визгомъ своимъ и печальныя слова матери, и скорбное рыданіе жены.

— Ну, Митюха!.. — сказалъ старикъ, — простись съ матерью, да благослови своего ребенка... и голосъ измѣнилъ ему.

Митюха, какъ снопъ, повалился въ ноги безутѣшно-рыдавшей матери: „прости родимая!“ могъ только сказать онъ.

— Эхъ! — проговорилъ дядька, смотря на раздирающую душу картину прощанія, и отвернулся; ему тоже, можетъ, припомнилась та минута, когда онъ сказалъ послѣднее прости родному селу и близкимъ ему людямъ. И вотъ ждетъ теперь старуха-мать вѣсти о сынѣ, ждетъ неустанно день и ночь и не дождется!.. а можетъ и устала ждать; не бьется уже болѣе такъ чутко сердце ея при видѣ проходящаго въ побывку солдата отъ сладкой надежды: не онъ-ли?.. Чужіе люди, можетъ, давно свалили ее въ могилу.—Эхъ!—снова проговорилъ онъ, и предательская слеза скатилась на длинные усы его.

— Бабушка, простись съ Митріемъ-то:—идетъ ужъ совсѣмъ,—подойдя къ телѣгѣ и слегка толкая лежащую въ ней слѣпую дряхлую старуху, говорилъ Ѳедоръ.

Дмитрій подошелъ къ ней; грустенъ былъ безчувственный, убитый печалью видъ его. Только изрѣдка судорожное подергиваніе мускуловъ въ лицѣ давало знать, что не совсѣмъ еще притупилась боль въ его сердцѣ... она заснула только на время, чтобы проснуться потомъ съ новою силою.

Старуха поднялась и, костлявыми пальцами ощупавъ лицо его, какъ-то дѣтски захныкала.

А барабанъ давно уже билъ генералъ-маршъ.

— Эхъ, пора, почтенные—чего подѣлашь-то: авось, Богъ и вынесетъ—простись, да и пойдемъ,—настаивалъ дядька.

— Прощай, Митюха, отписывай, гдѣ будешь... ну, Богъ съ тобой, прощай,—и братья крѣпко поцѣловались.

— Не покинь, Ѳедоръ, Ѳедосьи съ малымъ дѣтищемъ, будь имъ отецъ родной: по гробъ не забуду твоей милости,—упрашивалъ Дмитрій.

— Не печалься, Митюха... покуда живъ, не пойдетъ за кускомъ къ чужому порогу: вотъ тебѣ слово мое.

— Прощай, матушка! простите, родные мои! —и Дмитрій снова упалъ имъ въ ноги...—прости, моя болѣзная, береги мое дѣтище.

Ѳедосья, какъ безумная, кинулась къ нему и обвила его своими руками.

Ѳедоръ почти безчувственную оттащилъ ее отъ брата.

— Эхъ, почтенный, не мучь себя, простись разомъ, да и пойдемъ, а то такъ-то тяжельше еще нутро надрывается, — и дядька началъ надѣвать на него ранецъ. Господи благослови! — сказалъ онъ, когда пристегнулъ совсѣмъ ремни. Ну, простите, добрые люди, дай вамъ Богъ всего хорошаго... не забывайте меня и ужъ я васъ, вотъ какъ есть, не забуду; много доволенъ вашими милостями... Ну, пойдемъ, Митюха...

Старикъ-отецъ, крѣпившійся долѣе всѣхъ, наконецъ, не выдержалъ и, прислонивъ сѣдую голову къ ободу телѣги, заплакалъ; жена его лежала на землѣ, какъ убитая:—горе окончательно подломило ея дряхлѣющія силы. А Ѳедосья долго еще порывалась въ слѣдъ уходящему мужу, но Ѳедоръ удерживалъ ее; до Митюхи только доносился вопль ея: „Желанный мой, на кого ты покинулъ меня, горемычную?“

Партія постепенно удалялась подъ мѣрный бой барабана, а вызванные впередъ пѣсенники дружно, разомъ гаркнули: „я посѣю, сѣю млада-молоденька!“

Скоро партія скрылась совсѣмъ изъ виду, только звуки пѣсни доносились еще, да виднѣлся обозъ, тянувшійся за ней. Калачницы, перебраниваясь, снимали уже со скамеекъ свои лотки, разъѣзжались, и наѣхавшіе для проводовъ родичей мужички, иные, впрочемъ, тутъ же сворачивали на перепутье въ кабакъ, чтобы залить сосавшее ихъ горе. Наконецъ и телѣга, заложенная буланою клячею, скрипя, тронулась съ своего мѣста; старикъ сидѣлъ въ ней. понуривъ голову, а мать жадно впилась глазами въ туманную даль и крестила воздухъ, посылая послѣднее благословеніе ушедшему сыну.

Одинъ ребенокъ спалъ тихимъ, безмятежнымъ сномъ, приникнувъ къ груди плачущей Ѳедосьи, — одинъ онъ не понималъ всей горечи понесенной имъ утраты.

КАЮЩІЙСЯ.

(ОЧЕРКЪ).

Въ густой березовой рощѣ, примыкавшей къ селу Глазову, саженяхъ въ сто отъ жилыхъ строеній, стояла уединенная избушка, примыкая задней стѣной къ двумъ толстымъ березамъ, раскинувшимъ надъ ней какъ шатеръ свои широкія, густыя вѣтви. Избушка была срублена изъ тонкаго березоваго лѣса, не очищеннаго отъ коры и напоминала своимъ видомъ тѣ оригинальныя будочки для сторожей, какія въ послѣднее время появляются въ городскихъ садахъ и паркахъ. Маленькія окна избушки были затянуты бычачьимъ пузыремъ, низенькая дверь болталась на веревочныхъ петляхъ, вмѣсто крыши на ней былъ положенъ въ два ряда дернъ, и густая трава, какою дернъ зарасталъ лѣтомъ, свѣшиваясь внизъ причудливыми фестонами, придавала этому крошечному убогому зданію чрезвычайно живописный видъ.

Въ теплый тихій вечеръ на порогѣ избушки сидѣлъ иногда старикъ, голова котораго только на вискахъ и затылкѣ была покрыта жиденькими пожелтѣвшими отъ времени волосами; такія же жиденькія клочья желтѣвшихъ волосъ виднѣлись и на бородѣ. При свѣтѣ потухающей зари онъ чинилъ порою рубаху, зипунъ или бродни, съ трудомъ продѣвывая нитку въ толстую иглу, а иногда читалъ. Когда онъ читалъ, то высохшія губы его беззвучно шевелились и вся наружность его имѣла въ эти минуты строго-величавый видъ, но чаще всего ветхая дверь избушки была замкнута снаружи деревяннымъ болтомъ, что доказывало объ отсутствіи ея обитателя. Рѣдко можно было застать дома Еремѣя Васильевича; такъ звали старика, владѣльца этой избушки. Только, бывало, усядется онъ въ свободный вечерокъ починить свой ветхій гардеробъ, какъ откуда-нибудь изъ-за угла вывернется посѣтитель или верхомъ на лошади, или въ узенькой телѣжкѣ одноколкѣ.

— Никакъ сынокъ Семена Артемьича изъ Клинковъ?—спроситъ, бывало, старикъ, приставивъ ладонь къ глазамъ и внимательно осматривая гостя, привязывающаго лошадь къ какому-нибудь сучку у березы.

— Я, я, Еремѣй Васильичъ,—откликнется тотъ,—все ли по здорову Богъ несетъ тебя?—спроситъ онъ, приподнимая шапку и подходя къ нему.

— Живу, живу, пока Богъ грѣхамъ терпитъ, у васъ-то все ли ладно, всѣ ли здоровы, живется-то какъ?—съ участіемъ спрашивалъ старикъ каждаго.

— Живемъ-то ничего... даже очень бы сподручно, только вотъ дяденька, Максимъ Егорычъ, оплошалъ маненько... приказалъ тебѣ кланяться да долго жить.

— Померъ?

— Сегодня въ утро, на самой зарѣ никто и не примѣтилъ, какъ Богу душу отдалъ,—объявлялъ гость.

Старикъ нѣсколько минутъ молча осѣнялъ свою голову и грудь широкимъ крестомъ: „Въ порѣ бы еще былъ человѣкъ, пожить бы надоть“, грустно произносилъ, наконецъ, онъ, качая своею голою головой.

— И мы-то говоримъ, что пожить бы надоть ему, какія его лѣта, всего на пятый десятокъ перевалило... скучалъ онъ за послѣднее время, животомъ все скучалъ. Вчера еще малымъ дѣломъ поробилъ, а ужъ къ вечеру-то ослабѣлъ, прилегъ соснуть, ночь-то всю, сказываютъ, прометался, а къ угру-то затихъ, да такъ, что, ровно, и на свѣтѣ никогда не жилъ.

— Убивается поди, Степанида-то Ефимовна?—со вздохомъ спрашивалъ старикъ.

— Пятеро вѣдь на рукахъ-то осталось. Посуди, каждаго взнять надо. За тобой вѣдь я, Еремѣй Васильичъ, прибѣжалъ,—доканчивалъ парень.

— Знаю, знаю. Сейчасъ,—говорилъ Еремѣй Васильевичъ, входя во внутрь своей избушки, и чрезъ минуту выходилъ уже готовый въ путь. Сборы старика были не продолжительны. Обнаженную голову онъ обвязывалъ обыкновенно вмѣсто шапки дырявымъ клѣтчатымъ платкомъ, концы котораго спускались на спину ветхаго, до-нельзя изношеннаго полушубка, болтавшагося на плечахъ старика, какъ на вѣшалкѣ. Зимою и лѣтомъ онъ ходилъ въ одномъ и томъ же полушубкѣ, съ голой шеей и грудью; смуглое выгорѣвшее тѣло его, казалось, не чувствовало ни жара, ни холода. Если за нимъ пріѣзжали изъ ближней деревни, то онъ всегда шелъ пѣшкомъ къ умершему читать псалтирь, и только тогда садился на лошадь, когда деревня стояла далеко въ сторонѣ, и пѣшій путь отнялъ бы много времени. На спинѣ старика, во время его странствованій, всегда болтался побурѣвшій отъ вре-

мени кожанный мѣшокъ, хранившій въ себѣ все его имущество, заключавшееся въ истрепанномъ псалтирѣ, въ кожанномъ переплетѣ съ желѣзными застежками, въ евангеліи и библіи. Другого имущества не было у Еремѣя Васильевича. Если бы кто-нибудь изъ любопытства вошелъ въ отсутствіи его въ избушку, то увидѣлъ бы висѣвшую въ переднемъ углу икону нерукотворнаго Спаса, сильно источенную тараканами, широкую лавку у стѣны, съ настланнымъ на нее сѣномъ, замѣнявшемъ постель, и два небольшихъ деревянныхъ обрубка, служившихъ вмѣсто стула и стола. Небольшая невыбѣленная печь плохо нагрѣвала избу, стѣны которой сильно сквозили. Кухонныхъ принадлежностей, кромѣ деревянной чашки и берестяного туяса, у Еремѣя Васильевича не было; онъ давно отказался отъ мяса, рыбы, молока и яицъ, и вся пища его заключалась въ черномъ хлѣбѣ съ солью; иногда онъ разнообразилъ ее лукомъ, рѣдькой, картофелью, какую давали ему добрые, сострадательные сосѣди. Онъ не просилъ милостыни, онъ былъ не нищій. Если кто вспоминалъ его и приносилъ ему ломоть хлѣба, онъ принималъ, и по нѣскольку дней сидѣлъ голоднымъ, питаясь кореньями или ягодами, если про него забывали; но это было рѣдко. Какъ я сказалъ уже, избушка Еремѣя Васильевича чаще всего была на запорѣ. Его знали не только въ X—ой волости, но даже и въ смежныхъ съ ней волостяхъ и звали къ умершимъ читать псалтирь. Богатый-ли былъ покойникъ, или бѣдный, Еремѣй Васильевичъ не принималъ платы за свой трудъ, онъ бралъ по обычаю бѣлье, оставшееся послѣ покойнаго, но это бѣлье раздавалъ по деревнямъ бѣднымъ вдовамъ, имѣвшимъ на рукахъ много дѣтей, а самъ имѣлъ всего одну рубаху и если занашивалъ ее, то стиралъ въ ручьѣ, протекавшемъ не далеко отъ его избы.

Еремѣю Васильевичу въ то время, какъ я узналъ его, было болѣе семидесяти лѣтъ. Много времени прошло съ тѣхъ поръ, я какъ теперь вижу длинную тощую фигуру его въ ветхомъ, усѣянномъ заплатами полушубкѣ, съ голой шеей и грудью. Высокій лобъ, изрѣзанный глубокими морщинами, клочки нависшихъ бровей и черные большіе, проницательные глаза, свѣтившіеся изъ глубокихъ впадинъ, производили глубокое впечатлѣніе. Кто видѣлъ разъ этого оригинальнаго старика, тотъ долго не могъ забыть его. Рѣчь его была тиха и въ старческомъ, нѣсколько пѣвучемъ голосѣ таилось что-то обаятельное, притягивающее къ себѣ. Онъ былъ уроженецъ села Глазова и старики, однолѣтки Еремѣя Васильевича, глядя на нищенскую жизнь его, разсказывали много исторій про его прошлое, отъ которыхъ становилось жутко и даже не вѣрилось, чтобъ этотъ симпатичный старикъ, полный такого самоотверженія всю жизнь на облегченіе нуждъ и горя, посвятившій своихъ ближ-

нихъ, могъ быть когда-то „скаредомъ и живодеромъ“, какъ говорили его сверстники по лѣтамъ. Къ старику Еремѣю не всѣ относились съ участіемъ и много находилось людей, мстившихъ ему за печальное прошлое: „Вонъ окаянный, а теперь покаянный идетъ!“ говорили иногда крестьяне, завидѣвъ его, „у-у-бабій огрызокъ!“ „Еремка-пустосвятъ!“ кричали въ слѣдъ ему, даже дѣти, и палка или камень, брошенные мѣткою рукою, попадали въ голову или ноги старика, молча сносившаго наносимыя ему обиды.

— Грѣхи замаливаетъ,—глядя, бывало, на Еремѣя Васильевича, спѣшно идущаго въ жаркій знойный день или въ трескучій морозъ въ какую-нибудь деревню къ умершему, говорили старики,—и есть чего замолить. О-охъ! черно на его душенькѣ, не одну семью на вѣку-то своемъ по міру пустилъ. Это кто-бъ въ прежнюю-то пору посмотрѣлъ на Еремѣя Васильевича, такъ и тѣни не увидѣлъ бы того Еремки, что въ берестяный туясъ теперь залѣзъ, да въ поношенной овечьей шкурѣ сугреву набирается,—говорили другіе, глядя на его „берлогу“, какъ называли они его избушку.

Однажды случай свелъ меня съ Еремѣемъ Васильевичемъ: мнѣ нужно было спросить его по дѣлу въ качествѣ свидѣтеля. Я разговорился съ нимъ, онъ охотно отвѣчалъ мнѣ на предлагаемые вопросы. Старикъ много видѣлъ на своемъ вѣку, исходилъ всю Россію и все, что было подмѣчено имъ, не прошло безслѣдно для его наблюдательнаго ума, щедро одареннаго тѣмъ мѣткимъ сарказмомъ, какой составляетъ чуть-ли не исключительное свойство русской натуры. Когда же я его спросилъ: есть-ли у него родные, онъ съ минуту помолчалъ, потомъ вздохнулъ и чуть слышно отвѣтилъ: „всѣ въ землѣ“, и при этомъ на глазахъ его навернулись слезы.

— Обчество достойно и праведно смѣется надо мной,—отвѣтилъ онъ мнѣ на вопросъ: въ хорошихъ ли отношеніяхъ живетъ онъ съ обществомъ?—Оно не отвернулось отъ меня какъ бы по настоящему-то слѣдовало, оно еще вонъ кормитъ, меня окаяннаго, хлѣбъ даетъ мнѣ, за то, что я когда-то обиралъ ихъ, нищихъ, и безъ того уже обобранныхъ. Аль, ты не знаешь съ кѣмъ ты говоришь, кто передъ тобой-то стоитъ?—спросилъ онъ меня.

— Нѣтъ, не знаю.

— И лучше, что не знаешь, а то бы и ты отвернулся, а ты вотъ еще говоришь со мною, какъ съ человѣкомъ. А я звѣрь... я хуже звѣря—звѣрь, тотъ забиждаетъ тебя, когда только голоденъ, а я былъ сытъ, сытъ по горло, и тутъ снималъ съ каждаго послѣднюю рубаху, и все мнѣ казалось мало, все алчилъ большаго. Вотъ кто предъ тобой стоитъ, знай, погляди на мое тѣло,—произнесъ онъ, распахнувъ свою

грудь и показывая на смуглую, морщинистую кожу:—видишь-ли, какое оно черное?

— Вижу,—отвѣчалъ я, сильно заинтересованный его самообличеніемъ.

— А отчего почернѣло? — продолжалъ онъ, — оттого, что было время, когда я холилъ его, обмывалъ въ человѣчьихъ слезахъ. Одного только грѣха Богъ не попустилъ мнѣ сдѣлать, обагрить рукъ въ крови ближняго, но што горше, пить-ли его слезы, или пить его кровь, я не знаю! Разбойникъ-то по-моему, што убиваетъ, болѣе жалости стоитъ, а кто съ исподволь томитъ тебя, утягчаючи твое горе, тотъ сугубо есть тать и разбойникъ, — заключилъ онъ, глубоко вздохнувъ, и присѣлъ на лавку, понуривъ свою голову.

— За что ты, Еремѣй Васильевичъ, такія-то страсти на себя наказываешь, а?—спросилъ я,—неужели ты былъ такой?

— Былъ, да вѣдь тебѣ, поди, говорили, каковъ я былъ?

— Говорили, да я не вѣрю.

— Вѣрь, люди тебѣ и сотой доли того не скажутъ, что творилъ я по своему жестокосердому неразумію. А много творилъ я зла и бѣдъ, и нѣтъ той муки на землѣ, какой бы я былъ повиненъ, нѣтъ!..

— Но что же ты творилъ такое лютое, что не знаешь, какую казнь подобрать себѣ, а?

— Нѣтъ того грѣха, какимъ бы я не осквернилъ своей души, нѣтъ, знай это... Да ты спроси, кто былъ Еремѣй Васильевичъ Осокинъ, и послушай, что тебѣ скажутъ.

— Ну, что же скажутъ?

— И скажутъ тебѣ,— прервалъ онъ,—что былъ онъ первѣющій въ округѣ богачъ, что домъ-то у него былъ въ два этажа, амбары да сараи, что пригородъ обносили его вокругъ, что на дворѣ-то его, обнесенномъ тесовыми воротами, три лютыхъ звѣрообразныхъ пса бѣгали на блокахъ по веревкамъ день и ночь, остерегая его добро. А много у него было добра! Одного хлѣба въ амбарахъ хранилъ онъ на тысячи, два табуна лошадей ходили въ полѣ. Вотъ что тебѣ скажутъ добрые люди, да тутъ же и повѣдаютъ, какими измышленіями да изворотами наживалъ онъ это добро, и какъ Богъ за его неправды, за его татьбу, за его угнетенія нищей братіи все отнялъ у него, все—и жену, и дѣтей!—Старикъ заплакалъ и, закрывъ лицо ладонями, тихо качалъ своей головой.—Много богатыхъ мужиковъ у насъ въ округѣ,—началъ онъ, нѣсколько успокоившись, — а спроси, откуда взялось это богатство? Сколько нищихъ ходитъ по міру, чтобъ усчастливить ихъ и предоставить имъ избытышную жизнь, и ты узнаешь, какъ даются имъ эти богатства! Такой и я былъ. Воры они, плуты они непокаянные, и при-

дётъ тотъ часъ, что Богъ и ихъ накажетъ и отниметъ у нихъ все, какъ и у меня отнялъ.—Онъ снова замолкъ и съ минуту сидѣлъ задумавшись.—Я теперь нищій, въ хижинѣ живу, и надъ энтой моей хижиной люди смѣются, да и какъ не смѣяться имъ? они памятуютъ мой дворецъ, пресвѣтло убранный, и смѣшно имъ, что я живу теперь въ берестяномъ туясѣ, но по неразумію они смѣются: имъ бы радоваться надоть, что хоть одного разбойника Богъ направилъ на путь истины, что энта хижина не облита ихъ слезами, не на ихъ горестяхъ выкладена, какъ выкладены были пресвѣтлыя мои хоромы. А они смѣются—неразумные люди. По неразумію ихъ Богъ и попущаетъ, чтобы ими помыкали и обирали ихъ такіе хищники, какимъ былъ я. Знаешь-ли ты, что въ прежнюю пору я бы не пошелъ къ тебѣ для допросу-то твоего, хошь какъ бы ты не приказывалъ призвать меня? — съ улыбкой сказалъ онъ, насмѣшливо глядя на меня.

— Ты не имѣлъ бы права этого сдѣлать.

— Развѣ для богатыхъ есть какое право, что это онъ вотъ можетъ дѣлать, а этого нѣтъ, а? да еслибъ я и безъ права сдѣлалъ, ты бы нервый прикрылъ меня.

— Почему ты такъ думаешь обо мнѣ?

— Почему? — повторилъ онъ и усмѣхнулся. — Э-эхъ, развѣ ты не знаешь, что у богатаго-то всѣ заискиваютъ, всякое начальство, что у нихъ только и свѣту въ окнахъ, что богатые люди! Они отъ нихъ живутъ.—Ну, вотъ я не пошелъ бы къ тебѣ,— чего-жъ бы ты сдѣлалъ со мной, а? Самъ бы пришелъ въ мой домъ, ну, можетъ, посердился бы маненько, а я-бъ тебя чайкомъ угостилъ, винцомъ, десятишникъ, другой сунулъ бы тебѣ въ руку, и отлегло бы у тебя отъ сердца, и стали бы мы заместо ссоры первыми пріятелями, — говорилъ онъ, съ ироніей глядя на меня.—Вѣдь какъ богатые мужики нечистыя дѣла свои обдѣлываютъ? Все этакъ, все этакъ, потому и нѣтъ на нихъ ни суда, ни управы, что всякая рука на ихъ сторону тянетъ.

— Будто всякая?

— Всякая... Прошелъ и Сибирь всю, и Россею, вездѣ одно и то же видѣлъ, да и самъ всякую совѣсть покупалъ: одну подешевле, другую подороже, а все покупалъ чуть не съ укціона. На міру все продажное, погрязъ людъ въ грѣхахъ, только присмотрись, такъ сердце-то въ тебѣ изболитъ и изноетъ, и могила покажется краше жизни.

— Ты здѣшній уроженецъ, Еремѣй Васильевичъ? — спросилъ я.

— Здѣшній! Гдѣ-жъ болѣе родиться и вырости такой добродѣтели, какъ не въ Сибири, — съ ироніей отвѣчалъ онъ. Сторона наша богата всякими злаками, добрыми и злыми, только злые-то злаки за-

глушили добрые въ корнѣ. Здѣшній я, въ этомъ самомъ селѣ и свѣтъ Божій увидѣлъ.

— Здѣсь и грамотѣ учился?

— Нѣтъ, нѣтъ, грамотѣ я въ Томскѣ обучался, тамъ и всѣ мастерства около купцовъ постигъ.

— Какія же мастерства?

— Воровать, мошенничать, обманывать честной людъ, крестясь и призывая Бога въ свидѣтели, что все дѣлаю по правдѣ. Все это я тамъ около господъ купцовъ провидѣлъ, все это образованіе ихнее привлъ къ себѣ замѣсто оспы. Ну, доброе сѣмя принесло и плодъ со сторицей: Еремѣй Осокинъ болѣе сорока лѣтъ былъ грозой всей округи, пока не смирилъ его Богъ. Я вѣдь отъ тятеньки-то сиротой остался, погодочкомъ, и росъ на рукахъ покойницы матушки; въ бѣдности мы жили, въ большой бѣдности. Ну, матушка-то, покойная головушка, и свезла меня по восьмому году въ Томскъ, къ знакомому купцу въ услуженье, хотѣла счастье мнѣ предоставить. Ладно, взялъ меня купецъ Акимъ Савельичъ, — Неплехинъ, прозывался онъ, — торговалъ онъ желѣзнымъ товаромъ и мелочью, не изъ богатыхъ. Хорошо, опредѣлилъ онъ меня съ первоначала при кухнѣ, помогать кучеру — безъ всякой платы, а изъ-за хлѣба, потому, какъ парень я былъ деревенскій, неуклюжій, такъ требовалось обнатурить меня, всякое обращенье привить. Опосля уже только годъ спустя, сталъ онъ приручать меня по лавкѣ для подмоги себѣ. Приручился я скоро. Скажу тебѣ правду: умомъ меня Богъ не обидѣлъ и сметкой не обдѣлилъ: ужъ очень я на все былъ проворенъ, гдѣ что стащить, лучше меня мастера не было, всѣхъ купеческихъ дѣтей перещеголялъ въ этомъ качествѣ; ради потѣхи, бывало, въ глазахъ у хозяина деньги стащу. Много тѣшилъ я гостинодворскую публику своимъ проворствомъ, но этого мнѣ было мало. Когда я сталъ въ лѣта входить, разуму набираться, то захотѣлось мнѣ до всего своимъ умомъ дойти, и спознялъ я въ тѣ поры грамоту, самъ собой спознялъ ее и полюбилъ ее не въ примѣръ прочимъ. Попадется, бывало, мнѣ книга какая, такъ я ночи не просплю, а прочту ее. И хозяинъ, и прочіе купцы не надивились — откуда мнѣ такой талантъ ниспосланъ. А талантъ у меня былъ большой, ужъ гдѣ требовалось какое дѣло покруглѣй обдѣлать, меня пошли: изъ всякаго сучка сердцевинку выжму. Ловкій былъ и по части обхода, первый по купечеству человѣкъ. Мнѣ еще двадцати пяти годковъ не было, а я уже имѣлъ своего капиталу пять тысячъ; по тогдашнимъ временамъ это были большія деньги.

— Гдѣ-жъ ты такими деньгами заручился?

— Воровалъ, тащилъ и рубль, и грошъ, и всему находилъ свое мѣсто! Хозяинъ изъ лавки, я и владыко, и такъ линію гналъ, что и хозяинъ былъ доволенъ, и покупатель не нахваливался, и карманъ мой пухъ. Заручившись деньгами, я и задумалъ свое дѣло вести—и объявилъ хозяину, что хочу отходить, на родину ѣхать. Заскучалъ онъ. Живи, говоритъ, я тѣ тысячу рублевъ жалованья положу на моихъ харчахъ, въ долю возьму, потому, говоритъ, мнѣ легче сына потерять, чѣмъ тебя.

— Не могу, говорю, Акимъ Савельичъ, и радъ бы радостью, да матушка у меня въ преклонныхъ лѣтахъ, пора и ей покой дать. И все вралъ: о матери я столько же думалъ—какъ какой-нибудь песъ. Бывало, старуха письмо пришлетъ, помочи попроситъ, такъ я и искрещусь, и избожусь, что самъ нищій. Вѣрь, вѣрь, что какъ предъ Богомъ говорю тебѣ! Словно не душа была у меня, а камень. Это чтобъ я допустилъ себѣ, бывало, сладкій кусокъ съѣсть, побаловаться чѣмъ-нибудь—ни въ жизть! Я, слышь, и молодъ-то ровно не былъ. Ну, говорю хозяину одно, что не могу остаться. Затосковалъ онъ и говоритъ мнѣ подъ конецъ: хочешь, говоритъ, я женю тебя на племянницѣ?

— Съ полнымъ удовольствіемъ, Акимъ Савельичъ, отвѣчаю.

— Останешься тогда жить? спрашиваетъ.

— Останусь, даже, говорю, по гробъ своей доли не кину васъ. А племянница его, Марья Евставьевна, была любовная дѣвушка, ровно, слышь, ангелъ Божій, тихая, покорливая, сердце до всего жалостливое имѣла. Шибко она по душѣ мнѣ была, жили-то мы въ одномъ домѣ, пили, ѣли за однимъ столомъ, ну, и спознались, и она-то мирволила мнѣ, покойная головушка. Женился я, пожилъ у хозяина съ годъ еще, и въ отъѣздъ. Какъ онъ меня упрашивалъ: останься, живи!.. Нѣтъ, тянуло меня въ деревню! При моемъ умѣ да таланѣ, думалъ я, тысячи-то безъ труда, што грибы въ лѣсу буду набирать... И теперь еще помнятъ, какъ обиралъ.

— Что же ты, торговалъ?

— По малости, такъ болѣе для отвода глазъ. Въ тѣ поры у насъ на Алтаѣ другіе порядки были, не нонѣшніе, про мировыхъ-то и слуху не было, а всѣмъ заправляли горные чиновники: горнозаводскаго вѣдомства крестьянами числились мы. Ну, съ перво на перво свелъ я знакомство съ этими самыми чиновниками, да и измыслилъ при помощи ихъ себѣ дѣло. Каждый крестьянинъ обязанъ былъ доставлять на заводъ, къ которому былъ приписанъ, уголь, дрова, руду, а приписывали-то ихъ такимъ порядкомъ: живетъ онъ, къ примѣру, въ ста саженяхъ отъ завода, такъ ему бы безъ горя было доставить на этотъ заводъ то, что съ него требуется, — такъ нѣтъ — его припишутъ къ

заводу, что за двѣсти, за триста верстъ отъ его мѣстожительства, ну, и вози туда по нашимъ-то дорожкамъ-трущобинамъ. У иного всего на все двѣ лошаденки: и пашню-то ему надо спахать, и по хозяйству обиходить, и повинность отбыть. Разоръ былъ ужасти подобный. Бѣдность была кругомъ наголо, недоимки скапливались-то не по рублямъ, а по сотнямъ, розги и палки не сходили съ мужичьей спины. Вотъ въ этомъ-то омутѣ я и ловилъ рыбку. Возьму да и подряжусь за крестьянъ доставлять и уголь, и дрова, и руду съ мѣста ея съемки и доставлю все сполна, да тамъ ужъ и хозяйничаю, какъ душѣ только угодно, надъ всею округой. Кто мнѣ не по норову: словомъ ли какимъ обошелъ меня, шапку ли не такъ снялъ предо мной, какъ хочу, приказу ли моего не послушалъ, не такъ поработалъ на меня, какъ требуется, скажу только нарядчику или старшинѣ, и хоть до смерти задерутъ. Владыкой былъ надъ животомъ и имѣніемъ каждаго мужика. Баба ли чья, или дочь по ндраву пришла мнѣ—только намекъ далъ, и иди. Не пошла коли по запрету мужа или отца—и горе: разорю, вгоню въ гробъ непокорныхъ! Вотъ кто сидитъ предъ тобой-то, знай!—произнесъ онъ и, закрывъ лицо ладонями рукъ, тихо качалъ своею обнаженною головой.

— Тридцать годковъ безъ отдыха такимъ-то манеромъ хозяйничалъ я безъ суда, безъ управы, да и кто бы сталъ судить меня? Мнѣ все кланялось и раболѣпствовало. Иной разъ безъ всякаго дѣла, а такъ, ради потѣхи, стегалъ человѣка, чтобъ власть свою показать, мужики-то по часу, бывало, на колѣняхъ стоятъ на дворѣ, а я чаекъ попиваю, пущай, думаю, стоятъ, знаютъ, кто я... И знали, знали. Еремѣй Осокинъ въ деревню только въѣдетъ, такъ все ползкомъ передъ нимъ, потому у меня всѣ въ долгу неоплатномъ были, каждаго могъ всего лишить до соринки, могъ и помиловать. Я ли не власть? Въ городъ-то, бывало, въѣду, такъ, повѣришь-ли, чиновники-то первые бѣгутъ ко мнѣ: стосковались, говорятъ, по тебѣ, Еремѣй Васильевичъ! А ужъ я зналъ ихнюю-то тоску. Вѣришь-ли, зло, бывало, брало, видя, какъ всѣ мнѣ кланяются, што каждымъ за рубль какъ хочешь помыкай. Вѣдь мужикъ я, неучъ. Кампанія ли имъ, благороднымъ-то людямъ? Вѣдь въ глаза, бывало, имъ смѣюсь, да шутки подшучиваю. Сносятъ,—только денегъ попросятъ въ займы безъ отдачи. Омерзѣли они мнѣ. Суди про характеръ-то человѣчій: я вѣдь радъ бы былъ, еслибъ кто меня въ тѣ поры обругалъ, сказалъ бы мнѣ правду въ глаза. Такъ нѣтъ! Всѣ только кланялись. Ужъ больно грозенъ былъ Еремѣй Осокинъ. Разъ только нашелся такой же рваный богатырь, какъ и я теперь, сказалъ мнѣ правду. Такъ у меня и по сейчасъ слова его въ душѣ стучатъ!

— Былъ въ деревенкѣ Смуровой бѣдный крестьянинъ Иванъ Ка-

лининъ (успокоился теперь ужъ, святая головушка), пришелъ онъ ко мнѣ однажды попросить льготы своему племяннику, дѣтному и бѣдному крестьянину. А я только-что изъ города пріѣхалъ, деньги за подрядъ получилъ и считалъ ихъ при немъ, и до того онъ наскучилъ мнѣ своими молитвами, что я вскипятился и погналъ его вонъ.

— Ну, говоритъ, Еремѣй Васильевичъ, помни же: дойдутъ мужичьи слезы до Бога, отплатитъ тебѣ Отецъ небесный за насъ!

— Онъ ужъ отплатилъ, говорю: видишь-ли? и показываю ему пукъ асигнацій, а самъ хохочу.

— Слезы это все наши, говоритъ, слезы, не кичись ты ими!

— И радъ бы не кичиться, говорю, да ужъ больно на видъ-то онѣ приглядны! глянь-ко: и синенькія, и зеленькія, и радужныя, а—а!

— Тлѣнъ, тлѣнъ все это! произнесъ онъ, качая сѣдою головой. Ты и не услышишь, какъ Богъ отниметъ у тебя все, и эти радужныя слезки, что теперь веселятъ тебя, камнемъ упадутъ на твою душу!

— Сбылись его слова,—произнесъ онъ, вздохнувъ, и задумался.

— Разорился?—спросилъ я.

— Нѣтъ, Богъ все отнялъ: все прахомъ пошло—и жену, и дѣтей убилъ за грѣхи мои. Въ городѣ былъ я, по дѣламъ ѣздилъ. Пріѣзжаю домой, а замѣсто дома обгорѣлые пни торчатъ. Около Ильина дня было дѣло-то; народъ-то былъ на поляхъ. Около полудня, сказываютъ, и вспыхнулъ за зарѣчной стороной невдалекѣ отъ дома моего пожаръ. Такъ все прахомъ и пошло. Ничего и вынести не успѣли. Сынокъ по двѣнадцатому году сгорѣлъ, жена-то въ тягости была, послѣдніе дни ходила, кинулась, сердешная, въ домъ сына искать: тамъ ее балкой, что-ли, пришибло, едва вынесли, въ тотъ же день выкинула мертваго младенца и сама Богу душу отдала. У сосѣда, въ избѣ на столѣ и лежала, когда пріѣхалъ-то я. Такъ съ тѣхъ поръ и ношу камни въ душѣ, что пророчилъ Калинкинъ!—На глазахъ старика снова показались слезы и долго онъ сидѣлъ молча, согнувшись всѣмъ корпусомъ и подперевъ голову руками. Наконецъ онъ всталъ.

— Куда же ты, Еремѣй Васильевичъ?—остановилъ я,—посиди!

— Пойду, не держи, мнѣ ходить велѣно, ходить безъ устали, ходить дни и ночи, пока Богъ не пошлетъ по душу.

— Кѣмъ же велѣно?

— Кѣмъ!—и онъ грустно улыбнулся.—Кто распятаго за грѣхи разбойника простилъ, за одно слово покаянія простилъ, Тотъ и мнѣ велѣлъ, яко татю и разбойнику, распинать себя! Прости меня, окаяннаго, и забудь! Не стою я, чтобы добрые люди памятовали обо мнѣ.

Онъ вышелъ, и черезъ минуту длинная фигура его скрылась за угломъ сосѣдняго дома.

Послѣ разразившагося несчастія, какъ узналъ я отъ постороннихъ лицъ, Еремѣй Васильевичъ былъ долго боленъ. Этотъ ударъ сокрушилъ его: онъ постарѣлъ, согнулся, посѣдѣлъ. Иногда по цѣлымъ днямъ сидѣлъ молча, казалось, ничего не слыша, не чувствуя. Въ немъ замѣчали даже разстройство умственныхъ способностей. Онъ былъ еще настолько богатъ, что могъ оправиться, и точно—спустя годъ, онъ снова принялся за дѣло, но дѣло не шло у него: все какъ будто валилось изъ рукъ, говорили крестьяне. Покойница ровно унесла съ собой все его счастье. Онъ постепенно опускался, дряхлѣлъ, началъ пить и Еремѣй Осокинъ, бывшій, по словамъ его, „грозой всей округи“, который водилъ только компанію съ чиновниками да купцами, сдѣлался кабацкимъ завсегдатаемъ, жалкимъ посмѣшищемъ людей, нѣкогда трепетавшихъ его взгляда, кланявшихся и унижавшихся передъ нимъ. Его нарочно опаивали, чтобъ глумиться надъ нимъ, били, припоминая ему все зло, какое онъ сдѣлалъ кому. Надъ страшнымъ когда-то Еремѣемъ Осокинымъ глумились малолѣтнія дѣти.

Однажды его полузамершаго подняли на дорогѣ и успѣли отводиться съ нимъ. Послѣ этого случая Осокинъ какъ будто очнулся и бросилъ пить. Менѣе чѣмъ черезъ мѣсяцъ онъ исчезъ изъ деревни и съ тѣхъ поръ объ немъ болѣе десяти лѣтъ, какъ говорили, не было ни слуху, ни духу. Всѣ считали его погибшимъ, думали, что онъ или утопился, или замерзъ гдѣ-нибудь, или повѣсился въ какомъ-нибудь глухомъ лѣсу. Наконецъ про него забыли. Нѣкогда страшный Еремѣй превратился въ легенду... Но однажды пріѣхалъ въ Глазово земскій чиновникъ, собралъ народъ и спросилъ: „Былъ-ли у нихъ крестьянинъ Еремѣй Васильевъ Осокинъ?“ Народъ въ голосъ отвѣтилъ, что былъ, но гдѣ теперь—никто не знаетъ, и его считаютъ погибшимъ. Оказалось, что Еремѣй Васильевичъ былъ схваченъ въ Кіевѣ полиціей безъ паспорта и объ немъ, какъ о бродягѣ, собирали свѣдѣнія. На повальномъ обыскѣ общество отозвалось объ немъ хорошо. Черезъ годъ послѣ этого земскій сотникъ привезъ изъ волости въ село Еремѣя Васильевича, препровожденнаго изъ Кіева по этапу въ Сибирь, для водворенія на жительство въ родномъ селѣ, подъ надзоръ общества.

Теперь ужъ окончательно никто не узнавалъ Еремѣя Васильевича: это былъ ветхій старикъ съ голой головой и съ болтавшеюся на плечахъ рванью. Онъ вырубилъ избу въ рощѣ. Силы не дозволяли ему работать, и онъ превратился въ псалтырщика, безъ приглашенія являясь въ домъ, гдѣ былъ умершій. Согласно наложенному на себя обѣту, онъ всюду ходилъ пѣшкомъ и только изъ экономіи во времени соглашался ѣхать. Онъ рѣдко вступалъ въ разговоры, всѣхъ чуждался, не вмѣшивался ни въ какія общественныя дѣла. Сначала любопытные, замѣ-

тивъ, что Еремѣй Васильевичъ дома, нерѣдко подкрадывались и заглядывали въ окно его избы, желая подсмотрѣть чѣмъ онъ занятъ, и часто видѣли они, какъ, стоя на колѣняхъ передъ развернутымъ евангеліемъ, онъ читалъ его при тускломъ свѣтѣ трехкопеечной восковой свѣчи. „Пошелъ на спасенье"! говорили крестьяне. Оказалось, что Еремѣй Васильевичъ по обѣту обошелъ всѣ монастыри, скиты и лавры, ища успокоенія души, разбитой несчастіемъ. Но нашелъ-ли онъ желанный покой, никто не зналъ.

Вскорѣ послѣ возвращенія Еремѣя Васильевича на родину, въ избу его неожиданно вошелъ однажды крестьянинъ Панфилъ Николаевичъ Новоселовъ, человѣкъ еще молодой, но составившій себѣ уже видное состояніе. Еремѣй Васильевичъ хорошо зналъ отца его, человѣка бѣднаго, зналъ и самого Панфила еще малымъ ребенкомъ.

— Узнаешь-ли? — спросилъ Новоселовъ, фамильярно обратившись къ нему и съ нескрываемымъ презрѣніемъ оглядывая жилище старика, какъ бы высматривая почище мѣсто, чтобъ сѣсть, не запачкавъ своего тонкаго суконнаго халата. — Чай, Николая-то Ильича Новоселова помнишь? Сынокъ его! — отрекомендовался онъ.

— Какъ не помнить Николая Ильича? помню, помню, — отвѣтилъ старикъ; — было время, хлѣбъ-соль водили. Неужто его сынокъ?

— Безъ подмѣси, хе, хе, — отвѣчалъ Новоселовъ, загнувъ сначала къ верху подолъ своего халата и усаживаясь на лавку. — Вотъ ты нонѣ въ какой хороминѣ цвѣтешь, Еремѣй Васильевичъ, а? — произнесъ онъ, снова оглядывая избу.

— Ужъ гдѣ мнѣ цвѣсти! Мои цвѣточки давно опали, одинъ стебелекъ остался, да и тотъ сохнетъ, — лаконически отвѣчалъ старикъ. Здѣсь живешь? Какъ, бишь, тебя звать-то? — спросилъ онъ.

— Панфилъ, — подсказалъ тотъ.

— Панфилъ, стало быть, Панфилъ Николаичъ, — повторилъ онъ; — ну, буду помнить.

— Здѣсь. Избу-то тятеньки, чай, помнишь: дворецъ-то былъ міру на диво, хе, хе! што есть куры въ окно заглядывали да любовались имъ, а погляди-ка, какой я нонѣ домина замѣсто его вывелъ — любованье! — похвалился онъ.

— Торгуешь нѣшто? — спросилъ старикъ.

— Не на малыя тыщи далась мнѣ фортуна-то, не пожалуюсь! Такъ таперича веду дѣла, что, почесть, первый въ уѣздѣ человѣкъ! — избоченившись и хвастливо уперевъ правую руку въ бокъ, говорилъ онъ, и сплюнулъ на полъ. — Орудую.

— Чѣмъ?

— Дѣломъ-то, ну, и мужичьемъ по пути. Съ умомъ человѣку у насъ очень способно, Еремѣй Васильичъ, торговлю вести... Да, впрочемъ, кому обсказывать: ты и самъ грамотный, пожалуй, что нашего-то брата, молодяжника, за поясъ заткнешь.

— Силы нѣту ужъ за поясъ-то затыкать!

— Говори, силы нѣтъ! Сосновый-то сукъ какъ не высохнетъ, а только попарь его въ теплѣ, то съ разу духъ пуститъ и смолу дастъ, хе, хе, хе! Знаемъ мы васъ, стариковъ-то... А я вѣдь къ тебѣ малымъ дѣломъ ругаться пришелъ, зачѣмъ ты въ эту избу-то залѣзъ, а-а?— строго спросилъ онъ.

— Жить, отъ непогоды кровъ имѣть.

— Да тебѣ ли, съ твоимъ ли умомъ голову въ экомъ тусѣ прятать, а-а?

— А куда же ее преклонять?

— Иди ко мнѣ, я тебѣ по старой памяти, за твою хлѣбъ-соль отцу, весь низъ въ домѣ отдамъ: живи, покойся.

— Спасибо тебѣ, Панфилъ Николаичъ, за доброе слово! Дай Богъ тебѣ здоровья, што обогрѣлъ старика лаской.

— И не такъ еще обогрѣю.

— Не жарко ли ужъ будетъ?—съ ироніей спросилъ Осокинъ.

— Ну, холодку припустимъ, коли тепломъ старыя кости распаритъ, хе, хе, хе! Въ жарѣ-то ты скорѣй силы наберешь, смолу-то дашь, да духъ-то пустишь, я вотъ къ чему говорю это: мнѣ бы духомъ-то твоимъ надоть позаимствоваться, хе, хе, хе!

— Никакъ у тебя и своего-то вдоволь бы,—снова съ ироніей замѣтилъ старикъ,—нашто еще тебѣ чужой-то понадобился?

— Стало быть понадобился, если пришелъ къ тебѣ. Иди ко мнѣ жить, иди, не съ твоимъ таланомъ въ убожествѣ-то киснуть. Я тебѣ дѣло найду самое сподручное, спокойное!

— Какое же?

— Да вотъ, братецъ-ты мой, мельницу завожу я на трехъ поставахъ, статья по нашему мѣсту сильно доходная. Самому-то мнѣ, признаться, недосужно за всѣмъ-то приглядывать. Въ разъѣздѣ все больше пропадаю, а хозяйство у меня бо́льшое: подряды беру на доставку муки и крупъ въ казну, деньги вездѣ задаваны, одинъ-то не разорвешься за всѣмъ углядѣть. Надоть человѣка подыскать, стоющаго вѣры, на кого бы положиться можно, письменнаго, а гдѣ ты у насъ найдешь этакого? А тебѣ ужъ эти порядки-то всѣ знакомы. Было время—самъ всей округой орудовалъ, тебя-то ужъ не учить дѣло-то вести,—самъ всякаго научишь. Я, признаться, какъ узналъ, что ты вновь появился въ здѣшнихъ мѣстахъ, такъ сильно обрадовался тебѣ,

какъ родному. Я давно ужъ собирался пріѣхать-то за тобой, да все недосужно: то туда, то сюда, такъ и рвешься. Нѣтъ-то нѣтъ сегодня улучилъ минутку заглянуть къ тебѣ! Собирайся-ка: у меня и телѣжка здѣсь, ну-у, тряхни-ка старинкой-то!

— Стряхнулъ ужъ я съ себя старинку-то, Панфилъ Николаевичъ! Новую тягость на плечи не стану наваливать, силъ нѣтъ нести, уволь ты меня отъ послугъ тебѣ.

— Полно, полно, ну-у!

— Уволь, какую хочешь послугу тебѣ сдѣлаю, только не эту.

— Развѣ на худое чего зову я тебя?

— Не на доброе,—покачавъ головой, отвѣтилъ онъ.

— О о о! и, прищурившись, Новоселовъ съ минуту пристально всматривался въ старика и потомъ снова сплюнувъ на сторону, отеръ ладонью усы и красивую русую бородку.—„Што-жъ ты спасеньемъ хошь согрѣваться, што-ли, въ этой скворешницѣ-то?—съ ироніей спросилъ онъ.

— Спасеньемъ!—отвѣтилъ тотъ.

— Давно-ль ты на себя блажь-то эту напустилъ?

— Съ тѣхъ поръ, какъ Богъ покаралъ меня за грѣхи мои.

— А-а-а,—протянулъ онъ,—стало быть много же грѣховъ-то было, хе, хе, хе, што заживо грѣютъ тебя?—съ насмѣшкой спросилъ онъ.

— Много! по себѣ посуди, поройся въ своей совѣсти, такъ и спрашивать не станешь, по той же вѣдь дороженькѣ идешь, Панфилъ Николаевичъ, такъ грѣши ужъ одинъ, а другихъ не запрягай подъ эту кладь!

Новоселовъ вспыхнулъ и снова, прищурившись, оглядѣлъ старика.

— Дуракъ ты, дуракъ,—произнесъ наконецъ онъ,—я-то шелъ къ тебѣ какъ къ путному, думалъ осчастливлю человѣка, отогрѣю его на старости, кровъ и хлѣбъ ему дамъ, а онъ и послѣдняго-то ума, какой былъ, рехнулся. Тьфу ты, идолъ непутный! и, вставъ съ лавки, онъ гордо надѣлъ на голову смушковую шапку. Ну, прощай, спасенная душа, хе, хе, хе, согрѣвайся грѣхами! А можетъ тебѣ гривну не дать ли?

— Не надо, сберегай про себя.

— Все бы на шкуру-то хоть лишнюю заплату накинулъ бы, ишь вся выпоролась, хе!—съ презрѣніемъ оглянувъ его полушубокъ, произнесъ онъ.—Чай ровесница по лѣтамъ-то, а-а? хе, хе, хе! Тьфу ты, пустосвятъ непутный!—заключилъ онъ и, выйдя, хлопнулъ дверью, которая вновь распахнулась, отскочивъ на веревочныхъ петляхъ.—Ишь изба-то, хе, хе, только старыми грѣхами и натопишь экую“,—произнесъ онъ, насмѣшливо разведя руками и, снова плюнувъ, пошелъ къ лошади, привязанной къ одной изъ березъ.

Когда затихъ стукъ колесъ уѣхавшаго въ телѣжкѣ Новоселова, старикъ вышелъ, прикрѣпилъ дверь и, надѣвъ на себя кожаный мѣшокъ свой, пошелъ изъ деревни въ сосѣднее село, гдѣ лежалъ при смерти какой-то бѣднякъ.

Съ этой минуты Еремѣю Васильевичу не было житья въ родномъ селѣ. Клевреты Новоселова не давали ему нигдѣ прохода, на него наускивали собакъ, которыя бросались и рвали старика, вслѣдъ ему летѣли камни и палки, сопровождаемые насмѣшливыми окриками: „Еремка—пустосвятъ“, „бабій огрызокъ“, „спасенная душа“. Старикъ все сносилъ молча, стараясь уходить изъ села до разсвѣта и возвращаться домой поздней ночью. Но этимъ не ограничивались преслѣдованія: въ ручеекъ, протекавшій около избы его, сбрасывали всевозможныя нечистоты, и однажды Новоселовъ приказалъ зарыть у избы старика павшую корову. Но и этого оказалось мало. Возвратясь однажды почью домой, Еремѣй Васильевичъ нашелъ свою избушку безъ крыши: весь дернъ былъ сброшенъ съ нея, верхнія бревна сняты съ вѣнцовъ. Старикъ не выдержалъ и заплакалъ. Больно отозвалась въ сердцѣ его месть безсердечнаго кулака за одно непокорное слово, какой и онъ нерѣдко отплачивалъ, въ былое время, задавленнымъ нищетою людямъ.

Снявъ со стѣны икону, старикъ пошелъ по дорогѣ, куда глаза глядятъ. Ночь была темная, ненастная, порывистый вѣтеръ сбивалъ его съ ногъ, дождь промочилъ его насквозь, а онъ, казалось, не чувствовалъ ни порывовъ вѣтра, охватывавшаго тощее тѣло его, ни дождя, стекавшаго съ него ручьями. Иногда ноги его вязли въ глинистой грязи, и онъ падалъ. Вой и свистъ вѣтра въ густомъ лѣсу, тянувшемся по обѣимъ сторонамъ дороги, и трескъ, ломаемыхъ бурею, вѣтвей и деревьевъ не страшили его. Онъ не слышалъ бушующей бури. Душевная истома, подломившая его силы, заглушала все окружающее.

Къ утру онъ пришелъ въ деревеньку Подрѣзовую, стоящую въ четырнадцати верстахъ отъ села Глазова, и поселился въ ней. Крестьяне пустили къ себѣ на жительство безпріютнаго Еремѣя, и нашлись добрые люди, которые помогли ему вырубить избу. Живъ ли теперь Еремѣй Васильевичъ,—я не знаю, но нѣсколько лѣтъ тому назадъ по проселочнымъ дорогамъ X—ой волости часто встрѣчали еще Еремѣя Васильевича, съ неизмѣннымъ кожанымъ мѣшкомъ на плечахъ. Крестьяне, завидѣвъ его, всегда снимали шапки и крестились, говоря: „Вонъ Еремушка читать идетъ! Надъ кѣмъ-то еще Богъ сжалился и прибралъ къ себѣ отъ земной страды!..“

ЯШНИКЪ.

(ОЧЕРКЪ).

Если бы посторонній человѣкъ, заѣхавшій въ деревеньку Турбу, спросилъ у обитателей ея, гдѣ живетъ крестьянинъ Степанъ Яковлевичъ Бровкинъ, то навѣрное получилъ бы въ отвѣтъ: „У насъ, ровно, нѣтъ этакого, есть Бердяевы, Бакенины, Худяковы, а Бровкина — что-то не въ примѣту!“ Но попроси пріѣзжій указать ему избу Яшника, и каждый ребенокъ привелъ бы его къ покосившейся, подпертой жердями, мазанкѣ, стоявшей на обрывистомъ берегу рѣчки и огороженной, вмѣсто забора, плетнемъ изъ тальника. Степанъ Яковлевичъ и самъ, кажется, не всегда помнилъ свое настоящее имя, и уличное прозвище Яшникъ, данное ему еще въ дѣтствѣ, считалъ единственнымъ принадлежащимъ ему именемъ. Говорю это на томъ основаніи, что если кто называлъ его Степаномъ Яковлевичемъ, то онъ чаще всего проходилъ мимо говорившаго, не обращая на него вниманія; но если ему кричали: „Эй, Яшникъ!“ то онъ останавливался и добродушно кивалъ головой въ отвѣтъ, приподнимая при этомъ свою высокую баранью шапку съ прорваннымъ плисовымъ верхомъ.

Въ то время, какъ я узналъ Степана Яковлевича, или Яшника, ему было около сорока лѣтъ. Ростомъ онъ былъ ниже средняго, худой, съ блѣднымъ, болѣзненнымъ лицомъ, усѣяннымъ веснушками. Бѣлые, какъ ленъ, волосы на головѣ и жиденькая, висѣвшая клочками, борода его были постоянно всклокочены, точно чья-то рука всегда заботливо пеклась о томъ, чтобы привести ихъ въ безпорядокъ; кромѣ того, въ нихъ нерѣдко находилась посторонняя примѣсь: репейныя шишки, колосья соломы, а чаще всего древесныя стружки. Добрые сѣрые глаза его смотрѣли не то робко, не то стыдливо. При разговорѣ онъ нервно заикался, путалъ слова, имена, факты, какіе хотѣлъ передать, и въ заключеніе никогда ничего не досказывалъ, а только, задыхаясь, махалъ руками и глубоко вздыхалъ. Въ подобныя минуты на глазахъ его мелькали слезы, и лицо судорожно подергивалось. На меня онъ

*

всегда производилъ болѣзненное впечатлѣніе, что-то безпомощное, задавленное проглядывало въ немъ. Онъ былъ не глупъ; по крайней мѣрѣ, когда замѣчалъ, что надъ нимъ не смѣются, относятся къ нему съ участіемъ, говорятъ съ нимъ, какъ съ человѣкомъ, слову котораго придаютъ значеніе, Яшникъ, видимо, ободрялся, заикался далеко менѣе, въ словахъ его не замѣчалось путаницы и онъ часто высказывалъ здравую мысль, бросалъ вѣрный взглядъ на тѣ явленія окружающей его жизни, какія были доступны его пониманію. Даже однообщественники его, преслѣдовавшіе его насмѣшками, отзывались объ немъ, какъ о добромъ, честномъ, но только безталанномъ мужикѣ. Яшникъ такъ же, какъ и однообщественники, былъ убѣжденъ въ своей безталанности и смотрѣлъ на себя, какъ на человѣка, которому чего-то не достаетъ, чтобы походить на другихъ людей, но чего именно не доставало ему— это онъ едва-ли сознавалъ, хотя подобный вопросъ, можетъ быть, нерѣдко приходилъ ему въ голову. О безталанности своей онъ, конечно, судилъ по горькому опыту, на какой его наталкивала жизнь. На его глазахъ его сверстники по лѣтамъ, такіе же бѣдняки, какъ и онъ, съумѣли устроиться подъ старость и жить припѣваючи. Вмѣсто отцовскихъ хижинъ многіе изъ нихъ построили новые дома, имѣли по десятку коровъ и лошадей, засѣвали обширныя поля, снимая хлѣбъ съ нихъ наемными руками, а онъ—родился, выросъ и состарился въ наслѣдственной избѣ, дряхлѣвшей вмѣстѣ съ нимъ... Тѣ пользовались, по мѣрѣ увеличенія благосостоянія, почетомъ и уваженіемъ; его же преслѣдовали въ жизни или скорбныя сожалѣнія людей о его неудачливости во всякомъ дѣлѣ, за какое бы ни взялся онъ, или насмѣшки ихъ надъ его наружностью, мочальнымъ языкомъ и безропотной покорностью судьбѣ. Даже единственная лошадь его, Пѣганка, обезсилѣвшая отъ безпрерывной работы и недостаточности корма, была предметомъ такихъ же ядовитыхъ остротъ, какъ и хозяинъ ея. Нерѣдко случалось, что, съ трудомъ дотащивъ до деревни возъ дровъ, Пѣганка останавливалась, какъ вкопанная, у какого-нибудь пригорка, не внимая ни понукапіямъ, ни палочнымъ ударамъ. Покачаетъ, бывало, головой Яшникъ, видя такое упорство своего сотрудника, сдернетъ съ воза веревку, привяжетъ ее къ дровнямъ и повезетъ возъ вмѣстѣ съ Пѣганкой. Деревня каждый разъ надрывалась отъ хохота при видѣ подобной процессіи.

— Ну, и рысаки, глянь-ко, братцы, ахъ-хи-хи-и-и! Того и гляди, что возъ-то въ дребезги разнесутъ, а-а-а?

— Цѣлковыхъ сто, поди, пара то экихъ стоитъ, други, а-а?

— Не купишь и за этакія деньги! Ты погляди только, вѣдь и

рысью-то оба взяли, и мастью-то другъ къ другу подошли... Словно одной матки дѣти...

— А если по разницѣ теперича взять ихъ, братцы, то которая фартистѣй выглядитъ: корневикъ, аль пристяжная... а?

— Корневикъ, извѣстное дѣло, потому у корневика-то хоть шкура цѣла, только вылиняла, а у пристяжной отъ заплатъ-то въ глазахъ рябитъ!—галдѣли деревенскіе остряки, намекая на множество разновидныхъ заплатъ, украшавшихъ единственный полушубокъ Яшника, неснимавшійся съ плечъ его ни зимой, ни лѣтомъ.

Я не буду вдаваться въ подробное описаніе лишеній, горя и радостей, какія встрѣчались въ жизни Яшника, изъ опасенія не только утомить вниманіе читателя, но и показаться смѣшнымъ въ глазахъ его. Описывая жизнь героя, взятаго изъ интеллигентной среды, авторъ навѣрное можетъ разсчитывать, что возбудитъ въ читателѣ сочувствіе и интересъ къ горю и радостямъ избраннаго имъ лица, потому что горе и радость его будутъ понятны каждому изъ насъ. Но будутъ ли понятны намъ горе и радость такихъ людей, какъ Яшникъ? Что сказалъ бы читатель, если бы авторъ подробно описалъ ему радость, охватившую Яшника, когда у него отелилась корова, купленная имъ послѣ многихъ трудовъ и лишеній и долго ходившая межумолокомъ, лишивъ дѣтей его единственной ихъ пищи —молока. Развѣ не осмѣялъ бы онъ претензіи его описывать подобныя радости такихъ ничтожныхъ людей, какъ Яшникъ? Въ состояніи ли мы понять глубокое горе Яшника, просчитавшагося однажды на рубль семь гривенъ при продажѣ на рынкѣ корытъ, кадушекъ, ковшей, какіе онъ выдѣлывалъ изъ дерева въ свободное отъ полевыхъ работъ время? Конечно, мы съ удовольствіемъ бы похохотали, если бы намъ талантливо изобразили всю комичность этого бѣдняка, который нѣсколько дней послѣ того ходилъ, какъ потерянный, разводя руками и говоря: „А-ахъ ты, напасть, да не паказанье-ли это Божеское, на цѣлые рубль семь гривенъ обмишулился, а-а?“ Но понять горе человѣка, убивавшагося изъ-за такой ничтожной суммы, мы не можемъ. Въ нашей жизни рубль семь гривенъ никогда не играютъ такой важной роли, какую играютъ они въ жизни такихъ людей, какъ Яшникъ. Мы отдаемъ болѣе лакею, подавшему намъ богатый обѣдъ въ ресторанѣ. Тогда какъ Яшникъ для того, чтобы выручить рубль семь гривенъ и отдать ихъ въ уплату причитающейся съ него подати, выгребалъ послѣдній хлѣбъ изъ закрома и везъ его на рынокъ на продажу, питаясь съ семьей отрубями, смѣшанными съ сосновой корой, и другими суррогатами, глядя на образцы которыхъ, выставляемые въ музеяхъ, мы только пожимаемъ плечами

отъ удивленія, какъ могутъ люди питаться подобною мерзостью. Итакъ, избѣжавъ всѣхъ этихъ неинтересныхъ для насъ подробностей, я прямо перейду къ разсказу того эпизода въ жизни Яшника, который имѣлъ роковое вліяніе на судьбу его.

Съ появленіемъ въ Сибири пароходовъ, населенію деревень, разбросанныхъ по Оби, Иртышу и Тоболу, представился выгодный заработокъ заготовлять дрова на пароходныя пристани. Промыселъ этотъ, какъ и всѣ выгодные промыслы, сначала попалъ въ руки зажиточныхъ крестьянъ, которые, подрядившись у пароходовладѣльцевъ, отдавали заготовку дровъ отъ себя болѣе бѣднымъ крестьянамъ за ничтожныя, въ сравненіи съ своими барышами, цѣны. Нѣкоторые пароходовладѣльцы, догадавшись, какъ много переплачиваютъ они въ руки непрошенныхъ участниковъ, стали разсылать приказчиковъ по деревнямъ и селамъ для подряда крестьянъ на поставку дровъ. Въ деревеньку Турбу заѣхалъ одинъ изъ такихъ приказчиковъ, и Яшникъ, въ числѣ другихъ крестьянъ, рѣшился попробовать удачи въ подрядѣ. Онъ боялся одного, что приказчикъ, узнавъ про бѣдность его, не довѣритъ ему работы и не дастъ задатка. Чистенько умывшись и причесавъ волосы осколкомъ рогового гребня, Яшникъ, глубоко вздыхая, положилъ передъ иконой три земныхъ поклона, и напутствуемый благословеніями жены, пошелъ къ дому, въ которомъ остановился приказчикъ. Робко переступилъ онъ черезъ порогъ комнаты и отвѣсилъ почти земной поклонъ приказчику, сидѣвшему у стола и сводившему счеты.

Приказчикъ былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ; въ чертахъ лица его проглядывала какая-то смѣсь лукавства и добродушія; пытливо осмотрѣвъ Яшника съ головы до ногъ, онъ отрывисто спросилъ: „что скажешь, молодецъ?“

— Работки бы надоть заполучить,—отвѣтилъ, переминаясь съ ноги на ногу, Яшникъ,—слышалъ, что твоя милость подряжаетъ мужиковъ дрова на пароходъ готовить?..

— Подряжаю!

— Не обойди и меня, яви Божескую милость... я... того... бѣдный...—произнесъ онъ,—ты не гляди на полушубокъ-то... я... я... вотъ тѣ Богъ въ поруку, справлюсь!..— лепеталъ онъ, не отдавая себѣ отчета, для чего и почему говоритъ все это.

— А на полушубокъ не глядѣть? — съ ироніей спросилъ приказчикъ.

— Не взирай... изъ милости... говорю...

— Ну, ну, такъ и быть, потѣшу тебя, голубчикъ, зажмурюсь на этотъ разъ!—смѣясь, отвѣтилъ приказчикъ. Вѣрно ты, братецъ, весь

тутъ, по пословицѣ, что на себѣ, то и при себѣ, а? — шутя, спросилъ онъ.

— Весь... весь тутъ... это ты того... въ правду сказалъ!

— Шутникъ же ты однако, какъ погляжу на тебя, ты здѣшній, что-ли?

— Тутошній, здѣсь и уродился... Яшникомъ зовутъ меня на міру то!..—отрекомендовался онъ.

— Яшникомъ! — съ недоумѣніемъ повторилъ приказчикъ. — Это что же за имя такое, а?.. Изъ какихъ святцевъ?..

— Оно, какъ бы тебѣ сказать, зовутъ-то меня Степаномъ,—пояснилъ онъ, — по сказкѣ-то я Бровкинъ пишуся, а ужъ это на міру меня все Яшникомъ кличутъ; ну, такъ и я ужъ, штобъ отъ людей не отставать, Яшникомъ зову себя.

— За что же тебѣ такое прозвище дали?

— А это, братецъ мой, не въ обиду тебѣ сказать, грѣхъ меня попуталъ, еще въ младенческомъ разумѣ, што пирогъ я однова съ яшной кашей укралъ.

— А-а-а... и съѣлъ?

— То-то што не съѣлъ, а только въ рукахъ подержалъ... Отняли!..

— Вотъ горе-то, а?..—съ ироніей прервалъ его приказчикъ.

— Отъ грѣха-то не упасешься!—со вздохомъ заключилъ Яшникъ; съ тѣхъ поръ и стали всѣ звать меня Яшникъ да Яшникъ... да такъ и по сейчасъ зовутъ,—съ тоскою въ голосѣ объяснилъ онъ.

— Ну, а теперь, по зрѣломъ-то размышленіи, ты ни пироговъ и ничего такого ужъ не воруешь, а-а?..

— Я-то... ну, пусть Богъ судитъ тебя за это слово... У меня полушубокъ-то, братъ, въ заплатахъ, зато совѣсть не сквозитъ. Я бѣдный, да можетъ, почище иного богатаго,—съ разлившейся по лицу краской говорилъ онъ. — На то я тебя и просилъ, што ты на полушубокъ-то не взирай... не обману я тебя... и если милость твоя будетъ—ссуди меня работой, дай мнѣ кусокъ хлѣба!—дрожащимъ голосомъ говорилъ онъ.

Приказчикъ пристально посмотрѣлъ на него и откашлялся:—Ты полнымъ домохозяйствомъ живешь, домохозяинъ? — спросилъ наконецъ онъ.

— Все какъ есть въ порядкѣ... и изба есть, и жена, и робятъ трое; четвертымъ-то еще хозяйка въ тягости ходитъ, — наивно объяснилъ ему Яшникъ.

— Ахъ ты, шутъ тебя возьми! Смотри-ка, вѣдь глядѣть не на что, а какое потомство развелъ, — со смѣхомъ замѣтилъ приказчикъ, а главнаго-то и не сказалъ ты мнѣ: много-ли лошадей-то у тебя?

отъ удивленія, какъ могутъ люди питаться подобною мерзостью. Итакъ, избѣжавъ всѣхъ этихъ неинтересныхъ для насъ подробностей, я прямо перейду къ разсказу того эпизода въ жизни Яшника, который имѣлъ роковое вліяніе на судьбу его.

Съ появленіемъ въ Сибири пароходовъ, населенію деревень, разбросанныхъ по Оби, Иртышу и Тоболу, представился выгодный заработокъ заготовлять дрова на пароходныя пристани. Промыселъ этотъ, какъ и всѣ выгодные промыслы, сначала попалъ въ руки зажиточныхъ крестьянъ, которые, подрядившись у пароходовладѣльцевъ, отдавали заготовку дровъ отъ себя болѣе бѣднымъ крестьянамъ за ничтожныя, въ сравненіи съ своими барышами, цѣны. Нѣкоторые пароходовладѣльцы, догадавшись, какъ много переплачиваютъ они въ руки непрошенныхъ участниковъ, стали разсылать приказчиковъ по деревнямъ и селамъ для подряда крестьянъ на поставку дровъ. Въ деревеньку Турбу заѣхалъ одинъ изъ такихъ приказчиковъ, и Яшникъ, въ числѣ другихъ крестьянъ, рѣшился попробовать удачи въ подрядѣ. Онъ боялся одного, что приказчикъ, узнавъ про бѣдность его, не довѣритъ ему работы и не дастъ задатка. Чистенько умывшись и причесавъ волосы осколкомъ рогового гребня, Яшникъ, глубоко вздыхая, положилъ передъ иконой три земныхъ поклона, и напутствуемый благословеніями жены, пошелъ къ дому, въ которомъ остановился приказчикъ. Робко переступилъ онъ черезъ порогъ комнаты и отвѣсилъ почти земной поклонъ приказчику, сидѣвшему у стола и сводившему счеты.

Приказчикъ былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ; въ чертахъ лица его проглядывала какая-то смѣсь лукавства и добродушія; пытливо осмотрѣвъ Яшника съ головы до ногъ, онъ отрывисто спросилъ: „что скажешь, молодецъ?“

— Работки бы надоть заполучить,—отвѣтилъ, переминаясь съ ноги на ногу, Яшникъ,—слышалъ, что твоя милость подряжаетъ мужиковъ дрова на пароходъ готовить?..

— Подряжаю!

— Не обойди и меня, яви Божескую милость... я... того... бѣдный...—произнесъ онъ,—ты не гляди на полушубокъ-то... я... я... вотъ тѣ Богъ въ поруку, справлюсь!..— лепеталъ онъ, не отдавая себѣ отчета, для чего и почему говоритъ все это.

— А на полушубокъ не глядѣть? — съ ироніей спросилъ приказчикъ.

— Не взирай... изъ милости... говорю...

— Ну, ну, такъ и быть, потѣшу тебя, голубчикъ, зажмурюсь на этотъ разъ!—смѣясь, отвѣтилъ приказчикъ. Вѣрно ты, братецъ, весь

тутъ, по пословицѣ, что на себѣ, то и при себѣ, а? — шутя, спросилъ онъ.

— Весь... весь тутъ... это ты того... въ правду сказалъ!

— Шутникъ же ты однако, какъ погляжу на тебя, ты здѣшній, что-ли?

— Тутошній, здѣсь и уродился... Яшникомъ зовутъ меня на міру то!..—отрекомендовался онъ.

— Яшникомъ! — съ недоумѣніемъ повторилъ приказчикъ. — Это что же за имя такое, а?.. Изъ какихъ святцевъ?..

— Оно, какъ бы тебѣ сказать, зовутъ-то меня Степаномъ,—пояснилъ онъ, — по сказкѣ-то я Бровкинъ пишуся, а ужъ это на міру меня все Яшникомъ кличутъ; ну, такъ и я ужъ, штобъ отъ людей не отставать, Яшникомъ зову себя.

— За что же тебѣ такое прозвище дали?

— А это, братецъ мой, не въ обиду тебѣ сказать, грѣхъ меня попуталъ, еще въ младенческомъ разумѣ, што пирогъ я однова съ яшной кашей укралъ.

— А-а-а... и съѣлъ?

— То-то што не съѣлъ, а только въ рукахъ подержалъ... Отняли!..

— Вотъ горе-то, а?..—съ ироніей прервалъ его приказчикъ.

— Отъ грѣха-то не упасешься!—со вздохомъ заключилъ Яшникъ; съ тѣхъ поръ и стали всѣ звать меня Яшникъ да Яшникъ... да такъ и по сейчасъ зовутъ,—съ тоскою въ голосѣ объяснилъ онъ.

— Ну, а теперь, по зрѣломъ-то размышленіи, ты ни пироговъ и ничего такого ужъ не воруешь, а-а?..

— Я-то... ну, пусть Богъ судитъ тебя за это слово... У меня полушубокъ-то, братъ, въ заплатахъ, зато совѣсть не сквозитъ. Я бѣдный, да можетъ, почище иного богатаго,—съ разлившейся по лицу краской говорилъ онъ. — На то я тебя и просилъ, што ты на полушубокъ-то не взирай... не обману я тебя... и если милость твоя будетъ—ссуди меня работой, дай мнѣ кусокъ хлѣба!—дрожащимъ голосомъ говорилъ онъ.

Приказчикъ пристально посмотрѣлъ на него и откашлялся:—Ты полнымъ домохозяйствомъ живешь, домохозяинъ? — спросилъ наконецъ онъ.

— Все какъ есть въ порядкѣ... и изба есть, и жена, и робятъ трое; четвертымъ-то еще хозяйка въ тягости ходитъ, — наивно объяснилъ ему Яшникъ.

— Ахъ ты, шутъ тебя возьми! Смотри-ка, вѣдь глядѣть не на что, а какое потомство развелъ, — со смѣхомъ замѣтилъ приказчикъ, а главнаго-то и не сказалъ ты мнѣ: много-ли лошадей-то у тебя?

— Одна!

— Ну, это, братъ, худо... какъ тебя... Степаномъ или Яшникомъ звать-то, а ты бы чѣмъ ребятъ-то плодить, лучше бы, на мой умъ, скотинкой-то заправился...

Яшникъ улыбнулся и почесалъ въ затылкѣ.—Оно вишь, ваша милость, какое дѣло-то, — отвѣтилъ онъ. — Слово-то твое пожалуй, что вѣрно, да только скотинкой-то обзавестись деньги надо, а ребятъ-то Богъ безплатно даетъ. Это кому какой предѣлъ. У другого и денегъ много, и скотинкой Богъ благословилъ, такъ о дѣткахъ плачется — дѣтокъ Богъ не даетъ. А у меня вотъ ребятъ полонъ ротъ, такъ жевать нечего, не фортунитъ!..

— Ну, значитъ, фортуны ловить не умѣешь...

— Э-эхъ... счастье-то, ваша милость, не птица... въ силокъ его не поймаешь!—съ горечью въ голосѣ замѣтилъ Яшникъ.

— Другіе же ловятъ, братъ... на все надо умѣнье... а ты не умѣешь... Вотъ ты шелъ ко мнѣ работы просить, и у тебя ума не хватило зипунъ-то почище надѣть, чтобы пообстоятельнѣй человѣкомъ выглянуть?.. Ну, какое же я къ тебѣ довѣрье могу имѣть, скажи... лошадей у тебя всего одна... Полушубокъ заплата на заплатѣ... а въ избѣ... поди, кромѣ ребятъ да таракановъ, и запнуться не на что... Нѣтъ, милый, хоть и жаль мнѣ тебя... съ виду-то ты, кажись, и честный мужикъ, а я тебѣ не могу вѣры дать.

— Яви милость,—началъ было Яшникъ...

— Не могу, и не проси понапрасну! Если староста да еще какой-нибудь зажиточный крестьянинъ поручатся за тебя, тогда приходи, я помогу тебѣ, и работу дамъ и денегъ въ задатокъ, а если никто не поручится, то и не утруждай меня своими поклонами.

Помялся Яшникъ съ минуту у порога и, вздохнувъ, вышелъ. Постоявъ въ раздумьѣ за воротами, онъ направился къ дому старосты, но не засталъ его, и пошелъ къ новому дому, обильно украшенному рѣзьбой, обличавшей прихотливый вкусъ владѣльца его, Антона Петровича Воротникова, весьма зажиточнаго человѣка, ручательство котораго могло имѣть значеніе. Воротниковъ часто давалъ въ ссуду Яшнику и хлѣба, и денегъ по мелочамъ, за что Яшникъ всегда исполнялъ у него различныя домашнія работы. Когда онъ вошелъ въ домъ, Воротниковъ обѣдалъ и радушно пригласилъ его садиться къ столу.

— Я, признаться, за милостью къ тебѣ, Антонъ Петровичъ, — началъ Яшникъ, не зная, съ чего начать свою щекотливую просьбу и конфузливо потупясь въ землю отъ пристальнаго взгляда хозяина.

— Вижу!—рѣзко отвѣтилъ Воротниковъ, облизывая ложку.—

Ужъ коли кому на деревнѣ понадобилась заплата на карманъ или брюхо, такъ бѣги къ Антону: у него на всѣхъ добра хватитъ, про всѣхъ запасъ... О-охъ, грѣхи, грѣхи! Коли хлѣба надо, дамъ малость, а о деньгахъ и не заикайся лучше.

— Мнѣ и не надо ни хлѣба, ни денегъ, я не затѣмъ...

— О-о-о... Аль богатъ сталъ?..

— Ужъ мнѣ-ли богатствомъ считаться, Антонъ Петровичъ, дай Богъ въ заплатахъ-то не терять счету...

— Ну, ну, што-жъ, считай, набивай языкъ, неравно разбогатѣешь, такъ пригодится, въ рубляхъ не собьешься. Хе-хе... Такимъ-то, какъ ты, сказываютъ, и Богъ въ попеченье...

— Не шибко чего-то...

— Не ропщи... еще не узнано! Присядь-ко, гость будешь. А не то похлебай молочка-то съ нами. Матрена, дай-ка ложку!—обратился онъ къ снохѣ своей, возившейся у печки съ горшками.

— Не трудись, Матрена Митревна, — отозвался Яшникъ, — не угощай—сытъ я.

— Ну, сытъ, такъ и слава Богу! Коли бы всѣ-то на свѣтѣ сыты бывали, такъ, чай бы, и грѣха на міру не было. О-охъ, Господи, — произнесъ Воротниковъ, вставая, и началъ усердно молиться на передній уголъ, заставленный иконами.—Ну, развязывай языкъ-то, какая отъ меня милость потребовалась? — спросилъ онъ, садясь около Яшника на лавкѣ.

— О-охъ, говорить-ли ужъ!.. —произнесъ тотъ, вздохнувъ.

— Ну, не хочешь говорить, такъ въ молчанку поиграемъ, хе-хе... Што-жъ ты такъ заробѣлъ? Говорятъ, што духомъ-то тогда падаютъ, когда денегъ идутъ просить, а, вѣдь, тебѣ ихъ не надо, отчего же робѣешь-то, говори!..

— Подрядъ хочу взять, Антонъ Петровичъ, дрова рубить, да за однимъ дѣло стало.

— Топора нѣтъ?—съ ироніей прервалъ Воротниковъ.

— Есть, этимъ-то струментомъ богатъ, да подряду-то не даетъ приказчикъ.

— Экой злодѣй какой, а... Чего-жъ онъ говоритъ?

— Заплатъ, говоритъ, на полушубкѣ много... такъ поручителя представь...

— Въ чемъ?.. што ихъ никогда меньше-то не будетъ?

— Не смѣйся, Антонъ Петровичъ, снизойди лучше, поручись за меня... слезы, вѣдь, мои просятъ!—надорваннымъ голосомъ прервалъ его Яшникъ.

— Не плакать же, глядя на тебя; въ чемъ же поруку-то надобно?

— Што я исправно вырублю всю пропорцію, какую возьму.

— А много-ль ты берешься рубить-то?

— Тридцать саженъ.

— А-а-а.... стало быть, петля-то на твою шею велика, такъ ты еще поспопутью мою хочешь втолкнуть въ нее, хе-хе-е... Ну, съ полнымъ-ли ты разумомъ человѣкъ, скажи ты мнѣ! У меня два сына, работникъ, да и самъ я, пока Богъ грѣхамъ терпитъ, на печи не лежу, да и то я на сто саженъ только подрядился... А ты оглянись на себя... вырубить-ли тебѣ тридцать-то саженъ, а?

— Вырублю... вотъ тѣ Богъ...

— Да ты встань, встань, говорю тебѣ,—крикнулъ онъ, выходя изъ себя,—аль тебя горемъ-то къ лавкѣ приклёпило?

Яшникъ поднялся съ лавки и робко всталъ передъ Воротниковымъ: видно было, что грудь его сдавилъ при этомъ глубокій, но подавленный вздохъ.

— Ну, огляни себя теперь хорошенько, огляни, говорю, каковъ ты выглядишь, а? Ну, таковскій-ли ты работникъ, штобъ тридцать саженъ вырубить, а? Тебя, вѣдь, съ десяти-то шатуномъ закачаетъ, а ты тридцать хватилъ. Э-эхъ, прости Господи, всякій-то лѣзетъ въ омутъ, гдѣ бы деньгу поймать, а на то не смотритъ, што достанетъ-ли ногой до дна, што не захлеснетъ-ли его волной-то!—качая головой, поучительнымъ голосомъ произнесъ Воротниковъ.—Ужъ дѣлалъ бы ты кадушки свои, да тунсья, а то тоже за подряды берешься, а на то не смотришь, по головѣ-ли тебѣ комерція. Э-э-эхъ! Приди-ка лучше завтра ко мнѣ, да наколоти мнѣ обручи на полубочье, за это я тебѣ мучки отсыплю. А въ поручатели идти, за кого бы то ни было, избави Господи. Я ужъ много платился на вѣку-то за чужіе грѣхи, теперь, пособи Богъ, свои-то съ костей складываешь,—закончилъ Воротниковъ.

Выйдя отъ Воротникова, Яшникъ безсознательно пошелъ по улицѣ, не замѣчая попадавшихся ему навстрѣчу крестьянъ и не отвѣчая обычнымъ поклономъ на привѣтъ ихъ. Сердце его мучительно сжималось... Впереди передъ нимъ стояла одна роковая, неотразимая нужда, избѣжать которой онъ могъ бы только при помощи своихъ ближнихъ, такъ безучастно относившихся къ его горю... „Эй, Яшникъ!“ окрикнулъ его въ это время староста, поровнявшись съ нимъ: „ты, сказываютъ, у меня былъ!“ Яшникъ очнулся, точно разбуженный отъ сна, торопливо снялъ шапку съ головы и, растерявшись, стоялъ съ минуту передъ нимъ молча, точно не находя словъ въ отвѣтъ ему.

— Былъ! — прошепталъ наконецъ онъ.—Я... того... къ твоей

милости... ослобони... — залепеталъ Яшникъ. Безсвязно заикаясь на каждомъ словѣ, онъ разсказалъ старостѣ свое свиданіе съ приказчикомъ и Воротниковымъ и, низко поклонившись ему, попросилъ поручиться за него.

— Я и радъ бы поручиться, друже,—выслушавъ его, съ любезной уклончивостью отвѣтилъ староста:—да какой я ручатель-то? Я и самъ бѣгаю по деревнѣ, ищу, кто бы поручился за меня, и мнѣ-то приказчикъ не вѣритъ, поруку требуетъ... Такъ ты говоришь, что Воротниковъ обругалъ тебя?..—съ сожалѣніемъ спросилъ онъ.

— Обругалъ!..

— А я только што хотѣлъ къ нему идти докучать своей просьбой, ужъ, знать, обождать надо, а то и меня обругаетъ. Да ты съ чего это въ подряды-то пустился?—спросилъ онъ какъ будто бы къ слову.

— Нужда... вѣдь моя горькая, Петръ Никитичъ, кланяться-то заставляетъ!..

— О-охъ! Нужда-то у всѣхъ вѣрно въ затылкахъ скребетъ. А ты сколько саженъ взять-то хочешь?

— Тридцать бы думалъ.

— Не мало!.. А ты бы съ десяточекъ на первое время испробовалъ, а то смотри не зарвись, тогда горше нужда-то будетъ! Сходи къ Максиму, поклонись ему,—посовѣтовалъ староста, а на меня не гнѣви, я бы и поручился, кабы свой горбъ къ землѣ не гнулъ.

Разставшись со старостой, Яшникъ прошелъ по улицѣ нѣсколько шаговъ, держа въ рукахъ шапку. Онъ зналъ, что староста былъ человѣкъ зажиточный, но только вѣчно плакавшійся на свою нужду; онъ зналъ и то, что староста взялъ весьма крупный подрядъ на поставку дровъ и, вспомнивъ лживыя слова его, улыбнулся. „Обзаведись-ка вотъ скотинкой“, пробормоталъ онъ, припомнивъ укоризненныя слова приказчика, „коли ни у кого души-то нѣтъ, штобъ оглянуться на твою бѣду. О-охъ, Господи, хоть въ воду броситься, такъ въ пору бы было!“ произнесъ онъ, и на глазахъ его навернулись слезы. Онъ подошелъ уже къ своему дому, какъ увидалъ, что близкій сосѣдъ его, Власъ Семеновичъ Кореневъ, сидя подъ навѣсомъ своего двора, вытесывалъ новыя полозья къ дровнямъ. Кореневъ былъ человѣкъ старый, не богатый, но всѣми уважаемый за свою правдивость. Онъ два трехлѣтія прослужилъ волостнымъ головою, не запятнавъ своего имени никакимъ безчестнымъ поступкомъ. Голосъ опытнаго старика имѣлъ большое значеніе на волостныхъ сходахъ и въ дѣлахъ, касавшихся общественныхъ интересовъ, крестьяне всегда обращались къ нему за совѣтомъ. Увидѣвъ вошедшаго на дворъ Яшника, старикъ привѣтливо встрѣтилъ

его, но узнавъ, что Яшникъ пришелъ съ просьбой поручиться за него, Власъ призадумался и долго стоялъ, почесывая правою рукою въ затылкѣ.

— Порука — наука! на міру говорятъ, — задумчиво произнесъ онъ.—Слово то „ручаюсь“ вымолвить не мудрено, да боязно, потому слово то это не простое, а двуконцое, въ случаѣ бѣды оно сильнѣе обуха бьетъ, сердешный мой, однимъ-то концемъ по карману, а другимъ по совѣсти. Ты и платись за это словцо, да ты же за него и глазами хлопай, передъ кѣмъ ручался. Всякій скажетъ: я тебѣ вѣрилъ, стало быть, и ты человѣкъ не вѣрный. Нѣтъ, болѣзный, всякую послугу я тебѣ сдѣлаю, а отъ поруки ослобони!—рѣшительно отвѣтилъ старикъ Власъ.

— Власъ Семенычъ, для Бога-то оглянись ты на меня, куда я пойду болѣ!..—произнесъ надорваннымъ, разбитымъ голосомъ Яшникъ.

— Деревня-то велика, болѣзный, поищи, какъ хлѣба ищешь. Жаль мнѣ тебя, по совѣсти говорю, жаль, худого ничего не видалъ за тобой и не слыхалъ. Тихой ты человѣкъ, не пьющій, да опаска беретъ за тебя. Ну што, какъ ты не справишься, што, если какая бѣда тебя настигнетъ, а платиться мнѣ за другихъ не въ моготу, я самъ бѣдный!..

— Справлюсь... душу всю положу, а справлюсь... вѣрь ты мнѣ!..

— Вѣрю, сердешный, вѣрю, што пластомъ ты на работѣ ляжешь, да, вишь, талану-то тебѣ Богъ не далъ, удачей-то не благословилъ, вотъ въ чемъ и струна-то вся... вотъ почему и опаска то беретъ за тебя!..—съ грустью произнесъ Власъ.

Яшникъ, какъ снопъ, повалился ему въ ноги.

— Встань, полно!—строго произнесъ старикъ. — Только предъ Владыкой небеснымъ колѣно преклоняй, а человѣки всѣ равны, всѣ отъ персти взяты и перстью будутъ!

И онъ наклонился, чтобъ поднять его, но Яшникъ лежалъ, какъ убитый. Наконецъ онъ приподнялъ голову. Въ лицѣ его, омоченномъ слезами, выражалось глубокое страданіе.

— Заступись!—прошепталъ онъ,—гибну вѣдь я, помоги ты мнѣ, дай мнѣ передохнуть, изнылъ я въ этой жизни—изнылъ! Робята-то неповинныя голодомъ сидятъ, наги и босы всѣ. Лошаденка едва ноги волочитъ, куды я дѣпусь, какъ падетъ она! Господи, Господи! хоть бы смерть-то скорѣе настигла меня!

И онъ зарыдалъ.

— А-а ахъ ты, скорбная голова твоя!—растроганнымъ голосомъ произнесъ Власъ и долго смотрѣлъ на него, качая головой. — Пойдемъ! — произнесъ наконецъ онъ,—авось, Владычица многомилостивая поможетъ тебѣ.

И что-то ясное, величавое пробѣжало въ эту минуту въ старческомъ лицѣ Власа, обрамленномъ серебрившимися волосами. Войдя въ избу, онъ молча надѣлъ суконный зипунъ, молча вышелъ, сопровождаемый Яшникомъ, и торопливо пошелъ къ дому старосты.

— Какой я ручатель, Власъ Семеновичъ, што ты!—испуганнымъ голосомъ отвѣтилъ староста, когда старикъ объяснилъ ему причину своего прихода, прося поручиться вмѣстѣ съ нимъ за Яшника.—Я... я самъ-то ищу, кто бы поручился за меня.

— Ты поручителя ищешь? — съ улыбкою, качая головой, спросилъ Власъ.

— Ищу, вотъ тебѣ Богъ, если вѣры не даешь моему слову, то спроси, кого хочешь.

— И это ты Бога-то, какъ заклепку, въ лукавую рѣчь ставишь, и не грѣхъ тебѣ!

— Молоденецъ я, что-ли, учить-то ты меня пришелъ! — весь вспыхнувъ, крикнулъ староста. — Коли я лукавлю, такъ и уходи, и правдиваго языка не марай съ такимъ богохульникомъ.

— Хуже ты молоденца, Петръ Никитичъ, право хуже. Молоденецъ лукавитъ по неразумію, а ты, съ сѣдиной человѣкъ, только себя обманываешь на людскую потѣху. Вѣдь ужъ всѣ знаютъ, што ты первѣй всѣхъ подрядился на восемьдесятъ саженъ и деньги сполна получилъ, а ты божишься, што поручителя ищешь, — и Власъ засмѣялся какимъ-то беззвучнымъ смѣхомъ, глядя на покраснѣвшаго и растерявшагося старосту. — Искупи свою фальшь, поручись. Возьмемъ грѣхъ пополамъ. Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ! У кого чего впереди, еще не узнано.

— Иди, коли хочешь, запрету нѣтъ, — отвѣтилъ, не глядя на него, староста, — надѣвай на себя хомутъ, а я въ чужой упряжи не ѣзжу!

— Очнись!.. много будетъ грѣха на твоей совѣсти, коли на твоихъ глазахъ мужикъ замается, а ты не помогъ ему.

— Я-то не сплю, тебѣ не протереть ли глаза, штобъ поглядѣлъ хорошенько, за кого ручаться-то идешь, хе-хе...

— Знаю, што онъ бѣдный, знаю, што и Богъ его управитъ...

— О-о!.. Аль на сучкѣ гадалъ!..

— Не смѣйся,—замѣтилъ старикъ,—не будь еще хуже его. Онъ бѣдный, да въ немъ совѣсть есть, правда въ душѣ, онъ не кривилъ въ своей жизни. Богъ еще оглянется на него. Иди, Петръ Никитичъ, худо отъ нужды отвертываться. Ты ему поможешь, и тебѣ Богъ за твое добро дастъ... Иди... иди!..

— Вотъ присталъ, словно банный листъ, прости Господи!.. да нѣшто я одинъ въ деревнѣ-то? Што Воротникова не зовешь?

— Ты староста...

— Такъ нѣшто меня на то міръ въ старосты выбралъ, штобъ я ручался за всѣхъ, обойденныхъ Богомъ?

— Иди, послушай меня, старика,—настаивалъ Власъ.

— Тьфу ты, напасть!—отплюнулъ староста и сѣлъ въ уголъ, не обращая вниманія на посѣтителей.

Много стоило усилій Власу Семеновичу убѣдить его поручиться за Яшника. Надъ деревней нависла уже темная осенняя ночь, когда они всѣ трое пошли къ приказчику. Благодаря ручательству ихъ, Яшникъ подрядился поставить тридцать саженъ березовыхъ дровъ по три рубля за сажень и получилъ на руки шестьдесятъ рублей денегъ. Радости и благодарности его не было предѣловъ. Идя домой, онъ всю дорогу крестился, призывая благословеніе на старика Власа и старосту. Черезъ нѣсколько дней на дворѣ избы Яшника появилась новая лошадь, а на плечахъ новый полушубокъ. Яшникъ повеселѣлъ. Хоть на одинъ мигъ семья его отдохнула отъ суровой нужды. Даже Пѣгашка выглядывала какъ будто веселѣе, и для нея настала желанная пора отдыха. Наступила зима. Яшникъ выправилъ въ волости лѣсорубочный билетъ и каждый день вмѣстѣ съ женой, оставляя дѣтей подъ надзоромъ сосѣдей, они уѣзжали въ лѣсъ и возвращались домой, когда въ деревнѣ мелькали вечерніе огни. Староста и Власъ нерѣдко втихомолку заглядывали въ лѣсной участокъ Яшника посмотрѣть, исправно ли идетъ работа.

Въ началѣ марта Яшникъ пришелъ къ Власу Семеновичу и, поклонившись ему за его заступничество, объявилъ, что всѣ тридцать саженъ дровъ вырублены. Онъ и не зналъ, что старикъ Власъ за нѣсколько дней лично убѣдился въ окончаніи работы, въ достоинствѣ дровъ и въ плотности саженъ, густою стѣной сложенныхъ на берегу Тобола.

— Спасибо и тебѣ, Степанъ Яковлевичъ, — сказалъ ему въ отвѣтъ Власъ.—Побаивался я за тебя, не потаю. Но слава Богу, што Богъ управилъ тебя. Теперь я, зажмуря глаза, поручусь за тебя во всякомъ дѣлѣ!

Онъ усадилъ его въ передній уголъ и даже пригласилъ напиться чаю. Яшникъ оробѣлъ отъ ласки, растерялся, что-то залепеталъ въ отвѣтъ и не кончилъ. Но что-то теплое, отрадное пробѣжало на душѣ его отъ привѣтливыхъ словъ старика. Онъ уже задумывалъ, сдавши дрова, подрядиться на сто саженъ, прикупить двѣ лошади и нанять

кого-нибудь въ помощь. Будущее какъ будто улыбалось ему, и нерѣдко, въ теплый весенній вечеръ, глядя на дѣтей, играющихъ на дворѣ, и слыша веселый крикъ ихъ, онъ благодушно улыбался и думалъ: „Это на нихъ Богъ оглянулся, на ихъ долю послалъ, а то, можетъ и того... я бы и не справился!“

Весна 186... года осталась надолго памятною крестьянамъ Тобольской губерніи. Разлившіяся рѣки затопили поля, луга и деревни, стоявшія на низменной мѣстности. Много зажиточныхъ крестьянъ пошло по міру. У многихъ потонулъ весь скотъ и даже смыло избы со всѣми пожитками. Пострадали отъ разлива Тобола и жители деревеньки Турбы. Вырубленныя подрядившимися крестьянами дрова для пароходныхъ станцій, у большинства сложенныя на берегу Тобола для удобства сплава на плотахъ, разнесло водой; въ числѣ пострадавшихъ былъ и Яшникъ. Несчастье это надломило Яшника: онъ въ нѣсколько дней постарѣлъ, осунулся, впалые глаза его потускли. Иногда онъ по цѣлымъ часамъ просиживалъ въ какомъ-то забытьѣ, не понимая, что ему говорятъ. По иску приказчика, освободившаго поручителей отъ уплаты долга, волость продала у Яшника купленныя имъ лошадь и корову и деньги выдала приказчику въ пополненіе долга; самого же Яшника законтрактовала за 15 руб. въ лѣто въ работу на Обь къ рыбопромышленнику, и въ половинѣ мая жена проводила Яшника въ путь.

Весною, по дорогѣ къ Березову, часто встрѣчаются крестьяне, идущіе небольшими партіями человѣкъ въ пять, въ шесть на заработки на обскіе рыбные промыслы. Рваные зипуны и полушубки, тощія котомки на плечахъ, истомленныя, часто болѣзненныя лица говорятъ краснорѣчивѣе словъ о печальной жизни, какая гонитъ этихъ людей на скудный заработокъ. Въ большинствѣ случаевъ, идущіе на эти работы крестьяне—неоплатные недоимщики, законтрактованные волостью въ работу, или должники, неимѣющіе средствъ къ уплатѣ долга. Горькая нужда сгоняетъ на этотъ промыселъ самый разнообразный людъ: тутъ встрѣчаются и остяки, продающіе свой трудъ за нѣсколько фунтовъ табаку, за штуку лежалаго ситцу, за штофъ или два водки,—и поселенцы, и мѣщане, и отставные солдаты. Всѣ они сплачиваются между собою въ артели, выбираютъ изъ среды себя старосту для наблюденія за работой и порядкомъ въ артели, на руки которыхъ хозяева выдаютъ невода, рыболовные снаряды и снасти, и живутъ на промыслахъ до первыхъ заморозковъ въ жалкихъ шалашахъ, укрытыхъ берестой и древесными вѣтвями, въ холодѣ, въ сырости, снѣдаемые

миріадами насѣкомыхъ и паразитовъ, представляя собою жертвы для тифа, цынги, ревматизмовъ и изнурительной лихорадки. Какъ дома въ деревнѣ, такъ и въ артели на Оби, Яшникъ скоро сдѣлался мишенью для острыхъ пасмѣшекъ и шуточекъ. Здѣсь такъ же, какъ въ деревнѣ, каждый помыкалъ имъ. Возвратившись съ работы, изнуренный трудовымъ днемъ, приляжетъ онъ соснуть, бывало, а ему ужъ кричатъ: „Эй, ты, мухортый, что ты за баринъ такой, что допрежъ людей ноги протянулъ, поди-ко наноси воды, развѣ не знаешь своей очереди!“ Встанетъ Яшникъ и, не разбирая, его очередь или нѣтъ, беретъ ведро и идетъ къ рѣкѣ за водою, или отправляется въ лѣсъ рубить валежникъ на костеръ. Особенно часто преслѣдовалъ Яшника насмѣшками и нападками на его слабосиліе рабочій Карпъ Дмитричъ Ѳедотовъ, или Утюгъ, какъ называли его въ артели. Утюгъ отличался огромнымъ ростомъ, неуклюжестью и страшной физической силой. Онъ ходилъ всегда на пятѣ невода, и въ голосѣ его, отъ привычки заправлять работой, было что-то повелительное. Утюгъ одинъ, бывало, ворочалъ лодки, невода и снасти, которыхъ не могли осилить десять человѣкъ. Нерѣдко видя, какъ Яшникъ усиливался поднять что-нибудь тяжелое, онъ съ презрѣніемъ отталкивалъ его, говоря: „Эхъ, садилъ бы ты лучше дома горохъ, аль рѣпу съ бабами, чѣмъ за экую работу браться... и кой чортъ тебя только на свѣтъ уродилъ, скажи ты мнѣ!“

Однажды вечеромъ, возвратившись съ работы и убравъ невода и снасти, артель, по обыкновенію, развела огромный костеръ на берегу, который весело пылалъ, бросая багровый отблескъ на побережный лѣсъ, на хмурыя сосны и ели, задумчиво качающія своими вершинами. Усталые рабочіе, развѣсивъ у костра для просушки мокрые бродни, рубахи, зипуны, присаживались къ костру, грѣя голыя спины. Говоръ, смѣхъ, пѣсни разносились по берегу. Присѣлъ погрѣться у костра и Яшникъ.

— Съ диву даюсь, братцы! — неожиданно началъ Утюгъ, увидѣвъ Яшника: — какъ это инымъ людямъ даетъ Богъ таланъ, а они его втунѣ покидаютъ. Ну, кой чортъ несъ теперича нашего мухортаго на Обь, на экіе каторжные промыслы, за пятнадцать рублевъ за все лѣто... а?

— А куды-жъ онъ гожъ-то болѣ?— послышались голоса.

— Тыщи бъ могъ нажить, кабы съ умомъ-то былъ, да-а... Вздерни теперича ему сквозь носъ оловянное кольцо, присусѣдь къ нему медвѣдя, да принайми вожака, што пограмотнѣй, и поди по городамъ и селамъ на показъ. Вотъ, молъ, честной людъ, полюбуйся, какіе въ Россейской имперіи мужики водятся, такъ сколь бы ему въ шапку-то денегъ наклали — безъ счету бы, — закончилъ онъ при общемъ взрывѣ

хохота. Разжива бы,—снова началъ онъ, когда смѣхъ слушателей затихъ,—а сзади бы его и бабу его съ ребятами пристегнуть, што вотъ, молъ, благородная публика, не извольте безпокоиться, што это горохового чучело, обряженное мужикомъ, а безъ фальшу, самонастоящій мужикъ, што и робятъ на свѣтъ производить можетъ, во свидѣтельство чего и баба его представляется. Взирали бы, други, и старый, и малый на экое явленіе, ей-богу! При этакой фортунѣ на каменномъ фундаментѣ можно бы было домъ вытянуть, а не то, штобъ въ заработки на Обь идти!—При послѣднихъ словахъ Утюгъ одной рукой схватилъ Яшника сзади за воротъ его полушубка и, безъ всякихъ усилій, поднялъ его на воздухъ надъ костромъ.—Ну, развѣ это мужикъ, братцы, а?—спросилъ онъ артель, катавшуюся отъ хохота при видѣ, какъ Яшникъ отчаянно болталъ въ воздухѣ руками и ногами.

— Люди ли вы! за што вы тиранствуете надо мной, што я сдѣлалъ вамъ?—крикнулъ Яшникъ, когда Утюгъ выпустилъ его изъ рукъ, и онъ оправился отъ неожиданной встряски.

— А-ахъ, ха-ха-а, слышите, братцы, какъ тряхнули его, такъ и языкъ развязался. А ну-ко, еще тряхни—гляди и запоетъ!

— Идолы! Съ утра до ночи вы полощитесь въ водѣ, а нѣтъ, штобы совѣсть постирать свою, аль ужъ водой-то не отмыть ее, щелокомъ надоть отмачивать!—крикнулъ Яшникъ хохочущей толпѣ, уходя въ шалашъ. Съ тѣхъ поръ онъ никогда не подходилъ къ костру и, возвратившись съ работы, уходилъ въ побережный лѣсъ чинить платье или обувь.

Въ началѣ августа Утюгъ сталъ недомогать, хотя попрежнему ежедневно ходилъ на работу. Онъ жаловался на ломоту въ костяхъ, на головную боль и, возвращаясь съ работы, ложился въ изнеможеніи на солому въ углу шалаша. Однажды утромъ, когда артель собралась на работу, Утюгъ, проведя ночь въ бреду, поднялся съ соломы и сталъ одѣваться, но силы измѣнили ему, онъ пошатнулся и упалъ.

— Эй, Утюгъ, иди скорѣе!—торопила между тѣмъ артель, снимая неводъ, тогда какъ другая половина рабочихъ снаряжала лодку и скручивала въ кольцо канатъ отъ невода, чтобы удобнѣе было сбрасывать его въ рѣку. Вмѣсто отвѣта Утюгъ простоналъ и вытянулся во весь ростъ; съ нимъ начался бредъ.

— Скоро, што-ли?—торопила артель, собравшись около шалаша; нѣкоторые изъ рабочихъ заглянули при этомъ въ шалашъ.—Ишь, дворянинъ какой, чуть прихворнулось и разнѣжился,—заговорили они.—Нашъ-то братъ полумертвый въ ину пору въ воду-то лѣзетъ—вздыху не дадутъ, а тутъ гляди-ко!

И рабочіе принялись расталкивать Карпа. Въ это время въ шалашъ вошелъ артельный староста.

— Карпъ, вставай, въ работѣ-то скорѣе оклемаешься! Хворать-то теперь, братъ, недосужно!—громко крикнулъ староста, приподнимая его съ соломы. Но Карпъ только безсознательно смотрѣлъ на всѣхъ и что-то бормоталъ.

— Братцы, неужто души-то въ васъ нѣтъ! Онъ больной, всю ночь прометался, куды онъ въ воду-то полѣзетъ. Онъ и теперь вонъ што-то непутное бормочетъ, ровно не въ памяти!..—вступился Яшникъ, обратившись къ артели.

— Въ работѣ-то скорѣе бы очнулся и болѣзнь-то перемогъ бы!—отвѣтилъ староста.—Вѣдь теперь дѣло-то такое, што безъ него вся артель, какъ безъ рукъ. Кто на пяту-то кромѣ его пойдетъ, развѣ ты, Василій?—обратился онъ къ одному изъ рабочихъ, рослому, сильному мужчинѣ.

— Избави Господи! Тутъ и руки, и ноги всѣ вывертитъ,—отвѣтилъ тотъ, пятясь изъ шалаша.—Я... я... ни въ жизнь не пойду!..

— Вишь, други, мужикъ-то разнемогся, какъ же быть-то теперь въ этомъ дѣлѣ? — задумчиво почесывая въ затылкѣ, говорилъ староста.—Не станетъ-ли кто, братцы, изъ васъ на пяту сегодня, а къ завтрему-то онъ можетъ и оклемается.

Рабочіе молчали.

— Кому охота въ чужую упряжь голову совать, Пантелей Орефьичъ!—послышались наконецъ голоса среди рабочихъ.—На пятѣ-то стоять дѣло мудреное, свычку надо...

— Ослобони ужъ пасъ... не гнѣвись...

— Неужли никто не справится?— спросилъ староста.

— Видать... охотниковъ не найдешь и не шарь лучше, всякому свое, братъ, дорого. А ты бы, на мой умъ, водицей Карпа-то окатилъ... да не разъ, не два, такъ онъ бы и очнулся; не дворянинъ хворать-то...

— И то бы водицей, братцы.

— А то бы шерсточки попалить ему подъ носомъ-то... вскочилъ бы, какъ встрепанный, паленая-то шерсть помогаетъ...

— Я пойду... я на пяту встану, а его не мучьте, больной онъ!—неожиданно отозвался Яшникъ.

— Мухортый-то, мухортый-то, на пяту идетъ, братцы... А-а-ахъ-ха-ха-а...—разразилась толпа чуть не въ одинъ голосъ.

— Ты на пяту? — искоса осмотрѣвъ его, насмѣшливо спросилъ староста.

— Никто какъ Богъ!.. Неужто теперь больного человѣка въ воду

тащить... Совѣсть-то гдѣ-жъ... душа-то!—покраснѣвъ и оживившись, заговорилъ Яшникъ.—Я иду и стану на пятѣ, Пантелей Орефьичъ, не сумняйся!—смѣло отвѣтилъ онъ и рѣшительно вышелъ изъ шалаша.

Староста молча, подумавъ съ минуту, поглядѣлъ на лежавшаго безъ памяти Карпа, грудь котораго высоко вздымалась, а волосы прилипли на лбу отъ холоднаго пота, и махнулъ рукой.

— Ну, братцы, слушай команды, не зѣвай, а то бѣда на пятѣ-то сегодня... У-у-у какой звѣрь станетъ!..

— Словомъ однимъ ушибетъ!..

— Э-э-э! у этого поворачивайся. Страху-то нагонитъ и жизнь проклянешь.

— И-и... осетровъ же мы наимаемъ сегодня... взвеселимъ хозяйское сердце...

— Вся обьская рыба въ нашъ неводъ пойдетъ, потому и ей будетъ любопытно взглянуть, какъ новый пятовщихъ станетъ съ неводомъ управляться!—трунила артель, садясь въ лодку.

Яшникъ молча взялъ колъ отъ пяты невода и пошелъ въ воду, пока лодка съ рабочими, выбрасывавшими неводъ въ рѣку, плыла на средину рѣки. Стоять на пятѣ невода требуется сила, ловкость и большой навыкъ; нужно во-время дать теченію отнести неводъ на средину рѣки, чтобъ захватить имъ какъ можно болѣе пространства въ рѣкѣ, и затѣмъ сдерживать его и регулировать его направленіе противъ силы теченія. Отъ умѣнья и ловкости рабочаго, стоящаго на пятѣ, зависитъ успѣхъ улова. Тоня сверхъ ожиданія шла удачно. Подкова, какую образовалъ неводъ въ рѣкѣ, обозначавшаяся на поверхности воды поплавками невода, постепенно съуживалась. Съ неимовѣрными усиліями Яшникъ сдерживалъ противъ теченія неводъ, упирая колъ въ дно рѣки и налегая на него грудью. Вереницы чаекъ, описывая въ воздухѣ круги, съ крикомъ носились надъ пространствомъ, какое охватилъ неводъ въ рѣкѣ, высматривая и схватывая налету добычу. Работа приходила уже къ концу. Въ это время Яшникъ, чтобы облегчить трудъ рабочихъ, тянувшихъ по берегу лямкой канатъ отъ невода, нѣсколько освободилъ колъ, и только-что хотѣлъ снова упереть его въ дно, какъ колъ скользнулъ по дну, и неводъ рвануло теченіемъ и понесло въ глубь рѣки, вырвавъ изъ рукъ его колъ. Яшникъ кинулся вплавь, схватилъ колъ, но теченіемъ его понесло вмѣстѣ съ коломъ и неводомъ. Онъ крикнулъ о помощи. Съ берега замѣтили его опрометчивость, услышали крикъ, и лодка съ тремя гребцами отчалила къ нему на помощь. Но ноги Яшника опутало уже канатомъ отъ мотни невода; онъ крикнулъ: „Спасите!“ и исчезъ подъ водой, а неводъ относило теченіемъ все

И рабочіе принялись расталкивать Карпа. Въ это время въ шалашъ вошелъ артельный староста.

— Карпъ, вставай, въ работѣ-то скорѣе оклемаешься! Хворать-то теперь, братъ, недосужно!—громко крикнулъ староста, приподнимая его съ соломы. Но Карпъ только безсознательно смотрѣлъ на всѣхъ и что-то бормоталъ.

— Братцы, неужто души-то въ васъ нѣтъ! Онъ больной, всю ночь прометался, куды онъ въ воду-то полѣзетъ. Онъ и теперь вонъ што-то непутное бормочетъ, ровно не въ памяти!..—вступился Яшникъ, обратившись къ артели.

— Въ работѣ-то скорѣе бы очнулся и болѣзнь-то перемогъ бы!—отвѣтилъ староста.—Вѣдь теперь дѣло-то такое, што безъ него вся артель, какъ безъ рукъ. Кто на пяту-то кромѣ его пойдетъ, развѣ ты, Василій?—обратился онъ къ одному изъ рабочихъ, рослому, сильному мужчинѣ.

— Избави Господи! Тутъ и руки, и ноги всѣ вывертитъ,—отвѣтилъ тотъ, пятясь изъ шалаша.—Я... я... ни въ жизнь не пойду!..

— Вишь, други, мужикъ-то разнемогся, какъ же быть-то теперь въ этомъ дѣлѣ? — задумчиво почесывая въ затылкѣ, говорилъ староста.—Не станетъ-ли кто, братцы, изъ васъ на пяту сегодня, а къ завтрему-то онъ можетъ и оклемается.

Рабочіе молчали.

— Кому охота въ чужую упряжь голову совать, Пантелей Орефьичъ!—послышались наконецъ голоса среди рабочихъ.—На пятѣ-то стоять дѣло мудреное, свычку надо...

— Ослобони ужъ насъ... не гнѣвись...

— Неужли никто не справится?— спросилъ староста.

— Видать... охотниковъ не найдешь и не шарь лучше, всякому свое, братъ, дорого. А ты бы, на мой умъ, водицей Карпа-то окатилъ... да не разъ, не два, такъ онъ бы и очнулся; не дворянинъ хворать-то...

— И то бы водицей, братцы.

— А то бы шерсточки попалить ему подъ носомъ-то... вскочилъ бы, какъ встрепанный, паленая-то шерсть помогаетъ...

— Я пойду... я на пяту встану, а его не мучьте, больной онъ!—неожиданно отозвался Яшникъ.

— Мухортый-то, мухортый-то, на пяту идетъ, братцы... А-а-ахъ-ха-ха-а...—разразилась толпа чуть не въ одинъ голосъ.

— Ты на пяту? — искоса осмотрѣвъ его, насмѣшливо спросилъ староста.

— Никто какъ Богъ!.. Неужто теперь больного человѣка въ воду

тащить... Совѣсть-то гдѣ-жъ... душа-то!—покраснѣвъ и оживившись, заговорилъ Яшникъ.—Я иду и стану на пятѣ, Пантелей Орефьичъ, не сумняйся!—смѣло отвѣтилъ онъ и рѣшительно вышелъ изъ шалаша.

Староста молча, подумавъ съ минуту, поглядѣлъ на лежавшаго безъ памяти Карпа, грудь котораго высоко вздымалась, а волосы прилипли на лбу отъ холоднаго пота, и махнулъ рукой.

— Ну, братцы, слушай команды, не зѣвай, а то бѣда на пятѣ-то сегодня... У-у-у какой звѣрь станетъ!..

— Словомъ однимъ ушибетъ!..

— Э-э-э! у этого поворачивайся. Страху-то нагонитъ и жизнь проклянешь.

— И-и... осетровъ же мы наимаемъ сегодня... взвеселимъ хозяйское сердце...

— Вся обьская рыба въ нашъ неводъ пойдетъ, потому и ей будетъ любопытно взглянуть, какъ новый пятовщихъ станетъ съ неводомъ управляться!—трунила артель, садясь въ лодку.

Яшникъ молча взялъ колъ отъ пяты невода и пошелъ въ воду, пока лодка съ рабочими, выбрасывавшими неводъ въ рѣку, плыла на средину рѣки. Стоять на пятѣ невода требуется сила, ловкость и большой навыкъ; нужно во-время дать теченію отнести неводъ на средину рѣки, чтобъ захватить имъ какъ можно болѣе пространства въ рѣкѣ, и затѣмъ сдерживать его и регулировать его направленіе противъ силы теченія. Отъ умѣнья и ловкости рабочаго, стоящаго на пятѣ, зависитъ успѣхъ улова. Тоня сверхъ ожиданія шла удачно. Подкова, какую образовалъ неводъ въ рѣкѣ, обозначавшаяся на поверхности воды поплавками невода, постепенно съуживалась. Съ неимовѣрными усиліями Яшникъ сдерживалъ противъ теченія неводъ, упирая колъ въ дно рѣки и налегая на него грудью. Вереницы чаекъ, описывая въ воздухѣ круги, съ крикомъ носились надъ пространствомъ, какое охватилъ неводъ въ рѣкѣ, высматривая и схватывая налету добычу. Работа приходила уже къ концу. Въ это время Яшникъ, чтобы облегчить трудъ рабочихъ, тянувшихъ по берегу лямкой канатъ отъ невода, нѣсколько освободилъ колъ, и только-что хотѣлъ снова упереть его въ дно, какъ колъ скользнулъ по дну, и неводъ рвануло теченіемъ и понесло въ глубь рѣки, вырвавъ изъ рукъ его колъ. Яшникъ кинулся вплавь, схватилъ колъ, но теченіемъ его понесло вмѣстѣ съ коломъ и неводомъ. Онъ крикнулъ о помощи. Съ берега замѣтили его опрометчивость, услышали крикъ, и лодка съ тремя гребцами отчалила къ нему на помощь. Но ноги Яшника опутало уже канатомъ отъ мотни невода; онъ крикнулъ: „Спасите!“ и исчезъ подъ водой, а неводъ относило теченіемъ все

дальше и дальше, и только колъ, всплывая по временамъ на поверхности рѣки, показывалъ, какъ маякъ, гдѣ искать канатъ и мотню невода. Не смотря на всѣ усилія рабочихъ, сбѣжавшихся на помощь даже изъ другихъ артелей, неводъ часа черезъ два только вытянули изъ воды. Въ мотнѣ, уже наполненной рыбой, лежалъ и Яшникъ: високъ его былъ пробитъ коломъ, который, ныряя, ударилъ его.

Толпа рабочихъ окружила трупъ и безмолвно стояла надъ нимъ, понуривъ головы. Одни изъ нихъ крестились, другіе глубоко вздыхали. На высокомъ холмѣ, подъ елью, одиноко росшей на немъ, артель вырыла могилу и опустила въ нее трупъ злополучнаго Яшника. Черезъ нѣсколько дней Карпъ очнулся, пришелъ въ себя и, съ трудомъ поднявшись, сѣлъ на соломѣ. Когда ему сказали о гибели Яшника, онъ широко раскрылъ глаза и долго смотрѣлъ на окружающихъ, какъ бы не вѣря имъ; наконецъ онъ перекрестился и произнесъ слабымъ голосомъ: „За меня онъ погибъ, сердечная головушка, за меня. А я-то, злодѣй, искажался надъ нимъ!“ и горько, горько заплакалъ. Оправившись послѣ болѣзни, Карпъ срубилъ въ лѣсу кедръ, вытесалъ крестъ изъ него и поставилъ на могилѣ Яшника. И нерѣдко, возвратившись съ работы, угрюмый Карпъ уходилъ на холмъ и просиживалъ на могилѣ до глубокой ночи.

Путнику по Оби, не доѣзжая до урочища, называемаго „Крутымъ плесомъ“, издалека виднѣется, среди пологихъ береговъ, высокій, нависшій надъ водою холмъ, съ одиноко растущей на немъ елью. На темномъ фонѣ густыхъ, стелющихся по землѣ вѣтвей ея, рѣзко очерчивается крестъ. Кругомъ все пустынно, мертво, и только прибой волнъ, вѣчно плещущихся у подножія холма, да рѣзкій крикъ чаекъ, кружащихся надъ водой, нарушаютъ безмолвную тишину этой угрюмой мѣстности.

У ПЕРЕВОЗА.

— Парома подай, эй!—кричали почти въ голосъ, стоя на мосткахъ, нѣсколько человѣкъ, отдѣлившихся отъ остальной группы телѣгъ, съѣхавшихся въ ожиданіи перевоза, и толпившагося около нихъ народа. Изъ нихъ особенно обращалъ на себя вниманіе мужичекъ въ синей крашенинной чуйкѣ, кричавшій и суетившійся болѣе другихъ. Когда онъ убѣждался, что перевозчики и не думаютъ подавать парома, то всплескивалъ только руками и съ восклицаніемъ „эхъ-ма!“ отходилъ отъ мостковъ къ своему возу, нагруженному сушеною рыбой; но вслѣдъ за тѣмъ опять собирался съ духомъ и опять поднималъ вопли. Другіе, не такъ торопливые, или спали, или, лежа на возахъ, равнодушно смотрѣли на пеструю панораму раскинувшагося за рѣкой города, на яркую зелень его рощъ, изъ-за которыхъ, чуть видными точками, сверкали золотые куполы церквей. Иные ходили отъ воза къ возу, примѣнялись къ цѣнамъ находившихся на нихъ продуктовъ, назначавшихся для продажи на рынкѣ, или, столпившись въ кучки, разсуждали о своихъ обыденныхъ нуждахъ. Въ сторонѣ отъ всѣхъ, у самой опушки лѣса, растрепанный и оборванный цыганъ заставлялъ медвѣдя, на потѣху почтенной публики, показывать „какъ старыя попадьи блины пекутъ“, и мишукъ съ ревомъ, тряся тяжелою цѣпью, вдернутою въ ноздри, выдѣлывалъ неуклюжіе па. На высокомъ возѣ съ углями сидѣлъ солдатъ, починивая уже выслужившее срокъ пальто и напѣвая въ полголоса какую-то заунывную пѣсню: около него трое видныхъ, здоровыхъ парней мѣщанъ, судя по длиннополымъ нанковымъ кафтанамъ, надѣтымъ сверхъ кумачныхъ рубахъ, и плисовымъ шароварамъ, запущеннымъ за длинныя голенища, засаленными картами усердно отбивали другъ другу носы. На косогорѣ, около спуска къ берегу, на разсохшейся и повернутой вверхъ днищемъ лодкѣ, сидѣла старушка-странница, съ перекинутой черезъ плечо котомкой; голова ея, не смотря на лѣто, была плотно укутана большимъ платкомъ, полушубокъ былъ весь въ заплаткахъ; синяя, рядная рубаха едва прикрывала исхудалыя ноги, обутыя въ грубые шерстяные чулки и лапти. Нѣсколько мо-

лодицъ, окружавшихъ ее, внимательно слушали разсказъ о разныхъ видѣнныхъ ею чудесахъ, прерывая ее время отъ времени глубокими вздохами да возгласами: „согрѣшили мы, грѣшныя, охъ, согрѣшили!“ У самыхъ ногъ странницы ползалъ ребенокъ съ засученной на спинѣ рубашкой, между тѣмъ какъ другой, лѣтъ двухъ или трехъ, рылся въ пескѣ, выкапывая коренья и пихая ихъ въ ротъ.

Лучи закатывающагося солнца, прорѣзываясь сквозь чащу густого лѣса, окаймлявшаго берегъ не широкой, но быстрой рѣки С..., озаряли эту картину и мѣстами густыми пятнами свѣта падали на воза и на песчаныя, усѣянныя мелкою галькой, прогалины. Дневной зной постепенно смѣнялся вечернею свѣжестью, рои комаровъ и мошекъ носились въ воздухѣ. Порой пронзительное жужжаніе овода рѣзко поражало ухо, заставляя вздрагивать и отмахиваться хвостами лошадей, пущенныхъ пастись на ближнемъ лугу.

— Деготь? — ткнувъ пальцемъ въ лежащую на телѣгѣ бочку, спросилъ у мужика солдатъ въ бѣлой рубахѣ, превратившейся отъ времени въ бурую, и форменномъ кепи, сдвинутомъ на затылокъ.

— Гдѣ-ка, въ бочкѣ-то?.. Деготь...— отвѣчалъ мужикъ, осматривая снятый съ ноги лапоть.

— На продажу?

— На продажу.

— А здѣшній, или издалеча?

— Крутологовскіе!

— А-а!.. Ну, стало быть—здѣшній!..— И солдатъ, посмотрѣвъ безсознательно вдаль, снялъ кепи и запустилъ всю пятерню въ свои коротко-обстриженные волосы.—А оводу-то, оводу-то... страсть сколько!—проговорилъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія.

— И!.. Совсѣмъ замучилъ скотину!..— отвѣчалъ мужичекъ, успокоенный невредимымъ состояніемъ лаптя, и вновь наматывая его на ногу:—одно слово, гнусъ!

— Гнусъ!—подтвердилъ солдатъ.

— Митюха, мотри-ка, у тебя глаза-то попрытче: однако отваливаютъ!—крикнула синяя чуйка, снова уже стоявшая на мосткахъ.

Митюха, молодой, рослый парень съ заспанною физіономіею, сидѣвшій на облучкѣ воза съ рыбой и все время скалившій зубы на медвѣжью „камедь“, нехотя всталъ на колесо и, осѣнивъ глаза ладонью, посмотрѣлъ на тотъ берегъ, потомъ молча соскочилъ.

— Что?

— Жди, отвалятъ... Нѣтъ, энто, братъ, не то, что чаво... отвалятъ... скоро захотѣлъ!..

— Эхъ, ѣшь-те мухи, а какъ бы надыть въ городъ-то! — проговорила тоскливо чуйка.

— Небось къ утру перевезутъ, да еще по пятаку съ рыла слупятъ!

— Моя ништо пятакъ, и алтына не дастъ!—сказалъ лежащій на возу съ кожами татаринъ.

— Во какой... мотри, дашь и гривну!

— Перевозъ казенна... вотъ что, вези дарма... моя ништо платить!

— Ишь, мухамедъ-то... а вотъ энтаго не хошь!—и Митюха показалъ ему конецъ азяма, сдѣлавъ изъ него подобіе свиного уха.

Татаринъ отплюнулся и повернулся къ нему спиной, между тѣмъ какъ окружающіе захохотали.

— Бѣда это татарамъ свиное-то ухо,—отозвался сосѣдъ: — тоись, какъ ихъ эфтимъ способомъ таперича безпокоятъ... не любятъ они чушекъ-то!

— Нехристи!

— Должно такъ!

Въ это время по дорогѣ изъ-за лѣса показалась еще телѣга, запряженная худенькой чалой лошаденкой; вся сбруя на ней была изъ веревокъ; изъ хомута мѣстами клочьями висѣла солома. Лошадью правилъ мальчикъ лѣтъ десяти, задомъ къ нему сидѣла довольно пожилая женщина въ байковомъ шушунѣ, держа на колѣняхъ узорный туесокъ. Съѣхавъ съ крутого спуска къ берегу, они остановились около телѣги съ дегтярной бочкой. Мальчикъ тотчасъ же началъ выпрягать уставшую лошадь, поминутно отмахивая назадъ залѣплявшіе глаза его длинные свѣтлорусые волосы, потомъ на поводу повелъ ее на лугъ. Женщина, поставивъ туесокъ, тоже слѣзла съ телѣги.

— Никакъ Митревна?..—взглянувъ на нее, сказалъ какъ бы про себя мужичекъ, осматривавшій лапоть: — такъ и есть. Здорово, Митревна!.. въ городъ?

— Левонтій Савичъ, и вы здѣсь?.. Вотъ гдѣ встрѣтились!..— говорила, подходя къ нему и кланяясь, Дмитревна:—вы-то здоровы-ли, домашніе-то каковы?

— Чего имъ дѣлается? живутъ, хлѣбъ жуютъ, да еще припасать велятъ... Съ чѣмъ ты это?

— Да такъ кое-чего набрала: ленку маленько прошлогодняго осталось, ну, да грибковъ на недѣлькѣ съ дочкой-то набрали—вотъ и везу. Что дѣлать, Левонтій Савичъ, надыть чѣмъ-нибудь кормиться!

— Надыть-то, надыть, чего говорить, безъ кормежки нельзя!

— А вы съ чѣмъ-отъ-ка тутъ?

— Да съ дегтемъ все вожусь, провались ужъ онъ!

— Степанида-то Яковлевна какова? Давно ужъ я ее не видала.

— На печи все кости паритъ... Не молодо дѣло-то. Нонѣ было поскудалась маненько животомъ... да ничаво ,разсольцу похлебала, отлегло... О хозяинѣ-то твоемъ не слыхать?

— Сидитъ, Левонтій Савичъ, все-то сидитъ!

— Эко, а?.. Кое ужъ вѣдь время-то?

— Да съ Покрова, почитай, другой годокъ пойдетъ, какъ сидитъ!

— Ишь! Ну, да знамо, въ острогъ только дверь широка, а оттоль узка... лихо попасть... Хлопочешь?

— Какъ не хлопотать, изъ силъ хлопочу, да все пути нѣту... Вотъ и нонѣ ѣздила также. Научилъ меня одинъ баринъ, добрѣющій такой баринъ: сходи, говоритъ, ты... ужъ я не скажу тебѣ, какъ онъ его назвалъ, только къ набольшему ихнему чиновнику; попроси, говоритъ, его, что онъ скажетъ!

— Ну?..

— Ходила, родный, и въ ноги падала, да все одинъ сказъ: не могу, говоритъ, ничего доспѣть, еще каторгой стращаетъ.

— Эко жаль-то какая, а?

— Ну, что, какъ изаболь этакое-то попричится съ нимъ, куды я безъ него тогда съ малыми-то дѣтищами, Левонтій Савичъ?—со слезами говорила уже Митревна, сморкаясь въ кончикъ головного платка:—и такъ-то съ ногъ совсѣмъ сбилась! Не повѣришь, все-то хозяйство въ разруху идетъ, а Ванюшка-то, гдѣ ему еще заправлять! малый паренекъ-то хоша и помогаетъ, да какая его помочь-то, все не то, какъ самъ-то бы!

— Это чего говорить, мужско дѣло, знамо. А ты бы къ губернатору?

— Да ужъ все начальство, какъ есть, исходила, инда въ шею гонятъ, мужичье дѣло-то!

— Это точно, мужичье-то, мужичье!.. — съ раздумьемъ произнесъ Левонтій Савичъ, почесывая въ затылкѣ.

— Охо-хо-о! что ужъ и будетъ, только Господь вѣдаетъ! И такъ скажу тебѣ, Левонтій Савичъ, ровно одно къ одному и идетъ ужъ. Не знаешь ты мозо еще горя-то: на дняхъ вѣдь коровушка пала.

— Ой!..

— Ей-богу.

— Ишь ты: гдѣ тонко, тамъ и рвется-то!

— Подлинно напущенье Божеское! Прибѣжала это съ поля словно одурѣлая; я пока туда да въ ино мѣсто металась, ахъ, да охъ, а она ужъ и ноги протянула... И Богъ ее знаетъ, чего съ ней доспѣлось та-

кое... утромъ еще была совсѣмъ здоровехонькая... Повѣтріе что-ль, аль съ веху!

— Должно съ веху, это бываетъ; падка вѣдь скотина-то до веху, лапись у Лапинскихъ такимъ же манеромъ!

— И я думаю, съ веху, а еще сбиралась въ городъ (е свести продать — деньги-то ужъ вотъ какъ надыть. И онъ-то скудается: знамо, въ неволѣ каждый шагъ окупи, а гдѣ набраться-то ихъ, съ какихъ достатковъ-то! И какъ это, Левонтій Савичъ, подумаешь, жали-то въ людяхъ ничего нѣту. Нонѣ, скажу тебѣ, въ самый Петровъ день, поѣхала я также въ городъ повидаться съ Ларивономъ Прохорычемъ, ну, да и разговѣться везла ему. Вотъ пріѣхала къ острогу и пошла это по ихнимъ порядкамъ къ офицеру: „допусти, говорю, батюшка, съ хозяиномъ свидѣться?..“ Есть, Левонтій Савичъ, скажу тебѣ, и тамъ хорошіе люди!

— Это чего говорить, хорошій человѣкъ вездѣ есть!

— Есть. Другой со слова пуститъ, а тутъ прилучился какой-то, Богъ его знаетъ, словно не совсѣмъ и въ разумѣ, затопоталъ это на меня ногами да какъ вскричитъ: „вонъ, говоритъ, разтакая-сякая, только, говоритъ, и знаете ходить, да по своимъ мошенникамъ канючите!“ Такъ я, повѣришь-ли, не знала, куды мнѣ и дѣться-то, такъ обробѣла! Кое-то какъ вышла отъ него... и таково то мнѣ потомъ горько стало! Господи, думаю, Царь небесный: людямъ праздникъ, а тутъ и повидаться-то не даютъ! И плачу, знаешь, горькими слезьми плачу... а тутъ солдаты-то, которые вышли, смотрятъ на меня да и спрашиваютъ: „что ты, говоритъ, молодица, убиваешься?“ Я и говорю имъ „А ты, говорятъ, унтера попроси, може и пуститъ!“ Ну, послушалась я ихъ, пошла это, знаешь, къ унтеру; сидитъ онъ такой усатый изъ себя да только въ трубку попыхиваетъ. Я и говорю: пусти, батюшка, вѣкъ твоей милости не забуду. „А офицера, говоритъ, просила?“ Просила, говорю, родимый, просила да осерчалъ ужъ больно, и обсказываю ему это самое дѣло. Выслушалъ онъ и говоритъ: „нельзя!“ Я въ ноги: хоша для малыхъ-то дѣтищъ, говорю, пожалѣйте! Вижу, разжалобился покорствомъ моимъ. „Ну, говоритъ, такъ и быть, приму грѣхъ на свою душу, косушка идетъ што-ли?“ А у меня на ту пору и денегъ-то, Левонтій Савичъ, не случись, я и говорю ему: нѣту-ти, молъ, денегъ-то, кормилецъ; обожди, ужо опосля привезу. „Ну, а коли нѣтъ, такъ и свиданья, говоритъ, нѣтъ!“

— Вишь какъ!

— Ей-богу... „Были, говоритъ, съ вашего брата жданы-то, да всѣ съѣдены“. Нечего вѣдь дѣлать, Левонтій Савичъ, пошла въ ка-

бакъ, заложила платъ съ головы, купила ему энтой прорвы-то, ну и пустили; по крайности, хоша разговѣлся голубчикъ мой!.. Такъ вотъ, Левонтій Савичъ, каково оно! Чаво ты безъ денегъ-то доспѣешь?

— Это чего говорить—деньги, что капель: и камень долбитъ, а при такомъ случаѣ всякій норовитъ, кабы съ тебя же!

— Всю, почитай, Левонтій Савичъ, какая была лишняя одеженката, продала... Курочки это голанки были — чиновнику подарила, да тотъ хоша, спасибо, научилъ, куда сходить-то, да все безъ толку!—И Дмитревна, подперши щеку рукой, пригорюнилась.—А думалъ-ли, гадалъ-ли онъ надъ собой этакое-то горе!—снова заговорила она, качая головой:—вотъ оно, болѣзный, воля-то каково пришлась!

— Ну, чего говорить, пришлась въ плотную!—И подойдя къ телѣгѣ Дмитревны, Левонтій Савичъ приподнялъ заднее колесо и осмотрѣлъ шину:—о!.. новая!

— Новехонькая; незадолго вѣдь до несчастья справлялъ ее Прохорычъ-то!

— Ковка ничаво!—произнесъ знакомый уже намъ солдатъ.—А какъ: въ городѣ, аль свои мастера?—спросилъ онъ Дмитревну.

— Въ городѣ, служивый, гдѣ намъ: у насъ и заводовъ такихъ, чтобы ковать, нѣту-ти.

— Ничаво; ковка, одно слово!

— Ковка, чаво говорить!..—произнесъ Левонтій Савичъ.

— А вы какъ, здѣшнія? Изъ какихъ, значитъ, мѣстовъ то?—вновь спросилъ Дмитревну служивый.

— Мы-то здѣшнія, изъ Сосновыхъ боровъ.

— Это что тутотъ-ка, отъ Полѣсья недалеча?

— Эти самыя... съ семой версты своротъ еще!

— Знаю!.. стало быть, здѣшнія?

— Здѣшнія!.. откелева намъ быть-то!.. Допрежъ были помѣщичьи, Александра Михалыча Зорина, можетъ не знаете-ли: онъ тоже въ кавалерахъ былъ, ну, а нонѣ-то вольные стали!..

— Э!.. какъ не знать! Полѣсье—мѣсто доброе!..

— А вы какъ таперя, тоже здѣшніе, изъ городскихъ солдатовъто?—спросила его въ свою очередь Дмитревна.

— Гарнизонные; въ лѣсной командѣ были, уголь жгли, да приказъ вышелъ такой, чтобы прибыть безпремѣнно, вотъ и ѣдемъ!..

— Тэ-экъ... Что же, служивый, спрошу васъ: вы и службу тоже отбываете?

— Маненько отдохнули-было въ командѣ то, а таперича сызнова доведется вѣрно... Тяжела служба-то наша: почесть, съ утра и до ночи вздохнуть не удастся!..

— И не говорите, насмотрѣлась я на солдатское то житье! А какъ вы, тоже и въ караулы, въ остроги или какъ тамотъ-ка ходите?

— Не токма что въ караулы и въ конвой таперича ходимъ... всѣ порядки какъ слѣдоваетъ сполняемъ!

— Тэ-экъ... Ну, да что говорить: хоша бы и ваше-то дѣло—служба!

— Служба!—подтвердилъ солдатъ.

Разговоръ пересѣкся. Левонтій Савичъ, ощупавъ заодно съ шиной и гужи и попробовавъ ихъ, туго ли они натянуты, отошелъ и направился къ лугу, гдѣ Ванюшка, сынъ Дмитревны, стоялъ съ поводомъ въ рукѣ, около чалки, отмахиваясь лопушникомъ отъ комаровъ и мошекъ, облѣплявшихъ его открытую, загорѣлую шею... Дмитревна, глубоко вздохнувъ, сдѣлала какой то неопредѣленный жестъ рукой и пристально посмотрѣла на солдата.

— А что, господинъ служивый, попросить бы я васъ хотѣла, да не осмѣлюсь!—робко начала она.

— Примѣрно на счетъ чего эфто?

— Коли милость ваша будетъ,—и Дмитревна поклонилась ему,—вы вотъ въ острогѣ-то бываете, такъ повидаться, аль передать бы чего не сможете ли? Муженекъ у меня подъ несчастьемъ, почитай съ Покрова другой годокъ пойдетъ, какъ сидитъ тамотъ-ка!

— Отчего, съ нашимъ удовольствіемъ; это что!

— Сдѣлайте божескую милость—вѣкъ бы стала за васъ Бога молить!—и Дмитревна снова поклонилась ему.

— Не сумнѣвайтесь: намъ все единственно, потому мы того!.. — Служивый хотѣлъ еще что то сказать, но, какъ видно, въ его, и безъ того не богатомъ лексиконѣ, не пріискалось болѣе подходящаго слова, и потому онъ только крякнулъ и поправилъ кепи, постоянно слѣзавшее на затылокъ.—А онъ какъ, за душегубство?— спросилъ онъ.

— И, что вы, Господь съ вами, не такой онъ человѣкъ! Вотъ хоша на Левонтія Савича сошлюсь... Какое душегубство, болѣзный ты мой... совсѣмъ задарма! Ужъ коли бы за душегубство, такъ, на мой глупый разумъ, оно бы и легше было; по крайности, зналъ бы, за что въ отвѣтѣ, а то темный человѣкъ: чего скажутъ люди, тому и вѣришь. А кто его знаетъ, какъ оно тамотъ-ка, хорошо иль нѣтъ... простота-то вѣдь наша, сердечный, хуже воровства!

— Это точно: вотъ и промежъ насъ тоже... писарь аль и такъ иной грамотный такъ въ другоредь обдѣлаетъ... отлепортуютъ, примѣрно сказать, до новыхъ вѣниковъ не забудешь!

— Бѣда темному-то быть!

— Э... темный человѣкъ, что стѣна! — глубокомысленно замѣтилъ онъ.

— Стѣна, родимый, стѣна; кабы самъ-отъ письменный онъ былъ, аль читать-то бы по-грамотному умѣлъ, такъ неужели бы чего такое сдѣлалъ! А то говорятъ тоже люди: поди, Прохорычъ, да поди, наше дѣло правое. Онъ-то, было, сначала и отнѣкивался: чуяло, вѣрно, сердечушко-то, ну, да міръ приступилъ: ты, говоритъ, одна голова у насъ, на тебя вся надежда; ступай ужъ, мы-тѣ, говорятъ, во-какъ будемъ благодарны, только ступай! Послушалъ ихняго гомона, пошелъ, да вотъ и находилъ на свою головушку!

— Должно съ челобитьемъ?

— Какъ же! Жалобиться ходили, и не онъ одинъ: Аксентій Ѳомичъ, нашъ сотскій, да десятскій Кирило Кондратьичъ, да може не знаете ли Илью Аѳанасьича, Подпекой прозывается, такой это торговый мужикъ и степенный: сорокъ колодокъ пчелъ однихъ имѣетъ... Всѣхъ ихъ заодно и порѣшили!

— Ну, коли жалобиться ходили, такъ знамо—дѣло пропащее! А примѣромъ будучи сказать, на счетъ какого резона-то жалобились?..

— Да по волѣ все, милый сынъ... Какъ и сказать то ужъ вамъ про это дѣло... мнѣ и самой чтой-то невдомекъ оно... Сначала-то, скажу тебѣ, какъ прослышали наши мужики про волю-то, такъ только и гомону промежъ нихъ было, что про нее... Все это гадали, все гадали, коли да какъ, да чтой-то будетъ... Многихъ и сумнѣніе брало, а другіе, которые исподтишка и продавать, почитай, все стали: мы-то, говоритъ, на новыя земли пойдемъ, а энто все барамъ отберутъ... Всячины, скажу тебѣ, было въ тѣ поры. Смѣхоты, скажу вамъ, было! Памфилъ это есть у насъ такой, ровно полоумный изъ себя мужикъ... Я, говоритъ, таперича, кромѣ барской бани, ничего себѣ не возьму... ужъ больно охочь париться!.. Ну, которые и смѣялись надъ нимъ: „Мотри, говорятъ, Панфилушка, баню-то не прозѣвай. Какъ бы баринъ и въ самомъ дѣлѣ не задалъ тебѣ баню“. Много толковъ-то ходило, говорили таперича тоже, что хранцузъ все окупить хочетъ. Ну, только вотъ, милый сынъ, и вышла воля. Прислали это на-перво въ деревню къ намъ бумагу такую, гдѣ прописано было, чтобы всѣмъ, значитъ, безпремѣнно читать свою волю; грамотныхъ-то, чтобъ читать, у насъ, почитай никого не было... былъ одинъ солдатъ, да ужъ запивалъ шибко, наши-то и не вѣрили ему; брехать былъ охочь, все войной пугалъ. Пошли въ другую деревню къ батюшкѣ... Прочиталъ онъ это волю слушали, слушали наши-то, только видятъ, что словно не по-ихнему выходитъ.—Да такъ ли ты, батюшка, прочиталъ?.. спрашиваютъ его.

„Такъ, говоритъ, милые люди, слово въ слово, какъ написано“. Ну, ничаво!... пріѣхалъ, погодя того, къ намъ и посредственникъ; нашито къ нему, почитай, всѣмъ селомъ, спрашиваютъ: какъ оно, что?.. будетъ ли все это, какъ допрежъ толковали? „А вы, говоритъ посредственникъ, присланное-то вамъ читали?“ —Читали! наши-то говорятъ. „А поняли?..“ Ну, которые сказали, что поняли, а другіе позаперлись маленько... Началъ онъ это имъ толковать, долго толковалъ и красно таково; слушали-то, все, почитай, безъ шапокъ стояли, такъ это слушали. И поняли, кажись, а все выходитъ какъ-то мудрено. Знамо, темные люди... какъ это тамъ все прописано, Богъ вѣсть! Ну, и онъ сызнова спрашиваетъ: „поняли ли?“ Наши-то и говорятъ: да ужъ оно какъ не понять... поняли!.. „Ну, такъ какую вамъ еще волю надыть? Ступайте-ко, говоритъ, по домамъ, да грамоты уставныя безперечь давайте!..“ И пошелъ это было, —только Панфилъ-то полоумный и спрашиваетъ:—А баню-то, говоритъ, барскую отдадутъ?.. „Какую, говоритъ, тебѣ баню?..“ —Барскую... „Пошто?“ спрашиваетъ посредственникъ, а наши-то Панфила пихать ужъ было назадъ... Знамо, съ дурости-то наговоритъ еще, всему міру достанется. А тотъ и приступилъ: „какую, говоритъ, тебѣ баню? Что, говоритъ, это значитъ?“ —Париться!.. Памфилъ-то говоритъ... и обсказываетъ это все... Ну, сударь ты мой... тутъ посредственникъ, дознамши все это, и почалъ нашимъ говорить, что все это брехня. Выслушали наши и рѣшили, что должно и въ самомъ дѣлѣ такъ. Вотъ только, погодя того, не скажу ужъ теперь сколько время-то, и пройди вѣсть, что воля эта не та воля... Слушаютъ наши мужики, а сумленіе пуще ихъ беретъ... потому дѣло вѣковое! Собрали, милый человѣкъ, крадучись, сходъ за селомъ, долго это толковали; только Илья-то Подпека и говоритъ: „съѣздимъ, братцы, въ Ипатово, поспрошаемъ, какъ оно... у нихъ же и грамотный человѣкъ такой есть; ужъ тотъ въ обиду не дастъ!“ Поѣхали. А тѣмъ случаемъ, скажу тебѣ, управляющій нашъ, Карла Иванычъ, и прознай это дѣло, да къ ночи, слышимъ, и въ городъ уѣхалъ... Ну, да ничаво; сходъ остался, почитай, до первыхъ пѣтуховъ, все ждали изъ Ипатово-то. Которые не утерпѣли, сызнова верхами поѣхали, такъ задоръ-то бралъ ихъ. И молодцы-то тутъ же ждали, и молоденькихъ-то спать не покладешь... Право, такъ оно было въ тѣ поры!.. Ну, только и слышимъ, милый человѣкъ, ѣдутъ. Еще издали кричатъ: „правда!“ Ну, и сказали они, пріѣхамши, что въ Ипатовѣ это доподлинно извѣстно, что эта таперичя говорилъ ипатовцамъ какой-то чиновникъ, и просьбу самъ брался написать, и выходить волю, какъ есть... Ну, и сказали ипатовцы нашимъ-то, что завтра они которыхъ

побойчѣе шлютъ къ губернатору съ челобитьемъ. Тутъ и наши, скажу тебѣ, поднялись и загомонили это, и загомонили, да, почитай, всю ночь, милый человѣкъ, проклажались на счетъ эфтого дѣла, и рѣшили тоже таперича не отставать отъ ипатовцевъ. Ну, и приступили къ Ильѣ-то Аѳанасьичу да къ моему-то хозяину: поѣзжайте, да поѣзжайте! Левонтій-то Прохорычъ, хозяинъ-то мой, сначала было и призадумался, ну, да видитъ, что Илья Аѳанасьичъ да Аксенъ Ѳомичъ безперечь берутся за эфто дѣло, и рѣшилъ... И поѣхали они, милый человѣкъ, да такъ, скажу тебѣ, и по сей часъ застряли тамъ. Пришли, сказывалъ ужъ онъ опосля, въ городъ къ начальству, а тамъ ужъ все знаютъ. Ну, и забрали. Вотъ и все дѣло, болѣзный мой! А наши-то, деревенскіе, скажу тебѣ, проводимши ихъ, все ждали: вотъ будутъ, вотъ будутъ! и въ кабакъ ужъ послали вина шесть ведеръ купить, чтобы встрѣтить... Только, вмѣсто ихъ-то,—къ вечеру этакъ дѣло-то было—и прикатили становой да посредственникъ... Вотъ какъ оно, какое дѣло-то, скажу тебѣ!..

— Да, ишь, какъ оно вышло... еще водки купили!

— Купили, милый человѣкъ; ну, да имъ-то что! все равно роспили... а вотъ моему-то каково голубчику въ отвѣтѣ быть! Вотъ что, сердешный, подумай-ка ты это?

— Это точно, всякому свое!..

— Какъ узнала я все это, оказію-то ихнюю, такъ не повѣришь, милый человѣкъ, почесть, лоскомъ и пролежала цѣльныя суточки. Царица небесная! думалъ ли, гадалъ ли онъ!.. Да и онъ-то ужъ говоритъ: „кабы зналъ это все, такъ Богъ бы съ ней, и съ волей! Ни въ жизть бы не поѣхалъ!“ Ну, да што подѣлаешь—Божіе соизволеніе!.. Охо-хо!

И Дмитревна снова принялась высказывать дрожащимъ отъ слезъ голосомъ накипѣвшее въ груди ея горе. Солдатъ слушалъ молча, изрѣдка только качая головой въ знакъ своего участія.

— Такъ ужъ не оставьте вашей милостью, — снова начала она упрашивать его.

— Будьте безъ сумнѣнія... Одно слово, будьте благонадежны!

— Ужъ вѣкъ бы стала Бога молить за васъ.

— Не сумнѣвайтесь; сказано: спросите только ефлетора Кузьму Баландина. Мы вѣдь тоже... у насъ таперича и по капральству... аль предъ командерами что... всѣ порядки какъ есть... а ужъ на счетъ чего, только Баландина спросите!

— Дай Богъ вамъ за это... не погнушались сиротскими слезами... Ужъ и я вамъ, почтенный, буду благодарна: — не сумнѣвайтесь и вы!

— Не тревожьтесь... Вы-то въ городъ?—спросилъ онъ, какъ бы желая перемѣнить разговоръ.

— Въ городъ... продать вотъ кое-чего набрала. Ну, да и повидаться охота, страсть, вѣдь, какъ ихъ тамъ держатъ!

— Да оно... держутъ въ смиренствѣ!..

— Какъ посмотришь, выведутъ-то ихъ: худые-расхудые, инда сердце надрывается, со стороны глядя!

— Э, на то и острогъ; сказано: не разъѣшься!..

— Охъ, не разъѣшься, правдива ваша рѣчь!.. А что, служивенькій, какъ вотъ прозывать-то васъ, не знаю!..

— Кузьмой!

— А по отчеству-то?

— Селифонтовъ былъ въ старину, отца-то Селифонтомъ звали...

— Тэ-экъ... Кузьма Селифонтьичъ, значитъ; буду знать... А что, говорю, не хотите-ли, можетъ, попаужинать: я бы того...

— Благодаримъ покорно вашей милости; недалеча и до города; придержимъ выть-то!

— Молочка я везу маненько Левонтію-то Прохорычу, да ягодокъ... такъ похлебали бы, не поспѣсивились.

— Коли милость будетъ, такъ ништо: щи-то у насъ больно сквозятъ, а молочка, признаться, ужъ я давно не хлебывалъ, а охочъ до него!..

— Похлебайте: молочко-то густенькое, и чашечка есть у меня, нонѣ купила ему, а то все скудался по посудинкѣ-то... Только ложечки вотъ нѣту-ти, а можетъ, черезъ край?..

— Э, на счетъ эфтого того... мы вѣдь вездѣ со своимъ хозяйствомъ,—говорилъ онъ,—доставая изъ-за голенища сначала кисетъ и трубку, потомъ уже деревянную, съ обхлебанными краями ложку.

Дмитревна, наливъ изъ туеса въ чашку молока и насыпавъ ягоды, подала ее Кузьмѣ Селифонтьичу со словами:

— Кушайте на здоровье, не поспѣсивьтесь!

— Благодаримъ покорно!.. А на счетъ того, что говорилъ вамъ, сказано: не сумнѣвайтесь... Таперича я для васъ все сдѣлаю, только Баландина спросите!—говорилъ онъ, принимаясь за предложенное ему угощеніе.

Солнце давно уже закатилось и сумракъ постепенно охватывалъ предметы, сливая ихъ въ одну непроницаемую массу. На противоположномъ берегу кое-гдѣ на плотахъ и баркахъ засверкали огоньки, разведенные бурлаками для варенія скуднаго ужина, и красныя полосы

свѣта ложились отъ нихъ по рѣкѣ. Надъ лугами бѣлой волнующейся пеленой носился туманъ. Воздухъ былъ сыръ, но тепелъ; въ травѣ слышалось неумолчное трещаніе кузнечиковъ, въ ближнемъ лѣсу порой раздавался тяжелый взмахъ крыльевъ напуганной чѣмъ-нибудь птицы, или слышалось тревожное ржаніе лошади, зашедшей слишкомъ далеко отъ мѣста пастьбища...

Парома все не было, несмотря на усиленные крики ожидавшихъ его. Синяя чуйка давно уже вышла изъ себя, и вмѣсто „эхъ-ма!“ — густая брань и проклятія сыпались отъ нея неумолкаемо на содержателя перевоза. Старушка-странница, удовлетворивъ вполнѣ любопытство слушавшихъ ее, успѣла уже и соснуть, и, вынувъ изъ котомки ломоть хлѣба, ужинала, съ трудомъ пережевывая зачерствѣлую корку. Даже игроки утомились упражняться надъ своими носами и мирно бесѣдовали между собой о томъ: „кому поскольку трепокъ тятька задаетъ?“

— Ахъ, чтобъ-те лѣшаки драли... Митюха! мотри-ка, нѣтъ-ли?

— Чего мотрѣть-то, отвалятъ, такъ мимо не проѣдутъ; а нѣтъ, такъ мотри—не мотри, все одно!—сердито отозвался Митюха, которому нестерпимо хотѣлось спать.

— Ахъ ты, чортъ какой! а?

— Вотъ тѣ и чортъ... знай!

— Кабы чиновникъ наѣхалъ, такъ пошевелились бы! — сказалъ мужичекъ съ рысьими глазками, безпокойно прыгавшими отъ одного предмета къ другому, точно высматривая, что поспособнѣе спрятать въ карманъ.

— Э! колоколецъ они, анаѳемы, далеча слышатъ! У тѣхъ вѣдь, братъ, расправа коротка!

— Коротка!

— Коли что, такъ и нагайкой!

— Ну, нѣтъ, братъ, не говори: иной кулакъ хлеще нагайки бьетъ...

— А ты пробовалъ, што-ль?

— Да чего на вѣку-то не испробуешь! — отвѣчали лаконически рысьи глазки, внимательно присматриваясь къ возу съ сушеной рыбой.

— Насмотрѣлся и я,—замѣтилъ Левонтій Савичъ:—этта, скажу тебѣ, баринъ какой-то также напустился на паромщика-то, да мазать принялся; такъ ужъ онъ его и такъ-то, и этакъ то, на всѣ манеры, ей-Богу. Такъ тотъ вырвался какъ ошалѣлый, такъ въ воду и прыгнулъ вмѣсто парома-то, ажъ народъ-то всѣ животики надорвалъ: вотъ какъ онъ его взбутилъ!

— Шустрый, вѣрно?

— И... А чего бы, кажись: и изъ себя-то жиденькій, ну, да звѣзда во лбу была. А тоже, братъ, посудить и ихнее-то дѣло, перевощиковъ,—не красно же житье! Иной, почитай, цѣлый день гоняютъ взадъ да впередъ, а плата-то какая, и харчи тоже совсѣмъ не по работѣ... А осень-то настанетъ, да заморозы начнутся, такъ другой на всю жизнь безъ ногъ останется!

— Отвалили!—крикнулъ кто-то съ мостковъ.

— Ну!

— Ей-Богу!

— Врешь?

— Во—мотри, чего врать-то... за вранье денегъ не платятъ!

Паромъ дѣйствительно отвалилъ и въ тишинѣ по рѣкѣ звучно раздавались мѣрные всплески веселъ. Все всполошилось: кто бѣжалъ на лугъ къ пасущимся лошадямъ, кто принаравливалъ телѣгу поближе къ мосткамъ, чтобы занять на паромѣ лучшее мѣсто. Солдатъ, покровитель Дмитревны, тоже помогалъ Ванюхѣ подтащить телѣгу поближе, и даже поспорилъ по этому поводу съ татариномъ, не дававшемъ ему дороги, назвавъ его свинымъ ухомъ.

— Ишь, лѣшаки бъ васъ драли, кое время выспались! А?—ворчала неугомонная чуйка;—вѣдь сколько, милый человѣкъ, убытку изъ эфтого таперь понесъ: вѣдь съ вечера-то я бы всю рыбу запродалъ, а теперь вотъ жди, пока навернется покупатель! — говорилъ онъ мужичку съ рысьими глазками.

— А вы промышленники?— спросилъ тотъ.

— Промышляемъ, грѣшнымъ дѣломъ!

Толкотня и говоръ, по прибытіи парома, сдѣлались еще гуще. Всѣ торопились, и всѣ, какъ водится въ подобныхъ случаяхъ, мѣшали другъ другу. Чаще всего, впрочемъ, слышалось: „эй, поналягъ! ну, ну, еще! вотъ такъ!“ „Ухъ!“ — раздавалось подъ конецъ, когда тяжело нагруженная телѣга съ громомъ вкатывалась на паромъ.

— Лошадей-то, мотрите, привязывайте вы, лапотники!—кричалъ рослый, стоявшій у руля паромщикъ, раскуривая трубку.

— Ну, шитые лыкомъ сапоги, молчи:—аль въ купцы выписался, спѣсь-то начустилъ!—слышалось въ отвѣтъ ему съ берега.

Наконецъ все было готово; накинули барьеръ, и тяжело нагруженный паромъ тихо тронулся съ мѣста, благодаря дружнымъ усиліямъ гребцовъ, отпихивавшихся отъ берега шестами.

— Господи благослови! крестясь, говорили многіе, когда паромъ отплылъ на достаточную для гребли веслами глубину.

КУДА НИ КИНЬ—ВСЕ КЛИНЪ.

(сцены).

Волостной голова Абрамъ Николаевичъ Овсянкинъ, сидя въ избѣ своей у стола, на которомъ стоялъ жбанъ съ квасомъ, чувствовалъ истому во всемъ тѣлѣ и давленіе подъ ложечкой. Онъ только-что воротился изъ города Т...а, куда ѣздилъ по дѣламъ службы, и на обратномъ пути, завернувъ въ гости, не въ мѣру выпилъ и закусилъ соленой рыбой. Опорожнивъ жбанъ квасу, онъ не только не почувствовалъ облегченія, но ему показалось, что его ожидаетъ какое-то несчастіе, что несчастіе это обрушатъ на его голову враги, употребляющіе всевозможныя каверзы, чтобъ очернить его въ глазахъ начальства, подорвать его репутацію во мнѣніи общества, а вмѣстѣ съ репутаціей и все его благосостояніе. Подъ вліяніемъ такихъ тяжелыхъ предчувствій Абрамъ Николаевичъ тоскливо поводилъ своими сѣрыми глазами по потолку и стѣнамъ избы, чисто выбѣленныхъ мѣломъ, безцѣльно слѣдилъ за тараканами, суетливо шмыгавшими около щелей въ стѣнахъ. По временамъ взоръ его упорно останавливался на новой конской сбруѣ, висѣвшей у печки, отъ которой распространялся въ избѣ ѣдкій запахъ рыбьяго жира, какимъ она была вымазана въ предохраненіе отъ порчи, отъ сбруи онъ переносилъ свой задумчивый взглядъ на его сына, молодого, красиваго парня, который, сидя у порога, выстругивалъ новую сѣдельную луку. Но ни работа, какою былъ занятъ сынъ, ни сбруя, ни тараканы не интересовали Абрама Николаевича,—мысли его были далеко отъ видимыхъ имъ предметовъ, и, глубоко вздыхая порою подъ наплывомъ ихъ, онъ расправлялъ свою съ просѣдью бороду, бормоталъ какую-то молитву и усиленно отхаркивалъ запекшуюся въ горлѣ мокроту. Жена и дочь его, вынимавшія въ это время изъ печи корчаги, спуская изъ нихъ въ кадку густой квасъ, не обращали никакого вниманія на тяжелое душевное состояніе Абрама Николаевича, такъ какъ каждый разъ, возвращаясь домой изъ волости и изъ деревень, онъ находился въ подобномъ расположеніи духа, и только выспавшись и вы-

пивъ натощакъ огуречнаго разсола да закусивъ квашеной капустой, онъ возвращалъ себѣ душевную бодрость и ясный взглядъ на дѣла и людей.

Про Абрама Николаевича существовали въ народѣ самыя разнорѣчивыя мнѣнія: одни называли его человѣкомъ глупымъ, другіе—себѣ-на-умѣ, и тѣ, и другіе одинаково приводили въ доказательство своихъ мнѣній вѣскіе факты, обличавшіе или глупость его, или дальновидно-хитрую уклончивость. Вывести же какое-нибудь опредѣленное заключеніе о немъ было трудно. Одно только было ясно для всѣхъ, что Абрамъ Николаевичъ любилъ резонерствовать: обсуждать каждый вопросъ всесторонне, и обсуждать не спроста, а съ важнымъ и глубокомысленнымъ видомъ, медленно поглаживая при этомъ бороду, хмуря лобъ и употребляя отборныя, хотя иногда и неподходящія слова для выраженія своей мысли. Но, несмотря на всестороннія обсужденія его, вопросы оставались всегда нерѣшенными, и если рѣшались иногда, то отнюдь не Абрамомъ Николаевичемъ, а волостнымъ писаремъ. Крестьяне не безъ основанія подсмѣивались надъ своимъ головой, выражаясь про него: „что говоритъ-то Абрамъ, какъ крупу деретъ, только слова-то его, какъ шелуху отъ зерна, надо отвѣвать!“ Несмотря на то, Абрамъ Николаевичъ дослуживалъ головою второе трехлѣтіе и его прочили выбрать и на третье единственно потому, что лучшіе люди въ волости избѣгали общественной службы, съ которой соединялось много хлопотъ, непріятностей и непроизводительной траты времени, отражавшейся невыгодно на хозяйствѣ. Какъ ни былъ простъ Абрамъ Николаевичъ, но все-таки сознавалъ, что общество не питаетъ къ нему уваженія, и если выбрало его въ головы и держитъ на этой должности, то болѣе по необходимости и отчасти по привычкѣ. Это сильно язвило его самолюбіе, и онъ нерѣдко, чтобъ поддержать свой авторитетъ, напускалъ на себя несвойственную ему строгость, стараясь показать крестьянамъ, что какой онъ ни есть, а все-таки голова, что если захочетъ, то можетъ и добро сдѣлать, и напакостить, хотя добра онъ въ сущности дѣлалъ весьма мало, зато пакостилъ частенько. Нельзя сказать, чтобъ Абрамъ Николаевичъ не сознавалъ также, что общественное неудовольствіе, возбуждаемое его недобросовѣстными поступками, когда-нибудь обрушится на него; но, побуждаемый своими пріятелями, большею частью людьми зажиточными, которые, пользуясь его слабостью, спаивали его и наталкивали въ видахъ своихъ интересовъ на предосудительные поступки, онъ исполнялъ ихъ совѣты, какъ говорится, „очертя голову“, и только въ рѣдкія минуты отрезвленія хандрилъ и раскаявался въ своей безхарактерности, накладывая на себя зарокъ быть на будущее

время осмотрительнѣе и назавтра же забывая его. Въ одну изъ такихъ минутъ мы и застали Абрама Николаевича. Грудь его волновалась отъ тяжелыхъ вздоховъ, досужая память, какъ нарочно, подсказывала ему компрометировавшіе его поступки. Напрасно онъ старался разсѣяться, подыскивалъ въ своемъ умѣ оправданія, что иначе онъ не могъ поступить,—совѣсть упорно твердила ему: „въ винѣ утопилъ ты меня, отъ этой самой сивухи я стала чернѣе угля!“

Абрамъ Николаевичъ поднялся съ лавки съ рѣшительнымъ намѣреніемъ одѣться и сходить къ сосѣду, чтобы въ бесѣдѣ съ нимъ отвести свою тоскующую душу, но въ это время къ воротамъ дома его подъѣхали пошевни. Скрипъ полозьевъ и фырканье усталыхъ лошадей привлекли вниманіе Абрама Николаевича: онъ выглянулъ въ слуховое оконце на улицу и послалъ сына отворить ворота. Пошевни въѣхали во дворъ и вслѣдъ за сыномъ въ избу вошли трое крестьянъ. Помолившись на икону, они почтительно поздоровались съ семьей Абрама Николаевича и съ нимъ самимъ. Радушно встрѣтивъ ихъ, Абрамъ Николаевичъ увелъ ихъ изъ избы въ чистую горницу, отдѣленную теплыми сѣнями.

Судя по костюмамъ, посѣтители принадлежали къ числу небогатыхъ людей. Полушубки ихъ были заношены и въ заплатахъ. На ногахъ у одного были бродни, у остальныхъ кошомные валенки. Всѣ трое были люди пожилые, но особенно обращалъ на себя вниманіе одинъ изъ нихъ: повидимому, старѣе своихъ сотоварищей лѣтами, онъ былъ бодрѣе ихъ на видъ. Широкое лицо его съ крупными, неправильными чертами было усѣяно бородавками, длинная съ просѣдью борода спадала на грудь, глаза изъ-подъ нависшихъ бровей смотрѣли бойко, наблюдательно и выказывали сметливый и любознательный умъ.

— По спопутью, аль нарочито завернули ко мнѣ? — спросилъ Абрамъ Николаевичъ, когда гости по приглашенію его усѣлись на лавку.—Ну, чего у васъ дѣется, все ли ладно?—продолжалъ онъ, не дожидаясь отвѣта.—Каково Силуянъ-то хозяйничаетъ?

— Силуянъ Артемьичъ маху не да-астъ!.. Оплошки за него опасаться нечего,—отвѣтилъ одинъ изъ пріѣзжихъ.—Хозяйство ведетъ на отчистку!..

— Толковый мужикъ, чего говорить!—подтвердилъ Абрамъ Николаевичъ.

— Голова безъ прорѣхи, а языкъ крючкомъ. Ужъ чего замышляетъ—не подмѣтишь, а языкомъ, што удой, каждаго зацѣпитъ и обведетъ — до-о-ошлый! — произнесъ старикъ съ лицомъ, усѣяннымъ бородавками.

— Аль ты сердитъ на него? — спросилъ, засмѣявшись Абрамъ Николаевичъ.

— Наше сердце, Абрамъ Николаичъ, што пустая мошна—никому не страшна!—отвѣтилъ старикъ, насмѣшливо сверкнувъ глазами, и, погладивъ бороду, быстро и пристально посмотрѣлъ на Абрама, Николаевича. — Што долго къ намъ, въ Сорокино то, не заглядывалъ?—спросилъ онъ,—мы-то, признаться, ждали, ждали тебя, не завернешь-ли, да и надумали сами къ тебѣ понавѣдаться съ своимъ ходательствомъ,—съ ироніей проговорилъ онъ.— Въ добрый ли часъ только завернули?

— Нѣшто примѣчалъ, что ходить-то ко мнѣ надоть только въ добрые часы, а?—съ сердитымъ самодовольствомъ спросилъ его Абрамъ Николаевичъ.

— Оно хоша примѣты-то стой и не было, а все лучше попытать, добрымъ духомъ человѣкъ осѣненъ, аль худымъ.

— А-а, ну, попытай-ко, угадаешь-ли,—насмѣшливо глядя на него, спросилъ Абрамъ Николаевичъ:—при какомъ я нонѣ духѣ-то?

— По моей бы примѣтѣ, надоть тебѣ добрымъ быть.

— Ну, и обознался: нонѣ я такъ лютъ, что упаси Господи!—И Абрамъ Николаевичъ засмѣялся искренно-добродушнымъ смѣхомъ, вызвавшимъ и на губахъ посѣтителей задушевную, располагающую къ искренности улыбку.—И плутъ же ты, Аверьянъ Мокѣичъ, качая головой, обратился онъ къ старику, заглядывая въ его насмѣшливые глаза. — Недаромъ же матушка-то родимая насадила на лицо тебѣ отмѣтинокъ, въ отличіе отъ другихъ. Ну, какъ же ты, къ примѣру, спозналъ, что нонѣ я добрый, а?

— Не велика загадка-то, Абрамъ Николаичъ. Слава тебѣ Господи, пятый десятокъ на свѣтѣ-то мыкаюсь, терся около людей-то до заплатъ на шкуркѣ, неужъ не спознашь, по добру тебя человѣкъ встрѣтитъ, аль въ худомъ онъ сердцѣ, разбереженъ чѣмъ-нибудь! А наше дѣло подначальное, завсегда прежде, чѣмъ въ избу войдешь, порогъ пощупашь, чтобъ не запнуться!

— Ха, ха... ну, ну, говори, какое дѣло-то встрѣлось.

— Ну, вотъ вишь, какъ порогъ-то переступилъ, такъ теперь ужъ безъ опаски можно шаги-то къ твоему сердцу отмѣривать.

— Съ твоимъ языкомъ, Аверьянъ, я бъ и году въ деревнѣ не выжилъ, а въ городѣ бы основался, право,—замѣтилъ Абрамъ Николаевичъ.

— И я съ первоначалу-то своей жизни подумывалъ, Абрамъ Николаичъ, основу-то въ городѣ ткать, да, вишь, прясла-то тамъ по моему росту нѣтъ.

— Языкъ-то у тебя и безъ прясла ткетъ!

— Ткетъ-то, ткетъ по силѣ-возможности, да однимъ-то языкомъ

немного подѣлаешь... Вотъ хоть бы и теперь: кажись, небольшое дѣлишко, а куда какъ крѣпко подумать приходится...

И, помолчавъ, онъ прибавилъ:

— Затѣяли вѣдь мы съ Силуяномъ расходиться.

— Повздорили нѣшто?

— Вздору межъ нами не было, зачѣмъ вздорить, а надумали мы, Абрамъ Николаичъ, самимъ замѣсто его хозяйничать, артельно, всѣмъ обществомъ нашимъ. Оно бы и казнѣ было прибыльнѣй, и намъ сподручнѣй, по крайности, мы бы поправились, не нищали бы! Ты посуди: за содержку почтовой пары на нашемъ станкѣ Силуянъ-то беретъ съ казны три тысячи въ годъ, держитъ-то онъ по контрахту шесть паръ,— по счету добрыхъ людей выходитъ, что восемнадцать тысячъ съ казны-то онъ за энто удовольство беретъ. Деньги вѣдь?

— Деньги!—согласился Абрамъ Николаевичъ;—ну, и расходу вѣдь тоже немало,—замѣтилъ онъ.

— Какого расходу? Гдѣ онъ, энтотъ расходъ-то, на что?—съ жаромъ прервалъ его Аверьянъ Мокѣичъ;—что у него повозки-то да телѣги форменныя есть, такъ коли ты ихъ на двѣсти рублевъ заведешь, такъ онѣ тебѣ десятокъ годовъ отслужатъ! А развѣ онъ держитъ своихъ-то лошадей, сколько по конплету требуется, а? Кто гоняетъ почту да проѣзжихъ-то возитъ, скажи-ко ты намъ, не мы ли? И лошади наши, и сбруя наша, и весь обиходъ, только што повозки его! А много-ли онъ намъ платитъ, а? Онъ-то беретъ казенной платы по полторы копейки съ лошади и версты, а намъ сходитъ-ли по его-то расчетамъ и четверть-то копейки, а? Стало быть, что-жъ, на очистку-то коли выводить, такъ почту-то мы гоняемъ, мы подрядъ-то несемъ на своихъ плечахъ, а Силуянъ-то совсѣмъ не причемъ; такъ за что же онъ захватилъ энтотъ подрядъ въ свои руки, столько шальныхъ денегъ беретъ съ казны, а? А израсходуетъ-ли онъ хоть пять или шесть тысячъ въ годъ, а? Это что-жъ, какъ теперича это дѣло судить, а?—спросилъ онъ и, съ оживленіемъ поднявшись съ лавки и ставъ противъ Абрама Николаевича, — заткнулъ большіе пальцы обѣихъ рукъ за старую, истрепавшуюся опояску, какою былъ перехваченъ его полушубокъ.

— Оно, што говорить, деньги дарма, почесть, въ карманъ кладетъ,—согласился Абрамъ Николаевичъ и задумчиво сталъ разглаживать свою бороду.—Такъ опять и то надоть сказать, на то и богатѣи на свѣтѣ живутъ, штобы за ништо къ нимъ деньги въ карманъ лѣзли.

— Ой-ли, такъ ли оно?—съ ироніей спросилъ старикъ Аверьянъ.

— Такъ, вѣрное тебѣ слово. Тебѣ, штобы копейку-то въ карманъ залучить, сколько надоть потрудиться и ночей не доспать, и не до-

пить, и не доѣсть, и горбъ-то нагнуть до боли, да и то едва залучишь ее... а богатый-то и на печи лежитъ, только и знаетъ одну работу—ѣсть всласть да спать безъ отдыху, а къ нему все копейка плыветъ... Я вотъ отъ старыхъ людей слыхивалъ, что деньги и дѣвки любятъ только толстые карманы, а пустые-то имъ не по скусу...

— Мало-ли чего, Абрамъ Николаичъ, старые люди говаривали, за всякое-то время да во всякомъ-то дѣлѣ по ихъ завѣтамъ жить на-акладно...

— Умнѣй хошь быть?

— Надоть бы... Отцовская-то мѣрка не всякому дѣтищу къ росту... Иной вѣкъ—иной и свычай, тѣ же старики говаривали. Ты вотъ говоришь, что деньги-то любятъ только толстые карманы, а въ пустые-то не идутъ, а на мой умъ, коли голова пуста да сноровки нѣтъ, такъ и толстый карманъ оскудѣетъ, а при головѣ да сноровкѣ и въ пустую запруду вода просочится... такъ ли?..

— Вотъ, братцы, любо бы поглядѣть, какъ Аверьянъ-то въ пустыхъ запрудахъ нырять начнетъ... а-ахъ-ха-а! — смѣясь, обратился Абрамъ Николаевичъ къ остальнымъ собесѣдникамъ, подмигнувъ на Аверьяна, стоявшаго передъ нимъ все въ той же позѣ. — Аль онъ у васъ и изъ сухого песку мокрый выходитъ... а-а?..

— Помоги-ка ты намъ запруду-то сгородить, Абрамъ Николаичъ, а ужъ сухими или мокрыми мы изъ нея выйдемъ, наше дѣло,— серьезно отвѣтилъ ему Данило Маркычъ.

— Я-то тутъ причемъ, городите! — отвѣтилъ Абрамъ Николаевичъ и нахмурилъ брови, какъ бы замѣтивъ, что шутливый тонъ его не идетъ къ дѣлу.

— Твое-то слово—сила!..—началъ было третій старикъ.

— Чего вы дѣлать-то хотите, допрежъ обскажите мнѣ? — спросилъ, прервавъ его, Абрамъ Николаевичъ, опершись правой рукой на столъ и поглаживая бороду.

— Хотимъ всѣмъ обчествомъ взять почтовую гоньбу за себя, Абрамъ Николаичъ,—отвѣтилъ ему Аверьянъ Мокѣичъ.

— Стало быть, противъ Силуяна пойти. А сдюжите-ль?.. — строго спросилъ онъ.

— На Бога да на твою милость всю надежу кладемъ, неужъ ты выдашь насъ, обиду на насъ положишь, не замолвишь за насъ словечка-то передъ начальствомъ? Вѣдь мы по круговой порукѣ всѣмъ обчествомъ, всѣ домохозяева порѣшили взять за себя энто дѣло. Обчественники и выбрали насъ ѣхать бить челомъ тебѣ — заступись, окажи свою помочь!

таетъ къ нему, что чего онъ возьметъ за себя, то сдѣлаетъ... Неужъ ты думаешь, что коли пришелъ ты на торги да сказалъ, что берешь дешево, такъ тебѣ и отдали сейчасъ... а а? Нѣтъ, обожди-и-и.

— Для того мы и просимъ твою милость, Абрамъ Николаичъ, замолвить за насъ словцо, што мы не какіе-нибудь, а всѣ домохозяева... исправные, не гулящіе...

— Ни-и въ жизть!—покачавъ головой и не глядя на нихъ, рѣшительно отвѣтилъ онъ.

— Нѣшто худое за нами знашь чего? — обидчиво спросилъ Аверьянъ Мокѣичъ,—нѣшто хозяйство у насъ не въ порядкѣ, аль въ обманѣ насъ примѣчалъ?

— Не примѣчалъ, не скажу...

— За што-жъ немилость твоя?

— Покажи мнѣ твой обзаводъ во всей, значитъ, формѣ, какъ онъ долженъ быть, и я объ тебѣ сейчасъ отлепортую на отличку.

— Обстроимся, не сумнѣвайся!..

— Ну, такъ допрежъ обстройся, а опосля того съ ходательствомъ иди!

Абрамъ Николаевичъ всталъ со скамьи и медленно, придавая всѣмъ движеніямъ болѣзненный видъ, вышелъ за досчатую перегородку и, порывшись въ углу среди кучи разнаго тряпья, снова вернулся и сѣлъ на прежнее мѣсто.

— Ты вотъ умный сказывашься, — снова обратился онъ къ Аверьяну,—въ старостахъ два раза ходилъ, стало быть, всякій обиходъ знашь, какъ должно съ начальствомъ рѣчь вести, вотъ ты и скажи мнѣ: кто я, какой на мнѣ чинъ?

— Голова!

— На что-жъ я, къ примѣру, этакимъ жалованьемъ обжалованъ, для какой надобности?

— Извѣстно, чтобъ порядокъ по волости блюсти!

— А какъ я долженъ его соблюсти, ну-ка?..

— Не мнѣ тебя учить, Абрамъ Николаичъ, ты и самъ старый человѣкъ, самъ долженъ словомъ своимъ людей наставить, какъ чего соблюдать, а какъ порядокъ блюсти—и самъ знаешь, не первый годъ въ головахъ сидишь.

— Нѣтъ, ты доложи мнѣ: если я теперича касательно этого пытаю тебя, стало быть, имѣю умыселъ?..

— Не безъ умысла... это чего говорить! На мой умъ, голова и долженъ быть во всякомъ дѣлѣ голова, во всякомъ дѣлѣ прежде всего правду блюсти по совѣсти.

— А-а, по правдѣ, по совѣсти, стало быть, дѣйствовать, а не то, чтобы облыжно... Ладно, хорошо, говорю! Теперича явишься ты на торги, спустишь ты цѣну съ подряда. Ну, начальство и спроситъ меня: можно ли къ вамъ довѣріе питать? Я и скажу: можно; вѣдь оно, значитъ, на мое слово вѣру покладетъ; опосля того, если у васъ безпорядки окажутся: того нѣтъ, другое не по формѣ,—тогда што, а?.. Ты то будешь въ сторонѣ, а я отвѣтствуй, потому, какъ, значитъ, я за тебя въ ручатели шелъ!

— Пошто ты, Абрамъ Николаичъ, исшо тѣсто не замѣсилъ, а ужъ опару хаешь, а? Гдѣ ты непорядки-то видишъ, въ чемъ? Вѣдь мы беремъ гоньбу за себя всѣмъ обчествомъ нашимъ, за круговой обоюдной порукой. Стало быть, всѣ будемъ хозяева и всякой будетъ въ обчей выгодѣ, какъ въ своей, свой глазъ имѣть, стеречь и за другимъ, и за собой, чтобы ни въ чемъ никому ущерба не было. Коней у насъ будетъ по конплету, сбруя вся, какая полагается, будетъ на отчистку, не первый годъ ямщичаемъ. Домъ подъ фатеру снарядимъ. Обчество меня и въ почтарскіе старосты норовитъ, чтобъ порядокъ вести касательно обращенія съ начальствомъ и проѣзжающими. Такъ въ чемъ ты непорядокъ-то сулишь намъ?

— А обзаводъ вашъ гдѣ, покажи!

— Выстроимъ! Сказали тебѣ, что сумнѣнья на это не клади, все будетъ по формѣ, можетъ почище, чѣмъ у Силуяна.

— Такъ ты мнѣ выстрой допрежъ, покажи его, тогда я безъ препоны за тебя всякое слово скажу! Начальство допрежъ всего спроситъ, есть-ли обзаводъ у васъ; что я долженъ сказать на это, а-а?

— Скажи, что обстроютъ, молъ, весь обзаводъ, безъ этого не останутся.

— „Скажи, что обстроютъ“,—значитъ все-таки, примай фальшь на свою душу, а? Обстроишь ты еще или нѣтъ, а я, ничего еще не видавши, скажи, что обстроите! Вотъ энта-то неосновательность ваша всегда и мутитъ меня; всѣ вы, сколько ни есть васъ, зло несете на меня. Постылѣе меня у васъ человѣка нѣтъ; и умомъ-то я слабъ, и совѣстью-то кривлю, и окромя зла никому ничего не сдѣлалъ, а чуть какое касательство—къ Абраму лѣзете, Абрамъ во всемъ иди въ отвѣтъ предъ начальствомъ. У тебя вотъ и обзавода нѣтъ, а Абрамъ иди ручайся, говори, што ты обстроишь.

— За што ты предъ нами эти пени-то вытряхиваешь, Абрамъ Николаичъ, чего мы сдѣлали тебѣ? — съ грустью глядя на него, спросилъ Аверьянъ Мокѣичъ.

— Знаю, знаю, что вы всѣ на меня зло питаете.

— Укажи, мы предъ тобой стоимъ, въ чемъ мы тебѣ зло сдѣлали, когда худое слово про тебя говорили.

— Не говорилъ, такъ скажешь! — отвѣтилъ онъ, не глядя на нихъ.—Я вотъ въ умѣ-то положилъ ходатайствовать за васъ, потому ужъ Силуянъ-то вашъ шибко зазнался, никого и знать не хочетъ. Я вотъ окажу вамъ добро, а вы завтра же въ одинъ голосъ запоете, что Абрамъ и такой, и сякой... О-охъ, пособи Господи дотянуть мнѣ энтотъ годъ, другу и недругу закажу не служить въ головахъ: окромя обиды да поношенья за свое добро ничего не жди отъ людей...

— Напрасно ты это жалуешься, Абрамъ Николаичъ, право напрасно,—качая головой, произнесъ Данило Маркычъ.

— Другой будетъ голова умный, во всемъ вамъ будетъ потрафлять, а я и злой, и умомъ слабъ, не мнѣ вами править. Я все сдѣлаю для васъ, чего вы просите, слышите? Самъ на дняхъ къ окружному съѣзжу, разопнусь за васъ, исходательствую вамъ подрядъ, и послушаю потомъ, какъ ругать меня станете.

— Абрамъ Николаичъ, побойся ты Бога.

— Я пятьдесятъ другой годъ Бога-то боюсь... Богъ-то мнѣ и въ душу-то вкладываетъ не питать ехидства къ людямъ за зло, што мнѣ чинятъ, а добро одно дѣлать всякому. А теперь поѣзжайте съ Богомъ, время ужъ,—произнесъ онъ, вставая съ лавки. — Подрядъ я вамъ выхлопочу, такъ и знайте, такъ и поминайте Абрама, живъ буду, аль въ землѣ...

— Дай тебѣ Богъ за добро...

— Ну, ну, идите съ Богомъ! Абрамъ для васъ завсегда все сдѣлаетъ, такъ и знайте, а пожеланья свои при себѣ держите... Я знаю, што Богъ меня за добро мое не кинетъ!—говорилъ онъ, идя къ двери.

Простившись съ нимъ, пріѣзжіе вышли на дворъ и, постоявъ съ минуту, въ недоумѣніи посматривая другъ на друга, неторопливо сложили сѣно, наброшенное лошадямъ, обратно въ пошевни, растворили ворота и выѣхали со двора. Когда Данило Маркычъ заперъ ворота на запоръ и, выйдя въ калитку, сѣлъ въ пошевни, лицо стараго Аверьяна освѣтилось.

— Знатье бы, братцы, такъ полуштофомъ бы запастись намъ, рюмкой-то крѣпче путнаго слова проняли бы его милость!—сказалъ онъ.

Возвратившись въ избу, Абрамъ Николаевичъ долго еще ораторствовалъ, что онъ для всѣхъ все дѣлалъ и дѣлаетъ, что пущай другіе-то такъ распинаются за людей, какъ онъ. „По-о-омянутъ еще Абрама, по-о-омяну-утъ!“ твердилъ онъ, не замѣчая, что его никто не слушаетъ. Жена, перемѣнивъ солому въ корчагахъ и подсыпавъ въ

нихъ свѣжаго солода, снова ставила ихъ въ печь; дочь тѣмъ временемъ сливала спущенный квасъ въ кадку, а сынъ погналъ лошадей на водопой. Когда онъ возвратился, то Абрамъ Николаевичъ храпѣлъ уже на полатяхъ, уткнувъ голову въ полушубокъ вмѣсто подушки.

Деревенька Сорокина, т...го округа, пріютилась на большомъ сибирскомъ трактѣ, и единственная улица, перерѣзывавшая ее на-двое, была вмѣстѣ съ тѣмъ и почтовой дорогой. За четыре года до описываемаго мною времени дорога пролегала далеко въ сторонѣ отъ нея, по причинѣ топкаго, болотистаго грунта этой мѣстности. Но почтовое и земское начальство, желая сократить путь почти на сорокъ верстъ, проложило по болоту сплошную гать въ видѣ моста, и заброшенной до этого въ сторонѣ, бѣдной деревенькѣ выпала честь имѣть въ нѣдрахъ своихъ почтовую станцію. Теперь по серединѣ деревни, у красиваго двухъэтажнаго дома съ нарисованнымъ на фронтонѣ его чернымъ двуглавымъ орломъ, державшимъ по трубѣ въ каждой лапѣ, стоялъ верстовой столбъ, къ которому прикрѣпленъ фонарь, указывающій ночью, въ видѣ маяка, путь къ почтовой станціи, помѣщавшейся въ этомъ домѣ. Домъ этотъ принадлежитъ почтосодержателю Силуяну Петровичу Стрехову. До проложенія новаго пути Стреховъ жилъ въ сосѣднемъ съ деревней Сорокиной селѣ Аталыкъ, занимаясь извозомъ. Почуявъ, что деревенькѣ Сорокиной съ проложеніемъ почтоваго пути чрезъ нее предстоитъ болѣе лучшее будущее, онъ заблаговременно выхлопоталъ себѣ у обитателей ея пріемный приговоръ и переселился въ Сорокино. Имѣя очень незначительныя средства и ограниченное количество лошадей, Стреховъ рискнулъ взять на себя съ торговъ подрядъ почтовой гоньбы на вновь открытой станціи. Еще не старый по лѣтамъ, смѣлый, предпріимчивый, незнавшій отдыха ни днемъ, ни ночью, бойкій на языкъ, Силуянъ Петровичъ скоро влюбилъ въ себя мѣстное населеніе, при помощи котораго только и могъ справляться съ подрядомъ. Звонкій, пѣвучій голосокъ и тряскій, дребезжащій смѣхъ его слышался съ утра и до ночи то въ одномъ, то въ другомъ концѣ деревни. Осадятъ, бывало, почтовую станцію проѣзжающіе по подорожнымъ, нужно разомъ выгнать три-четыре тройки, чтобъ удовлетворить ихъ требованія, коней нѣтъ, а тутъ, того и гляди, придетъ еще почта на трехъ, на четырехъ тройкахъ; другой бы на мѣстѣ Силуяна Петровича растерялся, проклялъ бы и жизнь, и доходную статью, приносившую такъ много заботъ и горя, но Силуянъ Петровичъ былъ не таковъ. „Эй, Иванъ Карнычъ, ты нонѣ просьбу-то подавалъ въ казенную палату объ отдачѣ тебѣ земли-то въ ренду.—вышло рѣшенье-то,

али нѣтъ?“ заглянувъ во дворъ заново отстроенной избы, спроситъ, бывало, Силуянъ Петровичъ у степеннаго крестьянина, рубившаго во дворѣ срубъ на погребъ.

— Экъ скоро захотѣлъ какъ!—отвѣтитъ Иванъ Карпычъ, приподнимая шапку.—Развѣ не знашь, что наши чиновники прежде, чѣмъ масло пахтать, примутся мутовку стругать. Можетъ, годика-то черезъ два Господь и оглянется, дождусь конца...

— Хочешь, я тѣ услужу?

— Что-жъ, услужи. Благодаримъ покорно за милость...

— Ассесоръ изъ палаты пріѣхалъ ко мнѣ, въ Тюмень проѣзжаетъ. Я его знаю, ду-уша человѣкъ, на рѣдкость чиновникъ, до коней это охочь, такъ страсть божья: ты его хлѣбомъ не корми, только прокати на хорошемъ конѣ, всякую тебѣ послугу сдѣлаетъ. Я ужъ было сталъ ему запрягать лошадей въ тарантасъ, да и вспомнилъ про твое-то дѣло. Случай тебѣ. Свези ты его да и обскажи ему дорогой свою просьбу. Прокати только его на своихъ кауренькихъ, все сдѣлаетъ для тебя, помяни!..

— О о!.. А что, слышь, и то свезти развѣ, пожалуй, што случай-то подходящій, въ городѣ до ассесора, поди, не скоро доберешься...

— Про-то и говорю, что случай тебѣ самый настоящій, ну, и прогонъ-то въ карманѣ, все же разоставокъ.

— Ужъ прогонъ-то Богъ съ нимъ, только бы сдѣлалъ!

— Сдѣлаетъ, да еще тебѣ же на водку дастъ, помяни.

Съ минуту съ раздумьемъ почесавъ въ затылкѣ, Иванъ Карпычъ, точно разбуженный отъ сна, торопливо бросалъ топоръ, выводилъ изъ стойки тройку лучшихъ лошадей своихъ каурой масти и черезъ полчаса мчалъ на всѣхъ рысяхъ ассесора, выжидая минуты, когда онъ проснется, чтобъ объяснить ему свою просьбу. А тѣмъ временемъ, пока Иванъ Карпычъ запрягалъ еще лошадей въ тарантасъ ассесора, Силуянъ Петровичъ на другомъ концѣ деревни обдѣлывалъ новое дѣльце.

— Петръ Микитичъ!—кричалъ онъ, постучавъ въ окно вросшей въ землю избы.

— Нѣту его, въ поле ушелъ, телка гдѣ-то отшатнулась, такъ искать пошелъ!—отвѣчаетъ въ оконце женскій голосъ.

— Экое горе-то, а?.. Какъ же быть-то?.. — говоритъ Силуянъ Петровичъ не то съ раздумьемъ, не то съ горечью.

— Нѣшто дѣло до него какое?

— Какъ не дѣло!.. Нынѣ онъ докучалъ мнѣ просьбой, што коли случай навернетъ, такъ дать ему испробовать, какъ побѣжитъ въ тройкѣ новая-то лошадка, што купилъ онъ. Зря-то, говоритъ, гонять не хо-

чется, а тутъ бы, говоритъ, и рысь испробовалъ, и прогонъ-то въ карманѣ бы...

— Экое дѣло-то, нѣту его дома-то, нѣту, съ часъ ужъ время-то будетъ, какъ ушелъ... А то коли онъ говорилъ, такъ что-жъ, Ванюшка сгоняетъ... все равно, свой же глазъ.

— Извѣстно, все равно, свой же глазъ—не чужой!

— Сичасъ надоть, што-ль?

— Да ужъ коли что, такъ сейчасъ бы!..

— Не знаю, какъ безъ него-то, ладно-ли?—въ нерѣшимости говоритъ жена Петра Никитича и мать Ванюшки.—Да коли онъ говорилъ... такъ что-жъ, грѣха-то поди не будетъ... Не то я скажу Ванюшкѣ-то, а?..

— Скажи-ко...

— Скажу!.. Коли онъ просилъ, такъ, чай, ему надо было, а то бы и докучать не сталъ!..

И, въ нерѣшительности помявшись еще съ минуту на мѣстѣ, она отдавала, наконецъ, приказаніе Ванюшкѣ вывести пару лошадей и взять вновь купленную для пробы, какъ она пойдетъ въ тройкѣ.

Подобною изворотливостью Силуяну Петровичу всегда почти удавалось во-время удовлетворять требованія проѣзжающихъ, которымъ онъ, въ случаѣ ихъ брани и угрозъ жаловаться высшему начальству на недостатокъ лошадей, всегда почтительно объяснялъ: „что у него въ лошадяхъ недостатка нѣтъ... что коней у него даже превыше конплета, не такъ, какъ у другихъ почтосодержателей, что̀ маются всегда съ тремя-четырьмя тройками, а что вся бѣда у него отъ ямщиковъ, что никакого-де сладу съ ними нѣту: вонъ и теперь всѣ распьянехоньки,—объяснялъ онъ,—такъ что ужъ бѣгалъ по деревнѣ, подряжалъ мужиковъ, чтобы свезти вашу милость и доставить какъ есть въ акуратѣ!“ Проѣзжающіе, особенно видя, что имъ запрягаютъ, наконецъ, лошадей, и лошадей свѣжихъ, сытыхъ, всегда удовлетворялись подобными объясненіями Силуяна Петровича и, заранѣе убѣжденные въ склонности ямщиковъ къ запоямъ, давали ему наставленія „штрафовать ихъ не жалѣючи“.

Болѣе трехъ лѣтъ Силуянъ Петровичъ дѣйствовалъ такимъ образомъ, не только не тяготясь подобнымъ положеніемъ, но оно даже нравилось ему, онъ находилъ особенную усладу въ изворотливости своей, и пришелъ подъ конецъ къ заключенію, что такъ дѣйствовать, какъ онъ, и лучше, и выгоднѣе, а главное—выгоднѣе: ему не нужно закупать лошадей и, слѣдовательно, затрачивать капитала, не нужно откупать покосовъ для заготовленія сѣна на зиму, закупать овесъ или

али нѣтъ?“ заглянувъ во дворъ заново отстроенной избы, спроситъ, бывало, Силуянъ Петровичъ у степеннаго крестьянина, рубившаго во дворѣ срубъ на погребъ.

— Экъ скоро захотѣлъ какъ!—отвѣтитъ Иванъ Карпычъ, приподнимая шапку.—Развѣ не знашь, что наши чиновники прежде, чѣмъ масло пахтать, примутся мутовку стругать. Можетъ, годика-то черезъ два Господь и оглянется, дождусь конца...

— Хочешь, я тѣ услужу?

— Что-жъ, услужи. Благодаримъ покорно за милость...

— Ассесоръ изъ палаты пріѣхалъ ко мнѣ, въ Тюмень проѣзжаетъ. Я его знаю, ду-уша человѣкъ, на рѣдкость чиновникъ, до коней это охочь, такъ страсть божья: ты его хлѣбомъ не корми, только прокати на хорошемъ конѣ, всякую тебѣ послугу сдѣлаетъ. Я ужъ было сталъ ему запрягать лошадей въ тарантасъ, да и вспомнилъ про твое-то дѣло. Случай тебѣ. Свези ты его да и обскажи ему дорогой свою просьбу. Прокати только его на своихъ кауренькихъ, все сдѣлаетъ для тебя, помяни!..

— О о!.. А что, слышь, и то свезти развѣ, пожалуй, што случай-то подходящій, въ городѣ до ассесора, поди, не скоро доберешься...

— Про-то и говорю, что случай тебѣ самый настоящій, ну, и прогонъ-то въ карманѣ, все же разоставокъ.

— Ужъ прогонъ-то Богъ съ нимъ, только бы сдѣлалъ!

— Сдѣлаетъ, да еще тебѣ же на водку дастъ, помяни.

Съ минуту съ раздумьемъ почесавъ въ затылкѣ, Иванъ Карпычъ, точно разбуженный отъ сна, торопливо бросалъ топоръ, выводилъ изъ стойки тройку лучшихъ лошадей своихъ каурой масти и черезъ полчаса мчалъ на всѣхъ рысяхъ ассесора, выжидая минуты, когда онъ проснется, чтобъ объяснить ему свою просьбу. А тѣмъ временемъ, пока Иванъ Карпычъ запрягалъ еще лошадей въ тарантасъ ассесора, Силуянъ Петровичъ на другомъ концѣ деревни обдѣлывалъ новое дѣльце.

— Петръ Микитичъ!—кричалъ онъ, постучавъ въ окно вросшей въ землю избы.

— Нѣту его, въ поле ушелъ, телка гдѣ-то отшатнулась, такъ искать пошелъ!—отвѣчаетъ въ оконце женскій голосъ.

— Экое горе-то, а?.. Какъ же быть-то?.. — говоритъ Силуянъ Петровичъ не то съ раздумьемъ, не то съ горечью.

— Нѣшто дѣло до него какое?

— Какъ не дѣло!.. Нынѣ онъ докучалъ мнѣ просьбой, случай навернетъ, такъ дать ему испробовать, какъ по новая-то лошадка, што купилъ онъ. Зря-то, гово

чется, а тутъ бы, говоритъ, и рысь испробовалъ, и прогонъ-то въ карманѣ бы...

— Экое дѣло-то, нѣту его дома-то, нѣту, съ часъ ужъ время-то будетъ, какъ ушелъ... А то коли онъ говорилъ, такъ что-жъ, Ванюшка сгоняетъ... все равно, свой же глазъ.

— Извѣстно, все равно, свой же глазъ—не чужой!

— Сичасъ надоть, што-ль?

— Да ужъ коли что, такъ сейчасъ бы!..

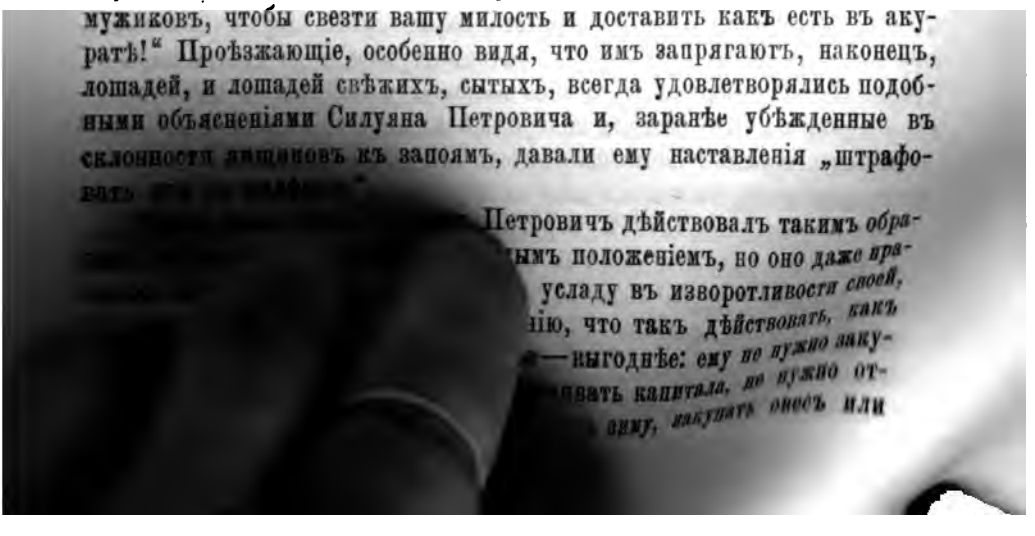
— Не знаю, какъ безъ него-то, ладно-ли?—въ нерѣшимости говоритъ жена Петра Никитича и мать Ванюшки.—Да коли онъ говорилъ... такъ что-жъ, грѣха-то поди не будетъ... Не то я скажу Ванюшкѣ-то, а?..

— Скажи-ко...

— Скажу!.. Коли онъ просилъ, такъ, чай, ему надо было, а то бы и докучать не сталъ!..

И, въ нерѣшительности помявшись еще съ минуту на мѣстѣ, она отдавала, наконецъ, приказаніе Ванюшкѣ вывести пару лошадей и взять вновь купленную для пробы, какъ она пойдетъ въ тройкѣ.

Подобною изворотливостью Силуану Петровичу всегда почти удавалось во-время удовлетворять требованія проѣзжающихъ, которымъ онъ, въ случаѣ ихъ брани и угрозъ жаловаться высшему начальству на недостатокъ лошадей, всегда почтительно объяснялъ: „что у него въ лошадяхъ недостатка нѣтъ... что коней у него даже превыше комплета, не такъ, какъ у другихъ почтосодержателей, что ѣздятся всегда съ тремя-четырьмя тройками, а что вся бѣда у него отъ ямщиковъ, что никакого-де сладу съ ними нѣту: вонъ и теперь всѣ распьянехоньки,—объяснялъ онъ,—такъ что ужъ бѣгалъ по деревнѣ, подряжалъ мужиковъ, чтобы свезти вашу милость и доставить какъ есть въ акуратѣ!“ Проѣзжающіе, особенно видя, что имъ запрягаютъ, наконецъ, лошадей, и лошадей свѣжихъ, сытыхъ, всегда удовлетворялись подобными объясненіями Силуяна Петровича и, заранѣе убѣжденные въ склонности ямщиковъ къ запоямъ, давали ему наставленія „штрафовать



Петровичъ дѣйствовалъ такимъ образомъ положеніемъ, но оно даже выгодно усладу въ изворотливости своей, нію, что такъ дѣйствовать, какъ —выгоднѣе: ему не нужно закупать капитала, не нужно отдавать ему, закупать овесъ или

сѣять солому, не нужно содержать ямщиковъ и платить имъ жалованье и т. д. Со станціонными смотрителями онъ жилъ всегда въ добромъ согласіи, не жалѣлъ денегъ на угощеніе ихъ и даже нарочито для нихъ нанималъ особеннаго качества женскую прислугу, и станціонные смотрители, въ благодарность за вниманіе къ нимъ Силуяна Петровича, смотрѣли сквозь пальцы на всѣ отступленія его отъ почтовыхъ правилъ и контракта. Своевременно предупреждаемый ими о проѣздѣ почтмейстера или почтъ-инспектора для ревизіи станцій, форменныхъ повозокъ и телѣгъ, а главное лошадей, Силуянъ Петровичъ выставлялъ на ревизію начальства тройное количество лошадей противъ цифры ихъ, выставленной въ контрактѣ, и лошадей сильныхъ, сытыхъ, въ отличной, хотя и разнообразной сбруѣ, и почтовое начальство составляло лестное мнѣніе объ исправности его въ исполненіи взятаго на себя подряда, а многочисленныя жалобы, испещрявшія страницы „книги претензій“, совсѣмъ почти не смотрѣло, а если и смотрѣло когда, такъ ради курьеза, чтобъ похохотать послѣ сытнаго обѣда или завтрака поварского приготовленія, такъ какъ Силуянъ Петровичъ ко дню ревизіи всегда выписывалъ повариху изъ города. Осматривая лошадей и любуясь ихъ бодрымъ, сытымъ видомъ, никому изъ начальствующихъ не могло бы придти и въ голову, что по окончаніи ревизіи и по отъѣздѣ ихъ на дворѣ почтовой станціи всегда происходило благодарственное угощеніе крестьянъ деревни Сорокиной за то, что они выручили изъ бѣды богатаго и исправнаго на видъ подрядчика.

Рѣдкій почтосодержатель Сибири, принимающій на себя съ торговъ по контракту подрядъ почтовой гоньбы, имѣетъ необходимое количество лошадей, особенно на главномъ сибирскомъ трактѣ, который называется у мѣстныхъ жителей „московскимъ“. Обязанный по контракту выгнать въ сутки пять-шесть паръ, кромѣ двухъ почтовыхъ троекъ и одной курьерской, онъ выгоняетъ иногда до десяти паръ въ сутки. Бываетъ нерѣдко, особенно во время ирбитской и нижегородской ярмарокъ, что разгонъ почтовыхъ лошадей доходитъ и до двадцати паръ. Каждый почтосодержатель всегда почти прибѣгаетъ къ помощи крестьянъ, уплачивая имъ въ подобныхъ случаяхъ, кромѣ прогоновъ по числу лошадей и верстъ, еще особо выговоренную плату за количество выгоняемыхъ ими лошадей, какъ вознагражденіе за оказываемую ими помощь. Незнакомые съ этимъ почти вездѣ установившимся обычаемъ, крестьяне деревеньки Сорокиной въ первые годы по открытіи у нихъ станціи, отбывая за Силуяна Петровича почтовую гоньбу, считали себя счастливыми и тѣмъ, что имѣли заработокъ отъ прогоновъ, какіе предоставлялъ въ ихъ пользу Силуянъ Петровичъ.

Въ простотѣ своей они и не замѣчали, что постепенно становились къ нему въ положеніе батраковъ и, что еще хуже, батраковъ добровольныхъ. Всегда любезно одолжая каждаго изъ крестьянъ деньгами, предлагая даже самъ ихъ въ минуты нужды и не напоминая должникамъ объ уплатѣ, а только удерживая въ пополненіе долга причитающіеся имъ прогоны, добрый, всегда веселый Силуянъ Петровичъ пріобрѣлъ такое значеніе, что не услужить ему, не исполнить его просьбы было невозможно. Правда, Силуянъ Петровичъ предвидѣлъ, что такъ вести дѣло, какъ онъ велъ, долго нельзя, что рано или поздно крестьяне хватятся за умъ; но, предвидя подобную развязку, онъ не падалъ духомъ и посмѣивался: „Лиха помочь къ тяжелому дню, нерѣдко думалъ онъ,—а теперича мнѣ наплевать на нихъ, хоть сейчасъ всѣ отлыняй отъ меня—и слова не молвлю; теперича мнѣ есть на што округлиться, обойдусь и безъ нихъ!“ И, дѣйствительно, имѣя въ запасѣ довольно кругленькій капиталецъ, Силуянъ Петровичъ весело смотрѣлъ въ свое будущее и могъ каждую минуту обойтись безъ добровольной помощи общества.

Когда Силуянъ Петровичъ узналъ отъ крестьянъ окольныхъ деревень, что однообщественники его намѣреваются взять всѣмъ обществомъ подрядъ почтовой гоньбы за себя, то онъ хотя и не повѣрилъ этому и даже съ улыбочкой отвѣтилъ предупредившимъ его доброжелателямъ: „что-жъ, пущай берутъ, не мотали еще слезъ на кулакъ, такъ пущай попробуютъ, каково изъ нихъ веревки-то вить!“—но все-таки призадумался и, не подавая вида, что знаетъ что-нибудь о затѣѣ ихъ, въ сущности зорко наблюдалъ за ними. „Э-э, такъ вы вотъ какъ! ну-ну, потягаемся, прикинемъ другъ друга на вѣски, кто кого перетянетъ“, съ усмѣшкой думалъ онъ, когда для него стало очевидно, что переданный слухъ вѣренъ. Въ деревенькѣ Сорокиной насчитывалось не болѣе сорока дворовъ и населеніе ея не отличалось зажиточностью. Удобной для хлѣбопашества земли было мало, такъ что засѣваемаго крестьянами хлѣба едва доставало для удовлетворенія собственныхъ нуждъ. Большинство крестьянъ въ зимнее время занималось извозомъ, нанимаясь для этого къ богатымъ подрядчикамъ, жившимъ по тракту, которые имѣли уже постоянныя сношенія съ купцами и съ казной и брали на себя доставку товаровъ и казенныхъ транспортовъ. Иные изъ нихъ ходили на дальніе заработки на Обь, или нанимались артелями, въ лѣтнее время, править дороги и мосты за крестьянъ болѣе зажиточныхъ деревень. Но съ того времени, какъ деревенькѣ ихъ выпала честь стоять на трактовой дорогѣ, они считали благодатью и тотъ скудный заработокъ, какой удѣлялъ имъ Силуянъ

Петровичъ. Присмотрѣвшись же, какъ онъ ведетъ свое хозяйство, а главное, спохватившись, какой удобный случай они упустили изъ рукъ въ первое время, когда чрезъ ихъ деревню проложили трактъ, и не только дали нажиться постороннему для нихъ человѣку, но даже способствовали по своей наивности этой наживѣ, сорокинцы невольно набрели на мысль взять всѣмъ обществомъ подрядъ почтовой гоньбы. Конечно, взять подрядъ не лиха бѣда,—думали они,—но отдадутъ-ли имъ? Вопросъ этотъ задавалъ каждый изъ нихъ, такъ какъ каждый изъ нихъ сознавалъ, сколько затрудненій надо преодолѣть для достиженія этой цѣли. Лицо, отъ котораго будетъ зависѣть отдача подряда, естественно отнесется съ большимъ недовѣріемъ къ бѣднякамъ, въ виду стараго, всегда исправнаго, по общему мнѣнію начальствующихъ лицъ, подрядчика, которымъ столько лѣтъ были всѣ довольны и у котораго хозяйство, по ихъ мнѣнію, было въ такомъ безукоризненномъ видѣ. Знали они, что и Силуянъ Петровичъ не сплошаетъ, и онъ употребитъ всѣ усилія, чтобъ оставить выгодный для него подрядъ за собой. Положимъ, что выборные отъ нихъ лица, явясь на торги, могутъ сбить цѣну на пятьсотъ, на шестьсотъ рублей съ каждой пары, и Силуяну Петровичу, въ виду затратъ на покупку лошадей и содержаніе ихъ, не представится тѣхъ выгодъ отъ подряда, какія онъ имѣлъ до сихъ поръ, но одинаково не представится на первое время никакихъ выгодъ и для нихъ, такъ какъ и имъ, въ свою очередь, потребуются значительные расходы на устройство форменныхъ повозокъ и телѣгъ, на заведеніе значительнаго числа лошадей и сбруи, на устройство почтоваго двора и т. п. А случись къ тому же еще эпидемія на скотъ, какія часто свирѣпствуютъ въ Сибири, ну, тогда вмѣсто выгодъ имъ угрожаетъ окончательное разореніе, тогда какъ Силуянъ Петровичъ, имѣя въ запасѣ средства, всегда можетъ легче оправиться послѣ непредвидѣннаго несчастія... Долго думали и гадали сорокинцы, пока рѣшились взять за себя подрядъ, и выбрали изъ среды себя Аверьяна Мокѣича Долгополова и стариковъ: Данило Маркыча Исаева и Антона Никитича Сорокина въ ходатаи по этому дѣлу, снабдивъ ихъ на первоначальные расходы пятьюдесятью рублями денегъ. Заручившись обѣщаніемъ волостного головы содѣйствовать ихъ предпріятію, такъ какъ одобреніе его много значило въ глазахъ начальствующихъ лицъ, старики Долгополовъ, Исаевъ и Сорокинъ отправились на другой же день въ губернскій городъ Т...ъ, чтобъ подать просьбу окружному начальнику.

Въ одной изъ отдаленныхъ улицъ города Т...а, среди пустырей, обнесенныхъ покосившимися досчатыми заборами, стоялъ низенькій,

какъ бы придавленный грозой, вросшій однимъ бокомъ въ землю домикъ, принадлежавшій отставному губернскому секретарю Василію Яковлевичу Нефедову, служившему по частному найму письмоводителемъ у окружного начальника. Кромѣ занятій по обязанности письмоводителя, Василій Яковлевичъ секретно отъ властей занимался еще составленіемъ прошеній для крестьянъ, обращавшихся къ нему за юридическими совѣтами, и принималъ на себя ходатайство по ихъ дѣламъ въ различныхъ присутственныхъ мѣстахъ. Ходатайство Василія Яковлевича и составляемыя имъ прошенія обходились для крестьянъ не дешево и не всегда увѣнчивались успѣхомъ, но тѣмъ не менѣе имя его пользовалось среди крестьянъ большой популярностью. Домикъ его съ утра и до ночи осаждался просителями въ сермягахъ, полушубкахъ, тиковыхъ и суконныхъ халатахъ, пріѣзжавшими къ нему иногда за сотни верстъ. А такъ какъ Василій Яковлевичъ не брезговалъ никакимъ приношеніемъ, то каждый изъ просителей, кромѣ условленнаго гонорара, привозилъ еще ему деревенскихъ гостинцевъ: гусей, куръ, муки, рыбы и т. п. живности, какую не безъ выгоды продавала на рынкѣ супруга его. Къ Василію Яковлевичу, какъ къ лицу, близко стоявшему къ окружному начальнику, отъ усмотрѣнія котораго зависѣло отдать на предстоящихъ торгахъ сорокинскому обществу подрядъ почтовой гоньбы, обратились теперь и выборные ходатаи отъ сорокинцевъ.

Въ тѣсной комнаткѣ съ покосившимися полами, одинъ уголъ которой занимала огромная русская печь, а другой—двухспальная кровать, завѣшанная ситцевымъ пологомъ, сидѣли на деревянныхъ табуретахъ Аверьянъ Мокѣичъ и два его спутника. Привезенные ими въ гостинецъ яйца, десять безмѣновъ *) коровьяго масла и два пуда пшеничной муки оказались такого хорошаго качества, что супруга Василія Яковлевича не только любезно приняла гостей, но и напоила ихъ чаемъ съ калачами, а Василій Яковлевичъ, худощавый, сгорбленный лѣтами и сидячею жизнью старичекъ, одѣтый по-домашнему въ нанковый халатъ и войлочныя валенки, внимательно выслушалъ дѣло, по которому они пріѣхали къ нему, и, хмуря время отъ времени брови, процѣживалъ только сквозь зубы „гмъ“.

— А что, богатъ этотъ Силуянъ-то вашъ?—спросилъ онъ Аверьяна Мокѣича по окончаніи его разсказа.

— Нажился! Теперича поди въ добрыхъ тысчахъ сидитъ!—отвѣтилъ онъ.

---

*) Безмѣномъ называется вѣсъ. Въ каждомъ безмѣнѣ считается два съ половиною фунта.

— Гмъ!.. дѣло того... замысловатое!—задумчиво произнесъ Василій Яковлевичъ, почесывая переносицу.—Кабы онъ бѣдный былъ, такъ его бы легче было окрутить, ну, а богатаго-то не скоро осилишь! Много надо ума и расходу!—сказалъ онъ, пытливо посмотрѣвъ на просителей.

— За расходомъ-то не постоимъ, ваше степенство; коли заварили пиво, такъ не пожалѣемъ хмѣлю!—вздохнувъ, отвѣтилъ Данило Маркычъ.

— Осилить можно, — все такъ же задумчиво продолжалъ Василій Яковлевичъ; — коли я возьмусь, такъ подрядъ будетъ въ вашихъ рукахъ. Я и не такія дѣла въ комокъ свертывалъ, я—сила!..—закончилъ онъ, многозначительно нахмуривъ сѣдыя брови.

— Слыхали, батюшка, затѣмъ и пріѣхали къ твоей милости—помоги!

— Сила я! — тряхнувъ головой, повторилъ Василій Яковлевичъ. — Вы думаете, всѣми дѣлами вашими окружной вѣдаетъ, а?—спросилъ онъ, сердито посмотрѣвъ на нихъ.—Я... я... Окружной-то вашъ вотъ гдѣ у меня сидитъ,—говорилъ онъ, показавъ имъ сжатый кулакъ. — Я всѣмъ ворочаю по округѣ. Тридцать рублевъ дадите, такъ возьмусь, а меньше—ни-ни, и угощеніе особо.

— О о-охъ, многонько-бы, Василій Яковличъ!—отвѣтилъ Аверьянъ Мокѣичъ, тогда какъ сотоварищи его, только вздохнувъ, почесали затылки.

— Ну, иди и поищи тамъ другого Василія Яковлевича, который бы дешевле взялъ, а я не могу, у меня такое положеніе—по дѣлу и плата; я и то дешево прошу, снисходя къ слѣпотѣ вашей.

— Снизойди ужъ по пути и къ нужѣ-то. Не богатое наше дѣлото, и то ужъ послѣднія копейки соскребли съ міра да поѣхали къ тебѣ,—вставъ съ табурета и кланяясь, отвѣтилъ Аверьянъ Мокѣичъ.

— Послѣднія, говоришь, соскребли?

— Вѣрь, другой и позаимствовался.

— А лѣзете въ многотысячный подрядъ! — прервалъ Василій Яковлевичъ; —ну, какъ же мнѣ соображать теперь объ васъ, а? Вѣдь я долженъ соображая принять на себя ходатайство, а-а?

— Ужъ какъ же безъ соображенья, безъ соображенья далеко не уйдешь, а ты, сдѣлай милость, соображай пока подешевле, Василій Яковличъ. Вѣдь наше-то дѣло такое, тысчи-то придутъ или нѣтъ, не узнано!

— Я возьмусь, такъ придутъ.

— О-о! ну, давай бы Господи!

— Придутъ, потому я съ такими пунктами прошеніе составлю, что имъ нельзя не придти. Во-первыхъ, я выставлю на видъ, какой интересъ казна соблюдаетъ, если вамъ отдадутъ подрядъ, и все это выясню въ такихъ выраженіяхъ, какія непремѣнно проймутъ душу начальства. Поняли? А развѣ все это дешево стоитъ, а? А личное ходатайство во что-жъ вы цѣните, а? Тридцать рублей и ни гроша скидки,— рѣшительно произнесъ Василій Яковлевичъ. — Я еще дешево беру, другой бы вамъ это дѣло въ сотни вогналъ, потому что вы не имѣете права еще въ подряды-то вступать.

— Пошто это?—изумленно спросилъ старикъ Сорокинъ.

— Вы артельно, обществомъ берете подрядъ, а?

— Артельно, всѣ вкупѣ, всѣмъ обчествомъ!—пояснилъ онъ.

— А кто вамъ разрѣшилъ совокупиться въ общество, а? Кѣмъ утвержденъ уставъ вашей артели, а? Какъ вы безъ позволенія начальства можете составлять общества, съ какою цѣлью, ну-ка? — искоса обмѣривая ихъ взглядами, угрюмо говорилъ Василій Яковлевичъ.

Аверьянъ Мокѣичъ съ минуту сидѣлъ молча, переминая ногами и посматривая на своихъ растерявшихся сотоварищей.

— Неужъ и на это еще разрѣшенье надо выправлять? — тихо спросилъ онъ.

— Обязательно!

— Ишь ты какая притча-то подвернулась,—съ раздумьемъ произнесъ онъ. — Ну, а коли мы тридцать рублевъ дадимъ тебѣ, такъ обойдется дѣло-то, а?

— Обойдется! Ужъ я такіе законы подведу, что кромѣ васъ подряда никому не отдадутъ, а то, не погнѣвайтесь, загну крючекъ, такъ и согнями рублей не разогнете!

— А-ахъ ты горе-то, а? Ну, а угощенье-то въ энтой же платѣ, аль особенно?—спросилъ, вздохнувъ, старикъ Сорокинъ.

— Особенно, угощенье не въ счетъ, а въ одолженье.

— Вишь, говорю, Василій Яковличъ,—началъ послѣ непродолжительнаго раздумья Аверьянъ Мокѣичъ, молча переглянувшись съ своими спутниками,—мы бы тебѣ ни за какой платой не постояли, вѣрь, мы хоть и не письменные люди, а кое-что тоже смыслимъ, не первый годокъ на свѣтѣ живемъ, пословица-то говоритъ не даромъ: коли волосъ посѣдѣлъ, то ужъ и созрѣлъ. Ужъ такъ и быть, возьми ты тридцать рублевъ, Богъ съ тобой, и угостимъ мы тебя по силѣ способности, только яви ужъ милость, не морочь насъ, а обходатайствуй побожески.

— Обходатайствую, ужъ возьмусь, такъ обходатайствую, только деньги впередъ мнѣ. Я эвтотъ порядокъ крѣпко соблюдаю.

— Изволь, не потаимъ,—отвѣтилъ Аверьянъ Мокѣичъ, медленно распоясываясь, и, доставъ изъ-за пазухи ситцевый клѣтчатый платокъ, бережно размоталъ его и вынувъ изъ него деньги, пересчиталъ ихъ и положилъ на столъ тридцать рублей. — А угощенье-то сейчасъ тебѣ, аль помедлишь, пока тверезый прошенье то напишешь, а?—спросилъ онъ.

— Ты мнѣ натурой выдай, то-есть деньгами, я ужъ послѣ, по соображеніи, угощусь!—отвѣтилъ Василій Яковлевичъ.

— Сколько же тебѣ натурой-то?

— Рубля два все же надо, потому обдумать такое дѣло, какъ ваше, обнять все это умственнымъ взоромъ требуется время, понимаешь!

Глубоко вздохнувъ вмѣсто отвѣта, Аверьянъ Мокѣичъ досталъ изъ кармана холщевыхъ синихъ шароваръ два рубля и, положивъ ихъ на столъ, сѣлъ.

— Вотъ вы теперь думаете, поди,—пересчитавъ деньги и сжавъ ихъ въ кулакѣ, началъ Василій Яковлевичъ болѣе мягкимъ голосомъ, — что мы, чиновники, грабимъ васъ, даромъ только съ васъ деньги беремъ, а? Вѣдь ты вотъ думаешь по слѣпотѣ своей: ну, чего стоитъ мнѣ прошенье написать: присѣлъ къ столу, взялъ перо въ руку и пиши. Хе-хе! Нѣ-ѣ-ѣтъ. Энти деньги мнѣ дорого даются. Я теперь долженъ всю ночь сидѣть за вашимъ-то прошеньемъ, всякое чувствительное слово придумать, чтобы начальникъ-то, какъ только взялъ бы вашу просьбу въ руки, такъ бы съ перваго слова его и проняло.

— Ужъ напиши, чтобъ проняло, сдѣлай милость.

— Проймetъ! Съ моей просьбы хоть кого проймetъ. Я ужъ старый служака, въ законахъ-то, какъ въ своихъ карманахъ, роюсь, я въ нихъ всякую щелку найду, куда влѣзть и вылѣзть, и начальство постигаю: другой начальникъ столбомъ на видъ кажется, никто въ немъ и души не примѣчаетъ, а я, братъ, раскопаю его, доберусь до того мѣста, гдѣ у него душа-то сидитъ, да нрямо въ нее и впущу словцо, и пройму его. Начальники тоже разные бываютъ и разныя слова любятъ, да-а-а! Одному ты пиши: „всенижайше припадаемъ къ стопамъ твоимъ“, а другому: „скорбные духомъ, слезно молимъ, уповая на Господа и тебя“. Я ужъ такъ, какъ по трафарету, каждому и пригоняю. Ну, и помогаетъ! Спроси у кого хошь, коли я брался за дѣло, проигралъ-ли кто, а? Пожалуй, есть такіе писаря, что и за полтину тебѣ просьбу напишутъ, да што толку-то отъ этакой просьбы, а?

— Ужъ каждое дѣло мастера боится, чего говорить.

— Вѣрно! Онъ и напишетъ тебѣ, да што толку-то отъ его просьбы, коли въ ней словъ-то подлежащихъ по душѣ начальника нѣтъ, а?

Ну, и законовъ не знаетъ. А у меня видишь, законовъ-то сколько,— произнесъ онъ, отдергивая висѣвшую у печи ситцевую занавѣску и указавъ имъ на деревянную полку, уставленную книгами. — Видишь, а? Любой бери да и ввертывай въ прошенье-то. То-то!—окинувъ ихъ гордымъ взглядомъ изъ-подъ насупленныхъ бровей, заключилъ онъ.— Ну, а теперь того, подите домой, я займусь, чувствую стихъ въ себѣ, а завтра утромъ приходите за просьбой!

И простившись съ ними, Василій Яковлевичъ проводилъ ихъ до воротъ, которыя и заперъ за ними на запоръ.

— Ну, други, грѣютъ же нашего брата!—вздохнувъ, произнесъ Аверьянъ Мокѣичъ, шагая съ своими спутниками по пустынной улицѣ, и только звонко отдававшіеся въ морозномъ воздухѣ учащенные шаги ихъ по скрипучему снѣгу заглушали тѣ глубокіе вздохи, какіе надрывали ихъ груди при мысли, что куда бы ни сунулся мужикъ, его вездѣ нагрѣютъ.

Придя на постоялый дворъ, они постучали въ калитку, и содержатель его, пожилой уже мѣщанинъ, выйдя во дворъ съ фонаремъ въ рукахъ, отворилъ ворота и впустилъ ихъ. Окинувъ ихъ насмѣшливымъ взглядомъ, онъ спросилъ:

— У Нефедова загостились, што-ли?

— У него, другъ!—тоскливо отвѣтилъ Данило Маркычъ.

— Онъ будетъ прошенье-то писать?

— Онъ.

— За сколько срядились?

— Тридцать рублевъ, братъ, вытянулъ, — угрюмо произнесъ Аверьянъ Мокѣичъ;—такія слова, говоритъ, впишу, что дешевле никакъ не можно взять.

— Э-э, ловко же чиститъ онъ карманы у вашего брата! Много къ нему ходитъ и ѣздитъ народу. Прикормилъ! Инымъ и помогаетъ, чего сказать, а болѣе все попусту лаетъ, похваляется только. Праа-ахвостъ, одно слово!—заключилъ хозяинъ постоялаго двора, сплюнувъ сердито на сторону и поднимаясь вслѣдъ за ними по узенькой скрипучей лѣстницѣ въ верхній этажъ дома.

На другой день, часу въ девятомъ утра, Аверьянъ Мокѣичъ и спутники его были уже у Василія Яковлевича, который прочиталъ имъ составленное имъ прошеніе, переписанное на-бѣло племянникомъ его жены. Прошеніе было очень длинное и заключало въ себѣ такое обиліе чувствительныхъ выраженій вродѣ: „припадаемъ къ стопамъ, молимъ яко голуби незлобивые и т. п.“, что въ умахъ сорокинцевъ не оставалось никакого сомнѣнія въ успѣхѣ ихъ предпріятія.

— Этакое прошеніе хоть кого проймет!—съ гордостью потирая руки, говорилъ Василій Яковлевичъ, бережно складывая его вчетверо;—другой бы съ васъ пятьдесятъ рублей за него взялъ, а я нѣтъ, я вотъ по-божьи, тридцатью удовольствовался! — произнесъ онъ въ видѣ напутственной рѣчи, провожая ихъ до дому окружного начальника.

Съ замираніемъ сердца вошли ходатаи въ обширную переднюю своего непосредственнаго начальника, отъ одного слова котораго зависѣло все ихъ будущее, и робко стѣснились у порога позади крестьянъ, также пришедшихъ съ просьбами. Черезъ часъ къ просителямъ вышелъ окружной начальникъ, выслушалъ каждаго просителя, и когда дошелъ до сорокинцевъ, то въ дверяхъ за спиной его показался Василій Яковлевичъ, дѣлая имъ ободрительные жесты рукой. Молча прочитавъ прошеніе и поморщившись, должно быть, отъ обилія чувствительныхъ словъ, окружной нѣсколько разъ потеръ себѣ лобъ и, скомкавъ просьбу въ рукахъ, произнесъ:

— Чортъ знаетъ, кто вамъ пишетъ такую галиматью!

Ходатаи стояли, какъ пришибленные громомъ, и взглянули въ дверь, надѣясь встрѣтить ободряющій взглядъ Василія Яковлевича, но его уже не было тамъ, онъ исчезъ.

— Хорошо, когда я пріѣду въ волость, такъ лично удостовѣрюсь, возможно-ли допустить васъ къ подряду, а такъ, заочно, я ничего не могу обѣщать вамъ!—отвѣтилъ онъ.

Съ понуренными головами вышли изъ дома его ходатаи и направились въ пустынную улицу, къ дому своего адвоката, гдѣ и прождали возвращенія его со службы почти до сумерокъ.

— Вы только не робѣйте, — говорилъ, ободряя ихъ, Василій Яковлевичъ. — Ну, посуди ты самъ, — обратился онъ къ Аверьяну Мокѣичу,—какой же начальникъ сталъ бы при тебѣ свои чувства показывать, что его проняло, а? Вѣдь онъ уронилъ бы этимъ свое достоинство! А вы какъ только ушли, онъ и говоритъ мнѣ: подыщи, говоритъ, законъ, чтобъ подрядъ отдать этимъ мужикамъ, надоть, чтобъ они поправились.

— О о! Неужъ такъ и сказалъ?

— Слово въ слово. А я, какъ услыхалъ это, и говорю, что вы хорошіе крестьяне, толковые, трезвые, что вамъ можно довѣрить даже и не такой подрядъ. Ну, на томъ и порѣшили, чтобъ отдать его вамъ; только вы смотрите, ни гу-гу объ этомъ! никому ни слова! — предупредилъ онъ.

Успокоенные увѣреніями Василія Яковлевича въ хорошемъ исходѣ дѣла, ходатаи въ тотъ же вечеръ поѣхали домой. Общество ликовало

отъ привезеннаго ими извѣстія. Многіе изъ крестьянъ, не теряя времени, стали занимать деньги у зажиточныхъ людей изъ окольныхъ деревень и постепенно по случаю прикупали на нихъ лошадей, сбрую, окованныя колеса, которыя намѣревались пригнать къ форменнымъ повозкамъ, и хотя продолжали попрежнему услуживать Силуяну Петровичу, но все-таки худо скрытыми намеками при каждомъ случаѣ давали ему понять, „что скоро они сами будутъ хозяевами этого дѣла“.

Узнавъ, что избранные обществомъ ходатаи поѣхали въ городъ для подачи просьбы окружному начальнику о допущеніи ихъ къ подряду, заручившись обѣщаніемъ волостного головы дать лестный отзывъ объ нихъ, какъ объ исправныхъ и трудолюбивыхъ крестьянахъ, Силуянъ Петровичъ призадумался. Чуть-ли не въ первый разъ въ жизни съ губъ его сбѣжала игривая и, повидимому, беззаботная улыбка. Затихъ звонкій, дребезжащій смѣхъ его и домашніе его въ теченіе нѣсколькихъ дней не слыхали острыхъ словечекъ, какими онъ любилъ разнообразить свою рѣчь. „Пожалуй, что и поддѣнутъ, о-охъ, поддѣнутъ они меня!“ угрюмо раздумывалъ онъ, почесывая затылокъ, предполагая, что въ просьбѣ своей крестьяне выяснятъ начальству, въ какомъ положеніи находится его хозяйство, и если только власти вникнутъ въ это дѣло и постараются разслѣдовать истину, то для нихъ будетъ ясно, что благодаря только помощи крестьянскаго общества да нахальной изворотливости онъ столько лѣтъ въ глазахъ всѣхъ оказывался исправнымъ подрядчикомъ. На другой же день послѣ отъѣзда ходатаевъ въ городъ, Силуянъ Петровичъ, вставъ задолго до разсвѣта и сдѣлавъ всѣ распоряженія на случай прибытія въ отсутствіе его почты и проѣзжающихъ, поѣхалъ въ село Аталыкъ къ тестю своему Кондратію Семеновичу Зубову, когда-то крупно-зажиточному, но теперь разорившемуся крестьянину. Зубовъ служилъ одно время волостнымъ головою и пользовался большимъ вліяніемъ, но съ упадкомъ его хозяйства его забыли и онъ не вмѣшивался ни въ какія общественныя дѣла. Въ затруднительныхъ случаяхъ Силуянъ Петровичъ всегда прибѣгалъ къ нему за совѣтомъ, и, изворотливый или, какъ говорили въ народѣ, „расхожій на всѣ руки“ старикъ Зубовъ много помогалъ ему. Въ тотъ самый день, когда ходатаи возвратились изъ города съ радостной для общества вѣстью, въ квартирѣ волостного писаря Петра Степановича Плѣшкова были гости и гости не случайные, а собравшіеся по особому приглашенію. Наканунѣ къ писарю неожиданно пріѣхалъ Силуянъ Петровичъ, имѣлъ съ нимъ продолжительный разговоръ, длившійся за полночь, и переночевалъ у него, поджидая возвращенія головы, уѣхавшаго по дѣлу въ одну изъ дальнихъ деревень. Абрамъ Николаевичъ,

возвратившись въ тотъ день изъ поѣздки, зашелъ къ писарю по его приглашенію, гдѣ засталъ Силуяна Петровича и Кондратія Семеновича Зубова, приводившагося сродни Абраму Николаевичу, но, несмотря на родство, старикъ Зубовъ и Абрамъ Николаевичъ находились не въ особенно дружественныхъ отношеніяхъ, теперь же встрѣтились радушно и, благодаря сытному угощенію гостепріимнаго писаря, скоро повели не только задушевный разговоръ, но даже припомнили, что они „сватья“ и когда-то въ молодости еще вмѣстѣ хаживали съ обозами въ Ишимъ и въ село Абацкое на ярмарки.

— А вѣдь я, сватъ, докуку къ тебѣ имѣю!—неожиданно началъ Зубовъ въ порывѣ благодушнаго настроенія. — За што ты сынка-то моего тѣснишь, Силуяна-то?.. Э-эхъ, сватъ, грѣхъ бы тебѣ!

Зубовъ укоризненно покачалъ головой.

— Чѣмъ я тѣснилъ его, когда? — изумленно спросилъ Абрамъ Николаевичъ.

— Какъ чѣмъ?.. Парень только што поднялся на ноги, взявши гоньбу за себя, выселился для энтого въ Сорокино, убилъ въ энто дѣло все, чего у него было, да исшо въ долги по уши залѣзъ, а ты теперича зоришь его, по міру съ сумой собираешься пустить... Што завелись въ обчествѣ у нихъ смутьяны, которымъ, вишь, мало того хлѣба, какой отъ него имѣютъ, зазарились исшо и подрядъ у него отбить, а ты мирволишь имъ,—ну, статочное ли это дѣло, а-а?..

— А чего жъ бы худого тутъ, сватъ?

— Вразумись, такіе-ли люди то сорокинцы, штобы подрядъ держать!

— Не грѣши, сватъ, напраслиной! Мужики они степенные, завсегда въ своемъ разумѣ. А што задумали подрядъ взять за себя, такъ не въ моей власти заказать имъ, не бери-де; на торги дорога вольная, идти по ней никому запрета не положишь!

— Не то ты, сватъ, говоришь, все не то! — съ сердцемъ прервалъ его Зубовъ.

— Поучи, коль умнѣй! — съ ироніей произнесъ Абрамъ Николаевичъ.—Ты-жъ ранѣ меня въ головахъ то ходилъ, болѣ порядки-то знаешь...

— Учить мнѣ тебя не доводится, Абрамъ Николаичъ, — строго отвѣтилъ ему Зубовъ, — у тебя и своего ума много, и другого коли снабдишь имъ, такъ не убудетъ! Я такъ тебя полимаю.

— Ну, не всѣ же, сватъ, такъ-то говорятъ, какъ ты!—отвѣтилъ видимо польщенный Абрамъ Николаевичъ.

— Слѣпые развѣ да недруги иное-то говорятъ...

— То-то вотъ, недруговъ-то много. Ты вотъ, сватъ, отслужилъ безъ горя, безъ заботъ... А на меня Господь, ужъ не знаю, за какіе грѣхи, службой этой истинно крестъ положилъ! — пожаловался, тропутый за больное мѣсто, Абрамъ Николаевичъ. — Кому бы я какое дѣло ни сдѣлалъ, тотъ и порочитъ меня въ отплату за него!..

— И стоитъ, сватъ, коли правду сказать... Коли хошь слушать моего слова, такъ тебя и не такъ исшо ругать-то надо! — наставительно, качая головой, говорилъ Зубовъ, — потому ты добро то дѣлашь, не зная, кому его дѣлашь, не разбирашь людей, что стоютъ-ли они еще, чтобъ добро-то имъ расточать... Ну, вотъ я и скажу тебѣ, знай... Возьми ты теперича Силуяна, вонъ онъ сидитъ, видишь?..—сказалъ Зубовъ, указавъ пальцемъ на Силуяна Петровича, скромно сидѣвшаго въ углу.

— Не иголочка, примѣчаю...

— Парень къ тебѣ завсе съ расположеніемъ, — продолжалъ Зубовъ, прервавъ его,—не знаетъ, какими словами почтить тебя, чѣмъ угодить, а ты его чуждаешься, ни разу што ись въ домъ къ нему не заглянулъ, а вѣдь онъ, худой-ли, хорошій-ли, да все-же по мнѣ-то родней доводится! А вотъ пришли къ тебѣ чужаки рваные да поклонились о своей нужѣ, и ты имъ сейчасъ всякое угожденье оказываешь, а теперь они же надъ тобой ходятъ да подсмѣиваются...

— Смѣются, говоришь? Надо мной-то это?

— Похваляютъ, сватъ, и не простымъ словомъ, а бисернымъ. Нашего Абрама, говорятъ, только по шерсти погладь, назови его умнымъ, такъ гору за тебя своротитъ, а приложь, говоритъ, еще къ похвальбѣ штофъ въ придачу, такъ какую хошь, такую и вей изъ него веревочку... Вотъ ты какимъ людямъ расположенье-то свое расточаешь, сватъ!

— Въ правду-ль ты это говоришь?

— Старъ ужъ я, Абрамъ Николаичъ, года не тѣ, чтобы зря-то сплетки сплетать!—съ достоинствомъ произнесъ Зубовъ,—а остеречь—завсегды остерегу человѣка. Ну, и скажи теперь мнѣ по душѣ, стоишь-ли ты того, чтобы ругать тебя, а?..

— Стою, стою, сватъ. Худо исшо надо мной издѣваются!

— Худо!.. Ты добрый человѣкъ, сватъ... Сердце у тебя радѣтельное, ко всякому лежитъ, вотъ тобой и пользуются недобрые люди!.. Я тебя такъ понимаю, да и отъ другихъ слыхалъ, что кой день ты добра кому не сдѣлалъ, такъ ровно ты тотъ день и не жилъ... кто къ тебѣ съ какой просьбой ни приди, ты разопнешься за него. А понимаютъ-ли тебя люди-то, какъ слѣдуетъ, а?..

— Самъ же сейчасъ сказалъ, какъ похваляютъ меня за мое-то добро!—съ горечью въ голосѣ отвѣтилъ Абрамъ Николаевичъ.

— Вотъ ты и до сѣдыхъ волосъ дожилъ, сватъ, а все учись, какъ на свѣтѣ жить! — менторскимъ тономъ произнесъ Зубовъ? — Всякое дѣло надоть съ оглядкой дѣлать, а кольми паче добро. Ты людямъ и добро сдѣлалъ, да коли они нестоющіе люди, такъ изъ эвтого добра одно зло произойдетъ!.. Ну, вотъ къ слову скажу, похвалишь ты теперь окружному Аверьяшку съ его прихвостниками?..

— Похвалю, сватъ, похвалю!—съ ироніей отвѣтилъ Абрамъ Николаевичъ;—бисерны-то слова и мы низать умѣемъ!..

— Не горячись, сватъ, постой!—прервалъ его Зубовъ.—Ты тихими стопами ко всему иди, напредъ выслушай да обсуди... Похвалилъ бы ты ихъ окружному, стало быть, ты этимъ самымъ поручился бы за нихъ, а?.. Ну, возьмутъ они подрядъ теперь, а чѣмъ отбывать его станутъ, а?.. Много ли у нихъ скота и добра, спросилъ-ли ты?..

— Ну, ужъ коли по правдѣ-то, сватъ, говорить, такъ и у Силуяна-то Петровича лошадокъ-то не по конплету!..

— Абрамъ Николаичъ, дозвольте мнѣ теперича свое слово предъ вами обронить!—почтительно вмѣшался Силуянъ Петровичъ, пересаживаясь на ближній къ нему стулъ. — Они теперича говорятъ, что у меня лошадей нѣтъ, что они, значитъ, за меня какъ бы весь подрядъ отбываютъ... Истинно скажу вамъ, Абрамъ Николаичъ, чтя васъ, значитъ, какъ родного отца: статочное ли это дѣло, обсудите, вы умный человѣкъ, чтобы, взявши подрядъ, я сталъ бы его на шаромыжку отбывать, обманывать, значитъ, и начальство, и людей? Вѣдь я теперича спервоначалу-то, какъ только заключилъ контрахтъ, сейчасъ же намѣревался лошадей купить по конплекту, они же, аспиды этакіе, въ ногахъ у меня ползали, величали и отцомъ, и кормильцемъ, умаливали, чтобы я не покупалъ коней, а далъ бы имъ хлѣбъ, значитъ, возить за прогонъ и почту, и проѣзжающихъ... Клялись они теперича и въ ночь, и въ полночь служить мнѣ, и единственно по малоопытности я внялъ ихъ просьбѣ... Вѣдь кабы не я имъ хлѣбъ давалъ, такъ вѣдь они бы съ голоду дохли!..

— Ходили бы по грошевымъ заработкамъ, — вмѣшался и писарь.—Чѣмъ до открытія-то станціи у нихъ перебивались они? Всегда больше половины ихъ отработывали недоимки на Оби.

— Это такъ точно-съ!—подтвердилъ Силуянъ Петровичъ.—Теперича возьмите то въ разсудокъ,—продолжалъ онъ, обратившись къ Абраму Николаевичу.—Моей работой люди живутъ, прогонъ имъ весь въ карманъ идетъ; теперича лошадь у кого падетъ или другая бѣда

стрясется, сейчасъ ко мнѣ бѣгутъ: давай, Силуянъ, денегъ. Теперича лошади-то, если и есть у кого изъ нихъ, Абрамъ Николаевичъ, такъ вѣдь всѣ на мои деньги куплены, мой обзаводъ у всякаго. Вѣдь въ долгу-то они у меня сидятъ по маковку. Обсудите, чѣмъ они гоньбу-то отбывать будутъ.

— Видишь, сватъ, смута-то какая?—спросилъ Зубовъ.

— Нѣтъ, это ты, Абрамъ Николаичъ, не путную кашу заварилъ!—вступился писарь, шагая по комнатѣ и ероша свои длинные, падавшіе на плечи волосы.—Какъ можно допускать всякую голытьбу до казеннаго подряда?

— Нѣшто я допустилъ уже?

— Ты имъ обѣщалъ свое содѣйствіе, а это все равно, что допустилъ; вѣдь положась на твое слово они поѣхали теперь къ окружному начальнику съ просьбой объ отдачѣ имъ подряда.

— Неужъ поѣхали?—испуганно спросилъ Абрамъ Николаевичъ.

— Спроси!—отвѣтилъ писарь, указавъ на Силуяна Петровича.

— А-ахъ, ты напасть какая выгорѣла!—произнесъ Абрамъ Николаевичъ, всплеснувъ руками:—вотъ оно... слово-то... нѣ-ѣтъ... допрежъ, чѣмъ вымолвишь, жуй его да жуй... а-а...

— Сколько разъ я просилъ тебя, Абрамъ Николаевичъ,—съ укоризной обратился къ нему писарь, остановившись противъ него,—будь осмотрительнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ, не дѣлай ничего, не посовѣтовавшись со мной. Знаешь-ли, что теперь можетъ выйти изъ этого, а?

— Не губи, дай опомниться!—отвѣтилъ голова, отирая платкомъ потъ, крупными каплями выступившій на лбу.

— Не я тебя гублю, а ты самъ себя когда-нибудь загубишь,—помни это. Они теперь распишутъ въ просьбѣ для большей убѣдительности, что у Силуяна Петровича нѣтъ лошадей, что подрядъ исполняютъ они, а не онъ, это значитъ, что онъ неблагонадежный подрядчикъ, потому что не соблюдаетъ тѣхъ условій, какими обязанъ по контракту, и сошлются во всемъ этомъ на тебя въ подтвержденіе своихъ словъ, а окружной и спроситъ, почему же ты, волостной голова, обязанный по закону наблюдать за всѣмъ, что дѣлается въ волости, все это видѣлъ, зналъ и не довелъ до свѣдѣнія начальства, а? Ну, что ты отвѣтишь?

— Ну, какой же ты на это, сватъ, отвѣтъ дашь?—спросилъ его, въ свою очередь, и Зубовъ.

— А-ахъ, други, далъ маху, ннy!.. — произнесъ оробѣвшій Абрамъ Николаевичъ, конфузливо посмотрѣвъ на свата и писаря и почесавъ въ затылкѣ,—а можетъ и не спроситъ, можетъ и обойдется дѣло-то, а?—робко отвѣтилъ онъ.

— Хорошо, если не спроситъ, а если спроситъ, тогда что, а?

— Тогда ты какъ увернешься, сватъ, а?—спросилъ и Зубовъ.

— Ну... ну... по неразумію, скажу: что-жъ, я неграмотный, я...

— А-а, по неразумію, — насмѣшливо повторилъ писарь.—А на это что ты скажешь: ну, вдругъ окружной отдастъ имъ подрядъ, полагаясь на то, что ты одобрилъ ихъ намѣреніе, выдадутъ имъ изъ казны треть уплаты впередъ на обзаведеніе, а они и окажутся несостоятельными, а ты, волостной голова, одобрялъ ихъ, ходатайствовалъ за нихъ, полагаясь на твои слова, имъ и вѣру дали,—тогда что, а?

— Когда я одобрялъ-то ихъ, скажи ты мнѣ, кто слышалъ это?

— Ты обѣщалъ имъ содѣйствовать; полагаясь на твое обѣщаніе, они поѣхали къ окружному съ просьбой.

— Я имъ посодѣйствую ужо, постой... я теперь прозрѣлъ, какую они мнѣ западню-то рыли.

— А-а! Прозрѣлъ-таки?

— Во-очію, братъ. А ты не шпыняй меня, слышь, а научи-ко лучше, какъ оправиться, а? Штобъ оглядки-то не было.

— То-то, тутъ такъ и учи!—взъерошивъ волосы, хвастливо произнесъ писарь.—Хорошо, что время-то не ушло, теперь-то можно еще поправить дѣло, не утверждать имъ до пріѣзда окружного ручательнаго одобренія, какое они представятъ вмѣсто залога въ обезпеченіе подряда, а когда окружной пріѣдетъ, тогда и объяснить ему, что это смута одна.

— Смута, смута, самъ вижу, такъ и скажу,—подхватилъ Абрамъ Николаевичъ;—а если, молъ, што и говорилъ имъ, такъ единственно по недоглядкѣ.

— Ну, ужъ этого-то ты не говори.

— О-о, не сказывать?—Ну, что-жъ, и смолчимъ, коль не слѣдуетъ такого слова ронять,—согласился онъ.—Вотъ, говорю, служба-то, сватъ,—обратился Абрамъ Николаевичъ къ Зубову, замѣтно повеселѣвъ и ободрившись:—завсегда ходи да оглядывайся, каждое слово, прежъ чѣмъ вымолвить, ощупай, а тутъ еще экія похвальбы отъ людей слышишь за то, что по простотѣ-то своей радѣешь объ нихъ, а? Денно и нощно молюсь, сватъ, пособи Богъ только отслужить поскорѣй, да и на покой; будетъ, помыкался!

— Службу служить—на вершокъ отъ бѣды ходить, старики-то говаривали, Абрамъ Николаичъ; грамотному эта служба безъ горя, а неграмотному одно горе; слѣпой на все чужимъ глазомъ глядитъ.

— Слѣпо-о-ой, одно только горе... вѣрно, сватъ!—глубоко вздохнувъ, произнесъ Абрамъ Николаевичъ.

До первыхъ пѣтуховъ виднѣлся свѣтъ въ окнахъ дома, занимаемаго писаремъ. До-сыта угощенный, Абрамъ Николаевичъ былъ бережно сведенъ съ лѣстницы услужливымъ Силуяномъ Петровичемъ, который, усадивъ его въ свои пошевни, лихо прокатилъ по селу и доставилъ его домой въ деревню Воробьеву, лежавшую въ шести верстахъ отъ Аталыка, и сдалъ, уже соннаго, на руки сына и жены. Съ этого дня на душѣ Силуяна Петровича снова стало легко и ясно попрежнему. Онъ такъ же бойко и неутомимо бѣгалъ съ утра и до ночи по деревнѣ, хлопоча, повидимому, о своихъ только дѣлахъ, но въ сущности зорко присматриваясь и прислушиваясь къ каждому слову и намеку. „Вейте, вейте веревочку, только посмотримъ, кого она захлестнетъ“, думалъ онъ, примѣчая лошадей, прикупаемыхъ крестьянами, сбрую и т. п. предметы. Но однажды онъ не вытерпѣлъ и, встрѣтившись подъ вечеръ съ Аверьяномъ Мокѣичемъ, гнавшимъ лошадей на водопой, остановилъ его.

— Въ правду аль нѣтъ, Аверьянъ Мокѣичъ, болтаютъ по околицѣ, что вы нонѣ хотите на торги идти, брать почтовую гоньбу за себя?—спросилъ онъ, приподнимая шапку и привѣтливо здороваясь съ нимъ.

— О-о, да кто-жъ такія рѣчи-то, что скисшія дрожжи, взбалтываетъ?—шутливо спросилъ тотъ, нѣсколько смутясь.

— Нонѣ мазуровскіе мужики говорили мнѣ, да и въ Аталыкѣ тотъ же слухъ идетъ,—улыбаясь, отвѣтилъ Силуянъ Петровичъ.—Я-то было и порадовался сначала, да опосля ужъ одумался, потому если бы въ правду это было, такъ чего-жъ бы меня-то таиться? Я бы даже съ полнымъ удовольствіемъ и повозки и телѣги бы форменныя отдалъ вамъ, чѣмъ новыя-то строить, тратиться, и домъ бы подъ станокъ уступилъ за дешево, ей-богу, потому что мнѣ, признаться, это дѣло давно ужъ прискучило, пособилъ бы Богъ только развязаться,—тоскливо заключилъ онъ.

— Ну-у, да съ чего-жъ такъ вдругъ прискучило-то тебѣ? Столько лѣтъ хозяйствовалъ—не скучалъ, а теперя затосковалъ?—съ ироніей спросилъ его Аверьянъ Мокѣичъ.

— Э-хъ, Аверьянъ Мокѣичъ,—съ тою же грустью въ голосѣ продолжалъ Силуянъ Петровичъ,—не тебѣ бы это говорить. Неужъ ты, милый, полагаешь, что легко оно вѣкъ-то экими изворотами жить, какими я пробавляюсь, а? Развѣ не на твоихъ глазахъ, какъ день-то настанетъ, такъ у меня только и дѣла, и заботы, что къ одному бѣги съ поклономъ—свези, да къ другому, да къ третьему, а? Ты подивись, какъ исшо хватало меня, не измыкался.

— Ну, лошадокъ прикупишь, исправишься!

— Вымолвилъ—прикупишь! А деньги-то гдѣ, развѣ ихъ мало на энто потребуется?

— Неужъ оскудѣлъ?

— Не въ большихъ же прибыткахъ то, не полагай. Расходу то, сердешный, болѣ, чѣмъ приходу. Вѣдь это только кажется, что богатъ человѣкъ, а пощупай-ко карманъ-то, такъ и очень въ пустѣ. Нѣ-ѣтъ, сердѣшный, за четыре-то годочка я немало намоталъ слезъ на кулакъ, помыкался, будетъ. Я какъ услыхалъ, что вы берете гоньбу-то за себя, такъ и въ умѣ положилъ нейдти на торги, а коли вы мнѣ дадите полторы сотни рублевъ, такъ я вамъ и обзаводъ весь отдамъ, берите.

— Ну-у?

— И коли въ деньгахъ нуждаетесь — обожду, сочтемся, Богъ дастъ.

— Ты смѣхомъ это, Силуянъ Петровичъ, говоришь, аль нѣтъ?— дрогнувшимъ голосомъ спросилъ его Аверьянъ Мокѣичъ.

— Я тебѣ вотъ чего скажу на твое слово, сердешный человѣкъ: кабы ты пожилъ за энти четыре года въ моей шкурѣ да повертѣлся бы такъ же, какъ я изворачивался, такъ ты бы не спросилъ меня—смѣхомъ я говорю или въ правду. У меня, другъ, нутро-то все изныло, ты не гляди, што я кой-часъ труню да хихикаю. Я, можетъ, веселю-то себя, штобъ слезу только развѣять. Если хошь на правду дѣло вести, такъ вотъ тебѣ мое слово: я за сто рублевъ весь обзаводъ отдаю, только возьмите Христа-ради гоньбу за себя, освободите меня отъ энтого ига!

Въ словахъ и голосѣ Силуяна Петровича звучало при этомъ что-то такое усталое, надломленное, они дышали такой неподдѣльной искренностью, что озадаченный и въ первое время недовѣрявшій ему Аверьянъ Мокѣичъ растрогался.

— А-ахъ, какъ ты удружилъ намъ, Силуянъ Петровичъ,—произнесъ онъ, не выдержавъ;—а вѣдь мы, сердешный, таились-то тебя, полагая, что ты супротивъ насъ пойдешь.

— Я? Да избави Господи! Это чтобъ супротивъ обчества идти за то, што вы помогали мнѣ, добро мнѣ дѣлали?

— Остерегались, милый, не потаю...

— Ну, такъ вотъ знайте же Силуяна!—съ гордостью произнесъ онъ.—Можетъ, я въ иномъ дѣлѣ и неправедно поступалъ съ кѣмъ-нибудь, въ жизни чего не случается—всѣ грѣшны, а штобы вредить кому за его добро... да разрази меня...

— А-ахъ ты, сердешный, весь обзаводъ за сто рублевъ!?

— Весь, и деньгами не торопитесь, обожду,—прервалъ его Силуянъ Петровичъ.—По себѣ вѣрю: по первоначалу вамъ денегъ занадобится мно-о-го...

— О-охъ, много... вѣрно, другъ: одну прорѣху зашьемъ, другая ужъ порется.

— Знаю, знаю, кому говоришь?.. Коли въ случаѣ чего, такъ и деньгами по-малости помогу, обстраивайтесь съ легкой руки да не поминайте лихомъ. Зайди ужо, чайкомъ пополощемся, потолкуемъ, можетъ и еще чего надумаемъ, а только обо мнѣ вы не имѣйте сумнительства, штобы я супротивъ васъ.

Аверьянъ Мокѣичъ разстался съ Силуяномъ Петровичемъ чуть не со слезами на глазахъ. Вѣсть о предложеніи его быстро облетѣла всѣ избы и сдѣлала немало переполоху въ общественномъ мнѣніи. „Вотъ оно, поди-ко, раскуси человѣка-то! говорили крестьяне.—Ты его сторонился, какъ недруга, а онъ тебѣ первый доброжелатель. Нѣтъ, други, допрежъ, чѣмъ пуда соли не съѣшь съ человѣкомъ, такъ не узнашь его, каковъ онъ нутромъ-то!“ заключали добродушные люди.

До торговъ оставалось не болѣе двухъ недѣль. Аверьянъ Мокѣичъ, его сотоварищи и сельскій староста съѣздили въ волость и подали общественный приговоръ и вмѣстѣ взаимное другъ о другѣ ручательное одобреніе, по которому каждый полноправный членъ общины ручался на установленную закономъ сумму 40 рублей, въ случаѣ неустойки принимаемаго ихнимъ обществомъ подряда. Писарь принялъ ихъ холодно и, къ крайнему удивленію всѣхъ, не взялъ даже предложенныхъ ему въ благодарность за трудъ десяти рублей.

— Ручательное одобреніе общества, представляемое въ обезпеченіе исправнаго исполненія казеннаго подряда, только тогда имѣетъ законную силу, когда оно утверждено подлежащею земскою властью,— сухо отвѣтилъ онъ, — а потому до разрѣшенія окружного начальника волость не можетъ засвидѣтельствовать его вамъ!

Но одобреніе и приговоръ онъ принялъ и при нихъ же записалъ въ настольный реестръ. Нѣсколько озадаченные суровымъ пріемомъ писаря, ходатаи поѣхали изъ волости въ деревню Воробьеву къ Абраму Николаевичу, чтобы напомнить ему объ его обѣщаніи поддержать ихъ ходатайство своимъ отзывомъ, и застали его на порогѣ. Абрамъ Николаевичъ ѣхалъ въ волость и, молча выслушавъ ихъ просьбу, почесалъ въ затылкѣ и лукаво улыбнулся.

— А я нонѣ, признаться, въ гости къ вамъ собирался, — отвѣчалъ онъ.

— Милости просимъ, завсегда тебѣ рады, отъ сердца рады,— отвѣчали они, кланяясь ему и стоя передъ нимъ съ непокрытыми головами.

— Вина-то много припасено про меня?—спросилъ онъ.

— Обрадуй, пріѣзжай... будешь доволенъ, чего только душенька твоя пожелаетъ, не посгонимъ!..

— То-то! Меня вѣдь по шерсточкѣ-то мало погладить. Куделюто вѣдь прежде, чѣмъ веревку изъ нея вить, подмачиваютъ, такъ и вы ужъ не скупитесь на угощенье-то, я вѣдь вишь, братцы, какой корпусной, смочить-то меня надоть въ бо-о-льшой посудинѣ, хе-хе!—язвительно отвѣтилъ онъ, садясь въ пошевни.—На дняхъ ужо забѣгу къ вамъ, а теперича до повиданья.

Проводивъ его съ поклонами, ходатаи хотя и призадумались надъ его словами, но все-таки не придали имъ никакого значенія. „Съ дуру, поди, сболтнулъ!“ разсуждали они, возвращаясь домой. Абрамъ Николаевичъ, однакожъ, не заѣхалъ въ Сорокино, хотя крестьяне поджидали его каждый день и готовили ему самый радушный пріемъ и угощеніе. Силуянъ Петровичъ попрежнему хозяйничалъ, поминутно бѣгая по деревнѣ, снаряжая тройки и пары. „Нуте-ко, други, услужите на послѣдяхъ-то!“ каждый разъ приговаривалъ онъ, обращаясь съ просьбой, и добродушные, довѣрчивые люди лѣзли, какъ говорится, изъ кожи, услуживая доброжелательному Силуяну Петровичу, который всегда при этомъ, кстати или не кстати, давалъ имъ-всевозможные совѣты, какъ вести дѣло, какъ обращаться съ разными проѣзжающими, начальствомъ и станціонными смотрителями.

— Не легкое тоже дѣло, други, вы взваливаете на горбы свои,— говорилъ онъ своимъ пѣвуче-меланхолическимъ голосомъ;—ко всякому дѣлу надоть особливую сноровку пригнать, тутъ надоть, братцы, такъ наточить глазъ, чтобы онъ и впотьмахъ каждому по его мѣркѣ откравалъ, да-а-а!—тряся головой, заключалъ онъ; но что требовалось для подобной отточки глаза, Силуянъ Петровичъ объ этомъ умалчивалъ.

Сорокинцы съ благодарностью выслушивали наставленія, какія должны были пригодиться имъ въ будущемъ, и, сознавая, что бремя, какое они принимаютъ на себя, не легкое, все-таки изъ совѣтовъ Силуяна Петровича не выносили ничего существеннаго для облегченія его.

По мѣрѣ приближенія дня торговъ, росло и тревожное состояніе сорокинцевъ. Дѣло ихъ, повидимому, было хорошо обставлено. Голова обѣщалъ имъ свое содѣйствіе, и они не сомнѣвались въ немъ, хотя ихъ

и тревожило то, что онъ не пріѣхалъ къ нимъ, и тревожило потому, что, желая угостить его и тѣмъ выразить ему свою благодарность, они въ то же время желали показать ему лошадей, какія уже были прикуплены многими изъ нихъ, и сторгованныя у Силуяна Петровича форменныя повозки и телѣги, и тѣмъ разсѣять въ немъ всякую тѣнь какого-либо сомнѣнія въ нихъ. Въ желаніи окружного начальства помочь имъ, благодаря увѣреніямъ Нефедова, какъ письмоводителя его, они также не сомнѣвались. Въ Силуянѣ Петровичѣ, противодѣйствія котораго они опасались сначала, теперь они встрѣтили самаго доброжелательнаго къ нимъ человѣка и помощника.

— Ну, а что, какъ чего-нибудь стрясется, а ужъ мы израсходовались, въ долги позалѣзали, а-а?—невольно рождалось у каждаго изъ нихъ, и подъ вліяніемъ этой думы и мучительныхъ ожиданій они каждый день посылали кого-нибудь изъ среды своей въ село Аталыкъ справиться: не слышно-ли чего о пріѣздѣ окружного?

Однажды ночью посланный ими гонецъ привезъ имъ вѣсть, что завтра долженъ пріѣхать окружной, который прислалъ нарочнаго предупредить волостныхъ чиновъ о своемъ пріѣздѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ приказалъ, чтобы все общество крестьянъ деревни Сорокиной, изъявившее желаніе принять на себя подрядъ почтовой гоньбы, собралось ко дню его пріѣзда въ Аталыкъ. Сильно обрадовались сорокинцы извѣстію, что окружной чрезъ нарочнаго приказалъ имъ собраться въ волость.

— Стало быть, помнитъ объ насъ; теперь ужъ дѣло наше рѣшеное, клади его за пазуху да блюди по чести! Слава тебѣ Господи, и намъ вздохнуть приведется!—говорили они, собравшись въ просторной избѣ сельскаго старосты и кладя широкіе кресты на свои груди.

Была еще глубокая ночь, а ужъ въ каждой избѣ виднѣлся яркій свѣтъ отъ топившейся печи для наскоро приготовляемаго обѣда. Крестьяне, забывъ о снѣ, ходили изъ избы въ избу, дѣлясь различными предположеніями, рождавшимися почти у каждаго изъ нихъ; иные ходили просто потому, что имъ не сидѣлось на радости дома. Одни изъ нихъ предлагали забрать съ собою на-показъ окружному всѣхъ лошадей и сбрую; другіе совѣтовали заѣхать прежде къ батюшкѣ и попросить отслужить молебенъ, а лошадей и сбруи не брать, чтобъ не родилось сомнѣнія, что они показываютъ чужихъ, какъ дѣлалъ Силуянъ Петровичъ. Были и такіе, пылкая фантазія которыхъ подъ вліяніемъ удачи увлекала ихъ далеко за предѣлы дѣйствительности, и только-что избавившись отъ сѣтей подрядчика, они мечтали уже сами откупить со-временемъ почтовую и земскую гоньбу на всѣхъ смежныхъ станціяхъ. Пріѣхавъ въ волость, гдѣ собрались уже всѣ волостные начальники,

сорокинцы снова заявились къ Абраму Николаевичу съ поклономъ и легкой пеней, что онъ не заглянулъ къ нимъ. Но Абрамъ Николаевичъ не сталъ съ ними разговаривать, отозвавшись недосугомъ. Часу въ первомъ дня поставленный на околицѣ верховой крестьянинъ, обязанный дать знать тотчасъ, какъ завидитъ повозку окружного, прискакалъ въ волость и сообщилъ: „ѣдетъ!“ Повозки еще не было видно, а ужъ сорокинцы высыпали изъ волости на улицу и, несмотря на довольно сильный морозъ, съ непокрытыми головами столпились у крыльца. Безмолвно смотрѣли они, какъ юркій писарь и степенный Абрамъ Николаевичъ почти вынули изъ повозки окружного, закутаннаго въ двѣ шубы, какъ поддерживали его подъ руки при подъемѣ на лѣстницу. „Господи, помоги ты намъ!“ говорили они, вздыхая и крестясь.

Наконецъ, черезъ часъ ихъ потребовали въ волость; робко вошли они одинъ за другимъ, запрятавъ рукавицы и шапки за пазухи, и, переминаясь съ ноги на ногу, остановились у двери.

Окружной начальникъ, пожилой человѣкъ съ легкой просѣдью въ коротко-остриженныхъ волосахъ на головѣ, одѣтый въ теплый сюртукъ на мѣху, сидѣлъ въ креслѣ у стола, покрытаго, по случаю пріѣзда его, толстымъ краснымъ сукномъ. Поодаль отъ него стояли въ почтительной позѣ волостные начальники, щеголевато одѣтые въ тонкіе суконные халаты. Въ волости на этотъ разъ было накурено можжевельникомъ и сильно пахло сосной, отъ тонкихъ вѣтокъ ея, какими усыпанъ былъ полъ.

— Вы подавали мнѣ просьбу о дозволеніи вамъ взять за себя подрядъ почтовой гоньбы на сорокинской станціи? — спросилъ окружной начальникъ, обведя ихъ какимъ-то усталымъ взглядомъ.

— Мы, батюшка, — отвѣтили, выдвигаясь впередъ, Аверьянъ Мокѣичъ и старики Исаевъ и Сорокинъ, — мы и были у тебя.

— Вы всѣмъ обществомъ хотите взять подрядъ?

— Купно, обществомъ!..—отвѣтилъ, кланяясь, Исаевъ.

— А много васъ, домохозяевъ-то?

— Что-жъ, человѣка двадцать три будетъ полномочныхъ-то, дому-то хозяевъ!.. — отвѣтилъ Аверьянъ Мокѣичъ, обведя своихъ однообщественниковъ взглядомъ.

— Вы объяснили мнѣ въ прошеніи, что настоящій подрядчикъ не имѣетъ у себя того количества лошадей, какое обязанъ имѣть по контракту, и что вы и въ настоящее время отбываете почтовую гоньбу за него, правда это?

— Сущая правда, батюшка... мы... мы... обществомъ отбываемъ!..—отвѣтили всѣ они почти въ голосъ.

— Смута это одна, ваше высокородіе, Александра Викентьичъ,— неожиданно произнесъ Абрамъ Николаевичъ,—о облыжность.

— Смута?.. Какая смута, въ чемъ?..—спросилъ окружной.

— Што у подрядчика-то лошадей нѣтъ!—отвѣтилъ Абрамъ Николаевичъ. — Оно точно, лошадей у него неизбытошно, да коли доложить по сущей совѣсти, такъ онъ потому и не заводитъ лошадей-то, чтобъ не отнять у нихъ заработка. Неосновательность это одна. Затѣяли они взять подрядъ на себя, шутка ли сказать—многотысячный, вашу милость угруждаютъ облыжными извѣтами на подрядчика, а спроси: у кого изъ нихъ чего есть? Способны ли взнять экое бремя? Первое дѣло—и коней-то нѣтъ, а кои есть, то и тѣ чужіе.

— Абрамъ Николаичъ, побойся ты Бога-то! — произнесъ старикъ Исаевъ, укоризненно качая головой.—Не ты ли намъ сулилъ?

— Какъ чужіе кони, чьи?.. — спросилъ окружной, не обративъ вниманія на слова старика Исаева.

— Подрядчиковы... Силуяна Стрехова!..—отвѣтилъ Абрамъ Николаевичъ.

— Го-о-осподи!.. Что-жъ это, братцы?—вскрикнулъ старикъ Сорокинъ, всплеснувъ руками и обратившись къ остальнымъ своимъ однообщественникамъ, которые стояли растерянные и униженные взведенною на нихъ несправедливостью отъ человѣка, обѣщавшаго имъ свое заступничество. Лицо Аверьяна Мокѣича вытянулось, губы его судорожно подергивались и только глаза его сверкали, какъ угли, изъ-подъ насупленныхъ бровей, но онъ молчалъ.

— Ты пошто же это, ваше почтеніе, Абрамъ Николаичъ, душой-то кривишь?—спросилъ Аверьянъ Мокѣичъ, выдвигаясь еще на шагъ впередъ. — Взгляни-ко въ передній-то уголъ, на Владычицу-то небесную, и скажи, у кого коней-то болѣ, у насъ аль у Стрехова, и на чьей спинѣ онъ подрядъ-то выноситъ, а-а? Не ты ли намъ сулилъ ходатайствовать за насъ предъ его высокородьемъ? Развѣ не съ твоихъ словъ мы съ челобитной-то поѣхали къ нему?

— Съ моихъ, съ моихъ, это точно, Александръ Викентьичъ,— не глядя на Аверьяна Мокѣича, отвѣчалъ Абрамъ Николаевичъ, обратившись къ окружному начальнику, молча наблюдавшему за ними; — но опосля того, какъ, впавъ въ сумнительство, я обслѣдовалъ энто дѣло, то увидалъ, что тутъ единственно смута одна, и народъ-то они необстоятельный, при нихъ скажу... вотъ...

— Пьющіе?..

— Есть грѣшокъ-то, а паче того—въ долгахъ по макушку.

— У кого?

— У Стрехова все, у того же подрядчика. Онъ изъ милости только ждетъ за ними долги-то ихніе, и кони, какими хвалятся они, все это у нихъ стреховскій обзаводъ, на его деньги, вашескородье. Я вѣдь правду говорю, обчественники, не судачьте,—обратившись вполъоборота къ сорокинцамъ, произнесъ Абрамъ Николаевичъ. — Мое дѣло такое, что я по присягѣ долженъ блюсти правду, остерегать начальство. Жили бы вы тихо, благо не голодаете, заработокъ есть, на подушную хватаетъ, а то утруждаете занапрасно начальство, не разбираючи силъ, взнимете-ли экой подрядъ, только заводите смуту.

— Что-жъ вы это, молодцы? Всѣмъ одолжены человѣку, отъ него имѣете заработокъ, на его же деньги оперились, а теперь стараетесь ложными извѣтами подорвать его репутацію, а-а?—строго нахмуривъ брови, спросилъ окружной начальникъ.

— Обмой же, Абрамъ Николаичъ, пашими слезами свою душу, авось чище будетъ!—произнесъ съ горечью въ голосѣ Аверьянъ Мокѣичъ.—Неправда все это, ваше-скородіе, чего онъ говорилъ, не вѣрь ему: на днѣ стреховскаго штофа онъ оставилъ свою совѣсть; съ пьяныхъ-то глазъ у него и мелькаютъ все пьяные да неосновательные люди! Не обезсудь на этомъ словѣ,—съ желчью закончилъ онъ, поклонившись.

— Продерзость то... даже при вашей милости! — обидчиво произнесъ Абрамъ Николаевичъ.

Аверьяна Мокѣича вывели изъ волости и посадили на недѣлю подъ арестъ при волости на хлѣбъ и воду.

— При пріемѣ на себя казеннаго подряда требуется представить въ обезпеченіе его залогъ, равный всей суммѣ стоимости подряда. Что-жъ, есть у васъ деньги, а?..—спросилъ ихъ окружной начальникъ по уводѣ Долгополова.—Вѣдь тутъ не малая сумма потребуется.

— Нѣтъ, батюшка, какія у насъ деньги, откуда имъ быть, — робко отвѣтилъ старикъ Исаевъ; — мы ручательное одобреніе предоставимъ за себя, милостивецъ. Вѣдь и у Стрехова-то тоже не было денегъ-то, когда онъ подрядъ-то бралъ, по ручательному же одобренію допустили его.

— Кто же ручается за васъ?

— А мы, значитъ, по круговой всѣ другъ за друга въ поруку идемъ. Блюсти ужъ будемъ, ваша милость, все по чести, не сумнѣвайся,—поклонившись, отвѣтилъ Сорокинъ.—Потому въ энтомъ дѣлѣ ужъ всякій другъ за другомъ доглядывать будетъ и не допущать непорядковъ.

— Сами за себя вы не можете ручаться. Васъ двадцать три че-

ловѣка, каждый изъ васъ можетъ поручиться за другого только на сорокъ рублей. Это, значитъ, сколько же составитъ всего?—обратился онъ къ писарю.

— Девятьсотъ двадцать рублей, ваше высокородіе! — отвѣтилъ тотъ, подавшись при этомъ впередъ головой и грудію.

— О-о, видите, а подрядъ берете болѣе, чѣмъ на десять тысячъ!—произнесъ окружной начальникъ, поднимаясь съ кресла и подходя къ нимъ.—Нельзя, я не могу допустить васъ къ торгамъ; если вы представите мнѣ отъ сельскихъ, постороннихъ вамъ, обществъ ручательное одобреніе на всю сумму подряда и земская полиція удостовѣритъ, что ручающіяся за васъ общества, дѣйствительно, имѣютъ домообзаводство и скотоводство въ такомъ исправномъ состояніи, что, въ случаѣ вашей неустойки, они каждое могутъ отвѣчать своимъ имуществомъ на такую сумму, на какую ручались, тогда я найду возможнымъ допустить васъ на торги и сдать вамъ подрядъ, а теперь не хлопочите, нельзя, по закону не имѣю права!—рѣшительно отвѣтилъ онъ.

Выѣхавшіе съ теплой вѣрой въ свое будущее, сорокинцы возвратились вечеромъ домой съ понуренными головами и разбитыми надеждами.

— Нѣтъ, братцы, ужъ коли мужикъ разъ попалъ въ сѣти, такъ ужъ, какъ рыба, сколь ни бейся, не прорвешь ихъ! — вздыхая, говорили они.

Подрядъ остался за Силуяномъ Петровичемъ, такъ какъ кромѣ его никого желающихъ на торги не явилось, и снова сорокинцы, непотерявшіе вѣры въ доброжелательство его къ нимъ, возятъ на своихъ лошадяхъ и почту, и проѣзжающихъ, радуясь и тому заработку, какой имѣютъ отъ прогоновъ. Силуянъ Петровичъ попрежнему хлопочетъ и суетится цѣлые дни, попрежнему слываетъ исправнымъ подрядчикомъ и замышляетъ расширить свои операціи, подкапываясь подъ сосѣднихъ почто-содержателей, и, вѣроятно, расширитъ. Спустя недѣли двѣ послѣ ареста, Аверьянъ Мокѣичъ, вмѣстѣ съ старикомъ Исаевымъ, съѣздилъ къ Нефедову, чтобы попенять ему за неудачный исходъ дѣла и за то. что, какъ письменный человѣкъ, онъ во-время не предупредилъ ихъ о шаткости ихъ предпріятія и ввелъ въ издержки; но Нефедовъ объяснилъ неудачу тѣмъ, что по старымъ законамъ можно-де было все это дѣло обдѣлать, а нонѣ-де новые вышли, по коимъ строго наказано стеречь мужиковъ и не допущать ихъ совокупляться въ общества.

ЗАЖОРА *).

(РАЗСКАЗЪ).

Живя въ деревнѣ во время службы моей въ Сибири, я обыкновенно разъ въ недѣлю получалъ съ почты иногда болѣе сотни пакетовъ: съ донесеніями волостныхъ правленій и предписаніями и подтвержденіями различныхъ начальствъ и вѣдомствъ о скорѣйшемъ окончаніи находившихся въ производствѣ у меня слѣдственныхъ дѣлъ. Въ числѣ этихъ пакетовъ каждый разъ находилось два-три съ надписью: „о происшествіи“, и эти пакеты, конечно, прежде всѣхъ распечатывались и прочитывались мною. Не веселыя думы навѣвало на меня чтеніе донесеній о найденныхъ мертвыхъ тѣлахъ, о повѣсившихся, объ убійствахъ, совершенныхъ въ моемъ участкѣ. Я смотрѣлъ на эти донесенія какъ на скорбные листы, вырванные изъ обширной книги народной жизни; и это дѣйствительно были скорбные листы, которые, помимо желанія, у самыхъ черствыхъ людей будили что-то въ родѣ состраданія и раздумья. Нашли, напримѣръ, мертвое тѣло, повидимому, бѣжавшаго арестанта, такъ какъ на спинѣ смураго зипуна казеннаго образца вшитъ былъ черный четырехугольникъ; нашлось оно въ погребу, за кадками съ солеными огурцами и капустой, куда забился несчастный бѣглецъ, гонимый морозомъ, голодомъ и страхомъ. „Уши, носъ, губы повреждены, повидимому крысами; въ кулакѣ сжатъ огурецъ, часть котораго откушена“, гласитъ полицейскій осмотръ, замѣняющій некрологъ для этихъ людей, безслѣдно гибнущихъ иногда въ самомъ расцвѣтѣ силъ и жизни. Навѣрно каждый прочелъ бы между строкъ сухого формальнаго донесенія тяжелую повѣсть пережитыхъ страданій во время жизни этого человѣка на волѣ, въ бытность въ

*) Зажорой народъ называетъ глубокую рытвину, образующуюся по санной дорогѣ весной, во время таянія снѣга. Подобныя зажоры бываютъ крайне опасны на пути, пролегающемъ по льду, такъ какъ имѣютъ свойство, вслѣдствіе рыхлости льда или снѣга, засасывать въ себя и лошадей, и экипажъ. Нерѣдко бываютъ случаи, что засосанная зажорою лошадь гибнетъ.

острогѣ и во время безпріютнаго скитальчества. Въ другой деревнѣ повѣсился крестьянинъ изъ ссыльно-поселенцевъ, занимавшійся столярнымъ мастерствомъ. По показанію однодеревенцевъ: „въ послѣднее время онъ тосковалъ о женѣ, оставшейся на родинѣ и вышедшей замужъ“. Немного, кажется, сказано въ этихъ строкахъ донесенія волостного правленія, а вникните въ нихъ, и передъ вами развернется потрясающая драма, надломившая силы человѣка и сдѣлавшая жизнь для него невыносимымъ страданіемъ.

Послѣ полученія подобныхъ пакетовъ, мнѣ всякій разъ приводилось скакать въ ту или другую сторону моего обширнаго участка, скакать безостановочно, несмотря ни на какую погоду, чтобъ производить судебныя дознанія и осмотры. За то, во время скучнаго пути по узкимъ проселочнымъ дорогамъ, было много досуга раздумывать, подъ однообразный звонъ колокольчика и топотъ лошадей, объ участи всѣхъ этихъ Ивановъ, Трофимовъ, Агафоновъ, которыхъ печальная жизнь, начавшаяся, можетъ быть, съ пеленокъ, привела къ не менѣе печальному концу гдѣ-нибудь въ погребу или подъ навѣсомъ...

Часто среди пакетовъ встрѣчались пакеты съ надписью: „секретное“; въ нихъ обыкновенно доставлялись мнѣ фальшивые кредитные билеты съ подробною повѣстью о странствованіи ихъ изъ рукъ въ руки до минуты открытія незаконнаго происхожденія. Получивъ въ ноябрѣ 186... года подобный пакетъ, я былъ вполнѣ увѣренъ, что, распечатавъ его, найду какую-нибудь пятирублевую кредитку; но каково же было мое удивленіе, когда, вмѣсто кредитки, въ рукахъ моихъ оказалось предписаніе произвести строжайшее разслѣдованіе: „не заключается-ли въ пророчествахъ крестьянина деревни Клушиной, Анисима Матвѣева Королькова, чего-либо возмутительнаго противу властей и существующаго порядка“. Въ подробномъ донесеніи волостного правленія, приложенномъ къ этому предписанію, говорилось, что „Анисимъ Корольковъ, во время бывшей въ іюлѣ мѣсяцѣ сего года сильной грозы, слышалъ гласъ съ неба, обращенный къ нему, и гласъ сей былъ столь зыченъ, что Корольковъ оглохъ отъ онаго и до нынѣ чувствуетъ шумъ въ правомъ ухѣ, и при семъ онъ видѣлъ яко бы ангела, держащаго въ рукахъ огненную метлу, коею онъ мелъ по воздуху“. Подобный случай, въ то время еще первый въ моей практикѣ, сильно заинтересовалъ меня, и я въ тотъ же день отправился въ путь. Въ глухую полночь, прозябшій и усталый, въѣхалъ я въ деревню Клушино, заброшенную далеко въ глушь Т. округа. Ямщикъ мой, пожилой человѣкъ, одѣтый въ шубу мѣхомъ вверхъ, съ половины дороги началъ усердно похлопывать рукавицей о рукавицу и нѣсколько разъ, желая отогрѣть око-

ченѣвшіе члены, соскакивалъ съ облучка и бѣжалъ рысью, рядомъ съ лошадьми. „О-ой, мо-оро-озъ завернулъ!“—произносилъ онъ, вскакивая на облучекъ послѣ подобнаго моціона и, оборачивая ко мнѣ свое красное лицо съ густо-заиндевѣвшей бородой и усами, улыбался самой добродушной улыбкой, по всей вѣроятности вызываемой пріятнымъ ощущеніемъ теплоты, разливавшейся по тѣлу его.

— Завезъ бы тебя къ Максиму Арефьичу: изба-то у него большая, просторная, чистая изба,—произнесъ онъ, обратившись ко мнѣ, когда мы въѣхали въ околицу деревни;—да не знаю, покажется ли тебѣ: тараканъ одолѣлъ его, совсѣмъ, слышь, изъ избы выживаетъ; поѣдешь-ли?—спросилъ онъ.

— Вези; чего же таракана бояться?—отвѣтилъ я.

— И я-то говорю, что чего-бы таракана бояться, не съѣстъ; да вишь, нонѣ писарь у него останавливался, такъ тараканъ-то, слышь, въ ухо заползъ ему, слыхалъ?..

— Случается...

— Такъ писарь-то это, съ сердцовъ-то, слышь, оплеушинъ съ десятокъ никакъ Максиму то накидалъ. Вотъ оно!.. Суди, и не великъ бы гнусъ тараканъ, а сколь непріятностей за него стерпишь въ ино время...

— Да какое же право имѣлъ писарь бить его?

— Ужъ гдѣ тутъ право разбирать, когда бьютъ-то тебя, суди! Ты, говоритъ, долженъ по закону жить, въ избѣ-то блюсти чистоту, а не плодить гнуса; я, говоритъ, съ тебя еще за таракана-то убытки возьму!

— Убытки-то какіе же?—прервалъ я, заинтересованный разсказомъ его о похожденіяхъ писаря.

— По службѣ убытки-то! Я, говоритъ, на то, можетъ, и приставленъ теперича, штобы мнѣ все слышать, чего гдѣ говорятъ и дѣютъ, а ты меня тараканомъ отравилъ. Могу-ль я, говоритъ, опосля того быть вѣрнымъ слугой начальству, а-а? Вотъ и толкуй, какіе убытки-то! Пять рублевъ ему на мировую Максимъ-то пожертвовалъ, знаешь-ли вотъ это?

— Ну, и глупо сдѣлалъ, что пожертвовалъ.

— Глупо, извѣстно испужался! Съ испугу-то и десять отдашь, да не скоро образумишься. А можетъ, оно и въ заболь въ законѣ-то писано, штобъ таракана-то не плодить въ избахъ. почемъ знать!

— Законовъ про это не пишутъ.

— А-а... ну, вишь вотъ, темнота-то наша, хе!.. И за таракана бьютъ, да деньги берутъ!—произнесъ онъ, покачавъ головой. Такъ

Максимъ-то, слышь, только спровадилъ это писаря-то, такъ сейчасъ это, съ сердцовъ-то, распахнулъ окна и двери въ избѣ и ну ихъ морозить, таракановъ-то... Извелъ!.. Да не болѣ, слышь, мѣсяца по закону-то прожилъ. Сызнова, говоритъ, набилось ихъ, никакъ болѣ прежняго; вотъ и способись поди съ ними. Я на то и спрашиваю тебя: поѣдешь-ли?

— Вези!..

— Писаря-то я же, слышь, къ Максиму то привезъ, такъ Максимъ-то на меня никакъ съ мѣсяцъ серчалъ. Вотъ я и боюсь, милый, кабы сызнова не подвести его подъ грѣхъ, и спросилъ тебя, поѣдешь-ли?.. Ну, да никто какъ Богъ!—заключилъ онъ и, хлопнувъ рукавицами, крикнулъ: „Эй, вы, соколики“.

Соколики пустились крупною рысью, и не болѣе какъ черезъ четверть часа я сидѣлъ въ просторной и теплой избѣ Максима Арефьича, освѣщенной двумя сальными свѣчами, при тускломъ свѣтѣ которыхъ все-таки можно было разсмотрѣть полчища таракановъ, копошившихся въ пазахъ стѣнъ, въ углахъ и по потолку. На другой день утромъ, вслѣдъ за поданнымъ самоваромъ, ко мнѣ вошелъ и хозяинъ дома, Максимъ Арефьичъ. Войдя въ комнату, онъ, по обычаю, помолился въ передній уголъ и затѣмъ, пожелавъ мнѣ добраго здоровья, остановился у порога. Это былъ широкоплечій, низенькаго роста человѣкъ, съ легкою просѣдью, пробивавшеюся въ темно-русыхъ волосахъ на головѣ, подстриженныхъ въ скобку, и съ окладистой бородой, придававшей лицу его шарообразный видъ. Въ крупныхъ и даже грубыхъ чертахъ его лица было разлито наивное добродушіе. Глядя на него, такъ и казалось, что любой проходимецъ могъ обобрать его не только за таракана, но даже за блоху, и ни малѣйшаго протеста не оказалъ бы на требованія его этотъ приземистый человѣкъ, обладавшій мускульною силой и цвѣтущимъ здоровьемъ.

— Садись-ко, Максимъ Арефьичъ, гость будешь!—пригласилъ я.

— Постоимъ, ваша милость; благодаримъ покорно на словѣ; намъ што; мы и постоимъ!—отвѣтилъ онъ, кланяясь.

— Садись!—повторилъ я.

— Не привышны будто,—снова отвѣтилъ онъ; — ну, ужъ коли твоей милости угодно, такъ што же, пожалуй, и сядемъ, только оно... того,—говорилъ онъ, занося руку къ затылку,—зазорно, слышь, сидѣть-то...

— Отчего зазорно?

— Дѣло-то наше подначальное... Ну, да што-жъ, посидимъ, все будто компанія, — отвѣтилъ онъ, слегка присаживаясь на скамью и

точно опасаясь, что, при малѣйшемъ неосторожномъ движеніи его, она разсыплется.—Знать по дѣлу къ намъ заглянулъ, сударь?—спросилъ онъ.—Ужъ не Анисимъ ли Матвѣичъ мучитъ тебя, а?

— Какой Анисимъ Матвѣичъ?

— Корольковъ, што-ль, пишется-то онъ... мы-то его, признаться, Зажорой кличемъ болѣ... Зажорой все зовемъ.

— За что же вы его Зажорой прозвали?—полюбопытствовалъ я.

— А Богъ его знаетъ! Какъ тебѣ скажешь, за што какую кличку на мужика міръ повѣситъ? Теперя меня вотъ взять: сызмальства, почесть, стали Корчагой кликать... Корчага да Корчага, ну, и подь вотъ—доспрашивай, за што прошто въ Корчаги произвели!..—съ добродушной ироніей пояснилъ онъ.—Такъ ужъ съизстари повелось; вотъ и Анисима Матвѣича окрестили Зажорой и зовемъ теперь: Зажора да Зажора!.. Оно, коли въ правду-то сказать, такъ, пожалуй, што кличка-то эта и по шерсти ему: заѣдливый человѣкъ.

— Неуживчивый?—прервалъ я.

— Нѣ-ѣтъ!.. Пошто грѣхъ на душу брать, худое-то говорить про него: уживчивый, изъ міру его клиномъ не вышибешь; а такъ это, кормилецъ, обсказать бы тебѣ, не натуральной, ровно, человѣкъ-то онъ...

— Помѣшанный, што-ль, по-твоему?

— И этого не говори: въ умѣ мужикъ, какъ есть въ полномъ разумѣ.

— Такъ чѣмъ же онъ, по-твоему, не натураленъ?..

— А такъ бы тебѣ, батюшка, обсказать надо,—началъ онъ, заикаясь,—што не за свое, ровно, дѣло берется. Теперича возьми ты мужика, къ примѣру меня возьми,—ну, мало-ли что гдѣ дѣется, а? Ну, и видишь въ ино время, чего таить, што оно и не такъ бы слѣдовало, не по порядку будто клинъ въ ино мѣсто вбитъ, да вѣдь чего ты доспѣшь! Не съ тебя повелось, не тобой и кончится. Вѣдь и тесницу теперь возьми, къ слову скажу: гладкую-то въ рѣдкость ты найдешь, все нѣтъ нѣтъ да сучекъ и выглянетъ... Такъ и жизнь-то наша! Вѣрно-ль я говорю?.. А онъ, сказать тебѣ, Зажора-то, сейчасъ это въ думу вдарится: почему да отчего все это, да гдѣ законъ экой? Ну, мужичье ли это дѣло думать-то, суди!

— А развѣ мужику, по-твоему, не слѣдуетъ думать, а?

— Какъ ты, милый, безъ думы-то проживешь? И хотѣлъ бы, можетъ, въ ину пору жить безъ думы, да, вишь, дума то не спрашиваетъ, надоть ее или нѣтъ, а сама тебѣ безъ спросу въ голову лѣзетъ. Безъ думы жить тоже нельзя, да дума-то думѣ розная! По-моему, теперича,

разуму, одну ты думу свободно въ себѣ допущай, а другую, блажную-то, и придави. Теперича я такъ скажу тебѣ, возьми ты вино: чего говорить, вредительности отъ него много человѣку бываетъ и на міру идетъ, да слѣдъ ли мнѣ добираться, отколь оно повелось на свѣтѣ, по какому закону допущаютъ его потребленіе? А Анисимъ сейчасъ тебѣ въ думу вдастся. „Почему, говоритъ, коли отъ Бога закона нѣтъ вино пить, а ты пьешь, вредительность себѣ приносишь?“ Да рази оно такъ можно, а?..

— Отчего же не можно, объясни ты мнѣ?!

— Не стать, не мужичье дѣло въ экія думы входить, — горячо отвѣтилъ онъ. — Мужичье дѣло, батюшка, одно знать: паши, сѣй, блюди хозяйство, соблюдай—чего съ тебя начальство требуетъ, и не вникайся, ни Боже мой!..

— Ни во что не вникайся, чего бы ни дѣлалось кругомъ тебя, а?..

— Ни въ малую соринку!

— А Зажора вникалъ?

— Про то и говорю, что заѣдался! Дума то, батюшка, што калачъ на голодныя зубы, приманчива; вдайся только въ нее, и не услышишь какъ облопаешься.

— Думой-то?

— Ну, помысломъ-то про то да про се, чего тебѣ вовсе не слѣдъ знать и вѣдать. Вотъ ты посуди, скажу тебѣ, хоша бы про того-жъ Анисима Матвѣича: человѣкъ онъ—окромя хорошаго ничего не скажешь; бѣденъ—чего таить, не богато его дѣло, а все колотился, чего съ него слѣдъ отбывалъ, помочи ни у кого не просилъ; и жилъ бы да жилъ, тихо, смирно, въ степенномъ образѣ, а вотъ какъ вдарился въ думу—и пошло оно, круженіе то! Пошто, вишь, дѣвки да бабы ситцевыя платья носятъ, да платы шелковые на головѣ, а не самодѣльную пряжу?.. Надо, говоритъ, не тѣло рядить-то, а душу, а сталъ, говоритъ, ты о тѣлѣ радѣть—и будешь только думать о тѣлесномъ; отъ энтого, говоритъ, и дѣвки, и бабы въ блудъ идутъ.

— Эго онъ проповѣдывалъ, Зажора?

— Ну... ну... онъ! Вино, говоритъ, теперича тоже послѣднее дѣло, звѣрпная услада, потому, говоритъ, человѣку оно звѣриный обликъ даетъ... шатаніе... Отколь, говоритъ, весь грѣхъ по міру идетъ?.. Отъ вина! Вино-то, говоритъ, слюна дьявольская, а мы ее пье-е-емъ! Кабы не вино, говоритъ, такъ рази Иванъ Афанасьичъ оправдался бы, говоритъ, передъ міромъ? Развѣ мы бы, говоритъ, заплатили другія денежки, а?

— Какія это денежки?—прервалъ я.

— Мірскія, што Иванъ Афанасьичъ съѣлъ да и спасибо не сказалъ.

— А кто же это Иванъ Афанасьичъ?

— Иванъ-то Афанасьичъ?—повторилъ онъ.—Аль ты не знаешь его?—удивленно спросилъ онъ, какъ бы предполагая, что Ивана Афанасьевича всѣ должны знать.

— Нѣтъ, не знаю...

— А-а-а!.. Вишь оно, а я полагалъ, ты знашь его, прежнее-то начальство всѣ его знали, да и всегда къ нему приворачивали. Мужикъ онъ, батюшка, нашъ же братъ, да съ кабака, вишь, жить-то пошелъ. Кабакъ держалъ, грѣха-то этого за нимъ—и-и-и!—протянулъ Максимъ Арефьичъ, махнувъ рукой, и отвернулся.—Иванъ-то Афанасьичъ и струну-то эту подъ Анисима подвелъ, што его въ волость-то заперли. Писарь-то нашъ на дочкѣ его женатъ, ну, вмѣстѣ и мухлюютъ. А Зажора-то Анисимъ Матвѣичъ возьми да и распиши его.

— Кого, писаря-то?

— Нѣ-ѣтъ, Ивана-то Афанасьича, козыря то нашего!

— Какъ же онъ его расписывалъ?

— Хе!.. Письма-то тутъ, батюшка, не шибко много; пожалуй, и письмо то писать не устанешь. Одну ему пѣсенку Зажора-то въ уши дулъ: что ты, говоритъ, съ зятемъ-то своимъ, писаремъ, мірскія деньги съѣлъ... Иванъ-то Афанасьичъ, скажу тебѣ, годовъ пять тому время, засѣдателемъ по хозяйской части въ волости ходилъ; ну, и сбиралъ это деньги по волости на земскую гоньбу, и многонько што-то насобиралъ, а фитки-то кому выдавалъ, а кому все сулилъ сегодня да завтра выдать, — такъ и шло время. А какъ пришлось, слышь, ему деньги-то сдавать, онъ и отопрись, што не бралъ и въ глаза-то не видывалъ, какія они, деньги-то. Мало ли судьбища-то тогда было... Начальство-то, слышь, приказало описать Ивана-то Афанасьича, а онъ будь не промахъ, да весь свой скотъ,—и коровъ, и лошадей,—и сгони отъ описи-то къ писарю на дворъ, будто бы весь этотъ скотъ онъ въ приданое за дочерью выдалъ ему... И фитокъ такой подстроили съ писаремъ-то.

— Какой же это фитокъ?

— Фитанцію, сказать бы тебѣ, што весь скотъ онъ далъ писарю въ приданое за дочкой, а у него на дворѣ онъ стоялъ будто бы для кормежки одной; а народъ-то смутилъ показать, слышь, подъ присягой, што онъ точно скотъ-то этотъ въ приданое за дочкой отдалъ.

— И тѣ присягнули?

— Цѣловали крестъ... Вина-то этого выпоилъ имъ никакъ безъ счету!.. Вотъ какія дѣла-то!..

— Такъ его и не описали?

— И по-сейчасъ цѣлъ!.. Ну, чего-жъ тутъ дѣлать будешь, а? Подумали мужики-то, видятъ, што взять тутъ нечего, махнули рукой да и внесли вторительныя деньги, а его будто бы простили.

— А много внесли?

— Рублевъ семьсотъ, коли не болѣ. Ну, Зажора-то вотъ при всемъ обществѣ и окрести его мошенникомъ, введи въ сердце,—потому правда-то глаза вѣдь колетъ,—а Иванъ-то Афанасьичъ не стерпи обиды, да и научи писаря: донеси-де на него! Вотъ и пошелъ сыръ-боръ горѣть, туши-ко теперь... Что ему будетъ теперь, батюшка, Анисиму Матвѣичу, знашь иль нѣтъ? — неожиданно спросилъ онъ, пристально посмотрѣвъ на меня.

— За что?

— За тревогу-то, што начальство-то потревожилъ.

— Да чѣмъ же онъ начальство-то потревожилъ?—спросилъ я!

— Ну, что народъ-то мутить будто сталъ... Мы то, признаться, полагаемъ, што за экое дѣло каторги-то, поди, не минуешь. Мало-ль разговору-то было межъ насъ... Онъ вѣдь, Анисимъ то Матвѣичъ, признаться тебѣ, свойственникъ мнѣ доводится: и не близка родня, а все какъ бы обидно. Мужики-то теперь, со словъ то Ивана Афанасьича, на меня, слышь, налегаютъ. Вашъ родъ, говоритъ, такой: смутьянъ на смутьянѣ; тревоги-то, говоритъ, и намъ, и начальству отъ васъ не обобраться. Да я-то, говорю, міръ честной. при чемъ-же тутъ? Ты, говорятъ, коли видишь, што въ мужикѣ круженіе пошло, должонъ бы унимать его, не допущать до всякой-то думы. Оно точно, чего говорить, я и видѣлъ, что съ нимъ ровно чего-то не ладно дѣется, да полагалъ, што дума-то эта у него съ горя пошла.

— Съ какого же горя?

— Обида будто маненькая встрѣлась ему: двѣ дѣвки у него дочери и, не потаясь скажу, загульныя. Одна-то, Авдотья-то, меньшая-то, родила, слышь, въ лонскомъ году. Съ цѣловальникомъ снюхалась и, такъ бы сказать, отъ дому отбилась. Цѣловальникъ-то, вишь, женатый, съ женой-то живетъ несовѣтно, жена-то въ городѣ у него при домѣ, а Авдотья-то здѣся, кабы замѣсто супружницы—хозяйство у него при кабакѣ-то блюдетъ. Ему бы, Анисиму то Матвѣичу, гдѣ бы поучить дочь-то, порядку наставить, а у него, вишь, рука не вздымается, а попрекъ-то, вишь, на сердце ложится. Съ энтого болѣ, полагаю, и круженіе-то у него пошло, а мужики-то вотъ на меня несутъ, пошто я не блюлъ. А я, прости ты меня Господи, хоша бы зналъ и вѣдалъ, чего у него на умѣ!—произнесъ онъ, разведя руками.—Диво! Вижу,

што скучаетъ человѣкъ, людей сторонится, особливо какъ Авдотья-то родила, да пошелъ это говоръ да толкъ на деревнѣ. Ну, чего же, думаю: извѣстно—отецъ, сердце-то болитъ, поди! Ну, такъ это и шло время... Только однова это, лѣтомъ нонѣ, и поднялась гроза—страхъ Божій какая: по небу-то словно сполохъ отъ молоньи-то шелъ. Только, вдругъ это, слышимъ, кричатъ на деревнѣ: „Анисима громомъ убило!“ Почесть старый и малый сбѣжались къ избѣ-то его: видимъ, какъ стоялъ онъ на дворѣ, обтесывалъ это бревно, такъ тутъ и лежитъ у бревна-то замертво... Храни это Богъ, какъ онъ топоромъ-то исшо не повредился. Спужались-было сначала-то, думали—убило его, только нѣтъ, глядимъ—дышитъ ровно. Ну, тутъ кто говоритъ, што парнымъ молокомъ отпаивать его надо, бабъ-то посылаютъ коровъ доить, а то и не въ домекъ, што скотъ-то въ поскотинѣ ходитъ. Другіе велятъ парнымъ коровьимъ пометомъ обложить его,—молонью-то будто пометомъ изъ человѣка вытягиваетъ, а кто твердитъ, штобы въ землю Анисимато по шею закопать,—скорѣй-де отойдетъ онъ... Ну, и староста Миронъ Антонычъ на томъ же стоять сталъ, штобъ закопать его въ землю. Принесли это заступы, начали яму рыть, а онъ и сталъ это очунять будто. Притихли, ждемъ, чего будетъ. Дочки-то его тутъ же стоятъ, воютъ надъ нимъ, ну, уняли ихъ: не пужай, молъ. Ну, видимъ—это глаза открылъ, озирается... „Слава Тебѣ, Господи!“ думаемъ... Водицы ему изъ ковшичка дали холодненькой, попилъ и словно будто въ память вошелъ,—приподнялся это, сѣлъ на бревно то... Мы и говоримъ ему: „пошелъ бы ты, Анисимъ Матвѣичъ, да прилегъ, скорѣе бы, можетъ, отдохъ!..

— „Посижу, говоритъ, не нудьте.

— „Ну, сиди, молъ, што-жъ; Слава Богу и то, што отходъ, отпустилъ Богъ душу на покаяніе.

— „О-охъ, говоритъ, други, отпустилъ Господь мою душеньку, да никакъ не къ добру: лучше бы, говоритъ, помереть мнѣ.

— „Окрестись, говоримъ, Анисимъ Матвѣичъ, въ умѣ-ль ты? Сейчасъ только замертво лежалъ, да съизнова смерть накликаешь на себя! Аль, говоримъ, разумъ-то у тебя отшибло? Што ты, одумайся, говори Слава Богу, што Господь у тебя вѣку не отнялъ!

— „Лучше бы, говоритъ, глазоньки-то мои закрылись, а не глядѣли бы болѣ на свѣтъ-то Божій, лучче бы!.. твердитъ онъ. —Быть, говоритъ, большой бѣдѣ надъ нами, многогрѣшными; быть, говоритъ, други, такой бѣдѣ, што мертвымъ-то позавидуешь! И началъ это креститься да вздыхать. Народъ-то тутъ, братецъ мой, и поиспужался, особливо бабы-то, и въ плачъ было ударились... Ну, уняли ихъ, допы-

тываемъ его, съ чего-бы надъ нами бѣдѣ быть, съ чего онъ непутныя слова говоритъ, только на думу народъ наводитъ... И староста это, Миронъ Антонычъ, мужикъ толковый, въ полномъ качествѣ, и говоритъ ему: подь, говоритъ, Анисимъ, сосни; нихакъ, говоритъ, тебя сердешнаго стряхнуло небеснымъ-то сполохомъ.

— „Встряхнуло, говоритъ, точно, Зажора то отвѣчаетъ ему.

— „То и есть, говоритъ, што встряхнуло; а ты подь-ка — прилягъ, отдохни; сонъ-то, говоритъ, въ разумъ человѣка вводитъ, коли его и встряхнетъ въ ину пору! Иди-ко, говоритъ.

— „Не пойду! Зажора-то твердитъ.—Потому, говоритъ, на меня Ангелъ Божій заповѣдь наложилъ — сказать крещеному люду, што много слезъ прольете вы, што горемъ, что горой, придавитъ васъ.

— „Гдѣ ты его видѣлъ-то?—спросилъ староста.

— „На небѣ!

— „Мы такъ это, батюшка, какъ сказалъ онъ это слово, ровно ужаснулись и не того, штобы неподобное чего говорилъ онъ, а чудно всѣмъ стало, што Анисимъ-то, мужикъ умный, степенный, ни въ чемъ незамѣченный и на слово-то не шибко бы бойкой, вдругъ экую бѣду заговорилъ! А што, молъ, какъ и въ заболь тряхнуло его Божьей-то милостью? Ну, и опаска взяла. Съ одной стороны, и жаль его стало, а съ другой — опасно: какъ никакъ, а ужъ коли не въ здравомъ умѣ человѣкъ, стерегись!.. А староста все его допытываетъ: при какомъ онъ, стало быть, случаѣ Ангела-то Божьяго видѣлъ?

— „А тесалъ, говоритъ, я, други, бревно, какъ гроза-то настигла, Анисимъ-то отвѣчаетъ; — мнѣ бы идти, говоритъ, надоть въ ту пору въ избу, а я думаю, что-жъ, вѣдь не глиняный я, дождемъ не размочитъ... Штобъ время-то не терять, взялъ это бревно-то, подтащилъ подъ навѣсъ и тешу... Только, вдругъ, какъ громъ-то ударитъ, говоритъ, плехнула молонья-то, я и лба окрестить не успѣлъ, такъ и замеръ, такъ и замеръ, говоритъ, вижу только искры-то, словно вотъ отъ пожарища, такъ и ходятъ, такъ это и крутятъ около меня, а Ангелъ-то Божій, весь кабы въ огнѣ, говоритъ, мететъ это по небу и приговариваетъ: „Смету, говоритъ, съ земли-то всякую неправду, и судей неправедныхъ, и кабашниковъ!“ И пошелъ это Зажора припѣвать въ ту пору, кабы со словъ-то Ангела, и пошо-о-олъ: „и горе будетъ вамъ, говоритъ, неизбывное, и моръ, и гладъ, и всякія болѣсти“... плелъ, пле-е-елъ онъ тогда, што и не перескажешь! Съ диву мы только дались, слушая его: кто это охаетъ да крестится, а другіе, што потолковѣй, только головами покачиваютъ...

— „Встряхнуло, братцы, мужика-то! говоритъ староста.

— „И видать, говоримъ, што встряхнуло!.. Ну, нѣтъ-нѣтъ, его въ тѣ поры спать уложили, думали — отдохнетъ, придетъ въ себя, успокоится. Староста-то хотѣлъ было въ волость бѣжать съ объявкой, да мы-таки, признаться, уняли его; обожди, молъ, обойдется мужикъ-то! И обошлось бы оно, кабы не наткнулся на Ивана-то Афанасьича".

— Онъ тогда же и поспорилъ съ нимъ?

— Нѣ-ѣ-ѣтъ! Въ долго ужъ время-то послѣ того. Иванъ-то Афанасьичъ, сказать тебѣ къ слову, шибко блудливъ на языкъ-то: все это норовитъ, кабы кого словцомъ-то щипнуть, ну, и подними Зажору-то на смѣшки. Смѣялся, смѣялся, да и досмѣялся. Тотъ это подбери случай, да и вывороти все его нутро: какъ онъ и съ волостными мошенничаетъ... да много онъ напѣлъ ему въ тѣ поры, помянулъ-таки и начальство-то легкимъ словцомъ.

— А чѣмъ же онъ начальство-то помянулъ?—прервалъ я.

— Одни, батюшка, на мужичьемъ-то языкѣ поминки про начальство живутъ; не суди ужъ, не мнѣ энтому словцу вторить, ослобони!— уклончиво отвѣтилъ онъ.

— Отчего же ты не хочешь сказать мнѣ? — спросилъ я. — Чего же боишься?

— Уволь, сдѣлай милость! Ужъ лучше Зажору спроси; мужикъ-то онъ откровенный; его былъ грѣхъ, его и отвѣтъ будетъ, а наше дѣло, батюшка, сторона; вникаться-то во што не слѣдъ — не доводится,—отвѣчалъ мнѣ Максимъ Арефьичъ, не смотря на всѣ мои увѣренія, что слова его останутся между нами.

Не много новаго сообщили о Зажорѣ однообщественники его, спрошенные мною въ тотъ же день. На мои вопросы они отвѣчали одно: „говорилъ онъ, что вино худо пить, что вино — дьявольская слюна, худо, что бабы и дѣвки любятъ рядиться... Ну, чего таить, и начальство не одобрялъ!" Но за что не одобрялъ Зажора начальство и въ какихъ выраженіяхъ высказывалъ это неодобреніе,—они или умалчивали, или давали уклончивые отвѣты, въ родѣ того, что „балагуръ мужикъ,— гдѣ все упомнишь, чего когда сблаговѣстилъ!" Для меня не оставалось болѣе сомнѣнія, что Зажора принадлежалъ къ разряду тѣхъ людей, какіе часто встрѣчаются среди сибирскаго населенія и, можетъ быть, только исключительно среди сибирскаго. Говорю „исключительно", потому что только въ этой печальной „странѣ изгнанія" до сихъ поръ еще самая ничтожная полицейская власть, если ей напомнить о законѣ, гордо отвѣтитъ вамъ: „здѣсь я законъ!" Подъ гнетомъ этого произвола Сибирь и вырабатываетъ въ народѣ особенные типы страстныхъ,

энергичныхъ людей, смѣло протестующихъ, среди всеобщаго безмолвія и апатіи, противъ золъ, разъѣдающихъ народную жизнь. Формы протеста, избираемыя подобными личностями, бываютъ разнообразны. Въ Сибири нѣсколько разъ появлялись, напримѣръ, оригинальные разбойники, грабившіе только богатыхъ чиновниковъ, разжившихся взятками, и купцовъ, прославившихся безпощадной эксплуатаціей рабочаго народа. Все отнятое у этихъ купцовъ и чиновниковъ разбойники раздавали неимущимъ крестьянамъ. Я зналъ многихъ крестьянъ, отданныхъ подъ надзоръ общества и волостныхъ правленій въ качествѣ неисправимыхъ „ябедниковъ“, которые, отрѣшившись отъ хозяйства, толклись съ утра и до ночи въ передникъ различныхъ начальниковъ и присутственныхъ мѣстъ, держа въ рукахъ просьбы, которыхъ отъ нихъ никто уже не принималъ. Они жаловались не за себя, не за свои личныя обиды и нарушенные интересы, нѣтъ, они являлись ходатаями за общество, задавленное насиліями. Я нерѣдко удивлялся самоотверженію, съ какимъ выносили эти люди обрушивающіяся на нихъ гоненія. Подобныхъ „ябедниковъ“ обыкновенно сѣкутъ въ полиціяхъ и отправляютъ изъ городовъ подъ конвоемъ на мѣсто жительства, гдѣ волостные начальники, писаря, кулаки, священники, чины земской полиціи, всегда бичуемые ихъ обличеніями, мстятъ имъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Будь другой человѣкъ на мѣстѣ ихъ, онъ давно бы палъ въ неравной борьбѣ, но эти люди неспособны падать. Заслышатъ они, что ѣдетъ какой-нибудь „генералъ“, какой-нибудь новый начальникъ края, видятъ они, что земскія и другія власти суетятся, ожидая пріѣзда этого лица и стараясь замести слѣды всевозможныхъ злоупотребленій, — „ябедники“ тайно ликуютъ, въ ожиданіи пріѣзда новой власти, ликуютъ отъ мысли, что власть услышитъ ихъ мольбы, раскроетъ злоупотребленія и воздастъ каждому по дѣламъ его. Но увы, земскія власти тоже не дремлютъ. за „ябедниками“, какъ нарочно, усиливаютъ въ это время надзоръ, и ко дню пріѣзда начальствующаго лица, ихъ запираютъ, нерѣдко безъ всякой вины, въ волостные тюрьмы. Проѣхало лицо, съ трепетомъ ожидаемая буря промчалась благополучно, не вырвавъ ни одного подгнившаго въ корнѣ дерева и не колыхнувъ молодыхъ побѣговъ, высасывающихъ изъ почвы всѣ жизненныя соки,— „ябедниковъ“ безопасно выпускаютъ на свободу и ослабляютъ за ними надзоръ. Стойкій въ достиженіи своихъ цѣлей, хотя наивный какъ дитя, „ябедникъ“ снова начинаетъ поднимать приникшую голову: улучивъ удобное время, онъ тайно скрывается изъ мѣста своего жительства, достигаетъ до того города, гдѣ живетъ благодѣтельный „генералъ“; какой-нибудь досужій приказный сочиняетъ ему обличитель-

— Вѣдь тебѣ ужъ, чай, отписали, батюшка; не даромъ же поди пріѣхалъ; въ бумагѣ-то сказано, поди, такъ чего-жъ ты пытаешь меня?—спросилъ онъ.

— Въ бумагѣ не сказано, что ты околесицу несъ.

— А-а!.. Не домолвились вѣрно!..—съ ироніей произнесъ онъ.—Чего же тебѣ писали-то обо мнѣ? Скажи, коли милость будетъ...

— Писали, что ты народъ смущаешь пророчествами.

— Вишь какое дѣло затѣялъ старый грѣховодникъ, а!—насмѣшливо произнесъ онъ, точно будто относясь къ какому-нибудь постороннему лицу.—А чѣмъ же сомущаю я народъ-то,—писали аль нѣтъ?—спросилъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія.

— Говоришь, напримѣръ, что скоро міру конецъ...

— Наткось, поди!—тѣмъ же тономъ произнесъ онъ.—А пишутъ аль нѣтъ, за што Господь-то у нихъ отвѣта спроситъ при сокрушеньи-то міра, а?

— Нѣтъ.

— Забыли вишь, а-а?! Ну, коли они запамятовали, такъ я потружусь—доложу твоей милости, за што ихъ рано иль поздно найдетъ Господь.

— За что же?

— За то, што утопли въ грѣхѣ выше волоса на головѣ, што ни правды, ни совѣсти ни въ комъ нѣтъ,—вотъ за што, батюшка, найдетъ ихъ Господь своимъ гнѣвомъ!—серьезнымъ и слегка даже дрогнувшимъ голосомъ отвѣтилъ онъ.

— Ужъ будто ни въ комъ?—прервалъ я.

— Ни въ комъ!.. Мужикъ ее пропилъ, чиновникъ-то продалъ,—батюшка, не гнѣвись за это слово мое,—а у купца и съискони ее не водилось!.. Бога-то всѣ забыли, а святое имя его только въ лживую рѣчь безъ пути суютъ. Глянь ты теперь на собаку: тварь, а и та, коли корку хлѣба стащитъ у тебя, то совѣсть у ней зазритъ,—и хвостомъ-то она виляетъ передъ тобой, и глаза-то отводитъ отъ тебя, словно вотъ стыдно ей въ глаза-то тебѣ глядѣть... А человѣкъ-то, батюшка, послѣдній кусокъ у тебя урветъ, да тебѣ же въ глаза смѣется, тебя же дуракомъ обзоветъ, што въ обманъ дался. Такъ гдѣ же она, совѣсть-то? Укажи!

— Ты это только и говорилъ крестьянамъ?

— Говорилъ, уличалъ ихъ, ну, и не понравилось,—правда-то вѣдь глаза колетъ... Вотъ и отписали, што бунтовщикъ!

— А въ чемъ же уличалъ ты ихъ?

— Въ непорядкахъ,—въ чемъ болѣе-то уличишь нашего брата?..

Оглядись только кругомъ, во тьмѣ-то нашей, такъ позабудешь и про Божій свѣтъ, и возлюбишь тьму-то, паче дня и солнца...

— Ты грамотный?—спросилъ я, удивленный складомъ его рѣчи.

— Нѣтъ, не умудрилъ Господь, батюшка, а любилъ вотъ, сызмальства любилъ, родимый, о Божьемъ словѣ рѣчи вести. Не праздно оно, это слово-то!.. Скажи ты мнѣ, коли ты добрый человѣкъ, не погнушайся: есть Богъ у насъ аль нѣтъ?..—неожиданно спросилъ онъ.

— Конечно, есть!—отвѣтилъ я.

— Есть? Стало быть, если Господь чего заповѣдалъ намъ, должны мы исполнять Его слово аль нѣтъ? — пытливо посмотрѣвъ на меня, спросилъ онъ.

— Должны.

— Пошто-жъ мы не исполняемъ этого, а? Пошто мы втуне-то слово Его покидаемъ, а? Вотъ Богъ-то заповѣдалъ намъ: не воруй, не блуди, не желай другу худа, а чего мы только не дѣлаемъ? Неужъ это порядокъ, а?

— Ну, конечно, не порядокъ.

— И всѣ, кого ты не возьми, презрѣли Его заповѣдь! Ну, по-Божьи ли мы живемъ, скажи?.. Коли ты видишь, къ примѣру, што слѣпъ человѣкъ, заблудился, по Божьи ли ты сдѣлашь, коли поможешь ему на путину выйти, а?

— По-Божьи всякій обязанъ помочь ближнему.

— По-Божьи, стало быть, сдѣлаетъ онъ, коли правый путь ему укажетъ, а? — продолжалъ старикъ, все такъ же пытливо глядя на меня.

— По-Божьи.

— Такъ по што же, батюшка, экого-то человѣка, што путь слѣпому указываетъ, въ смутьяны-то производятъ, въ узы-то заточаютъ? Скажи ты мнѣ, коли ты праведный человѣкъ! Ну, вотъ я повиненъ въ этомъ грѣхѣ,—суди же меня!—и глаза старика засвѣтились при этомъ такимъ теплымъ, мягкимъ свѣтомъ, что мнѣ невольно пришло на мысль въ ту минуту, что, по всей вѣроятности, глаза апостоловъ и первыхъ мучениковъ имѣли именно подобное выраженіе, когда они отстаивали передъ своими гонителями высокіе догматы правды и любви къ ближнему.—Пошто ты, батюшка, крестьянъ то нашихъ допытывалъ,—чего я говорилъ имъ, скажи ты мнѣ?—неожиданно спросилъ онъ.—Неужъ ты думалъ—я запираться буду да таиться, а? Нѣтъ, родимый, не отопрусь! Мужики-то наши не скажутъ тебѣ правды, а я скажу.

— Отчего же ты думаешь, что мужики не скажутъ?—спросилъ я.

— Опасливы!.. Всякій свою шкуру бережетъ, а мнѣ ужъ беречь

ее, батюшка, не приводится,—изношена! — насмѣшливо произнесъ онъ.—Не дологъ мой вѣкъ; коли и приведетъ Богъ постраждить-то, не возропщу!

— Да за что же ты постраждить-то собираешься, а?

— За правду, батюшка; за Божью-то правду вѣдь болѣ; чѣмъ за зло, люди-то терпятъ,—тихо отвѣтилъ онъ. —Ну, я и положилъ въ умѣ: коли доведетъ Богъ крестъ нести, не убоюсь и всякому скажу ее, какимъ хошь судомъ суди, не убоюсь!.. Не смущаю я народъ, родимый, а про Божье слово говорилъ ему; завязъ онъ въ грѣхѣ, што въ тинѣ, Божье слово и крестъ въ винѣ утопилъ! Ну, какъ ты его не попрекнешь въ этомъ?

— Какъ въ винѣ утопилъ?

— Утопилъ!.. Пагуба—вино это крещеному міру, пагуба, родимый! За вино онъ тебѣ всякую присягу приметъ, виноватаго оправитъ и невиннаго загубитъ!.. Сѣдой ужъ я человѣкъ, не къ лѣтамъ мнѣ, батюшка, лукавить, не къ лѣтамъ и правду таить! Опиши-ка вотъ въ бумагѣ-то своей, пошто имъ попустили за быка-то фальшивую присягу принять...

— Кто же попустилъ?

— Начальство!

— Какъ такъ, разскажи...

— Изволь, пошто не сказать!.. Вишь, родимый, людская-то правда какова: я вотъ бунтовщикъ, народъ смущаю, а пошто они не написали, чѣмъ я смущаю народъ-то, какими дѣлами? Не они ли больше смущаютъ его своими неправдами, а?

— Кто же это они, старикъ,—растолкуй мнѣ.

— Кто они-то?—переспросилъ онъ.—Долго, батюшка, сказывать. Послушай лучше, какую я тѣ притчу скажу, — уклончиво отвѣтилъ онъ:—жизнь-то мужичья, што плетнемъ огорожена,—потревожь ты одно только звенышко, качни его, такъ и весь плетень повалится; такъ и это дѣло. Съ мужика, родимый, не великъ бы спросъ, теменъ онъ. А большой, батюшка, грѣхъ—кто блюдетъ его, да неправду изъ выгоды попущаетъ, бо-о-ольшой тому отвѣтъ передъ Богомъ! А што правду-ль я говорю,—суди: живетъ у насъ здѣсь крестьянинъ Посылинъ, Федоръ Иванычъ; голова-то нашъ племянникомъ ему по матери приводится; такъ, сынокъ, слышь, у него, у Федора-то Иваныча, есть,—Севастьянъ Федорычъ, такой-то непутевый человѣкъ, што суди его Богъ, а не я! Ну, вотъ и поѣхалъ онъ однова въ городъ на базаръ, Севастьянъ-то Федорычъ этотъ,—поѣхалъ-то пустымъ порожьемъ, а вернулся-то съ прибылью, ни мало ни мене какъ быка въ

поводу привелъ. Ну, а въ деревнѣ, чего говорить, и самъ поди знашь, што не только-што живность, а сколь и волосъ-то у каждаго на головѣ, на перечетъ знаютъ. Ну, мужики-то и спрашиваютъ его, Севастьяна-то: „гдѣ Богъ экую животину послалъ?“ Купилъ, говоритъ, на племя, за семь рублевъ!.. Ну, купилъ, такъ что-жъ, давай Богъ болѣ. Ладно! Живетъ бычекъ у новаго хозяина да кормъ жуетъ. Только деньковъ черезъ пять, тебѣ, время и наѣдь къ намъ слѣдствіе: мѣщанинъ изъ городу, у котораго Севастьянъ-то, стало быть, на повѣрку-то вышло, быка угналъ, со свидѣтелями, што быкъ этотъ точно его и съ явкой отъ полиціи, што быкъ этотъ въ заболь у него угнанъ. Засѣдатель-то нашъ наѣхалъ, и пошелъ спросъ да допросъ. Видитъ Федоръ-то Иванычъ, што сынку-то неминуче дѣло подошло, и давай изъ бѣды его выкручивать! Сколь, слышь, вина-то обществу выпоилъ, чтобы доказали подъ крестнымъ цѣлованіемъ, што быкъ-то энтотъ его будто, Федора, што онъ велѣлъ сыну въ городу его продать, а тотъ-де не продалъ, да назадъ привелъ... И засѣдателю-то двадцать рублевъ пожертвовалъ, штобъ сынка-то его отстаивалъ. Ну, общество и показало подъ присягой, что быкъ этотъ Федора, что родился и выросъ на его дворѣ, и крестъ цѣловали и евангеліе.

— И ты цѣловалъ?—спросилъ я.

— Ослобонилъ Богъ, не мѣшался я въ энто дѣло, батюшка, сторонился отъ нихъ, не кори меня этимъ словомъ,—обидчиво отвѣтилъ онъ.

— Отчего же ты, видя, что крестьяне поступаютъ несправедливо, не остановилъ ихъ тогда же, а?

— Останови-ка пьянаго-то, испробуй; аль битъ не былъ?

— Ну, чиновнику бы заявилъ.

— Заявлялъ, батюшка, насунулся было да и не радъ сталъ.

— Отчего?

— Искровянилъ онъ меня, думалъ и скулу-то мнѣ своротитъ. Вотъ запиши-ко въ гумагѣ-то своей, чего за правду-то съ нашимъ братомъ дѣютъ! Я-жъ хотѣлъ отъ грѣха людей ослобонить, да я же и въ доказатели попалъ,—со вздохомъ произнесъ онъ.—О-охъ, кормилецъ, душой и тѣломъ ужъ мы за правду-то стаивали, не навыкать... видали гоненья-то этого, ви-да-ли!

— Отъ кого же гоненье ты видѣлъ?

— Отъ кого?—повторилъ онъ, усмѣхнувшись.—Лихо замараться человѣку-то, родимый, а ужъ разъ на немъ есть пятнышко, такъ ужъ кому бы про чего ты не говорилъ, ему все кажется, что ты въ его пятно мѣтишь. Ну, и не любъ... Молчи, потакай всякому, и всѣмъ ты милъ

за свѣтъ будешь: а скажи только правду, то хуже тебя не будетъ никогда и ворога! За что меня теперь утѣснили, за какія провинности въ тюрьмѣ-то хуже разбойника держали.—хошь-ли ты знать это, а?

— Мнѣ даже слѣдуетъ это знать, говори...

— За то, вишь, батюшка, что не въ добрый часъ спросилъ у Ивана Афанасьича, куда онъ дѣвалъ деньги, что собиралъ съ мужиковъ на царскую одежу! Есть-ли у тебя это, въ бумагѣ-то, прописано-ль?

— Нѣтъ.

— А-а, чего ни хвати, вѣрно все нѣтъ да нѣтъ, все не вписано!..

— А какія же деньги онъ на царскую одежу собиралъ? — прервалъ я, заинтересованный подобнымъ открытіемъ, въ то время составлявшимъ для меня еще новость.

— А вотъ и слушай, батюшка, какъ волоки-то съ нашего брата валяютъ! Дѣлу этому ужъ годовъ шесть теперь время будетъ. Объявили намъ однова, что пришелъ будто въ волость указъ изъ царской конторы: собрать по двадцати копѣекъ съ души на царскую одежу, что Царю-де одежу-то черезъ сто годовъ шьютъ, ну, такъ, вишь, будто время пришло новую шить изъ самоцѣннаго золота... Ну, и платили...

— И никто изъ васъ не спросилъ, законно-ли это, а?

— Мужикъ бы тебѣ спросилъ! Э-эхъ, батюшка, видать далеко мѣсто-то времячко, когда мужикъ тебя пытать начнетъ, чего съ него по закону просятъ, а чего сверхъ закона! Ты погляди теперь, сколь съ насъ этихъ поборовъ идетъ—и не сочтешь: подушной-то съ оброкомъ съ тебя по раскладкѣ-то семь аль восемь рублевъ на душу придется, а ты пятнадцать аль двадцать рублевъ съ души тяготы-то несешь, и все, чай, болѣе на чужіе карманы... А про плакаты упомянуто, что я плакатами его попрекнулъ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ.

— Ну, вотъ и на плакаты тоже сколь міръ денегъ передавалъ, стра-асть!

— А что это такое плакаты?

— Богъ его вѣдаетъ, батюшка; мы такъ и не видывали какіе они! Говорили тогда, что плакаты выходятъ, что законы экіе пишутъ — плакатомъ зовутъ; что у кого-де будетъ плакатъ въ рукахъ, такъ ужъ того безъ причины не моги шевелить... Ну, и платили! Лестно было всякому законъ-то экой имѣть. Вишь вѣдь, сторонушка-то у насъ дикая, до закону-то не скоро доберешься въ ней; ну, мужики-то и полагали, что ужъ коли законъ-то будетъ въ рукѣ у тебя, такъ ужъ житье-то особливое пойдетъ, не въ примѣръ. Опосля только спохватились, что подвохъ это былъ одинъ! Ну, да чего-жъ... помотали, по-

мотали головой да и плюнули: сколь, молъ, собаку ни корми — все голодна! Чего-жъ это, стало быть, писали-то тебѣ про меня, родимый, скажи мнѣ, коли того ты не знаешь да другого не вѣдаешь? — спросилъ онъ.

— Писали, что будто бы ты ангела видѣлъ...

— А-а, написали же! Я думалъ, што и этого ужъ нѣтъ у тебя. Видѣлъ, родимый, видѣлъ; было мнѣ энто видѣніе, удостоился, и гласъ былъ!—утвердительно качая головой, произнесъ онъ.

— Какой же гласъ-то былъ тебѣ?

— Ужасти подобный, родимый, не человѣческій гласъ! Вижу, летитъ это по небу сила-то небесная, гляжу я на нее и не вѣрю глазамъ-то... и вся-то она въ полымѣ была, вся-то блестомъ блеститъ. „Горе, говоритъ, будетъ живущимъ на землѣ, кто Бога и правду забылъ!.. Смету, говоритъ, съ лица земного и судей неправедныхъ, и лиходѣевъ, и блудъ творящихъ!“... А сама-то это такъ и мететъ, такъ и мете-е-етъ, кормилецъ.

— А чѣмъ же мела-то?

— Метлой огневой, метлой, словно какъ бы снопомъ!

— Какой же изъ себя-то былъ ангелъ-то, разскажи мнѣ толкомъ...

— Огневой, говорю тебѣ; ужасть была глядѣть-то!

— А не померещилось-ли тебѣ, старикъ?

— Не грѣши, родимый; старъ ужъ я экія шутки шутить, старъ! — укоризненно произнесъ онъ, качая головой. — Я вина-то и отъ роду почесть въ ротъ не бралъ, — съ чего бы мнѣ мерещиться-то стало? Шестьдесятъ семь годовъ ужъ мнѣ, родной, — стать ли грѣшить-то на склонѣ лѣтъ, и себя-то, и людей морочить? Видѣлъ, батюшка; видѣніе это было мнѣ, грѣшному, удостоился! — произнесъ онъ глубоко-убѣжденнымъ тономъ, и въ сѣрыхъ серьезныхъ глазахъ его отражалось столько искренности и прямодушія, что нечего было и думать разубѣждать его. Онъ вѣрилъ, вѣрилъ искренно въ свою галлюцинацію, такъ могъ-ли кто поколебать въ немъ эту вѣру, составлявшую для него въ скорбной страдальческой жизни, можетъ быть, единственную отраду и единственный источникъ, въ которомъ онъ черпалъ нравственную опору для себя. — Не шелъ я пророчить, родимый, — снова началъ онъ послѣ минутнаго молчанія, — я свою только душу да совѣсть блюлъ; аколи стали вынуждать меня — не смолчалъ и пакликалъ, вишь, бѣду на себя! — произнесъ онъ.

— Кто же вынуждалъ тебя, старикъ?

— Міряне на смѣшки все поднимали, батюшка. Все говорили, вишь, что умъ у меня пошатывало. Ну, я и сталъ имъ говорить, што

отъ вашихъ дѣловъ непотребныхъ хошь какой умъ пошатнется! А какъ заговорилъ про дѣла-то ихъ, такъ и не любо стало, — къ попу повели.

— Къ попу-то зачѣмъ же водили тебя?

— Увѣщать... въ обманѣ уличить хотѣли! Тотъ на меня накинулся... Да мало-ль грѣха-то, родимый, было со мной, э-э-э!—протянулъ онъ, махнувъ рукой... Ну, тутъ и порѣшили меня въ волость посадить.

— Кто же порѣшилъ-то?

— Писарь, голова —Иванъ Афанасьичъ... вѣдь цѣлое слѣдствіе, сердешный, о ту пору надо мной-то было, судили!

— Какъ судили?.. Какое же имѣли право судить тебя?

— Міромъ судили! Сначала-то присудили было постегать, да вишь—изъ лѣтъ-то вышелъ... Голова заступился, ну, и рѣшили въ волость запереть да описать начальству, пущай-де за бунтъ судятъ, потому онъ начальство корилъ.

— А ты точно корилъ начальство?

— Корилъ, не таюсь!

— Чѣмъ же?

— Неправдами ихними, непотребствомъ, чего таить-то, батюшка! Ну, снимай съ меня голову, суди! Похвалишь развѣ, штоль, коли вышняго чина люди, замѣсто того, чтобъ мужика научить по закону жить да правду блюсти, въ явѣ торгуютъ ей! Какой ты ни будь мошенникъ, какой ты ни будь воръ, да коли ты денежный человѣкъ, то за все сухъ изъ воды выйдешь... Чего же, милый, вѣдь глазъ-то не завяжешь у людей; всѣ это видятъ да только молчатъ... а вѣдь молчатъ, молчатъ, да придетъ пора и взворчатъ. А отъ кого теперь на міру блудъ идетъ, скажи-ка?—спросилъ онъ, замѣтно все болѣе и болѣе воодушевляясь.

— Ты больше меня знаешь, старикъ,—ты и скажи мнѣ, отъ кого...

— Отъ нихъ, батюшка, отъ вышняго чина людей, знай! Ты гляди, чего у насъ дѣется: сколь этихъ дѣвокъ, честныхъ отцовъ дочерей, на блудную-то дорожку вывели... Развѣ не болитъ сердце-то, а? Мужикъ—мужикъ, батюшка, и темный человѣкъ, да вѣдь душа-то въ немъ есть, какъ и у всякаго другого человѣка: тоже о дѣтищѣ-то своемъ болитъ поди. Гдѣ подарочкомъ да улещеніями, а гдѣ и силкомъ берутъ... Ну, стать ли это, ты вотъ чего скажи мнѣ, батюшка, осуди—путно аль нѣтъ говорю я. Вотъ въ деревнѣ Куземиной крестьянинъ есть, Пудъ Власычъ Жабинъ; дочка у него была неповинная грѣху, ну, и сманили ее къ исправнику, сманили! Ну, извѣстно, дите исшо

было,—какой у дѣвки разумъ? На перстенекъ, можетъ, позарилась, а грѣхъ-то и не пройди ей даромъ: увидѣла какъ она, што животъ-то пучить стало, спужалась да и сунула голову-то въ петлю.

— Удавилась?

— Захлестнулась сразу!.. Ну, чего-жъ? Отецъ-то поплакалъ, поплакалъ, хотѣлъ было съ жалобой кинуться да умяли его: одно дѣло постращали, а вторительная причина—пятьдесятъ рублевъ ему исправникъ-то выдалъ... Ну, и взялъ онъ,—чего доспѣшь? Судомъ-то развѣ возьмешь чего? Самого же мужика-то и обвинили бы поди. Што-жъ по пути это дѣютъ, батюшка, аль нѣтъ? По пути это дѣяли, штоль: какъ наѣдетъ, бывало, исправникъ-то, а притонъ-то онъ за все имѣлъ у Ивана Афанасьича, такъ, первымъ это дѣломъ было, нагонять ему бабъ да дѣвокъ,—утѣшай его милость плясомъ да пѣснями, да хороводами... Виномъ это хошь захлеснись, перепоятъ всѣхъ и поведутъ хороводъ-то въ натуральномъ видѣ. Вотъ и гляди-поглядывай честной міръ. Учись у вышняго чина людей уму да разуму, какъ на свѣтѣ жить! А разинулъ коли ты ротъ, заикнулся только и — бунтовщикъ вышелъ, цѣпей-то да каторги насулятъ, што и жизни не радъ станешь. Такъ гдѣ же, родимый, отколь просвѣту-то ждать намъ?.. Научи!—произнесъ онъ и, глубоко вздохнувъ, сложилъ на груди руки какъ бы въ ожиданіи моего отвѣта.

Но что же *я* могъ сказать старику въ отвѣтъ на подобный вопросъ его?

Освободивъ Зажору изъ-подъ ареста, я вытребовалъ въ Клушино волостного голову, писаря и обязалъ не отлучаться изъ деревни Ивана Афанасьевича Степнаго, обвиняемаго Зажорой въ незаконныхъ поборахъ во время служенія его хозяйственнымъ засѣдателемъ въ волости. Въ сущности, мнѣ поручено было произвести только дознаніе,—не заключается-ли въ пророчествахъ Зажоры чего-либо противозаконнаго. И такъ какъ ничего противозаконнаго, по отзыву спрошенныхъ мною крестьянъ, въ словахъ и дѣйствіяхъ его не находилось, и если онъ дозволилъ себѣ укоризненно относиться къ нѣкоторымъ дѣйствіямъ земскихъ властей, то укоризны эти, ни коимъ родомъ не нарушая чувства справедливости, не могли быть поставлены ему въ вину, потому-что были только слабой иллюстраціей той дѣйствительности, какая существуетъ въ Сибири въ невѣроятно грандіозныхъ размѣрахъ, то я могъ бы ограничиться только произведеннымъ мною дознаніемъ и тѣмъ покончить это дѣло. Но въ то время я былъ еще молодъ и смотрѣлъ на службу какъ вообще смотрѣли на нее многіе идеалисты шестидесятыхъ

годовъ. Эти люди не ограничивались однимъ только формальнымъ исполненіемъ предписаній. Они смотрѣли на службу не какъ на средство существованія. Принявъ на себя служебную миссію, они стремились приносить народу осязательную пользу, изучать его нужды, защищать его интересы, преслѣдовать всѣми зависящими отъ нихъ средствами зло, разъѣдающее жизнь народа, и по возможности указывать на тѣ средства, которыя вѣрнѣе всего бы могли уврачевать язвы, скопившіяся вѣками на его организмѣ. Большинство этихъ людей, столкнувшись съ неодолимыми препятствіями, потерпѣли полное разочарованіе, и многіе изъ нихъ, обвиненные въ политической неблагонадежности единственно потому, что не брали взятокъ и мѣшали брать ихъ другимъ, покинули навсегда служебное поприще.

Существованіе темныхъ поборовъ, производимыхъ съ народа различными способами, теперь уже ни для кого не составляетъ секрета. Съ перваго же дня моего служебнаго поприща, меня поразило это зло, тяготѣющее надъ народомъ, зло во многомъ неуловимое и съ трудомъ поддающееся самому зоркому контролю. Воспользовавшись показаніемъ Зажоры, я снова спросилъ крестьянъ деревни Клушиной, дѣйствительно ли собирали съ нихъ деньги на шитье царской одежды и на плакаты. И снова мнѣ пришлось убѣдиться въ той горькой истинѣ, что лицо, облеченное властью, никогда не узнаетъ отъ народа правды. Я не разъ задавалъ себѣ вопросъ: почему это? Почему крестьянинъ, обладающій замѣчательной наблюдательностью, способный сразу увидѣть, что человѣкъ, задающій ему подобные вопросы, руководится добрымъ желаніемъ принести ему же пользу, оградить на будущее время его интересы, — никогда не откроетъ истины? Одинъ на одинъ, въ пріятельской бесѣдѣ за чайкомъ, онъ разскажетъ вамъ такіе факты, отъ которыхъ буквально волосъ становится дыбомъ, но попробуйте придать этимъ заявленіямъ его не голословный характеръ, и онъ тутъ же, въ вашихъ глазахъ, беззастѣнчиво отопрется отъ своихъ словъ. Почему?.. Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ я приведу слова старика Якова Сысолова изъ деревни Кокуй, Тарсминской волости, Кузнецкаго округа, Томской губерніи, который, во время производства мною слѣдствія по убійству, видя всѣ мои старанія открыть убійцу тщетными, шепнулъ мнѣ на ухо, когда сидѣлъ со мной одинъ на одинъ: „не ищи лучше, батюшка: ничего ты не найдешь! У насъ всѣ знаютъ кто убилъ, да никто тебѣ не скажетъ!“

— Да почему же не скажутъ, — объясни ты мнѣ ради Бога? — спросилъ я, пораженный его словами.

— Э-эхъ! словно ты малое дитя, родимый, погляжу я! — улыбнувшись, отвѣчалъ старикъ Сысоловъ и покачалъ головой. — Ну, по-

суди самъ: сегодня ты здѣсь, а завтра уѣхалъ да и былъ таковъ, а вѣдь намъ-то здѣсь жить доводится. Кому же любо грѣхъ-то на себя накликать? Вѣдь тѣ-то, кого грѣхъ-то въ этомъ дѣлѣ попуталъ,—богатые, властные люди, чиновники-то съ ними за панибрата живутъ, а мы-то што? Любой изъ нихъ дунетъ только—и нѣтъ тебя. Вѣдь кабы, батюшка, вашъ-то братъ, чиновникъ-то, всѣ бы на одинъ покрой были, такъ оно што бы правду-то таить, для чего? Резону нѣтъ! А то, вишь, вѣдь на тыщу-то чиновъ развѣ одинъ только добродѣтельный выищется, да и тотъ, родимый, недолговѣшенъ въ нашихъ мѣстахъ. Пріѣхалъ сегодня, повернулся, а тамъ, гляди, ужъ и нѣтъ его...

Неужели найдутся скептики, что не увидятъ въ этихъ словахъ старика Сысолова выстраданной народомъ мудрости?

Какъ и слѣдовало ожидать, на заданные мною вопросы, и волостной голова, дослуживавшій третье трехлѣтіе, и писарь, чуть ли не выросшій въ этой волости, и Иванъ Афанасьевичъ, почтенный, представительный старичекъ, въ манерѣ обращенія котораго и въ способѣ выраженія проглядывала большая опытность въ сношеніяхъ „съ образованными людьми“, -- отвѣчали, что ничего подобнаго съ искони не бывало у нихъ, что Зажора совсѣмъ негодный человѣкъ, который и самъ-то запутался да и другихъ только зря путаетъ. При этомъ, какъ водится у подобныхъ людей, Иванъ Афанасьевичъ тотчасъ же съумѣлъ къ слову предувѣдомить меня, что его всякое начальство знаетъ даже очепно хорошо и „завсегды къ нему было расположено въ самомъ луччемъ видѣ“...

Болѣе изъ любопытства, чѣмъ для достиженія своей цѣли, я потребовалъ Зажору, для дачи ему очной ставки съ Иваномъ Афанасьевичемъ, головой и писаремъ, призвавъ при этомъ въ свидѣтели нѣсколько человѣкъ крестьянъ. Войдя въ избу, старикъ Зажора нисколько не смутился, увидя людей, отъ которыхъ, по выраженію его, онъ терпѣлъ гоненія. Помолившись на икону и поклонившись мнѣ, онъ съ самымъ незлобивымъ видомъ поклонился и Ивану Афанасьевичу, и головѣ, и писарю.

— Ну, вотъ, старикъ, — началъ я, обратившись къ нему, — я спрашивалъ и крестьянъ вашей деревни, и голову, и писаря, и Степнова, правда ли, что они собирали деньги на шитье царской одежды и на плакаты, но они говорятъ, что ты лжешь, что ничего подобнаго никогда не было, что если бы были подобные поборы, то были бы и мірскіе приговоры, такъ какъ ни одна копейка не можетъ быть взята съ крестьянъ безъ мірского ихъ приговора!

— А-а-а!—протянулъ онъ, и на губахъ его, чуть ли не въ пер-

вый разъ съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣлъ его, мелькнула улыбка. — Неужъ всѣ отперлись?—спросилъ онъ.

— Всѣ... Я затѣмъ тебя и позвалъ, чтобъ ты уличилъ ихъ, доказалъ имъ, что все, что ты ни говорилъ про нихъ—правда; докажи имъ!

— Это имъ-то доказать? — спросилъ онъ, ткнувъ пальцемъ по направленію къ головѣ, писарю и Степнову.

— Ну, да, имъ...

— Не докажешь, батюшка!—и онъ махнулъ рукой.

— Почему же?

— Кабы совѣсть у людей была, такъ куда бы исшо ни шло, можно бы потрудиться побудить ее, а ужъ у нихъ про совѣсть-то, родимый, давно слыху не слыхать; чай, и мѣсто-то, гдѣ лежала она, мохомъ заросло. Правду аль нѣтъ говорю я, Иванъ Афанасьевичъ? — спросилъ онъ, впившись въ него своими сѣрыми, ясными глазами.

— Говори, говори, послушаемъ!.. Порочь! — отвѣтилъ тотъ, не глядя на него.

— Ну, братъ, Иванъ Афанасьевичъ! Одно я тебѣ скажу, сердешный старичекъ, што заплаточки-то изъ пороку тебѣ ужъ и нашивать некуда: весь ты ими увѣшанъ съ головы до ногъ, не гнѣвись!.. Глянь-ко ты мнѣ въ глаза-то...

— Нѣшто не видывали тебя?

— Да гля-я-янь, не укушу вѣдь!

— У тебя и зубовъ-то нѣтъ, да кусаешь-то больно, нечего добро-то говорить про тебя, спасенный человѣкъ! — отвѣтилъ Иванъ Афанасьевичъ, искоса, съ презрѣніемъ посмотрѣвъ на него. — Ишь вѣдь, ты самъ людей во всемъ укоряшь, о Божьемъ словѣ да заповѣди языкъ-то чешешь, а путное ли ты дѣло затѣялъ теперь: взводишь напраслины и на міръ, и на людей, что въ трижды чище тебя?

— Не ты-ль это чище-то меня?

— Не возьму я вниманія урекаться-то съ тобой, знай!

— О-о!.. Ну, чего же подѣлаешь... извѣстно, ты вышняго званія человѣкъ, гдѣ-жъ намъ съ тобой равняться! Ты вонъ въ суконномъ халатѣ ходишь, да чиновникамъ бабъ и дѣвокъ подводишь,—исшобъ не почетный человѣкъ!..

— А ты помолчи лучше, Анисимъ Матвѣичъ, ой, помолчи!.. Не ровенъ часъ—худое-то слово про начальство сказать.

— Аль, думашь, отвѣта боюсь?

— Не опасливый, чего говорить, знаемъ!

— Охъ, Господи, Господи! Што этого уреканья-то межъ людьми,

и не слушалъ бы! — вздохнувъ, произнесъ голова и провелъ ладонью правой руки по усамъ и бородѣ.

Писарь стоялъ молча, относясь, повидимому, совершенно безучастно къ происходящему. Крестьяне-свидѣтели молча сидѣли на лавкахъ, понуривъ головы и избѣгая, повидимому, глядѣть и на Ивана Афанасьевича, и на Зажору.

— Што-жъ вы, обчественники,—обратился вдругъ Зажора къ крестьянамъ-свидѣтелямъ,—сидите, словно васъ морозомъ пришибло? Въ избѣ-то вѣдь тепло; промолвите словечко, скажите его милости: аль не правду я говорю, што съ насъ сбирали деньги на царскую одежду да на плакаты? Аль Иванъ Афанасьичъ не спустилъ въ карманъ мірскихъ денежекъ, а, какъ опись вышла, не перевелъ всю скотинку къ писарю? Не грѣхъ ли вамъ, други, глазами-то половицы считать, а-а? Очнитесь, живые вы люди аль нѣтъ?

— Говори, вишь, всѣ, чего ему хочется... хе... криви совѣстью, а?—произнесъ, усмѣхнувшись, Иванъ Афанасьевичъ, посмотрѣвъ и на голову, и на писаря, который улыбнулся при этомъ; а голова покачалъ головой и глубоко вздохнулъ.

— Што-жъ, отвѣтьте ему, братцы, чего ни на есть!—произнесъ Иванъ Афанасьевичъ, обратившись къ крестьянамъ-свидѣтелямъ.—Я тутъ стою,—обвиняйте!

— Чего ужъ теперь прошлое переворачивать, Иванъ Афанасьичъ! Было время, трясли, трясли его, да ничего не вытрясли! — со вздохомъ отвѣтилъ одинъ изъ свидѣтелей, пожилой уже крестьянинъ.— А только надо бы сказать, что совсѣмъ занапрасно Анисима-то Матвѣича подъ слѣдствіе подвели, да въ волости-то содержали: ничего худого-то не было отъ него... Што болталъ будто, да мало ли кто чего болтаетъ на міру, и пиши про всѣхъ?

— Значитъ, по-твоему, на него напрасно донесли?—спросилъ я.

— Занапрасно, батюшка, чего ужъ таить теперь...

— Отчего же вы не вступились за него, если знали, что его напрасно обвиняютъ, а?

— Темные мы люди, кормилецъ; можетъ, и законъ такъ велитъ... какъ ты впутаешься-то?—отвѣчалъ уже другой свидѣтель.—Наше ли это дѣло?

— Ты писалъ донесеніе?—спросилъ я писаря.

— Я-съ!

— Ты самъ производилъ дознаніе?

— Никакъ нѣтъ .. Голова приказалъ,—бойко отвѣтилъ онъ.

— Скажи-ко лучше—тестюшка!—вмѣшался вдругъ Зажора, об-

ратившись къ писарю. — Всѣ-то вы грибки изъ одного кузова. „Голова“!.. Вотъ онъ голова-то стоитъ... только мѣсто топчетъ да печать коптитъ. Скажи на свою голову приложить печать, — сейчасъ приложитъ. Ты все съ тестюшкомъ дѣло-то вертишь, знаемъ, а какъ отвѣтъ спросятъ и за спину головы прячешься. Онъ все, твоя милость, писалъ это!.. Доносами-то застращивалъ всѣхъ тутъ, штобъ глаза и обчеству, и начальству отводить, что, вишь, де порядокъ блюду. А вотъ разнялъ бы ты ихъ съ тестемъ-то, такъ гляди бы какъ кафтаны, не только по швамъ, а и по цѣлому мѣсту, пороться пошли бы у нихъ. Сознайся, што фитокъ-то заднимъ числомъ поддѣлалъ, какъ опись-то тестю пришла! Ну-ка, говори, сколько ведеръ вина-то обчеству выпоили, што бъ крестнымъ-то цѣлованьемъ закрѣпили рукоблудство ваше, а-а?

Писарь стоялъ красный, какъ ракъ, но мужественно глядѣлъ на меня, стараясь даже не мигнуть.

— Слышишь, чего говорятъ про тебя?—спросилъ я.

— Слышу-съ!—отвѣтилъ онъ.—Я войду съ особымъ прошеніемъ и потребую формальнаго слѣдствія, ваше благородіе, и провѣрки всѣхъ этихъ выводовъ, какъ касающихъ моей чести.

— Не пода-а-ашь! — отвѣтилъ Зажора.—Только спихни тебя съ писарей-то, такъ хвостъ-то длиннѣй версты за тобой потянется, не думай!.. Теперь-то всѣ молчатъ, потому говорить-то опасаются, а тогда вѣдь, братъ, ртовъ-то не завяжешь! И прытокъ козелъ да не на всякую горку вскочитъ!.. Не пода-а-ашь! Не больно храберъ; на пакости-то только мастеръ! Ну, што же, тестюшка, зятенька-то не выручишь? Промолви словечко!.. Ишь онъ, сердешный, подрумянился-то, словно въ банькѣ побывалъ! — насмѣшливо произнесъ Зажора, обратившись къ Ивану Афанасьевичу.

— Наговоримся исшо съ тобой, не ушло время-то!..

— А-а! Съ духомъ соберешься... Ну, что-жъ, подавай тебѣ Господи подспорья! Теперя колышковъ-то понадергалъ съ міра, есть чѣмъ правду-то свою подпередь!

— Это ты чего же касательно говоришь?

— Аль не смѣкнулъ, разжевать надо!

— Не смѣкнулъ...

— Изволь, коль сухого не жуешь, размочимъ! Не думай, Иванъ Афанасьевичъ, не всегда правду-то деньгами замажешь! Можетъ, и на насъ, за наши слезы, Господь оглянется, и надъ нашимъ краемъ солнышко взойдетъ да изсушитъ всю плѣсень, што въ потемочкахъ-то наросла!—пророческимъ тономъ произнесъ старикъ Зажора среди всеобщаго безмолвія окружающихъ.

Представивъ по принадлежности произведенное мною дознаніе, я обнаружилъ всѣ выводы Зажоры, но такъ какъ они не были удостовѣрены опрошенными мною крестьянами, то, конечно, имъ не дали и надлежащаго движенія. Когда я уѣзжалъ изъ Клушина, то въ избу ко мнѣ неожиданно вошелъ Зажора и, помолившись по обычаю въ передній уголъ, упалъ мнѣ въ ноги.

— Заступись, заступись за меня, родимый! — тихо заговорилъ онъ, когда я поднялъ его, и на глазахъ его сверкнули слезы. — Не отвѣта я боюсь: въ острогѣ-то мнѣ, можетъ, лучше бы было, спокойнѣй, остаться-то я здѣсь боюсь!

— Чего же ты боишься, старикъ?

— Боюся!.. Люди развѣ энто, батюшка, самъ видѣлъ ихъ... О-охъ, Господи, не суди ты ихъ!—произнесъ онъ, перекрестившись.— Не увѣчья я боюсь отъ нихъ, дологъ ли вѣкъ-то мой!.. Все равно ужъ, батюшка, впереди-то могилка одна,—днемъ ли позже аль ранѣ,— не минуешь ее! За душу, родимый, боюсь, душу утоплю среди энтого содома! Отпусти ты меня, не держи!

— Куда же тебя отпустить?

— Уйду, батюшка, уйду, куда глаза глядятъ; схороню свою душеньку отъ грѣха и соблазна, въ пустынь уйду!

— Въ какую же пустынь?

— Обрѣту гдѣ ни на есть Божье слово, излечуся имъ и укрѣплюся!

— А хозяйство, домъ-то на кого же оставишь?

— Што мнѣ домъ и хозяйство! Неужъ они дороже души-то, милостивецъ? Пусть дѣтки владѣютъ всѣмъ. Не усчастливилъ меня Господь дѣтками, батюшка, — есть у меня двѣ дочки да непутевыя! Слова-то мои презрили и Господь съ ними! Не сужу я ихъ; одумаются и сами, слова то отца попомнятъ. Отпусти!—и онъ снова упалъ въ ноги мнѣ.—Одно у меня сокровище теперь, батюшка, осталось: душа; не попусти растратить его... Сберегу я душу, укрѣплю ее Божьимъ словомъ, и Господь не оттолкнется отъ меня сираго!—и старикъ зарыдалъ, зарыдалъ, какъ дитя.

Я приказалъ выдать Зажорѣ увольнительный отъ общества видъ, въ случаѣ требованія его. Общество безпрепятственно уволило Зажору, и онъ ушелъ изъ Клушина, какъ послѣ услышалъ я, но куда,—этого никто не зналъ.

ЮРОВАЯ.

Въ декабрьскій вечеръ, въ чисто-прибранной крестьянской избѣ сидѣло трое собесѣдниковъ. Двое изъ нихъ, люди довольно пожилые, имѣли степенный, солидный видъ; дышащая молодостью наружность третьяго отличалась напротивъ неугомонною подвижностью, разлитою не только въ лицѣ его, но и во всей фигурѣ. Особенно не знали покоя руки, то свивавшія на палецъ концы пояска, надѣтаго сверхъ рубахи косоворотки, или крутившія въ жгутъ полы ея, вынужденныя поверхъ тиковыхъ шароваровъ.

На столѣ передъ ними, среди чайной посуды и тарелокъ съ пшеничными калачами, оладьями и блинами, ворчалъ, пуская густые клубы пара, объемистый самоваръ, называемый въ простонародьѣ „купеческимъ“, а вставленныя въ деревянные подсвѣчники сальныя свѣчи, ярко освѣщая лица присутсвующихъ, бросали на выбѣленныя стѣны массивныя тѣни отъ сидящихъ и отъ самовара съ стоявшимъ на комфоркѣ его чайникомъ.

— Ты, Семка, былъ у Ивана-то Николаича?—обратился одинъ изъ пожилыхъ собесѣдниковъ къ молодому парню, перетирая полотенцемъ выполосканные стаканы и блюдца.

— Былъ! — порывисто отвѣтилъ Семка, точно безотлагательно спѣшилъ куда-то, но его задерживали этимъ вопросомъ.

— Чего-жъ онъ поговорилъ съ тобой, а?..

— Говоритъ, что нонѣ они сами набрались ума,—отвѣтилъ онъ.

— Откедова-жъ это?

— Не сказывалъ!

— А тебѣ бы и спросить: давно-ль, молъ, это мужики съ умомъ справляться стали; допрежъ молъ, такого, и слуху не было?..

— Обчествомъ, говоритъ, положили!

— Умомъ-то жить?—прервалъ онъ.

— Ну, насъ, говоритъ, нонѣ на кривой кобылѣ не объѣдешь, сами трахтъ знаемъ!..

— А-а... Ну, сиваго жеребца припасемъ; энтотъ порысистѣй будетъ!..—съ ироніей замѣтилъ первый.

— Петръ Матвѣичъ, ты слушай-ко, чево онъ показалъ-то мнѣ?..—прервалъ его Семка, быстро повертывая стоявшій около него подсвѣчникъ, не замѣчая, что горячее сало каплетъ на скатерть.

— Какъ мужиковъ-то объѣзжать?

— Прутъ!..

— Пру-у-утъ?—удивленно протянулъ въ свою очередь Петръ Матвѣичъ. — О-о!.. Миронъ Игнатичъ, слышь, мужики-то? — произнесъ онъ послѣ короткой паузы, слегка толкнувъ облокотившагося на столъ и дремавшаго подъ воркотню самовара Мирона Игнатьича.

— Взялъ прутокъ,—продолжалъ между тѣмъ Семка,—и кажетъ мнѣ: вишь, говоритъ, одинъ-то его я и пальцемъ сломаю, а коли, говоритъ, метлу возьму, то и топоромъ не съ разу разрубишь! Такъ и вы, говоритъ, порозь то каждаго изъ насъ объѣдете, какъ кому требуется, а коли мы, говоритъ, таперя купно, обчествомъ, такъ попотѣ-ѣ-ѣшь уломать-то насъ! А нонѣ мы, говоритъ, цѣну-то на рыбу будемъ класть, мы будемъ господа-то, а не вы! Тряхнулъ энто шапкой, да и говорить болѣ не сталъ!

— Вонъ оно, времена-то, а?.. и мужики заговорили! — насмѣшливо сказалъ Петръ Матвѣичъ, внимательно выслушавъ разсказъ его.—Ну, да поглядимъ, какъ оно по притчѣ то выйдетъ, кто кого объѣдетъ,—говорилъ онъ, снимая съ комфорника чайникъ и разливая въ стаканы настоявшійся, на подобіе пива, чай. —Поглядимъ,—повторилъ онъ:—на долго-ль хватитъ мужичьяго-то ума; у мужика то передній умъ до перваго горя, а прихватитъ оно—и пойдетъ охать да ахать, да затылокъ чесать... успѣ-ѣ-емъ!

— Напустить бы на-перво на нихъ мелочь-то!—замолвилъ Миронъ Игнатьичъ, дробя пальцами сахаръ на мелкіе куски.

— Зачѣмъ?

— Спѣсь-то сбивать!

— У мужика-то спѣсь, што у пса шерсть: не стриги—сама вылѣзетъ!—замѣтилъ ему Петръ Матвѣичъ?

— Проживаться-бъ не довелось.

— Первѣе всѣхъ уѣдемъ!—авторитетно успокоилъ Петръ Матвѣичъ.

Наступило молчаніе, прерываемое по временамъ мѣрнымъ отдуваніемъ горячаго пара съ блюдецъ, аппетитнымъ прихлебываніемъ наливаемаго на нихъ чая, да звонкимъ раскусываніемъ сахара.

— Наша-то мелочь, — облокотившись на столъ, началъ Петръ

Матвѣичъ, когда первый аппетитъ его былъ удовлетворенъ,—и безъ травли полѣзетъ къ нимъ, а ты только молчи, будто не за рыбой ѣхалъ; мелочь-то они и отобьютъ отъ себя своей спѣсью; она и пойдетъ скупать по фунтамъ, да полу-пудкамъ у наѣзжихъ и израсходуется; на гуртовой-то скупъ рыбы у ней и капиталу не хватитъ, а ты зна-а-ай молчи, говорю, да складывай товаръ, будто въ обратный собираешься... Понялъ?..—внушительно спросилъ онъ.

Миронъ Игнатьичъ, прищуривъ и безъ того узенькіе глаза, вмѣсто отвѣта молча помялъ губами.

— Ну-ко, Семка, чего выйдетъ, тряхни-ко передней-то половицей, а?—весело обратился онъ къ нему.

— Уѣдемъ!

— Затѣмъ и ѣхали... Да съ чѣмъ уѣдемъ то? отвѣтствуй.

— Съ товаромъ!—отвѣтилъ онъ, такъ-же понизивъ голосъ, какъ понижаетъ его ученикъ, не знающій урока и произносящій на вопросъ учителя первое попавшееся на умъ слово. „А-ну, дескать, не угадалъ-ли?“

— А ты полагалъ, я здѣсь его оставлю, а?

Семка замялся, такъ же какъ Миронъ Игнатьичъ, и быстро закрутилъ въ рукахъ оконечности постланной на столѣ синей скатерти.

— Съ рыбой говори, копченый языкъ!—видимо наслаждаясь недогадливостью его, произнесъ Петръ Матвѣичъ.—Съ рыбой, да съ самой хрушкой *), што даромъ отдадутъ, только Христа-ради возьми-и!..

— Шали-и-шь! — отозвался внезапно оживившійся Миронъ Игнатьичъ, придвигая къ нему опорожненный стаканъ. — Коль мужикъ на упоръ пойдетъ, и па деньги не купишь, не тотма Христа-ради возьмешь. Нѣ-ѣ-ѣтъ, не таковскіе они!

— Не куплю?—и Петръ Матвѣичъ, угрюмо насупивъ брови, въ упоръ смотрѣлъ на него.

— И я не первой годъ съ ними возжаюсь,—продолжалъ Миронъ Игнатьичъ, не отвѣчая прямо на вопросъ собесѣдника, — энтотъ-то мужикъ самъ безъ шила бродни шьетъ. Да-а, можетъ и купишь, поставишь на своемъ, коли всѣ деньги выгрузишь, а ужъ штобъ онъ пришелъ тѣ кланяться, возьми-де Христа-ради,—нѣ-ѣ-ѣтъ!

— Придетъ, слышалъ ты это слово мое?

— Давай Господи!

— И накланяется, въ ноги накланяется! Што ты супротивъ этого можешь, а?..

---

*) Крупной.

— Подавай, говорю, Господи... мнѣ-то што-жъ?—уклончиво отвѣтилъ Миронъ Игнатьичъ, хотя мелькающая улыбка осязательно говорила, что сомнѣніе его нисколько не разсѣялось отъ доводовъ Петра Матвѣича.

— А я вотъ такъ таперича полагаю,—съ разстановкою началъ Петръ Матвѣичъ, слегка покачавъ головой,—што съ темнымъ человѣкомъ объ эвоныхъ дѣлахъ слова терять, што въ полѣ вѣтеръ имать,—все единственно. А чѣмъ бы, значитъ, бобы-то тебѣ разводить, пошелъ бы, па мой умъ, доглядѣть за Авдеемъ, правое слово!..

— Доглядимъ, не уйдетъ! — обидчиво отвѣтилъ Миронъ Игнатьичъ.

— Слыхалъ я сызмальства, што у мужика разъ водополь емъ плотину сорвало; снесетъ, говорятъ ему, мельницу-то!.. Не снесе-е-тъ! Подпорка, говоритъ, есть... О-ой снесетъ, кричатъ... А онъ одно твердитъ: нѣ-ѣтъ! А опосля, а-а-ахъ, да о-о-охъ, стой, лови!.. а тамъ ужъ одпѣ щепы!..

— Это въ мой огородъ, а?..

— Въ чей попадетъ,— сухо отвѣтилъ Петръ Матвѣичъ, — заранокъ не мѣтилъ. А ты, Семка, налилъ брюхо-то, аль нѣтъ?—обратился онъ къ Семену, когда Миронъ Игнатьичъ, молча вставъ съ лавки, надѣлъ полушубокъ, запоясался и, снявъ съ гвоздя шапку, вышелъ.

Семка, вмѣсто отвѣта, сталъ спѣшно выхлебывать съ блюдца чай.

— Не жгись, пей путемъ!.. кипятокъ-то не купленъ!.. Сбѣгай-ко ужо, говорю...

Порывисто опрокинувъ опорожненную чашку на блюдцо и положивъ на донышко ея обгрызанный кусокъ сахара, Семка выскочилъ изъ-за стола и побѣжалъ къ двери.

— Съ узды тебя спустили, а? — строго остановилъ его Петръ Матвѣичъ.—Вотъ экъ-то ты во всякомъ дѣлѣ! Ты на-перво выслушай, куда идти, зачѣмъ идти, да потомъ ужъ показывай, какими гвоздями у тебя закоблучья-то подбиты! — точилъ онъ озадаченнаго Семена, остановившагося среди комнаты.—Сбѣгай-ко, говорю, къ Ивану-то Николаеву, да скажи ему: Петръ Матвѣичъ самъ, молъ, ждетъ тебя безпримѣнно. Слышь?.. да што промежъ насъ въ разговорѣ было—ни-и-ни штоба.

— Я-то съ чего?—оправдывался Семенъ, опустивъ глаза въ полъ и крутя въ рукахъ подолъ своей рубахи.

— То-то, смо отри! Языкъ-то у тебя на живу нитку сметанъ. Скажи, што безпримѣнно ждетъ: всякія, молъ, дѣла оставилъ, дожидается!—заключилъ Петръ Матвѣевичъ.

Но послѣднія слова его долетѣли до ушей Семена за порогомъ.

Оставшись одинъ, Петръ Матвѣичъ раскрылъ подержанный, дорожный погребокъ, надѣлъ на глаза очки въ толстой серебрянной оправѣ и, приблизивъ къ себѣ свѣчи, сталъ медленно разбирать сложенныя во внутреннемъ ящикѣ его росписки. Всмотрѣвшись въ этотъ моментъ въ наружность его, когда онъ весь изображалъ вниманіе и когда падавшій прямо свѣтъ ярко обливалъ открытый лобъ его, прорѣзанный морщинами, клювообразный носъ и тонкія, сухія съ блѣднымъ отливомъ губы, — нельзя было не придти къ мысли о мѣткости народныхъ выраженій: „ѣдокъ“, „жила“, „грабля“, характеризующихъ подобныя личности. На черствомъ, холодномъ лицѣ его не пролегало ни одной мягкой черты: оно, казалось, застыло на одной первенствующей мысли, и никакое иное чувство, если бы и рождалось оно, не могло бы отразиться на немъ, проникнуть сквозь эту наросшую отъ времени кору. И наружность, и характеръ Петра Матвѣича были хорошо знакомы крестьянамъ и инородцамъ тобольскаго и березовскаго округовъ. Каждую весну онъ оснащивалъ два павозка*) и отправлялъ на нихъ своего шурина Мирона Игнатьевича Ивергина, служившаго у него въ качествѣ довѣреннаго, и племянника Семена по деревнямъ, лежавшимъ по Иртышу, и на обскіе рыбные промыслы. На дешевенькіе ситцы, платки, бродни и другой мелкій товаръ, необходимый въ быту крестьянъ, они вымѣнивали рыбу и „задавали“ деньги вѣчнонуждающемуся люду подъ осенній и „юровой“ уловъ ея. Благодаря подобнымъ задаткамъ, вся лучшая крупная рыба оставалась всегда за Петромъ Матвѣичемъ, который, кромѣ продажи ея въ собственной лавкѣ, въ г. Т..., гдѣ онъ имѣлъ свой домъ,—отправлялъ ее довольно значительными партіями ко-времени ярмарки въ Ирбитъ. По первому зимнему пути Петръ Матвѣичъ самъ объѣзжалъ всѣ села и деревни, лежавшія вверхъ и внизъ по Иртышу, для сбора рыбы отъ крестьянъ, забравшихъ подъ уловъ ея деньги. Должники всегда съ трепетомъ ожидали его пріѣзда. Каждый изъ нихъ зналъ, что какое бы горе и нужда ни застигли его, — онъ не могъ разсчитывать на снисхожденіе къ нему Петра Матвѣича. „Бралъ и отдай!“ твердилъ Петръ Матвѣичъ въ отвѣтъ на мольбы, слезы и поклоны крестьянина или инородца. А вопіющая нужда все-таки вынуждала этотъ бѣдный людъ прибѣгать къ нему за деньгами и отдавать свою лучшую рыбу за цѣны, не вознаграждающія даже и труда. Такъ и теперь, только-что пріѣхавъ въ село Юрьево, Петръ Матвѣичъ первую же свободную минуту

*) Павозокъ—большая палубная, одномачтовая лодка.

посвятилъ разбору выданныхъ ему должниками росписокъ. И какихъ только росписокъ не мелькало въ его рукахъ! „Сиводне ваграфенинъ день,—читалъ онъ одну изъ нихъ, написанную на клочкѣ толстой синей бумаги гвоздеобразными буквами,—пусталобафскій хрисанинъ и ивъфинакенъ иръмалаифвъ у мешанина натапа петравешина твацать руплеффъ всялъ и абисуюсъ въфинакенъ ирмалаивъ руку прилошилъ". Печать сельскаго старосты скрѣпляла подлинность росписки. Отмѣтивъ въ записной книжкѣ цифру долга, Петръ Матвѣичъ отложилъ прочитанную росписку въ сторону и взялся за новую, и, приблизивъ ее къ свѣту, хотѣлъ читать, но въ это время дверь распахнулась и въ комнату вошелъ пожилой крестьянинъ, въ новомъ казанскомъ полушубкѣ. Петръ Матвѣичъ поднялъ голову и, пристально посмотрѣвъ на него, снялъ очки.

— Спѣси-ивъ сталъ и не зазовешь: — видать денегъ много скопилъ?..— съ ироніей спросилъ онъ, пока вошедшій крестился на икону, висѣвшую въ переднемъ углу.

— Мужику-ль деньги копить!—отвѣтилъ онъ.

— А кому-жъ бы и копить, какъ не мужику, а?

— Торгующимъ!.. Не сѣютъ, не жнутъ, а сама денежка копейку родитъ!—Здравствуй-ко, Петръ Матвѣичъ! — заключилъ гость, пожимая протянутую руку.—Чего по мнѣ-то заскучалъ, а?—спросилъ онъ, садясь на лавку. — Прибѣжалъ это твой-то Семенъ Платонычъ въ попыхахъ такихъ: ждетъ, говоритъ, безотмѣнно. Ну, дай, думаю, пойду, чего стряслось! Побаловать пріѣхалъ къ намъ, а?

— Потѣшу васъ, куда васъ дѣть-то!

— И себя-то, поди, не забудешь утѣшить-то, а?

— Завязалъ же узелокъ на память!..

— А-а, короче стала?..

— Съ вашимъ-то братомъ скоро и послѣднюю отшибетъ; вишь грѣховъ-то,—промолвилъ хозяинъ, захвативъ пачку росписокъ и показавъ гостю,—запомни-ко всѣ-то!

— И всѣ на мужикахъ?

— Болѣ ихъ некому въ карманъ-то насолить... Слыхалъ, и ты сбираешься, и-и по-пріятельски?

— Вѣстимо, лучше пріятеля никто въ карманъ не плюнетъ!.. Только я-то бы чѣмъ же это повиненъ, а?

— Слыхалъ, што мужиковъ учишь рыбы намъ дешево не продавать?..

— Эвона какой грамотѣ!

— И съ притчами по писанію!

— Это я-то будто учу-то ихъ?

— Все ты, ты—говорятъ, Иванъ Николаевъ!..

— А-а-ахъ онъ этотъ Иванъ Николаевъ, а?—шутливо произнесъ посѣтитель.—Ну-у, попадись онъ мнѣ, старый хрѣнъ, я ему сѣдые то вихры завью-ю!..

— Завей-ко, завей!..

— И тоись въ лучшемъ видѣ! и на широкомъ открытомъ лицѣ гостя, обрамленномъ сѣдою бородой, выразилась неуловимая иронія. Трудно было опредѣлить, выражала-ли она только насмѣшку, или служила маской для прикрытія угаданной дѣйствительности. Петръ Матвѣичъ, прищуривъ глаза, пристально смотрѣлъ на него, желая проникнуть въ настоящій смыслъ его неопредѣленнаго выраженія, но Иванъ Николаичъ, не измѣняя себѣ, съ спокойною самоувѣренностью выдержалъ взглядъ его.

— А я исшо съ дуру-то и гостинецъ привезъ!—произнесъ Петръ Матвѣичъ, все также пытливо продолжая смотрѣть на гостя и слегка барабаня пальцами по столу.

— Ивану то Николаеву?

— Ну... ну... сычу-то этому!

— Я бы на твоемъ мѣстѣ, и ковша-то воды бъ пожалѣлъ ему, и-ей-Богу!..

— То-то я не въ тебя... добрый!..

— Ужъ, помилуй Господи: кабы всѣ-то въ тебя были, чего-бъ и было, — отвѣтилъ гость съ тою же неопредѣленною ироніей въ лицѣ и тонѣ.

— Не худо ли, скажешь?

— Пошто худо—хорошо-о... только заживо бы, говорю, хоронись!

— Отъ добра то?..

— Отъ добра!—утвердительно отвѣтилъ Иванъ Николаичъ. — Вѣдь всякій добръ то на свой аршинъ, Петръ Матвѣичъ; а не нами исшо сказано, што у мужика-то аршинъ супротивъ купеческаго вдвое длиннѣй: вотъ оно мужику-то добромъ-то за добро платить и убытошно!

— Не у всѣхъ купцовъ то одинъ аршинъ!.. Не обмѣрься!

— Обмѣръ на свой счетъ приму... Не купецъ — на чужой не прикину!..

— На чистоту будемъ разговаривать-то што-ль? — спросилъ Петръ Матвѣичъ послѣ непродолжительнаго молчанія, поправляя нагорѣвшія свѣчи.

— Вѣрнѣй будетъ, а то скрозь мутную-то воду, сколь ни смотри, все дна не увидишь! Да вѣдь твои-то разговоры я зна-аю,—и Иванъ

Николаичъ, въ свою очередь, пристально посмотрѣлъ на хозяина: — къ рыбкѣ подбираешься, а?.. — съ улыбкой спросилъ онъ, — почемъ нонѣ пудъ-то думаешь брать?..

— Глядя по улову!

— Уловы-то плохи, не рука-а!

— И юровые-то плохи же?

— Не похвалимся!..

— А я слыхалъ, юровой-то супротивъ лонскихъ годовъ не въ примѣръ избытошенъ, а-а... правда-ль?

— Гдѣ-жъ слыхалъ-то?

— По дорогѣ!

— Такъ зачѣмъ же къ намъ-то ѣхалъ? Тамъ бы и купилъ, гдѣ сказывали и, чать, дешево бы отдали, и-ей-Богу!—съ иронiей отвѣтилъ Иванъ Николаичъ.—Аль по насъ-то заскучалъ?

— О-о-охъ, Иванъ Николаичъ, грѣ-ѣ шишь ты! Петръ Матвѣичъ засмѣялся неестественнымъ, натянутымъ смѣхомъ, желая прикрыть свое смущенiе.—Говори лучше по чистотѣ,—снова началъ онъ:—и уловы хороши, и рыбы хрушкой много, а только хочу, молъ, цѣну набить, поразорить тебя.

— Не грѣши и ты, Петръ Матвѣичъ: разорять-то ужъ твое дѣло, а не мое!—серьезно замѣтилъ ему Иванъ Николаичъ.

Петръ Матвѣичъ побагровѣлъ, брови его сдвинулись къ переносью, нижняя губа слегка дрогнула и, прищуривъ глаза, онъ злобно посмотрѣлъ на гостя.

— Любопытно бы, кого это я разорилъ-то?—спросилъ онъ оправившись.

— Счетъ-то, Петръ Матвѣичъ, длиненъ, што нить у пряжи!—отвѣтилъ ему Иванъ Николаичъ, какъ бы не замѣчая его смущенiя.—Вѣдь энти всѣ росписочки-то твои,—о-о-о!.. много въ нихъ грѣха?.. Ты не серчай; я съ простоты говорю это! Кого грѣхъ то вотъ попуталъ связаться съ тобой, тѣхъ ты и объегоривай, а наше дѣло, скажу тебѣ, особливое, всякому свое добро дорого: выходитъ и вилять тебѣ нечего, што рыбѣ въ сѣтяхъ!..

— Ай-да пріятель, удру-жи-илъ... спасибо! Выходитъ, по твоему-то разговору, мнѣ вашей рыбы не видать, а-а?

— За денежки сколько хошь смотри, на то и товаръ, прятать не будемъ.

— А што, Иванъ Николаичъ, къ слову спрошу я: а ну какъ въ наплеванный-то колодецъ испить придешь, тогда какъ, а?

— Не пью я колодешной-то, Петръ Матвѣичъ!

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— На [illegible], [illegible]!

На то я тутока; свой бы карманъ былъ цѣлъ, а чужой-то что хоронить... у всякаго свой хозяинъ—пущай и бережетъ его.

— [illegible] тебѣ-то [illegible]. У [illegible] кошелекъ, а?..

— [illegible]... ты... извѣстно для оборота. Не жалѣть было, такъ и не нужно бы, а я бы тихо и [illegible]... на [illegible]...

— И было-то не забылъ, а-а-а!..

— А тебѣ [illegible], да шапку изъ сигушки—весь заводъ заглядится на тебя, а?

*) Торговый терминъ: и мелкая, и крупная рыба, не разбираемая даже по [illegible], покупается за одну и ту же цѣну—обыкновеніе очень выгодное для торговцевъ.

— А-а-ахъ, шутъ тебя возьми! — съ улыбкой произнесъ Иванъ Николаичъ.—Ну-у-у, ахнутъ мужики-то?..

— И-и какъ ахнутъ-то?.. да не одни мужики, и у бабъ-то глаза загорятъ, глядя на тебя!..

— Старъ, другъ!..

— У стараго-то козла и рогъ крѣпокъ!

— А-а ах-ха-ха... и-и баловникъ же ты: видать не на еловыхъ угляхъ выкованъ! Ну-у!.. и энти всѣ милости за то, чтобы я тебѣ по своей же цѣнѣ и рыбу продалъ, а?..

— Штобъ ты не въ убыткѣ былъ!..

— Все это обо мнѣ радѣешь, а-а-а?.. Пошли тѣ Господи за добро твое!.. За што же бы это полюбился-то я тебѣ?

— За умъ!

— О-о, да нешто у мужика есть умъ-то?

— Эге-е!.. этого-то добра у иного и лопатой не выгребешь!..

— Ди-иво!.. а мы-то въ простотѣ полагали, што Богъ и имъ мужика обошелъ, такъ неужъ ты и въ заболь умныхъ-то любишь, а?— наивно спросилъ гость.

— Не любилъ бы и не говорилъ!

— А на мой глупый разумъ, тебѣ бы, Петръ Матвѣичъ, дураковъ-то жаловать; право, объегоривать-то ихъ способнѣй, коли ужъ на то разговоръ пошелъ. Ты вотъ умнымъ-то меня похвалилъ, я и загордился, и хороши, въ умѣ-то думаю, посулы твои, да совѣсть дорога; хоша и говоря-ятъ, што она у мужика-то черезъ край лыкомъ шита, а все не продамъ ее ни за какіе дары и выходитъ, ты обчелся, на вѣтеръ похвалы-то кидалъ!..

Нижняя губа Петра Матвѣича снова дрогнула и замѣтно было, какъ онъ стиснулъ зубы.

— А-а вотъ... какъ ты послѣ! — произнесъ онъ послѣ непродолжительной паузы,—и это послѣднее твое слово?

— Послѣднее-то слово, Петръ Матвѣичъ, въ смертный часъ скажется; а вотъ штобъ ты по своей цѣнѣ нонѣ у мужиковъ рыбу-то купилъ—вотъ этому, говорю, не быва-а-ать.

Петръ Матвѣичъ забарабанилъ пальцами по столу.

— О-ой, Иванъ Николаичъ, слушай лучше меня, — со вздохомъ началъ онъ: — смотри-и, придешь ее самъ продавать въ три-дешево... и въ ноги поклонишься, да опозда-а-аешь!..

— И въ ноги-то накланяюсь, а а-а?—съ наивнымъ удивленіемъ спросилъ Иванъ Николаичъ.

— Поклонишься!..

— Ахъ, ѣшь е мухи!.. а?—развелъ руками и хлопнулъ себя по бедрамъ Иванъ Николаичъ.

— Рыба-то съ рукъ не пойдетъ, поклонишься!—тѣмъ же тономъ повторилъ Петръ Матвѣичъ.

— А не пойдетъ и не иди!.. Гнать не буду... свое брюхо есть...

— А-а, стало быть, самъ съѣшь?

— И съѣмъ!.. для-ча утробу не потѣшить?

— И разъѣшься же, поглядѣть бы.

— Свое-то добро за все въ прокъ!.. Што-жъ, не все купцамъ, да баранъ брюхо ростить, пора и мужику его выростить, пора-а-а, Петръ Матвѣичъ, и мужику умомъ жить, о-охъ, пора!.. Ты вотъ по своей-то цѣнѣ ее берешь, міръ зоришь; попомни-ка лонскіе-то годы, когда мы по нашей-то глупости осетрину-то по шести, да по пяти гривенъ пудъ отдавали, почемъ ты въ городѣ то продавалъ ее, ну-ко?..

— На то и товаръ, штобъ продавать,—и убытковъ-то не мало, Иванъ Николаичъ, не мало!.. Энтотъ-то товаръ по спросу.

— А-а-а, по спросу, да каковъ бы ни былъ спросъ-то, а ты все менѣе трехъ съ полтиной, да четырехъ рублевъ не продавалъ ее! И считай-ко, сколько лихви-то бралъ, а? А гдѣ-жъ они, убытки-то твои, какіе такіе? Кони у тебя свои, на харчи въ деревняхъ не тратишься... и напоитъ, и накормятъ до-сыта за одну честь... такъ гдѣ-жъ они убытки то, ну-ко?.. Нѣтъ, Петръ Матвѣичъ, а мой умъ, коли ты самъ хочешь хлѣбъ ѣсть, такъ и другимъ давай, и другой, какъ ты, ѣсть хочетъ. Твое то дѣло пріѣхать, готовое взять, да ты и тутъ мѣтишь утторговать у всякаго и правдой, и неправдой, а мужичье-то дѣло и денной, и нощной работой припасти-то ее. У него на ловлѣ-то не токма на обуви, а на тѣлѣ на палецъ, на два льду нарастетъ, о-о!.. Рыбка-то она на ѣду скусна, а полови-ко ее, попробуй, и узнаешь, какъ мужика-то на морозѣ потъ съ кровью прошибаетъ! Такъ за што-жъ намъ на чужіе-то карманы его нести, у насъ и свои есть—глупы, глупы, а все ума-то наберется... У насъ ига то и безъ того много... мужикъ-то всѣхъ поитъ, да кормитъ, только его-то въ проголодь держутъ!.. Мы тебѣ сколько лѣтъ, посчитай-ко, уваженье-то дѣлали, по семи, да восьми гривенъ пудъ—што ни есть лучшей рыбы отдавали. А теперь ты намъ уважь,—по два съ полтиной купи ее. Ты вонъ, вишь, на нашу-то простоту брюшко-то выправилъ, што у доброй бабы на сносѣ, а брюхо-то растетъ, говорятъ, по карману, въ карманѣ тонко, такъ и брюхо тоще: такъ теперь и намъ дай его выправить-то и полюбовное дѣло будетъ. А не хошь и Богъ съ тобой—другой купитъ, а деньги-то отъ кого ни брать—все единственно, былъ бы карманъ, куда класть!

Сила убѣжденія, съ какимъ говорилъ Иванъ Николаевичъ, сказывалась не въ одномъ тонѣ голоса и словахъ, она отражалась и въ блескѣ большихъ сѣрыхъ глазъ, и въ яркомъ румянцѣ, разлившемся отъ внутренняго волненія на лицѣ говорившаго.

— А ужъ кланяться,—продолжалъ онъ,—я не пойду къ тебѣ:—устарѣлъ, устарѣ-ѣ-ѣлъ, Петръ Матвѣичъ, и съ молоду не кланялся, а ужъ подъ старость-то не буду навыкать! — заключилъ онъ, взявшись за шапку.

— Ну, Иванъ Николаичъ, давай же тебѣ Богъ богатѣть, да жирѣть!—съ злою ироніей отвѣтилъ Петръ Матвѣичъ, упорно молчавшій все время, пока говорилъ онъ. — Не забывай, коли понадоблюсь, неровенъ часъ!..

— Насъ-то грѣшныхъ прости, коли согрубили што съ простоты-то!

— Ну, отъ простоты-то твоей, — произнесъ Петръ Матвѣичъ, провожая гостя къ дверямъ и похлопывая себя по затылку,—въ кровь расчешешь!

— О-о-о!..Ну, и мужики-то сказываютъ, што на энтомъ же мѣстѣ отъ купеческой-то правды у нихъ коросты растутъ! — отвѣтилъ онъ улыбаясь и взявшись за скобу двери. — Ну, прости же, коли чего, приходи, потолкуемъ!—говорилъ онъ, выходя въ дверь.

Проводивъ гостя, Петръ Матвѣичъ въ раздумьи поправилъ нагорѣвшія свѣчи и медленно прошелся по комнатѣ. „А-а-а!.. мужикъ... заѣлся... по-о-остой!“ дрожащимъ голосомъ процѣдилъ онъ сквозь зубы и, отворивъ дверь, крикнулъ: „Семка-а-а а, Семка!“

Но утомившійся за день Семка спалъ на палатяхъ глубокимъ сномъ.

Каждую зиму передъ Николинымъ днемъ пустынная дорога въ село Юрьево или Юрьевскій Ямъ, лежащее на берегу Иртыша по березовскому тракту, оживляется отъ съѣзжающихся въ него на ярмарку торговцевъ и крестьянъ. Ярмарка эта, извѣстная подъ названіемъ „Юровой“, существуютъ въ немъ съ незапамятныхъ временъ, постоянно привлекая къ себѣ тобольскихъ мѣщанъ, а иногда и купцовъ средней руки, ведущихъ обороты въ кредитъ изъ вторыхъ и третьихъ рукъ и скромно называющихъ себя „торгующими“. Вереницами тянутся въ эти дни фургоны ихъ, запряженные парою, иной разъ и тройкою сильныхъ, сытыхъ лошадей, нагруженные тѣми незатѣйливыми товарами, какими довольствуется не изощрившее еще своихъ вкусовъ сельское населеніе. Одинаково съѣзжаются и крестьяне не только изъ ближнихъ, но и дальнихъ отъ Юрьева селъ и деревень, разбросившихся вверхъ и внизъ по Иртышу съ своими произведеніями и продуктами окружаю-

щей ихъ природы. Мѣшки сушеной морошки, малины, черемухи, кедровый орѣхъ, мелкіе засоленные въ кадкахъ грузди, березовики, связки сушеныхъ бѣлыхъ грибовъ, бочки съ брусникой и клюквой виднѣются на каждомъ возу. Иной мужичекъ привезетъ на нее штукъ сорокъ бѣличьихъ и заячьихъ шкуръ, не въ рѣдкость увидѣть и волчьи, и чернобурыя, медвѣжьи. Трудолюбивое женское населеніе привозитъ на эту ярмарку тонкіе льняные холсты, немного уступающіе въ чистотѣ и прочности лысковскимъ, полотенца, узорно вышитыя по краямъ разноцвѣтною бѣлью, — грубоватыя по отдѣлкѣ, но прочныя настольныя скатерти, пологи,—половики и особенно рыболовныя мережи для мелкихъ сѣтей и крупныхъ неводовъ, вязанье которыхъ составляетъ одинъ изъ главныхъ женскихъ промысловъ тобольскаго и березовскаго округовъ. Изъ иного воза торчатъ и поднятыя вверхъ ноги свиныхъ тушъ и объемистыя связки бѣлыхъ дородныхъ гусей. Изъ деревень, расположенныхъ въ болѣе лѣсистой мѣстности, тянутся воза съ дугами, раскрашенными баканомъ, охрой и ярью, и съ различною деревянною посудой. И чего не встрѣтитъ на этихъ возахъ любопытный наблюдатель, начиная съ корыта и кадки, и кончая узорно выточеной ложкой съ рѣзкимъ запахомъ лака. Щеголевато выглядываютъ изъ нихъ вмѣстительные жбаны подъ квасъ, расписанные цвѣтами и плодами, надъ классификаціей которыхъ призадумался бы и опытный ботаникъ. Выточеныя въ видѣ боченка, барана или пузатаго карася солонки и большія круглыя чашки для щей развозятся скупающими ихъ торговцами не только въ сосѣдніе округа, но и въ смежную томскую губернію. И на каждой чашкѣ грамотный покупатель прочтетъ замысловатую надпись, сдѣланную сусальнымъ золотомъ, въ родѣ слѣдующихъ: „сядишь за миня не зевай, ложку языкомъ дасуха абтирай“, „налешъ виня густо не будетъ въ брюхе пусто!“ или „паефши изменя досыта паной и меня дочиста!“ и т. п. выраженія народнаго юмора.

Но главный продуктъ юровской ярмарки, привлекающій къ себѣ городскихъ торговцевъ,—рыба, богатое даяніе пустынной Оби и Иртыша, щедро вознаграждающее мѣстное населеніе за недостатокъ другихъ промысловъ. Крупный осетръ, чалбышъ, жирныя стерляди, нельма, муксунъ, не менѣе крупная щука, налимы, окуни, ерши. Весь лѣтній и осенній уловы ея всецѣло идутъ на эту ярмарку и особенно прибыльный уловъ, начинающійся съ первыхъ дней рѣкостава еще по неокрѣпшему синеватому льду, который трещитъ и гнется подъ ногою ловца. Названіе этого улова „юровой“ время и привычка присвоили и самой ярмаркѣ. Производится онъ „самоловомъ“, снарядомъ самаго простого устройства: на длинной, толстой бичевѣ съ тяжелымъ камнемъ, навя-

занным на концѣ ея, прикрѣпляются на коротенькихъ бичевкахъ, въ близкомъ разстояніи одна отъ другой, желѣзные крючья въ формѣ удочки. Обыкновенно съ первыми заморозками рыба, и особенно крупная, ложится на дно глубокихъ ямъ и слои ея, называемые на языкѣ рыболововъ „юрами", бываютъ до того густы, что нерѣдко наполняютъ ямы отъ самаго дна до верхнихъ окраинъ, и часто случается, что нижніе слои рыбы задыхаются отъ давленія верхнихъ. Въ эти-то ямы, нанеречетъ извѣстныя рыбопромышленникамъ, въ продолбленныя надъ ними проруби и забрасываются самоловы: встревоженная камнемъ рыба начинаетъ шевелиться и, задѣвая за острые крючья, попадаетъ ни нихъ. По колебанію бичевы рыболовъ замѣчаетъ о степени улова, и медленно вытягивая ее изъ воды, ссаживаетъ почти съ каждаго крючка добычу, зацѣпившуюся хвостомъ, плавниками или жабрами. Иногда въ теченіе недѣли этотъ благодарный промыселъ окупаетъ годовыя потребности крестьянскаго семейства.

Дня за два до ярмарки, по единственной проѣзжей улицѣ села тянется рядъ балаганныхъ остововъ, сколоченныхъ изъ тонкихъ жердей. Подобные остовы, я думаю, хорошо знакомы каждому, кому доводилось посѣщать сельскія ярмарки или „грошевыя передряги", какъ насмѣшливо называетъ ихъ болѣе капитальное купечество, посѣщающее Нижній-Новгородъ и Ирбитъ. Это высшее торговое сословіе съ презрѣніемъ относится и къ тому небогатому люду, который раскладываетъ свой товаръ подъ сѣнью балагановъ, прикрываемыхъ отъ непогодъ грязными холстинами или циновками. Первое мѣсто на узенькихъ полкахъ всегда занимаютъ ситцы, гарусныя шали, ленты, полушелковые головные платки яркихъ рисунковъ и цвѣтовъ, но крайне сомнительной доброты. Все то, что идетъ въ бракъ въ городскихъ магазинахъ и лавкахъ, скупается торговцами, разъѣзжающими по деревенскимъ ярмаркамъ, за половинныя цѣны и сбывается простодушнымъ деревенскимъ покупательницамъ за товаръ высшей доброты, за цѣну, вдвое превышающую его дѣйствительную стоимость. Мужскіе опояски, шапки, опушенныя выхухолью, котикомъ и бѣлымъ русскимъ барашкомъ, сапоги, извѣстные подъ названіемъ „кунгурскихъ", войлочные валенки, замшевыя рукавицы, расшитыя разноцвѣтною шерстью и простыя кожаныя, красиво развѣшанныя на шестикахъ въ видѣ фестоновъ, привлекаютъ къ себѣ вниманіе и деревенскихъ франтовъ, и людей солиднаго возраста, оцѣнивающихъ товаръ болѣе по достоинству, чѣмъ по внѣшности. За ними слѣдуютъ сыромятныя сбруи, черезсѣдельники, украшенные мѣдными кольцами и бляхами, какими любятъ щеголять сибирскіе крестьяне, плотничные и кузнечные инстру-

менты и рублевые дробовики и винтовки съ кремневыми замками. Парфюмерныя издѣлія гг. Мусатова и Альфонса Ралле, вмѣстѣ съ ситцами, платками, серебряными и мѣдными перстнями и такими же серьгами заставляютъ сильно биться сердца деревенскихъ красавицъ, гуляющихъ въ день ярмарки около балагановъ, которыя такъ же, какъ и женщины высшихъ сословій, гонятся болѣе за блестками, нежели за насущною пригодностью вещи. Если включить еще въ этотъ перечень фаянсовую и мѣдную посуду, самовары произведенія гг. Тулиновыхъ, съ драконовой или львиной головой на концѣ крана, корковые и жестяные подносы съ изображенными на нихъ рыцарскими замками или ландшафтами съ купающимися нимфами, бюсты которыхъ превышаютъ объемомъ своимъ пропорціональность прочихъ частей тѣла, затѣмъ различные орѣхи, шенталу, всевозможныхъ формъ и вкусовъ пряники, то каждый составитъ себѣ полное понятіе о стоимости товара, о средствахъ владѣльцевъ ихъ и о потребностяхъ и вкусахъ покупателей.

Пока наѣхавшіе торговцы устраиваютъ балаганы, у крестьянъ идетъ также дѣятельная работа: разгружаются возы съ навезенными продуктами, рыба сортируется по родамъ и величинѣ и складывается въ поленницы. Въ эти-то дни до открытія ярмарки, продолжающейся всего одни сутки, и свершаются торговыя сдѣлки между крестьянами и торговцами. Расхаживая по дворамъ, торговцы присматриваются къ рыбѣ, опытнымъ глазомъ отличая икряную отъ яловой, безошибочно опредѣляя и количество икры, какое выйдетъ изъ каждой, и время улова рыбы. По обилію того или другого рода ея устанавливаются и цѣны. Но какія цѣны! Побуждаемые нуждою и всегда дѣйствуя порознь другъ отъ друга, крестьяне по необходимости продаютъ ее по цѣнамъ, произвольно назначаемымъ самими же покупателями. Только въ описываемое мною время крестьянинъ села Юрьево Иванъ Николаевичъ Калининъ убѣдилъ своихъ однодеревенцевъ не поддаваться на уловки скупщиковъ и установить свою цѣну на каждый родъ рыбы. Мы видѣли, какое впечатлѣніе произвело извѣстіе объ этомъ на Петра Матвѣевича Вѣжина, главнаго гуртового скупщика рыбы.

Въ простонародьи нерѣдко встрѣчаются личности, подобныя Ивану Николаевичу; онѣ составляютъ то отрадное исключеніе, на которомъ отдыхаетъ умъ наблюдателя, утомленный однообразіемъ типовъ большинства. Въ нихъ, какъ въ фокусѣ,—отражаются тѣ могучія живыя силы, какія таятся въ народѣ и безслѣдно исчезаютъ, не находя въ окружающей ихъ жизни благотворнаго исхода.

Одаренный умомъ и неисчерпаемымъ юморомъ, проявлявшимся, несмотря на старость, въ какой-то дѣтской шутливости,—Иванъ Ни-

колаевичъ честностью отношеній къ людямъ, доходившей до мелочности,—умными дальновидными совѣтами и энергичною стойкостью за интересы своего общества пріобрѣлъ себѣ уваженіе не только однодеревенцевъ но всей волости, нѣсколько разъ избиравшей его головой. Но онъ всегда отклонялъ отъ себя эту честь подъ различными предлогами. Какъ и многія другія выдающіяся изъ народа личности не минуютъ острога, такъ не миновалъ его и Иванъ Николаевичъ. Рано сказалась въ немъ эта протестующая, присущая его натурѣ, сила: — еще въ молодости онъ принялъ на себя ходатайство въ дѣлѣ искорененія злоупотребленій волостныхъ и сельскихъ начальниковъ при сборѣ съ народа податей и денежныхъ и хлѣбныхъ недоимокъ и дорогою цѣною поплатился за это. Болѣе года онъ содержался въ острогѣ и ему угрожала ссылка на поселеніе въ Киргизскую степь, но общество поголовно взяло его на поруки и его оставили. Но и вынесенный имъ урокъ не охладилъ его энергіи, а, казалось, болѣе закалилъ его. Человѣкъ бѣдный, Иванъ Николаевичъ стоялъ за бѣдность,—все забитое горькою долей находило отголосокъ въ его честной, любящей душѣ и придавало ему сознательную силу въ правотѣ своихъ дѣйствій. Онъ находилъ какое-то упоеніе въ постоянной борьбѣ то съ міроѣдами, подтачивающими въ корнѣ народное благосостояніе, то съ волостными головами, писарями и сельскими старостами. Ни одно дѣйствіе ихъ, если только, по убѣжденію его, оно шло наперекоръ общественныхъ нуждъ, не ускользало отъ его вниманія, вызывая въ немъ громкій протестъ, и безпощадно осмѣивалось имъ на волостныхъ и сельскихъ сходахъ. И боялись же они этого правдиваго, безбоязненнаго голоса! „О-охъ, Иванъ Николаевичъ, не минуешь ты сызнова острога!“ говорили ему болѣе осторожные крестьяне, привыкшіе только уклончиво, махая руками, говорить: „не наше дѣло!“ И все-таки увлекаемые его краснорѣчіемъ, они часто, забывая свою осторожность, возвышали вслѣдъ за нимъ и свой голосъ.

Эксплуатація наѣзжающихъ торговцевъ всегда возмущала Ивана Николаевича; не разъ онъ поднималъ противъ нея свой голосъ и все безуспѣшно, но, наконецъ, ему удалось склонить однодеревенцевъ къ самостоятельной оцѣнкѣ своего труда, и предъ началомъ ярмарки, послѣ долгой борьбы съ рождающимся сомнѣніемъ у непривыкшихъ къ самостоятельности крестьянъ, онъ достигъ своей цѣли. Общество, какъ мы видѣли, послушало его, установило свои цѣны и твердо стояло на своемъ до поры до времени.

На другой день Петръ Матвѣевичъ, еще до разсвѣта, послалъ Семена дать знать о своемъ пріѣздѣ всѣмъ должникамъ своимъ. Осмо-

трёвъ, послѣ чая, вынутые изъ фургона и разложенные во дворѣ тюки съ товарами, онъ вернулся въ горницу, гдѣ его дожидался пожилой крестьянинъ, одѣтый въ ветхій зипунъ и въ разновидныя бродни.

— А-а... Евсѣичъ!.. ну-ну, здравствуй, здравствуй,—покровительственнымъ тономъ привѣтствовалъ его Петръ Матвѣевичъ, снимая съ себя лисью шубу и вѣшая ее на гвоздь у двери. — Не плакалъ-ли по мнѣ, а?

— Слезъ-то нѣту... плакать-то... баба-то выла,—отвѣтилъ тотъ, кланяясь ему...

— Обо мнѣ-то?—насмѣшливо спросилъ хозяинъ!—А-а! ну, спасибо!..

— Поминала, шибко поминала!—продолжалъ Евсѣичъ.—Дай, говоритъ, ему Господи ѣхать да не доѣхать!..

— О-ого-о!.. и то поминала!..

— И въ носъ, и въ ротъ тебѣ всячины насулила. Да тебѣ, поди, икалось?—наивно спросилъ онъ.

Петръ Матвѣевичъ присѣлъ къ столу и насмѣшливо смотрѣлъ на мужика.

— Нѣтъ, не икалось!—отвѣтилъ онъ, по обыкновенію барабаня пальцами по столу.

— И то-ись, а-а-ахъ, какъ честила она тебя, понадулъ ты ее крѣпко: понява-то, што изъ твово ситцу сшита, вся то-ись... во-о-о!—произнесъ онъ, разведя руками.

— Располалась?

— По ниточкѣ... мало-ль слезъ-то было, да я уговорилъ: погоди-молъ, пріѣдетъ ужо, можетъ на бѣдность и прикинетъ тебѣ чего ни на есть за ущербъ-то...

— За деньги сичасъ же, крѣпчай таго!..

— За де-е-еньги же, а-а?—удивленно спросилъ мужикъ.

— А ты полагалъ даромъ?

— По душевному-то, оно бы даромъ надать. Вѣдь тоже, а-а-ахъ, другъ ты мой, и бабье-то дѣло: ночей вѣдь не спала, робила. На трудовую копейку-то купила его: „теперя умру, говоритъ, похороните въ ней“... А оно вонъ исшо при живности по ниточкѣ, а?.. Взвоешь?

— На то и товаръ, штобъ носился... вѣковѣшной бы былъ, такъ чего-бъ и было!.. и не торгуй!..

— И не носила, ни разу не надѣвывала. Такъ это, другъ, што глина отъ воды, такъ онъ отъ иглы-то ползъ.

— А глаза-то гдѣ были, когда покупала?

— Вишь, бабье-то дѣло... На совѣсть полагалась...

— И наука!.. Впередъ гляди въ оба!.. Въ торговомъ дѣлѣ совѣсти нѣтъ... И мы не сами дѣлаемъ, а покупаемъ!..

— Нау-у-ука!.. Будетъ помнить! Такъ ужъ за ушшербъ-то не будетъ снисхожденія, а?.. Сдѣлл-милость, необидь, бѣдное дѣло-то: слезьми баба-то обливалась, ей-Богу!

— Гм... А рыба-то у тебя есть, а? — спросилъ его Петръ Матвѣевичъ.

— Не поробишь—не поѣшь: наше дѣло такое, промышлялъ!..

— Много?

— Не соврать бы сказать-то! Пудовъ-то съ семь наберется!..

— Продаешь?

— Хе... Чу-удной!—Неужъ самому ѣсть?

— Другіе такъ вонъ сами ѣсть собираются, брюхо растить хотятъ.

— А-а-а, наши же мужики?—съ удивленіемъ спросилъ Евсѣичъ.

— Мужики!..

— Не слыхивалъ, другъ. Рази богатымъ-то, имъ точно брюхо-то не въ тяготу, а наше-то дѣло бѣдное, намъ съ брюхомъ-то мука... насешь, насешь на него хлѣба, все мало... А-а-хъ ты напасть!.. Ну, и прорва! Не купишь-ли хошь рыбу-то, а?.. и хрушкая есть... Есть и осетрина, и нелемки, всякой рыбки сердешной далъ Богъ, промышляли съ бабой-то!..

— А какъ цѣной-то за пудъ, а?

— За пудъ-то?.. Да ужъ съ тебя бы за труды-то, ну, и за бабій-то ушшербъ надоть бы подороже?..

— Подешевле не хошь, значитъ!

— Подешевле-то?—на-а-кладно, другъ, дешево-то отдавать нонѣ. За подушную-то, гляди-ко, и-и-и дерутъ, дерутъ, дадутъ отдохнуть, да снова подерутъ!..

— И больно?

— Ничаво-о!.. Подъ хвостъ-то не смотрятъ. Вотъ оно подешевле-то отдавать и убытошно, говорю!

— Ну-ну, такъ и быть ужъ, будто за то, што дерутъ и бабу-то изобидѣлъ—по шести гривенъ съ пятакомъ за пудъ то осетрины дамъ...

— О-о-ой, милый ты человѣкъ!—вскрикнулъ Евсѣичъ и всплеснулъ руками.

— И бабѣ ситцу отпущу!..

— Экую-то цѣну... да што ты... ай, яй-яй... ну-у... да Богъ съ тобой и съ ситцемъ!.. А-а-ахъ ты какой дешевый, а?.. Нѣтъ, нонѣ...

Но въ это время распахнулась дверь и въ горницу вошелъ сѣдой, какъ лунь, крестьянинъ. Рѣденькая борода его имѣла желтоватый отливъ. Его костюмъ былъ такъ же убогъ, какъ и костюмъ Евсѣича.

— О-о! и Кондратій Савельичъ къ нашему шалашу со своей копейкой,—встрѣтилъ его Петръ Матвѣевичъ, пока вошедшій крестился на передній уголъ. —Ну-ко, порадуй, порадуй!—произнесъ онъ, когда тотъ молча поклонился ему.

— Не избытошно радостей-то! — отвѣтилъ новопришедшій дрожащимъ, разбитымъ старостью голосомъ. — Сами по нихъ тужимъ. Иванъ Вялый, да Трофимъ Кулекъ къ тебѣ идутъ, пожалуй, радуйся...

— Порожнякомъ, аль съ тѣмъ же, съ чѣмъ и ты, а?...

— Да у меня, кажись, ничего въ рукахъ-то нѣтъ,—съ удивленіемъ отвѣчалъ, разведя руками, Кондратій Савельичъ.

— Я не про руки, а про карманы... Карманы-то есть, а?..

— Есть... есть... у штановъ, другъ... Какъ кармановъ-то... што ты... къ юровой-то исшо новые вшилъ,—дыроваты были—и вшилъ...

— А-а... ну, подавай Господи!.. Стало быть, есть чего хоронить-то, коли новые понадобилось, а?—насмѣшливо допытывалъ его Петръ Матвѣевичъ.

— А-а-ахъ, хоронить-то вотъ рази одни грѣхи!..—Кондратій Савельичъ съ глубокимъ вздохомъ почесалъ затылокъ.

— Эхъ-хе-хе, такъ пошто-жъ новые-то вшивалъ, нитки-то тратилъ, а?.. Экое-то богачество и изъ дырявыхъ бы не вывалилось, а и выпало-бъ, такъ душѣ легче... Э-э-эхъ, старина!

Кондратій Савельичъ молча развелъ руками и всплеснулъ ими по бедрамъ, какъ бы говоря: „толкуй вотъ поди, и не надобились, а вшилъ!“

— Ху-у-до!—произнесъ Петръ Матвѣевичъ, съ ироническимъ сожалѣніемъ, качая головой. — А я-то было и росписочку въ сторону отложилъ: Кондратій-то Савельичъ, думаю, мужикъ обстоятельный, отдастъ, а ты—а-а-а!.. и сфальшилъ.

— Не держи-ко меня-то,—прервалъ его Евсѣичъ.—Отпусти!

— Не привязанъ! А дверь-то и самъ, не маленькій, знаешь, какъ отворять!—съ иронією отвѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ.

Евсѣичъ замялся и конфузливо почесалъ въ затылкѣ.

— Я къ тому болѣ, — началъ онъ, — чего то-ись бабѣ-то сказать, а?..

— Скажи, пушшай денегъ прикопитъ и придетъ покупать, безъ обмѣру дамъ и такого, што иглой не проткнетъ.

— А ужъ помину-то по душѣ не будетъ, вѣрно?

— Покамѣстъ живъ — не будетъ, а умру—поминай, запрету не полагается!

Снова сконфуженный Евсѣичъ повторилъ тотъ же жестъ.

— Съ тобой не сговоришь!—отвѣтилъ, наконецъ, онъ, покачивая головой. — Все бы за ушшербъ-то, говорю, слѣдовало... Самъ же ты нахваливалъ его, какъ продавалъ-то...

— Своего добра никто не обхаетъ, милый!..

— По совѣсти то, оно бы и того-о-о, по крайности... надулъ... такъ упоминъ бы... не за свою душу, за родителевъ!..

— Ахъ ты, чудной какой!.. Развѣ запрещаю: поминай; батюшку звали Матвѣемъ, матушку Апросиньей...

— Такъ энто даромъ-то?

— А ты-бъ исшо за деньги хотѣлъ, а? Рыломъ не вышелъ, другъ мой, попово дѣло точно—имъ за это даютъ! А коли тебѣ потребовалось поминать „усопшихъ рабовъ“, я супротивъ этого безъ запрета, дѣло твое.

— И ндравный же ты, а-а-ахъ... не хорошо... за родителевъ бы... на нашу-то нужу прикинуть...

— За энтимъ въ родительскую субботу приди, грошикъ дамъ, а теперь не проѣдайся-ко, иди-ко съ Богомъ, неколи толковать.

— А-а-ахъ, какой ты... ну-у... жила... такъ жила и есть... и не приходить ужъ, а?..

— Не приходи, побереги обутки: — вишь, подошва-то хлябаетъ, не равно исшо потеряешь—новое горе...

— Ну-у и ругатель!—отвѣтилъ Евсѣичъ и, нерѣшительно переминаясь съ ноги на ногу, повернулся къ двери и только-что взялся за скобу, какъ она растворилась и въ комнату вошли одинъ за другимъ два пожилые крестьянина; пропустивъ ихъ, Евсѣичъ еще постоялъ въ какомъ-то раздумьѣ, наконецъ, вздохнувъ, произнесъ: „наду-у-улъ, ну-у!“ и, почесавъ затылокъ, вышелъ.

Костюмы вошедшихъ, какъ и костюмы Кондратія Савельича и вышедшаго Евсѣича, не доказывали зажиточности; изъ полушубковъ, вися, выглядывали куски оборванной кожи и цвѣтомъ своимъ напоминали выжженную подъ посѣвомъ пашню. Видно было, что весь этотъ людъ принадлежалъ къ разряду „перекатной голи“, т. е. людей, живущихъ день за день безъ просвѣта въ настоящемъ, безъ надеждъ на что-нибудь лучшее въ будущемъ. Одного изъ вошедшихъ въ деревнѣ называли „вялымъ“ за болѣзненную апатичность, выражавшуюся и въ миніатюрномъ лицѣ, украшенномъ неправильно разсаженными клочьями

волосъ взамѣнъ бороды, и въ каждомъ его движеніи и словѣ. Каріе глаза другого, съ насмѣшливымъ, плутоватымъ выраженіемъ перебѣгавшіе съ предмета на предметъ, доказывали напротивъ и умъ, и лукавую смѣтливость. Когда-то въ молодости укравши у проѣзжаго купца кулекъ съ припасами и пойманный съ поличнымъ, онъ въ насмѣшку получилъ названіе „кулька", съ которымъ до того освоился, что даже позабывалъ порою свое настоящее имя; когда называли его „Трофимомъ", онъ проходилъ мимо, не оглядываясь, но при словѣ „кулекъ" улыбался и приподнималъ шапку. Насколько былъ вялъ и безжизненъ Иванъ, настолько же былъ боекъ и нервно-раздражителенъ Трофимъ. Обоихъ ихъ, на удивленіе всего села, соединяла тѣсная дружба, точно какъ будто они взаимно уравновѣшивали недостатки другъ друга; даже избы ихъ стояли рядомъ, раздѣляемыя однимъ низенькимъ плетнемъ. Куда бы ни шелъ Трофимъ, Иванъ слѣдовалъ за нимъ, какъ тѣнь. Задолжавъ Петру Матвѣевичу, они оба дали ему одну общую росписку.

— Слышалъ, слышалъ, што вы оба налегкѣ! — насмѣшливо встрѣтилъ ихъ Петръ Матвѣевичъ.—Объ чемъ же, значитъ, теперь разговаривать-то будемъ, а?

— Ты хозяинъ, за тобой и починъ!—отвѣтилъ ему Кулекъ.

— Я-жъ и начинай, а-а? Ну дѣться некуда, — начнемъ: деньгу принесли?..

— Провинились!.. Хошь казни, хошь милуй!..

— А божился отдать, какъ пріѣду, а?..

— Не побожиться, да не поклониться и вѣры не добыть — такое дѣло наше, Петръ Матвѣичъ, — со вздохомъ отвѣтилъ ему Кулекъ.

Вялый молчалъ, прислонившись къ стѣнѣ, точно происходящій разговоръ и не касался его, а шелъ о совершенно постороннемъ для него дѣлѣ.

— А што Божье-то имя всуе,—это ничево, а?—покачавъ головой, отвѣтилъ Петръ Матвѣевичъ.—Какъ за это въ писаніи-то, што полагается, а?..

Кулекъ съ плутоватой усмѣшкой почесалъ въ затылкѣ.

— Мало-ль чего въ писаніи-то полагается, — произнесъ онъ. — Вонъ въ отчей молитвѣ сказано: оставь, говоритъ, должниковъ своихъ, да нѣшто ты ихъ оставляешь, а?.. Каждый, поди, грошъ на счетъ!..

Петръ Матвѣевичъ засмѣялся тѣмъ покровительственнымъ смѣхомъ, какимъ любятъ поощрять высокопоставленныя лица удачные отвѣты лицъ, стоявшихъ на низкихъ іерархическихъ ступеняхъ, но подающихъ надежды дойти до высшихъ, хотя бы даже эти отвѣты и затрогивали какую-нибудь сторону ихъ характера или дѣятельности.

— Ну, и соба-ака на слово-то!—улыбнувшись широкою, самодовольною улыбкою, произнесъ Кондратій Савельичъ. Даже въ лицѣ Вялаго проскользнуло что-то тоже въ родѣ улыбки.

Кулекъ молча водилъ глазами по потолку, какъ будто не про него и рѣчь шла.

— Такъ оставь, говоритъ, должниковъ-то, а-а?—благодушнымъ тономъ повторилъ Петръ Матвѣевичъ, когда смѣхъ его стихъ. — А когда-жъ отдачи-то ждать съ нихъ, аль объ эфтомъ не сказано?..

— Справятся, сами принесутъ!

— А-а-а!.. Ну, этого жди-и-и! Однако, ни въ какой молитвѣ не сказано, штобы мужикъ справился, да самъ долгъ принесъ. Ты вонъ и божился отдать, а Кондратій Савельичъ, што ись и карманы, говоритъ, въ штаны вшилъ, а денегъ все нѣтъ, да нѣтъ!

— Не сами деньги-то дѣламъ и радъ бы, другъ, отдать-то, да гдѣ ихъ возьмемъ, — съ глубокимъ вздохомъ произнесъ Кондратій Савельичъ.

— И у меня-то вотъ горе! Завода-то нѣтъ, не куютъ ихъ кузнецы!—замѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ.

— Сравнилъ ты себя и насъ!—прервалъ его Кулекъ.

— Изъ одного мѣсива-то, а по Христу всѣ братья.

— Братья-то братья-я! и мѣсиво-то одно, да вишь не одними рубахами прикрыто: на твоемъ-то вонъ ситецъ, а на нашемъ-то дерюга, ты и тысчами воротишь, да охъ не молвишь, а мы за копейку-то спину гнемъ-гнемъ,—хошя жерновомъ выправляй, а все не въ прибыль!

— Послушаю я, на разговоръ-то ты гладокъ, да на дѣлѣ-то никакъ корявъ, ты зачѣмъ ко мнѣ пришелъ-то, а?.. Пукеты росписывать?..

— Сосчитаться!

— И считайся!.. А энти разводы-то къ ярманкѣ побереги, — длинна, потреплешь исшо языкъ-то; энти пѣсни про нужду-то вашу я каждый день слышу и наскучатъ. Ты вотъ скажи-ко, деньги-то принесъ-ли?

— Ужъ былъ отвѣтъ—нѣту!

— По крайности, коротко сблаговѣстилъ и за то спасибо; а говоришь—сосчитаться, какъ же считаться-то будемъ, а?

— Рыба есть—бери, тѣ-жъ деньги!

— И давно бы этакъ сказалъ... Неси!

— Почемъ пудъ-то возьмешь?

— Энто ужъ мое дѣло, тебя оно не касающе...

— А-а-а!—съ удивленіемъ произнесъ Кулекъ.

— И ахай кулпкъ на гагу, што много пуху. Исшо чего скажешь, ну? Цѣну-то любопытно бы?—снова спросилъ онъ.—Коль знать охота пришла—шесть гривенъ на свалъ!..

— Ще е едро-жъ!—насмѣшливо отвѣтилъ Кулекъ, искоса оглядѣвъ Петра Матвѣевича, съ невозмутимымъ хладнокровіемъ барабанившаго пальцами по столу.—Боязно отдавать-то тебѣ по этой цѣнѣ,—продолжалъ онъ,—облопаешься!

— Не нужайся за чужое-то брюхо—свое подвязывай...

— Наше-то за все налегкѣ: съ трудового-то хлѣба вширь не полѣзетъ, стало быть, и подвязывать нечего; а ужъ за экую-то цѣну ты нашей рыбки не возьмешь, Петръ Матвѣевичъ, нѣ-ѣ-ѣтъ! Нонѣ времена-то, пожалуй, что и гага па кулика поахаетъ — и пуху мало да носъ востеръ!

— Кто-жъ бы это съ вострымъ-то носомъ нашелся запретъ-то положить мнѣ взять ее, а?—весь вспыхнувъ, спросилъ Петръ Матвѣевичъ, устремивъ на него свои прищуренные, сверкающіе глаза—не ты-ль?

— Не знаю. Ровно мы ловили-то, никто не пріѣзжалъ помогать, а обирать-то вотъ понаѣхали! — твердо выдержавъ взглядъ Петра Матвѣевича, отвѣтилъ Кулекъ.

— На экихъ-то востроносыхъ хозяевъ я тьфу! Видѣлъ?—спросилъ онъ, сплюнувъ на сторону.

— Видѣлъ.

— Энто што-жъ по-твоему, а?

— Плевокъ.

— А на кого плюютъ, стало быть, тотъ человѣкъ вниманія нестоющій, понялъ? Выходитъ, и разговаривать мнѣ съ тобой не о чемъ!

— Не закажешь! Иной и на икону плюетъ, да опосля ей же молится!—съ ироніей замѣтилъ Кулекъ.

Но Петръ Матвѣевичъ, не обративъ вниманія на послѣднее замѣчаніе Кулька, молча всталъ съ лавки и, подойдя къ полотенцу, висѣвшему на маленькомъ зеркальцѣ, отеръ имъ лобъ и губы.

— Ты чьи деньги-то бралъ, а?—снова обратился онъ къ Кульку.

— Твои...

— А помнишь, подъ чего бралъ-то?

— Подъ рыбу.

— Стало быть, обѣщалъ вмѣсто денегъ рыбу отдать: такъ оно аль нѣтъ? И росписку, кажись, въ этомъ далъ, а? Абизуюсь отдать рыбой осеняго улова.

— Далъ.

— Кому-жъ ей надлежитъ теперь распорядокъ-то дѣлать: тебѣ аль мнѣ? Какъ ты это въ толкъ-то возьмешь, ну-ко?

— По моему толку-то, какъ ни верти, а все выходитъ, хозяева-то мы и цѣна должна быть наша, а не твоя... Ты кладешь ее въ шесть гривенъ, а мы-то въ два съ полтиной, да въ рупь сорокъ, да въ рупь восемь...

— О твоей-то цѣнѣ и не спрашиваютъ, будь благонадеженъ!— насмѣшливо прервалъ его Петръ Матвѣевичъ.—Што-жъ ты мнѣ ее суешь-то, этакъ и всѣ бы вы, дай только повадку, забрали бы деньги да опосля того и грошовую вешшь въ сто рублевъ клали... такъ бы васъ и послушали, и спросили?..

— О-о-о! што деньги-то твои взялъ, такъ и не спросятъ?

— Обнакновенно не спросятъ.

— Безъ спроса, што-ль, такъ и возьмутъ хоша бы ту же рыбу?

— И возьмутъ! А ты вотъ въ разговорахъ-то не проклажался бы, а несъ бы ее, слышишь?

— Слышу, да только нонѣ рыба-то у меня скусная да ядреная— на диво рыба! — насмѣшливо началъ Кулекъ,— не по твоему брюху экая, право: найдутся и почишше охотники-то!—И, повернувшись бокомъ, онъ отошелъ къ двери. —Бо-о-огатъ будешь, за экія-то деньги ее отбирать, съ надсады-то карманы разлѣзутся, боязно за тебя же! Пойдемъ, Вялый! — произнесъ онъ, выходя за дверь и сердито хлопнувъ ею.

Петръ Матвѣевичъ молча выслушалъ заключительный монологъ Кулька, но замѣтно было, какъ губы его побѣлѣли и звукъ отъ ударовъ пальцами въ столъ сдѣлался рѣзче и отрывистѣе.

— И поплачь вотъ съ денежками-то, и вѣ-ѣрь!—обратился онъ къ Кондратію Савельичу, убого поглядывавшему на него въ ожиданіи своей очереди. — Ну-у, послѣ экихъ уроковъ денежки-то вздорожаютъ!

— Съ чего-бъ вздорожать-то имъ, деньгамъ-то, говорю? Деньги-то не рыба, Петръ Матвѣичъ, имъ за все ходъ, особливо у торгующихъ; и самолова не закидывай, сами въ руки плывутъ! — отвѣтилъ Кондратій Савельичъ, пристально посмотрѣвъ на Петра Матвѣевича, какъ бы желая проникнуть въ затаенный смыслъ его словъ.

— Ну, и въ торговомъ-то дѣлѣ, Савельичъ, тоже самоловъ надоть: какъ онѣ въ руку-то задарма пойдутъ, милый, денежки-то? Иной какъ ни потрафляй, все убытокъ, а иной и ни съ чего фартитъ!

— У вашего-то самолова уда повострѣй: попадешь—не сорвешься!

— И фальшь бываетъ.

— Не сорве-ешься!—повторилъ старикъ;—эфто теперь, къ слову говоря, ты хошь хрушкую-то рыбу взялъ по шести гривенъ пудъ,

сколь же ты наживешь-то съ нея? И выходитъ тебѣ, къ примѣру, фартуна, а намъ убыль!

— Не надоть было деньги-то брать—вотъ какой я отвѣтъ тебѣ дамъ, слышалъ?

— Нужа, другъ, э-эхъ! у мужика-то нужи што пузыря на дожжевой лужѣ: одинъ лопнетъ, а ужъ два выскочатъ; и радъ бы ига-то этого не надѣвать, ярма-то!..

— Когда ты деньги-то бралъ, такъ я, помнится, не спрашивалъ тебя, сколь ты съ нихъ наживешь, а? — не отвѣчая ему, спросилъ Петръ Матвѣевичъ.

— Мужику-ль нажить, дру-у-угъ!

— Я вотъ спрашиваю: говорилъ я объ эфтомъ аль нѣтъ, какъ деньги-то давалъ тебѣ, а?—повторилъ онъ свой вопросъ.

— Не говорилъ... и грѣха этого напрасно не возьму.

— А сулилъ вѣдь и ты рыбу отдать, а? Сулилъ?

— Су-ли-илъ!

— И за языкъ я тебя не тянулъ, а? отдай-де мнѣ рыбу? а самъ ты кланялся, просилъ подъ нее, а?

— Хе... чу-удной ты! ротъ-то не ворота, языкъ не скоба, и понулъ бы иной за него, да недостанешь.

— Зачѣмъ ты мнѣ, къ примѣру, укоры-то эфти всѣ разводишь, а?—допытывалъ его Петръ Матвѣевичъ, не обративъ вниманія на его отвѣтъ.

— Обида!

— А-а—обида! и обиду спознали! Мнѣ-то вотъ только не обида, што мое-жъ добро заберутъ да мнѣ-жъ и укоры и грубости за энто, а? Словно я насильно навяливалъ вамъ: возьмите, молъ, не обойдите милостью, а то, вишь, деньги-то карманы протерли, тяжело вотъ имъ лежать-то въ нихъ было,—вѣдь вы просили-то, божились-то, кланялись и посулы-то всякія сулили, а не я... Такъ о чемъ же исшо разговаривать-то? О-обида! хе... тебѣ, мужику, обида, а што меня втрое за благодѣтельство-то мое изобидите, такъ это ничего, или тебѣ, молъ, за свои-то денежки и Богъ велѣлъ муки-то нести, а? — говорилъ онъ, вставъ и надѣвая на себя лисью шубу.—Неси-ко лучше, благословясь, рыбу-то безъ ссоры, — заключилъ онъ,—и напредки пригожусь!—и, надѣвъ шапку съ бобровымъ околышемъ, вышелъ изъ избы.

Кондратій Савельичъ молча послѣдовалъ за нимъ, не надѣвая изъ почтенія своей оборванной бараньей шапки и постепенно умаляя шагъ, незамѣтно отсталъ отъ него. Постоявъ съ минуту на улицѣ въ какой-то нерѣшительности, онъ почесалъ затылокъ и, надѣвъ шапку,

махнулъ рукой, какъ бы, отгоняя отъ себя неотвязную думу, и завернулъ за уголъ.

До ярмарки оставался одинъ день, и потому у балагановъ, куда пошелъ Петръ Матвѣевичъ, кипѣла дѣятельная работа. Всѣ спѣшили устроить ихъ, разобраться съ товарами и разложить ихъ на опредѣленныя мѣста. По дорогѣ ему постоянно попадали подъ ноги деревянные ящики изъ-подъ посуды, вороха сѣна и соломы, которыми она обкладывалась во избѣжаніе лома. Говоръ и смѣхъ, съ которыми спорилась работа, не утихали; порою среди нихъ проносился рѣзкій свистъ пилы или стукъ топора, которымъ вбивали въ замерзшую землю шесты или вгоняли въ сдѣланные въ нихъ выдолбы узкія полки подъ товары. Съ любопытствомъ заглядывалъ Петръ Матвѣевичъ въ каждый балаганъ, едва дотрогиваясь до шапки на привѣтствія торговцевъ или приказчиковъ ихъ. Торговцевъ-мелочниковъ онъ удостоивалъ ласковымъ разговоромъ, съ приказчиками подшучивалъ—съ одного внезапно, среди работы, сорвалъ шапку и, быстро отвернувшись, глядѣлъ въ сторону, стараясь показать видъ, что это и не его дѣло; другого, тихо подкравшись, толкалъ въ бокъ, желая испугать его; иного сдергивалъ за ногу съ козелъ и хохоталъ весело, радушно, когда сдернутый летѣлъ на полъ, а за нимъ и высокія козлы. У одного онъ незамѣтно спряталъ подъ подолъ шубы штуку ситца и когда тотъ хватился ея, онъ, выразивъ полное недоумѣніе въ лицѣ, принялся искать ее вмѣстѣ съ нимъ, но подъ конецъ не выдержалъ и, разразившись громкимъ хохотомъ, возвратилъ ее неосторожному: „а-а ахъ-ха-ха-а-а заходилъ винтомъ! не отдай-ко бы я, и была бы отъ Сивотія вытряска“, со смѣхомъ говорилъ отъ, отходя отъ приказчика, обрадованнаго находкой вещи.

Встрѣчаясь съ знакомыми крестьянами, Петръ Матвѣевичъ ласково здоровался съ ними и останавливался поговорить съ каждымъ, разспрашивая его о семейныхъ дѣлахъ, о сборѣ податей, и объ уловѣ рыбы, и о цѣнѣ на каждый родъ ея, получая у всѣхъ въ отвѣтъ, какъ и отъ Ивана Николаевича, што рыба нонѣ въ цѣнѣ—„осетрина два съ полтиной“ и т. п.—Ну, ну, торгуйте, поправляйтесь!“ съ ироніей отвѣчалъ онъ, „а я такъ вотъ зашабашить хочу“, говорилъ онъ на предложеніе иного изъ нихъ купить,—„не хочу болѣе торговать-то ей, и пріѣхалъ такъ только, старые счеты свести!“ Присматривался онъ и къ рыбѣ, заходя во дворы крестьянъ, гдѣ происходилъ уже обычный ярмарочный свалъ. Вся наѣзжая мелочь, какъ называлъ Петръ Матвѣевичъ мелкихъ городскихъ скупщиковъ рыбы, торговалась до изнеможенія, сбивая цѣны съ нея. Но крестьяне стойко выдерживали напоръ ихъ соблазнъ отъ показываемыхъ имъ денегъ, не усту-

пали въ цѣнѣ, и рыба, дѣйствительно не шла съ рукъ. Съ ироніей прислушивался Петръ Матвѣевичъ къ толкамъ и торговцевъ, и крестьянъ объ интересующемъ его предметѣ, не высказывая своего мнѣнія, и изрѣдка только думалъ про себя: „Придете ишо, мужики, поклоняетесь!“

Зайдя въ свой балаганъ, гдѣ работы приходили къ концу, онъ тщательно осмотрѣлъ симетрично разложенные на полкахъ ситцы и фаянсовую и мѣдную посуду,—осмотрѣлъ даже ящики изъ подъ нихъ, сложенные въ кучу, и вынутые изъ ящиковъ при распаковкѣ загнувшіеся гвозди, даже разрылъ ногами выложенные при разборѣ посуды сѣно и солому, какъ бы сомнѣваясь, не скрылось ли что подъ ними отъ глазъ Семена и Мирона Игнатьевича, снявшаго съ себя полушубокъ и раскладывавшаго товары на полки вмѣстѣ съ работникомъ Авдѣемъ, высокимъ рослымъ мужикомъ, жившимъ у Петра Матвѣевича съ малолѣтства и исполнявшимъ самыя многосложныя обязанности. Лѣтомъ Авдѣй ѣздилъ на павозкахъ въ качествѣ рулевого, зимою сопровождалъ Петра Матвѣевича по деревнямъ, замѣняя ему и кучера, и приказчика, а главное—тѣлохронителя на всякій случай, какіе нерѣдко встрѣчаются съ торговцами на глухихъ сибирскихъ выселкахъ. Петръ Матвѣевичъ приказалъ Семену, покончивъ съ балаганомъ, прибрать подъ прилавокъ ящики и труху, говоря: „годится на обратній, не покупать!“ и выправить на топорѣ молоткомъ гвозди, хотя многіе изъ нихъ были безъ концовъ, и самыя шляпки отъ давняго употребленія помялись и поржавѣли. Опъ отобралъ кусокъ недорогаго ситцу, чайную чашку съ надписью „вдень Ангела“ и женскій гарусный платокъ и, бережно завернувъ ихъ въ бумагу, перевязалъ веревкою и вышелъ, не сказавъ своимъ помощникамъ ни слова. Вообще между Петромъ Матвѣевичемъ и Мирономъ Игнатьевичемъ была замѣтна натянутость отношеній послѣ неосторожно высказаннаго послѣднимъ сомнѣнія въ дипломатической способности Петра Матвѣевича объегоривать крестьянъ. Петръ Матвѣевичъ въ обыденной жизни не любилъ баловать своихъ домашнихъ и людей, поставленныхъ отъ него въ зависимость, ласковымъ обращеніемъ. „У меня въ струнѣ, штобы!“ говорилъ онъ каждому, поясняя свою систему правленія. И вдругъ человѣкъ, по его милости ѣвшій хлѣбъ, выразилъ сомнѣніе въ умѣньи его вести свои дѣла. Какъ и всѣ люди, Петръ Матвѣевичъ не скоро забывалъ удары, наносимые самому чувствительному въ серцѣ человѣка мѣсту—самолюбію.

Волостной голова Романъ Васильевичъ Ковригинъ собирался идти съ работникомъ провѣивать привезенную съ мельницы крупу. Надѣвъ

старый полушубокъ, онъ подпоясывался, когда въ избу неожиданно вошелъ Петръ Матвѣевичъ.

— И не собирайся, никуда не пущу, на то и гостинцы принесъ!— съ усмѣшкой привѣтствовалъ онъ растерявшагося Романа Васильевича, который, вмѣсто того, чтобы заправить истрепанныя концы кушака за поясъ, въ смущеніи пряталъ ихъ вмѣстѣ съ рукавицами за пазуху.— И не слѣдовало бы давать-то, ну да куда ни шло!—говорилъ Петръ Матвѣевичъ, подавая хозяину узелъ и садясь на лавку.

Черезъ четверть часа послѣ его прихода Романъ Васильевичъ въ новомъ суконномъ зипунѣ сидѣлъ за столомъ въ своей чисто прибранной горницѣ вмѣстѣ съ дорогимъ кумомъ; на столѣ передъ ними лежалъ на блюдѣ разрѣзанный пирогъ изъ свѣжей осетрины, полуштофъ очищенной и бутылка съ этикетомъ „сладкая романея“, окруженныя блюдечками съ бѣлыми грибами, груздочками, брусникою, посыпанною сахаромъ, небольшими пряничками и кедровыми орѣхами свидѣтельствовали о всемъ радушіи хозяевъ въ угощеніи дорогого гостя.

— Избаловала ты его, кума, о-о-охъ! — слегка пощипывая изъ пирога осетрину, крикнулъ Петръ Матвѣевичъ за перегородку, откуда доносился до нихъ звонъ чайной посуды.

— Мои-ли года баловать!—отвѣтилъ торопливый старушечій голосъ.—Будетъ, побаловали!

— Таи-и-ись будетъ?.. Нѣтъ, видать исшо крѣпко гладишь его, вишь выровнялся, какой кругленькій сталъ.

— Не сглазь! Господь съ нимъ, пусшай отъѣдается!..

— До отвалу-то не корми, въ мѣру потрафляй, а то вдосталь-то зажирѣетъ, што проку? жирные-то пѣтухи только безъ пути ощипываются! — говорилъ Петръ Матвѣевичъ, посмѣиваясь надъ своей остротой.

— Романъ Васильевичъ, круглый средняго роста человѣкъ съ сѣдою окладистою бородой, обрамлявшей его крѣпкія румяныя щеки, во все время разговора самодовольно улыбался, поглаживая бороду и усы. Въ лицѣ его просвѣчивало самое теплое сердечное добродушіе. Каждый бы, взглянувъ на него, внутренно сказалъ: „этотъ человѣкъ не сдѣлаетъ никому зла“. А между тѣмъ, благодаря своему добродушію, всегда почти соединенному въ людяхъ съ безхарактерностью, онъ много дѣлалъ зла, не вѣдая, что творитъ его. Когда же онъ серьезно убѣждался въ этомъ, то грустилъ и жаловался на долю и на общество, избравшее его головой.

— Ишь онъ вотъ заѣлся и мужиковъ-то своихъ распустилъ!— продолжалъ между тѣмъ Петръ Матвѣевичъ.—Такихъ-то грубіяновъ, какъ у него, хоша бы къ примѣру взять Кулька, не найдешь и по губерніи!

— А-а, нѣшто сгрубилъ онъ тебѣ?— спросилъ Романъ Васильичъ.

— Послушалъ бы, какъ за мое-то добро напѣлъ. Эхъ-е? За то, што мои же деньги забралъ, и платить не хочетъ!..

— Выправится, продастъ рыбу и возьмешь,—отвѣтилъ Романъ Васильевичъ.—Онъ ничово мужикъ-то, хоша и бѣдный!

— Ну-ко, скажи наперво, кому они продадутъ-то ее?

— Мало-ль торговцевъ-то наѣхало...

— Ни пуда ни купятъ у нихъ по ихнимъ-то цѣнамъ, какія они наложили. — Ты слыхалъ ли, они вонъ таксію установили, а? А ты, голова, и ухомъ не ведешь, какъ будто не твое и дѣло, а такъ и должно?

— И чу-удной же ты какой, Петръ Матвѣевичъ, право, чудной!— укоризненно качая головой, отвѣтилъ Романъ Васильевичъ. Вѣдь всякій въ своемъ добрѣ воленъ!.. Это бы я полѣзъ къ тебѣ въ твое дѣло съ указомъ, чего-бъ ты сказалъ мнѣ?

— Мое дѣло—другая статья, а вотъ ты мнѣ про свое-то скажи: голова ты, аль нѣтъ?..

— Голова!

— Блюсти, што-бъ казнѣ-то не было ушшербу твое дѣло?

— Казну-то блюсти энто мое дѣло, да нѣшто ей есть отъ энтаго ущербъ?

— Собралъ ты подать-то, аль нѣтъ, ну-ко?

— Туго она нонѣ идетъ, кумъ,—а-а-ахъ, какъ туго!.. Супротивъ лонскихъ-то годовъ и трети не выходили. Сбился народъ-то. На Юровую вся надежда!

— И обманешься! Неужъ ты думалъ, у нихъ будутъ покупать, а?.. Смѣ-ѣшно! Это я бы, къ примѣру, ѣхалъ за триста верстъ, тратился, да и купилъ ее по этимъ цѣнамъ, а самъ ее долженъ за половинную отдать, да и то слава Богу, если купятъ. Такъ изъ какихъ же прибытковъ мнѣ покупать-то ее, а? Нѣ-ѣтъ, дураки-то нонѣ въ городахъ повывелись: всѣ говорятъ въ деревни убѣгли, гдѣ ихъ непочатый уголъ наваленъ! А ты вотъ сиди, да жди, соберешь ее много подати-то: распахивай казенный-то сундукъ подъ сквозной вѣтеръ. А нѣшто начальство не спроситъ съ тебя, что ты смотрѣлъ на порядки-то на энти, на бунтъ-то? а-а?

— Бунтъ?—съ удивленіемъ спросилъ Романъ Васильичъ. — Да гдѣ онъ, бунтъ-то, какой изъ себя покажъ-ка?

— А это по твоему не бунтъ, если я таксію самовольно установлю казнѣ въ ущербъ, а? — Ты голова, а волостью-то Иванъ Николаевъ заправляетъ, таксіи выдумываетъ, подговариваетъ мужиковъ на дѣло, отъ котораго казнѣ ушшербъ.

— Ивана Николаева ты, Петръ Матвѣичъ, зря не путай! Опъ худу не научитъ, это мужикъ первый по волости.

— По плутовству-то?

— Не извышенъ онъ на энто ремесло то, о-ошибся ты, кумъ.

— Острогъ прошелъ, да не извышенъ, а?—и Петръ Матвѣевичъ съ усмѣшкой посмотрѣлъ на него.

— Въ острогѣ-то, говорятъ, болѣе честныхъ сидитъ, Петръ Матвѣичъ, чѣмъ на волѣ ходитъ. И дураковъ-то, сказываютъ, туда малость сажаютъ, все болѣ умныхъ, такъ-то...

— А-а-а! Ну, экую рѣчь въ первой и слышу, што-жъ это ты не въ острогѣ? Кажись, съ виду-то не дуракъ бы мужикъ!

— Не линія, значитъ!

— Обожди же, не скучай, съ Иваномъ-то Николаевымъ скоро попадешь на нее! Нѣ-ѣтъ, кумъ, около энтихъ-то дѣловъ, што у огня,— спустя рукава, не стой, — обожжешься, тогды и помянешь меня, о-ой, помянешь! — И Петръ Матвѣевичъ, отвернувшись въ сторону, слегка забарабанилъ пальцами по столу и искоса наблюдалъ за Романомъ Васильевичемъ, въ лицѣ котораго при послѣднихъ словахъ его выразилось глубокое раздумье. Видно было, что гость затронулъ въ хозяинѣ еще нерождавшійся вопросъ. Какъ и большинство неграмотныхъ волостныхъ и сельскихъ начальниковъ, Романъ Васильевичъ былъ трусъ. Онъ всего боялся: боялся и писаря, и земскихъ властей, отъ которыхъ находился въ полной зависимости, одинаково боялся и избравшаго его общества. Общественные интересы онъ понималъ и, какъ члена той же общины, они одинаково касались и его, но, незнакомый съ существующими законоположеніями, онъ всегда терялся въ сознаніи правоты ихъ, тѣмъ болѣе зная по опыту, что земскія власти не всегда одобрительно относились къ интересамъ крестьянъ. Слова Петра Матвѣевича и вызвали въ немъ подобное сомнѣніе. „А что какъ этого не велѣно, и послѣ въ самомъ дѣлѣ меня спроситъ, чего я глядѣлъ?“ все мучительнѣе и мучительнѣе шевелилось въ его умѣ.—А-а-ахъ!—произнесъ онъ, покачавъ головой, и, заворотивъ полу зипуна, отеръ ею крупный потъ, выступившій на лбу.

— Не жарко, братъ!—съ иронією замѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ.

— Отъ думы, кумъ! Отъ жары-то я не шибко на потъ-то податливъ! А-а-ахъ! дай-то, Господи, говорю, дослужить поскорѣе. И-и-и, то-исъ обѣми руками хрестъ положу. И ей-Богу, отъ одной думы-то энтой сколь сокрушенія! — произнесъ онъ, разведя руками. — Одинъ одно говоритъ, другой совсѣмъ инако, а мое-то дѣло—темь!..

— Чего-жъ ты надумалъ-то, а?..

— Надумалъ-то! да надумалъ-то я таперича, кумъ, скажу тебѣ, большое дѣло!

— А-а! Подавай Господи, пора!

— И то-ись такъ таперича въ своемъ умѣ полагаю,—съ глубокосерьезнымъ выраженіемъ въ лицѣ говорилъ хозяинъ,—твори Господи волю свою!

— То-о-олько то?

— Возложись и будешь паче всего невредителенъ!

Петръ Матвѣевичъ снова забарабанилъ по столу и, сжавъ губы, слегка засвисталъ.

— Не-емного же ты выдумалъ!—съ ироніей произнесъ онъ.—А я-то съ дуру порадовался, думалъ, ты и нивѣсть што,—а оно не-е-много-го! А какъ же ты съ Кулькомъ-то расчитаешь меня, а? — спросилъ онъ послѣ продолжительнаго молчанія:—мнѣ время-то не терпитъ, а задолжалъ-то онъ мнѣ вмѣстѣ съ Вялымъ болѣ тридцати рублей, по нонѣшнимъ-то временамъ,—де-еньги! А я подъ рыбу ему давалъ. Ты отбери-ко мнѣ рыбу-то у него, а?

— Одумается и самъ отдастъ, обожди зорить-то!

Петръ Матвѣевичъ посмотрѣлъ на него, угрюмо насупивъ брови, и, приподнявшись съ лавки, молча взялся за шапку.

— Толковать-то языкъ устанетъ. Ай голова-а!—отрывисто проговорилъ онъ.—И ищи суда!

— А-а-ахъ, ты строптивый какой, ну-у!..

— Будешь строптивъ, какъ одинъ вотъ такъ-то подкуетъ, да другой, а карманъ-то одинъ... Идешь, што-ль?

— Не каплетъ! Прикуси, испей хоша чайку, въ кои-то вѣки заглянешь?..

— Идешь, спрашиваю, аль нѣтъ?—настойчиво повторилъ Петръ Матвѣевичъ.

— А-а-ахъ, какой ты, ну-у! а я исшо хотѣлъ было сегодня крупу провѣять, мужикъ тутъ покупаетъ ее у меня, а тутъ грѣхи одни, и-ей-Богу, грѣхи! — говорилъ хозяинъ, неохотно охорашивая свою бѣлую мерлушатую шапку и выходя вслѣдъ за гостемъ.

По дорогѣ Петръ Матвѣевичъ завернулъ въ балаганъ и взялъ съ собою Семена. Авдѣя же послалъ за лошадью съ розвальнями. Дойдя до избы Кулька, стоявшей около гуменъ, окаймлявшихъ берегъ Иртыша, они встрѣтились съ нимъ у калитки. Увидя ихъ, Кулекъ остановился.

— Распахивай-ко ворота для дорогихъ-то гостей,—съ насмѣшкой сказалъ Петръ Матвѣевичъ, когда они подошли къ нему.

— А зачѣмъ бы это Богъ въ дешевую-то избу дорогихъ-то гостей

принесъ? — спросилъ его въ свою очередь Кулекъ, загородивъ собою входъ въ калитку.

— Ты бы изъ учтивства-то въ избу приполвилъ, не тати *) къ тебѣ пришли! — серьезно замѣтилъ ему Романъ Васильевичъ, видимо входившій въ роль отъ сознанія своего достоинства.

— Не заперта, милости просимъ. Добрая-то вѣсть, сказываютъ, сама летитъ, худую-то только на ворота вѣшаютъ. Не за добромъ, видать, въ гости-то называетесь!— говорилъ Кулекъ, входя во дворъ и отворяя дверь въ избу, куда вслѣдъ за нимъ вошли голова и Петръ Матвѣевичъ.

О горькой нуждѣ въ быту Кулька можно было заключить уже по обстановкѣ въ избѣ. Около покосившихся, но все-таки чисто-выбѣленныхъ стѣнъ стояли лавки, сходившіяся у стола въ переднемъ углу. У печки висѣла люлька, въ которой стоналъ обернутый въ какія-то лохмотья больной ребенокъ. У узенькаго оконца, съ натянутымъ вмѣсто стекла бычачьимъ пузыремъ, едва пропускавшимъ дневной свѣтъ, сидѣла съ прялкою въ рукахъ подростокъ-дѣвочка, въ одной грубой пестрядинной рубахѣ, прикрывавшей ея тощее тѣло. Сидя у люльки, жена Кулька, пожилая женщина съ болѣзненно-истомленнымъ лицемъ, укачивала на рукахъ другого больного ребенка, то прижимая его къ груди, то поднимая на воздухъ, чтобъ унять его плачъ и удушливый кашель. И мука, нестерпимая мука выражалась въ эти минуты на ея лицѣ. И грустная картина эта, и удушливый, спертый воздухъ, и царившій въ избѣ мракъ охватили бы человѣка, незнакомаго съ жизнью нашего крестьянина, томительнымъ чувствомъ. Но не того закала были вошедшіе.

При входѣ головы и Петра Матвѣевича дѣвушка испуганно встала, съ недоумѣніемъ глядя на нихъ. Холодный воздухъ, охватившій люльку, возбудилъ въ ребенкѣ, лежавшемъ въ ней, кашель, кончившійся глухимъ, сиплымъ крикомъ. Успокоившійся на рукахъ матери ребенокъ, разбуженный ея торопливымъ движеніемъ, также разразился плачемъ. — „О-охъ, Господи!“ — произнесла бѣдная женщина, прислонясь къ печи и снова укачивая его.

— Ганька!..— крикнулъ Кулекъ дѣвушкѣ, стоявшей съ прялкою

*) Многимъ можетъ показаться неправдоподобнымъ употребленіе въ разговорѣ крестьянъ церковно-славянскихъ словъ. Считаю нужнымъ оговорить, что въ нарѣчіи сибирскаго крестьянина они часто встрѣчаются. Трудно рѣшить, занесены-ли они въ него «начетчиками раскольниками», или являются остаткомъ первобытной формы языка, уцѣлѣвшей отъ позднѣйшихъ его измѣненій. Особенно часты въ употребленіи слова: тать, татьба (воровство), выя, ланита, ложе, яко, паче, блудъ, блудодѣй (развратникъ или воръ, одно и то же) и т. п.

въ рукахъ,—возьми робятъ-то, да снеси ихъ къ Вялому въ избу! — Чѣмъ же угощать-то тебя, Романъ Васильичъ, што не обошелъ честью, заглянулъ и въ мою клѣть?—спросилъ онъ, когда дѣвушка, закутавъ плачущихъ дѣтей въ изорванный полушубокъ, унесла ихъ, и въ избѣ воцарилась тишина.

— Обиду вотъ на тебя Петръ Матвѣичъ принесъ, братецъ ты мой!—отвѣтилъ онъ, присѣвъ на лавку.

— Што за шесть гривенъ пудъ рыбы не отдаю, а-а-а! — емокъ онъ на энти обиды-то!.. Такъ ты это судить насъ пришелъ, а?

— А-ахъ, братецъ, и всѣ то-ись вы!.. Ты вѣдь бралъ деньги-то?

— Въ отпоръ не иду—бралъ.

— И отдай... по заповѣди... путемъ отдай!

— И отдаю. Пушшай беретъ рыбу. Вотъ онъ тутъ сидитъ, я при немъ и говорить буду. Онъ вотъ обиду несетъ, а што самъ обижаетъ, про эфто молчитъ!.. Я бралъ... Бралъ и росписку выдалъ вмѣстѣ съ Вялымъ, подъ рыбу бралъ, рыбой и отдаю. Такъ зачѣмъ онъ грабить-то хочетъ, а? Вотъ онъ тутъ сидитъ... глазъ-на-глазъ... ты и спроси его, нѣшто по нынѣшнимъ-то цѣнамъ за шесть гривенъ пудъ-то осетрины взять не грабежъ, а?..

— Экія-то слова мо-отри въ препорцію, другъ! — внушительно замѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ,—а то за поношенье чести!..

— Нѣшто у тебя есть честь-то? — презрительно усмѣхнувшись, спросилъ его Кулекъ.

— Смо-о-отри, говорю, о-ой!..

— Не пужай! смотрѣть-то не на што! — раздражительно отвѣтилъ онъ.—Ты о чести своей молчалъ бы! Честь-то твоя—што у худой бабы подолъ—обшмыгана!..

— И въ самомъ дѣлѣ, ты, Кулекъ, попригляднѣй на слова-то будь!—строго замѣтилъ ему и Романъ Васильевичъ.—Слово-то слову не инако: вылетитъ—не поймаешь!

— Мое то слово горе говоритъ, Романъ Васильичъ. Ты гляди ртовъ сколь... пить, ѣсть хотятъ, а работникъ-то на семью одинъ я. Ты подушну то спрашиваешь, вздоху не даешь... есть чего отдать, аль нѣтъ, а разорвись, да выдай! Пушшай ужъ казна беретъ, пу-у, Божье попущенье! За што жъ исшо купцы-то наѣзжаютъ грабить насъ, а?.. А коли ты честный, говоришь,—обратился онъ къ Петру Матвѣевичу,—ты по чести и бери... не зори... не отнимай у нищаго-то послѣдняго куска изо рта! Вѣдь ты сытъ, избытошно Богомъ то взысканъ, а я нищъ, ни-и-ищъ!—и въ голосѣ Кулька зазвучали слезы.

— И болтъ... привяжи вмѣсто языка-то, устанетъ въ разгово-

рахъ то энтихъ! — сухо произнесъ Петръ Матвѣичъ, глядя куда-то въ сторону.—Ты, голова, сказки пришелъ слушать, аль за дѣломъ?— съ ироніей спросилъ онъ.

Романъ Васильевичъ вмѣсто отвѣта глубоко вздохнулъ. Видно было, что въ душѣ его происходила борьба.

— Ну-у, онъ тѣ и прикинетъ двѣ-то, три гривны отъ щедрыни!— внезапно утѣшилъ онъ Кулька.

— Съ какихъ это резоновъ ты взялъ? — угрюмо насупившись, спросилъ его Петръ Матвѣевичъ.

— На пужу-то его, што Богу бы свѣча, кумъ, бѣдное и его дѣло-то!— съ грустью въ голосѣ заступился онъ.

— Изъ чужихъ-то кармановъ ты бы гривенъ-то на свѣчи Богу не высовывалъ, а свой широкъ: распахни, ставь, запрета нѣтъ!

Романъ Васильевичъ почесалъ въ затылкѣ.

— А я вотъ спрашиваю, почемъ ты со сказки-то платишь? — снова спросилъ онъ.

— Нужа мужичье-то дѣло, другъ, а-а-ахъ, нужа великая, — произнесъ, не отвѣчая на вопросъ его, Романъ Васильевичъ.

— А мы сложа руки хлѣбъ-то ѣдимъ, а?

— Извѣстно, купцу одна работа: деньги считай, да брюхо расти!—язвительно вмѣшался Кулекъ.

— А а... и ты бъ, коли завидъ беретъ на купеческое трудолюбіе, нажилъ бы капиталъ и занялся бы этимъ дѣломъ, аль не въ моготу? Ты вотъ лучше, чѣмъ энти присказки-то на уши мотать, безъ грѣха бы расчитался со мной?

— Похвалился самъ взять и бери!—отвѣтилъ ему Кулекъ.

— Своихъ-то рукъ, стало быть, нѣтъ у тебя на отдачу-то, а на то выросли, штобъ только въ заемъ брать.

— И свои есть, да не поднимутся у робятъ то малыхъ кусъ урвать... ихъ энтотъ кусъ-то... и-ихъ!

— Деньги-то, помнится, ты на себя бралъ—не на робятъ.

— И бери! рыбу бери! я не стою! тебѣ болѣ надоть!

— Слышь? Голова отдаетъ, такъ чего-жъ?

— Безъ препоны... бери!—рѣшительно повторилъ Кулекъ.

— Возьмемъ, не затруднимъ тебя, не суминяйся!—съ ироніей отвѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ,—а ты, коли добромъ отдаешь, покажи ее, гдѣ она!

— Не касающе меня энто дѣло — ты-жъ сказалъ, што не я хозяинъ, а ты!.. А хозяинъ самъ долженъ знать, гдѣ его добро лежитъ.— И отойдя къ печи, онъ сѣлъ на скамью и, опустивъ голову, обхватилъ ее руками.

Всѣ молчали.

— Энто докедова-жъ будетъ, а? Голова!..

— А-а-ахъ, отступиться-бъ! — произнесъ Романъ Васильевичъ, махнувъ рукой.—Кулекъ, а-а, Кулекъ, ну, тѣ къ Богу, ра-азвяжись за одинъ конецъ, можетъ и тебѣ Богъ на твою долю пошлетъ!

— Я не хозяинъ своего добра, меня и не спрашивай: веди ихъ въ амбаръ, пусть грабятъ! — обратился онъ къ женѣ, все время молча стоявшей у печи, грустно подперши рукою щеку и время отъ времени утирая передникомъ накатывающіяся на глаза слезы.

Молча взявъ изъ-за печки ключъ, она вышла изъ избы, хлопнувъ дверью. Петръ Матвѣевичъ поднялся съ лавки и пошелъ за ней, а за нимъ и Романъ Васильевичъ. Выходя изъ избы, онъ взглянулъ на Кулька, сидѣвшаго въ томъ же положеніи, и остановился, но, покачавъ головой, вздохнулъ и молча вышелъ.

На дворѣ ихъ ожидали Авдѣй и Семенъ. Отворивъ амбарушку, стоявшую у заборчика изъ плетня, жена Кулька прислонилась къ нему и, закрывъ лицо передникомъ, зарыдала. Романъ Васильевичъ, стоя въ сторонѣ отъ нея, то качалъ головою, то, подъ вліяніемъ волнующей его мысли, махалъ рукой и хотѣлъ сказать что-то, но произнослъ одно только: а-а-ахъ! Но что выражало это а х ъ:—раскаяніе ли о своемъ вмѣшательствѣ, сожалѣніе ли къ нуждѣ Кулька, или сознаніе собственной безпомощности — трудно было опредѣлить. Вообще трудно угадать, что думаетъ русскій мужичекъ, произнося какое-нибудь любимое имъ междометіе или почесывая въ затылкѣ. А Петръ Матвѣевичъ не уставалъ тѣмъ временемъ хозяйничать: опытной рукой выбиралъ онъ зарытыхъ въ снѣгъ, набросанный въ амбарушкѣ, осетриковъ, чалбышей, нелемъ. Попадалъ-ли ему подъ руку крупный муксунъ, онъ бралъ и муксуна. Выйдя изъ избы и прислонясь къ косяку двери, Кулекъ молча глядѣлъ, какъ Семенъ и Авдѣй нагружали полы своихъ полушубковъ отборной рыбой и складывали ее въ розвальни. Лицо его горѣло, въ глазахъ выражалась безсильная злоба, а судорожное подергиванье угловъ губъ доказывало, что, не смотря на всю его сдержанность, нервы его усиленно работали.

— Не забылъ-ли чего оставить, оглянись!—съ злою усмѣшкою спросилъ онъ, когда Авдѣй и Семенъ съ грузомъ рыбы, сѣвъ въ розвальни, отъѣхали отъ воротъ и Петръ Матвѣевичъ направился къ калиткѣ.

— Не ушаришь,—лаконически отвѣтилъ онъ.

— Пошли тебѣ Господи грабленное-то въ прокъ положить.

— Не брезгливы! намъ все въ прокъ,—тѣмъ же тономъ отвѣтилъ Петръ Матвѣевичъ, выходя вслѣдъ за Романомъ Васильевичемъ въ ка-

литку.—Захаживай, коли пристегнетъ напасть-то! — крикнулъ онъ, затворяя ее за собою.

Кулекъ присѣлъ на крылечко и, опустивъ голову, заплакалъ. Грустно видѣть, когда плачетъ ребенокъ, не сознающій серьезныхъ невзгодъ жизни, горе котораго такъ же мимолетно, какъ тѣнь отъ облака, набѣжавшаго въ ясный солнечный день. Прошла минута, исчезла тѣнь и онъ еще съ невысохшими слезами на глазахъ улыбается и рѣзвится, забывъ о горѣ. Но скорбно видѣть, когда плачетъ взрослый человѣкъ тѣмъ тяжелымъ грудным плачемъ, который сильнѣе недуга подтачиваетъ силы и часто оставляетъ на всю жизнь неизгладимые слѣды въ чертахъ лица и въ характерѣ. Вотъ этимъ-то надрывнымъ плачемъ отъ шумной Волги до пустынныхъ Оби и Енисея нерѣдко оплакиваетъ русскій мужичекъ свою горькую долю, свою безъисходную нужду!

Покончивъ съ своими должниками, Петръ Матвѣевичъ съ наступленіемъ сумерокъ, когда въ селѣ стала стихать дневная дѣятельность и меньше встрѣчалось на улицахъ народа, прошелъ позади дворовъ въ волостное правленіе, гдѣ жилъ волостной писарь Борисъ Федоровичъ Мошкинъ, около пяти лѣтъ самовольно управлявшій волостью. Человѣкъ онъ былъ угрюмый, молчаливый и ходилъ постоянно съ подвязкою на щекѣ, снимаемой имъ только въ дни пріѣзда исправника и другихъ властей. Зная его вліяніе на общественныя дѣла, каждый торговецъ, пріѣзжавшій па Юровую, считалъ долгомъ приносить ему извѣстную дань, съ которою пришелъ теперь и Петръ Матвѣевичъ. Свиданіе ихъ было весьма продолжительно и, должно быть, по своимъ результатамъ пріятно для Петра Матвѣевича, такъ что, возвратившись домой, онъ долго сидѣлъ и улыбался, барабаня всевозможные знакомые ему мотивы и насвистывая: „я посѣю, сѣю, млада-молоденька!“ Когда же хозяйская племянница, стройная, краснощекая дѣвушка, внесла ему ужинъ, онъ, забывъ свою степенную солидность, неожиданно щипнулъ ее за одинъ изъ концевъ шейнаго платка, падавшаго на высокую грудь, заставивъ ее отъ этой любезности вскрикнуть и присѣсть. — А-а-а, испужалась? — со смѣхомъ произнесъ онъ:—А-ахъ, ха-ха-а, а ты бы, молодка, того... около старика-то пообихаживала, у старика-то карманъ то-о-олстъ, э-эхъ-хе-хе-е, горячая жилка!“ И онъ снова хотѣлъ повторить свою любезность, но горячая жилка, стыдливо закрывшись передникомъ, убѣжала и болѣе не возвращалась.

Вкравшееся въ умъ Романа Васильевича сомнѣніе въ законности установленной крестьянами таксы на рыбу не покидало его. Выбравъ

первую же свободную минуту, онъ пошелъ къ писарю съ намѣреніемъ вывѣдать его мнѣніе, но, не подавая вида о настоящей цѣли своего посѣщенія, издалека, стороной, между разговоромъ, коснулся этого вопроса, намекнувъ и на то обстоятельство, „какъ-де, есть ли что въ законѣ касательно этакихъ бунтовъ и точно казна потерпитъ отъ этого ущербъ!“ И Борисъ Федоровичъ, зараньше уже подготовленный дальновиднымъ Петромъ Матвѣевичемъ, съ первыхъ же словъ сказалъ ему:—„есть“! и что „стачки, устанавливаемыя скопомъ, воспрещены“, „и если они не примутъ своевременныхъ мѣръ противъ нее, то дѣло можетъ принять для нихъ весьма непріятный оборотъ“, и, въ подкрѣпленіе своихъ словъ, вычиталъ ему тѣ статьи закона, гдѣ говорилось о стачкахъ и о возмущеніяхъ, производимыхъ скопомъ. Романъ Васильевичъ, недовѣрявшій Петру Матвѣевичу, не ожидалъ подобнаго извѣстія. Но передъ такимъ авторитетнымъ аргументомъ, какой привелъ ему Борисъ Федоровичъ, онъ растерялся, упалъ духомъ и, по обыкновенію, посѣтовалъ и на свою долю, и на общество, избравшее его головой.

Результатомъ происшедшаго между ними совѣщанія о принятіи предохранительныхъ мѣръ было то, что на другой же день въ волости назначили сходку, на которую повѣстили всѣхъ крестьянъ-рыбопромышленниковъ. Самые бѣдные, въ родѣ Кулька, Вяляго и Кондратія Савельича, не оповѣщались: всѣ знали, что они придутъ и безъ повѣстки потолкаться въ толпѣ, послушать, о чемъ говорятъ болѣе зажиточные, и потомъ поднять вверхъ правую руку, утверждая этимъ принятымъ въ быту ихъ жестомъ то мнѣніе, которое установитъ меньшинство ихъ. Въ этой бѣдной, забитой жизни капиталъ играетъ еще большую роль, чѣмъ гдѣ-либо, подавляя всякую правдивую мысль, если она родилась въ умѣ бѣдняка, одѣтаго въ оборванный полушубокъ и такіе же бродни.

Несвязно, запинаясь на каждомъ словѣ, произнесъ вступительную рѣчь Романъ Васильевичъ, объясняя собравшемуся обществу незаконность составленной ими таксы. Всѣ внимательно слушали его, тѣснясь за рѣшеткой, отдѣлявшей волостное присутствіе отъ остального пространства, предназначеннаго для сходокъ. Внимательно слушалъ его и Борисъ Федоровичъ, стоя, по обыкновенію, съ подвязанной щекой у стола, покрытаго чернымъ сукномъ и заваленнаго бумагами и пакетами. Никто въ толпѣ во время его рѣчи не шелохнулся, и каждое слово его отчетливо доносилось до ушей стоявшихъ даже у порога. Скрестивъ на груди руки, слушалъ его и Иванъ Николаевичъ, выдвинувшійся впереди всѣхъ, при началѣ ея.

— Ты о чемъ это говорилъ-то, не во гнѣвъ тебѣ, спрошу я?..— произнесъ онъ, когда Романъ Васильевичъ замолчалъ и отираль полою новаго суконнаго зипуна вспотѣвшій лобъ и ладони у рукъ.—Я, признаться, слушалъ, да што-то въ толкъ не взялъ!

— Народъ-то вотъ не падоть мутить, Иванъ Николаичъ! — съ сердцемъ отвѣтилъ онъ:—вотъ я къ чему!

— Такъ тебѣ бы такъ и сказать, короче бы дѣло! А кто-жъ ихъ мутитъ?

— На міру-то про тебя говорятъ!

— По-твоему выходитъ, у всего-то крешшонаго міра и разуму своего нѣтъ, а?—съ ироніей спросилъ онъ.

— Міръ-то нашъ, Иванъ Николаичъ, што скворя *), все болѣ съ чужого голоса поетъ. Ужъ не тебѣ бы и пытать объ этомъ, ты самъ пытанный! Ты вотъ и теперь первый заговорилъ, а всѣ молчатъ, стало быть, оно и касающе тебя!.. Ты, Иванъ Николаичъ, къ слову сказать, помутилъ мірскимъ-то разумомъ, да и въ сторону, а мы въ отвѣтѣ!

— Въ чемъ же отвѣтъ-то твой будетъ, ну-ко?

— Въ попущеніи бунта!

— Бунта-а-а!—съ удивленіемъ произнесъ онъ.

— Въ такцѣ вашей, да въ казенномъ ушшербѣ.

— Гора-то какая выросла, и глазомъ не окинешь, а? Заварили же мы, братцы, кашу волостнымъ на расхлебу,—съ ироніей обратился онъ къ обществу, все время молча слушавшему ихъ.—При какомъ же тутъ дѣлѣ казна-то?—снова спросилъ онъ.

— Ушшербнетъ.

— Отчого бы это казнѣ-то ушшербнуть, отвѣть-ко? Кажись, сама деньги-то дѣлаетъ.

— Иванъ Николаичъ, ты взялся говорить, такъ словами-то не играй, здѣсь волость, сходъ!—серьезно замѣтилъ ему писарь.—Здѣсь слово-то говори съ оглядкой!

— А тебѣ бы, Борисъ Федорычъ, на мой умъ, подвязать языкъ надоть, а не ланиту. Ты меня-то не учи! Я самъ порядокъ-то знаю! Ты не болѣ, какъ наемникъ нашъ, твое вотъ дѣло писать, что голова тебѣ прикажетъ, да общество. А свое-то слово въ мірскую рѣчь бросать не доводится. Аль языкъ-то тебѣ Петръ Матвѣичъ наточилъ, а? Нутко, скажи намъ, кому это онъ въ волость, по задворьямъ-то хоронясь, узелъ вчера несъ, што доброй бабѣ и на коромысло не зацѣпить, а?

*) Скворецъ.

Борисъ Федоровичъ покраснѣлъ и, отвернувшись въ сторону, закашлялся и поправилъ повязку.

— А-а-а! Видишь, сладкіе жъ гостинцы-то, и перхоть взяла,— съ юморомъ замѣтилъ Иванъ Николаевичъ.

Въ толпѣ послышался смѣхъ.

— Доѣхалъ... то-ись... и мужикъ же... а-ахъ ты, братецъ!—раздались въ ней одобрительные отзывы.

— Иванъ Николаичъ, ты ужъ былъ въ наукѣ?—вступился Романъ Васильевичъ, покачивая головой.

— Былъ, Романъ Васильичъ, былъ... освѣтился!—тѣмъ же тономъ отвѣтилъ онъ.

— Што птица за рѣшетчатыми окнами сидѣлъ?

— Сидѣлъ, Романъ Васильичъ, сидѣлъ, да тамъ и правду-то щебетать научился! А корить-то этимъ при обществѣ нечего, не за воровство сидѣлъ, а за правое дѣло, што свѣча предъ Богомъ... По-омни... всѣ мы подъ Богомъ... отъ тюрьмы, да отъ сумы. .

— Не корю я тебя, дру-у-гъ,—прервалъ онъ,—а грѣхъ бы, говорю, другихъ-то совать въ энти палаты...

— Кого-жъ я сую-то, а?

— И общественниковъ, и насъ...

— О-о-о! А я ужъ испужался, думалъ, не Бориса ли Федорыча: такъ онъ, Романъ Васильичъ, и безъ чужой помоги своимъ умомъ до энтихъ-то палатъ доживетъ. Гостинцы-то на ѣду скусны, да отрыжка-то съ нихъ о-о-ой.. худая живетъ! А ѣстъ, ѣстъ, да и придетъ часъ отрыгнуть! А ты бы, Романъ Васильичъ, послушалъ моего стараго ума, лучше-бъ было, коли за общество стоялъ. Съ нами тебѣ жить-то доведется, о-ой, съ нами! Скажи-ко ты мнѣ, чѣмъ я подъ иго-то подвожу, а?

— Не ты-ль на такцію общество-то подбилъ, а?

— Я! я! Такъ энто и есть иго-то... бунтъ-то?

— Бунтъ!

— Если я, къ примѣру, слѣпому дорогу покажу—и бунтовщикъ, а? Да гдѣ же про это писано?

— Въ законѣ!

— Неужъ въ законѣ не велѣно, штобы мужикъ по своей цѣнѣ свое кровное добро продавалъ, а?

— По своей-то цѣнѣ?—повторилъ Романъ Васильевичъ и, задумавшись, почесалъ въ затылкѣ.—Не велѣно!—утвердительно, наконецъ, отвѣтилъ онъ.—Не велѣно!—снова повторилъ онъ тѣмъ же тономъ.—Положенье такое: такціямъ запретъ, а кольми того, говоритъ, скопомъ!

— Ско-опомъ! энто што-жъ за слово?

— Слово... самое... въ законѣ прописанное... законное слово! — пояснилъ онъ.

— А-а! Такъ по закону-то такъ надоть, значитъ: если рыба мнѣ стоитъ два съ полтиной пудъ, то я долженъ отдать ему по его цѣнѣ, а не по моей!

— Не то ты говоришь, Иванъ Николаичъ, — прервалъ писарь, все время молчавшій послѣ происшедшей съ нимъ сцены. — Поймите, — обратился онъ къ обществу, избѣгая проницательнаго взгляда Ивана Николаевича, — законъ не воспрещаетъ продавать свое добро по какой хошь цѣнѣ, а воспрещаетъ токмо такціи... самовольныя стачки скопомъ, къ примѣру будучи сказать, какъ вы установили обчествомъ, если отъ нихъ предвидится казнѣ ушшербъ. Во-отъ что закопъ-то гласитъ, поняли-ль?

— Ты растолкуй, какой казнѣ-то ушшербъ отъ нашихъ цѣнъ? — спросилъ его Иванъ Николаевичъ.

— И какъ ты это въ толкъ не возьмешь спросить: „собрали-ль мы подать-то?“ — укоризненно качая головой, вмѣшался Романъ Васильевичъ.

— Не мое дѣло казенный сундукъ считать. Ты голова, ты и блюди!

— Ты бы спросилъ, много-ль мы собрали-то ея. Мы и первой-то половины не очистили, а второй-то и не начинали; такъ энто казнѣ не ушшербъ?

— Ушшербъ!

— А собрать-то ее когда же, а?

— Поторгуетъ міръ на юровой, справится и очиститъ грѣхи... Подожди! не вдругъ!...

— То-то не поторгуетъ!.. Въ лонскіе-то годы помнишь. Торговцы до ярманки грузили возы рыбой, да отправляли. Мы до ярманки-то, бывало, сборныя книги очищали, а нонѣ кто продалъ ее, рыбу-то, окромя наѣзжихъ крестьянъ, а? Принесъ-ли изъ нашихъ-то юрьевцевъ кто въ подать-то хоша копейку, а? а вѣдь ужъ завтра ярмонка... Къ вечеру, гляди, ужъ торговцы-то въ обратный путь соберутся. Вы такцію-то установили, а не спросили того, кто купитъ по ней. Въ самые што ни есть неуловные года хрушкая-то рыба свыше девяти гривенъ, да рубля съ пятакомъ не поднималась, а вы два съ полтиной заломили, а? И думашь, купятъ...

— Купятъ! — спокойно и твердо отвѣтилъ ему Иванъ Николаевичъ.

— А кто купитъ-то... Смотри, вѣдь ужъ наѣзжіе-то крестьяне

всю рыбу продали; купцы-то ужъ наторговались! Такъ кто-жъ купитъ ее у нашихъ-то?

— Гуртовщикъ, тотъ же Петръ Матвѣичъ, а для ча онъ по-твоему, когды ужъ всѣ мелошники-то скупили ее у наѣзжихъ, наторговалиеь до сыта, а онъ не скупалъ... И дононѣ все сидитъ, да ждетъ, а?

— Ну, а не купитъ, закапризится, поставитъ на своемъ, а? Тогды кому ее продашь, а? Да онъ, слыхъ есть, и торговать-то ей болѣ не хочетъ!

— Купитъ! небось...—отвѣтилъ Иванъ Николаевичъ, не измѣняя тона,—купи-и-итъ! Теперя-то онъ съ непривычки ломается, говоритъ, что торговать ей не хочетъ, мужичьихъ поклоновъ ждетъ, а увидитъ, што неподдаемся, и купитъ, и пять рублевъ положь за пудъ, и за пять купитъ! Неужъ ты думашь, онъ на ярманку ѣхалъ на грошъ продать, да на два въ долгъ отпустить, а? Нѣ-ѣтъ, ему рыба надоть, рыба-а!.. За рыбой онъ ѣдетъ, а ярманки-то хоша бы и вѣкъ для него не бывало. Гдѣ онъ возьметъ ее теперя, опричь насъ, а? Съ обскихъ промысловъ, што-ль? нѣ-ѣтъ, тамъ купцы-то тысячники плаваютъ, почишше его, да коли онъ и купилъ какія крохи, то ужъ израсходывалъ въ постъ-то, тутъ масляная надъ головой, да сызнова постъ, расходъ на рыбу-то, успѣвай повертываться, а ему не поторговать-то, и хлѣба не видать, тоже ѣсть хочетъ, а гдѣ, говорю, онъ возьметъ-то ее теперя, опричь насъ, а? Ну-ко? Торговать ей не хочетъ болѣ... хе... слушай ты его, онъ и не то исшо скажетъ! Коли-бъ онъ ей торговать не хотѣлъ, не надоть была ему рыба, такъ для чего бы онъ это меня-то къ себѣ призывалъ, да ульщалъ всякими дарьми, штобы я цѣну сбилъ, а не съ его ли голоса и ты говоришь о бунтѣ, да казенномъ ушшербѣ, а-а-а? А это ты какъ полагаешь, не казенный ушшербъ, што мы съ дурности своей въ лонскіе-то годы што ни есть хрушкую-то рыбу по семи, да по восьми гривенъ пудъ отдавали ему, а онъ торговалъ ей по три съ полтиной, да по четыре съ гривнами пудъ, а? Ну-ко, сколь лихвы-то, тряхни-ко ерихметикой-то? Казенный-то ушшербъ теперя, на мой умъ, будетъ, коли мы ему по старымъ-то цѣнамъ отдадимъ, да-а! Разведи-ко умомъ-то, вѣдь мы казенные люди-то. Казнѣ-то избытошнѣе, коли мужики-то въ прохладѣ живутъ, не жуютъ хлѣба, слезой поливаючи. Вотъ какъ мы энтой-то цѣны попридержимся, такъ гляди-ко, чего будетъ?.. Бѣдность не будетъ голодать, казеннаго недоимка не станетъ расти на ней, какъ грибы отъ дождя, тысячами! И тебѣ-то безъ горя, ты не будешь ее за казенну-то подать въ заработки отправлять, въ конецъ-то зорить ее. Бѣдность-то выправится, да сама уплотитъ ее безъ слезъ! А коли мы поддадимся-то ему—и ушше-е-ербъ казнѣ, не

соберешь ее, подати-то, и будетъ богатому-то раззоръ, а бѣдности-то однѣ ужъ слезы... только ему нажива! На-а-жива ему, Романъ Васильичъ, на наши-то труды! На него-то онъ и брюхо роститъ. Возьме-е-етъ... и послѣдне возьметъ, какъ у Кулька, да у Вялаго, и спасиба не скажетъ. Вотъ ты за што Кулька-то да Вялаго въ разореньето отдалъ, а? А голова-а! Намъ бы долженъ защиту дать, а ты вонъ какой распорядокъ-то сдѣлалъ. Грѣ-ѣ-хъ тебѣ, Романъ Васильичъ, грѣ-ѣ-хъ!

Романъ Васильевичъ покраснѣлъ и, съ смущеніемъ разведя руками, хлопнулъ ими по бедрамъ.

— А-а-ахъ!—произнесъ онъ, качая головой,—не другъ ты мнѣ, не другъ, Иванъ Николаичъ.

— Не та дружья рука, Романъ Васильичъ, что только гладитъ, а та, што и бьетъ, подчасъ на міру-то говорятъ!—отвѣтилъ онъ.—А рыбу-то онъ все-таки купитъ у насъ безъ ушшерба казнѣ, не сумняйся!—заключилъ онъ.

Изъ толпы во все время рѣчи его не возвысился ни одинъ голосъ; изрѣдка только среди невозмутимой тишины проносился легкій шопотъ или вздохъ, и затѣмъ снова все замирало. Романъ Васильевичъ задумался и, наконецъ, покачавъ головой, съ тревогой въ голосѣ, произнесъ:

— А какъ не купитъ, заломается... Тогды-то какъ?

— А нѣшто въ городъ-то самимъ везти пути заказаны, а?

— Это за триста-то верстъ... харчиться, да убыточиться!—раздался вдругъ голосъ. — Да ишшо кому ее продашь тамъ? Тому же Петру Матвѣеву.

И Романъ Васильевичъ, и Иванъ Николаевичъ оглянулись въ ту сторону, откуда послышался возвысившійся голосъ, пробѣжавшій въ толпѣ электрической искрой. Толпа вышла изъ пассивнаго состоянія, точно разбуженная имъ, и заколыхалась.

— Спросилъ бы, на чемъ ишшо другой повезетъ-то,—заговорилъ сѣдой, приземистый старикъ. — У меня вонъ одна лошадь, да и та ишшо по осени копытомъ въ колесо угодила, да все сорвала. И вези-и-и.

— Сытымъ-то, Парфенъ Митричъ, и въ городъ путь!

— И-и... Тощему-то брюху только всякая дорога длинна.

— Ты дѣло говорилъ, Романъ Васильевичъ,—среди общаго безпорядочнаго говора крикнулъ высокій, сутоловатый крестьянинъ въ оленьей дахѣ, постепенно проталкиваясь изъ толпы къ рѣшеткѣ.—Завтра ярманка, а спроси, есть-ли у кого изъ крешшонаго міра грошъ за душой... а вѣдь мы и живемъ только отъ ярманки; у насъ одинъ разъ въ годъ

урожай-то на деньги. Гляди-ко, иные-то до нитки обносились, у другой обутки безъ подошвъ, а на што ихъ купить-то. А хоша-бъ подушную таперя... Да што толковать! — заключилъ онъ, махнувъ рукой, — не путную кашу заварили... А въ городъ-то везти—ну-ко, испробуй съ пустымъ-то карманомъ триста верстъ отмѣрять, за одинъ кормъ лошадямъ душу заложишь... да у кого исшо копи-то есть. А тамъ-то жди, когды ее по фунтамъ-то продашь! А гуртомъ-то кому? тому же Петру Матвѣеву, а ужъ коли онъ здѣсь на своемъ стоитъ, такъ ужъ тамъ, гляди-ко, насолитъ-то!

— Э-э... семи бабамъ подолами не выгрести!—прервалъ его голосъ изъ заднихъ рядовъ.

— А-а-ах-ха-ха-а!—загомонила толпа.—Ей-Богу вѣрно... Семи бабамъ... ну, и сло-о-ово!

— Вѣрно... а-а-ахъ, какъ вѣрно. Ты, Иванъ Николаичъ, съ фортуной мужикъ,—усиленно возвысивъ голосъ, крикнулъ ему тщедушный старикъ, барахтаясь въ толпѣ.—И голова мужикъ!

— Мужикъ да ума-то...

— Ума ло-о-хань!

— И за міръ онъ, братцы, стоитъ, и ей-Богу.

— Сосенка!.. Взыщи его Господи!

— А-а-хъ, Иванъ Николаевичъ, какъ ты насъ объѣхалъ, ну-у-у, подъѣлъ не причь купца. Пошли тѣ Господи фортуны, послушали тебя на свою шею,—чуть не въ голосъ укоряла его расходившаяся толпа.

— Да дай тебѣ Господи, Романъ Васильевичъ, вѣку и тебѣ, Борисъ Федоровичъ,—то-сь пошли вамъ Господи за науку вашу,—за мірское радѣнье. И продадимъ мы рыбу съ вашего слова по благословенію!

И слился этотъ говоръ въ общій гулъ, въ которомъ терялась всякая нить хотя какой-нибудь мысли. Иногда еще ухо могло уловить рѣзко проносившіяся отдѣльныя слова: „харчи“, „убытки“, „пошли Господи“, „копыто“ и т. п.

Романъ Васильевичъ зардѣлся яркимъ румянцемъ отъ сыпавшихся на него похвалъ и благословеній, и въ самодовольномъ смущеніи растерялся, не зная, куда смотрѣть, что говорить. Но Иванъ Николаевичъ замѣтно поблѣднѣлъ. Среди посыпавшихся градомъ укоровъ, онъ не проронилъ въ свое оправданіе ни одного слова и только съ грустною задумчивостью смотрѣлъ на волнующуюся толпу.

— И правду ты, Романъ Васильевичъ, сказалъ,—произнесъ, наконецъ, онъ, качая головой,—пра-авду: общество наше, што скворя! Прости, што пообидѣлъ тебя, хотѣлъ съ дураками пиво варить, да сколь не вали въ него хмѣлю, оно все солодитъ, а въ солодѣломъ и проку нѣтъ!

И, повернувшись, онъ медленно сталъ пробираться въ толпѣ къ дверямъ и вышелъ незамѣченнымъ въ разгарѣ бушевавшихъ толковъ.

— Пошто же вы это не выдержали, въ отпоръ-то пошли, а?—спросилъ Петръ Матвѣевичъ пришедшихъ къ нему въ тотъ же день крестьянъ съ предложеніемъ купить у нихъ рыбу.—А я-то было порадовался за васъ; пушшай, думалъ, поторгуютъ, поправятся, своимъ умомъ поживутъ!

— Пожили своимъ-то умомъ, будетъ, на-агрѣлись! — отвѣтилъ ему Парфенъ Митричъ, тотъ самый сѣдой старикъ, у котораго еще по осени лошадь попала копытомъ въ колесо.

— Скоро же надоѣло вамъ, нечего сказать, — съ ироніей замѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ.

— Умомъ-то жить надоть, штобъ въ карманѣ было, а карманъ пустъ — такъ не поживе-ешь! Брюхо-то заставитъ по чужой пикулѣ плясать.

— Нѣшто вы голодны, па брюхо-то жалитесь, а?—спросилъ онъ.

— Сыты бы были, не шли бы къ тебѣ съ поклономъ! Плакать-то, да кланяться, Петръ Матвѣевичъ, никому не сладко, слезы гонятъ!—говорилъ Парфенъ Митревичъ, стоя впереди всѣхъ.

— Рыба первѣющая по губерніи, а все мало, все голодны, все плачетесь, наро-одъ же вы!

— Жирна рыбка-то, не по нашему рту!

— Пріѣлась? Ну, оно точно, осетрина-то отбиваетъ!—съ ироніей отвѣтилъ онъ, барабаня пальцами по столу.

— И не пробовали!

— А-а!.. такъ вы испробуйте и поглянется, чѣмъ безъ пути на голодъ-то жалиться. Вонъ Иванъ Николаевъ, и видать, мужикъ съ умо-омъ. „Я, говоритъ, самъ съѣмъ“, и гляди, въ тѣло войдетъ! И вамъ бы, по-моему...

— А-а штобъ ему пусто!—пронеслось вмѣсто отвѣта въ толпѣ.—Ты и не поминай намъ объ немъ, осерчаемъ!

— За што-бъ это?

— Подъѣлъ онъ насъ, а-а-ахъ! — всплеснувъ руками, отвѣтилъ ему Парфенъ Митричъ.—Не причь татя!

— Иванъ-то Николаевъ? — съ притворнымъ удивленіемъ спросилъ Петръ Матвѣевичъ.—Да чѣмъ же, мужикъ-то онъ ровно обстоятельный, а?

— Неужъ ты не слыхалъ?

— Въ первой!—не измѣняя себя, отвѣтилъ Петръ Матвѣевичъ.

— Чудно, какъ это ты не слыхалъ? — съ недовѣріемъ спросилъ Парфенъ Митричъ, пристально посмотрѣвъ на него.—Наговорилъ-то онъ намъ много, да безъ пути,—началъ онъ;—не продавай, говоритъ, своей рыбы ни по чему Петру Матвѣеву, установь свою цѣну, а на его улещенія души не клади. Придетъ, говоритъ, самъ придетъ и склонитъ выю!

— Я-то это?—прервалъ его Петръ Матвѣевичъ.

— Ты... ты намъ-то будто, мужикамъ!

— Гляди-жъ!.. Хе... А вы и послушали?

— Послушали! Опричь насъ ему рыбы-то, говоритъ, негдѣ взять,— продолжалъ онъ, — и придетъ, придетъ, говоритъ, и поклонится. И куды это дѣвался у насъ на ту пору умъ то, а-а-ахъ ты, братецъ мой, а? Не диво ли! Ну, и не продавали, стояли на своемъ. И торговали ее у насъ—упорствовали и достояли, другъ мой, што у иного таперь, вмѣсто прибыли-то, слезы! Вотъ онъ чего подѣлалъ съ нами, провалиться бы ему!

— И не слыхивалъ!—прервалъ его Петръ Матвѣевичъ. — Оно точно, я зналъ, што вы цѣны-то подняли и стоите на нихъ, да полагалъ, што вы сами энто въ задоръ вошли, а штобы Иванъ Николаевъ васъ подбилъ до меня, и слуху не доходило! Такъ вы все это время и ждали моихъ поклоновъ, а?

— И ждали!

— Не-е-е-зналъ, други, а то зашелъ бы, поклонился бы, и ей-Богу. Што-жъ, шея-бъ не сломалась,—съ ироніей произнесъ онъ.— Экое горе-то, а?

— Дождались бы не того исшо на свою голову, — снова прервалъ его Парфенъ Митричъ,—да пошли Богъ вѣку головѣ да писарю, въ разумъ-то ввели, а то бы, голубь, сѣлъ намъ Иванъ-то Николаевичъ на шею, о-о, сѣлъ бы! Твердитъ одно: безпремѣнно купитъ, и пять рублевъ, говоритъ, положь,—и за пять купитъ.

— А што, други, въ правду-то сказать, онъ, пожалуй, и вѣрно говорилъ вамъ,—началъ Петръ Матвѣевичъ послѣ непродолжительнаго раздумья.—Гдѣ бы мнѣ, въ самомъ-то дѣлѣ, купить ее, а? Если бы, какъ въ лонскіе годы, рыба-то мнѣ понадобилась?.. Вѣдь негдѣ! Я вамъ и говорю-то это теперя на тотъ случай, што меня ужъ это дѣло не касающе. Мнѣ не покупать ея, рыбы-то, я и торговать болѣе не хочу ей и заѣхалъ-то будто счеты свести!

Крестьяне, въ свою очередь, съ недоумѣніемъ выслушали его, не понимая цѣли, къ которой клонились его слова.

— Не въ руку она мнѣ што-то пошла и-и Богъ съ ней! Бумажнымъ товаромъ позаймусь, — продолжалъ, между тѣмъ, Петръ Мат-

вѣевичъ, съ раздумьемъ барабаня пальцами по столу.—А вамъ бы, на мой умъ, право не торопиться, продавать-то ее, постоять бы исшо за свои-то цѣны. Придетъ исшо—не я, такъ другой, кто ни на есть, и поклонится, можетъ; тогды и помянете Ивана-то Николаевича, а и ждать-то много-ль? Завтра ярманка, къ вечеру, гляди, и въ обратный будутъ собираться.

— Обожди, легко это говорить-то, Петръ Матвѣичъ! —вступился сутуловатый крестьянинъ, первый поднявшій въ волости голосъ противъ Ивана Николаевича.—Неужъ мы, по своему-то, не смѣкаемъ же, што Иванъ-то Николаевичъ, и правъ, пожалуй, да вѣдь нужа, другъ! Ждать-то тогды ладно, когда въ карманѣ не свербитъ, а вѣдь завтра ярманка, а мы ей живемъ, въ нее-то и подушную заплатишь, и обуешься, и одѣнешься, и всякаго запасу прикупишь! Гляди-ко!— И, поднявъ ногу, онъ показалъ ему прорванный бродень. — А вѣдь ихъ купить надоть, а на чего купишь-то? Спроси, есть-ли у кого въ міру-то хоша мѣдный грошъ за душой, а? И продашь, продашь за дешево ее, только купи-и, нужа-то не терпитъ! Иной ужъ слезьми отъ нея обливается, а у иного, што ись и хлѣба-то нѣтъ, какъ у меня вотъ, а семья, семья, сизый... Всѣ пить, ѣсть хотятъ! И у хлѣба сидимъ, не погнѣвимъ Бога, да хлѣбъ-то энтотъ не по насъ, неужъ ты думашь, и мы бы не поѣли рыбки-то? Поѣли-бъ и какъ бы исшо поѣли. Отъ сладкаго-то куса никто ротъ не отворотитъ, да вотъ ты съѣшь-ко ее, испробуй, такъ чѣмъ подушную-то справишь? чѣмъ по домашности дыры-то заткнешь? А много дыръ то, о-охъ, много! Успѣвай только конопатить! Иной бы и въ городъ чего свезъ, нашлось бы, по домашности-то, да куды повезешь-то? Триста-то верстъ отмѣрять на одной-то животинкѣ—нагрѣешь ноги, и безъ пути нагрѣешь-то ихъ; што и выручишь, все на прокормъ тебѣ да лошадушкѣ уйдетъ, а домой-то сызнова пріѣдешь ни съ чѣмъ и проѣздишь-то не мало время, а кто робить безъ тебя дома-то будетъ? А вѣдь домашность тоже не ждетъ, иное время часъ дорогъ. Вотъ и суди мужичье-то дѣло. А ты лучше помоги намъ, купи-и, вѣкъ за тебя богомольщики-то!—заключилъ онъ.

— И радъ бы, Ермилъ Васильичъ, помочь, вѣрю я вамъ,—отвѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ,—да, вишь, торговать-то рыбой не хочу болѣ, въ лонскіе-то годы, самъ знашь, за мной дѣло не стояло, пе-е-ервой былъ покупатель-то!

— И, напасть! — прервалъ его Парфенъ Митричъ, всхлопнувъ руками по бедрамъ. — Да нѣ-ѣтъ, это ты балуешь, пужаешь только насъ, што не покупаешь рыбы-то, а?— И онъ посмотрѣлъ на него съ выраженіемъ мучительнаго безпокойства въ лицѣ.

— Не маненькой я, Парфенъ Митричъ, въ темную-то играть!— замѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ.—Да што, рази опричь меня некому продать-то ее, а-а?—спросилъ онъ.

— Было бы кому, и не докучали!

— Эвонъ сколь народу наѣхало, да некому, а-а-ахъ ты, сѣдой статуй!

— Не ахтительный народъ-то!

— О-о! Чѣмъ же? народъ все съ деньгой!

— Въ карманахъ-то не шарили, можетъ, и съ деньгой, да мелошники.

— На свалъ-то не берутъ?

— Про свою пропорцію купили, одно и поютъ!

— Ну, это горе!—отвѣтилъ Петръ Матвѣевичъ.

— Всплачешь!

— Помочь-то вамъ чѣмъ бы, это какъ на грѣхъ, ровно, я и денегъ-то съ собой не захватилъ, — говорилъ онъ, задумчиво глядя въ уголъ;—право, грѣхъ, да у Силантія-то Макарыча вы были?—спросилъ онъ.

— Были, не обошли!

— А-а а! Онъ-то чего же говоритъ?

— Накупился!

— Успѣлъ!.. Ну, да кулакъ-мужикъ, своего не упуститъ. А вы къ Терентію Силину сходите, можетъ, онъ!

— Сходи-ко поди! въ за-ашей посулилъ!

— А-а-ахъ-ха-ха-а! Да онъ, ровно, тихій мужикъ-то?

— Всѣ они тихіе... Ходи, говоритъ, около, а за порогъ ни-ни. Потому, говоритъ, ты ломался, такъ таперя я поломаюсь! Моя льгота!

— Э-эхъ-хе-хе! Ну-у!.. А вы къ Прокопію Истомину сбѣгайте, онъ мужикъ денежный, и дѣла у него нонѣ съ рыбой форсисто идутъ— купитъ.

Парфенъ Митричъ вмѣсто отвѣта махнулъ рукой и, отвернувшись въ сторону, почесалъ въ затылкѣ.

— Неужъ и у него были? — насмѣшливо спросилъ Петръ Матвѣевичъ.

— И-и какъ то-ись экихъ людей земля носитъ, а-ахъ ты, братецъ мой!—вмѣсто отвѣта произнесъ Парфенъ Митричъ, всплеснувъ руками.

— И у него выходили?

— Выходили!—повторилъ онъ, мотнувъ головой, — въ патретъ мнѣ плюнулъ, слышь, да поднялъ съ полу ошметокъ валящій. На, утрись, говоритъ... Слыхалъ ты экое поруганье, а? — спросилъ онъ.

Петръ Матвѣевичъ, даже не дослушавъ его, закатился веселымъ, порывистымъ смѣхомъ. — Ай-ай.. дѣло-то ваше, а? — спросилъ онъ, когда смѣхъ его стихъ.

— Пожалуй, што своимъ-то умомъ и худо жить, а?—спросилъ онъ.

— Убытошно, а-а-ахъ какъ убытошно! — отвѣтилъ Парфенъ Митричъ.

— Къ кому болѣ и натолкнуть-то васъ, не знаю, подождите: ужо вечеромъ-то завтра я въ обратный поѣду, такъ поговорю кому ни на есть въ городѣ, можетъ и взыщутся охотники, и пріѣдутъ скупать-то ее.

— У-утѣшилъ!.. — И Парфенъ Митричъ всхлопнулъ руками по бедрамъ.

Въ толпѣ пробѣжалъ тяжелый вздохъ.

— Пораззорись ты, купи ее, вѣдь ты балуешь, што денегъ-то у тебя нѣтъ,—вступился Ермилъ Васильичъ.—Не ломайся!

— О васъ же радѣю, а ты мнѣ экое слово выворотилъ, а?—произнесъ Петръ Матвѣевичъ тономъ, внезапно измѣнившимся изъ шутливаго въ суровый, безчувственный.

— Съ горя-то не услышишь, какъ и слово-то обронишь, прости, коли въ обиду!—извинился онъ.

— А кто горю-то причиненъ, ну-ко?

— Не вспоминай, а-ахъ, будь оно...

— Не взлюбилось... ха-ха-а... Зато своимъ умомъ пожили, а?

— Пожили, штобъ его...

— И чать это вы ума-то понабрались, возмечтали о себѣ, а-а?— презрительно прервалъ его Петръ Матвѣевичъ.

— Не смѣйся хошь ты-то, ну-у...

— Я-я, то-ись, ни-ни... Я говорю только, любопытно бы, какъ это возмечтамши-то вы были? То-ись таперя, къ примѣру, сидитъ бы это мужикъ, къ слову говоря, въ рваныхъ бродняхъ, на полушубкѣ: швы лыкомъ строчены, и вдругъ бы это торгующій, ну, хоша бы я, недалеко ходить, въ лисей бы шубѣ, боберъ на шапкѣ, денегъ въ карманахъ, што омуля по веснѣ, и мужику-то бы это въ ноги. А-а-ахъ, ха-ха-ха-а!

И, отслонившись къ стѣнѣ, Петръ Матвѣевичъ разразился неудержимымъ хохотомъ; взрывы его до того были сильны, что порою походили на истерическое рыданіе

Крестьяне стояли молча, понуривъ головы.

— Ну, што-жъ, пришелъ я кланяться-то вамъ, а? — спросилъ онъ, отирая съ глазъ слезы, набѣжавшія отъ нервнаго хохота.

— Мужичью то работу кланяться никто на свою спину не возьметъ, Петръ Матвѣичъ! — тоскливо отвѣтилъ ъему Ермилъ Васильевичъ.

— А-а, таперя и смиренія накинули, на другой голосъ запѣли, да вѣдь вы же давѣ говорили, што поклоновъ моихъ ждали, а? Што-жъ, кто кому выю-то склонить пришелъ, а-а? И мужики вы, мужики! — съ разстановкой началъ онъ, презрительно качая головой. — Съ чего вы энто умъ-то показывать вздумали, а? Да нѣшто мужичье это дѣло умомъ-то жить? и почишше-то васъ кто, такъ голова отъ энтакой фантазіи прѣтъ, а то мужики, а?.. Чье дѣло въ назимѣ рыться, робить безъ устани, штобы кормить преизвышенныхъ фортуной? Умомъ захотѣли жить, а-а-ахъ, ха-ха-ха-а! И передъ кѣмъ же вы вздумали умъ-то показывать, ломаться-то, а? Ты вотъ нищъ, ни-ищъ, чѣмъ ты и выглядишь, такъ истертаго гроша никто не дастъ, а я-то кто, а-а?.. Тыщщникъ... Пойми слово-то: ты-ыщщникъ! На твоей головѣ волосъ столько нѣтъ, сколь у меня капиталу, да пошелъ бы я кланяться вамъ, а-а-ахъ, ха-ха-ха-а! О о-охъ, тошнехонько! — проговорилъ онъ, схватившись за лѣвый бокъ. — Ну, што-жъ вы таперя съ рыбой-то вашей будете дѣлать, а? — началъ онъ, отдохнувъ отъ схватывавшихъ его коликъ. — Самимъ ѣсть — брюхо, говоришь, не привышно, неравно тѣло нагуляешь, а волосные лозьемъ сдерутъ... за подать. Продать некому, ну, и-и што-жъ ты, а-а? Должонъ ее обратно въ воду кинуть?

И, подбочинившись, Петръ Матвѣевичъ впился въ нихъ нахально-насмѣшливымъ взглядомъ.

— Грѣ-ѣхъ бы тебѣ надъ бѣдностью-то нашей глумить, Петръ Матвѣичъ! со вздохомъ, покачавъ головой, отвѣтилъ ему Ермилъ Васильевичъ.

— Надъ бѣдностью-то и глуми. Богатый-то за все самъ себѣ господинъ, его никто не тронетъ! Ты вотъ наживи-ко капиталу, такъ и тебѣ всякій за твой умъ честь отдастъ, и ты будешь вразумлять... Поколь кто бѣденъ, такъ его вводи въ чувство-то, въ покорность-то, въ покорность-то въ эту!

— Покорились ужъ, плачемъ! Чѣмъ ругать-то, ты бъ слезы-то наши уте-еръ! — отвѣтилъ ему Парфенъ Митричъ, въ голосѣ котораго дѣйствительно слышались слезы.

— Плакущимъ-то всѣмъ не утрешь — много ихъ на бѣломъ свѣтѣ слоняется!

— Ну, горше-то мужика...

— И энто слыхивали! — прервалъ его Петръ Матвѣичъ. — А ты поновѣй чего ни на есть скажи, куда вотъ ты, къ примѣру, съ рыбой-то?

— Къ тебѣ одно пристанище!

— А-а... стал... быть, спѣсь-то повылѣзла, вспомнили, какъ и у Петра Матвѣева дверь отворяется, а раньше то вы и плевать на нее не хотѣли: што-жъ я теперь долженъ съ вами-то сдѣлать, а?

— Облагодѣтельствуй!

— По писанію, стало быть, добромъ за зло, а?.. Кланяйся вотъ въ ноги и облагодѣтельствую. Мнѣ вотъ и не надоть вашу-то рыбу, а снизойду и куплю!

— А-а-а-ахъ, братецъ, снизойди... Сдѣлл-милость!

— Я нѣшто съ тобой изъ одной утробы-то?—строго спросилъ онъ обмолвившагося Парфена Митрича.

— Къ слову, не погнѣвись!

— Ты оглядывай свое-то слово. Я съ тобой вотъ што ись и на одну-то половницу не стану! Ты кто есть?

— Хрестьянинъ!

— А я купецъ, гильдію ношу... почетъ... такъ могу-ль я съ тобой равняться-то? я вотъ и разговариваю-то единственно по добротѣ!

— Пошли тебѣ Господи!

— Погляжу, какъ вы укротились духомъ. Кланяйтесь-ко!

И онъ горделиво посмотрѣлъ на нихъ, вытянувъ впередъ ноги.

— Поклонимся, братцы, што-жъ? — обратился Ермилъ Васильевичъ къ остальнымъ стоявшимъ за нимъ крестьянамъ.— Снисходитъ, къ нашей-то нуждѣ, пошли ему Господи.

Всѣ молча замялись съ ноги на ногу, кое-кто почесалъ въ затылкѣ, а у иного непроизвольно выражался тяжелый вздохъ.

— А ты какъ рыбку-то у насъ, по какой цѣнѣ возьмешь? — неожиданно спросилъ его Парфенъ Митричъ.

— Ты допрежъ себѣ снисхожденье-то вымоли, а не объ энтомъ разговаривай: твоей-то рыбы мнѣ и не надоть, я исшо объ энтомъ подумаю, купить, аль нѣтъ, слыхалъ-ли?

— Ты ужъ сдѣлл-милость, не обидь.

— Энто ужъ мое дѣло, подумаю!

— Будь по-Божьи другъ. Я и спросилъ-то болѣ, штобъ, значитъ, за одинъ поклонъ обстоять!

— А-а, дважды-то не хошь?

— Прикажешь, и дважды поклонишься, ничего не подѣлаешь! И низко тебѣ это кланяться-то?

— По щиколку! *).

— Поклонишься и по щиколку, ничего не подѣлаешь, — какъ бы про себя, съ раздумьемъ произнесъ Парфенъ Митричъ. — А-ахъ,

*) Ступня ноги.

Иванъ Николаичъ, уготовилъ иго, а все бы о цѣнѣ-то, другъ!—промолвилъ онъ.—Ну да ужъ поклонимся, братцы, поклонимся!—произнесъ онъ, обратившись къ толпѣ, такъ же, какъ и Ермилъ.

Ни одинъ земной владыка такъ горделиво не принялъ бы отдаваемыхъ ему почестей, какъ принялъ ихъ Петръ Матвѣевичъ отъ унижающихся бѣдняковъ.

— Поняли-ль теперь мою-то науку, а?— строго спросилъ ихъ Петръ Матвѣевичъ послѣ окончанія поклоновъ.

Всѣ замялись и молча робко посматривали другъ на друга.

— Какъ же я теперь должонъ торговаться-то съ вами, вѣдь вы таперя во-о гдѣ сидите у меня всѣ! — произнесъ онъ, показавъ имъ сжатый кулакъ. — Захочу я — и сыты будете, не захочу — и будете помнить, каково съ Петромъ Матвѣичемъ шутки шутить! Три гривны съ пуда на свалъ, а-а?—И, весь избоченившись, онъ прищурилъ глаза и, медленно отбивая тактъ ногой, смотрѣлъ, какое впечатлѣніе произвела на нихъ рѣчь его.

— Не пужай хошь для Бога-то!—отвѣтилъ ему Парфенъ Митричъ, заискивающимъ взглядомъ смотря на него.

— А не пужаю, если и отдашь?

— Отдашь, а-ахъ и разоришься, да отдашь!— согласился онъ.

— Почувствовали таперя, што я такое?

— Пожалуй, што почувствовали, а-ахъ, штобъ ему... эфтому Ивану Николаеву. Ну-у, будемъ помнить, почувствовали! — снова повторилъ онъ.

— И помни, я вотъ и раззорить тебя могу, а не зорю... душа есть... я вотъ тебѣ полтину даю; снисхожденье ли?

— Снисхожденъ, дай тебѣ Господи, а все бы души-то во спасенье, семь гривенокъ положить бы надоть, а?

— Рубь не хошь-ли?

— Не дашь вѣдь рубля-то, такъ только языкъ точишь, а помолились бы, а-ахъ, какъ. И денно бы и ношно на молитвѣ!

— Ну, молитвы-то энти до другого разу запаси, а нонѣ и за полтину благодарствуй.

— И за семь бы гривенъ помолились, и ей-Богу. Мало полтины-то, сизый. Дыръ-то много, попробуй-ко заткнуть-то ихъ всѣ изъ полтины; для Бога-то хоша положь семь гривенокъ...

— Каждому-то для Бога расточать, и кармана не напасемъ, а мало тебѣ— я и не навязываюсь. Отъ щедрыни Богъ ослобонилъ, ѣшь ее самъ!—И отвернувшись отъ нихъ, Петръ Матвѣевичъ монотонно забарабанилъ по столу.

— Не человѣкъ ты, однако! — всплеснувъ руками, произнесъ Парфенъ Митричъ.

— Обознался... Самый по образу и подобію...

— Не умолишь тебя никакой слезой...

— И не утруждайся... Не икона! Добръ ли я вотъ, по вашему-то понятію?—спросилъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія, искоса поглядывая на нихъ.

— Взыщи тебя, Господи! Одно слово.

— Я вотъ не раззоряю, я вотъ шесть съ пятакомъ надкидываю, довольно-ли?

— Не далеко ужъ до пятачка-то: надбавь, съ добродѣтели-то сжалься!—отвѣтилъ ему Парфенъ Митричъ.

— И все вы въ безчувствіи! все мало?

— Нужа, родной, а-ахъ, нужа! Нашему брату и копейка дорога, не токма пятакъ!

— А ко мнѣ, по-твоему, пятаки-то сами въ карманъ плывутъ, а?

— Сравнялъ! Твое дѣло и наше! Ты купецъ, куда не шагнешь—все деньги, а наше-то дѣло: гдѣ постоишь и тутъ протаетъ!

Петръ Матвѣевичъ снова отвернулся и задумчиво посмотрѣлъ въ уголъ. —Надо бы васъ поучить исшо, да ужъ стихъ-то прошелъ, укротился я!—вскользь замѣтилъ онъ.

— Поучилъ, чего исшо надоть? Понюхали, чѣмъ отъ сапогъ-то пахнетъ!—также замѣтилъ ему и Ермилъ Васильевичъ.

— То-то, мало, говорю, нюхали-то, надоть бы исшо, въ обоняніи штоба было! Ну, дамъ я вамъ пятакъ, надкину, што-жъ вы-то мнѣ чѣмъ за это отплатите, а?

— Въ ноги... отъ мужика одна плата!

— А ты говоришь, пахнетъ?—съ ироніей спросилъ онъ.

— Понюхашь и вторительно... Нужа-то заставитъ!

— И только што понюхашь, будто болѣ и ничего, а?

— Господи! да чего-жъ тебѣ исшо надоть? Ругалъ, ругалъ, исшо мало; ты пожалѣй, вѣдь и мы люди!—вмѣшался Парфенъ Митричъ.—И въ насъ вѣдь душа...

— А на будущій годъ вы сызнова за энти пѣсни, а? Сызнова будете умъ показывать?—спросилъ онъ.

— Живы ли исшо будемъ!

— Ну коли живъ-то будешь?

— Умъ-то показывать? — переспросилъ Парфенъ Митричъ. — Нѣтъ, пожалуй, што не мужичье дѣло!

— И завсегды это памятуйте!

— Оборони Господи! И безъ ума мужику горе, а съ умомъ вдвое, особливо учителя то...

— Не потакаютъ, а-ахъ-ха-ха-а! Ну, такъ вотъ за то, што будто я васъ уму поучилъ, дайте-ко мнѣ подписку, што обязуетесь на будущій годъ продать мнѣ всю вашу рыбу по моимъ цѣнамъ, а?

— Подписку-то?—И, почесавъ въ затылкѣ, Парфенъ Митричъ вопросительно посмотрѣлъ на остальныхъ.

— А ты не обидишь?—спросилъ Ермилъ Васильевичъ.

— Какой стихъ найдетъ!

— А-а-а! боязно... Экъ-то?

— Ты только будь въ покорствѣ, а отъ меня... окромя добра... поняли?

— О-охъ... оно... Што-жъ, какъ, други? — обратился онъ къ остальнымъ.—И задаточку дашь? — снова спросилъ онъ Петра Матвѣевича.

— Снабжу!

— Пошли ему Господи, други, и-ей-Богу!.. добрый онъ!—говорилъ, обратившись къ толпѣ, обрадованный Ермилъ Васильевичъ.—Дай тебѣ Господи! — откликнулись на слова его и остальные, и на истомленныхъ, за часъ до того убитыхъ лицахъ засіяла радость.

Щедрою рукою далъ имъ Петръ Матвѣевичъ задатокъ и часть денегъ, причитающихся за скупленную на свалъ рыбу до развѣса ея. И взяли они задатокъ, не думая о будущемъ: да имъ ли, жившимъ день за день, было думать о будущемъ?

Въ тотъ же вечеръ Романъ Васильевичъ утвердилъ своею печатью составленное условіе между Петромъ Матвѣевичемъ и крестьянами, гдѣ были приписаны услужливымъ Борисомъ Федорычемъ непонятныя для послѣднихъ слова: „а въ случаѣ неустойки или упорства насъ, нижепоименованныхъ, воленъ онъ, Вѣжинъ, искать всѣ свои убытки съ нашего имущества, за смертью же или неустойкою кого-либо изъ насъ, онъ воленъ искать свои убытки съ насъ, взаиморучателей“.

Когда Миронъ Игнатьевичъ и Семенъ пришли изъ балагана къ вечернему чаю, Петръ Матвѣевичъ молча подалъ Мирону Игнатьевичу составленное имъ условіе.

— Учись, Семка, у дяди, поколь живъ онъ!—съ улыбкой обратился Миронъ Игнатьевичъ къ Семену послѣ прочтенія условія.—Съ эпакой наукой большія палаты наживешь... бо-ольшія!

Лицо Петра Матвѣевича дышало горделивымъ довольствомъ. Лучшей похвалы для него и не могло быть.

Наступилъ и день открытія ярмарки. Послѣ молебствія на площади и водосвятья раскрылись балаганы, показавъ сложенныя въ нихъ богатства. На иныхъ взвились флаги, и густыя толпы народа, одѣтаго по праздничному, разсыпались по рядамъ. И какихъ только костюмовъ не мелькало въ этихъ шумно-волнующихся массахъ: и теплая безъ разрѣза малица *), съ такою же шапкой и сапогами—остроумное изобрѣтеніе остяка,—и бѣлыя малки **), узорно вышитыя цвѣтною шерстью на спинѣ и на полахъ, и овчинные тулупы, одѣтые вверхъ мѣхомъ, и суконные зипуны. Матерчатыя, яркихъ цвѣтовъ кацавеи на женщинахъ и шубки, опоясанныя алыми кушаками, еще болѣе разнообразили эту, и безъ того пестрѣющую всевозможными оттѣнками, картину, обливаемую яркими солнечными лучами. Неумолкаемо несшійся говоръ и хохотъ, иногда покрываемый рѣзкимъ визгомъ скрипки или гармоники, звонъ колокольцевъ и бубенчиковъ на лихихъ тройкахъ, заложенныхъ въ розвальни, съ гикомъ носившихся по улицамъ, хоровыя пѣсни катавшихся въ нихъ дѣвушекъ и парней, сливаясь въ одинъ общій нестройный гулъ, напоминали скорѣе прибой волнъ о прибрежныя скалы, чѣмъ человѣческую рѣчь.

У балагановъ, гдѣ шелъ оживленный торгъ, кипѣла разнообразная, полная наивнаго юмора жизнь, того юмора, которымъ такъ богата натура русскаго простолюдина, гдѣ, вмѣстѣ съ дѣтскимъ міросозерцаніемъ его и незлобивой шутливостью, сливается и логичный умъ, и трезвый опытъ, выносимый изъ многострадальной жизни. Порою въ воздухѣ быстро мелькалъ аршинъ съ наматываемымъ на него ситцемъ, но расходилась за копейку цѣна, и торговецъ съ ругательствомъ складывалъ снова въ кусокъ отмѣренный ситецъ, а покупательница, прищелкивая орѣхи, флегматично отговаривалась на укоры его: „поробь-ко съ мое и на копейку оглянешься!“ У одного изъ балагановъ пожилой мужичекъ болѣе часу вытягивалъ сыромятные ремни наборной сбруи, пробуя упругость ихъ и на колѣнѣ, и зубомъ, и все еще не убѣждаясь въ крѣпости, на всѣ увѣренія торговца приговаривалъ: „на жерновѣ, братъ, не выдержитъ!“

Изъ каждаго балагана слышался пробный звонъ колокольчиковъ, покупаемыхъ подъ дуги, щелканье ружейныхъ замковъ, тупой звонъ кастрюль, происходящей отъ стука въ днища ихъ, или тонкое дребезжаніе чайниковъ и чашекъ, кидаемыхъ торговцами на прилавокъ въ удостовѣреніе прочности ихъ предъ покупателями, у которыхъ разбѣгались глаза на сверкающіе передъ глазами ихъ товары. Иной и ничего

*) Оленья шуба съ двойнымъ мѣхомъ снаружи и внутри.
**) Оленья шуба съ однимъ мѣхомъ внутри.

не покупалъ, а все-таки тѣснился у прилавка, примѣривая на свою голову различныя шапки и шляпы, прицѣниваясь и къ сапогамъ, и къ рукавицамъ, и ко всему, на что глаза глядѣли—и, махнувъ рукой съ видомъ недовольства, отходилъ къ сосѣднему балагану, гдѣ повторялись тѣ же сцены.

Миронъ Игнатьевичъ терпѣливо увѣрялъ молодую, довольно красивую, женщину въ прочности торгуемаго ею шерстянаго платка.

— Ты, молодка, энтотъ платъ-то и въ тыщи годовъ не выносишь!—говорилъ онъ, пока она съ боязливою нерѣшительностью мяла его въ рукахъ;—нить-то у него во-о-лосъ, будь безъ сумнѣнія! Што тѣ, молодчикъ?—обратился онъ къ подошедшему крестьянину, облокотившемуся на прилавокъ.

— Што, говорю, покупаешь?—снова повторилъ онъ.

— Я, братъ, струментъ выглядываю, да штой-то нѣтъ, ровно, экаго!—отвѣтилъ онъ, зорко оглядывая полки.

— Плотничный аль кузнечный струментъ-то?—спросилъ онъ.—Не сумняйтесь, молодка, то-ись за вѣрное говорю... вещь... статья!—обратился онъ къ молодицѣ.—Какой струментъ-то, спрашиваю, званіемъ-то?

— Имя-то его, подь оно къ Богу, твердилъ, твердилъ... да провались оно...

— Мастерства-то ты какого?

— Столяръ! Избы рублю по деревнямъ-то!

— Рубанокъ?

— Сказалъ... хе... Этотъ струментъ я лонскаго года у городского мастера видѣлъ, не здѣшній, онъ сказывалъ! Вертитъ, вертитъ, да ахъ ты, братецъ, ну, и струме-ентъ!

— Напарье, коль вертитъ?

— О-о! Напарье! Этотъ струментъ... слово... имя-то вотъ, подь оно, и твердилъ!

— Што цѣной-то?—прервала его молодица, ощупавшая и тщательно осмотрѣвшая платокъ со всѣхъ сторонъ къ свѣту.

— Безъ лихвы, красавица, полтора рубля! Самую свою цѣну и, ей-Богу, себѣ дороже: ужъ такъ единственно за прелесть твою!

— О-отступись, за экой-то платъ?

— Безъ износа, лебедка, по-о гропъ жизни и дѣткамъ въ придачу!

— Восемь гривенъ!—произнесла она.

Миронъ Игнатьевичъ молча сложилъ платокъ и, не обращая вниманія, отложилъ его въ сторону.

— Видомъ-то, говорю, каковъ струментъ-то?— снова обратился онъ къ крестьянину.

— То-ись какъ бы это тебѣ, братецъ, какъ шило, говорю, и съ такими это фигурами, а-ахъ ты, чортъ возьми, и въ кою сторону ты имъ ни верни, все фигура,—объяснилъ онъ.

— Продаешь, што-ль?—прервала его молодица, все еще продолжавшая стоять въ раздумьи.

— Дешево покупаешь, только домой не носишь! — отвѣтилъ онъ.—Хошь купить, вотъ тѣ рубль тридцать—послѣднее слово! И-и, такъ шило, говоришь?

— Шило, шило, совсѣмъ шило!

— Нѣту этого!

— И вижу, што нѣтъ! не видать, какъ ни приглядываю, а струме-ентъ, какъ ни изловчись имъ,—все фигура!..

— А-а, фигура?

— Фигура, фигура, другъ! И выдумали же, говорю, а? А што бы, къ примѣру, ты за экой самоваръ съ меня спросилъ?—указавъ на средняго формата самоваръ, стоявшій на окраинѣ полки, спросилъ онъ.

— Десять рублевъ!

— Цѣна же!

— А ты какъ полагалъ?

— Ну, да оно, извѣстно, всякому свое! Струментъ-то вотъ этотъ, братецъ, а? И твердилъ званье то его, лопнуть... и... и... ужъ безъ уступочки за самоваръ-то?

— Гривну для почину!

— А-а! Ну, да што говорить, одно слово вешшь. Дочку я замужъ сооружаю, вотъ дѣло-то!

— За кого?

— Вдовый мужикъ то, братецъ, и да вотъ, поди ты, не пьющій, нѣтъ энтого баловства-то за нимъ! Ну, такъ бабы-то говорятъ, вишь, самоваръ надоть да перину, а я-го, признаться, болѣ за струментомъ!

— У тебя деньги-то есть-ли?—выслушавъ его, неожиданно спросилъ Миронъ Игнатьевичъ.

— Деньги-то? А нашто бы это тебѣ?

— Любопытно бы!

— Не полагай... Мы нонѣ съ деньгой!

— То-то, коли ты для одного разговору, такъ отваливай, и безъ тебя много шляющихъ-то! И ты, молодка, тожъ не затѣняла бы свѣту, не по нраву цѣна, ну, и подь въ другое мѣсто, вѣрнѣй будетъ.

Мужичекъ, сооружающій замужъ дочь, конфузливо почесавъ въ затылкѣ, безцѣльно посмотрѣлъ въ сторону.

— Сторони-ись!—крикнулъ, оттолкнувъ ихъ отъ прилавка, кре-

стьянинъ среднихъ лѣтъ, въ новомъ зипунѣ, съ заломленной на затылокъ шапкой; въ лицѣ его сіяло самое веселое довольство. — Видалъ ты столько денегъ, а-а?—обратился онъ къ Мирону Игнатьевичу, развернувъ руку и показывая ему скомканный въ ней пучекъ ассигнацій.—Много?

— Не считалъ!—отвѣчалъ онъ.

Вслѣдъ за нимъ изъ-за угла быстро вывернулась молодая, красивая женщина и, подхвативъ его подъ руку, съ силой оттащила отъ прилавка. Повернувшись къ Мирону Игнатьевичу, увлекаемый, среди общаго хохота сидѣльцевъ и толпившихся у балагановъ крестьянъ, только кивнулъ ему головою и крикнулъ: „знай!“

— Ай, баба! А-ахъ-ха-ха-а! Какъ она его! — прыснулъ сѣдой, какъ лунь, старикъ въ поношенной малкѣ и, всплеснувъ руками, даже присѣлъ отъ удовольствія.—Ну-у, а што, купецъ, у васъ въ городахъ-то есть экія бабы? — наивно обратился онъ къ Мирону Игнатьевичу.

— Худой-то посуды вездѣ много!—отвѣтилъ тотъ.

— И, ей-Богу! А-ахъ, какъ ты вѣрно это, ну, и купе-ецъ! Давай мнѣ за энто обутки, утрафилъ ты мнѣ энтимъ словомъ-то.

— По зубамъ дать, помягче, аль по фарсистѣй, кожанные съ подборомъ?—спросилъ онъ.

— Свистунъ у меня, люби его Богъ, ноготь экой, въ палецъ растетъ!— пояснилъ онъ.

— И съ ногтемъ исшо, а-ахъ ты, старый! Гляди-ко!

— Съ ногтемъ! А ты какъ бы думалъ? — говорилъ онъ, ощупывая поданныя ему Мирономъ Игнатьичемъ кошомныя валенки. — А жидковаты ровно?—спросилъ онъ.

— Внучаты доносятъ,— не ты!

— И робятъ-то што мсь не было, вотъ, другъ, болѣзнь какая!— пожаловался онъ.

— Што-жъ такъ обшрафился, а?

— И радѣлъ, сердцемъ радѣлъ, — не было! — съ тоскою въ голосѣ отвѣтилъ онъ.

— Помочь бы сдѣлалъ!

— А-а, на ложе-то это? — съ удивленіемъ спросилъ онъ.

— Худую-то полосу вѣдь завсегда помочью вспахиваютъ, и былъ бы съ урожаемъ безъ горя, не догадался, старый, а? — насмѣшливо спросилъ Миронъ Игнатьичъ.

— Строго-ой я... о-о!

— А-а-а!

— На энти дѣла... у меня баба въ струнѣ.

— А старый, говоришь, а?

— Не диви... хе!.. старый... Ты, къ примѣру, што за обутки вотъ возьмешь, а? Мотри только, съ меня дешевле бери, старенькой я, убогой!

— Со стареньваго-то и взять надо дороже! Старому человѣку на што деньги; молодому, ну-у, будто дѣвки блазнятъ, можно спускъ дать, а тебѣ нѣшто въ гробъ нести! Ну, да бери ужъ за семь гривенъ, што тебя обидѣть... И безъ того Богъ убилъ!

— О-охъ, убилъ! Вѣрно! А все гривенку сбрось за Божью то обиду, а?

— Гривенку-то эту чья рука пообидѣла, та и пошлетъ!

— Не пошлетъ!

— Угнѣвилъ, значитъ, свѣчу!

— На свѣчу-то и выторговываю, снизойди.

— На свѣчу ли, мотри, старый? норовишь-то одному Богу, а не поставь другому; туда вонъ, подъ ельникъ, а?—спросилъ онъ.—Ну, да бери ужъ за шесть, што съ тебя!

Старикъ, кряхтя, досталъ ситцевый кисетъ, истрепанный временемъ, какъ и самъ онъ, и, вынувъ изъ него пригоршню мѣдныхъ денегъ, долго пересчитывалъ ихъ, внимательно осматривая подслѣповатыми глазами каждую монету къ свѣту.

— Всѣ!—произнесъ, наконецъ, онъ, кладя ихъ на прилавокъ.—Надоть бы вотъ исшо пятачекъ съ тебя уторговать... ну... будто на слово боекъ, владай имъ! — и, махнувъ рукой, онъ отошелъ, бережно укладывая кисетъ за пазуху.

Крестьянинъ, торговавшій самоваръ, все время стоялъ за угломъ балагана, пережидая ухода старика, и едва тотъ отвернулся отъ прилавка, онъ снова подошелъ и облокотился на него.

— Болѣе гривенки уступочки съ самовара-то не будетъ, а? — мягкимъ, заискивающимъ голосомъ спросилъ онъ.—Я бы за восемь-то рублевъ не постоялъ!

— И я не постою, коли деньги покажешь! — отвѣчалъ ему Миронъ Игнатьевичъ.

— Разп первѣй разговору деньги-то кажутъ, а?

— Не инако... потому съ покойной совѣстью будемъ языкъ трепать.

— Покажу, не сумняйся!

— Ну... ну... покажи.

— Заведенья-то вотъ нѣтъ, штобы на перво, значитъ, казать-то ихъ. Може, мы и цѣной не выговоримъ!

— Мужичью то работу кланяться никто на свою спину не возьметъ, Петръ Матвѣичъ!—тоскливо отвѣтилъ ъему Ермилъ Васильевичъ.

— А-а, таперя и смиренія накинули, на другой голосъ запѣли, да вѣдь вы же давѣ говорили, што поклоновъ моихъ ждали, а? Што-жъ, кто кому выю-то склонить пришелъ, а-а? И мужики вы, мужики! — съ разстановкой началъ онъ, презрительно качая головой. — Съ чего вы энто умъ-то показывать вздумали, а? Да нѣшто мужичье это дѣло умомъ-то жить? и почишше-то васъ кто, такъ голова отъ энтакой фантазіи прѣетъ, а то мужики, а?.. Чье дѣло въ назимѣ рыться, робить безъ устани, штобы кормить преизвышенныхъ фортуной? Умомъ захотѣли жить, а-а-ахъ, ха-ха-ха-а! И передъ кѣмъ же вы вздумали умъ-то показывать, ломаться-то, а? Ты вотъ нищъ, ни-ищъ, чѣмъ ты и выглядишь, такъ истертаго гроша никто не дастъ, а я-то кто, а-а?.. Тыщщникъ... Пойми слово-то: ты-ыщщникъ! На твоей головѣ волосъ столько нѣтъ, сколь у меня капиталу, да пошелъ бы я кланяться вамъ, а-а-ахъ, ха-ха-ха-а! О о-охъ, тошнехонько!—проговорилъ онъ, схватившись за лѣвый бокъ.—Ну, што-жъ вы таперя съ рыбой-то вашей будете дѣлать, а? — началъ онъ, отдохнувъ отъ схватывавшихъ его коликъ. — Самимъ ѣсть — брюхо, говоришь, не привышно, неравно тѣло нагуляешь, а волосные лозьемъ сдерутъ... за подать. Продать некому, ну, и-и што-жъ ты, а-а? Должонъ ее обратно въ воду кинуть?

И, подбочинившись, Петръ Матвѣевичъ впился въ нихъ нахально-насмѣшливымъ взглядомъ.

— Грѣ-ѣхъ бы тебѣ надъ бѣдностью-то нашей глумить, Петръ Матвѣичъ! со вздохомъ, покачавъ головой, отвѣтилъ ему Ермилъ Васильевичъ.

— Надъ бѣдностью-то и глуми. Богатый-то за все самъ себѣ господинъ, его никто не тронетъ! Ты вотъ наживи-ко капиталу, такъ и тебѣ всякій за твой умъ честь отдастъ, и ты будешь вразумлять... Поколь кто бѣденъ, такъ его вводи въ чувство-то, въ покорность-то, въ покорность-то въ эту!

— Покорились ужъ, плачемъ! Чѣмъ ругать-то, ты бъ слезы-то наши уте-еръ!—отвѣтилъ ему Парфенъ Митричъ, въ голосѣ котораго дѣйствительно слышались слезы.

— Плакущимъ-то всѣмъ не утрешь—много ихъ на бѣломъ свѣтѣ слоняется!

— Ну, горше-то мужика...

— И энто слыхивали!—прервалъ его Петръ Матвѣичъ.—А ты поновѣй чего ни на есть скажи, куда вотъ ты, къ примѣру, съ рыбой-то?

— Къ тебѣ одно пристанище!

— А-а... стал... быть, спѣсь-то повылѣзла, вспомнили, какъ и у Петра Матвѣева дверь отворяется, а раньше то вы и плевать на нее не хотѣли: што-жъ я теперь долженъ съ вами-то сдѣлать, а?

— Облагодѣтельствуй!

— По писанію, стало быть, добромъ за зло, а?.. Кланяйся вотъ въ ноги и облагодѣтельствую. Мнѣ вотъ и не надоть вашу-то рыбу, а снизойду и куплю!

— А-а-а-ахъ, братецъ, снизойди... Сдѣлл-милость!

— Я нѣшто съ тобой изъ одной утробы-то?—строго спросилъ онъ обмолвившагося Парфена Митрича.

— Къ слову, не погнѣвись!

— Ты оглядывай свое-то слово. Я съ тобой вотъ што ись и на одну-то половницу не стану! Ты кто есть?

— Хрестьянинъ!

— А я купецъ, гильдію ношу... почетъ... такъ могу-ль я съ тобой равняться-то? я вотъ и разговариваю-то единственно по добротѣ!

— Пошли тебѣ Господи!

— Погляжу, какъ вы укротились духомъ. Кланяйтесь-ко!

И онъ горделиво посмотрѣлъ на нихъ, вытянувъ впередъ ноги.

— Поклонимся, братцы, што-жъ? — обратился Ермилъ Васильевичъ къ остальнымъ стоявшимъ за нимъ крестьянамъ.— Снисходитъ, къ нашей-то нуждѣ, пошли ему Господи.

Всѣ молча замялись съ ноги на ногу, кое-кто почесалъ въ затылкѣ, а у иного непроизвольно выражался тяжелый вздохъ.

— А ты какъ рыбку-то у насъ, по какой цѣнѣ возьмешь? — неожиданно спросилъ его Парфенъ Митричъ.

— Ты допрежъ себѣ снисхожденье-то вымоли, а не объ энтомъ разговаривай: твоей-то рыбы мнѣ и не надоть, я исшо объ энтомъ подумаю, купить, аль нѣтъ, слыхалъ-ли?

— Ты ужъ сдѣлл-милость, не обидь.

— Энто ужъ мое дѣло, подумаю!

— Будь по-Божьи другъ. Я и спросилъ-то болѣ, штобъ, значитъ, за одинъ поклонъ обстоять!

— А-а, дважды-то не хошь?

— Прикажешь, и дважды поклонишься, ничего не подѣлаешь! И низко тебѣ это кланяться-то?

— По щиколку! *).

— Поклонишься и по щиколку, ничего не подѣлаешь, — какъ бы про себя, съ раздумьемъ произнесъ Парфенъ Митричъ. — А-ахъ,

*) Ступня ноги.

Иванъ Николаичъ, уготовилъ иго, а все бы о цѣпѣ-то, другъ!—промолвилъ онъ.—Ну да ужъ поклонимся, братцы, поклонимся!—произнесъ онъ, обратившись къ толпѣ, такъ же, какъ и Ермилъ.

Ни одинъ земной владыка такъ горделиво не принялъ бы отдаваемыхъ ему почестей, какъ принялъ ихъ Петръ Матвѣевичъ отъ унижающихся бѣдняковъ.

— Поняли-ль теперь мою-то науку, а?— строго спросилъ ихъ Петръ Матвѣевичъ послѣ окончанія поклоновъ.

Всѣ занялись и молча робко посматривали другъ на друга.

— Какъ же я теперь должонъ торговаться-то съ вами, вѣдь вы таперя во-о гдѣ сидите у меня всѣ! — произнесъ онъ, показавъ имъ сжатый кулакъ. — Захочу я — и сыты будете, не захочу — и будете помнить, каково съ Петромъ Матвѣичемъ шутки шутить! Три гривны съ пуда на свалъ, а-а?—И, весь избоченившись, онъ прищурилъ глаза и, медленно отбивая тактъ ногой, смотрѣлъ, какое впечатлѣніе произвела на нихъ рѣчь его.

— Не пужай хошь для Бога-то!—отвѣтилъ ему Парфенъ Митричъ, заискивающимъ взглядомъ смотря на него.

— А не пужаю, если и отдашь?

— Отдашь, а-ахъ и разоришься, да отдашь!— согласился онъ.

— Почувствовали таперя, што я такое?

— Пожалуй, што почувствовали, а-ахъ, штобъ ему... эфтому Ивану Николаеву. Ну-у, будемъ помнить, почувствовали!—снова повторилъ онъ.

— И помни, я вотъ и раззорить тебя могу, а не зорю... душа есть... я вотъ тебѣ полтину даю; снисхожденье ли?

— Снисхожденъ, дай тебѣ Господи, а все бы души-то во спасенье, семь гривенокъ положить бы надоть, а?

— Рубь не хошь-ли?

— Не дашь вѣдь рубля-то, такъ только языкъ точишь, а помолились бы, а-ахъ, какъ. И денно бы и ношно на молитвѣ!

— Ну, молитвы-то эпти до другого разу запаси, а нонѣ и за полтину благодарствуй.

— И за семь бы гривенъ помолились, и ей-Богу. Мало полтины-то, сизый. Дыръ-то много, попробуй-ко заткнуть-то ихъ всѣ изъ полтины; для Бога-то хоша положь семь гривенокъ...

— Каждому-то для Бога расточать, и кармана не напасемъ, а мало тебѣ— я и не навязываюсь. Отъ щедрыни Богъ ослобонилъ, ѣшь ее самъ!—И отвернувшись отъ нихъ, Петръ Матвѣевичъ монотонно забарабанилъ по столу.

— Не человѣкъ ты, однако! — всплеснувъ руками, произнесъ Парфенъ Митричъ.

— Обознался... Самый по образу и подобію...

— Не умолишь тебя никакой слезой...

— И не утруждайся... Не икона! Добръ ли я вотъ, по вашему-то понятію?—спросилъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія, искоса поглядывая на нихъ.

— Взыщи тебя, Господи! Одно слово.

— Я вотъ не раззоряю, я вотъ шесть съ пятакомъ надкидываю, довольно-ли?

— Не далеко ужъ до пятачка-то: надбавь, съ добродѣтели-то сжалься!—отвѣтилъ ему Парфенъ Митричъ.

— И все вы въ безчувствіи! все мало?

— Нужа, родной, а-ахъ, нужа! Нашему брату и копейка дорога, не токма пятакъ!

— А ко мнѣ, по-твоему, пятаки-то сами въ карманъ плывутъ, а?

— Сравнялъ! Твое дѣло и наше! Ты купецъ, куда не шагнешь—все деньги, а наше-то дѣло: гдѣ постоишь и тутъ протаетъ!

Петръ Матвѣевичъ снова отвернулся и задумчиво посмотрѣлъ въ уголъ.—Надо бы васъ поучить исшо, да ужъ стихъ-то прошелъ, укротился я!—вскользь замѣтилъ онъ.

— Поучилъ, чего исшо надоть? Понюхали, чѣмъ отъ сапогъ-то пахнетъ!—также замѣтилъ ему и Ермилъ Васильевичъ.

— То-то, мало, говорю, нюхали-то, надоть бы исшо, въ обопяніи штоба было! Ну, дамъ я вамъ пятакъ, надкину, што-жъ вы-то мнѣ чѣмъ за это отплатите, а?

— Въ ноги... отъ мужика одна плата!

— А ты говоришь, пахнетъ?—съ ироніей спросилъ онъ.

— Понюхашь и вторительно... Нужа-то заставитъ!

— И только што понюхашь, будто болѣ и ничего, а?

— Господи! да чего-жъ тебѣ исшо надоть? Ругалъ, ругалъ, исшо мало; ты пожалѣй, вѣдь и мы люди!—вмѣшался Парфенъ Митричъ.—И въ насъ вѣдь душа...

— А на будущій годъ вы сызнова за энти пѣсни, а? Сызнова будете умъ показывать?—спросилъ онъ.

— Живы ли исшо будемъ!

— Ну коли живъ-то будешь?

— Умъ-то показывать? — переспросилъ Парфенъ Митричъ. — Нѣтъ, пожалуй, што не мужичье дѣло!

— И завсегды это памятуйте!

— Оборони Господи! И безъ ума мужику горе, а съ умомъ вдвое, особливо учителя то...

— Не потакаютъ, а-ахъ-ха-ха-а! Ну, такъ вотъ за то, што будто я васъ уму поучилъ, дайте-ко мнѣ подписку, што обязуетесь на будущій годъ продать мнѣ всю вашу рыбу по моимъ цѣнамъ, а?

— Подписку-то?—И, почесавъ въ затылкѣ, Парфенъ Митричъ вопросительно посмотрѣлъ на остальныхъ.

— А ты не обидишь?—спросилъ Ермилъ Васильевичъ.

— Какой стихъ найдетъ!

— А-а-а! боязно... Экъ-то?

— Ты только будь въ покорствѣ, а отъ меня... окромя добра... поняли?

— О-охъ... оно... Што-жъ, какъ, други? — обратился онъ къ остальнымъ.—И задаточку дашь? — снова спросилъ онъ Петра Матвѣевича.

— Снабжу!

— Пошли ему Господи, други, и-ей-Богу!.. добрый онъ!—говорилъ, обратившись къ толпѣ, обрадованный Ермилъ Васильевичъ.—Дай тебѣ Господи! — откликнулись на слова его и остальные, и на истомленныхъ, за часъ до того убитыхъ лицахъ засіяла радость.

Щедрою рукою далъ имъ Петръ Матвѣевичъ задатокъ и часть денегъ, причитающихся за скупленную на свалъ рыбу до развѣса ея. И взяли они задатокъ, не думая о будущемъ: да имъ ли, жившимъ день за день, было думать о будущемъ?

Въ тотъ же вечеръ Романъ Васильевичъ утвердилъ своею печатью составленное условіе между Петромъ Матвѣевичемъ и крестьянами, гдѣ были приписаны услужливымъ Борисомъ Федорычемъ непонятныя для послѣднихъ слова: „а въ случаѣ неустойки или упорства насъ, нижепоименованныхъ, воленъ онъ, Вѣжинъ, искать всѣ свои убытки съ нашего имущества, за смертью же или неустойкою кого-либо изъ насъ, онъ воленъ искать свои убытки съ насъ, взаиморучателей“.

Когда Миронъ Игнатьевичъ и Семенъ пришли изъ балагана къ вечернему чаю, Петръ Матвѣевичъ молча подалъ Мирону Игнатьевичу составленное имъ условіе.

— Учись, Семка, у дяди, поколь живъ онъ!—съ улыбкой обратился Миронъ Игнатьевичъ къ Семену послѣ прочтенія условія.—Съ энтакой наукой большія палаты наживешь... бо-ольшія!

Лицо Петра Матвѣевича дышало горделивымъ довольствомъ. Лучшей похвалы для него и не могло быть.

Наступилъ и день открытія ярмарки. Послѣ молебствія на площади и водосвятья раскрылись балаганы, показавъ сложенныя въ нихъ богатства. На иныхъ взвились флаги, и густыя толпы народа, одѣтаго по праздничному, разсыпались по рядамъ. И какихъ только костюмовъ не мелькало въ этихъ шумно-волнующихся массахъ: и теплая безъ разрѣза малица *), съ такою же шапкой и сапогами—остроумное изобрѣтеніе остяка,—и бѣлыя малки **), узорно вышитыя цвѣтною шерстью на спинѣ и на полахъ, и овчинные тулупы, одѣтые вверхъ мѣхомъ, и суконные зипуны. Матерчатыя, яркихъ цвѣтовъ кацавеи на женщинахъ и шубки, опоясанныя алыми кушаками, еще болѣе разнообразили эту, и безъ того пестрѣющую всевозможными оттѣнками, картину, обливаемую яркими солнечными лучами. Неумолкаемо несшійся говоръ и хохотъ, иногда покрываемый рѣзкимъ визгомъ скрипки или гармоники, звонъ колокольцевъ и бубенчиковъ на лихихъ тройкахъ, заложенныхъ въ розвальни, съ гикомъ носившихся по улицамъ, хоровыя пѣсни катавшихся въ нихъ дѣвушекъ и парней, сливаясь въ одинъ общій нестройный гулъ, напоминали скорѣе прибой волнъ о прибрежныя скалы, чѣмъ человѣческую рѣчь.

У балагановъ, гдѣ шелъ оживленный торгъ, кипѣла разнообразная, полная наивнаго юмора жизнь, того юмора, которымъ такъ богата натура русскаго простолюдина, гдѣ, вмѣстѣ съ дѣтскимъ міросозерцаніемъ его и незлобивой шутливостью, сливается и логичный умъ, и трезвый опытъ, выносимый изъ многострадальной жизни. Порою въ воздухѣ быстро мелькалъ аршинъ съ наматываемымъ на него ситцемъ, но расходилась за копейку цѣна, и торговецъ съ ругательствомъ складывалъ снова въ кусокъ отмѣренный ситецъ, а покупательница, прищелкивая орѣхи, флегматично отговаривалась на укоры его: „поробь-ко съ мое и на копейку оглянешься!“ У одного изъ балагановъ пожилой мужичекъ болѣе часу вытягивалъ сыромятные ремни наборной сбруи, пробуя упругость ихъ и на колѣнѣ, и зубомъ, и все еще не убѣждаясь въ крѣпости, на всѣ увѣренія торговца приговаривалъ: „на жерновѣ, братъ, не выдержитъ!“

Изъ каждаго балагана слышался пробный звонъ колокольчиковъ, покупаемыхъ подъ дуги, щелканье ружейныхъ замковъ, тупой звонъ кастрюль, происходящей отъ стука въ днища ихъ, или тонкое дребезжаніе чайниковъ и чашекъ, кидаемыхъ торговцами на прилавокъ въ удостовѣреніе прочности ихъ предъ покупателями, у которыхъ разбѣгались глаза на сверкающіе передъ глазами ихъ товары. Иной и ничего

*) Оленья шуба съ двойнымъ мѣхомъ снаружи и внутри.
**) Оленья шуба съ однимъ мѣхомъ внутри.

не покупалъ, а все-таки тѣснился у прилавка, примѣривая на свою голову различныя шапки и шляпы, прицѣниваясь и къ сапогамъ, и къ рукавицамъ, и ко всему, на что глаза глядѣли—и, махнувъ рукой съ видомъ недовольства, отходилъ къ сосѣднему балагану, гдѣ повторялись тѣ же сцены.

Миронъ Игнатьевичъ терпѣливо увѣрялъ молодую, довольно красивую, женщину въ прочности торгуемаго ею шерстяного платка.

— Ты, молодка, энтотъ платъ-то и въ тыщи годовъ не выносишь!—говорилъ онъ, пока она съ боязливою нерѣшительностью мяла его въ рукахъ;—нить-то у него во-о-лосъ, будь безъ сумнѣнія! Што тѣ, молодчикъ?—обратился онъ къ подошедшему крестьянину, облокотившемуся на прилавокъ.

— Што, говорю, покупаешь?—снова повторилъ онъ.

— Я, братъ, струментъ выглядываю, да штой-то нѣтъ, ровно, экаго!—отвѣтилъ онъ, зорко оглядывая полки.

— Плотничный аль кузнечный струментъ-то?—спросилъ онъ.—Не сумняйтесь, молодка, то-ись за вѣрное говорю... вещь... статья!—обратился онъ къ молодицѣ.—Какой струментъ-то, спрашиваю, званіемъ-то?

— Имя-то его, подь оно къ Богу, твердилъ, твердилъ... да провались оно...

— Мастерства-то ты какого?

— Столяръ! Избы рублю по деревнямъ-то!

— Рубанокъ?

— Сказалъ... хе... Этотъ струментъ я лонскаго года у городского мастера видѣлъ, не здѣшній, онъ сказывалъ! Вертитъ, вертитъ, да ахъ ты, братецъ, ну, и струме-ентъ!

— Напарье, коль вертитъ?

— О-о! Напарье! Этотъ струментъ... слово... имя-то вотъ, подь оно, и твердилъ!

— Што цѣной-то?—прервала его молодица, ощупавшая и тщательно осмотрѣвшая платокъ со всѣхъ сторонъ къ свѣту.

— Безъ лихвы, красавица, полтора рубля! Самую свою цѣну и, ей-Богу, себѣ дороже: ужъ такъ единственно за прелесть твою!

— О-отступись, за экой-то платъ?

— Безъ износа, лебедка, по-о гропъ жизни и дѣткамъ въ придачу!

— Восемь гривенъ!—произнесла она.

Миронъ Игнатьевичъ молча сложилъ платокъ и, не обращая вниманія, отложилъ его въ сторону.

— Видомъ-то, говорю, каковъ струментъ-то?— снова обратился онъ къ крестьянину.

— То-ись какъ бы это тебѣ, братецъ, какъ шило, говорю, и съ такими это фигурами, а-ахъ ты, чортъ возьми, и въ кою сторону ты имъ ни верни, все фигура,—объяснилъ онъ.

— Продаешь, што-ль?—прервала его молодица, все еще продолжавшая стоять въ раздумьи.

— Дешево покупаешь, только домой не носишь! — отвѣтилъ онъ.—Хошь купить, вотъ тѣ рубль тридцать—послѣднее слово! И-и, такъ шило, говоришь?

— Шило, шило, совсѣмъ шило!

— Нѣту этого!

— И вижу, што нѣтъ! не видать, какъ ни приглядываю, а струме-ентъ, какъ ни изловчись имъ,—все фигура!..

— А-а, фигура?

— Фигура, фигура, другъ! И выдумали же, говорю, а? А што бы, къ примѣру, ты за экой самоваръ съ меня спросилъ?—указавъ на средняго формата самоваръ, стоявшій на окраинѣ полки, спросилъ онъ.

— Десять рублевъ!

— Цѣна же!

— А ты какъ полагалъ?

— Ну, да оно, извѣстно, всякому свое! Струментъ-то вотъ этотъ, братецъ, а? И твердилъ званье то его, лопнуть... и... и... ужъ безъ уступочки за самоваръ-то?

— Гривну для почину!

— А-а! Ну, да што говорить, одно слово вешшь. Дочку я замужъ сооружаю, вотъ дѣло-то!

— За кого?

— Вдовый мужикъ то, братецъ, и да вотъ, поди ты, не пьющій, нѣтъ энтого баловства-то за нимъ! Ну, такъ бабы-то говорятъ, вишь, самоваръ надоть да перину, а я-то, признаться, болѣ за струментомъ!

— У тебя деньги-то есть-ли?—выслушавъ его, неожиданно спросилъ Миронъ Игнатьевичъ.

— Деньги-то? А нашто бы это тебѣ?

— Любопытно бы!

— Не полагай... Мы нонѣ съ деньгой!

— То-то, коли ты для одного разговору, такъ отваливай, и безъ тебя много шляющихъ-то! И ты, молодка, тожъ не затѣняла бы свѣту, не по нраву цѣна, ну, и подь въ другое мѣсто, вѣрнѣй будетъ.

Мужичекъ, сооружающій замужъ дочь, конфузливо почесавъ въ затылкѣ, безцѣльно посмотрѣлъ въ сторону.

— Сторони-ись!—крикнулъ, отталкнувъ ихъ отъ прилавка, кре-

стьянинъ среднихъ лѣтъ, въ новомъ зипунѣ, съ заломленной на затылокъ шапкой; въ лицѣ его сіяло самое веселое довольство. — Видалъ ты столько денегъ, а-а?—обратился онъ къ Мирону Игнатьевичу, развернувъ руку и показывая ему скомканный въ ней пучекъ ассигнацій.—Много?

— Не считалъ!—отвѣчалъ онъ.

Вслѣдъ за нимъ изъ-за угла быстро вывернулась молодая, красивая женщина и, подхвативъ его подъ руку, съ силой оттащила отъ прилавка. Повернувшись къ Мирону Игнатьевичу, увлекаемый, среди общаго хохота сидѣльцевъ и толпившихся у балагановъ крестьянъ, только кивнулъ ему головою и крикнулъ: „знай!“

— Ай, баба! А-ахъ-ха-ха-а! Какъ она его! — прыснулъ сѣдой, какъ лунь, старикъ въ поношенной малкѣ и, всплеснувъ руками, даже присѣлъ отъ удовольствія.—Ну-у, а што, купецъ, у васъ въ городахъ-то есть экія бабы? — наивно обратился онъ къ Мирону Игнатьевичу.

— Худой-то посуды вездѣ много!—отвѣтилъ тотъ.

— И, ей-Богу! А-ахъ, какъ ты вѣрно это, ну, и купе-ецъ! Давай мнѣ за энто обутки, утрафилъ ты мнѣ энтимъ словомъ-то.

— По зубамъ дать, помягче, аль по фарсистѣй, кожаные съ подборомъ?—спросилъ онъ.

— Свистунъ у меня, люби его Богъ, ноготь экой, въ палецъ растетъ!— пояснилъ онъ.

— И съ ногтемъ исшо, а-ахъ ты, старый! Гляди-ко!

— Съ ногтемъ! А ты какъ бы думалъ? — говорилъ онъ, ощупывая поданныя ему Мирономъ Игнатьичемъ кошомныя валенки. — А жидковаты ровно?—спросилъ онъ.

— Внучаты доносятъ,— не ты!

— И робятъ-то што ись не было, вотъ, другъ, болѣзнь какая!— пожаловался онъ.

— Што-жъ такъ обшрафился, а?

— И радѣлъ, сердцемъ радѣлъ, — не было! — съ тоскою въ голосѣ отвѣтилъ онъ.

— Помочь бы сдѣлалъ!

— А-а, на ложе-то это? — съ удивленіемъ спросилъ онъ.

— Худую-то полосу вѣдь завсегда помочью вспахиваютъ, и былъ бы съ урожаемъ безъ горя, не догадался, старый, а? — насмѣшливо спросилъ Миронъ Игнатьичъ.

— Строго-ой я... о-о!

— А-а-а!

— На энти дѣла... у меня баба въ струнѣ.

— А старый, говоришь, а?

— Не диви... хе!.. старый... Ты, къ примѣру, што за обутки вотъ возьмешь, а? Мотри только, съ меня дешевле бери, старенькой я, убогой!

— Со старенькаго-то и взять надо дороже! Старому человѣку на што деньги; молодому, ну-у, будто дѣвки блазнятъ, можно спускъ дать, а тебѣ нѣшто въ гробъ нести! Ну, да бери ужъ за семь гривенъ, што тебя обидѣть... И безъ того Богъ убилъ!

— О-охъ, убилъ! Вѣрно! А все гривенку сбрось за Божью то обиду, а?

— Гривенку-то эту чья рука пообидѣла, та и пошлетъ!

— Не пошлетъ!

— Угнѣвилъ, значитъ, свѣчу!

— На свѣчу-то и выторговываю, снизойди.

— На свѣчу ли, мотри, старый? норовишь-то одному Богу, а не поставь другому; туда вонъ, подъ ельникъ, а?—спросилъ онъ.—Ну, да бери ужъ за шесть, што съ тебя!

Старикъ, кряхтя, досталъ ситцевый кисетъ, истрепанный временемъ, какъ и самъ онъ, и, вынувъ изъ него пригоршню мѣдныхъ денегъ, долго пересчитывалъ ихъ, внимательно осматривая подслѣповатыми глазами каждую монету къ свѣту.

— Всѣ!—произнесъ, наконецъ, онъ, кладя ихъ на прилавокъ.—Надоть бы вотъ исшо пятачекъ съ тебя уторговать... ну... будто на слово боекъ, владай имъ! — и, махнувъ рукой, онъ отошелъ, бережно укладывая кисетъ за пазуху.

Крестьянинъ, торговавшій самоваръ, все время стоялъ за угломъ балагана, пережидая ухода старика, и едва тотъ отвернулся отъ прилавка, онъ снова подошелъ и облокотился на него.

— Болѣе гривенки уступочки съ самовара-то не будетъ, а? — мягкимъ, заискивающимъ голосомъ спросилъ онъ.—Я бы за восемь-то рублевъ не постоялъ!

— И я не постою, коли деньги покажешь! — отвѣчалъ ему Миронъ Игнатьевичъ.

— Рази первѣй разговору деньги-то кажутъ, а?

— Не инако... потому съ покойной совѣстью будемъ языкъ трепать.

— Покажу, не сумняйся!

— Ну... ну... покажи.

— Заведенья-то вотъ нѣтъ, штобы на перво, значитъ, казать-то ихъ. Може, мы и цѣной не выговоримъ!

— Не отниму, твое при тебѣ будетъ! Сойдемся — ладно, не сойдемся—прощенья просимъ, напредки порога не обивай!

— Не хорошо энто, купецъ, неужъ я бы, къ примѣру, безъ денегъ пошелъ, а?

— Секундъ показать-то, долго-ль?

— Обида!

— Никакой, похвала скорѣй, исшо мужикъ и на шапкѣ заплаты, и полушубокъ дыра на дырѣ, а денежный, энто похвала-а-а!

— Не порядокъ! — тѣмъ же обидчивымъ тономъ отвѣтилъ онъ, отодвигаясь отъ прилавка и избѣгая глазами насмѣшливаго взгляда, какимъ провожалъ его Миронъ Игнатьевичъ.

Пока Миронъ Игнатьевичъ хозяйничалъ въ балаганѣ, на широкомъ дворѣ занимаемой Петромъ Матвѣевичемъ квартиры подряженные для доставки рыбы возчики изъ ближнихъ къ Тобольску деревень складывали и упаковывали ее, подъ наблюденіемъ Семена, въ розвальни и пошевни. Болѣе десяти возовъ были готовы къ отправкѣ. И самъ Петръ Матвѣевичъ, одѣтый по дорожному, хлопоталъ на дворѣ съ Авдѣемъ около повозки, приготовлясь къ дальнѣйшему объѣзду деревень по Иртышу и Оби. Въ то время, какъ Авдѣй запрягалъ лошадей, онъ укладывалъ въ повозку дорожныя вещи, упаковывая ихъ въ сѣно.

Въ это время во дворъ вошли Кулекъ и Вялый.

— Зачѣмъ бы пожаловали?.. — насмѣшливо спросилъ онъ, увидя ихъ.

— Къ твоей милости!—отвѣтилъ Кулекъ, стоя передъ нимъ безъ шапки. Въ наружности Кулька замѣтно было, что онъ похудѣлъ и какъ будто съежился.

— Што-жъ бы это отъ моей милости требовалось?

— Снабди насъ деньжонками, снизойди: у всѣхъ людей праздникъ, только у насъ будни, будь ты по душевному! Ты-жъ раззорилъ-то насъ, гляди, у всѣхъ взялъ рыбу-то по семи гривенъ, за што-жъ насъ-то по шести разсчиталъ? Вѣдь рыба-то у всѣхъ одна, изъ одной рѣки-то!

— Ты старый-то долгъ весь мнѣ отдалъ?—спросилъ его Петръ Матвѣичъ.

— По твоему-то счету исшо въ недоимкѣ!

— А по вашему-то, какъ, а?

— По нашему-то, весь бы!

— Такъ ты наперво донеси мнѣ по моему счету, а потомъ ужъ я погляжу, какъ вамъ додать по вашему!..—сухо отвѣтилъ онъ.

— Ро-одной, сдѣлл... ты милость!

— Съ котораго боку я тѣ родной-то, а? Ро-одной, а-ахъ-ха-а! Ты помнишь-ли, какъ ругался-то надо мной, а? Аль это по родству-то? Зачѣмъ же таперя къ человѣку, у котораго, по твоему, честь хуже бабьяго подола, кланяться-то пришелъ, а?

Вмѣсто отвѣта Кулекъ только понурилъ голову.

— Отвѣдалъ; каково-то, а? Теперь умоли-ко.

— Тебѣ ничаво, што мы плачемъ-то, не молитва.

— Поешь-ли ты, плачешь-ли, мнѣ это все единственно... тьфу!— произнесъ онъ, сплюнувъ на сторону.—Семка!—крикнулъ онъ:—неси-ко, подь, подушку, да погребецъ!

Семенъ быстро побѣжалъ въ горницу.

— Отъ кого-жъ мы плачемъ-то, отъ тебя же!—угрюмо отвѣтилъ ему Кулекъ.

— Эвтакаго тирана я-бъ за версту обошелъ, а ты ко мнѣ же идешь, а?

— И обошелъ бы, коли бъ не нужа.

— А-а... нужа-то только гонитъ... ну, такъ поголодай, испробуй, а я тѣ не кормилецъ!

Въ эту минуту мимо растворенныхъ воротъ неожиданно прошелъ Иванъ Николаевичъ. Увидя на дворѣ Петра Матвѣевича и Кулька, стоявшаго передъ нимъ безъ шапки, онъ остановился.

— Нонѣ и въ достоль заспѣсивѣлся, ну-у, и шапки не гнешь?— насмѣшливо крикнулъ ему Петръ Матвѣевичъ, загребаявъ сѣно, въ изголовьи повозки, принесенный Семеномъ погребецъ.

— Не видать никого имянитыхъ-то! — отвѣтилъ онъ, входя во дворъ,—а-то снялъ бы!

— А помнится, и мнѣ снималъ, а?

— За чесь чесью всегды расплачиваются!

— Стало быть, я долженъ починъ-то сдѣлать, снять-то ее, а?

— А для ча и не снять бы? Не свыше нашего брата, што въ лисьей-то шубѣ, — такъ вѣдь энто, Петръ Матвѣичъ, дѣло-то переходчивое: сегодня въ шубѣ, а завтра въ той же дерюгѣ — не узнано!

— А ты, ровно, Иванъ Николаичъ, покруглѣй выглядишь: и ей-Богу, чать, рыбку почалъ?—съ насмѣшкой спросилъ Петръ Матвѣевичъ, не обративъ вниманія на замѣчаніе своего противника.

— Пробую.

— И-и скусная, а?

— Отмѣнная: ты бъ и языкъ сглонулъ!

— Ну, давай, давай Богъ! Проглони-ко лучше свой поспопутью— восте-еръ больно!

— Пригодится ко времю: пошто глотать!.. я и прикусывать-то его исшо не учился! — совершенно спокойно отвѣтилъ Иванъ Николаевичъ.

— А што, къ слову спрошу, по чьимъ цѣнамъ я нонѣ рыбку-то купилъ — слыхалъ, поди? — спросилъ Петръ Матвѣевичъ, насмѣшливо посмотрѣвъ на него.

Иванъ Николаевичъ молча сложилъ на груди руки. Никакой тѣни неудовольствія не пробѣжало на открытомъ лицѣ его отъ колкаго замѣчанія Петра Матвѣевича.

— И около ногъ-то моихъ чѣмъ пахнетъ, тоже, чать, сказывали тебѣ, а? — снова спросилъ Петръ Матвѣевичъ.

— Сказывали; а тебѣ и любо?

— А-ахъ-ха ха-а! Съ дураковъ-то этакимъ манеромъ я и сбиваю спѣсь-то, понялъ-ли? — гордо осмотрѣвъ его, спросилъ онъ.

— Понялъ! — тѣмъ же спокойнымъ тономъ отвѣчалъ тотъ.—Только растолкуй ты мнѣ, кто изъ васъ дуракомъ-то выглядывалъ: ты ли, какъ поклоны-то отбиралъ, аль мужики?

И Кулекъ, и Авдѣй, и Семенъ, слышавшіе отвѣтъ Ивана Николаевича, примѣтили, какъ кровь прилила къ лицу Петра Матвѣевича и съузившіеся глаза его сверкнули недобрымъ свѣтомъ.

— Неужъ тебѣ чесь, што ты надъ нищими-то наломался? — продолжалъ между тѣмъ Иванъ Николаевичъ.—Молчалъ бы ты, купе-ецъ, а не похвалялся! Дураками ты ихъ зовешь, да вѣдь ихъ нужа дурачитъ-то, а ты бы спросилъ у добрыхъ людей, умнѣй-ли ты-ы?..

— Ужо, дать рази гривну за дерюжный-то урокъ! — отмахнувъ полу лисьей шубы и запустивъ руку въ карманъ, съ ироніей произнесъ Петръ Матвѣевичъ; но замѣтно было, что въ ироніи его скорѣе проглядывало смущеніе, чѣмъ насмѣшка.

— Побереги для себя: придетъ неравно часъ и самъ за грошемъ руку протянешь — сгодится! А вотъ лучше не обидь Кулька-то съ Вялымъ — вѣдь ты-жъ ихъ раззорилъ!

— Што за ходатель ты выискался, а? — крикнулъ невыдержавшій, наконецъ, Петръ Матвѣевичъ.—Ты зачѣмъ ко мнѣ пришелъ, кто тебя звалъ-то?

— Я безъ зову, поглядѣть только, насколько ты подросъ отъ мужичьихъ-то поклоновъ.

— Уйди, говорю, слышь: не мозоль моихъ глазъ!

Опомнись: дворъ-то не твой!

Уйди безъ грѣха!—И плюнувъ съ сердцемъ въ сторону, Петръ

Матвѣевичъ выскочилъ изъ повозки, въ которой стоялъ, и спѣшно ушелъ въ горницу, но до ушей его все-таки долетѣлъ смѣхъ, какимъ проводилъ его Иванъ Николаевичъ.

Послѣ полудня ярмарка достигла своего крайняго развитія. Все чаще и чаще по улицамъ села встрѣчались крестьяне съ нетвердою поступью; иной успѣлъ потерять и купленную шапку, и рукавицы. Кое-кто прилаживался и на покой у бревенъ, накатанныхъ у заборовъ. Съ выставокъ, открытыхъ на время ярмарки, давно слетѣли холщевые пологи, и самые шесты съ прибитыми на нихъ елками покачнулись отъ напора тѣснившагося народа. Шумнѣй и разгульнѣй становилось ярмарочное веселье, бойчѣе на слово громкая рѣчь. Порой, какъ вихрь, неслась по рядамъ толпа гулякъ, съ музыкантомъ впереди, снимая и отбрасывая въ сторону все попадавшееся навстрѣчу, и рѣзкая, разноголосная пѣсня ихъ заглушала и хохотъ провожающихъ ее крестьянъ, и визгъ снятыхъ и сшибленныхъ съ ногъ женщинъ. И далеко за полночь бродилъ еще по селу разгулявшійся людъ, забывъ свое горе и нужды; во всѣхъ избахъ виднѣлись огни, со всѣхъ перекрестковъ неслись неумолкающія пѣсни.

Но съ закатомъ солнца одинъ за другимъ стали закрываться балаганы, и, при свѣтѣ фонарей, въ нихъ снова пошла дѣятельная упаковка товара. И въ этотъ короткій промежутокъ времени наѣзжающіе торговцы выручаютъ довольно значительныя суммы, которыя даютъ имъ возможность открывать впослѣдствіи обширные магазины въ городахъ и считаться „первостатейными“.

ГОРНАЯ ИДИЛЛІЯ.

(очеркъ).

Красивѣе мѣстности, окружающей О—ій улусъ, мнѣ рѣдко доводилось встрѣчать, несмотря на мои частые разъѣзды въ предгоріяхъ Алтая. Улусъ, имѣющій до семидесяти дворовъ, раскинулся въ живописномъ безпорядкѣ на высокой горѣ, заросшей лѣсомъ, и по уступамъ ея. Со всѣхъ сторонъ его окружаютъ гряды горъ, постепенно возвышающихся одна надъ другою, поросшихъ густымъ чернымъ лѣсомъ, и самыя дальнія изъ этихъ грядъ, или, вѣрнѣе, волнъ застывшаго каменнаго моря, всегда почти покрыты синеватою дымкой. За послѣднею синѣющею чертою этихъ горъ въ лазурномъ безоблачномъ небѣ уже рѣзко вычерчиваются снѣговыя вершины Алтая. На первый взглядъ онѣ кажутся скорѣе цѣпью прихотливо клубящихся на горизонтѣ облаковъ. Я и принялъ ихъ за облака, когда, не доѣзжая двухъ верстъ до улуса, мы поднялись на гору, называемою Архіерейскою, и передъ моими глазами раскинулась эта поразительная картина, чарующія красоты которой можно передать только кистью, а не словомъ. Я слѣзъ съ телѣги и долго не могъ оторваться отъ этого зрѣлища. Впереди тянулись гряды горъ съ прихотливыми очертаніями, а сзади раскинулась широкая долина, и разбросанныя по ней села и деревни казались какими-то крошечными муравейниками. Долина замыкалась широкою серебристою лентою рѣки Томи, за которою снова начинались горы, и тянулись... уже Богъ вѣсть куда.

Ямщикъ, пожилой крестьянинъ, тоже слѣзъ съ облучка телѣги, поправилъ сбившуюся сбрую на лошадяхъ, прикрѣпилъ ремешкомъ гайку у одного изъ колесъ, на задней оси, и остановился рядомъ со мной.

— Сколь мнѣ ни доводилось возить господъ,—произнесъ онъ,—всѣ, слышь, подолгу останавливаются на этой горѣ да любуются. А разъ это Архерей проѣзжалъ, такъ ужъ такъ-то ему понравилось тутъ, што приказалъ, слышь, коверъ разложить на землѣ-то, сѣлъ на него, да и говоритъ: „ставь самоваръ“...

— Кому же сказалъ онъ это? Тебѣ?—спросилъ я.

— Пошто мнѣ. Своимъ прислужникамъ. Мало-ль съ нимъ тогда народу-то ѣхало: почитай на пяти повозкахъ; разгонъ-то лошадямъ не малый былъ въ тѣ поры,—пояснилъ онъ.—Ну, меня сейчасъ же это на вершной отправили въ улусъ, за самоваромъ, посудой и водой. Часа три онъ потѣлъ тутъ за чаемъ-то. Такъ съ той поры мы энту гору и зовемъ Архерейской. И чудакъ же, слышь, былъ! Подозвалъ это меня къ себѣ и говоритъ: „Понимаешь-ли, говоритъ, ты, сколь вы счастливые люди, а?“

— Чѣмъ, говорю, энто, ваше степенство, усчастливились-то?

— А што въ эвтакихъ мѣстахъ, говоритъ, живете, гдѣ, говоритъ, куды, значитъ, теперича ни взглянь, за все передъ тобою Богъ... И долго, слышь, энто поучалъ.

— Кого же, тебя?

— Оно ужъ должно такъ полагать, што всѣхъ съобча!

— Чему же поучалъ-то?

— Мудрено оно, если разсказать то тебѣ, братецъ,—а только о Богѣ все это поучалъ: и какъ оно, стало быть... значитъ, должно... и почему; а опосля, слышь, того... заплакалъ.

— Отчего?

— Богъ его знаетъ пошто... Должно сторона своя вспомнилась ему што-ль. Слезно всплакалъ!.. Ну, сколь, значитъ, народу тутъ ни было, всѣ стоятъ это... молчатъ да поглядываютъ на него. Поплакалъ онъ это, поплакалъ, всталъ съ ковра, помолился, слышь, на всѣ четыре стороны и въ путь... Рубь, слышь, въ тѣ поры мнѣ сверхъ прогону пожертвовалъ за то, што самоваромъ-то его удовольствовалъ.

За полверсты до улуса слышится шумъ горной рѣчки Кандалепъ, текущей водопадами по наклонному руслу; но только съ горы, при самомъ въѣздѣ въ улусъ, виднѣются пѣнящіяся волны его... Онѣ точно мечутся въ своихъ гранитныхъ оковахъ, какъ бы силясь прорвать ихъ. Высочіе, скалистые берега Кандалепа то спускаются отвѣсною стѣною внизъ, то висятъ своими выдавшимися вершинами надъ бездной. При взглядѣ на эти сѣрыя, поросшія мхомъ скалы становится страшно за нихъ... Достаточно, кажется, легкаго толчка, чтобъ нависшая масса пошатнулась и съ грохотомъ ринулась внизъ, увлекая при своемъ паденіи гигантскія ели, глубоко пустившія въ расщелины ихъ свои корни. Довольно крутая дорога въ гору, на которой стоитъ улусъ, вилась зигзагами. Глинистый наносный грунтъ ея былъ глубоко изрытъ весенними дождевыми потоками, обнажившими толстые сѣрые корни елей, росшихъ по уступамъ горы. Иногда, среди дороги выдавался громадный гранит-

ный камень, преграждая путь, и его нужно было объѣзжать на крайне узкомъ пространствѣ, при чемъ малѣйшій неосторожный поворотъ колеса грозилъ паденіемъ телѣги, а можетъ быть и лошадей съ этой страшной крутизны внизъ, въ пѣнящіяся волны Кандалепа. Поднявшись въ гору, я пошелъ пѣшкомъ узкой просѣкой среди сосенъ, елей и пихтъ. Усталые, взмыленные кони едва тащились сзади, плохо повинуясь и понуканіямъ ямщика, и хлопанью бича его. Черезъ полчаса ходьбы, просѣка постепенно стала рѣдѣть, и предо мною раскинулась широкая поляна, тянувшаяся по всему протяженію горы, застроенная чистенькими одноэтажными домиками въ два и три окна, обнесенными досчатыми заборами и хозяйственными пристройками. Это и былъ О—скій улусъ, носившій только нерусское названіе, но не отличавшійся своимъ наружнымъ видомъ отъ русской деревни.

Хозяинъ квартиры, въ которой я остановился,—красивый, высокаго роста мужчина, среднихъ лѣтъ, одѣтый въ казакинъ толстаго чернаго сукна, привѣтливо встрѣтилъ меня и ввелъ въ чистую просторную комнату, бѣдно обставленную деревянными некрашенными стульями, повидимому домашней работы. Болѣе всего поразило меня въ убранствѣ комнаты то, что деревянный поставецъ, стоявшій въ лѣвомъ углу комнаты, вмѣсто посуды наполненъ былъ книгами. Между романами Дюма, Поля Феваля и другихъ, тутъ было нѣсколько нумеровъ, значительно уже потрепанныхъ, журнала „Современникъ“, нѣсколько разрозненныхъ томовъ сочиненій Бѣлинскаго, „Мертвыя души“ Гоголя и полное собраніе сочиненій Островскаго. Я не вѣрилъ своимъ глазамъ, чтобы въ инородческомъ улусѣ, затерянномъ въ горахъ Алтая, можно было встрѣтить „Современникъ“, сочиненія Бѣлинскаго, Гоголя и Островскаго.

Вслѣдъ за ямщикомъ, внесшимъ въ комнату мои вещи, вошла молодая женщина, весьма некрасивая собою, съ выдавшимися скулами и узенькими въ раскосъ глазами, обличавшими ея татарское происхожденіе. Накрывъ столъ чистою скатертью, она поставила на него поднось съ чайной посудой. Вслѣдъ за нею вошелъ и самъ хозяинъ, неся самоваръ.

— Эти книги вамъ принадлежатъ?—спросилъ я его, указавъ на поставецъ.

— Всѣ мои, сударь... за малымъ развѣ исключеніемъ,—отвѣтилъ онъ.

— Вы, вѣрно, любите читать?—спросилъ я, пригласивъ его сѣсть и напиться со мною чаю.

— Скука въ иную пору одолѣваетъ, сударь... особливо по осени!—

отвѣтилъ онъ, приставивъ стулъ къ столу и развязно присаживаясь на немъ.—Ну, и почитаешь... для времяпровожденія, оно все же замѣсто развлеченія служитъ... Иная книга даже очень забавная...

— Вы что же, крестьянинъ?.. или...

— Мѣщанинъ съ,—прервалъ онъ меня.—Я-то, собственно, сударь, происхожу, доложить вамъ, изъ воспитанниковъ военно-сиротскаго отдѣленія... изъ кантонистовъ. По упраздненіи этихъ ротъ я, какъ не пожелавшій остаться въ военномъ вѣдомствѣ, приписался въ К—е мѣщане... Человѣкъ-то грамотный-съ... съ почеркомъ пера: я сразу нашелъ себѣ занятіе. Съ первоначалу-то въ писаря поступилъ къ бывшему исправнику, потомъ нѣсколько лѣтъ у господъ-засѣдателей въ писаряхъ служилъ... да вотъ лѣтъ десять назадъ женился. Тесть-то мой инородецъ, но ужъ съиздавна обрусѣвшій, принялъ меня въ домъ, а теперича и все хозяйство предоставилъ въ мое распоряженіе, и, благодаря Бога, живу-съ!..

— Чѣмъ же вы занимаетесь здѣсь, хлѣбопашествомъ?..

— Нѣ-ѣтъ-съ! Не свычное для насъ дѣло.—отвѣтилъ онъ, принимая налитый ему стаканъ чая. — Пасѣку имѣю, болѣе пятидесяти колодокъ... Торгую медомъ, воскомъ, скотина водится... Окромя того-съ, въ трехъ инородческихъ волостяхъ письмоводство замѣсто писаря веду, двѣсти рублевъ въ годъ за это получаю: оно и ладно. Да окромя сего здѣсь живетъ бо-о-огатый инородецъ, Назаръ Степанычъ Куртегешовъ, можетъ изволили слышать когда...

— Да, слышалъ.

— Такъ я, вотъ, у него теперича всѣ счеты веду, замѣсто какъ бы бугалтера: тоже рублевъ сто перепадаетъ въ годъ, и колочусь... Назаръ-то Степанычъ все справлялся, когда вы прибудете, и просилъ безпремѣнно дать знать ему...

— Зачѣмъ?

— Представиться желаетъ вамъ!.. Онъ со всѣми почесть господами-чиновниками въ очень даже короткихъ отношеніяхъ живетъ; очень они его уважаютъ!..

— За что же уважаютъ такъ его?..

— Оно, если доложить вамъ, сударь, по правдѣ, то первѣй всего извѣстно... за капиталъ,—съ ироніей произнесъ онъ, откашливаясь въ ладонь лѣвой руки.— Церковь теперича Назаръ Степанычъ построилъ здѣсь... своимъ иждивеніемъ... медаль золотую на шею получилъ. Человѣкъ съ властью...

— Съ какою же властью?

— А такъ доложу вамъ, что малозначущему субъекту и добро

можетъ сдѣлать, и зло сотворить... Крупный человѣкъ съ, при всемъ своемъ натуральномъ невѣжествѣ, потому онъ и въ Господа Бога вѣруетъ, и одновременно шайтану жертвы приноситъ!..

— Какъ же это такъ? Вѣдь онъ христіанинъ?..

— Такъ точно съ. Но ежели теперича онъ захвораетъ,—а хвораетъ онъ вчастую, по приверженности своей къ запою,—то первымъ дѣломъ сейчасъ это исповѣдается и причастится у русскаго священника, а ежели это не поможетъ, то пошлетъ гонца въ тайгу за шаманомъ: „Камлай, говоритъ, какую шайтану жертву надоть, чтобъ передохнуть мнѣ далъ?“ Тотъ и камлаетъ надъ нимъ. Они вѣдь, всѣ эти крещеные инородцы, сударь, сколь ихъ ни есть, только по званью христіане, а по естеству, какъ были язычники, такъ и остались ими. Иные изъ нихъ, вѣдь, по два раза крестятся, да и въ третій не прочь...

— Не можетъ быть!..—сказалъ я, удивленный подобнымъ открытіемъ, такъ какъ былъ вполнѣ убѣжденъ, читая отчеты о миссіонерской дѣятельности, что насажденіе христіанства между алтайскими инородцами зиждется на твердомъ упроченіи въ средѣ ихъ основныхъ догматовъ православія.

— Извольте — вѣрьте или нѣтъ, власть воля-ваша, а это такъ точно; я даже самолично знаю нѣкоторыхъ инородцевъ, что по первому крещенію онъ нареченъ Иваномъ, а по второму Ѳедоромъ.

— И это открывается впослѣдствіи?

— Въ частую-съ!..

— И не влечетъ за собой никакихъ послѣдствій двоекрещенцамъ?..

— Младенцы, вѣдь, они... неповинные въ пониманіи-то своемъ, сударь... чего-жъ съ нихъ взять?.. Судите ихъ за это, да что же толку-то будетъ, коли онъ одно и понимаетъ, что новая вѣра въ томъ только и заключается, что его въ водѣ покупаютъ... да вмѣсто имя его Анахалія или Едзина назовутъ Иваномъ или Ѳедоромъ. Износитъ, напримѣръ, инородецъ рубаху, зипунъ, сапоги, или шуба ему понадобится — и идетъ къ миссіонеру или какому-нибудь священнику: „Крести меня, бачка, да давай рубаху и шубу; зима, говоритъ, подходитъ... холодно... стужа!“ Ну, и крестятъ его... и получается христіанинъ.

— Отчего же въ такомъ случаѣ священники не наводятъ предварительно справокъ другъ у друга, во избѣжаніе вторичнаго крещенія?

Хозяинъ, вмѣсто отвѣта, слегка махнулъ рукой и, отвернувшись въ сторону, улыбнулся.

— Вы, должно быть, хорошо изучили здѣшній край и порядки?—спросилъ я, понявъ, что онъ вѣроятно не безъ причины умолчалъ на послѣдній мой вопросъ:—позвольте узнать ваше имя и отчество?..

— Никита Васильевъ Еремінъ, сударь, — произнесъ онъ, привставъ со стула и слегка откашлявшись въ ладонь лѣвой руки —Понаглядѣлся, сударь... многое прозрѣлъ, разъѣзжая по тайгѣ съ господами-чиновниками, — отвѣтилъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія.— Да и за энто время, какъ поселился здѣсь, тоже не безъ наблюденія былъ. Любопытнаго довольно-съ... Жаль, даже очень жаль и породцевъ! Свояки, вѣдь, теперь они мнѣ доводятся по женѣ-то, —съ ироніей добавилъ онъ.—Хорошій они народъ, сударь, если разобрать ихъ по качествамъ ихнимъ, особливо черневые татары или теленгуты, какъ зовутъ они себя... Съ ними ежели дѣло какое вести, сударь, то записей не надо имѣть: ежели онъ взялъ у васъ копейку, такъ онъ въ десять лѣтъ не забудетъ своего долга, и поминать ему не надо, самъ привезетъ. Только раззоренный ужъ народъ... нищіе!..

— Кѣмъ же раззорены?

— Мало-ли около нихъ, сударь, капиталовъ нажилось и по сю пору наживаются...

— Купцами?

— Всѣ по малости около нихъ руки-то грѣютъ,—уклончиво отвѣтилъ онъ.—Иной разъ, сударь, доводится мнѣ въ городѣ бывать. Есть тамъ мнѣ знакомый учитель уѣзднаго училища, Михайло Микитичъ, можетъ не изволите ли знать... Газеты онъ мнѣ даетъ читать „Голосъ“ и „Сѣверную Почту“, ну и книжками снабжаетъ, что поновѣй... читаю ихъ. Многое иногда пишутъ въ нихъ, чего дѣется на бѣломъ свѣтѣ, и не смѣха ради доложу вамъ: такъ это и хочется въ иную пору всѣ энти здѣшніе порядки въ газетахъ прописать, да потомъ опосля того пораздумаешься, такъ даже стыдно станетъ отъ энтакой затѣи...

— Почему же стыдно?..

— Кто я?..—весь вспыхнувъ, спросилъ онъ.—Мѣщанинъ, кантонистъ бывшій, и теперича вдругъ насмѣлюсь... въ газетахъ писать. Статочное ли дѣло... посмѣянье одно будетъ.

— Отъ кого же посмѣянія-то вы ждете?..

— Отъ тѣхъ же господъ-писателевъ... на смѣхъ, поди, и подымутъ... Да опять, какъ подумаешь, такъ и то сказать надоть: не приберешь съ чего начать... А ужъ очень бы эти порядки наши слѣдовало пропечатать... Совсѣмъ теперь гибльій край, сударь, становится... Вѣдь, какъ мухи, съ голоду инородцы эти мрутъ, и все потому, что ихъ обираютъ и ни отъ кого защиты имъ нѣтъ... Вѣдь теперича иной разъ,— сказать вамъ по совѣсти нужно, — весь звѣриный уловъ инородца... рублевъ можетъ быть на сто, на полтораста, коли не болѣе... за долгъ

отбираютъ... который онъ ужъ въ десять разъ, можетъ, выплатилъ... Не обида ли!..

— Это купцы такъ упражняются?.

— И купцы, сударь... и зажиточные крестьяне пользуются, и господа-чиновники маху не даютъ.

— И тѣ обираютъ даже?..

— До-чиста, случается...

— Разскажите, пожалуйста, подъ какими же предлогами они обираютъ ихъ...

— Я бы, сударь... того-съ... съ полнымъ бы удовольствіемъ... только-съ...—началъ онъ, спохватившись о своей неосторожности, и, весь покраснѣвъ, замялся... — Я... я... немножко того-съ... стѣсняюсь...—забормоталъ онъ:—потому, сами изволите знать... человѣкъ я маленькій, ничтожество... Если теперича донесется до кого, что я такую хулу, поношеніе, можно сказать, кладу... долго-ль смять меня, раздавить какъ червя-съ... — говорилъ онъ, поминутно кашляя въ руку и стыдливо потупивъ глаза.

— Вы боитесь, что я буду нескроменъ?—прервалъ я, желая вывести его изъ непріятнаго положенія.

— Не то, чтобъ-съ... а болѣе для огражденія.

— Будьте спокойны: все, что вы скажете мнѣ, останется между нами... Я вамъ долженъ быть благодаренъ еще, что вы дѣлитесь со мной своими наблюденіями надъ этой мало кому извѣстной жизнью...

— Точно-съ... совсѣмъ глухая сторонушка,— прервалъ онъ, робко взглянувъ на меня, какъ бы желая провѣрить, насколько искренно мое увѣреніе о сохраненіи въ тайнѣ его разсказа: — совсѣмъ глухая-съ!..—повторилъ онъ, оживляясь.—Кого понесетъ въ наши горы, гдѣ и дорогъ то нѣтъ, и поѣсть-то порою нечего, глядѣть чего дѣется въ нихъ, какъ живутъ эти дикари теленгуты... А живутъ они жалости подобно!.. А кто и заѣдетъ если къ нимъ, такъ болѣ для того, чтобъ обобрать ихъ... Всѣ вѣдь инородцы имѣютъ большую приверженность къ вину, сударь. За рюмку вина онъ готовъ отдать все, чего у него есть: и скотину, и жену, коли хочешь!.. Виномъ-то торговать у насъ въ Алтаѣ закономъ не допускается; даже въ деревняхъ-то по близости къ улусамъ запрещено кабаки открывать, чтобъ оградить тѣмъ инородцевъ отъ пьянства и вмѣстѣ раззоренія, а господа-чиновники, гдѣ бы строго слѣдить за этимъ и преслѣдовать другихъ, сами вино провозятъ да торгуютъ имъ...

— Неужели исключительно для торговли виномъ они и ѣздятъ въ горы?—прервалъ я.

— Нѣ-ѣтъ-съ, какъ это можно!.. Это дѣлается благороднымъ образомъ, сударь, на высшій манеръ! Опредѣлится, напримѣръ, господинъ-чиновникъ на службу... участковымъ засѣдателемъ или исправникомъ и пріѣдетъ сюда. Первымъ дѣломъ, для того, чтобъ поправиться, онъ ѣдетъ въ Чернь къ инородцамъ, будто бы вырѣшать накопившіяся дѣла... Подберетъ себѣ толмача изъ инородцевъ... переводчика, какъ бы сказать... изъ опытныхъ въ этомъ дѣлѣ... Есть тутъ такихъ инородцевъ человѣка три-четыре, бога-а-тыхъ теперь ужъ. Толмачествомъ и нажились... И первый Назаръ Степанычъ началъ съ того, что былъ толмачемъ; съ этого ремесла и жить пошелъ!.. Купитъ себѣ господинъ-чиновникъ ведеръ пять спирту и ѣдетъ! Пріѣдетъ онъ въ улусъ — и разошлетъ оттуда нарочныхъ по всѣмъ ближнимъ улусамъ съ вѣстью: „что, дескать, чиновникъ пріѣхалъ, такъ пускай башлыки явятся“. А башлыками въ улусахъ называются люди выбранные обществомъ, какъ и въ русскихъ волостяхъ старшины или головы; въ башлыки ужъ всегда выбираются самые зажиточные инородцы. Извѣстное дѣло, башлыкъ пріѣдетъ не одинъ: онъ захватитъ съ собой и другихъ зажиточныхъ одноулусниковъ, и всѣ они пріѣдутъ на поклонъ къ чиновнику не съ пустыми руками: кто двухъ-трехъ собольковъ привезетъ, лисичку, иногда и чернобуренькую, бѣлочекъ, хорьковъ по пяти, по десяти шкурокъ. Пріѣдутъ, поклонятся, поднесутъ гостинцы, вотъ чиновникъ-то имъ, будто въ благодарность за гостинцы, и подастъ по рюмочкѣ спирта... А рюмочка-то эта ихъ... и разлакомитъ... Выпьютъ они и запросятъ по другой... Дастъ онъ имъ и по другой. Какъ по другой-то они выпьютъ, ихъ и разбере-е-етъ... Они и полѣзутъ: дай имъ по третьей... Онъ ихъ, извѣстно, прогонитъ... Въ эвту-то пору толмачъ и шепнетъ имъ, что „у барина вина мно-о-ого, но только про себя бережетъ... Пожалуй, говоритъ, если подарите меня, то я попрошу его... поторгую у него вина-то... авось онъ по бутылочкѣ и продастъ вамъ!“ Ну и поторгуетъ... Бутылочка-то въ три-четыре рюмочки и обойдется инородцу рублей въ двадцать, а можетъ и болѣе... Такимъ-то образомъ, какъ объѣдетъ господинъ-чиновникъ Чернь, дѣлъ-то вырѣшить не вырѣшитъ... а шкурокъ-то на тысченочку, на двѣ... вывезетъ... и поправится...

— И всѣ такъ дѣлали?..

— Съ испоконъ вѣку, сударь, такъ дѣялось и дѣется... Здѣсь былъ исправникомъ, сударь, Иванъ Мироныч Конаевъ... такъ какіе, вѣдь, капиталы нажилъ: во многіе десятки тысячъ!..

— Отъ инородцевъ?

— По большей части отъ нихъ... Онъ и Назара Степаныча Кур-

тегешова въ люди вывелъ: и тотъ имѣетъ теперь капиталу, пожалуй, тысячъ... сто, коли не болѣе... Кто былъ Назаръ Степанычъ лѣтъ тридцать тому назадъ, если посказать?.. Бѣдный инородецъ... въ работникахъ жилъ, и не разъ былъ битъ за воровство. Ну, сказать правду нужно, сударь, парень онъ верткой, не дуракъ... Вся его фортуна началась съ того, что попалъ въ толмачи къ Ивану Миронычу. Ну, Иванъ Миронычъ... оцѣнилъ его и усчастливилъ...

— Чѣмъ же?..

— Много, сударь, было дѣлъ межъ ними, если перетряхнуть старину... Бывало и такъ: навезутъ крестьяне Ивану Миронычу хлѣба, да пошлетъ онъ еще закупить его отъ своего имени по уѣзду, ну и накупятъ. А вѣдь у инородцевъ хлѣбопашества нѣтъ, обрусѣлые только занимаются имъ, да и то спустя рукава; а черневые инородцы въ рѣдкость которые сѣютъ ячмень, да и то въ недавнее время только стали заниматься этимъ. Зима для нихъ всегда голодное время. Вотъ, бывало, Иванъ Миронычъ и сдѣлаетъ распоряженіе, чтобы крестьяне не смѣли инородцамъ задавать хлѣба въ долгъ, потому-де, пользуясь ихъ нуждой, они только раззорятъ ихъ этимъ путемъ. Кто же посмѣетъ пойти противъ его воли!.. Ну, крестьяне и не даютъ инородцамъ хлѣба. Пользуясь этимъ, Иванъ Миронычъ скупленный-то хлѣбъ чрезъ Назара Степаныча и раздаетъ инородцамъ въ долги, да впятеро дороже, чѣмъ бы крестьяне роздали... а потомъ и выбираетъ съ нихъ долгъ шкурками... да скотомъ. Шкурки-то какъ накопятся, онъ и отправитъ съ Назаромъ Степановичемъ въ Ирбитъ на ярмарку или въ Нижній. Затратитъ онъ на покупку хлѣба много тысячу, двѣ, а вернетъ пять... да десять... Оно и оборотъ!.. И виномъ торговалъ онъ такимъ же порядкомъ; да не буду грѣха таить: на много тысячъ, сударь, и фальшивыхъ ассигнацій переведено имъ черезъ руки Назара Степановича въ тайгу къ инородцамъ. А скотъ-то, скупленный у инородцевъ на фальшивыя деньги, перепродавали на десятки тысячъ крестьянамъ да купцамъ...

— Неужли все это правда, Никита Васильевичъ?

— О-охъ, сударь... много похоронено темныхъ дѣлъ въ нашихъ горахъ! — съ грустью въ голосѣ отвѣтилъ онъ. — На видъ-то только онѣ красивы: любоваться да любоваться ими надо, а какъ поживешь въ нихъ, присмотришься къ тому, чего творится въ нихъ... такъ бѣжалъ бы изъ нихъ за тридевять земель... Поневолѣ махнешь только на все рукой, да и скажешь: на то здѣсь и Сибирь, на то и глухая она сторона, чтобы всякая правда въ ней за сказку другимъ казалась... Далеко въ старину не буду, сударь, заглядывать, — вздохнувъ, началъ

онъ: — ужъ въ ближнее время, въ бытность мою здѣсь въ 186... году, у инородцевъ былъ голодъ, какого и старики не запомнятъ... Перемерло ихъ отъ голода страсть сколько... По тропамъ въ горахъ находили цѣлыя семьи мертвыми: какъ, значитъ, тащился мужъ съ женой да дѣтьми изъ горъ, силясь добраться до какой-нибудь деревни, такъ и падали на дорогѣ... въ одной верстѣ, глядишь, одинъ ребенокъ брошенъ, а тамъ другой, а подальше и мать на корточки присѣла да Богу душу отдала, а гдѣ-нибудь въ горѣ и отецъ свалился... ужъ, значитъ, не было силъ подняться въ гору,—такъ и застылъ. Многіе трупы дѣтей изглоданными находили, это ужъ, стало быть, мясомъ своихъ дѣтищъ питались. Въ иной юртѣ въ лоскъ всю семью мертвой находили съ изглоданными руками и ногами... У другого инородца еще хватало силы добраться до улуса обрусѣлыхъ инородцевъ или до деревни... да тутъ, у околицы ея, онъ и Богу душу отдавалъ... Ужасъ, ужасъ только разсказывать, чего творилось!.. Одни мрутъ, а другіе, пользуясь этимъ, наживаются около нихъ. Разбой стоялъ несосвѣтимый; за пудовку ячменя съ нихъ, несчастныхъ, брали, чего только глазъ видѣлъ. Купцы эти и торговые крестьяне христіанами пишутся, а въ эту пору хуже звѣрей уподобились. Сотнями бѣжали изъ горъ инородцы, всякимъ Богомъ умаливали выдать имъ въ ссуду хлѣба. Начальство вникло въ бѣдственное положеніе ихъ, да замѣсто того, чтобъ сейчасъ же, не теряя часу, оказать помощь, возбудило вопросъ: можно-ли инородцамъ выдать въ ссуду хлѣбъ изъ запасныхъ крестьянскихъ магазиновъ, такъ какъ хлѣбъ этотъ составляетъ неприкосновенный крестьянскій капиталъ? И пошелъ этотъ вопросъ гулять да погуливать: иная бумажка эта гдѣ-нибудь недѣлю-двѣ подъ сукномъ полежитъ, а народъ то мретъ да мретъ!.. Ну, къ веснѣ и вопросъ разрѣшился: „можно выдать!“ Только ужъ многіе изъ ходатаевъ-то не нуждались больше ни въ какой ссудѣ, кромѣ поминанья за упокой!.. Хорошо-съ! Во избѣжаніе какихъ-либо корыстныхъ притѣсненій со стороны русскихъ волостныхъ начальниковъ, при выдачѣ инородцамъ хлѣба въ ссуду изъ магазиновъ, командировали чиновника производить эту выдачу, господина О—на. Вотъ этотъ-то господинъ-чиновникъ, сударь, и натворилъ чудесъ... Инородцы издыхаютъ отъ голода, вопятъ: давай хлѣба!.. А онъ говоритъ: коли поднесете мнѣ вотъ столько-то, такъ сейчасъ выдамъ, а не поднесете, такъ я еще буду производить удостовѣреніе: настолько ли вы благонадежные люди, что, взявши хлѣбную ссуду, будете въ состояніи возвратить ее. Что было дѣлать имъ, сударь? И полѣзли они въ кабалу къ крестьянамъ, штобъ дали имъ денегъ подарить чиновнику, штобъ не далъ имъ помереть бы съ голоду, и вы-

далъ хлѣбъ. Да вѣдь въ какую кабалу залѣзли!.. Иные вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ работаютъ на крестьянъ за этотъ долгъ... и все-таки не могутъ отработать!.. И нажился такимъ путемъ господинъ О—нъ... Вернулся въ городъ да домикъ купилъ... лошадками обзавелся... Теперь, сказываютъ, и пасѣка есть. . и женушка щеголяетъ въ шелкахъ; а прежде, сказывали, и ситцевое платьице было въ рѣдкость...

— Неужели эти подвиги его остались въ секретѣ?..

— Здѣсь, сударь, ничего въ секретѣ не остается! Всѣ это знаютъ, да еще его же похваливаютъ: молодецъ, говорятъ; нашелся около хлѣбнаго дѣльца. . и самъ съ кормомъ сталъ!.. — съ ироніей закончилъ Никита Васильевъ.—Такими-то путями, сударь, и обнищали здѣшніе инородцы. Теперь ужъ въ рѣдкость гдѣ встрѣтишь зажиточнаго инородца, да и тотъ, кто теперь считается богатымъ, въ прежнюю пору казался бы бѣднякомъ. Вотъ какъ времена-то перемѣнились... Што, сударь, сказать вамъ; ужъ коли чиновники обираютъ, такъ суди ихъ Богъ.. Иного онъ оберетъ, иному и поможетъ въ чемъ... Куда ни шло... А то, вѣдь, мелюзга-то, глядя на пихъ, чего продѣлываетъ... такъ смѣхъ и горе!..

— Какая же мелюзга?..

— Къ примѣру скажу вамъ: есть здѣсь окружной фельдшеръ Т—въ. Давно ужъ онъ тутъ служитъ... почитай, лѣтъ двадцать теперь; тоже человѣкъ съ состояньицемъ...

— И тоже около инородцевъ нажилъ?

— Одна здѣсь коровушка-то, сударь, которую всѣ доятъ, только никто не кормитъ,—съ ироніей отвѣтилъ онъ.

— Этотъ-то какимъ путемъ наживается отъ нихъ?..

— Распотѣшнымъ. Посказать, такъ смѣхъ разберетъ! Онъ обязанъ, сударь, черезъ годъ объѣзжать всю тайгу, всѣ аилы и прививать тамъ оспу дѣтямъ, потому отъ оспы этой инородцы тоже сотнями вымираютъ! Вотъ онъ и ѣздитъ... да вѣдь какіе фокусы-то выкидываетъ! Пріѣдетъ, къ примѣру, въ аилъ и велитъ башлыку собрать всѣхъ матерей съ ребятами. Ну, въ аилѣ, конечно, сейчасъ поднимется суета, бѣготня... Соберетъ башлыкъ бабъ съ малолѣтними дѣтьми... и приведетъ къ нему. Вотъ онъ и начнетъ вынимать при нихъ изъ ящика всѣ свои инструменты нарочно для того, чтобы напугать: ножъ, которымъ трупы разрѣзываетъ... пилу, которой черепа спиливаетъ... долото, ножницы... шилья, иглы... да при нихъ же еще и начнетъ на брусѣ ножъ натачивать... Посудите, сударь, сами: видя эти приготовленія для привитія оспы, инородки, какія бы онѣ ни были дикарки, по вѣдь все-таки матери, любятъ своихъ дѣтей такъ

же, какъ всякая другая мать; поневолѣ обольется у всякой изъ нихъ сердце кровью отъ ужаса за дѣтей своихъ... Ну, и поднимется плачъ... стоны... въ ноги къ нему повалятся... Батюшка, возьми чего хошь, только не рѣжь ребятъ. А ему этого только и нужно; ну и начинаетъ торгъ... „Не рѣзать, говоритъ, нельзя... Лекарь узнаетъ, что я не рѣзалъ—самъ пріѣдетъ, такъ не такимъ еще ножемъ, говоритъ, зарѣжетъ... А коли, говоритъ, каждая изъ васъ дастъ мнѣ по два, по три соболька, такъ я маленькимъ ножичкомъ, тихонько порѣжу вашихъ ребятъ, такъ, что они и не услышатъ!“ и покажетъ при этомъ на ланцетъ. „А коли, говоритъ, не дадите, такъ я вотъ... за этотъ... за настоящій ножъ возьмусь... какимъ начальство велитъ рѣзать!“ И понесутъ, сударь, ему подарковъ; вѣдь матери отдадутъ все, что только есть у нихъ, только не губи дѣтей!.. Не даромъ же прививіе оспы инородцы и называютъ „чортовой тамгой“ *). Ну, а какъ только онъ привьетъ оспу, онѣ украдкой и смоютъ ее холодной водой... застудятъ... а дѣти и мрутъ отъ этого... Вотъ, сударь, какъ дѣйствуютъ на нихъ, при нашихъ-то порядкахъ, предохранительныя мѣры, клонящіяся... къ спасенію ихъ... Теперь ужъ инородки стали умнѣй... Какъ только заслышутъ онѣ, что урусъ Т—въ ѣдетъ къ нимъ съ оспой, сейчасъ заберутъ дѣтей да и бѣгутъ съ ними въ горы, да тамъ и скрываются... въ ущельяхъ да лощинахъ, покамѣстъ онъ не уѣдетъ, чтобъ избѣгнуть... чортовой тамги на дѣтяхъ, а главное, поборовъ...

— А что же окружный врачъ смотритъ?.. Неужели онъ не знаетъ ничего объ этомъ?

— Не могу, сударь, судить... Да что-жъ... не Т—въ, такъ другой кто, не другой—такъ третій... не однимъ манеромъ, такъ другимъ, какимъ поновѣй, а все будутъ обирать. Порядокъ-то все одинъ вѣдь...

— А сами инородцы развѣ не жалуются на подобныя дѣйствія?

— И-и избави Господи!.. Они отъ чиновниковъ то, какъ отъ огня бѣгаютъ, сударь! Они и уголовныя-то преступленія, какія совершаются между ними въ горахъ, скрываютъ отъ правосудія... Чиновникъ, говоритъ, наѣдетъ, бѣ-ѣ-ѣда будетъ: и виноватыхъ, и правыхъ оберетъ!.. Да вотъ, сударь, для примѣра... разскажу вамъ недавній случай. До засѣдателя С—го въ Б—мъ округѣ дошло извѣстіе, что одинъ купецъ купилъ у инородца на нѣсколько тысячъ скота... и расплатился за него фальшивыми ассигнаціями... С—ій, чтобъ раскрыть это преступленіе по горячимъ слѣдамъ, тотчасъ же поскакалъ въ аилъ... засталъ тамъ обманутаго инородца и говоритъ ему: такъ и такъ-де, купецъ

*) Тамгой называется у инородцевъ печать, какую прикладываютъ къ бумагамъ, вмѣсто подписи.

этотъ обманулъ тебя, отдалъ тебѣ фальшивыя деньги, раззорилъ тебя... Давай эти деньги мнѣ: мы, говоритъ, дѣло заведемъ, будемъ судить его, а тебѣ, говоритъ, возвратимъ весь твой скотъ или прикажемъ отдать настоящія деньги за него. „Не дамъ“, говоритъ инородецъ: „худая ли деньга, хорошая ли деньга, а все-таки она при мнѣ будетъ, у сердца, а отдай коли тебѣ, такъ ты и хорошую деньгу худой назовешь, да въ свой карманъ положишь и раззоришь меня!“ Такъ и не отдалъ. Побился, побился около него засѣдатель, да съ тѣмъ и уѣхалъ... Обрусѣлые инородцы, которые живутъ въ крестьянскихъ деревняхъ или, какъ нашъ улусъ, по близости около деревень, ну тѣ ужъ иной статьи люди,—съ ироніей произнесъ онъ:—обнатурились... во многомъ ужъ и крестьянъ перегнали.

— Въ чемъ же напримѣръ?..

— Къ слову сказать, въ раззореніи тѣхъ же черневыхъ татаръ, своихъ родичей! Далеко за примѣромъ и ходить нечего, сударь... Первый теперича Назаръ Степанычъ: вѣдь это истинная пагуба инородцевъ, сударь. У него всѣ черневые инородцы въ неоплатномъ долгу. Онъ имъ задаетъ хлѣбъ, порохъ, свинецъ для охоты на звѣря, денегъ для уплаты ясака, и инородцы ни у кого другого не смѣютъ брать хлѣба, какъ только у него. Боже сохрани, если Назаръ Степанычъ узнаетъ, что какой-нибудь черневой инородецъ взялъ у крестьянъ хлѣбъ по болѣе дешевой цѣнѣ, чѣмъ онъ ставитъ имъ въ счетъ. Назаръ Степанычъ сейчасъ же поѣдетъ въ тайгу, сударь, и отберетъ все, что только есть у инородца, за долги, а тамъ онъ хоть умирай съ семьей съ голода,—ему и дѣла нѣтъ. Боятся его инородцы, какъ огня: только заслышатъ они, что Назаръ Степанычъ въ тайгу ѣдетъ, такъ дорогу для него правятъ, какъ для владыки какого... въ землю кланяются ему при встрѣчѣ! Чего только Назаръ увидитъ у инородца въ юртѣ, чего ему понравилось,—сейчасъ тотъ и даритъ ему эту вещь, а то бѣда, если не почтишь его... Вѣдь всѣ инородцы, отъ малаго и до большого убѣждены, что Назаръ Степанычъ всемогущій человѣкъ, что Назара Степаныча самъ Бѣлый Царь знаетъ. Потѣха, сударь, если посказать, какая комедія тутъ была, когда Назару Степановичу золотую медаль на шею за построенную имъ церковь прислали. Онъ сейчасъ далъ знать по всѣмъ аиламъ въ Чернь, чтобы инородцы ѣхали къ нему глядѣть на Царскій обликъ... и цѣловать его.

— Что же, и съѣхались?—прервалъ я.

— Съѣхались, и ради этой оказіи не съ пустыми руками, а съ подарками. И устроилъ Назаръ такую церемонію: взялъ изъ церкви аналой, перенесъ къ себѣ въ домъ и положилъ на него медаль, и каж-

дый инородецъ, прежде чѣмъ посмотрѣть на Царскій обликъ и приложиться къ нему, подходилъ къ аналою и кланялся въ землю, а Назаръ въ шелковомъ халатѣ стоитъ у аналоя, важный такой, и спрашиваетъ: „Видите теперь, какъ Царь чтитъ меня, а—а?“

— Видимъ, говорятъ, бачка ты нашъ, Назаръ Степанычъ; видимъ.

— То то же, говоритъ, знайте!.. Тамъ Царь, а здѣсь я замѣсто его. Чтите и вы меня, а то ху-у-удо будетъ вамъ... Меня и чиновники, говоритъ, всѣ чтятъ и боятся... Я все могу сдѣлать... Мнѣ только, говоритъ, письмо Царю отписать, и все будетъ по-моему... И чтятъ его, сударь, инородцы... А пользуясь этимъ онъ и обираетъ ихъ. И никто, ничѣмъ инородцевъ не убѣдитъ, что все это вранье Назарки, что онъ ихъ обманываетъ; а особенно теперь, когда они увидѣли, что Царь прислалъ ему портретъ свой весь изъ золота... Повѣрите-ли, сударь, Назаръ плетями сѣчетъ провинившихся передъ нимъ инородцевъ, и тѣ молчатъ... Вѣдь если какая тяжба случится между инородцами, они идутъ съ просьбой разобрать ихъ не къ чиновникамъ, а къ Назару Степанычу; онъ и судитъ ихъ... и чего уже скажетъ имъ, такъ то и дѣлается. Случится какое-нибудь уголовное преступленіе въ тайгѣ, которое нельзя скрыть, то виновники сейчасъ идутъ къ Назару Степанычу просить защиты его, и, конечно, дарятъ ему за заступничество, чего онъ только запроситъ съ нихъ. А онъ уже ѣдетъ къ чиновникамъ ходатайствовать за нихъ. О чемъ бы ни попросилъ Назаръ чиновниковъ, особенно, бывало, при прежнемъ исправникѣ Канаевѣ, такъ ужъ для него все сдѣлаютъ, а это еще болѣе поддерживало и поддерживаетъ въ инородцахъ убѣжденіе о могуществѣ Назара Степаныча. Вѣдь онъ, сударь, если раскрыть теперича передъ вами всю правду, и церковь-то построилъ на деньги, собранныя съ инородцевъ, а предъ начальствомъ выдалъ, что построилъ ее на свое иждивеніе.

— Какъ же это такъ?.. — спросилъ я, заинтересованный этимъ неожиданнымъ открытіемъ, такъ какъ ранѣе, бывши въ городѣ К...ѣ, слышалъ похвальные отзывы объ усердномъ желаніи Назара Степаныча распространять среди инородцевъ православіе.

— Очень просто!..—съ ироніей отвѣтилъ Никита Васильевичъ.— На инородцахъ съ давнихъ еще временъ накопилась недоимка ясака, что-то на весьма значительную сумму, и они давно хлопочутъ о прощеніи имъ этой недоимки. Назаръ Степановичъ, не будь промахъ— смекни это дѣло, да и подведи имъ штуку: давай сбирать съ нихъ деньги на постройку православнаго храма (это съ язычниковъ-то!) для того-де, что какъ Царь узнаетъ, что они хоть и другой вѣры, а чтятъ его Бога, онъ и проститъ имъ эту недоимку. А вѣдь инородцы, какъ я

и доложилъ вамъ, настоящія дѣти, простодушные, довѣрчивые, и повѣрили ему. Да и какъ не повѣрить Назару Степановичу? Собрали они деньги: другой изъ нихъ, можетъ быть, занялъ, да послѣдній грошъ отдалъ ему. Построилъ Назаръ храмъ, получилъ за него медаль и теперь все увѣряетъ инородцевъ, что ужъ начальство обѣщало ему просить Царя о прощеніи имъ недоимки въ виду ихъ почтенія къ русскому Богу! Дождется, конечно, какого-нибудь всемилостивѣйшаго манифеста, коимъ сложатъ съ инородцевъ эту недоимку, и скажетъ имъ, что все это сдѣлано по его ходатайству!

Въ это время дверь скрипнула, и въ комнату вошелъ крестьянинъ, одѣтый въ тонкій суконный халатъ, опоясанный пестрымъ кушакомъ. Волосы на головѣ и бородѣ его были съ густой просѣдью, хотя, судя по наружности, дышавшей силой и здоровьемъ, ему можно было дать не болѣе сорока лѣтъ. Заслышавъ скрипъ двери, Никита Васильевичъ умолкъ, поднялся со стула и, взглянувъ на вошедшаго, слегка откашлялся въ ладонь лѣвой руки и отошелъ въ уголъ. Помолившись на икону, вошедшій поклонился намъ, затѣмъ протянулъ руку Никитѣ Васильевичу и пожалъ ее.

— Не обезсудь ужъ, батюшка, што безпокою тебя!—обратился онъ ко мнѣ, кланяясь:—заслышалъ, что твоя милость пріѣхалъ сюда, сѣлъ на вершную, чтобъ не терять время захватить тебя здѣсь, да надокучить съ просьбицей!

— Ты крестьянинъ?—спросилъ я.

— Крестьяне будемъ, недалечко здѣсь живемъ, въ Атамановой... Атамановой деревня-то наша пишется,—пояснилъ онъ, погладивъ свою бороду и усы. Раззоряютъ насъ, кормилецъ, вотъ и пріѣхалъ докучать тебѣ!—съ горечью въ голосѣ произнесъ онъ. — А-а-ахъ, говорю, а? Выручишь собаку изъ нужи, да за ней же и гоняйся потомъ съ палкой! Ну, не грѣхъ ли, а? Опуталъ меня вѣдь Абышка-то, обнатурилъ, вакъ есть, и глазъ теперича не кажетъ, — сказалъ онъ, обратившись къ Никитѣ Васильевичу.—Ну, не собака ли, а?—спросилъ онъ, снова обратившись ко мнѣ.

— Кто же это?—спросилъ я.

— Абышка!—отвѣтилъ онъ, предполагая, вѣроятно, что нанесшаго ему обиду Абышку долженъ знать весь свѣтъ.—Какъ, бишь, онъ пишется-то, Микита Васильичъ?

— Абышъ Санасаровъ!—отвѣтилъ тотъ, не глядя на него.

— Ну, ну, эта самая, точно! Вишь память-то у меня... Да какъ ты, говорю, и не спутаешься съ этими анаѳемами... А ахъ, ты, Боже мой! Н ну...—заключилъ онъ, качая головой:—и тотъ непутный че-

ловѣкъ, кто и вѣру даетъ экой собакѣ! Выручи, корнплецъ, дай суда!— снова произнесъ онъ, кланяясь мнѣ. — Што ты теперича будешь дѣлать, коли не твоя въ томъ воля, а?

— Изъ какой же бѣды тебя выручить?—спросилъ я.

— А перво-на-перво, милостивецъ, возьми ты меня за энти самые космы, да выволочи!—говорилъ онъ, указавъ на свою сѣдѣющую голову. — До измо-о-ру выволочи и приговаривай: „вотъ, молъ, тебѣ, Митрофанъ Сысоевъ, за то, што сѣдой волосъ у тебя растетъ, а ума не несетъ“. И хорошо это будетъ!

Никита Васильевичъ при этомъ оригинальномъ предложеніи просителя, Митрофана Сысоева, улыбнулся и, откашлявшись, стоялъ, понуривъ глаза въ землю.

— Чѣмъ же это хорошо будетъ?

— Надко! Будетъ память! Ужъ въ другорядь, коли опосля этого, какая собака ко мнѣ придетъ да будетъ въ ногахъ ползать: „дай-де хлѣба, спаси меня отъ голода“, такъ ужъ знать будемъ, чѣмъ и угостить.

— Чѣмъ же?

— А въ зашей надавать! Вотъ, молъ, возьми-ка, перекуси, и слезьми запей! Вотъ на какой примѣръ надоть нашему брату выволочку давать! Спроси теперича у меня, сколько моего добра пропало за энтими собаками?

— Растолкуй мнѣ прежде, за какими собаками?—прервалъ я его.

— За черневыми татарами! Собаки, такъ собаки и есть, — одно имъ и званье! Вотъ хоть Абышку возьми: прибѣгъ ко мнѣ нонѣ зимой:—„Митрофанъ“, говоритъ, „такой-сякой,—бѣ-ѣ-да! Дохнуть“, говоритъ, „только съ голоду надоть, вотъ какая бѣда! Дай мнѣ хлѣба четыре пудовки!“ Въ ногахъ ползалъ, сулилъ, братецъ ты мой, всю душу отдать, только не дай ему умереть! А на вотъ, поди: подошло къ расплатѣ, и глазъ не кажетъ, а!

— Что же, ты далъ ему хлѣба?

— Своими руками мѣрялъ! Какъ ты не дашь ему, коли оно вотъ, того и гляди, на твоихъ глазахъ сдохнетъ!

— Чѣмъ же онъ обѣщалъ тебѣ заплатить долгъ: деньгами или хлѣбомъ?

— Захотѣлъ деньгами взять съ него или хлѣбомъ! Гдѣ онъ денегъ-то возьметъ или хлѣба-то? Подъ одно мы даемъ ихнему брату: приди, отробь долгъ въ рабочую пору, отожни!..

— Онъ обѣщалъ отжать?

— Плакалъ... икону што-ись потомъ цѣловалъ!

— Онъ крещеный?

— Песъ его знаетъ, какой онъ вѣрн-то! Одна, говоритъ, коли худо сдѣлалъ, то твой ли шайтанъ, мой ли шайтанъ, а ужъ башку снесетъ! Ну, и вѣрилъ ему! Крещенъ онъ, Микита Васильевичъ, аль нѣтъ? Ты вѣдь всѣхъ ихъ знаешь! — спросилъ онъ, обратившись къ Еремину.

— Нѣтъ,—улыбаясь, отвѣтилъ тотъ.

— Собака, такъ оно и есть!—заключилъ Сысоевъ.

— Какъ же онъ икону-то цѣловалъ, если не крещенный?

— Что-жъ? Святителя-то, поди, не убыло отъ энтого! Лѣзетъ коли цѣловать его, такъ не драться же съ нимъ!—отвѣтилъ Сысоевъ, какъ-то оторопѣло посмотрѣвъ на меня своими маленькими сѣрыми глазками.— А вотъ, теперь, какъ подошло время жнитвы, и ищи его... Побѣжалъ нонѣ въ аилъ къ нимъ,—нѣту его! Спрашиваю: гдѣ Абышка?—Убѣгъ! говорятъ.—Куда? спрашиваю.—Въ Чернь: дѣло, говорятъ, такое, неминучее подошло! Вотъ ищи ихъ, собакъ, и вѣрь имъ, а—а? Ну, развѣ не надоть выволочь нашего брата, штобъ напредки умнѣй быть, а-а? — спросилъ онъ, взглянувъ на меня съ какимъ-то строго-комичнымъ выраженіемъ въ лицѣ.

— Чего же ты теперь отъ меня хочешь?—спросилъ я.

— Разсуди меня съ Абышкой, сдѣлай милость, кормилецъ! Понудь его отробить долгъ! Вѣдь это што-жъ, раззоръ опосля этого! Кормишь, кормишь ихъ, собакъ, за зиму, обѣщаются отробить тебѣ, а жнитва подойдетъ—и въ бѣгъ! А-а-ахъ, ты, собака этакая, а-а? Ну, придетъ онъ только ко мнѣ нонѣ зимой за хлѣбомъ! Я-тѣ накормлю, за-а-а-кусишь ты у меня! — съ дрожью въ голосѣ протянулъ онъ:— за-а-а-кусишь! Будь милостивецъ, пошли ты за нимъ, да приструни его,—тебя-то онъ побоится! Ты—чиновникъ, а чиновниковъ-то они, собаки... э-э-э... только духъ ихъ заслышутъ, такъ што отъ волка—хвосты подожмутъ! Стра-а-асть имъ чиновникъ то! Чиновниковъ-то они болѣе своего шайтана боятся, ей-Богу! Обрадуй меня, сдѣлай милость, разсуди...

Я заказалъ Еремину вытребовать къ слѣдующему утру, для разбирательства дѣла, Абыша Санасарова и Митрофана. Сысоевъ, довольный этимъ распоряженіемъ, низко поклонился мнѣ и вышелъ. По уходѣ его, Никита Васильевичъ откашлялся въ руку и обведя меня своими смѣющимися глазами, произнесъ:

— Много вамъ, сударь, будетъ завтра занятія.

— Какого?

— За ночь-то, посмотрите, сколько наѣдетъ сюда крестьянъ и инородцевъ для разбирательства у васъ по разнымъ ихнимъ дѣламъ!

Теперь ужъ по всѣмъ деревнямъ и аиламъ несется вѣсть, что вы пожаловали сюда. И теперь ужъ, поди, ѣдутъ разные просители докучать вамъ.

— А какъ вы думаете, Никита Васильевичъ, — вы хорошо знакомы съ здѣшними нравами, — кто правъ: крестьянинъ ли Сысоевъ, или инородецъ Санасаровъ? — спросилъ я, желая вывѣдать, какими экономическими расчетами руководятся крестьяне, давая инородцамъ хлѣбъ съ обязательствомъ отработать свой долгъ.

— Трудно, сударь, сказать!—отвѣтилъ онъ, немного подумавъ.— Оно извѣстно, если по правдѣ теперича судить, то крестьянинъ правъ, потому хлѣбъ онъ давалъ Абышу за то, чтобъ Абышъ отработалъ у него за четыре пудовки четыре дня, и тотъ согласился. А если теперича по совѣсти взять, такъ не Абышъ Сысоева разоряетъ этимъ, а Сысоевъ Абыша.

— Объясните мнѣ, почему это?

— Да такъ, сударь, доложить вамъ надоть: по нашимъ мѣстамъ въ самую неурожайную пору пудовка-то ржаного хлѣба пятнадцать копеекъ стоитъ, и ужъ небывалая цѣна ей двадцать копеекъ. Стало быть, четыре-то пудовки всего на все, если по двадцати копеекъ положить пудовку, — восемь гривенъ стоятъ! Самыя плевыя деньги, а вѣдь онъ заставилъ за нихъ работать Абышку четыре дня въ самую дорогую рабочую пору, въ жнитво, когда здѣсь рабочаго-то за пять, за шесть рублей въ сутки не найдешь! Вотъ и посчитайте: если по пяти рублей въ сутки положить, такъ онъ работнику-то долженъ бы двадцать рублей выложить, а тутъ онъ за восемь гривенъ заставляетъ его работать. Оно и расчетъ для нихъ задавать голоднымъ-то инородцамъ хлѣба.

— Отчего же здѣсь такъ дорога заработная плата въ это время?

— Очень просто, сударь. Вѣдь здѣсь земли-то — бери не хочу. Зажиточные-то мужики здѣсь по скольку запахиваютъ! Глазомъ не окинешь! Всякій изъ нихъ норовитъ, какъ бы побольше нахватать! Жнитво-то подойдетъ, такъ имъ съ своими-то семьями и въ двѣ, въ три недѣли не управиться съ жнитвомъ. А хлѣбъ-то рдѣетъ, осыпается! Всякому время дорого, всякому до своего дѣла забота; другой изъ нихъ радъ-радехонекъ за день-то десять рублевъ дать, да и за эту плату никого не найдешь въ иное время. А вотъ онъ задастъ какъ хлѣба инородцамъ и тянетъ ихъ—иди отработывай! Инородцы-то имъ въ ино время деньги, сударь, за хлѣбъ привозятъ, по рублю, по два за пудовку отдаютъ! Такъ мужики-то не берутъ съ нихъ денегъ-то, нѣ-ѣ-ѣтъ! Иди, работай, говорятъ! А тѣмъ тоже свой расчетъ: они лучше рубль или два отдадутъ имъ за пудовку, что стоитъ пятнад-

кое вѣское явленіе въ литературѣ, къ сожалѣнію до настоящаго времени еще неоцѣненное по достоинству, сибирское отдѣленіе Императорскаго географическаго общества пришло къ заключенію о необходимости всесторонняго изученія жизни инородцевъ, которое, по всей вѣроятности, въ непродолжительномъ будущемъ вызоветъ мѣры къ огражденію интересовъ этихъ племенъ и къ устройству ихъ плачевнаго быта на болѣе раціональныхъ началахъ.

Теленгуты, находящіеся въ русскомъ подданствѣ, раздѣляются на дючины, которыхъ считается 75, и кромѣ того еще дѣлятся на 24 поколѣнія. Теленгуты, принадлежащіе къ одному поколѣнію, считаются родственниками и называютъ себя братьями, и люди одного племени не могутъ жениться на женщинахъ своего племени. Всѣ поколѣнія ихъ говорятъ однимъ и тѣмъ же татарскимъ языкомъ, исповѣдуютъ одну и ту же шаманскую вѣру и управляются зайсанами. Каждая дючина имѣетъ своего зайсана, достоинство котораго наслѣдственно, хотя каждый зайсанъ долженъ быть утвержденъ въ своемъ званіи народомъ и русскимъ начальствомъ. Зайсаны обязаны собирать съ своихъ дючинъ ясакъ, по рублю съ мужчины, и сверхъ того по три рубля съ каждаго семейства, хотя женщины и дѣти считаются свободными отъ податей. Ясакъ собирается съ нихъ шкурами лисицъ, соболей, бѣлокъ и куницъ. Только тяжкія преступленія: убійство и грабежъ, судятся у теленгутовъ по русскимъ законамъ, остальныя дѣла и тяжбы рѣшаются или зайсанами, или народнымъ собраніемъ, ежегодно составляющимся для этой цѣли. Все богатство этихъ племенъ заключается въ скотѣ, почему и кочевья ихъ расположены большею частью по долинамъ рѣкъ, представляющихъ обильныя пастбища. Въ былое время, въ средѣ теленгутовъ можно было встрѣтить владѣльцевъ шести и болѣе тысячъ головъ рогатаго скота. Люди, имѣвшіе 50 или 100 лошадей, считались у нихъ бѣдняками; но это богатство теленгутовъ перешло теперь въ руки мѣстныхъ русскихъ купцовъ, эксплоатація которыхъ безпримѣрна по своимъ пріемамъ. Обѣднѣніе теленгутовъ, по словамъ путешественника Радлова, идетъ такъ быстро, что онъ въ послѣднее свое путешествіе не узналъ мѣстностей, которыя посѣщалъ въ 1860 г. Скота нигдѣ не было видно. Даже прекрасная Урусульская долина, славящаяся своими пастбищами и богатствомъ ея обитателей, была пуста; если же гдѣ попадался скотъ, то на вопросъ его: чей скотъ? онъ получалъ въ отвѣтъ: „жоймнымъ-малы!“ т.-е. купеческій скотъ! Купцы покупаютъ у теленгутовъ молодой скотъ, оставляютъ его у инородцевъ и берутъ тогда, когда онъ подрастетъ, т.-е. по истеченіи 3—4 лѣтъ. Всѣ выгоды подобной торговли, конечно, на сторонѣ купцовъ, потому

что весь ущербъ въ скотѣ, который случится за это время, возмѣщается ими на хранителѣ скота, бывшемъ его хозяинѣ, обязанномъ безвозмездно пасти его и охранять отъ всякихъ случайностей. Какъ быстро составляются купцами капиталы въ Алтаѣ, мы приведемъ, со словъ того же путешественника Радлова, слѣдующій примѣръ: за 50 кирпичей чаю купецъ покупаетъ въ Алтаѣ пару маральихъ роговъ; на деньги они обойдутся ему въ 75 р. с. Затѣмъ, эти рога онъ продаетъ на рѣкѣ Чуѣ уже за 100 кирпичей чаю, что равняется 150 руб. сер. На эти деньги онъ снова покупаетъ въ Алтаѣ 80 годовалыхъ телятъ, которыхъ оставляетъ у продавца для безвозмездной пастьбы, и по истеченіи трехъ лѣтъ получаетъ отъ него 80 штукъ взрослыхъ скотинъ, которыя, считая среднимъ числомъ по 10 руб. за голову, составляютъ капиталъ въ 800 руб. сер. Всѣ злоупотребленія купцовъ въ торговлѣ съ теленгутами оставались и остаются безъ преслѣдованія. Задавая имъ впередъ гнилой, грошевый товаръ, купцы берутъ за него неимовѣрные проценты; проценты эти удваиваются и утраиваются, если долгъ не выплачивается имъ въ срокъ. Можно сказать безъ преувеличенія: если на подобный порядокъ вещей не будетъ обращено должнаго вниманія, зло не будетъ пресѣчено въ корнѣ, то простодушный, довѣрчивый народъ этотъ, постепенно бѣднѣя, будетъ вымирать, и вымирать буквально отъ голода. Теленгуты въ настоящее время обременены такими неоплатными долгами, погасить которые мало десятковъ лѣтъ; а между тѣмъ, за долги эти давно уже уплачены ими суммы, въ десять, если не въ двадцать разъ большія.

Для обращенія теленгутовъ въ православіе, въ 1828 году основана Духовная Алтайская миссія, трудами которой обращено донынѣ въ христіанство до 4.000 человѣкъ, воздвигнуто 11 церквей, устроено 10 школъ, переведено на теленгутскій языкъ Евангеліе, нѣсколько Богослужебныхъ книгъ, много молитвъ и церковныхъ пѣсенъ. Успѣхи миссіи нельзя назвать значительными. Теленгуты смотрятъ на миссію, какъ на вредное учрежденіе и удаляются отъ нея въ глубь горъ, потому что считаютъ принятіе православія равносильнымъ потерѣ національности. Теленгуты, бѣгущіе отъ миссіи въ горы, бѣднѣютъ день ото дня; одинаково бѣднѣютъ и тѣ изъ нихъ, которые, припявъ православіе, поселяются на жительство около миссіи. Отчего происходитъ это явленіе, и гдѣ, и въ чемъ искать цѣлебнаго средства противъ него,— отвѣты на это дадутъ только добросовѣстныя и всесторонніе изслѣдованія быта теленгутовъ и искорененіе эксплоатаціи, тяготѣющей надъ ними во всѣхъ видахъ.

Теленгуты, какъ и черневые татары, исповѣдуютъ шаманскую

почти одинаковъ: дабовая рубаха на тѣлѣ, которая не снимается до тѣхъ поръ, пока не истлѣетъ. У мужчинъ короткія шаровары и высокіе сапоги изъ дубленой кожи. Дѣти обоего пола до десяти и двѣнадцати лѣтъ ходятъ нагія. Лѣтомъ сверхъ рубахъ мужчины носятъ куртки, „чеймекъ“, и длинные кафтаны; зимою — нагольныя шубы изъ конскихъ, овечьихъ или хорьковыхъ шкуръ. Женщины также носятъ сверхъ рубашки кафтанъ, съ легкой накидкой съ прорѣхами вмѣсто рукавовъ, называемой „чадекъ“. Чадеки носятъ только замужнія женщины, дѣвицы носятъ шубы, на боку которыхъ навѣшиваются ключи, бубенчики, раковины и т. п. украшенія. Мужчины и женщины носятъ на головѣ одинаковую треугольную, заостренную кверху мерлущатую шапку, покрываемую желтой матеріей, съ краснымъ лоскутомъ по серединѣ. У мужчинъ, и даже у дѣтей брѣютъ на головѣ волосы, оставляя расти на темени длинную косу, которую заплетаютъ. Женщины волосъ на головѣ не брѣютъ, а заплетаютъ ихъ во множество косичекъ. У дѣвушекъ до 12-ти лѣтъ брѣютъ только переднюю часть головы, заплетая сзади волосы въ косички. Старыя дѣвушки отпускаютъ волосы спереди, оставляя ихъ не заплетенными. Типъ теленгутовъ совершенно монгольскій: сдавленный лобъ, узкіе въ раскосъ глаза, выдавшіяся скулы, широкій сплюснутый носъ, вздутыя губы и рѣдкая борода. Среди женщинъ трудно встрѣтить красивое лицо, и онѣ быстро старѣютъ, можетъ быть, вслѣдствіе труда, который исключительно лежитъ на нихъ. Теленгуты крайне нечистоплотный народъ: они никогда не только не моются, но даже не умываются, въ томъ убѣжденіи, что это вредно и приноситъ несчастіе. Пища теленгутовъ состоитъ исключительно изъ молока во всѣхъ его видахъ. Ячменная, молочная, жидкая каша—ихъ ежедневное любимое блюдо. Конина—любимое мясо, употребляемое ими въ пищу. Всѣ они курятъ, какъ мужчины, такъ и женщины. Нѣкоторые изъ нихъ сами сѣютъ табакъ, другіе покупаютъ отъ русскихъ, такъ какъ жители Бійскаго и Кузнецкаго округовъ занимаются производствомъ табака; многіе покупаютъ его отъ китайцевъ. Отъ послѣднихъ они исключительно пріобрѣтаютъ и трубки. Женщины у теленгутовъ исполняютъ всѣ домашнія работы: доятъ коровъ и козъ, варятъ обѣдъ, шьютъ бѣлье и платье. Мужчины же только ѣдятъ, пьютъ, курятъ и спятъ. Надзоръ за скотомъ у нихъ не требуетъ особеннаго труда: конокрадства не существуетъ между ними, и скотъ, благодаря мелкимъ снѣгамъ, всегда находится на подножномъ кормѣ. Единственное ремесло, знакомое теленгутамъ,—это кузнечное, да и тѣмъ занимаются немногіе изъ нихъ. Всѣ теленгуты, какъ мужчины, такъ и женщины, превосходные наѣздники; ихъ привычныя лошади смѣло скачутъ по та-

кимъ узкимъ и скользкимъ тропинкамъ на скалахъ, висящихъ надъ пропастями, что при взглядѣ на нихъ европейскіе путешественники приходятъ въ ужасъ и рѣшаются ѣхать по нимъ не иначе какъ привязанными къ лошадямъ, во избѣжаніе головокруженія и паденія въ пропасть; теленгуты же не только не правятъ лошадьми и не держатся за поводъ, а даже, сидя на нихъ, дремлютъ или спятъ. Они также отличные стрѣлки, не теряющіе ни одного выстрѣла даромъ. Свои мѣткія ружья они обдѣлываютъ сами, покупая старыя солдатскія, отбивая отъ нихъ казенную часть и придѣлывая къ нимъ фитили. Зимою мужчины отправляются обыкновенно на звѣриный промыселъ, и каждый охотникъ убиваетъ въ день не менѣе сорока бѣлокъ. Соболей и сурковъ они выслѣживаютъ съ собаками въ ихъ норахъ. Опутавъ поверхность норы сѣтью, они выкуриваютъ этихъ животныхъ изъ норъ, и потомъ, когда тѣ запутаются въ сѣть, при выходѣ изъ норы, бьютъ ихъ палками. Кромѣ того, они бьютъ зимою медвѣдя и козуль, а весной мараловъ, рога которыхъ особенно дорого цѣнятся въ торговлѣ.

Мало различія сравнительно съ жизнью теленгутовъ встрѣчается и въ жизни черневыхъ татаръ. Въ тѣхъ же юртахъ, покрытыхъ берестой или войлокомъ или выстроенныхъ изъ бревенъ, они укрываются отъ осеннихъ непогодъ и зимнихъ вьюгъ. Одежда ихъ также въ большинствѣ случаевъ ничѣмъ не отличается отъ одежды теленгутовъ; только въ послѣднее время черневые татары, имѣющіе частыя сношенія съ русскими, стали одѣваться такъ же, какъ и русскіе крестьяне, а нѣкоторые въ сюртуки, пальто и пиджаки. Пищу черневыхъ татаръ составляетъ также молоко, поджаренный ячмень, каша и пшеничныя лепешки, выпекаемыя въ золѣ. Черневые татары приготовляютъ еще изъ кобыльяго молока кумысъ, но не пьютъ его, а гонятъ изъ него водку, „сайракъ“. Пьянство — самый злѣйшій порокъ, разъѣдающій послѣднее благосостояніе черневыхъ татаръ. Многіе изъ нихъ занимаются уже земледѣліемъ и сѣютъ главнымъ образомъ ячмень; но земледѣліе ихъ слабо: въ расщелинахъ утесовъ и въ ложбинахъ, гдѣ только есть земля, они вскапываютъ ее матыгой и бросаютъ въ скопанныя мѣста зерно. Скотоводство ихъ также бѣдно. Главное занятіе ихъ звѣроловство, и для того, чтобы не стѣснять при охотѣ другъ друга и имѣть болѣе пространства для этого промысла, они не скучиваются въ большія селенія. Двѣ-три юрты, принадлежащія членамъ одного семейства, составляютъ „аилъ“. Если же нѣсколько такихъ аиловъ стоятъ вблизи другъ друга, то подобное селеніе называется „улусъ“. Одно изъ прибыльныхъ занятій черневыхъ татаръ составляетъ отыскиваніе въ лѣсу меда и воска одичавшихъ пчелъ, которыхъ они называютъ „челъ“. У

крестьянъ Бійскаго и Кузнецкаго округовъ Томской губерніи пчеловодство составляетъ одинъ изъ благодарныхъ промысловъ, и часто случается, что пчелы весною, во время роенія, улетаютъ въ лѣса, покрывающіе горы Алтая, дичаютъ тамъ и накапливаютъ въ дуплахъ деревьевъ нерѣдко по нѣсколько десятковъ пудовъ меду и воску. Найдя медъ и воскъ дикихъ пчелъ, татары продаютъ ихъ за баснословно дешевыя цѣны купцамъ и крестьянамъ. Ниже мы увидимъ, къ какимъ иногда хитростямъ прибѣгаютъ крестьяне, для того, чтобы обмануть этихъ добродушныхъ дѣтей лѣсовъ и горъ и безплатно отобрать у нихъ найденную ими добычу. Вслѣдствіе недостаточно развитаго хлѣбопашества, черневые татары, какъ и теленгуты, постоянно нуждаются въ хлѣбѣ, и случаи голодной смерти среди нихъ встрѣчаются постоянно, даже въ самые урожайные на хлѣбъ годы; поэтому вопіющая нужда ихъ въ хлѣбѣ и служитъ постояннымъ источникомъ эксплоатаціи. За неимѣніемъ хлѣба, татары заготовляютъ и употребляютъ въ пищу корни растенія, называемаго „кандыкъ“ (Erythronium dens conis); корень этотъ они сушатъ и нанизываютъ на нитку. Корень кандыка бѣлаго цвѣта, не болѣе вершка длины, и сваренный въ молокѣ имѣетъ весьма пріятный, сладкій вкусъ. Изъ этого же корня татары приготовляютъ и опьяняющій напитокъ „абыртку“. Нѣкоторые изъ черневыхъ татаръ и сами занимаются пчеловодствомъ, и оно могло бы спасать ихъ отъ вопіющей нужды при выгодномъ сбытѣ продуктовъ, но купцы и богатые крестьяне, пользуясь ихъ страстью къ вину, опаиваютъ ихъ и покупаютъ за бутылку кабачной водки не только ульи пчелъ, но и лошадь. До чего велика страсть черневыхъ татаръ къ вину, можетъ характеризовать слѣдующее явленіе: услышавъ, что у кого-нибудь изъ татаръ есть водка или даже абыртка изъ кандыка, татары семьями, съ женами и дѣтьми, ѣдутъ верхами по самымъ дурнымъ дорогамъ за 80, за 100 верстъ къ жилью подобнаго счастливца; нерѣдко везутъ съ собою муку для приготовленія артельной водки и пьянствуютъ до тѣхъ поръ, пока остается хоть капля вина.

Не менѣе средствъ къ жизни могли бы давать черневымъ татарамъ богатые кедровые лѣса, гдѣ одно дерево даетъ иногда до 30 фунтовъ орѣха. Но промыселъ этотъ служитъ одной изъ причинъ не обогащенія ихъ, какъ бы слѣдовало ожидать, а обѣднѣнія. Купцы, захвативъ его въ свои руки, задаютъ татарамъ въ кредитъ товаръ, съ условіемъ на каждый рубль ассигнаціями доставить пудъ орѣха; въ случаѣ же неурожая орѣха, за каждый, не доставленный по условію, пудъ орѣха татары обязаны платить деньгами или цѣнными шкурками 2 рубля серебромъ.

Черневые татары, также какъ и теленгуты, раздѣляются на племена или роды, находящіеся подъ управленіемъ башлыковъ, званіе которыхъ, какъ и зайсановъ, наслѣдственно, но должно быть утверждено избраніемъ народа и начальствомъ. Оффиціально черневые татары дѣлятся на волости, и при башлыкахъ находятся волостные писаря, которые ведутъ дѣлопроизводство. Башлыки сбираютъ со своихъ волостей ясакъ и сдаютъ его въ казну; они исполняютъ всѣ административныя требованія начальства и разбираютъ дѣла и тяжбы своихъ родовъ. Собственно осѣдлыхъ татаръ, обитающихъ частью въ Кузнецкой степи, частью въ долинахъ Алтая, считается 14.893 души обоего пола. Осѣдлые инородцы большею частью крещены. Живутъ они иногда большими деревнями, въ домахъ, устройство которыхъ таксе же, какъ и у русскихъ крестьянъ, занимаются хлѣбопашествомъ, и хозяйство, и хлѣбопашество у многихъ изъ нихъ чрезвычайно обширно, что можетъ служить несомнѣннымъ доказательствомъ способности этихъ племенъ и къ культурѣ, и къ развитію между ними прочнаго благосостоянія. Если бы были употреблены зависящія мѣры къ огражденію ихъ отъ эксплуатаціи со всѣми ея развращающими вліяніями, къ какимъ безсовѣстно прибѣгаютъ купцы для извлеченія своихъ выгодъ, то можно было бы спасти эти племена отъ вымиранія, которое замѣчается теперь среди нихъ въ страшныхъ размѣрахъ. Благоразумныя мѣры повлекли бы за собой даже умноженіе этихъ племенъ въ будущемъ. Въ русскихъ деревняхъ и селахъ Кузнецкаго округа часто встрѣчается половина населенія изъ инородцевъ. Въ веденіи хлѣбопашества и хозяйства они ничѣмъ не разнятся отъ русскихъ; дома ихъ, особенно у зажиточныхъ инородцевъ, обставлены хорошею мебелью, встрѣчаются даже зеркала, и опи отличаются чистотой и опрятностью. Съ крестьянами инородцы живутъ не только дружно, но большинство ихъ черезъ браки вошло съ русскими въ тѣсныя родственныя отношенія. Платя ясакъ, инородцы въ то же время отбываютъ наравнѣ съ крестьянами всѣ ихъ общественныя повинности. Нѣкоторые изъ инородцевъ до того обрусѣли, что давно забыли свой языкъ и обычаи, и нерѣдко встрѣчаются среди нихъ экземпляры съ русыми волосами, русой окладистой бородой и голубыми добродушными глазами. Крестьяне, на мнѣніе которыхъ въ этомъ случаѣ можно вполнѣ положиться, отзываются о нравственныхъ качествахъ инородцевъ въ крайне лестныхъ чертахъ. Среди этихъ племенъ не замѣчается свойственной азіятскимъ народамъ хитрости и коварства. Напротивъ, отличительное качество ихъ по общимъ отзывамъ крайнее добродушіе и довѣрчивость. Они необыкновенно честны. Инородецъ десятки лѣтъ твердо помнитъ какой-нибудь копеечный долгъ

и при первой возможности возвращаетъ его кредитору, который нерѣдко давно забылъ о немъ. Умирая съ голоду, они и тутъ не прибѣгаютъ къ воровству. Жители улуса, уходя на поля, оставляютъ двери домовъ незапертыми, и не бываетъ примѣра, чтобы изъ дома пропало что-нибудь, хотя на стѣнахъ въ домахъ висятъ шкурки цѣнныхъ животныхъ, иногда на десятки рублей, поставцы наполнены мѣдной посудой, а чуланы платьемъ. Я самъ былъ очевидцемъ подобнаго явленія, пріѣхавъ однажды въ полдень, въ рабочую пору, въ довольно обширный улусъ, гдѣ единственнымъ представителемъ населенія его оказалась больная десятилѣтняя дѣвочка, совсѣмъ почти не говорившая по-русски. Съ ящикомъ инородцемъ я обошелъ всѣ дома и, остановившись въ одномъ изъ нихъ, вмѣстѣ съ нимъ согрѣлъ самоваръ и напился чаю. Вечеромъ, хозяинъ дома, возвратившись съ поля, встрѣтилъ меня крайне радушно и все твердилъ: „ужъ не сердись, батюшка, что никого не было въ избѣ; спасибо, что самъ похозяйничалъ... право спасибо тебѣ... молодецъ!“

Полового разврата не существуетъ между ними. Если мужчина соблазнилъ дѣвушку и почему-либо отказывается жениться на ней, то жители всего улуса, собравшись толпой, начинаютъ бить соблазнителя, и бьютъ его до тѣхъ поръ, пока онъ не повинится и не дастъ слова загладить свой поступокъ. Племена эти отличаются еще одною крайне замѣчательною нравственною чертою, подмѣченной среди какъ кочевыхъ, такъ и осѣдлыхъ инородцевъ. У нихъ бѣдняки всегда живутъ на счетъ своихъ богатыхъ собратій. Нерѣдко весь улусъ въ годину бѣдствія безвозмездно прокармливается зажиточнымъ сочленомъ, и это нисколько не ставится ему въ заслугу и ничѣмъ не обязываетъ въ отношеніи къ нему другихъ. „Тебѣ далъ Богъ, и ты долженъ раздѣлить Божій даръ со всѣми!“ Вотъ мотивъ, изъ котораго вытекаетъ это явленіе.

Конечно, и среди инородцевъ, особенно обрусѣлыхъ, встрѣчаются печальныя исключенія; но эти исключенія пока еще весьма незначительны и при другихъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ быстро исчезнутъ. Появленіе ихъ можно объяснить дурнымъ примѣромъ, какой подаютъ купцы и зажиточные крестьяне. Многіе изъ обрусѣлыхъ инородцевъ наживаютъ теперь крупные капиталы, эксплоатируя не хуже купцовъ племена теленгутовъ и черневыхъ татаръ. Ябедничество также играетъ у инородцевъ важную роль, и, смѣло можно сказать, оно привито къ нимъ русскимъ чиновничествомъ, поощрявшимъ въ нихъ этотъ порокъ изъ корыстныхъ видовъ. Въ примѣръ того, какъ чиновничество извращало и эксплоатировало самыя прекрасныя бытовыя черты инород-

цевъ—радушіе и гостепріимство, я приведу слѣдующій случай, бывшій со мной. Пріѣхавъ однажды по дѣламъ службы, въ первый разъ, въ Туштулепскій улусъ, я остановился у инородца, судя по обстановкѣ комнаты, весьма зажиточнаго. Едва внесли мои вещи въ комнаты, ко мнѣ вошелъ хозяинъ съ подносомъ въ рукахъ. На подносѣ лежала десятирублевая ассигнація, и на ней стояла рюмка съ какимъ-то краснымъ виномъ. Я спросилъ у него, для чего рюмка поставлена на ассигнацію.

— А это тебѣ, батюшка. Прими ее отъ меня въ подарокъ за честь!..—отвѣтилъ онъ, кланяясь.

— За какую же честь?..

— За то, что ты пристадъ ко мнѣ, посѣтилъ меня, не обошелъ меня своей честью,—отвѣтилъ онъ.

Когда я отказался принять подарокъ „за честь“, онъ съ удивленіемъ, робко посмотрѣлъ на меня и спросилъ: за что я сержусь на него? По всей вѣроятности, въ умѣ его промелькнула мысль, что онъ мало предложилъ и тѣмъ оскорбилъ меня. Я отвѣтилъ ему, что мнѣ сердиться на него не за что, такъ какъ я первый разъ еще вижу его; подарка же не принимаю потому, что считаю позорнымъ дѣломъ брать какіе бы ни было подарки, и посѣщеніе мое вовсе не приноситъ для него такой чести, за которую бы слѣдовало такъ дорого расплачиваться.

— Ой... ой... ой! — качая головой, произнесъ онъ, выслушавъ меня.—Не хорошо ты это дѣлаешь, не хорошо!..

— Почему не хорошо?..—спросилъ я, заинтересованный его укоризненнымъ тономъ.

— Отъ чести моей отказываешься!.. Честь мою обходишь!.. Чести моей никто не обходилъ,—серьезно-обиженнымъ тономъ произнесъ онъ и перечислилъ мнѣ при этомъ поименно длинный рядъ моихъ предшественниковъ и другихъ чиновниковъ, іереевъ и даже протоіереевъ, которые не обходили его чести. — Они бы сердились, братъ, шибко бы осердились, еслибъ я имъ чести не поднесъ!—заключилъ онъ, задумчиво покачивая головой.

Изъ разговоровъ съ нимъ я узналъ слѣдующій обычай, съ незапамятныхъ временъ введенный среди нихъ чиновниками. Едва пріѣдетъ чиновникъ въ улусъ и остановится на квартирѣ, какъ хозяинъ обязанъ поднести ему рюмку съ приложеніемъ къ ней кредитной „чести“. Выпивъ рюмку и положивъ поднесенную „честь“ въ карманъ, чиновникъ шелъ въ сосѣдній домъ, гдѣ снова выпивалъ поднесенную ему рюмку и опускалъ въ карманъ „честь“. Такимъ родомъ онъ обходилъ весь

улусъ, и даже нищій-инородецъ занималъ на этотъ случай два-три рубля и подносилъ приходившему къ нему чиновнику.

Только честныя и разумныя отношенія къ инородцамъ администраціи, вниманіе къ ихъ нуждамъ, безпристрастное огражденіе ихъ интересовъ отъ развращающихъ вліяній эксплоататоровъ, а главное, — развитіе среди нихъ грамотности и доступъ въ Алтай свободной крестьянской колонизаціи, трудолюбивая жизнь которой будетъ служить для нихъ благотворнымъ примѣромъ, какъ это мы видимъ на осѣдлыхъ инородцахъ, живущихъ въ средѣ крестьянъ, могутъ улучшить ихъ бытъ и положеніе. Въ противномъ случаѣ, повторю еще разъ, они будутъ постепенно вымирать и вымирать отъ голода, какъ неизбѣжнаго послѣдствія наглыхъ обмановъ и грабежа, скрывающихся подъ именемъ „торговли“.

Предсказаніе Никиты Васильевича сбылось. На другой день, едва я проснулся и открылъ окно, выходившее на площадку, заросшую травой, на которой мирно паслось стадо гусей, какъ до слуха моего донеслись крики и громкій говоръ. Выглянувъ въ окно, чтобы узнать причину ихъ, я увидѣлъ нѣсколько человѣкъ крестьянъ и инородцевъ, сидѣвшихъ на толстомъ бревнѣ, которое лежало у плетня, обнесшаго огородъ. Послѣднихъ не трудно было отличить по ихъ смуглымъ лицамъ, чернымъ, какъ смоль, волосамъ и узенькимъ глазамъ, а главное—по жиденькимъ усамъ и бородкамъ; десятокъ-два коротенькихъ черныхъ волосковъ на подбородкѣ теленгута или татарина изъ племени Ішъ-кижи скорѣе служатъ только памекомъ на украшеніе, которымъ природа, щедро одѣливъ людей другихъ расъ, почему-то признала нужнымъ лишить теленгута и черневаго татарина.

Подавъ чайный приборъ и самоваръ, Никита Васильевичъ тотчасъ же сообщилъ, что меня давно ожидаютъ просители, съѣхавшіеся чуть не до разсвѣта изъ различныхъ деревень и улусовъ. Не желая терять времени, я велѣлъ позвать къ себѣ Митрофана Сысоева и Абыша, который, какъ оказалось, явился въ улусъ ранѣе посланнаго за нимъ гонца. Развязно войдя въ комнату, Митрофанъ Сысоевъ усердно помолился на икону, висѣвшую въ переднемъ углу, и поклонился мнѣ, проговоривъ: „Ночевали здорово!.. Съ дорожки-то, поди, батюшко, сладко поспалось... а?—улыбаясь, спросилъ онъ. „По нашимъ-то горкамъ, какъ поѣздишь, такъ такъ-то ли сладко укачаетъ тебя, што радъ до мѣста!.. Обидчикъ-то мой самъ, слышь, пришелъ и гонца не ждалъ!“—объявилъ онъ, указавъ на Абыша, низенькаго, тщедушнаго человѣка, который только-что переступилъ порогъ, какъ молча,

униженно началъ кланяться мнѣ, силясь изобразить при этомъ на лицѣ своемъ привѣтливую улыбку. Но улыбка эта никакъ не выходила на его толстыхъ, почти темно-вишневыхъ губахъ. Смуглое лицо его было изрѣзано морщинами; узенькіе, каріе глаза слезились; черные, густые волосы, подстриженные въ скобку, совершенно закрывали лобъ и почти сливались съ черными, густыми бровями. На немъ былъ надѣтъ сѣраго сукна зипунъ, весь въ прорѣхахъ; холщевые, грязные штаны были запущены за голенища сапоговъ, подошвы у которыхъ подпоролись и хлябали. Опоясанъ онъ былъ тонкимъ, черным ремешкомъ, симметрично усаженнымъ оловянными пуговками; такими же оловянными пуговками былъ усѣянъ и кожаный полукруглый мѣшокъ, прикрѣпленный къ ремню съ правой стороны. Изъ мѣшка выглядывалъ тоненькій мѣдный чубукъ отъ трубки.

— Какъ тебя зовутъ? — спросилъ я, когда Абышъ, продолжая кланяться, подошелъ поближе и сталъ рядомъ съ Митрофаномъ Сысоевымъ, презрительно поглядывавшимъ на него.

— Абышъ Салмакычъ! — отвѣтилъ онъ, кланяясь почти всѣмъ корпусомъ.

— Это отца твоего звали Салмакомъ или это твое родовое прозвище? — спросилъ я.

— Ну... ну... Салмакъ, Салмакъ звался отецъ, Салмакъ былъ!.. Я изъ-подъ Миколы башлыка... можетъ знашь... Миколай Кульчуганычъ башлыкъ... Я изъ-подъ него!..—объяснилъ онъ.

— Онъ хочетъ объяснить вамъ, сударь,—вмѣшался Никита Васильевичъ, стоящій у двернаго косяка,—что онъ состоитъ подъ вѣдѣніемъ башлыка Кондомо-Елейской волости, Николая Кульчуганова.

— Ну... ну... ну... такъ, такъ!—пояснилъ Абышъ.—Николая Кульчуганова!..

— Ты знаешь этого крестьянина?—спросилъ я Абыша, указавъ ему на Митрофана Сысоева.

— Знаю... знаю... дружбу ведемъ!—отвѣтилъ онъ.

— Ну, такъ этотъ другъ-то твой, Абышъ Салмакычъ, жалуется на тебя, что ты взялъ у него 4 пудовки хлѣба, обѣщалъ ему за это въ жнитво четыре дня отработать и не являешься къ нему на работу...

— Пошто жаловаться... пошто? — началъ Абышъ, обратившись къ Сысоеву и укоризненно качая головой. — У тебя Богъ и у меня Богъ... Богъ все видитъ... пошто напрасно жаловаться?—снова спросилъ онъ.

— Не по головкѣ ли вашего брата гладить велишь, а?—насмѣшливо глядя на него, спросилъ Сысоевъ.

улусъ, и даже нищій-инородецъ занималъ на этотъ случай два-три рубля и подносилъ приходившему къ нему чиновнику.

Только честныя и разумныя отношенія къ инородцамъ администраціи, вниманіе къ ихъ нуждамъ, безпристрастное огражденіе ихъ интересовъ отъ развращающихъ вліяній эксплоататоровъ, а главное, — развитіе среди нихъ грамотности и доступъ въ Алтай свободной крестьянской колонизаціи, трудолюбивая жизнь которой будетъ служить для нихъ благотворнымъ примѣромъ, какъ это мы видимъ на осѣдлыхъ инородцахъ, живущихъ въ средѣ крестьянъ, могутъ улучшить ихъ бытъ и положеніе. Въ противномъ случаѣ, повторю еще разъ, они будутъ постепенно вымирать и вымирать отъ голода, какъ неизбѣжнаго послѣдствія наглыхъ обмановъ и грабежа, скрывающихся подъ именемъ „торговли“.

Предсказаніе Никиты Васильевича сбылось. На другой день, едва я проснулся и открылъ окно, выходившее на площадку, заросшую травой, на которой мирно паслось стадо гусей, какъ до слуха моего донеслись крики и громкій говоръ. Выглянувъ въ окно, чтобы узнать причину ихъ, я увидѣлъ нѣсколько человѣкъ крестьянъ и инородцевъ, сидѣвшихъ на толстомъ бревнѣ, которое лежало у плетня, обносившаго огородъ. Послѣднихъ не трудно было отличить по ихъ смуглымъ лицамъ, чернымъ, какъ смоль, волосамъ и узенькимъ глазамъ, а главное—по жиденькимъ усамъ и бородкамъ; десятокъ-два коротенькихъ черныхъ волосковъ на подбородкѣ теленгута или татарина изъ племени Іишъ-кижи скорѣе служатъ только намекомъ на украшеніе, которымъ природа, щедро одѣливъ людей другихъ расъ, почему-то признала нужнымъ лишить теленгута и черневаго татарина.

Подавъ чайный приборъ и самоваръ, Никита Васильевичъ тотчасъ же сообщилъ, что меня давно ожидаютъ просители, съѣхавшіеся чуть не до разсвѣта изъ различныхъ деревень и улусовъ. Не желая терять времени, я велѣлъ позвать къ себѣ Митрофана Сысоева и Абыша, который, какъ оказалось, явился въ улусъ ранѣе посланнаго за нимъ гонца. Развязно войдя въ комнату, Митрофанъ Сысоевъ усердно помолился на икону, висѣвшую въ переднемъ углу, и поклонился мнѣ, проговоривъ: „Ночевали здорово!.. Съ дорожки-то, поди, батюшко, сладко поспалось... а?—улыбаясь, спросилъ онъ. „По нашимъ-то горкамъ, какъ поѣздишь, такъ такъ-то ли сладко укачаетъ тебя, што радъ до мѣста!.. Обидчикъ-то мой самъ, слышь, пришелъ и гонца не ждалъ!“—объявилъ онъ, указавъ на Абыша, низенькаго, тщедушнаго человѣка, который только-что переступилъ порогъ, какъ молча,

униженно началъ кланяться мнѣ, силясь изобразить при этомъ на лицѣ своемъ привѣтливую улыбку. Но улыбка эта никакъ не выходила на его толстыхъ, почти темно-вишневыхъ губахъ. Смуглое лицо его было изрѣзано морщинами; узенькіе, каріе глаза слезились; черные, густые волосы, подстриженные въ скобку, совершенно закрывали лобъ и почти сливались съ черными, густыми бровями. На немъ былъ надѣтъ сѣраго сукна зипунъ, весь въ прорѣхахъ; холщевые, грязные штаны были запущены за голенища сапоговъ, подошвы у которыхъ подпоролись и хлябали. Опоясанъ онъ былъ тонкимъ, черным ремешкомъ, симметрично усаженнымъ оловянными пуговками; такими же оловянными пуговками былъ усѣянъ и кожаный полукруглый мѣшокъ, прикрѣпленный къ ремню съ правой стороны. Изъ мѣшка выглядывалъ тоненькій мѣдный чубукъ отъ трубки.

— Какъ тебя зовутъ? — спросилъ я, когда Абышъ, продолжая кланяться, подошелъ поближе и сталъ рядомъ съ Митрофаномъ Сысоевымъ, презрительно поглядывавшимъ на него.

— Абышъ Салмакычъ! — отвѣтилъ онъ, кланяясь почти всѣмъ корпусомъ.

— Это отца твоего звали Салмакомъ или это твое родовое прозвище? — спросилъ я.

— Ну... ну... Салмакъ, Салмакъ звался отецъ, Салмакъ былъ!.. Я изъ-подъ Миколы башлыка... можетъ знашь... Миколай Кульчуганычь башлыкъ... Я изъ-подъ него!..—объяснилъ онъ.

— Онъ хочетъ объяснить вамъ, сударь,—вмѣшался Никита Васильевичъ, стоящій у двернаго косяка,—что онъ состоитъ подъ вѣдѣніемъ башлыка Кондомо-Елейской волости, Николая Кульчуганова.

— Ну... ну... ну... такъ, такъ!—пояснилъ Абышъ.—Николая Кульчуганова!..

— Ты знаешь этого крестьянина?—спросилъ я Абыша, указавъ ему на Митрофана Сысоева.

— Знаю... знаю... дружбу ведемъ!—отвѣтилъ онъ.

— Ну, такъ этотъ другъ-то твой, Абышъ Салмакычъ, жалуется на тебя, что ты взялъ у него 4 пудовки хлѣба, обѣщалъ ему за это въ жнитво четыре дня отработать и не являешься къ нему на работу...

— Пошто жаловаться... пошто? — началъ Абышъ, обратившись къ Сысоеву и укоризненно качая головой. — У тебя Богъ и у меня Богъ... Богъ все видитъ... пошто напрасно жаловаться?—снова спросилъ онъ.

— Не по головкѣ ли вашего брата гладить велишь, а?—насмѣшливо глядя на него, спросилъ Сысоевъ.

— Пошто, Митрофанъ, по головкѣ гладить?.. Коли ты хорошо сдѣлашь... по головкѣ Богъ будетъ гладить; и бить по головкѣ Богъ будетъ, коли худо сдѣлашь!.. Ты какъ меня обидѣлъ-то, а?.. Э... э... Митрофанъ, Митрофанъ... худо это, Митрофанъ!—говорилъ онъ, укоризненно качая головой.—Пошто я не шелъ жаловаться, что ты меня обидѣлъ, а?.. Пошто?.. А ты меня обидѣлъ, што я плакалъ, баба плакалъ, сарынь *) вся плакалъ... всѣ плакалъ!.. Вотъ какъ ты обидѣлъ меня!..—горячо говорилъ Абышъ.

— Эхъ... и лопотню-то твою не слушалъ бы! — произнесъ Сысоевъ, презрительно отвернувшись отъ него и сплюнувъ на сторону.

— Чѣмъ же онъ обидѣлъ тебя?—спросилъ я Абыша.

— Коня у меня увелъ, своими руками увелъ... нѣшто не обида!

— Зачѣмъ же онъ коня у тебя увелъ, а?..

— Спроси его... живой стоитъ!..—отвѣтилъ Абышъ, указавъ на Сысоева.

— Увелъ!—произнесъ неожиданно Сысоевъ, весь вспыхнувъ.—Увелъ!.. И дуракъ вотъ, што отдалъ тебѣ обратно его... право, дуракъ. Бить вотъ, говорю, надо нашего брата за сердоболье-то къ вамъ! Не слушай ты его, ваша милость... мало ли чего онъ тебѣ съ глупаго-то разума наплететъ, только время волочитъ, а мнѣ бы вотъ бѣжать надоть по дому теперь, дѣла-то не оберешься...

Никита Васильевичъ при послѣднихъ словахъ его усмѣхнулся и откашлялся въ руку.

— Ты уводилъ у него лошадь?—спросилъ я Сысоева.

— Бралъ, бралъ... уводилъ... Да вотъ, говорю... съ дуру-то...

— Съ его позволенья уводилъ?—прервалъ я.

— Пошто... съ моего позволенья... слушай... — загорячился Абышъ. — Въ Чернь я бѣгалъ .. Ну... прибегъ домой, гляжу: баба плачетъ... голосомъ плачетъ... сарынь вся плачетъ... Пошто, говорю, ты, баба, плачешь?.. Обхватила баба руками голову, говоритъ: Абышъ Салмакычъ, Митрофанъ, говоритъ, былъ... ругалъ, ругалъ... меня ругалъ... тебя ругалъ... да пошелъ, говоритъ, отвязалъ нашего коня и увелъ! Пошто, говорю, онъ коня увелъ?.. Не знаю!.. Бѣ-ѣ-да... Схватилъ я свою голову руками... ну плакать!.. Всего одинъ конь у меня, и того увелъ... Плакалъ, плакалъ... Побѣжалъ къ нему въ деревню... бѣгомъ бѣжалъ... Прибѣжалъ.. Пошто, говорю, ты, Митрофанъ, коня увелъ? Отдай коня!.. Не дамъ, говоритъ... Пошто не дашь?.. Когда,

*) Крестьяне въ Кузнецкомъ и Бійскомъ округахъ Томской губерніи называютъ дѣтей до десятилѣтняго возраста «сарынь». Инородцы также переняли отъ нихъ это названіе.

говоритъ, отробишь муку мнѣ, тогда, говоритъ, отдамъ тебѣ коня... Вотъ, вѣдь, какъ онъ зорилъ меня!.. Скажи, Митрофанъ, зорилъ ты меня?—спросилъ онъ, обратившись къ Сысоеву.

— О-охъ, Господи... за грѣхи только съ нечистью... путашь меня!..—произнесъ Сысоевъ, глубоко вздохнувъ и набожно взглянувъ на икону.

— Правда это, что онъ говоритъ?—спросилъ я Сысоева.

— Уводилъ... не потаюсь!..—отвѣтилъ онъ.

— Зачѣмъ же ты уводилъ?..

— Хе... зачѣмъ? — усмѣхнувшись, повторилъ Сысоевъ, проведя рукою по бородѣ и усамъ.—Да вотъ и говорю, милостивецъ, што бить бы нашего брата надоть, выволочку-то такую бы задать... штобъ до могилки памятна была; вотъ и были бы умнѣй, и сами-то въ спокоѣ бы жили... и начальство-то не утруждали бы просьбами... въ грѣхи-то наши не путали!..

— Ты объясни мнѣ: для чего ты безъ его позволенья коня у него увелъ?—снова спросилъ я, прерывая потокъ его краснорѣчія.

— Хе... нѣшто разбой какой сдѣлалъ я?...—спросилъ онъ.

— Для чего ты увелъ?

— Коня я увелъ у него, братецъ ты мой, вотъ для какой причины, — отвѣтилъ онъ, немного подумавъ:—вѣдь взять, теперича, у него въ случаѣ неустойки, окромя коня, нечего. Въ избѣ-то у него окромя бабы да сарыни... пустехонько... што ись березоваго голика не найдешь... Изъ одной чашки, какъ собаки, прости Господи, лакаютъ!.. Ну, и увелъ у него коня... Чего съ него взять?.. Вотъ онъ весь тутъ: чего на немъ, то и при немъ...

— Ты все-таки не объяснилъ мнѣ: для чего ты увелъ у него лошадь?—настойчиво спросилъ я.

— А такъ полагалъ, милостивецъ, въ своемъ-то умѣ-разумѣ: возьму, молъ, у него коня да и придержу у себя... тогды ужъ онъ безпремѣнно придетъ и отработаетъ долгъ, а когды отработаетъ сполна долгъ, тогды и коня ему отдамъ!.. Да вишь вотъ, сердоболье-то заѣло... не надоть бы и отдавать-то!..

— Нѣшто ты коня мнѣ отдалъ?—спросилъ его Абышъ.

— А кто-жъ?..—не глядя на него, спросилъ Сысоевъ.

— Пошто, Митрофанъ, ты врешь?!.. А?.. Пошто ты врешь?.. Погляди ты на своего Бога, а!.. Вонъ онъ, старичекъ-то Микола вашъ!—говорилъ Абышъ, указывая пальцемъ на икону Николая Чудотворца, висѣвшую въ переднемъ углу. — Онъ добрый старичекъ... добрый... кабы онъ не добрый былъ, давно бы тебя пришибъ... Вашъ Богъ

не нашъ шайтанъ... Нашъ бы шайтанъ э... э... давно бы кончалъ тебя...

Никита Васильевичъ засмѣялся и, по обыкновенію, закашлялъ въ руку, глядя на коничную фигуру Абыша, съ жаромъ объяснявшаго злобу шайтана, карающаго людей за всякую неправду.

— Уйми его, пущай не вретъ!—съ поклономъ обратился ко мнѣ Абышъ. — Плакалъ я, въ ноги кланялся: „отдай мнѣ, Митрофанъ, коня... я тебѣ и такъ отработаю хлѣбъ... Пущай, говорю, и твой Богъ Микола, и мой Шайтанъ... кончаютъ меня, и бабу кончаютъ, и сарынь всю кончаютъ, коли не отработаю тебѣ хлѣбъ. Бѣдный я... у меня всего одинъ конь, куда я безъ коня, бѣ-ѣ-да!“ Не отдалъ!.. Пошелъ къ его старостѣ Василью, тому въ ноги поклонился: „вели Митрофану коня мнѣ отдать“. Пошелъ староста Василій къ нему, мужикъ ихній пошелъ... много ихъ мужика пошло... „Отдай, говорятъ, Митрофанъ, коня Абышкѣ... грѣшно, говорятъ, зорить его“. Шибко его корилъ ихъ мужикъ... Не отдавалъ!.. Василья-то, старосту, за воротъ бралъ... Грѣхъ такой былъ, бѣ-ѣ-ѣда!..

— За воротъ бралъ... хе... возьми-ко! — смѣясь, произнесъ, не глядя на него, Митрофанъ.—Зады... нѣшто... не писаны...

— Бралъ!—крикнулъ Абышъ.—Пошто ты врешь, Митрофанъ? Староста Василій живой человѣкъ... самъ скажетъ: бралъ!.. Староста Василій и коня у тебя отобралъ и отдалъ мнѣ... Пошто ты врешь!.. Ой... ой... худо энто, Митрофанъ,—закончилъ Абышъ, качая головой.

— Скоро начнется у тебя жнитво?—спросилъ я Сысоева.

— Гляди... за недѣльку-то и приниматься надоть...

— А что стоитъ у васъ пудовка ржаного хлѣба? — спросилъ я его.

— Глядя по хлѣбу и цѣна, милостивецъ, — отвѣтилъ Митрофанъ.—Каковъ хлѣбъ... Хорошій хлѣбъ продаемъ и тридцать пять, и сорокъ копеекъ пудовку...

— Митрофанъ Артемьичъ... когда же у насъ хлѣбъ былъ въ этатой цѣнѣ?—прервалъ его Никита Васильевичъ.

— Случалось, милый... што ты...

— Я девять лѣтъ живу здѣсь... не слыхалъ о такой цѣнѣ!

— Оно чего говорить... точно... за послѣдни-то года Господь взыскалъ урожаемъ... Оглянулся, говорю, на насъ Творецъ-то небесный. Поспалъ хлѣбецъ въ цѣнѣ-то, — говорилъ онъ какимъ-то особенно мягкимъ голосомъ, избѣгая взглядовъ Никиты Васильевича.

— По-чемъ же ты цѣнишь пудовку того хлѣба, что далъ Абышу?—снова спросилъ я Сысоева.

— Какъ ты его, милостивецъ, на цѣну-то будешь класть?.. Мы все подъ работу даемъ,—отвѣтилъ онъ.

— Ну, еслибъ ты продалъ его, то сколько бы взялъ за пудовку?

— Да што, сударь... пустой это разговоръ!.. Цѣну мы кладемъ... глядя тоже, кто покупаетъ!—снова уклончиво отвѣтилъ онъ.

Я распорядился, чтобы всѣ крестьяне и инородцы, имѣвшіе до меня дѣло, вошли въ комнату. Минуту спустя, они, одинъ за другимъ, входили въ дверь. Крестьяне и крещеные инородцы, войдя въ комнату, прежде всего крестились и потомъ уже кланялись мнѣ, привѣтствуя: „доброе здоровье твоей милости!“ или „ночевалъ здорово, батюшка!“ и т. п. Некрещеные же инородцы, входя, только кланялись и старались стать въ сторонѣ, поодаль отъ другихъ.

— Скажите-ка вы мнѣ по правдѣ, — обратился я къ крестьянамъ: — по-чемъ продавали вы въ прошлую зиму пудовку ржаной муки?..

При этомъ вопросѣ крестьяне и инородцы молча переглянулись между собою.

— Ржаной то муки пудовку по-чемъ продавали? — повторилъ одинъ изъ крестьянъ, сѣдой уже старикъ, въ большихъ, сѣрыхъ глазахъ котораго отражались и добродушіе, и искренность, внушавшіе къ нему невольное почтеніе и довѣріе.—Да по-чемъ продавали-то?—повторилъ онъ, поглядѣвъ вокругъ себя: — десять-то копеекъ красная цѣна была!..

— Де-е-есять,—повторилъ Сысоевъ, искоса посмотрѣвъ на него.

— Ай дороже, скажешь, а?—спросилъ у него старикъ.—Да я первой двадцать три пудовки по десяти копекъ продалъ тому... вонъ... какъ онъ ужо... дай Богъ память... ну-у... вытряхнуло изъ ума-то,—говорилъ онъ, почесывая затылокъ,—Филоху... Моркелычу... вспомнилъ... Прикащикъ онъ изъ Бійска...

— И путную цѣну взялъ... А то и по девяти сбывали! — пронеслось въ толпѣ.

— Путную... И я-то говорю... дороже десяти цѣны не слыхивали...—отвѣтилъ старикъ.

— У насъ на хлѣбцѣ-то, сударь, не расторгуешься,—бойко произнесъ молодой парень:—де-е-ешевъ... ѣшь на здоровье... Въ урожайто когда... не хошь-ли по шести копеекъ пудовку.

— И отдашь!..

— Гноить не будешь... особливо, какъ подушна-то подкатитъ.

— А много ли вы платили въ жнитво поденщику?—спросилъ я, прерывая поднявшійся между ними говоръ.

— Не случалось намъ, кормилецъ, нанимать-то,—отвѣтилъ старикъ.—Сами мы энтимъ дѣломъ орудуемъ... Это, вотъ, богатый кто... што сѣетъ-то по-многу... ну, тотъ о работникѣ-то плачется... въ ину пору...

— Ужъ менѣ-то семи рублевъ за денекъ не наймешь... Да и все удовольствіе еще предоставишь!—отвѣтилъ тотъ же парень.

— Глядя по году плата-то, сударь... Въ ино время, какъ хлѣбъ-то поспѣетъ... да начнетъ осыпаться... такъ и восемь дашь, и восемь съ полтинкой, и то не всякій-то бросится...

— Семь рублевъ безъ обиды давай!—отвѣтилъ парень.

— Семь рублевъ... на полномъ твоемъ удовольствіи... штобы, значитъ... и горячее, и угощенье .. пожалуй, што обиды не будетъ...—отвѣтилъ старикъ. — Ужъ путный хозяинъ, извѣстно... обиды не положитъ работнику... удовольствуетъ его... Ему-жъ веселѣй глядѣть, какъ богоданные-то снопики... расти почнутъ...

Все время, пока шелъ разговоръ между мною и крестьянами, Сысоевъ улыбался, поглаживая усы и бороду и искоса, пытливо поглядывалъ на меня. Абышъ же стоялъ неподвижно и совершенно безучастно слушалъ, о чемъ около него говорятъ.

— Слушай, Абышъ,—началъ я, обратившись къ нему:—ты бралъ у Митрофана Сысоева четыре пудовки хлѣба съ обязательствомъ отработать ему этотъ хлѣбъ, когда придетъ жнитво, четыре дня...

— Отроблю батюшка... И... и пошто онъ только жаловался... Богъ его... Микола... знаетъ...

— Для того же, чтобъ это дѣло было вѣрнѣе... я далъ башлыку твоему предписаніе... чтобъ онъ выслалъ тебя въ Атаманову, когда подойдетъ рабочая пора...

— Не пиши... самъ приду!..

— Спасибо тебѣ, милостивецъ! — произнесъ обрадованный Сысоевъ, кланяясь.—Дай тебѣ Господи... за твою правду... Я ужо самъ гумашку-то свезу... Миколаю Кульчуганычу... Оно вѣрнѣй будетъ дѣло-то.

— Хорошо, отвези!—отвѣтилъ я.

— Сегодня же сбѣгаю... по твоей-то гумагѣ... Миколай-то его поверне-е-етъ...

— Ну, затѣмъ ты, Сысоевъ, слушай!—прервалъ я.

— Говори, милостивецъ... Слышу... слышу... Дай тебѣ Господи...

— Пудовка муки стоитъ десять копеекъ...

— Десять?.. Да по што же десять-то?—удивленно прервалъ онъ.

— Сколько же, по-твоему, стоитъ она?

— Ужъ бѣдко, бѣдко двадцать-то копеекъ положить за нее надоть... Я... на обчество сошлюсь... Пусть обчество подъ присягой покажетъ, каковъ у меня хлѣбъ-то: ядреный, крупный, зерно къ зерну... не чета, какъ у другихъ! — говорилъ онъ, не обращая вниманія на смѣхъ и шопотъ окружающихъ.

— Ну... хорошо... пусть будетъ двадцать копеекъ, — отвѣтилъ я.—Такъ слушай же: за тѣ четыре дня, которые Абышъ отработаетъ у тебя, ты долженъ заплатить ему по семи рублей въ сутки...

— Заплати-и-ить!?.—удивительно протянулъ онъ.

— Да, заплатить двадцать восемь рублей; а за вычетомъ 80 копеекъ, что стоютъ четыре пудовки хлѣба, ты отдашь ему на руки двадцать семь рублей двадцать копеекъ... Понялъ?..

— Какъ не понять, понятно...—произнесъ онъ.

— Для того же, чтобъ ты не обманулъ его, а разсчиталъ какъ слѣдуетъ, я предпишу волостному старшинѣ наблюсти за тобой и, въ случаѣ твоего упорства, взыскать съ тебя эти деньги узаконеннымъ порядкомъ...

— Это ты по каковски же меня разсудилъ?—спросилъ Сысоевъ, отставивъ лѣвую ногу и заткнувъ пальцы обѣихъ рукъ за кушакъ.— Это ты за што же зоришь-то меня, а?.. Нѣ-ѣ-ѣтъ... ваше благородіе, у насъ этакъ-то не судятъ, не погнѣви... Мы за энту обиду и до превысшей власти дойдемъ!.. Я же ему, теперича, хлѣбъ давалъ, можетъ отъ смертнаго часу его спасъ... за то, штобъ онъ отробилъ мнѣ энтотъ хлѣбъ... да я же и плати ему за работу? Нѣ-ѣ-ѣтъ, этакъ-то милосердствовать, ваше благородье, не доводится... Ужъ денегъ ему отъ меня не видать... не погнѣви!..

— Что же, ты не заплатишь ему?..

— И ни въ жизть... Это, чтобъ лиходѣемъ себѣ быть... да избави Господи!..

— Есть у тебя, Абышъ, 80 копеекъ, чтобъ отдать ему?..

— Нѣтъ... Весь вотъ тутъ, бачка! — тоскливо отвѣтилъ онъ, разведя руками.

— Это можно изъ волостныхъ суммъ, сударь, выдать... а потомъ, при взиманіи ясака, получить съ него! — вмѣшался Никита Васильевичъ.

— Ну, Сысоевъ, ты получишь 80 копеекъ, и болѣе не имѣешь права требовать, чтобъ Абышъ работалъ на тебя. А ты, Абышъ, не являйся къ нему на работу, твой долгъ уплотятъ!..

Абышъ вышелъ изъ комнаты, продолжая кланяться даже и за порогомъ. На исхудаломъ лицѣ его выражалась радость, въ глазахъ искрились слезы... И долго еще со двора мнѣ слышался голосъ Сысоева:

„Нѣ-ѣтъ... съ этакимъ судомъ долго не проживе-е-ешь!.. Пущать тоже по міру нашего брата не доводится... Мы и до губернатора дорогу найдемъ... мы, коли што, и самолично...“

— И ндравный же мужикъ!..—пронеслось среди усмѣхнувшихся крестьянъ.

— Обсуди, батюшка, теперича мое дѣло, коли время то терпитъ тебѣ... Ужъ очень бы въ обидѣ-то намъ не хотѣлось оставаться, — заговорилъ, выдвигаясь изъ толпы, пожилой крестьянинъ, одѣтый весьма бѣдно: въ смурый зипунъ съ холщевыми заплатами на рукавахъ и груди. Широкое лицо его, обрамленное окладистою бородой, въ которой пробивалась уже густая сѣдина, имѣло весьма степенный видъ: сѣрые глаза смотрѣли наблюдательно изъ-подъ густыхъ, русыхъ бровей, и когда онъ говорилъ, то исподлобья оглядывалъ слушателя, какъ бы повѣряя впечатлѣніе, производимое его словами.—Пасѣку я держу, пчелками кормлюсь,—продолжалъ онъ.—И рѣдкій годъ, батюшка, выдастся, чтобы пчелы у меня въ Чернь не слетали... Ужъ какъ начнутъ роиться по веснѣ... такъ какъ караулю ихъ... во всѣ-то глаза гляжу... нѣтъ... все роя два-три, а то, пособи Богъ, и болѣ... улетятъ въ Чернь... Въ ину пору выслѣдишь ихъ, гдѣ онѣ оснуются, а въ ино время и слѣда ихняго не найдешь... Въ прошлую весну два роя слетѣли... ну, нашелъ ихъ въ валежнѣ, никакъ пудовъ до семи медку-то въ дупло... въ дерево наносили. И нынѣ роекъ слетѣлъ, также я выслѣдилъ его и мѣстечко запримѣтилъ, гдѣ онъ основался. Крутень... горка этакая есть: въ Крутени, въ дупло также натаскали меду. Все караулилъ: придетъ, молъ, пора, выну медъ и воскъ. А прихожу нонѣ вырѣзывать, гляжу: ужъ все пусто, все вычищено. Сначала—то было въ умъ мнѣ впало, что медвѣдь позорилъ. Ну, опосля того, все-таки, началъ татаръ поспрашивать. Татары-то и сказали мнѣ, что въ Крутени-то Кимыкъ, говоритъ, нашелъ медъ... никакъ пудовъ пять будетъ. Я къ Кимыку кинулся... спрашиваю его: нашелъ медъ въ Крутени? Нашелъ, говоритъ!.. Это, говорю, мой медъ... потому, говорю, моя пчела отлетѣла, я все лѣто сторожилъ его—отдай мнѣ этотъ медъ... У тебя, говоритъ, вездѣ твои пчелы летаютъ: кто бы гдѣ ни нашелъ, все твой медъ... Такъ и не отдаетъ. Принудь его, батюшка, отдать мнѣ мое добро!—закончилъ онъ, поклонившись.

— А гдѣ же этотъ Кимыкъ?—спросилъ я.

— Здѣсь!.. Гдѣ? Онъ вышелъ, никакъ? — спросилъ онъ, оглянувшись.

— Кимыкъ... подь сюда!—крикнулъ Никита Васильевичъ, отворивъ дверь.

Въ комнату вошелъ высокій, худощавый, но сильнаго сложенія инородецъ. Смуглое лицо его не носило того отпечатка униженности и покорности, какое выражалось въ лицѣ Абыша; оно было смѣло и энергично. Поклонившись мнѣ, онъ разставилъ ноги и, заткнувъ пальцы рукъ за ременный поясокъ, такъ же усаженный оловянными пуговками, какъ и у Абыша, спросилъ:—Чего изволишь отъ меня? Я Кимыкъ!

— Ты нашелъ въ Крутени медъ?—спросилъ я.

— Нашелъ...

— Вотъ этотъ крестьянинъ,—началъ я, указавъ ему на просителя,—говоритъ, что этотъ медъ наношенъ его пчелами, отлетѣвшими весною въ Чернь, и проситъ, чтобъ ты возвратилъ ему этотъ медъ.

— Ужъ ты, Максимъ Назарычъ, моего меду не отвѣдашь!..—съ ироніей произнесъ Кимыкъ, обратившись къ просителю... Охочъ ты до дарового-то медку... да вишь... я-то не простъ, не Намжилка... меня не одурачишь... Не отдамъ я ему медъ. ваше благородье,—произнесъ онъ, обратившись ко мнѣ,—у него и своего много. . Мой медъ не его пчела носила...

— А чья же? Ты знаешь развѣ?—спросилъ я.

— Божья...

— Хе... Божья! — повторилъ, усмѣхнувшись, Максимъ Назарычъ. — Ты вникни, Кимыкъ Балтанычъ, въ дѣло, а зря-то не говори. Это мои... пчелы... носили, мой роекъ!..

— Твои!.. Ты мѣтилъ ихъ, а?—спросилъ Кимыкъ.

— Ч-удакъ!.. Какъ же ты на Божью тварь мѣтку положишь... а-а? Въ умѣ ли ты?..

— Почемъ же ты знашь, коли такъ, что это твоя пчела?

— Вѣдь... я, поди, бѣжалъ за ройкомъ-то... видѣлъ. гдѣ онъ основался...

— Бѣжа-а-алъ!—протянулъ Кимыкъ.—А что-жъ ты не поймалъ его, а?.. Пошто другіе-то пасѣчники, коли слѣдятъ за роемъ да намѣтятъ, куда присядетъ матка... такъ сейчасъ сгребаютъ ее въ сѣть? А ты, вишь, какой простенькой, и шевелить ее не сталъ... пустилъ въ Чернь гулять... ой... ой!.. Нѣтъ, еслибъ ты свою-то пчелу увидѣлъ... такъ полсотни верстъ пробѣжалъ бы за ней, да дни и ночи надъ ней бы сиднемъ сидѣлъ, а не пустилъ бы безъ призору по Черни гулять... Знаю я тебя!.. Его пчела, вишь, носила въ Крутени медъ!—произнесъ онъ, обратившись къ окружающимъ.—Пошто ты, коли зналъ, что это твоя пчела,—не сидѣлъ надъ ней, не караулилъ ее?!.

— Не разорваться же мнѣ ради одного ройка... У меня, Кимыкъ Балтанычъ, пятьсотъ колодокъ пчелъ-то, есть за чѣмъ присмотрѣть... знай!

— Чѣмъ же ты докажешь, что найденный Кимыкомъ медъ дѣйствительно наношенъ твоими пчелами?—спросилъ я.

— Чѣмъ тутъ докажешь! — отвѣтилъ онъ.—Энти дѣла у насъ по совѣсти дѣлаются... Одно и скажу, что окромя моей пчелы, какой же другой наноситъ, коли я доподлинно знаю, что мой роекъ въ Крутень слетѣлъ да основался...

— Скажи мнѣ, пожалуйста, зачѣмъ ты, если выслѣдилъ, что твой рой пчелъ слетѣлъ въ Крутень и, какъ ты говоришь, основался тамъ, не предупредилъ объ этомъ въ то же время живущихъ по близости къ этой мѣстности татаръ... не заявилъ башлыку ихъ и своему старостѣ, что твои пчелы въ Крутени? Тогда бы у тебя были доказательства, что найденный въ этой мѣстности медъ, дѣйствительно, наношенъ твоими пчелами и принадлежитъ тебѣ. Отчего ты не сдѣлалъ этого?..

— Вишь вотъ грѣхъ-то!.. И въ умъ не впало... объявить-то!..— смѣшавшись, отвѣтилъ онъ.

— Не впало бы тебѣ въ умъ?!—насмѣшливо произнесъ Кимыкъ.— Охъ, Максимъ... не лукавь... не вводи въ сердце...

— О-о... какой строгій!.. Не вводи его въ сердце!—желчно отвѣтилъ Максимъ.—А ты не забывайся... предъ ликомъ то начальника, его высокоблагородія,—строго произнесъ онъ:—глупый... опамятуйся!..

— У Намжилки въ прошломъ году ты свой медъ отобралъ?— спросилъ его Кимыкъ.

— Свой.

— Сво-о-ой!.. Хошь, я тебя... обнаружу, а?..

— Обнаружу!..—повторилъ, усмѣхнувшись, Максимъ.—Чего ты обнаружишь-то... а?.. Чего ты стращашь... а?.. Обнаружу, говоритъ,— повторилъ онъ, обведя окружающихъ смѣющимся взглядомъ.—А чего обнаружишь, и самъ не знаешь... Чудакъ, право... Глупый, говорю, человѣкъ!.. О-обнаружу!..

— Я... Максимъ, смирно жилъ: не лѣзъ на тебя, — произнесъ Кимыкъ.

— Кто-бъ исшо допустилъ тебя... на себя-то залѣзти... Хе... ты бы... хоть... поприличнѣй слова-то выпущалъ предъ начальникомъ,— снова строго-внушительнымъ тономъ заговорилъ онъ.—А то еще стращашь... Обнаружу!.. Ну, что жъ замолчалъ?.. Обнаруживай!..

— Ваше благородье... ты Максиму не вѣрь: онъ плутъ!—горячо заговорилъ Кимыкъ, на лицѣ котораго выступила краска. Онъ ужъ который годъ обиратъ по Черни медъ у татаръ... Вѣрь... это вотъ какой плутъ!.. Слушай... Какъ придетъ, слышь, время... што наши татары пойдутъ на промыселъ въ Чернь... медъ... искать... онъ и поч-

нетъ по селамъ ѣздить, водкой татаръ поить да вывѣдывать: не нашелъ-ли кто изъ нашихъ меду... А тѣ, съ простоты-то да съпьяна, и сболтнутъ ему... што... вотъ хоть бы я, къ примѣру, Кимыкъ, нашолъ медъ. Онъ и приступитъ: гдѣ нашелъ? Въ Крутени, скажутъ ему... Вотъ онъ и привяжется, што... это его пчела слетѣла туда да наносила меду. Кричитъ: подай!.. Не правда... скажешь... а?..—спросилъ онъ Максима.

— Болтай... болтай... послушамъ, чего далѣ-то сболтнешь...

— Сболтну... я-то по правдѣ сболтну...

— Ну... ну... послушамъ... болтало-то, вѣдь... не привязано, хе...—насмѣшливо отвѣтилъ Максимъ.

— А кто упрется... слышь, ваше благородье... не станетъ ему медъ отдавать,—продолжалъ все болѣе и болѣе воодушевляясь Кимыкъ... такъ онъ чиновниками почнетъ... стращать... Просьбой отдай, говоритъ,—а то тебя въ городъ выпишутъ... на слѣдствіе... въ острогъ посадятъ... Глупый-то кто испужатся... да и отдастъ ему... только бы грѣха не нажить... Не правда... скажешь, Максимъ, а-а?.. Нажилку ты въ прошломъ году не стращалъ этакъ-то, а?..

— За свое кровное если стоять, такъ устращивать развѣ, а-а?..

— Кро-о вное!.. У тебя все кровное... А какъ ты мнѣ грозилъ чиновникомъ-то... ну-ко... скажи... а?..

— А хоша-бъ и грозилъ... што-жъ изъ эстаго, ну? И грозилъ!.. Вотъ мы предъ ликомъ его высокоблагородія стоимъ. Нѣшто худое чего сдѣлалъ я, а-а?.. Гдѣ-жъ на васъ, собакъ, суда-то искать... окромя начальства, а?.. Глупый ты человѣкъ, право, хошь бы говорилъ-то резонъ... а то мелетъ... мелетъ... О-обнаружу! А чего обнаружилъ-то: што чиновникомъ вашего брата припугивалъ, штобъ правды отъ васъ добиться... Обнаружилъ... хе...—смѣясь, заключилъ онъ. — Прикажите ему, ваше высокоблагородіе... отдать... мнѣ мой медъ... окажи милость...

— Нѣтъ, не прикажу,—отвѣтилъ я.

— О-о... пошто же такъ?—удивленно спросилъ онъ.

— Признаю твою претензію неосновательной. Представь доказательства или свидѣтелей, что найденный Кимыкомъ медъ дѣйствительно наношенъ твоими пчелами, и тогда я прикажу возвратить этотъ медъ тебѣ...

— Моими, батюшка, вѣрь совѣсти... на Бога сошлюсь, моими...

— А кто поручится, — скажи мнѣ, что черезъ часъ не придетъ еще кто-нибудь... и также скажетъ, что медъ въ Крутени былъ наношенъ его пчелами... и также на Бога сошлется и на совѣсть, кому же изъ васъ тогда я долженъ буду повѣрить, а?..

— Ишь вотъ промашку-то какую далъ! И то бы надоть въ то время старостѣ объявить да башлыку... Ишь... умъ-то, говорю, у насъ... завсегды задней заклепкой крѣпокъ, — говорилъ Максимъ, всхлопывая себя руками по бедрамъ. —А-ахъ, ты, горе какое, а?.. Такъ... ужъ не будетъ, батюшка, твоей милости ко мнѣ?—снова спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не будетъ, голубчикъ.

— А-ахъ, ты, горе-то, а?.. Ну, не погнѣви, что потрудилъ тебя своей докукой... Дай тебѣ, Господи, за доброе слово... что надоумилъ. Ужъ напредки, теперича, коли што, такъ ужъ мы свидѣтелей предоставимъ... Прости ужъ меня, Кимыкъ Балтанычъ, што побезпокоилъ тебя, — говорилъ онъ, съ христіанскимъ смиреніемъ кланяясь Кимыку:—владѣй моимъ медкомъ, кушай его на доброе здоровье...

— Съѣдимъ, Максимъ... съѣдимъ!..

— Кушай!.. Давай Богъ... чтобы... только въ прокъ пошелъ!.. А ты бы, ваше высокоблагородіе... хоша бы на половинкѣ помирилъ насъ... Яви милость!..—снова обратился онъ ко мнѣ.—Бѣдко вѣдь... мнѣ... право, бѣдко...

— Не могу и этого сдѣлать... не проси! .

— Не можешь! Эко ты, дѣло-то, а?.. Задаромъ только съѣздилъ, день потерялъ... Ну, прости, коли такъ... А на половинкѣ-то помирить все бы, слышь, безобиднѣй было: по крайней мѣрѣ, зналъ бы, што не даромъ съѣздилъ... Право... Яви-ко милость!.. — кланяясь, заключилъ онъ.

Получивъ отказъ на свое ходатайство, Максимъ Назарычъ отошелъ къ дверямъ и долго топтался на одномъ мѣстѣ, то почесывая затылокъ, то выражая втихомолку окружающимъ свои сѣтованія, что напрасно потерялъ время. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ купилъ спорный медъ и воскъ у Кимыка за три пудовки ячменя и десять фунтовъ табаку. Одинаково помирились послѣ моего разбирательства и Абышъ съ Митрофаномъ Сысоевымъ. Мировая состоялась на томъ, что Абышъ отработалъ Сысоеву пять дней, а Сысоевъ обѣщалъ снабдить его за то хлѣбомъ осенью и зимой.

Остальные крестьяне и инородцы были собраны для разбирательства дѣла, начавшагося по жалобѣ инородца Кучука Самкоева на крестьянина Ивана Степнова, который, будто бы, по ненависти къ Самкоеву, убилъ его лошадь. По разбирательству дѣла оказалось, что лошадь у Самкоева пала въ полѣ, и онъ, въ отмщеніе Степнову, бывшему однажды свидѣтелемъ по обвиненію Самкоева въ воровствѣ, нарочно ночью разрубилъ у мертвой лошади топоромъ животъ, а на другой день заявилъ башлыку, что лошадь его зарублена, и башлыкъ вошелъ

съ рапортомъ по начальству о преступленіи, совершенномъ, будто бы, Степновымъ.

Едва я окончилъ разбирательство этого дѣла, длившееся почти до часу и нуждавшееся еще въ оформленіи его обычнымъ слѣдственнымъ порядкомъ, какъ къ воротамъ подъѣхалъ на рессорныхъ пролеткахъ, заложенныхъ парою прекрасныхъ гнѣдыхъ лошадей въ дышло, плотный мужчина въ пуховой шляпѣ и въ свѣтло-коричневой, тонкаго сукна, шинели. Только-что послышался стукъ рессорнаго экипажа, какъ среди крестьянъ и инородцевъ пронесся шопотъ: „Назаръ Степанычъ пріѣхалъ!“ Никита Васильевичъ, все время стоявшій у косяка двери, при этомъ извѣстіи скрылся изъ комнаты, а крестьяне и инородцы, толпившіеся у двери, разступились, очищая путь такой вліятельной особѣ. Признаюсь, я съ любопытствомъ ожидалъ появленія этого замѣчательнаго въ своемъ родѣ субъекта. Послѣ освященія построенной имъ церкви, онъ задалъ богатый обѣдъ для приглашенныхъ въ церемоніи уѣздныхъ властей, напился пьянъ, разругалъ всѣхъ гостей, многихъ изъ нихъ вытолкалъ изъ своего дома, прибилъ протоіерея, святившаго церковь, и выражалъ подозрѣніе, что сановитые гости скрали у него серебряныя ложки и другую цѣнную посуду... Нанесенныя имъ оскорбленія грозили принять серьезный оборотъ, но дѣло замяли, благодаря повинной, принесенной Назаромъ Степановичемъ.

Спустя минуту, дверь распахнулась, и въ комнату вошелъ Назаръ Степановичъ, гордо оглянувъ и не удостоивъ поклономъ униженно кланявшихся ему крестьянъ и инородцевъ. Это былъ человѣкъ средняго роста, полный, съ широкимъ лицомъ, украшеннымъ узенькими глазами, сплюснутымъ носомъ и толстыми губами. Подбородокъ и усы его были тщательно выбриты. Черные, какъ смоль, волосы раздѣлены были проборомъ по серединѣ головы и расчесаны на двое. Одѣтъ онъ былъ въ черный, длиннополый, тонкаго сукна, сюртукъ и необыкновенно широкія брюки, закрывавшія носки лакированныхъ, сильно скрипѣвшихъ сапоговъ. На шеѣ его красовалась золотая медаль на анненской лентѣ, по глухому жилету малиноваго бархата съ золочеными пуговицами тянулась массивная золотая цѣпь отъ часовъ; коротенькіе, толстые пальцы были усажены золотыми перстнями и кольцами.

— Слышу, что новый начальникъ удостоилъ пріѣхать къ намъ... Ну, милости просимъ... Дай, говорю, поѣду, честь ему сдѣлаю... Здравствовать желаю вашему благородію, — развязно-фамильярнымъ тономъ произнесъ Назаръ Степанычъ, подходя ко мнѣ и подавая руку.— Знаешь, поди, кто я?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не знаю...

— Купецъ второй гильдіи Назаръ Степанычъ Куртегешовъ! — съ достоинствомъ отрекомендовался онъ.

— Очень пріятно. Садитесь!—пригласилъ я.

— Сядемъ, сядемъ! — отвѣтилъ онъ, приподнимая сзади полы сюртука и усаживаясь на стулъ.—Зачѣмъ же ты, ваше благородье, ко мнѣ не присталъ, а?.. — спросилъ онъ. — У меня домъ-то почище; у меня, братъ, небель-то бархатомъ околочена... девять комнатъ въ домѣ-то: было бы тебѣ гдѣ разгуляться... Назара, братъ, всѣ знаютъ... всѣ чтятъ, всѣ къ нему идутъ, а ты обошелъ... Ты спроси-ко, вотъ, у кого хошь... что за человѣкъ Назаръ... а?

— Я уже слышалъ...

— Слышалъ... а-а?.. Ну, зачѣмъ же не пришелъ ко мнѣ, коли слышалъ, а-а?..—спросилъ онъ, насупивъ свои густыя, черныя брови.

— Мнѣ и здѣсь хорошо...

— Хорошо... а-а?... Ну... у меня бы лучше было, лучше... Ну, какъ поживаешь?.. Нравится ли тебѣ у насъ?.. Чего въ городѣ слышно?—спрашивалъ онъ.—Про губернатора не слыхалъ, пріѣдетъ къ намъ или нѣтъ, а?..

— Не слыхалъ...

— Пріятели мы...

— Съ кѣмъ?..

— Съ губернаторомъ-то!.. Бо-о-ольшіе пріятели... чтитъ онъ меня...

— За что же?..

— Человѣка цѣнитъ, умъ!—гордо отвѣтилъ онъ... — Я, когда въ Томскѣ бываю... завсегда къ нему легкой ногой иду... „Какъ, говоритъ, ты, Назарка, поживаешь?“.. Назаркой зоветъ онъ меня... Хе... хе... До-о-обрый генералъ... по плечу треплетъ... Живу, говорю, ваше превосходительство... „Ну, ну... живи, говоритъ, Назарка... Живи, живи“. Бо-о-ольшіе пріятели... Я, братъ, со всѣми чиновниками пріятель... И ты будь мнѣ пріятель...

— Благодарю за честь...

— Будь, будь... Со мной хорошо, братъ, въ дружбѣ жить...

— Чѣмъ же хорошо?—полюбопытствовалъ я.

— Коли ты другъ мнѣ, все дѣлашь для меня то, чего тебѣ только надо... легкой ногой иди ко мнѣ... все дамъ тебѣ... отказу не будетъ... У Назара все есть... и шкурки, какой только надо, дамъ... и денегъ... и меду... Слышалъ?.. Все дамъ...

— Слышу...

— Легкой поступью иди... Скажи только: Назаръ Степанычъ, дай мнѣ денегъ... снабди... Сейчасъ дамъ!

— Вы, что же... всѣмъ, кто ни попроситъ, даете денегъ?..

— Всѣмъ!.. Поѣдемъ ко мнѣ.

— Благодарю, мнѣ некогда!..

— Поѣдемъ!.. Угощу... Я тебѣ шкатулку покажу... такой погребчикъ у меня есть, гдѣ... вотъ какая... охапка векселей лежитъ,— произнесъ онъ, разведя руки на четверть аршина: — всѣ отъ чиновниковъ... Вотъ я какой человѣкъ. Понимаешь теперь меня... а-а?..

— Понимаю...

— Худой я человѣкъ... а-а?.. Какъ скажешь, а-а?

— Не знаю...

— Не знаешь?.. Ну, узнай... Поѣдемъ ко мнѣ... Рому выпьемъ, въ дружбу войдемъ... У меня въ дому-то все есть... и кофе... и конфета всякая... и закуска, и вино... все есть... Поѣдемъ...

— Не могу...

— Я зову... поѣдемъ... Будешь доволенъ!.. Церковь... погляди, что построилъ я!.. Бабу мою увидишь!

— Очень бы радъ, но не могу, некогда,—отговаривался я.

— Не хочешь, Назаромъ брезгуешь, а?—обидчиво спросилъ онъ.

— Не ѣду, просто, потому, что мнѣ некогда: у меня много дѣла и мнѣ дорого время.

— Я тебѣ честь сдѣлалъ... и ты мнѣ честь отдай... Понимаешь? Такъ всѣ господа дѣлаютъ,—замѣтилъ онъ.

— Понимаю!... Я и отдамъ вамъ честь... только не теперь, а въ другое, болѣе свободное время... Теперь же не могу: мнѣ некогда.

— На тебѣ... какой чинъ? — неожиданно спросилъ онъ, снова насупивъ свои брови.

Я сказалъ ему.

— Э... э... Ты еще молодой парень, шибко молодой... Совсѣмъ еще маленькой на тебѣ чинъ,—сказалъ онъ, покачавъ головой,—а ты ужъ ндравный... А ты бы посмирнѣе жилъ, чтилъ бы людей... и тебѣ бы хорошо было!.. Меня, братъ, статскіе совѣтники чтятъ, и генералы чтятъ, и полковники... Къ кому я только пріѣду въ гости, сейчасъ вина подаютъ... конфеты всякой... за-акуски... „Ѣшь, говорятъ, Назаръ Степанычъ“. Въ передній уголъ садятъ. А ты спѣ-ѣсивъ, не по чину спѣсивъ!..

— Это ужъ мое дѣло!.. Теперь я попрошу васъ: избавьте меня отъ вашихъ нравоученій...

— Спѣ-ѣсивъ ты, ваше благородье, спѣсивъ... Ну... ну... ссориться на первый разъ не буду съ тобой... Суди... суди... народъ... Суди!.. Мо-о-шенникъ нынче сталъ нашъ инородецъ... Я, вѣдь, тоже

инородецъ, да я хорошій инородецъ... Я въ Бога, какъ слѣдуетъ, вѣрую... совсѣмъ, какъ русскій человѣкъ. Церковь я построилъ на свои деньги... Вишь, вотъ медаль отъ батюшки Царя имѣю... съ портретомъ... Вотъ я какой инородецъ, знай!.. А тѣ... всѣ... худой народъ... ху-у-дой...—протянулъ онъ, качая головою.

— Чѣмъ же худой?

— Вретъ все, обманываетъ, въ Бога худо вѣритъ!.. Я исшо въ рукахъ ихъ держу, не даю имъ шибко-то баловать, а то бы совсѣмъ онъ Бога забылъ... Я и церковь имъ построилъ, штобъ онъ настоящаго Бога зналъ!.. Назаръ имъ много добра дѣлаетъ... Назаръ имъ отецъ... Назаръ одинъ на всю Чернь... Вотъ каковъ Назаръ... Не будь Назара, всплачутъ... У тебя тутъ есть дѣльце, ваше благородье,— неожиданно началъ онъ: — дѣвка дѣвку ножомъ портила, глотку порола.

— Есть,—отвѣтилъ я.

— Суди полегче дѣвку-то што, ножомъ-то порола... Съ родни она мнѣ будетъ!.. Легче будешь судить, другъ мнѣ будешь; а не будешь легче судить, осержусь... Хе... хе... Ну, ты добрый, я вѣдь вижу, што ты добрый... Мы тоже людей мало-мало знамъ... Спѣ-ѣсивъ только маленько... Поѣдемъ, слышь, ко мнѣ, а?.. Собольковъ на воротникъ къ шубѣ подарю... А въ милость войдешь ко мнѣ, и всю шубу подарю... Ѣзжай... Слушай Назара... а?—говорилъ онъ, вставая.

— Не могу...

— Спѣ-ѣсивъ... Спѣ-ѣсивъ!.. Ну, ну... не ѣзди, принуждать не стану. Самъ послѣ спокаешься!.. Кто къ Назару добръ, и Назаръ къ тому добръ... Ты спроси-ко своихъ чиновниковъ, довольны ли они Назаромъ Степанычемъ, всѣ екажутъ— довольны... Баба у тебя есть?.. Женатый?..

— Холостой...

— Э... э... Ну, это худо дѣло... Какъ же ты живешь безъ бабы, а?.. Безъ бабы жить нельзя... Женись!.. Вотъ какъ бы баба у тебя была, я-бъ и бабѣ твоей чернобуренькую лисичку на воротникъ подарилъ. Ну... прощай, ваше благородье... Не обезсудь Назара Степаныча,— говорилъ онъ, такъ же фамильярно протягивая мнѣ руку на прощаньи.—Одумаешься—пріѣзжай, будешь доволенъ... Можетъ и шубу подарю, коли въ добрый часъ пріѣдешь...

Визитъ этого финансиста произвелъ на меня тяжелое впечатлѣніе... Мнѣ было смѣшно отъ его глупой кичливости и хвастовства своими связями и богатствомъ, и въ то же время больно; больно оттого, что въ хвастовствѣ его было много правды. Его, дѣйствительно, какъ

говорилъ онъ, „чтили“ ради тѣхъ подарковъ, какіе дѣлалъ онъ за оказываемую ему честь. Собираясь объѣхать всѣ аилы и улусы, разбросанные въ горахъ Алтая, я имѣлъ намѣреніе, кромѣ ближайшаго знакомства съ бытомъ инородцевъ, прослѣдить вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ подвиги Назара Степановича и подобныхъ ему героевъ нашего времени. Но порученіе, возложенное на меня по случаю проѣзда одной, весьма важной, особы, а затѣмъ и выходъ мой въ отставку лишили меня возможности осуществить это намѣреніе.

Въ тотъ же вечеръ я покинулъ О—ій улусъ. Я долго, долго не могъ оторвать глазъ отъ окружающей его картины... Я какъ будто предчувствовалъ, что вижу ее въ послѣдній разъ... Мнѣ стало грустно, глядя на снѣговыя вершины Алтая, клубившіяся на горизонтѣ. Объѣхать эти горы, поражающія своимъ дикимъ величіемъ, изучить бытъ населяющихъ Алтай племенъ было завѣтною мечтой моей, къ несчастію не осуществившейся. На Архіерейской горѣ я простился съ провожавшимъ меня Никитой Васильевичемъ и болѣе уже не встрѣчался съ нимъ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ окончилъ свою карьеру весьма печально. Его заподозрили въ составленіи анонимнаго письма къ какой-то особѣ, въ которомъ обнаружены были всѣ темныя стороны мѣстныхъ порядковъ, и, какъ человѣка неблагонадежнаго, имѣющаго будто бы дурное вліяніе на инородцевъ—выселили изъ улуса. Распоряженіе это разорило его. Онъ продалъ пасѣку, хозяйство и померъ въ 1874 году, въ крайней бѣдности. Услышавъ о разразившейся надъ нимъ катастрофѣ, я невольно вспомнилъ слова его: „Долго-ль смять меня и раздавить, какъ червя!“

КРЕСТЬЯНСКІЕ ВЫБОРЫ.

Въ к... уѣздѣ не нашлось бы человѣка, не знавшаго крестьянина деревни Ш...ъ Данилы Ираклiевича Безсомыкина или „Ераныча“, какъ называли его крестьяне, съ трудомъ выговаривающіе мудреныя имена. Извѣстностью Данила Ираклiевичъ пользовался благодаря своему состоянію, которое измѣрялось народною молвой десятками тысячъ. Онъ имѣлъ обширныя пасѣки, разведенныя въ горахъ, заросшихъ лѣсомъ, и въ лугахъ, мукомольную мельницу и воскобойню, въ которую со всѣхъ концовъ уѣзда крестьяне свозили воскъ для выдѣлки. Велъ онъ торговлю хлѣбомъ, доставляя его на винокуренные заводы и золотые пріиски; на послѣдніе онъ поставлялъ и мясо битаго скота. Доморощенные кони Данилы Ираклiевича славились даже за предѣлами губерніи. И что это были за кони! Рослые, статные, сильные и большею частью, какъ на подборъ, гнѣдой масти. Они не даромъ составляли его гордость. Двухъэтажный, обшитый тесомъ домъ, съ обширными вокругъ него пристройками, напоминалъ скорѣе домъ богатаго купца, живущаго по старинѣ, чѣмъ крестьянскій. Стѣны внутри его были оклеены обоями и увѣшаны портретами героевъ крымской кампаніи и изображеніями тѣхъ „Мальвинъ“ и „Аделей“ съ соблазнительными формами, которыя составляютъ неизмѣнное украшеніе станціонныхъ домовъ и квартиръ холостыхъ чиновниковъ, получающихъ содержаніе не свыше 300 руб. въ годъ. Мягкіе, обитые ситцемъ стулья, ломберные столы и простѣночныя зеркала, въ потускнѣвшихъ отъ времени золоченыхъ рамахъ, дополняли домашнюю обстановку Данилы Ираклiевича. Крестьяне, смотрѣвшіе на Данилу Ираклiевича, какъ на человѣка, стоявшаго выше ихъ среды, привыкли и относиться къ нему не какъ къ равному лицу, а скорѣе, какъ къ своему помѣщику. Проходя мимо его дома, каждый изъ нихъ считалъ обязанностью снять шапку, хотя въ окнахъ его рѣдко можно было видѣть кого-либо изъ обитателей. Посидѣть въ избѣ Данилы Ираклiевича (такъ какъ комнаты предназначались только для начальствующихъ лицъ, которымъ постоянно и отводились въ домѣ его квартиры, для

другихъ же онѣ были закрыты), выпить поданный имъ своеручно стаканъ жиденькаго чая, а въ праздникъ густого медоваго пива—считалось за честь, выше которой они ничего не знали. И какъ же иначе они могли относиться къ нему, когда въ виду ихъ толстую съ коротенькими пальцами руку Данилы Иракліевича пожимали и исправникъ, и мировой посредникъ, за-просто заѣзжавшіе къ нему въ гости,—лица, къ которымъ каждый крестьянинъ подходилъ съ просьбой не иначе, какъ крестясь и мысленно творя молитву; и тутъ же, въ ихъ виду, сановникъ, проѣзжавшій на ревизію, предъ которымъ, въ свою очередь, и исправникъ, и мировой посредникъ стояли на вытяжку, подалъ Данилѣ Иракліевичу руку, благодаря его за гостепріимство.

Человѣкъ онъ былъ степенныхъ лѣтъ, небольшого роста, еще болѣе скрадываемаго толщиною, придававшею его тѣлу овальную форму. Въ тяжелой развалистой походкѣ его отражалась самоувѣренность человѣка, привыкшаго относиться къ себѣ съ сознаніемъ собственнаго достоинства, хотя наружность его не носила на себѣ печати этого достоинства. Она была мелка, если можно такъ выразиться. Сплюснутый лобъ не обѣщалъ особеннаго ума, широкая же и выдавшаяся впередъ нижняя челюсть выказывала основную черту характера—упрямство, соединенное съ лукавствомъ, свѣтившимся въ его живыхъ сѣрыхъ глазкахъ, бойко сверкавшихъ въ узенькихъ орбитахъ. Какъ и большинство ограниченныхъ людей, Данила Иракліевичъ былъ сильно упрямъ и въ то же время самолюбивъ, такъ что, несмотря на свою скупость, готовъ былъ принести какія угодно жертвы для удовлетворенія своего тщеславнаго самолюбія. Отъ вліянія приближающейся старости онъ жилъ, по собственному выраженію его, на „спокоѣ“, т. е. предоставивъ веденіе хозяйства по дому, воскобойнѣ и мельницѣ своему племяннику, тихому и безотвѣтному человѣку; остальными же торговыми операціями и сдѣлками у него заправлялъ однодеревенецъ его Трофимъ Кирилловичъ Шебалинъ.

Говоря о Данилѣ Иракліевичѣ, нельзя не остановиться и на Трофимѣ Кирилловичѣ. Они составляли одно цѣлое, нераздѣльное, при всей противоположности ихъ характеровъ и общественнаго положенія. Трофимъ Кирилловичъ не наслѣдовалъ, какъ Данила Иракліевичъ, своего состоянія отъ родителей, а провелъ свое сиротливое дѣтство и молодость въ городѣ. сначала въ качествѣ служки, а потомъ прикащика, что дало ему возможность, по возвращеніи на родину, заняться самостоятельнымъ дѣломъ. Онъ такъ же, какъ и Данила Иракліевичъ, торговалъ хлѣбомъ, воскомъ, медомъ, скупалъ у крестьянъ ленъ и шкуры, но торговля его шла далеко не въ тѣхъ размѣрахъ, какъ у

перваго, да и средства его были очень ограничены. У каждаго ловкаго человѣка, опытомъ пріобрѣтающаго житейскую мудрость и задавшагося цѣлью составить себѣ финансовую или служебную карьеру, всегда есть много услужливой и дальновидной вкрадчивости; въ совершенствѣ обладалъ ею и Трофимъ Кирилловичъ. Хитрый и пронырливый, онъ въ то же время умѣлъ казаться простодушнымъ и довѣрчивымъ. Уступалъ во всемъ людямъ болѣе его зажиточнымъ, часто въ ущербъ своимъ интересамъ, чтобы только не потерять ихъ довѣрія и упрочить за собою мнѣніе о своей простотѣ. Къ людямъ бѣднымъ онъ относился съ радушіемъ и участіемъ, при случаѣ наверстывая на нихъ свою уступчивость богатымъ, но наверстывалъ такъ, что бѣднякъ всегда считалъ себя одолженнымъ и искренно былъ признателенъ ему. Если бы кто спросилъ у крестьянъ у—й волости мнѣнія о Трофимѣ Кирилловичѣ, то навѣрное бы получилъ въ отвѣтъ: „мужикъ, што говорить, душа!“ Благодаря неусыпной хлопотливости, дѣла Трофима Кирилловича годъ отъ году шли лучше и лучше, но онъ тщательно скрывалъ это, жилъ бѣдно, ѣздилъ всегда на одной лошади въ телѣжкѣ-качалкѣ; костюмъ его никогда не отличался щеголеватостью, напротивъ, былъ простъ и даже убогъ: на немъ нерѣдко можно было видѣть и прорванные, но починенные бродни, и усѣянный заплатами зипунъ. Въ общественныя дѣла онъ, какъ и Данила Иракліевичъ, не вмѣшивался и держалъ себя въ сторонѣ, но въ дѣйствительности всегда чутко прислушивался ко всему, что говорилось по волости, и зорко слѣдилъ за дѣйствіями и сельскихъ старостъ, и волостныхъ чиновъ. Когда спрашивали его мнѣнія о какой-нибудь надбавкѣ сверхъ положеннаго оклада при сборѣ податей, онъ или молчалъ, или давалъ уклончивый отвѣтъ: „не мое-де это дѣло!“ Но втихомолку предъ людьми *надежными* онъ порицалъ образъ дѣйствій и волостныхъ чиновъ, и мирового посредника, и земскихъ властей. Отъ надежныхъ людей подобныя мнѣнія его, какъ водится въ этихъ случаяхъ, разносились по волости; подъ вліяніемъ ихъ крестьяне тоже втихомолку поговаривали: „не гляди, што Шеболинъ-то тихоня мужикъ, а душа-а!“ Въ тѣхъ же случаяхъ, когда мѣры и претензіи властей вызывали общее неудовольствіе, готовое перейти въ ропотъ и неповиновеніе, Трофимъ Кирилловичъ открыто сдерживалъ недовольныхъ, логично выясняя имъ всѣ послѣдствія, какія выйдутъ отъ того и всею силою обрушаются на нихъ же. Это съ наилучшей стороны рекомендовало его во мнѣніи мѣстныхъ властей, и крестьяне, хладнокровно вдумавшіеся въ истину: „что плетью обуха не перешибешь“, снова говорили о немъ: „поди-ко, мужикъ-то тихоня, простота, а ума—што въ писаной книгѣ!“ Отзывы

эти не могли не доходить до Трофима Кирилловича, но онъ относился къ нимъ болѣе чѣмъ равнодушно. Онъ не принадлежалъ къ разряду людей, мелочное самолюбіе которыхъ удовлетворяется лестнымъ словомъ: задача его жизни, его планы шли далѣе этого.

Съ перваго же времени переселенія въ деревню, онъ сталъ сближаться съ Данилой Иракліевичемъ, прибѣгая къ нему за совѣтами, какъ къ человѣку умному, опытному, давая чувствовать ему во всемъ превосходство надъ собой, и въ короткое время, благодаря умѣнью дѣйствовать на слабыя стороны его характера, пріобрѣлъ къ себѣ полное расположеніе его и довѣріе; оно простиралось до того, что Данила Иракліевичъ ввѣрялъ ему на руки тысячи, безконтрольно относясь къ его отчетамъ. И нужно отдать справедливость Трофиму Кирилловичу: онъ не злоупотреблялъ его довѣріемъ, не изъ честности или привязанности къ нему, нѣтъ,—эгоистическія натуры неспособны привязываться ни къ чему, кромѣ своей цѣли. Онѣ заискиваютъ въ людяхъ, дорожатъ ихъ расположеніемъ и довѣріемъ только во время надобности въ нихъ, и какъ только надобность миновала, онѣ сейчасъ же готовы отвернуться отъ человѣка, которому наканунѣ пожимали руку, увѣряя въ искренности своихъ отношеній. Во имя своей цѣли Трофимъ Кирилловичъ дорожилъ интересами Данилы Иракліевича, даже въ ущербъ своимъ: вліяніе его, какъ человѣка умнаго, не могло не отразиться на Данилѣ Иракліевичѣ. Дѣйствуя, повидимому, во всемъ самостоятельно, Данила Иракліевичъ и самъ не замѣчалъ, что находился въ полномъ распоряженіи Трофима Кирилловича, былъ отголоскомъ его воли и мысли. Вліяніе это не ускользало и отъ наблюдательности крестьянъ, такъ что, имѣя постоянную нужду въ Данилѣ Иракліевичѣ, каждый изъ нихъ шелъ прежде всего къ Трофиму Кирилловичу и былъ вполнѣ увѣренъ, что просьба его будетъ исполнена, если онъ изъявлялъ на то согласіе. О согласіи Данилы Иракліевича никто и не спрашивалъ.

Въ описываемое время Данила Иракліевичъ, кромѣ обязательствъ съ винокуренными заводчиками и золотопромышленниками по поставкѣ хлѣба и мяса, взялъ еще обширный подрядъ на поставку въ казну хлѣба и крупы для мѣстныхъ войскъ. Операція эта обѣщала громадныя выгоды, и Трофимъ Кирилловичъ принималъ въ ней дѣятельное участіе не въ качествѣ довѣрителя, но компаньона. Онъ ѣздилъ и на торги въ городъ Т., оставшіеся за нимъ по предложеннымъ имъ цѣнамъ. Отъ своего имени онъ внесъ въ обезпеченіе подряда 8.000 рублей пятипроцентными билетами, врученными ему Данилой Иракліевичемъ, и самый контрактъ былъ заключенъ на его имя. Данила Иракліевичъ

оставался въ сторонѣ и участвовалъ въ этомъ дѣлѣ только своимъ капиталомъ.

Въ небольшой комнатѣ, увѣшанной въ переднемъ углу иконами въ золотыхъ и серебряныхъ ризахъ, у стола, на кованомъ сундукѣ, накрытомъ коврикомъ, сидѣлъ Данила Ираклiевичъ, одѣтый по-домашнему въ халатъ изъ толстаго чернаго сукна; въ дни пріѣзда гостей онъ надѣвалъ длиннополый тонкій сюртукъ съ воротникомъ, доходившимъ до ушей. Напротивъ его, облокотившись локтями на столъ, сидѣлъ Трофимъ Кирилловичъ, только-что возвратившійся изъ города. Сальная свѣча, вставленная въ деревянный подсвѣчникъ, тускло освѣщала лица собесѣдниковъ и окружающіе ихъ предметы; комната эта была „домашняя“ и отличалась отъ парадныхъ своею обыденною обстановкой. Задній уголъ ея занимала печь съ лежанкой, на которой въ зимнее время Данила Ираклiевичъ отдыхалъ послѣ обѣда. У двери помѣщалась кровать съ горою пуховиковъ и подушекъ. Вмѣсто мебели, около стѣнъ стояли большіе кованые сундуки. Выбѣленныя стѣны были облѣплены золотыми бумажками и картинками отъ конфектъ, фактурками отъ ситцевъ, изображавшими зданія фабрикъ съ клубами дыма изъ безчисленныхъ трубъ; попадались среди ихъ фактурки и отъ сахарныхъ головъ съ надписью „Молво“ или „Кенигъ“. Но всего болѣе обращали на себя вниманіе стѣнные часы „съ кукушкой“; механизмъ ихъ отъ времени испортился и съ шумомъ выскакивавшая кукушка, вмѣсто ожидаемаго напѣва, молча разѣвала передъ слушателями ротъ; эти часы утратили способность правильнаго опредѣленія времени, но все-таки ежедневно, аккуратно заводились самимъ Данилой Ираклiевичемъ.

— Сокрушаюсь я все, Данила Еракычъ, какъ бы намъ, то-исъ, не просчитаться?—задумчиво говорилъ Трофимъ Кирилловичъ съ соотвѣтствующимъ тону выраженіемъ на своемъ кругломъ, какъ шаръ, лицѣ, окаймленномъ черной окладистой бородой. Впрочемъ, лицо его способно было принимать, смотря по желанію, какое угодно выраженіе. Только глаза всегда исчезали при этомъ, точно прятались, оставляя наблюдателю окружающую ихъ сложную сѣть узкихъ морщинъ, выпуклыя румяныя щеки и толстый, нѣсколько аляповатый носъ.

— Въ чемъ сокрушенье-то?—спросилъ, не глядя на него, Данила Ираклiевичъ, слегка выворачивая пальцы правой руки, издававшіе при этомъ хрустъ.

— О подрядѣ-то говорю!

— Поперекъ горла онъ тѣ сталъ, што-ль?

— То и говорю, што мое-то горло исшо большихъ-то кусковъ не

глатывало, вотъ и боюсь, кабы, храни Богъ, вмѣсто выгоды-то убытокъ бы не понесть? Подрядъ-то взять мы взяли, — тѣмъ же топомъ продолжалъ онъ,—разсчитывали таперича хлѣбъ-то закупить пятнадцать копеекъ за пудъ, ну хорошо, а што какъ не скупимъ мы хлѣбъ-то за энту цѣну, а по двадцати, аль по двадцать двѣ — вотъ тѣ и убыль, а случай-то экой неровенъ!

— Случаю-то экому не къ чему быть, стало быть, и сокрушенье-то твое што пустая пѣна съ браги!—самоувѣренно отвѣтилъ ему Данила Иракліевичъ и, зѣвнувъ, перекрестилъ ротъ.

— Дай Богъ, кабы такъ-то, да вишь, скупщиковъ-то нонѣ много появилось.

— А тебя завидь взяла на нихъ, а?.. Не крушись, на каждую долю Богъ пошлетъ, не обѣдняемъ!

— А коли цѣны-то набьютъ, тогда какъ?

— Не супротивъ ли меня тягаться станутъ, а?..

— Съ тобой ли тягаться, Данила Еракычъ? Ты рѣчь-то мою не въ ту сторону повернулъ! Я къ тому говорю, што цѣну-то у мужиковъ не набили бы!

— Нѣшто мужики-то наши промѣняютъ меня на кого, а? Кто я имъ-то?

— Эвто опять другой разговоръ, про эвто чего говорить, я и нонѣ вотъ какъ ѣхалъ, разговаривалъ по деревнямъ-то: ужъ вы, говорю, милые, держитесь Данила Еракыча, стѣна онъ ваша каменная, такъ погляди-ко, чего они заговорили: „о-отца не надоть, кабы не онъ, чего бы, говорятъ, и было съ нами“.

— Это мужики-то?

— Ну да, вѣдь въ голосъ и старый, и малый!

— Чувствуютъ же?..

— Какъ и не чувствовать-то!.. Э-эхъ, Данило Еракычъ, вѣдь мы всѣ, почесть, отъ тебя хлѣбъ жуемъ! Рази ты въ самомъ дѣлѣ мало для нихъ дѣлаешь: они хоша и темный народъ-то, а тоже по своему-то понимаютъ!

Данила Иракліевичъ, вмѣсто отвѣта, тряхнувъ головой, молча погладилъ свою жиденькую бородку.

— Гдѣ это болѣе говорили-то?—спросилъ онъ послѣ минутнаго раздумья.

— Гдѣ?.. Да вездѣ, почесть, и въ Т—ѣ, и въ З—ѣ, и въ И—ой, и въ Т—ъ заводѣ!

— Надоть бы имъ какую ни на есть помогу!—прервалъ его Данила Иракліевичъ. — Я вотъ люблю, гдѣ добро-то помнятъ, стало

быть, совѣсть у человѣка есть, на такихъ-то можно и надежу положить, а есть вѣдь иные безчувственные!

— На міру-то всякаго добра много, Данила Еракычъ!

— Есть!.. Тѣхъ-то я не люблю!

— И тварь безсловесная отъ безчувственныхъ-то носъ воротитъ, сторонится! Да вотъ, Данила Еракычъ, ужъ будто къ слову пришлось: поймалъ меня въ заводѣ-то Михѣй Гавриловъ, онъ тѣ два года, сказывалъ, восемь рублей въ долгу состоитъ, такъ ужъ изъ милости просилъ это обождать, походательствовать предъ тобой!

— А самому-то што жъ бы не придти съ повинной, аль нога не скользитъ?..

— Робѣетъ!

— Деньги-то брать не робѣлъ?

— Какъ, говоритъ, вспомню это предстать предъ него, —продолжалъ между, тѣмъ Трофимъ Кирилловичъ, — говоритъ, убей лучше, такая робость настигнетъ, потому, говоритъ, не вынесу я, какъ это онъ взглянетъ!

Данила Иракліевичъ усмѣхнулся и снова провелъ правой ладонью по бородѣ.

— И то сказываютъ,—самодовольно началъ онъ,—што не всякой же ко мнѣ зря-то идетъ, а все болѣе съ робостью: глазу-то, говорятъ, боимся!..

— По душѣ и глазъ свѣтлый!..

— Пожалуй што! — согласился съ нимъ и Данила Иракліевичъ.

Настала минутная пауза. Трофимъ Кирилловичъ, поплевавъ на пальцы, снялъ ими вмѣсто щипцовъ нагаръ со свѣчи и обтеръ ихъ о полу зипуна. Данила Иракліевичъ, склонившись локтями на колѣни, молча пощелкивалъ пальцами.

— Ну, и та исшо опаска беретъ,—снова началъ Трофимъ Кирилловичъ, — пасчетъ энто хлѣба-то, кабы насъ Егоръ-то Бычковъ не подъѣлъ?

— Энтотъ съ чего-бъ, Бычковъ-то Егоръ? Къ которому ты это колесу примкнулъ-то его?

— Старшиной-то какъ выберутъ!

Данила Иракліевичъ, изумленно поднявъ голову, пристально посмотрѣлъ на собесѣдника.

— Отколь ты это взялъ-то?—спросилъ наконецъ онъ.

— Нѣшто ты не слыхалъ?—спросилъ его въ свою очередь Трофимъ Кирилловичъ.—Слава тебѣ Господи... гляди-ко, по деревнямъ-то только и говору, што Егора да Егора!..

— А-а-а!.. Полюбился онъ имъ; ну, да што же, и то сказать надоть, мужикъ добрый.

— Мужикъ, што говорить, Данила Ераскычъ, по правдѣ живетъ, душа то у него совѣстливая! Я, говоритъ, по волости не пушшу этихъ порядковъ, штобы міръ зорить!—многозначительно какъ-то произнесъ Трофимъ Кирилловичъ.—Не стану, говоритъ, какъ энти волостные, дѣлать, штоба хлѣбные магазеи стояли въ пустѣ, хлѣбъ бы весь въ недоимкѣ на міру числился, а въ самомъ-то дѣлѣ только бъ скупшики его скупали и наживалися, а какъ придетъ голодъ—и падѣвай людъ суму.

Данила Иракліевичъ задумался, медленнѣе вытягивая пальцы. Морщины на лбу его сдвинулись и лицо выразило напряженное усиліе уловить еще невыяснившуюся мысль.

— Стало быть, онъ въ одинъ годъ хочетъ собрать всю хлѣбную недоимку, што-ль?—спросилъ онъ.

— Не то у него на умѣ! Эфтимъ то онъ хочетъ только угоду мужикамъ сдѣлать! Къ примѣру взять: вотъ мы съ тобой зададимъ впередъ деньги по пятнадцати копеекъ за пудъ. Ну, придетъ пора къ расчету, мужикъ, извѣстно, первое дѣло въ слезы: „вотъ такъ-де и такъ, надбавь, хлѣбъ-то-де въ цѣнѣ, дороже стоитъ!“ Ты, извѣстно, въ волость къ старшинѣ, а старшина-то за одно съ нимъ, его поддержитъ: сгой-де на немъ, исшо хлѣбной недоимки много, коли не хошь взять его по его цѣнѣ, такъ онъ и остановитъ хлѣбъ-то въ казну или тебя заставитъ разсчитать мужика по его цѣнѣ! Вотъ я про то и опасаюсь—подъѣстъ онъ насъ эфтимъ-то!

— Рано онъ экіе порядки-то задумалъ, выберутъ-ли исшо?..

— Выберутъ,—помяни...

Настало продолжительное молчаніе. Дверцы у часовъ съ шумомъ распахнулись и выскочившая кукушка молча позѣвала на собесѣдниковъ. Трофимъ Кирилловичъ искоса наблюдалъ за Данилой Иракліевичемъ, сидѣвшимъ все также опершись на колѣни и потягивая пальцы.

— Данила Ераскычъ!—внезапно окликнулъ онъ.

Тотъ молча поднялъ голову и вопросительно посмотрѣлъ на него.

— Не погнѣвись ты на меня: я все, глядя на тебя, дивуюсь, ей-Богу дивуюсь! Какой ты такой человѣкъ есть? — началъ онъ: — это я бы теперича съ твоимъ умомъ да капиталомъ, то-ись, и а-а-ахъ ма-а-а!

Не докончивъ своей рѣчи, Трофимъ Кирилловичъ тряхнулъ головой и, повернувшись внезапно бокомъ къ хозяину, уперъ локоть правой руки въ столъ.

— Не тонма бы, то-ись, волосью, у-уѣздомъ бы тресъ!— заключилъ онъ, пока Данила Иракліевичъ смотрѣлъ на него съ самодовольной усмѣшкой.

— И то сказываютъ, што не по уму это я тихъ-то!—погладивъ бороду, отвѣтилъ замѣтно оживившійся Данила Иракліевичъ.

— По-о-околебалъ бы!.. Одно, ума твоего нѣтъ!—и Трофимъ Кирилловичъ, съ видомъ отчаянія, хлопнулъ себя лѣвой рукой по бедру.

— За немногимъ дѣло-то стало, а-а-ахъ-ха-ха-а!.. Нѣтъ, Трофимъ, не берись, большой умъ на энто надоть, бо-о-ольшой!.. А я бы вотъ таперича, къ слову, еслибъ взыгралъ, пошла-бъ волна-а? — съ усмѣшкой спросилъ онъ.

— Я бы, Данила Еракычъ, на твоемъ бы мѣстѣ, да съ твоимъ умомъ, кто бы мнѣ любъ, того-бъ и въ старшины посадилъ, ей-Богу, а міръ бы у меня за все въ уздѣ былъ!

— Тихъ я, Трофимъ, потому и покоенъ!—отвѣтилъ ему Данила Иракліевичъ.—Э-эхъ, Трофимъ, Трофимъ!—снова началъ онъ послѣ непродолжительной паузы,—доживи до моихъ лѣтъ, устанешь, особливо, если въ тебѣ ума избытокъ!..

— Оно должно, въ тяготу же умъ-то, Данила Еракычъ?—спрятавши глаза въ сѣть морщинъ, съ неуловимою улыбкою спросилъ его Трофимъ Кирилловичъ.

— Съ умомъ человѣку, Трофимъ, надоть за все провидѣть!

— Не легко же!

— Пришелъ вотъ ты ко мнѣ, а я тебя ужъ вижу насквозь, всю твою душу, всякой таперя фальшь!

— Откровеніе-то, а?

— Чистъ ты и душа у меня къ тебѣ лежитъ; безъ ума ты этого не можешь?

— Безъ ума, Данила Еракычъ, послѣднее дѣло!

— Ты вотъ мнѣ задалъ задачу,—продолжалъ между тѣмъ, прервавъ его, Данила Иракліевичъ, — а я ужъ и провидѣлъ; я таперя што скажу тебѣ: не бывать Егору Бычкову старшиной, слышалъ ты это?..

— Добрый онъ мужикъ-то, Данила Еракычъ, обидѣть-то бы его...

— И пообижу... потому я провидѣлъ, што онъ не другъ мнѣ!

— На все твоя власть, извѣстное дѣло!

— По-о-бижу! Коли ты супротивъ меня измыслилъ што и таперича я прозрѣлъ, и не быть тебѣ! Вотъ тебя старшиной посажу!

— Што ты, што ты, Данила Еракычъ!—даже какъ будто попятившись съ испугу, произнесъ Трофимъ Кирилловичъ,—да я, съ моимъ умишкомъ!..

— И сиди,—прервалъ хозяинъ,—худой ли у тебя умишко, хорошій ли,—мнѣ знать!

— Не натворить бы, говорю...

— Помогу!.. Мой-то умъ на што, а?..

— А-а-ахъ, вотъ какъ ты меня усуслонилъ энтимъ... индѣ въ потъ кинуло,—говорилъ Трофимъ Кирилловичъ, обтирая лобъ, но если бы человѣкъ болѣе проницательный взглянулъ въ это время въ глаза его, то замѣтилъ бы странную противоположность въ выраженіи ихъ съ выраженіемъ въ лицѣ. Они сверкали сарказмомъ и вмѣстѣ радостью, знакомой каждому при исполненіи его затаенной мысли.

— Оно бы што-жъ,—продолжалъ онъ,—съ твоимъ-то умомъ я-бъ и въ старшинахъ высидѣлъ! Да вѣдь какъ общество-то, Данила Еракычъ?

— Общество-то? А што оно мнѣ, общество-то?.. Тьфу-у... вотъ я на общество-то! Чей оно хлѣбъ-то ѣстъ, а?.. Мо-ой!.. Только само будто сѣетъ его, да жнетъ! О-общество!.. Оно ужъ душу-то мнѣ свою прозаклало, я вотъ имъ двѣ копейки надбавлю на пудъ хлѣба, да Амфимку работника въ старшины-то посажу; онъ и будетъ сидѣть, да судить ихъ!—и Данила Иракліевичъ, оживившись, приподнялъ повыше колѣна спустившіяся на полъ полы халата и засучилъ рукава. — А начальство-то наше,—снова началъ онъ послѣ минутной паузы,—все въ моихъ рукахъ, не я къ нему, а оно ко мнѣ ѣдетъ съ поклономъ, оно мной живетъ,—живетъ мной, слышалъ ты это?..—И Данила Иракліевичъ даже привсталъ при послѣднихъ словахъ, но, подобравъ полы у халата, снова сѣлъ.—На чьихъ лошадяхъ оно ѣздитъ?.. На мои-ихъ!.. Все мои дары! Чей медъ ѣстъ?.. Мо-ой!.. И печенымъ, и вареным везутъ отъ меня-жъ! Сотнямъ-то, што за ними плаваютъ въ долгахъ, я и счетъ потерялъ, такъ неужъ оно моей воли не исполнитъ, а?.. Моя на все воля, Трофимъ, моя-я!—заключилъ наконецъ онъ,—а ты мнѣ не перечь!..

— И въ помыслѣ-то у меня не было,—началъ было Трофимъ Кирилловичъ.

— Сиди старшиной, коли сажу!..—прервалъ его Данила Иракліевичъ,—ума не хватитъ—моимъ живи... и не разговаривай!.. А мужикамъ денегъ не задавай, я самъ имъ задамъ: исшо старыхъ счетовъ много!

— Къ чему-бъ тебѣ затрудняться-то съ ними?

— Нѣшто считать не умѣю, што-ль?

— А-а-ахъ, Данила Еракычъ,—поспѣшно прервалъ его Трофимъ Кирилловичъ,—все ты какъ-то не то, точно я тѣ сопротивникъ какой!

Тебѣ ли, говорю, съ экимъ капиталомъ, экія хоромины нажившн, да не умѣть считать?

— То-то!

— Я къ тому говорю, што утруждаться-то тебѣ при твоихъ таперя преклонныхъ лѣтахъ не кстати бы... я вотъ къ чему!..

— Деньги-то считать, Трофимъ, не трудъ; другое што — оно точно... а энто болѣ баловство!..

— Слава тѣ Господи, Данила Еракычъ, што баловать-то есть чѣмъ, а все съ умомъ, за умъ все энто Творецъ многомилостивый... Я вотъ таперя, грѣшный человѣкъ, въ ину пору и подумаешь: дастъ же это Господь такой благодати въ одну голову, а нѣтъ, штоба по частямъ между всѣми бы, ну да опять и то, какъ въ размышленіе то войду, зазнались бы! Каждый бы не почиталъ превысшихъ себя, старшихъ бы не было и было бы кромѣшное!.. Вотъ теперя къ слову, коли ты деньги будешь задавать, и воля твоя, твоя рука владыка! Почтителенъ кто, во всемъ въ послушествѣ, — отъ щедрыни, гляди, и себѣ въ ущербъ да 20 на пудъ положишь!

— Положу, отъ меня это за все...

— А воспротивился, набрался этой гордыни губительной, ну и...

— Гложи ее, гордыню-то, скусна ли, а-ахъ, ха-ха-ха-а! — прервалъ его со смѣхомъ Данила Иракліевичъ,—и сиди голодомъ.

— Я завсегда мужикамъ-то говорю: цѣните, говорю, его; души-то, говорю, вы его не знаете, худа онъ вамъ не пожаждетъ, а ужъ чего онъ хочетъ, стало быть, вашу же пользу провидитъ, вамъ же добро!

— Не понять имъ этого... темные!

— Понимаютъ!

— А-а!.. Ну, видать, нонѣ свѣтъ къ тому, а ты учи ихъ, молоденца-то научить уму—угодно Богу!

— Учу, за все учу ихъ, Данила Еракычъ.

— Учи! Предъ Господомъ все взыщется! —докторальнымъ тономъ заключилъ хозяинъ.—Учи, штобъ не противились мнѣ, не люблю вотъ я энтого супротивства! Сдѣлалъ ты по-моему, я завсегда для тебя ничего не пожалѣю, усчастливлю всякаго... Таперя вотъ я тебя за всю твою службу мнѣ, за твое покорство, въ старшины сажу, и сиди, и будь ты старшиной, и пущай міръ видитъ, какъ Данила Ераковъ награждатъ за службу! А денегъ мужикамъ не задавай, ко мнѣ шли, я самъ задамъ, посмотрю, нѣтъ ли исшо въ нихъ строптивости!..

— Я, Данила Еракычъ, хотѣлъ бы исшо съ тобой на тотъ случай потолковать,—началъ, выслушавъ его, Трофимъ Кирилловичъ,— не присогласить ли намъ, къ поставкѣ-то хлѣба, кой-кого изъ нашихъ

торгующихъ крестьянъ, а?.. Оно бы и разноголосицы не было, а всѣ бы вкупѣ, хоша бы вотъ Макара Вешнякова, мужикъ обстоятельный, Пруткова Финогена, Абросима Иволгина, оно бы шибко способно по-моему-то и на руку бы намъ!

— Энто, пожалуй, што ты дѣло говоришь!..

— Резонтъ-то имъ бы можно подогнать, къ примѣру сказать бы: што, молъ-де, коли вы порадѣете, возьмете по 15 съ пуда, такъ какая отъ подряда будетъ прибыль, по частямъ бы подѣлили!..

— Это я сталъ бы свое кровное дѣлить!—съ удивленіемъ произнесъ Данилъ Иракліевичъ: — да ты што съ радости-то свихнулъ, што-ль?..

— Да это бы посулить только имъ!

— И сулить не хочу!

— Воля твоя!.. А я бы посулилъ, Данила Еракычъ; не во гнѣвъ тебѣ, хлѣбомъ-то они торгуютъ ходко, особливо Вешняковъ, индѣ въ другихъ округахъ его скупаетъ... Присогласи его на дѣлежъ-то, онъ и поддастся, а опосля вѣдь все въ твоей волѣ: отъ посула-то до дѣла пѣсня длинна. Оно бы можно опосля и того... на дверь показать!..

— Стало быть, надуть, а-а-ахъ, ха-ха-а...

— Къ тому и говорю, дѣло торговое!

— Энтакъ-то я согласенъ надуть-то, а-ахъ-ха-а... энто ты по моему. Ну, ну, полакомь ихъ посуломъ, а опосля...

— И облизнутся! — со смѣхомъ прервалъ его Трофимъ Кирилловичъ.

— У утрафилъ ты мнѣ энтимъ, Трофимъ, какъ это они облизнутся вмѣсто барыша-то, а-а-ахъ-ха-ха-а-а!..

И Данила Иракліевичъ, точно вообразивъ комически плачевныя мины облизнувшихся компаньоновъ, залился радушнымъ, веселымъ хохотомъ. Трофимъ Кирилловичъ, тоже довольный своею мыслью, вторилъ ему изъ уваженія, пуская свой смѣхъ нотой ниже.

— Энтакъ-то я согласенъ, дѣлай: оно и намъ-то менѣ хлопотъ, а опосля мы имъ и того-о... а-ахъ-ха-ха-а! взамѣнъ барыша-то по губамъ рукотерникомъ!..—заключилъ наконецъ онъ.—Торговое дѣло, Трофимъ, та же война,—продолжалъ онъ послѣ минутнаго раздумья,—таперя завсегды надоть такъ пригонять, штобы ты за все всѣхъ обманывалъ, а тебя бы никто! На то вотъ и умъ Господь даетъ, вотъ тутъ-то за все и надоть провидѣть! Умъ, Трофимъ, это бо-о-ольшое дѣло, молодъ ты исшо!..

— Ужъ супротивъ тебя мнѣ не гнаться, Данила Еракычъ!

— И не гонись, не догонишь, а поколь живъ я—учись! Нау-ука это, Трофимъ, наука!..

— Отплатить-то вотъ чѣмъ мнѣ тебѣ за все твое добро-радѣньето ко мнѣ, вѣдь ты мнѣ отецъ!

— Мнѣ твоей отплаты, Трофимъ, не надоть! Будь только за все въ покорствѣ, и усчастливлю, гордыни штобы только этой...

Но Трофимъ Кирилловичъ не далъ ему докончить и, быстро вставъ, нагнулся и поцѣловалъ его руку. Неожиданное доказательство такого уваженія до того взволновало Данила Иракліевича, что онъ только потрясъ отъ избытка чувствъ головою. „Ну, Трофимъ, ты для меня и взаболь сынъ!“ — произнесъ онъ. — „А-а-ахъ...“ и, закрывъ голову рукой, онъ задумался.

Въ деревнѣ все спало глубокимъ сномъ, когда изъ калитки дома Данилы Иракліевича вышелъ Трофимъ Кирилловичъ и направился къ избѣ своей, стоявшей на концѣ улицы. Темнота не дозволяла видѣть выраженія его лица, но по быстрой и легкой походкѣ его можно было догадаться, что умъ его волновали самыя отрадныя мысли.

Опасеніе Трофима Кирилловича о выборѣ въ волостные старшины Егора Бычкова раздѣляли въ описываемое время всѣ зажиточные крестьяне у—ой волости, ведущіе различные торговые обороты. Выборъ старшины составляетъ весьма важное явленіе въ быту крестьянъ; отъ нравственныхъ достоинствъ избираемаго зависитъ многое и въ административномъ, и въ экономическомъ положеніи ихъ. Тутъ нужно имѣть умъ, распорядительность, пониманіе и охраненіе интересовъ общества въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ они сталкиваются съ требованіями административныхъ властей, т.-е. земской полиціи и мирового посредника, имѣющихъ прямое и въ большинствѣ случаевъ неограниченное надъ ними вліяніе. Нужна честность отношеній избраннаго старшины къ самому обществу, обусловливаемая не только неспособностью старшины къ лихоимству и къ злоупотребленіямъ, какія постоянно допускаются волостными начальниками при сборѣ податей, и вообще въ хозяйственныхъ распоряженіяхъ по волости,—нужно пониманіе условій, связывающихъ взаимныя отношенія крестьянъ въ общежитіи. Необходима безпристрастность отношеній его равно и къ богачу, и бѣдняку, что рѣдко встрѣчается въ этомъ темномъ и бѣдномъ мірѣ; а главное, что еще рѣже или никогда почти не встрѣчается, но что должно бы составлять неотъемлемую обязанность старшинъ и волостныхъ начальниковъ, защита слабыхъ отъ произвола и насилій, какіе часто позволяютъ въ отношеніи къ нимъ люди зажиточные, тѣмъ болѣе, что, въ силу многихъ обычаевъ, подобнымъ отношеніямъ придается законный видъ, со стороны не только волостныхъ начальниковъ, но и самыхъ представителей болѣе высшей администраціи. Говорю „законный“ не

безъ основанія! Многимъ ли извѣстна система законтрактовыванія, къ какой постоянно прибѣгаютъ для успѣшнаго, бездоимочнаго сбора податей съ крестьянъ? Въ этихъ случаяхъ часто половина населенія деревни или села отдается въ полную зависимость людей зажиточныхъ, противъ которой бѣдняки лишены всякаго права протеста. Окладной сборъ податей обыкновенно раздѣляется для большей легкости взысканія на двѣ половины. Первая половина за первое полугодіе производится въ январѣ, февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ, вторая за второе полугодіе по окончаніи полевыхъ работъ и по наступленіи хорошаго саннаго пути. Но, не смотря на эти видимыя облегченія, немногіе изъ бѣдняковъ, какихъ всегда бываетъ большинство, могутъ приготовить къ извѣстному времени требуемую сумму, и для того, чтобы не допустить наростанія недоимки при сборахъ податей, часто прибѣгаютъ и къ насильственнымъ мѣрамъ: во-первыхъ, къ угрозамъ тѣлеснаго наказанія и чаще всего къ самому наказанію, выправляя имъ деньги, которыя, по понятію многихъ причастныхъ къ сбору лицъ, крестьяне скрываютъ, не желая платить. Иногда при этомъ продаютъ лишнюю скотину или пристройки при домѣ — амбарушку или сарайчикъ на сломъ, пополняя вырученными за нихъ деньгами требуемую сумму, продаютъ хлѣбъ и другіе хозяйственные продукты *). Но чаще всего уговариваютъ какого-нибудь зажиточнаго крестьянина внести за неисправнаго плательщика подать, давая ему тѣмъ безконтрольное право выбирать внесенную сумму или личнымъ трудомъ законтрактованнаго, или продуктами его хозяйства. Мы не будемъ говорить о томъ, что крестьянинъ, попавши разъ въ подобную зависимость, долго, а иногда всю жизнь не можетъ оправиться, если только его не выручитъ какой-нибудь особенно благопріятный случай. Да и какъ ему поправиться? Допустимъ, что у него благодарный урожай, который при другихъ обстоятельствахъ могъ бы поправить его хозяйство продажею избытка хлѣба въ постороннія руки по существующимъ на него цѣнамъ. Но внесшій за него подать крестьянинъ не допуститъ его до этой продажи и, по цѣнѣ, всегда самовольно назначаемой, заберетъ хлѣбъ въ свою пользу, въ пополненіе долга. Допустимъ, что бѣднякъ избыткомъ хлѣба уплатилъ весь долгъ ему; но наступаетъ новый сборъ податей — и у

*) Многіе мелкіе городскіе торговцы, такъ называемые «прасолы», при наступленіи времени сбора податей всегда уѣзжаютъ въ деревни и часто даютъ довольно значительныя взятки волостному начальству, именно за то, чтобы при сборѣ податей и недоимокъ оно не допускало отсрочекъ и продавало скотъ, хлѣбъ и другіе продукты, которые они скупаютъ, пользуясь этимъ благопріятнымъ для нихъ случаемъ, за крайне-ничтожныя цѣны. Что терпитъ отъ этого крестьянинъ, предоставляю судить читателю.

него снова нѣтъ средствъ внести ихъ, такъ какъ весь его заработокъ употребленъ на пополненіе стараго долга, и снова поневолѣ онъ прибѣгаетъ къ помощи своего благодѣтеля, выжимающаго изъ него послѣдніе соки, или сами волостные чины принимаютъ на себя эту миссію... Кромѣ того, въ Сибири существуетъ еще обыкновеніе законтрактовывать неисправныхъ плательщиковъ податей и недоимокъ въ работы къ лицамъ, постороннимъ крестьянскому міру,—такъ, напр., на золотые пріиски или на суда и рыбныя ловли промышленниковъ по рѣкѣ Оби.

Даже изъ этого бѣглаго очерка допускаемыхъ мѣръ для бездоимочнаго сбора податей каждый убѣдится, какъ легко и скоро наживаются крестьяне, занимающіеся торговлей, какъ самыя мѣры эти расположатъ кулачество, возводятъ его на степень законнаго явленія, вмѣсто того, чтобы бороться съ нимъ, какъ со зломъ, разъѣдающимъ экономическое благосостояніе народа и самую нравственность его. И не одни торгующіе крестьяне богатѣютъ, благодаря этимъ мѣрамъ, но и городскія торговыя сословія, — мѣщане, купцы средней руки, вступающіе въ различные подряды, съ казной, и особенно крупные рыбопромышленники тобольской и томской губерній; богатѣютъ отъ этого и сами волостныя власти и особенно волостные писаря, и только одинъ крестьянинъ выноситъ на своихъ плечахъ всю тяжесть этихъ мѣръ и, не видя просвѣта отъ тяжелаго труда, обогащающаго другихъ, самъ остается въ нищетѣ.

Мѣстные торгующіе крестьяне дѣлаютъ еще проще, не ожидая и вмѣшательства волостныхъ чиновъ. Когда приближается время взноса податей, они задаютъ впередъ деньги нуждающимся въ нихъ бѣднякамъ,—отъ которыхъ, конечно, не бываетъ отбоя,—подъ хлѣбъ и другіе необходимые для ихъ торговыхъ операцій продукты, понижая, конечно, цѣнность ихъ до того минимума, далѣе котораго нельзя идти. И бѣднякъ, подталкиваемый безвыходною нуждою и предстоящими для него непріятностями, неминуемыми въ случаѣ неуплаты податей, соглашается на всѣ ихъ условія. Нерѣдко въ подобныхъ случаяхъ лица, задающія имъ деньги, и не выясняютъ своихъ условій:—„послѣ-де сочтемся“:—и потомъ уже ничѣмъ не ограничиваютъ своего произвола. Конечно, крестьяне всегда бы могли встрѣчать и даже, по смыслу существующихъ законоположеній, должны были бы находить охраненіе своихъ интересовъ въ лицѣ стоящихъ надъ ними волостныхъ начальниковъ—людей, избираемыхъ изъ ихъ же среды, ближе всѣхъ знакомыхъ съ ихъ жизнью, со всѣми условіями, стѣсняющими или благопріятствующими благосостоянію ихъ, но рѣдкій волостной начальникъ соотвѣтствуетъ своему назначенію, не потому, чтобы въ народѣ не на-

ходилось людей, одаренныхъ умомъ, яснымъ пониманіемъ дѣла, энергіей, необходимой для борьбы съ существующими злоупотребленіями,— нѣтъ: подобныхъ людей много въ средѣ нашего народа, но они всегда остаются въ тѣни, наперекоръ желанію большинства, указывающаго на нихъ. Вотъ почему вопросъ о выборѣ старшины, о честности и нравственныхъ качествахъ его составляетъ такое важное явленіе въ быту крестьянъ.

Къ числу такихъ излюбленныхъ народомъ личностей принадлежалъ крестьянинъ деревни Брановой, Егоръ Семеновичъ Бычковъ. Никто не обладалъ такимъ здравымъ пониманіемъ дѣла, какъ онъ, соединеннымъ съ твердымъ, рѣшительнымъ характеромъ, энергіей, не знающей препятствій. Онъ казался страшенъ своимъ вліяніемъ на народъ не однимъ міроѣдамъ, видѣвшимъ въ немъ непреодолимую, неподкупную оппозицію, но и мировому посреднику, которому онъ казался человѣкомъ крайне опаснымъ. Егоръ Семеновичъ былъ человѣкъ небогатый,— правда, онъ имѣлъ обширную пасѣку и пользовался репутаціей опытнаго пчеловода, имѣлъ необходимый для веденія обширнаго хозяйства скотъ, но ограничивался тѣмъ посредственнымъ достаткомъ, какой дается въ быту крестьянъ неутомимымъ, усиленнымъ трудомъ. Ему было болѣе пятидесяти лѣтъ; старшему сыну его шелъ уже двадцать-третій годъ; но, несмотря на такія, повидимому, преклонныя лѣта, въ немъ много сохранилось и свѣжести, и мужественной красоты. Казалось, ни тяжелая трудовая жизнь, ни время не производили разрушительнаго вліянія на могучій организмъ его. А могучъ былъ этотъ организмъ! И громадный ростъ, и соотвѣтствующая ему физическая сила вошли въ к...омъ округѣ въ пословицу. Въ народѣ называли его „медвѣжьимъ пугаломъ“ съ тѣхъ поръ, какъ, подкарауливъ у своей пасѣки медвѣдя, онъ, безоружный, кинулся въ погоню за нимъ. Въ наружности его было странное свойство наводить робость, но робость, вытекавшую не изъ страха, а изъ уваженія, изъ инстинктивнаго сознанія богатства внутренней силы въ немъ. Старый и малый, при встрѣчѣ съ нимъ, снимали шапки и кланялись, и начальствующія лица, при разговорѣ съ Егоромъ Семеновичемъ, невольно понижали тонъ изъ повелительнаго въ ласкающій. Они боялись его, боялись большихъ черныхъ глазъ, съ свѣтившимся въ нихъ лукавымъ юморомъ, смотрѣвшихъ смѣло, гордо и, казалось, заглядывавшихъ въ душу, читая въ ней самыя сокровенныя мысли. Полное, смуглое лицо его дышало крѣпостью и здоровьемъ; высокій, съ характерными выпуклостями лобъ, широкій въ вискахъ, оттѣненный черными прямыми волосами, дополнялъ общее впечатлѣніе, говорившее о сильномъ, прямомъ характерѣ, о саркастическомъ умѣ,

чаще всего встрѣчающемся у русскихъ простолюдиновъ, такъ что трудно рѣшить, составляетъ ли этотъ сарказмъ свойство русскаго человѣка или развивается въ немъ подъ вліяніемъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя сопровождаютъ его незавидную долю. Егоръ Семеновичъ постоянно улыбался и улыбка его оставляла каждаго въ напряженномъ ожиданіи ѣдкаго словца. Онъ много умѣлъ говорить своей улыбкой и люди, стоявшіе несравненно выше его по своему развитію, при видѣ этой улыбки невольно взвѣшивали свое слово, свою мысль прежде, чѣмъ высказать ее передъ этимъ простымъ, неграмотнымъ человѣкомъ. Даже въ чертахъ лица его, въ голосѣ, въ манерѣ, обращеніи съ людьми, какъ и въ улыбкѣ, проглядывало что-то ѣдкое и въ то же время сухое, отчего и самая личность его казалась на первыхъ порахъ несимпатичной. Въ немъ не было и тѣни привлекательнаго добродушія,—удѣла чаще всего натуръ слабыхъ и безхарактерныхъ; къ нему никто не рѣшался обратиться за помощью, хотя были случаи, что людямъ, впавшимъ въ бѣдность по несчастію, онъ помогалъ, не ожидая ихъ просьбъ, нерѣдко удѣляя даже рой пчелъ на разживу, вопреки предразсудкамъ, существующимъ у пчеловодовъ *). Но не отталкивала отъ него окружающихъ эта черствость обращенія съ ними, а, напротивъ, привлекла ихъ къ нему. Не эта ли скрытая въ немъ сила и побуждала все слабое и униженное искать въ немъ опоры для себя, выдвигать его изъ своей среды, какъ надежную защиту своихъ интересовъ и нуждъ.

Само собою, что подобная личность не могла не обратить на себя враждебнаго вниманія лицъ, возводящихъ въ принципъ безмолвную покорность крестьянъ къ ихъ несправедливостямъ. Еще до введенія мировыхъ учрежденій, когда Алтай находился въ безусловномъ завѣдываніи горнаго вѣдомства, Егоръ Семеновичъ терпѣлъ гоненія отъ мѣстнаго начальства за то, что отъ имени крестьянъ подалъ просьбу, въ которой были выведены всѣ злоупотребленія горныхъ управителей, урядниковъ, паряжавшихъ на работы, и подрядчиковъ, бравшихся за крестьянъ доставлять на заводы уголь и другіе матеріалы и разорявшихъ край. Какъ и слѣдовало ожидать, своимъ усиленнымъ, энергичнымъ ходатайствомъ Егоръ Семеновичъ, не принеся пользы и облегченія крестьянамъ, навлекъ на себя гоненіе, которое, по всей вѣроятности, кон-

*) Отдача роя пчелъ, по мнѣнію пчеловода, ведетъ за собою разоренье, а именно: пчелы перестанутъ водиться и перейдутъ всѣ къ тому, кому отданъ рой. Также точно ни одна домовитая хозяйка-простолюдинка не отдастъ гнѣзда отъ домашняго уксуса, по той же причинѣ, что уксусъ непремѣнно испортится, не будетъ болѣе водиться въ домѣ. Ни одна изъ нихъ не дастъ и остатка «опары», на которой замѣшиваются хлѣбы, иначе хлѣбы скиснутся и выйдутъ неудачные, съ закаломъ подъ верхней и нижней коркой.

чилось бы для него весьма дурно, еслибъ подоспѣвшая реформа не спасла лично его и не сняла этого гнета съ крестьянъ. Народъ ожилъ и въ первый разъ вздохнулъ свободно, въ надеждѣ на лучшее будущее. Но отъ дурного примѣненія и выбора лицъ прекрасная сама по себѣ и много обѣщающая реформа теряла во многомъ свое обновляющее значеніе.

Въ людяхъ съ характеромъ Егора Семеновича часто вмѣстѣ съ практической, житейской положительностью соединяется несовмѣстная съ нею поэтическая экзальтація, дѣйствующая въ нихъ наперекоръ тому, что диктуетъ имъ ихъ же собственный жизненный опытъ. Они хорошо, напримѣръ, сознаютъ истину, что плетью обуха не перешибешь, и все-таки бьютъ по обуху, не замѣчая, что наносимые ими удары, въ силу отраженія, падаютъ на нихъ же съ двойною силою. Но таково ихъ свойство души! Они всецѣло отдаются своему дѣлу, не останавливаясь ни передъ чѣмъ и не щадя себя; въ нихъ много неискоренимой вѣры въ правду и они доискиваются ея всѣми путями; они незнакомы съ разочарованіемъ, хотя жизнь на каждомъ шагу наталкиваетъ ихъ на него, и когда передъ ними закрываются всѣ пути, ведущіе къ ихъ цѣли, они пробиваютъ новые и все-таки идутъ, идутъ къ ней, пока не падутъ подъ бременемъ неравной борьбы. Съ первыхъ же лѣтъ послѣ реформы Егоръ Семеновичъ вооружилъ противъ себя и новое волостное начальство, и писаря, и мирового посредника. Конечно, шедшая между ними борьба была мелочна, жалка по своимъ причинамъ и результатамъ; но вѣдь и окружающая жизнь была также мелочна и жалка, а кто же не знаетъ, что житейскія мелочи сильнѣе стѣсняютъ людей, чѣмъ великія, міровыя событія. Во главѣ всего крестьянскаго общества онъ первый поднялъ голосъ противъ поборовъ. Мировой посредникъ настоялъ, чтобъ каждый крестьянинъ обязательно доставилъ по лѣсинѣ на домъ волостного писаря, особеннаго его любимца. Егоръ Семеновичъ на сходѣ заявилъ, что пусть мировой посредникъ заплатитъ по полтора рубля съ лѣсины, работать же даромъ на писаря, на ихъ же наемника, у крестьянъ ни времени, ни лошадей нѣтъ. И писарь вынужденъ былъ закупить лѣсъ въ другой волости. Вскорѣ послѣ этого мировой посредникъ обложилъ каждаго крестьянина-пчеловода обязательной доставкой полупуда меда для себя, и снова Егоръ Семеновичъ выдвинулся изъ толпы съ протестомъ, и общество, руководимое имъ, не дало меда, несмотря на всѣ настоянія и даже насиліе волостныхъ. Слишкомъ бы много и долго бы пришлось перечислять подобные факты и столкновенія, нерѣдко вызывавшіе въ крестьянской средѣ ропотъ. Мы не беремся описывать негодо-

ваніе мирового посредника, когда волостной писарь привезъ ему извѣстіе, что на мѣсто волостного старшины, отданнаго подъ судъ за намѣреніе скрыть убійство съ корыстною цѣлью, общій голосъ народа избираетъ Егора Семеновича—человѣка, такъ много нанесшаго ему чувствительныхъ уколовъ. Мы отчасти знаемъ, какъ смотрѣли на выборъ его богатые крестьяне, зная его умъ, непреклонную волю и честность, вошедшую въ такую же пословицу, какъ ростъ и сила. Но что чувствовалъ писарь, это было бы трудно и выразить, онъ чуть-ли не лучше всѣхъ зналъ, что былъ за человѣкъ Егоръ Семеновичъ и чего онъ долженъ былъ ожидать отъ него.

Недѣли черезъ двѣ послѣ разговора, происшедшаго между Даніилой Иракліевичемъ и его кліентомъ, въ ворота двухъэтажнаго каменнаго дома, единственнаго въ городѣ К., въѣхала телѣжка, запряженная парою рослыхъ гнѣдыхъ лошадей. Правившій ими пожилой крестьянинъ, одѣтый въ купый армякъ поверхъ овчинной шубы, остановилъ ихъ у крыльца флигеля, стоявшаго посреди двора; сидѣвшій въ телѣжкѣ Даніила Иракліевичъ, вынувъ зарытый въ сѣно холщевый мѣшокъ, лежавшій около объемистой бадьи, повидимому, съ медомъ, вылѣзъ изъ телѣжки и вошелъ съ мѣшкомъ въ рукахъ на крылечко флигеля. Домъ этотъ занималъ мировой посредникъ Клементій Ивановичъ Шлепфельдъ. Пока лакей его, бойкій мальчикъ, съ наивнымъ лицомъ и ворсватыми ухватками, въ будни ходившій въ засаленомъ тиковомъ пиджакѣ и въ шароварахъ, запущенныхъ въ длинныя голенища стоптанныхъ сапогъ, въ праздники же одѣваемый казачкомъ, побѣжалъ изъ флигеля, въ которомъ помѣщалась кухня и жилье для прислуги, доложить барину о пріѣздѣ Даніилы Иракліевича, мы дозволимъ себѣ познакомить читателя съ личностью Клементія Ивановича. Ему было около сорока лѣтъ, росту онъ былъ выше средняго, стройный, съ пріятной полнотой въ лицѣ и фигурѣ, обличавшей здоровье и избытокъ силъ. Черты лица его были правильны и можно бы сказать красивы, если бы общаго впечатлѣнія, производимаго ими, не портило выраженіе большихъ зеленыхъ глазъ и тонкихъ, постоянно сжатыхъ губъ, обрамленныхъ рыжими усами и окладистой бородой. Что-то злое и вмѣстѣ нахально-насмѣшливое было розлито въ нихъ, невольно заставлявшее каждаго сторониться отъ него и быть осторожнѣе въ его присутствіи. И небольшое бюрократическое общество городка К. не только сторонилось отъ него, но и боялось его, отдавая ему дань наружнаго почтенія, боялось его способности къ инсинуаціямъ, къ умѣнью сплетать всякую быль съ небылицей, и, благодаря этой спо-

собности, Клементій Ивановичъ съ изумительнымъ тактомъ умѣлъ поставить себя во главѣ общества, принять надъ нимъ начальственный, повелительный видъ. Съ такимъ же тактомъ онъ велъ и дѣла свои, не заводился благопріобрѣтеннымъ, не вступалъ, какъ сослуживцы его, мировые посредники, ни въ какія торговыя операціи и, громко возвышая свой голосъ противъ нихъ, рисовался на фонѣ заводимыхъ ими фермъ, домовъ и мельницъ своимъ сомнительнымъ безкорыстіемъ. Онъ никогда не рѣшался ѣздить одинъ въ свой участокъ, а всякій разъ приглашалъ съ собой исправника или засѣдателя для защиты своей особы отъ постоянно-ожидаемыхъ непріятностей. Вниманіемъ его и лаской, выражавшейся въ насмѣшливо-формальномъ обращеніи, пользовались только богатые крестьяне; они имѣли къ нему свободный доступъ, онъ подавалъ имъ руку, останавливался всегда у нихъ во время своихъ разъѣздовъ по деревнямъ, не брезговалъ принимать на себя роль свата, устраивая браки своихъ писарей на ихъ дочеряхъ, и помогалъ имъ своимъ вліяніемъ въ торговыхъ сдѣлкахъ. Ни въ одномъ участкѣ не было развито такого шпіонства, какъ у него: онъ зналъ всѣхъ своихъ враговъ изъ народа. Иногда самаго ничтожнаго повода было достаточно для Клементія Ивановича, чтобы искоренять подобныхъ людей: ихъ позорили тѣлеснымъ наказаніемъ, отнимая тѣмъ возможность служить когда-либо по выборамъ и пользоваться незапятнанной репутаціей, садили въ волостныя тюрьмы и держали тамъ нерѣдко по нѣскольку мѣсяцевъ, приводя тѣмъ хозяйство ихъ въ упадокъ, или запутывали въ какія-нибудь дѣла, влекущія за собой содержаніе въ острогѣ, пока бѣднякъ не догадывался, наконецъ, и не выселялся въ другой округъ, спасая себя отъ худшей доли. Много возникало жалобъ со стороны крестьянъ на Клементія Ивановича, но всѣ онѣ не достигали своей цѣли, порождая въ народѣ грустное сознаніе о своей беззащитности.

При входѣ въ обширную залу, Данила Иракліевичъ засталъ Клементія Ивановича за его любимымъ занятіемъ бездѣльнаго хожденія изъ угла въ уголъ съ руками, заложенными въ карманы домашняго пальто.

— А, Данила Иракліевичъ или, какъ крестьяне-то называютъ тебя, Еракычъ!— любезно встрѣтилъ его Клементій Ивановичъ, подавая ему руку, — ну, что новаго, а? — спросилъ онъ, предложивъ ему сѣсть на стоявшій у порога стулъ.

— Много бы новаго-то, Клеменъ Иванычъ,—отвѣтилъ онъ, заворотивъ сначала сзади полы своего сюртука и потомъ бережно опустившись на стулъ. — Наша сторона такая: новинокъ, што мухъ, не

оберешься! Не погнѣвись, Клеменъ Иванычъ, на гостинцахъ-то; рябковъ *) понѣ закупилъ нарошно для тебя!

— Свѣжіе?

— Самые нопѣшняго убоя... неужъ тебѣ тухлыхъ привезу, ну да медку, чѣмъ богатъ, ужъ не погнѣвись, говорю!..

— Медъ-то твой вѣдь я знаю... прелесть!

— Ме-едъ, это точно... не поскучаю на Бога, тебѣ-жъ я липоваго привезъ, самой слезы!..

— Ну, ну, хорошо, спасибо!.. Попробуемъ, я твои меда люблю: противъ твоихъ едва-ли и въ уѣздѣ найдешь, а?!.—съ ироніей спросилъ онъ, задѣвая самую чувствительную струну его самолюбія.

— По-о-ищешь!..—не безъ гордости отвѣтилъ Данила Иракліевичъ.—Лонись я исправнику бадеечку далъ... такъ онъ, а-ахъ будь ты грѣхъ!..

— Что-жъ?..—и Клементій Ивановичъ остановился противъ него въ вопросительной позѣ.

— Припрыгъ ажъ!..

— Съ радости?..

— Неужъ съ горя! Да зацѣпилъ это меду-то на пальцы, да съ пальцевъ-то такъ и лижетъ, такъ лизия и лижетъ, ну, и смѣ-ѣхъ же!

Клементій Ивановичъ улыбнулся и молча посмотрѣлъ на него.

— А что, какъ твои дѣла идутъ?—спросилъ онъ послѣ минутной паузы.

— Дѣла-то?.. Да какія бы дѣла то у меня, рази вотъ подрядъ-то?..

— Ну, подрядъ-то?..

— Орудую, слава тѣ Господи!

— Много надѣешься барыша зашибить, а?

— Барыша-то?.. Да вѣдь какъ оно Господь дастъ, неузнано! Торговое-то дѣло, Клеменъ Иванычъ, потьма: гдѣ набредешь, а гдѣ и мимо пройдешь, все въ Божьей волѣ, да надоть бы, по моему-то счету, тыщъ бы десять взять!

— Одного барыша?..

— За труды бы будто!

— Куда ты, Ераkычъ, и съ деньгами-то это, а?..—снова съ той же иронической улыбкой спросилъ онъ.

— Съ деньгами-то?..—съ улыбкой самодовольствія на лицѣ переспросилъ и Данила Иракліевичъ.

— Не лопни, смотри, съ надсады...

*) Рябчики.

— О-о... я-то будто...

— Тебя ужъ и то горой дуетъ! — съ насмѣшкой прервалъ его Клементій Ивановичъ; — смотри, вѣдь сюртукъ то годъ тому назадъ шилъ, а ужъ онъ не сходится!..—произнесъ онъ, указывая на растегнутый сюртукъ его, изъ-подъ котораго виднѣлась бархатная, съ крупными алыми и синими цвѣтами жилетка. — Тебѣ бы ходить больше нужно,—продолжалъ онъ,—а ты все лежишь!

— Подъ меня и подъ лежачаго плыветъ! — самодовольно отвѣтилъ онъ и, покачавъ головой, засмѣялся. — Ну и шутникъ же ты, пра-аво шутникъ, куды, говоришь, съ деньгами, а?.. хе!.. Деньгамъ-то на бѣломъ свѣтѣ мѣсто найдется, скучать это нечего, а вотъ безъ денегъ-то, а-а-ахъ... ху-удо!..—заключилъ онъ, покачавъ головой.

— Худо, Еракычъ, правда, вотъ какъ мое теперь дѣло!

— Неужъ ты безъ денегъ сидишь, а?.. Коль надоть, возьми-и, сочтемся когда ни на есть, свои люди-то!

— Я пошутилъ!.. Только тебя пощупать хотѣлъ, каковъ ты, добрый ли?..

— Я добрый!.. ужъ и щупать-то меня нечего... щупаный, што добрая курица за все съ яйцомъ!..

— Кѣмъ же, а?..

— Всѣми по немножку! Тоже вѣкъ-то не даромъ прожилъ! А коли и взаболь тебѣ, Клеменъ Иванычъ, деньги надоть, такъ ты чего робѣшь, слава тѣ Господи, я тѣ за твою хлѣбъ-соль и за всю милость...

— Отдай-ко вотъ гнѣдка-то мнѣ, а?.. — неожиданно прервалъ хозяинъ его монологъ.

— Гнѣдка-а... какого это гнѣдка?..

— Помнишь, что ты казалъ мнѣ съ бѣлой то пятинкой на лбу!..

— Э-э-э... ка-акой ты...—съ удивленіемъ протянулъ онъ,—ай-яй, куды метнулъ, хе-е... вѣдь энтотъ конь-то у меня тыща рублевъ.

— Ужъ и тысяча!..

— Святъ Богъ!.. Безъ отмѣну говорю: тыща! Этотъ конь-то кра-а-аса!

— Красивъ-то красивъ, правда! Только вѣдь и ты ужъ хватилъ, братъ, тысячу рублей, легко сказать... и триста-то за глаза, я триста и далъ бы!..—произнесъ онъ, пытливо посмотрѣвъ на него.

— О-охъ-хо-хо-о... Ну, Клеменъ Иванычъ, и легка-жъ, братъ, у тебя рука коней покупать...—съ усмѣшкой отвѣтилъ онъ.

— А что?..

— Ничаво... я къ слову говорю...

— Что-жъ... мало, что ли... иль много по-твоему, а?..

— Ужъ такъ надоть сказать, што ты совсѣмъ это зря говоришь, необдумамши,—обидчиво произнесъ онъ.—Триста рублевъ, эка штука: за экого коня да триста рублевъ, а?.. Да я тѣ за триста рублевъ, што ись, и пѣгаго не отдамъ, а пѣгой, сказать тебѣ, супротивъ гнѣдка, што ворона супротивъ сокола, и ей-Богу, экой конь, да триста рублевъ, а?..

— Что-жъ онъ у тебя, особенность какая, что ли?.. — насмѣшливо подстрекнулъ его Клементій Ивановичъ.

— Особенность!

— Какая же?..

— А такъ, въ масть! Да касательно чего не возьми, во всемъ особенность, хоша бы вотъ плевое дѣло хвостъ, и то, ей-Богу, што пухъ! То-ись у этого коня чего ты не возьми... а а-ахъ ты, братецъ, да и говорить-то... вѣдь энтотъ конь...

— Ну, что-жъ, конь какъ конь!—насмѣшливо прервалъ Клементій Ивановичъ.

— О-обчелся!.. Энтотъ конь... а а-ахъ, да не вводи ты меня...

И, вставъ со стула, онъ вышелъ въ переднюю и, высморкавшись при помощи пальцевъ, досталъ изъ кармана клѣтчатый платокъ и вытеръ имъ носъ и пальцы.—Право, грѣховодникъ,—шутливо-заискивающимъ тономъ произнесъ онъ, возвращаясь въ залу.—За экаго коня триста рублевъ, а?.. Ужъ лучше даромъ отдамъ его, чѣмъ триста рублевъ возьму, пра-аво!

— И триста рублей деньги!

— Не видывалъ я денегъ, што-ли... да мнѣ и тыща то, то-ись, тьфу-у... не токмо триста! А ужъ триста рублевъ за экого коня за одинъ конфузъ не возьму, ей-Богу: владай ужъ лучше даромъ.

— Я не хочу даромъ!

— О-о! Што-жъ такъ, отъ меня-то можно бы!

— А што же ты такое, что отъ другихъ нельзя, а отъ тебя можно, а?.. Развѣ тоже особенность какая?

— Ну, Клеменъ Иванычъ, скажу я тебѣ на эфто такое слово, што другого такого Данилу Еракыча, ты свѣтъ изойди, не сыщешь!—самоувѣренно произнесъ онъ.

— Это правда!—насмѣшливо отвѣтилъ тотъ.

— И-и-и, вѣрно говорю, не сыщешь! Потому, я скажу, человѣкъ, братецъ ты мой!

— Съ головы до пятъ вижу!

— Вѣрно!

— И слава Богу!

— И это ты въ точности Его Многомилосливаго долженъ за все молить! Его окомъ превознесенъ, и ей-Богу!.. Ну, а ужъ будто што поспорили, расквилилъ вотъ ты меня, владай гнѣдкомъ! — И, взявъ полу сюртука въ руку, онъ подалъ ее ему.

— Ты что-жъ это и въ самомъ дѣлѣ даришь?..—съ удивленіемъ, въ свою очередь,—спросилъ его Клементій Ивановичъ.

— Дарствую!

— Полно... полно, вѣдь я пошутилъ!

— Бери, коль даютъ!

— Ты, Еракычъ, сдурѣлъ никакъ?

— И дурь да моя! А коли даютъ, бери, а то осержусь.

— Посердись... ну, ну... погляжу я, каковъ ты въ сердцѣ-то?

— Бѣ-ѣдовый! Крутой я, Клеменъ Ивановичъ, человѣкъ, такъ тебѣ скажу! Вотъ ты хоша и посредственникъ, начальство, а уважилъ ты меня лаской и я тебѣ... то-исть вотъ... въ лучшемъ видѣ все предоставлю! Денегъ ли, коня ли, по моему богатству не постою то-исть... тьфу... вотъ какъ, ей-Богу!.. только уважь ты меня, хоша я вотъ и мужикъ, а уважь, потому мнѣ уваженье дорого... и я за все за это...

— Какъ же тебя уважить-то, Еракычъ, если я гнѣдка возьму, а?..

— Сдѣлай только по-моему!

— Что жъ тебѣ сдѣлать то: на божничку тебя посадить, а?..

— Нѣтъ, ты меня въ экое мѣсто не сади.

— Боишься упасть, а?..

— Энтимъ, братъ, мѣстомъ грѣхъ глумить, Клеменъ Иванычъ, грѣ-ѣхъ; а ты вотъ только не сади намъ въ старшины Бычкова Егора.

— То-олько!.. Ну, а если посажу, тогда ты и гнѣдка отберешь, а?

— Гнѣдка-то!.. Вотъ ты мнѣ задачу-то задалъ, а?.. — шутливо произнесъ онъ, почесавъ въ затылкѣ.

— Што-жъ: говори, отберешь или нѣтъ?..

— По-одумаю... постой!..

— Ну... ну, утѣшься... не ломай напрасно головы, пригодится еще...—насмѣшливо началъ онъ;—такъ и быть, уважу тебя... не бойси, не сядетъ онъ въ старшины, будь покоенъ: или ужъ меня не будетъ, или Бычкова, понялъ?..—спросилъ онъ, остановившись противъ него.

— Это-то я вотъ понялъ!—За эфто спа-асибо, а то съѣстъ онъ насъ!

— Развѣ вы боитесь его, а?..

— Властный онъ мужикъ-то, Клеменъ Иванычъ, и небогатый бы, а гляди-жъ, какую силу имѣетъ, въ пору што съ тыщами человѣкъ, любятъ его мужики-то!

— Гм... ну, а что-жъ бы онъ могъ тебѣ, напримѣръ, сдѣлать, еслибъ старшиной былъ: вѣдь ты его не боишься, а!..

— Не боюсь... я... я... не боюсь!..

— Такъ чѣмъ же онъ съѣлъ бы тебя, а!

— А съѣлъ бы!.. Онъ, Клеменъ Иванычъ, всякую бы торговлю нашу съѣлъ! Вѣдь онъ, послушай-ко, что разводитъ: я, говоритъ, этихъ хлѣбныхъ скупщиковъ-то, што міръ зоритъ, не хочу въ народѣ-то наживаться на его слезы..

— А-а... такъ онъ ужъ и порядки новые думаетъ заводить!..— съ нервной дрожью въ голосѣ спросилъ Климентій Ивановичъ.

— Заводитъ! А заводы-то его, Клеменъ Иванычъ, не скоро расхлебаешь... не такой онъ! Освободи ужъ ты насъ отъ него, сдѣлай милость; а тутъ такія дѣла пойдутъ, што и не обернешься! Уважь ты насъ ужъ, хочу я тѣ въ ноги поклониться, посади ты въ старшини-то нашъ Трофима Шебалина, ду-ушевный мужикъ-то и тебѣ-то служить-то съ нимъ по-овадно бы было!

— Шебалинъ... это... это што у тебя-то?

— Его самаго!..

— Гм!..—И Климентій Ивановичъ учащенно зашагалъ по залѣ, навивая на пальцы свою бородку,—обыкновенный жестъ, доказывавшій его раздумье.—Я знаю его!—заговорилъ наконецъ онъ,—онъ, кажется, толковый мужикъ-то, а съ народомъ-то каково онъ живетъ, а!..

— О-обходительный мужикъ, скажу тебѣ!

— Ума много надо старшиной-то служить, Ераничъ!

— И этого ему не занимать!.. Теперя посмотри, какую онъ торговлю ведетъ, хоша бы и у меня дѣлами орудуетъ, безъ ума не наорудуешь!

— Правда!

— У него ума, безъ лихвы скажу, Клеменъ Иванычъ, па-алата! И изъ твоей-то воли онъ не выйдетъ: ужъ я, говоритъ, за Клемена Иваныча душу положу; ужъ изъ-за него ты за все бы за волость-то спокойнымъ духомъ былъ, ей-Богу; ужъ я тебѣ худа не пожелаю, вѣрь!

Климентій Ивановичъ продолжалъ ходить все въ томъ же раздумьи.

— Уважь ты меня, сле-езница это моя предъ тобой!.. А мужиковъ-то мы подладимъ, Егора-то сшибемъ съ ихъ совѣсти и тебѣ-то покойно будетъ; а то съ Егоромъ-то, Клеменъ Иванычъ, мно-о-ого тебѣ возни будетъ — мужикъ съ норовомъ; а энтотъ Трофимъ-то совсѣмъ особь статья, энтотъ изъ твоей воли и за тыщи не выйдетъ, ей-Богу, и намъ-то рука-а бы...

— А знаешь ты, что я и самъ на него мѣтилъ, а?..

— О-о-о!..—съ радостнымъ удивленіемъ протянулъ онъ,— вотъ это ужъ ты уважилъ меня!..

— И другого гнѣдка не пожалѣешь, а?..

— Ну... оно того... пока и одного будетъ, Клеменъ Иванычъ!— пугливо отвѣтилъ онъ.

— А ты же сказалъ, что за уваженье все отдашь, а?..

— На-а-акладно ужъ все-то! Вѣдь энтотъ конь-то, сказать тебѣ, и-и-и одинъ чего стоитъ!

— Это ужъ я слышалъ!

— То-то конь: и въ губерніи, братъ, рты бы разинули... и въ упряжи-то идетъ, а-а-ахъ ты, мать моя... кра-аса!

— Спасибо, спасибо!.. Теперь ужъ я твой должникъ!

— Со-о-очтемся!.. А конь, другъ, ну-у... только тебѣ одному и пожертвовалъ, а другому бы, то-ись, и рукъ полой марать не сталъ, ей-Богу! Такъ ужъ это што-жъ, Клеменъ Иванычъ, выходитъ: о Трофимѣ-то порѣшенное дѣло, а?..

— Подготовьте народъ!.. Подлецы вѣдь!

— Унастуе-емъ!.. Противъ меня мужики-то! Отецъ вѣдь я имъ!..

— Скажи имъ, что, если они будутъ за Бычкова стоять, то... ну, да объ этомъ послѣ... да пошли ко мнѣ писаря, какъ поѣдешь!..

Данила Ираклiевичъ всталъ и пошарилъ около себя на стулѣ, ища шапку.

— Ты куда... сиди, чаю съ твоимъ медомъ отвѣдаемъ, посмотримъ, какого ты привезъ, можетъ быть, говоришь только липоваго, а онъ и дрянь!

— Энто мой-то медъ бы, а?.. ну, нѣ-ѣтъ: это ты, Клеменъ Иванычъ, только зря языкъ чешешь, ей-Богу, шу-утникъ ты! Ужъ посижу вотъ, хоша бы ѣхать и надо, а погляжу, какъ ты у-ухлебывать начнешь его, дрянной-то медъ!..

Поздно вечеромъ изъ воротъ дома Клементія Ивановича выѣхала та же телѣжка, сопровождаемая всей дворней его, которой подгулявшій нѣсколько Данила Ираклiевичъ пожертвовалъ отъ щедротъ своихъ три рубля.

Обратный путь Данилы Ираклiевича продолжался нѣсколько дней, благодаря внимательному и радушному пріему его въ лежащихъ по дорогѣ деревняхъ. Онъ останавливался только у зажиточныхъ крестьянъ, съ перваго же слова давая замѣтить каждому изъ нихъ о чести, оказанной имъ своей остановкой. „Ждалъ-ли ты экаго-то гостя?“ обыкновенно спрашивалъ онъ, слѣзая съ телѣги, и на увѣренія хозяевъ о

радости видѣть его у себя самодовольно улыбался, поглаживая бороду. Едва вѣсть о пріѣздѣ его облетала деревню, къ нему собирались крестьяне, знавшіе отъ Трофима Кирилловича о взятомъ имъ подрядѣ,— собирались съ цѣлью вывѣдать, будетъ-ли онъ закупать хлѣбъ, по какимъ цѣнамъ, къ какому сроку нужна будетъ поставка его и будетъ-ли онъ задавать впередъ деньги или нѣтъ. Въ разговорахъ съ ними объ этомъ предметѣ Данила Иракліевичъ какъ бы вскользь намекалъ имъ, „что онъ нонѣ порѣшилъ съ мировымъ посредникомъ кой-кого потревожить и деньги подъ хлѣбъ задастъ только тѣмъ мужикамъ, которые не выйдутъ изъ его воли!“ Сначала крестьяне недоумѣвали, слушая его, но скоро, впрочемъ, смекнули, кого мировой посредникъ порѣшилъ съ Данилой Иракліевичемъ потревожить, благодаря неосторожно-выраженному имъ неудовольствію на глупость народа, поддавшагося вліянію такого человѣка, какъ Егоръ Бычковъ. Нигдѣ такъ быстро не разносятся новости, какъ въ деревняхъ, и всегда почти съ различными варіаціями и предположеніями, на какія весьма податливы крестьяне; такъ и слова Данилы Иракліевича быстро разнеслись по у...ой волости и, какъ водится въ этихъ случаяхъ, возбудивъ много говора, еще рельефнѣе выставили въ мнѣніи народа личность Бычкова и сильнѣе укрѣпили крестьянъ въ мысли держаться его, въ немъ одномъ видѣть свою опору. О кандидатурѣ Трофима Кирилловича они и не догадывались. Данила Иракліевичъ умалчивалъ объ ней. Какъ онъ ни былъ простъ, но все-таки понималъ, что въ виду предстоящей борьбы противъ Бычкова выставить имя кандидата взамѣнъ желаемаго народомъ значило заранѣе вооружать общественное мнѣніе противъ себя, посредника и Трофима Кирилловича, заставить его предполагать какія-нибудь недобросовѣстныя цѣли; а что народъ вездѣ и во всемъ, что касается его, видитъ однѣ недобросовѣстныя цѣли, то это мнѣніе въ немъ упрочиваетъ постоянный опытъ жизни.

По пріѣздѣ домой, Данила Иракліевичъ засталъ у себя неожиданныхъ гостей: Макара Васильевича Вешнякова, Анфиногена Борисовича Пруткова и Амвросія Николаевича Иволгина, тѣхъ самыхъ хлѣботорговцевъ, участіе которыхъ въ подрядѣ Трофимъ Кирилловичъ находилъ необходимымъ. Теперь не лишнимъ будетъ выяснить цѣль, какой руководился Трофимъ Кирилловичъ, приглашая ихъ къ участію въ подрядѣ. Они нисколько не могли вредить скупкѣ хлѣба поднятіемъ цѣнъ на него, какъ объяснялъ онъ Данилѣ Иракліевичу, и послѣдній справедливо замѣтилъ ему, что народъ не промѣняетъ его на другихъ, не потому, чтобы народъ любилъ его, а по той простой причинѣ, что онъ былъ богаче остальныхъ торгующихъ крестьянъ и, сравнительно

съ ними, далеко сговорчивѣе и уступчивѣе въ цѣнахъ. Кулаковъ-крестьянъ можно раздѣлить на двѣ категоріи: на сытыхъ и голодныхъ, или на нажившихся и наживающихся. Для первыхъ не представляется уже особенной надобности выжимать послѣднюю копейку у мѣстнаго населенія. Достигши своего, нажившись, они если не изъ чувства добра, то изъ тщеславія способны разыгрывать изъ себя благодѣтелей для окружающихъ, и нерѣдко дѣйствительно помогаютъ бѣднымъ; бываютъ случаи, что подобные люди прощаютъ крестьянамъ ихъ мелкіе долги, выкупаютъ особенно несчастныхъ изъ какихъ-нибудь обязательствъ и часто для того, чтобы получить высочайшую благодарность, вносятъ иногда крупныя суммы въ пополненіе недоимки, накопившейся на той волости, къ которой принадлежатъ они. Подобный кулакъ гонится болѣе за почетомъ, и весьма основательно, что бѣдный людъ всегда крѣпче держится ихъ, нежели кулаковъ другой категоріи, т.-е. голодныхъ, которые еще разживаются, и самыхъ худшихъ изъ людей этого разряда; для нихъ нѣтъ ничего святого и всякое человѣческое чувство порабощено одной страстью къ деньгамъ. Къ этому разряду людей и принадлежали приглашенные Трофимомъ Кирилловичемъ компаньоны. При другихъ обстоятельствахъ онъ не только не нуждался бы въ участіи ихъ, но если и была бы въ этомъ необходимость, то постарался бы отклонить ее, но цѣль его заключалась въ привлеченіи ихъ къ своимъ интересамъ: всѣ они въ своемъ кругу были люди весьма вліятельные и отъ голоса ихъ зависѣло многое въ порабощаемомъ ими народѣ. Онъ зналъ всѣ опасенія, какія волновали ихъ при извѣстіи о выборѣ въ старшины Бычкова, и понималъ, что, пообѣщавъ имъ кой-какія выгоды отъ участія въ подрядѣ, пріобрѣтетъ себѣ не только вѣрныхъ сотрудниковъ къ достиженію своей цѣли на выборахъ, но и такихъ людей, которые могутъ пригодиться ему и на будущее время.

Попасть въ волостные старшины было давно задуманнымъ желаніемъ Трофима Кирилловича. Онъ изучилъ среду, въ которой жилъ, въ совершенствѣ постигъ систему веденія дѣлъ мѣстной администраціи, уловилъ характеръ ея отношеній къ народу и народа къ ней, и въ этомъ омутѣ ему, какъ человѣку предпріимчивому и оборотливому, представлялось широкое поле дѣятельности. Онъ зналъ, что какъ ни хитеръ Клементій Ивановичъ, но, благодаря его непониманію народной жизни и даже боязни народа, его легко можно будетъ вводить въ ошибки и заблужденія, отвлекать его вниманіе отъ темныхъ сторонъ своей дѣятельности и, ловко раздражая и ту, и другую сторону, являться посредникомъ между ними, склоняясь къ интересамъ той изъ нихъ, которая дастъ болѣе выгодъ. Трофимъ же Кирилловичъ только

и жилъ для выгодъ, и мысль пріобрѣсти прочное состояніе и выбраться когда-нибудь изъ деревни въ городъ и приписаться въ купцы,—была его завѣтная мысль.

Приглашая рекомендованныхъ имъ компаньоновъ отъ имени Даниды Иракліевича для свиданія съ нимъ, онъ умолчалъ о главной своей цѣли,—содѣйствіи къ своему ихъ выбору въ старшины, предоставляя выразить ее Данилѣ Иракліевичу и тѣмъ отклонить отъ себя всякое подозрѣніе въ какихъ-либо честолюбивыхъ намѣреніяхъ; но онъ много говорилъ о выгодахъ, какія ожидаютъ ихъ отъ этого участія въ ихъ подрядѣ, и говорилъ такъ хорошо, такъ основательно высчиталъ всѣ дивиденды, что у одного изъ компаньоновъ, Макара Васильевича Вешнякова, потекли даже слезы. Это былъ весьма оригинальный человѣкъ не только по натурѣ, но и по наружности: худой, низенькій, съ жидкой бородкой и воспаленными вѣками у узенькихъ глазъ, онъ, несмотря на завидный капиталъ, ходилъ всегда оборванцемъ и жилъ до того скупо, что въ особо-чтимые праздничные дни отказывалъ своей семьѣ въ пшеничной булкѣ, хотя громадные амбары, примыкавшіе къ старому, покосившемуся отъ времени дому его, ломились отъ ржаного и пшеничнаго хлѣба. Торговые обороты его шли весьма хорошо, но онъ постоянно жаловался на убытки, на разоренье и бѣдность. Человѣкъ онъ былъ не глупый, но въѣвшееся въ натуру его ханжество дѣлало его не только смѣшнымъ, но и отвратительнымъ. Онъ всегда, напримѣръ, оттягивалъ взносъ слѣдующихъ съ него податей хуже самаго горькаго бѣдняка, жаловался на волостныхъ, обличавшихъ его во лжи, и нерѣдко, чтобъ доказать имъ свою бѣдность, при нихъ продавалъ корову или лошадь и вносилъ вырученныя деньги, такъ что у крестьянъ, когда достаточный человѣкъ жаловался на нужду, сложилась особая поговорка: „Макарова бѣдность подъѣла!“ Если крестьянинъ обращался къ нему за деньгами и онъ находилъ, что для извлеченія своихъ выгодъ необходимо дать, то, отдавая деньги, выбиралъ самыя ветхія, истрепанныя ассигнаціи, божился, что отдаетъ послѣднія и не свои, а занятыя, снималъ въ оправданіе своихъ клятвъ икону со стѣны, которая спеціально для этого и не была приколочена, а висѣла на веревочкѣ для большаго удобства; на узенькихъ же, воспаленныхъ вѣкахъ всегда сверкали при этомъ слезы. Крестьяне, съ свойственною имъ наблюдательностью быстро подмѣчать въ человѣкѣ смѣшное и мѣтко опредѣлять его, ветхія ассигнаціи называли не иначе, какъ „Макаровы слезы“. Но горе было бѣдняку, если, забравъ деньги у Макара Васильевича, онъ не отдавалъ ихъ въ срокъ или не поставлялъ условленные продукты; въ подобныхъ случаяхъ онъ настойчиво вытя-

гивалъ у крестьянина послѣднія крохи и вытягивалъ не насиліемъ или жалобами — нѣтъ, у него была особая система взимать долги и едва-ли не самая вѣрная изъ всѣхъ нынѣ дѣйствующихъ. Онъ не давалъ прохода своему должнику, обливаясь горькими слезами, укорялъ въ неблагодарности за свои благодѣянія, кланялся ему въ ноги, слѣдилъ всюду за нимъ, какъ тѣнь, безропотно выносилъ толчки, несмущаясь, вытиралъ полой зипуна плевки съ физіономіи и нылъ до того, что выведенный изъ всякаго терпѣнія должникъ продавалъ послѣднюю скотину, зипунъ, шубу или входилъ въ новый долгъ, чтобъ только отдѣлаться отъ преслѣдованій плачущаго отъ зари и до зари человѣка. Анфиногенъ Борисовичъ Прутковъ и Амвросій Николаевичъ Иволгинъ много уступали ему въ своихъ средствахъ, можетъ быть, отчасти потому, что не обладали его умѣньемъ безвыходно запутывать людей въ свои финансовыя сѣти. Прутковъ только въ послѣднее время начиналъ расторговываться и самолюбію его льстило участіе съ Данилой Ираклiевичемъ въ подрядѣ; это былъ пожилой человѣкъ съ формирующимся брюшкомъ и сознаніемъ, что и онъ есть нѣчто. Обыкновенно подобное сознаніе, являющееся у людей, привыкшихъ до этого только пресмыкаться предъ другими, и отодвигать себя на задній планъ, кладетъ на нихъ и на всѣ ихъ дѣйствія своеобразный отпечатокъ. Все ихъ стремленіе заключается въ одномъ: дать замѣтить всѣмъ и каждому, что они не то уже, чѣмъ были. Если подобный человѣкъ промѣняетъ зипунъ или чуйку на сюртукъ, то и сюртукъ его не будетъ походить покроемъ своимъ на покрой другихъ сюртуковъ: въ немъ непремѣнно окажется какой-нибудь своеобразный придатокъ. Смѣялся-ли онъ прежде тенороmъ, то съ перемѣной его положенія и самый смѣхъ измѣнится въ басовой, торопливая походка превратится въ солидную и даже въ свою рѣчь онъ постарается впутать отборныя выраженія, порою и самъ не понимая значенія ихъ. Подобные люди всегда тяжелы и непріятны въ общежитіи; привыкши унижаться, они становятся дерзкими и заносчивыми и, оскорбляя людей, сами становятся крайне чувствительными къ малѣйшему невниманію, оказанному особѣ ихъ. Какъ товарищи, они невыносимы, какъ орудія въ рукахъ другихъ, необходимыя при достиженіи какихъ-нибудь цѣлей, они вѣрны и надежны, если только съумѣютъ взяться за ихъ чувствительныя мѣста.

Исключеніе изъ всей этой компаніи составлялъ Амвросій Николаевичъ Иволгинъ, человѣкъ простой и крайне добродушный. По своему увлекающемуся характеру и особенной наклонности къ загулу, онъ едва-ли бы составилъ себѣ состояніе и, вѣрнѣе всего, лишился бы и наслѣдственнаго, если бы судьба не послала ему въ бѣдной сиротѣ,

дочери бывшаго дьякона мѣстной церкви, умную, съ твердымъ характеромъ и грамотную жену. Она орудовала и домомъ, и торговыми оборотами, и даже деревней. Писала письма отъ крестьянъ сыновьямъ ихъ, забранныхъ въ солдаты, находила время за уплату учить читать и писать ихъ дѣтей, и даже, какъ носилась молва, и въ тяжебныхъ, и слѣдственныхъ дѣлахъ принимала дѣятельное, хотя и косвенное участіе, составляя крестьянамъ черновыя просьбы и научая ихъ изворотливымъ отвѣтамъ на вопросы слѣдователей. Амвросій Николаевичъ скорѣе походилъ на ея прикащика, чѣмъ на самостоятельное лицо. Какъ человѣкъ неглупый, онъ уважалъ ее, понимая, что всѣмъ обязанъ ей, даже почетомъ, какой оказывали ему, какъ супругу Дарьи Семеновны, и въ то же время боялся ея. Въ веселомъ настроеніи онъ не осмѣливался показаться и на глаза ей, изъ опасенія домашнихъ мѣръ, какими она отрезвляла его. И народъ, нуждавшійся въ деньгахъ Амвросія Николаевича, и купцы, скупавшіе у него хлѣбъ, медъ и шкуры, всегда обращались въ дѣлахъ своихъ къ Дарьѣ Семеновнѣ, а не къ нему. Къ Дарьѣ Семеновнѣ отнесся и Трофимъ Кирилловичъ съ предложеніемъ участія въ подрядѣ. Нужно сказать, что смѣтливой и дальновидной Дарьи Семеновны онъ боялся болѣе всѣхъ; привлечь ее на свою сторону значило многое, и бѣлая шерстяная шаль съ каймой изъ цвѣтовъ, привезенная нарочно для нея изъ города, послужила началомъ къ сближенію ихъ и какъ бы залогомъ того, что Амвросій Николаевичъ былъ отпущенъ лично увѣриться отъ Данилы Иракліевича въ тѣхъ дивидендахъ, какими онъ умѣлъ польстить ея коммерческой натурѣ.

Данила Иракліевичъ остался доволенъ извѣстіемъ, что его другой день ожидаютъ пріѣхавшіе къ нему гости, остановившіеся у Трофима Кирилловича. Ему пріятно было подѣлиться съ ними вывезенными имъ впечатлѣніями, и въ тотъ же вечеръ, въ знакомой намъ комнатѣ, около того же стола, накрытаго на этотъ разъ бѣлою скатертью, сидѣлъ Данила Иракліевичъ и Трофимъ Кирилловичъ съ своими гостями. На столѣ передъ ними стоялъ графинъ съ водкой и бутылка съ ратафіей, окруженные наложенными на блюдахъ ломтиками пастилы, грецкими орѣхами, пряниками и тарелкой съ солеными груздями. Изъ избы, отдѣленной отъ горницы теплыми сѣнями, поминутно приходила жена племянника Данилы Иракліевича, худощавая женщина, съ лицомъ, усѣяннымъ веснушками, то поднося гостямъ чай, то подбирая опорожненныя ими чашки, чтобы снова наполнить ихъ этимъ любимымъ напиткомъ сибирскихъ крестьянъ, гдѣ только развѣ у горькаго бѣдняка не найдется самовара и другихъ чайныхъ принадлежностей. Жена

Данилы Иракліевича никогда не показывалась гостямъ по причинѣ непомѣрной тучности и одышки, захватывавшей ее на каждомъ шагу; исключеніемъ пользовались только исправникъ и мировой посредникъ, привозившіе ей гостинцы изъ города.

По краснымъ, вспотѣвшимъ лицамъ собесѣдниковъ можно было заключить, что не одна чашка чаю выпита ими и одинаково оказано вниманіе и стоявшему на столѣ графину. Анфиногенъ Борисовичъ, одѣтый въ коричневый сюртукъ и пеструю рубаху-косоворотку, выпущенную подъ нимъ поверхъ плисовыхъ шароваръ, давно проявлялъ желаніе распустить поясокъ, но видимо стѣснялся, и только заложивъ за него пальцы рукъ, незамѣтно оттягивалъ его отъ живота.

— Не возьму, говоритъ, ни за што! Што-жъ, говорю, ты такъ робѣешь-то? Тебя, говоритъ, робѣю! А-а-а! Да меня-то чего-жъ бы, нѣшто мы не друзья, говорю, а?.. А потому, говоритъ, робѣю, што ты мужикъ-то не другимъ чета... особенный! Ну, ну, говорю, полно, вѣдь я свой человѣкъ, изъ избы сору не вынесу, — такъ насилу, насилу взялъ! — разсказывалъ между тѣмъ Данила Иракліевичъ внимательно слушавшимъ гостямъ сцену подарка гнѣдка Клементію Ивановичу.

— А взялъ-таки?— прервалъ его Макаръ Васильевичъ, одѣтый на этотъ разъ въ суконный зипунъ и пившій чуть-ли не двѣнадцатую чашку чаю. Онъ любилъ чай, но пилъ его только въ гостяхъ, дома же отговаривался, что этой блажью не занимается.

— Взялъ!

— За што ты ему гнѣдка-то всучилъ, Данила Еракычъ?— спросилъ его Анфиногенъ Борисычъ.

— Тебѣ этого и знать не слѣдуетъ!—строго остановилъ его самолюбивый хозяинъ.

— Все-жъ любопытно бы! Конь, говоришь, тыща рублевъ, а ты такъ ни за што, почитай, на вѣтеръ?

— Э-эхъ, Борисычъ, Борисычъ! — съ приниженіемъ въ голосѣ обратился къ нему Макаръ Васильевичъ.—Данилы-то Еракыча дѣло— што широкая рѣка, не то, што наше съ тобой, мелкоплесье...

— Вѣрно ты это говоришь, Макаръ, што вамъ копейка, то тыща мнѣ; а ты и учись, ты молодой исшо парень, тебѣ наука надоть! — наставительно обратился онъ къ Анфиногену Борисычу. — Ты вотъ только исшо въ люди идешь, и учись, говорю, какъ начальство чтить: ты его почтишь и оно къ тебѣ съ уваженіемъ. Вонъ онъ меня-то не зналъ куда и посадить, на божничку бъ, говоритъ, посадилъ, такъ высоко, неравно исшо упадешь, храни Богъ, зашибешься. Вотъ ты и

[illegible]

— А-ахъ, Данила Ераклчъ, и радъ бы ину пору смѣяться, да житье-то мое...

— Голодно тебѣ, а?

— Кабы сыто-то было и не хлопоталъ бы, говорю! Вотъ твое-то сытое-то дѣло: ты и живешь-то не другимъ чета, слава тебѣ Господи... и почетъ отъ всякаго!

— Почетъ-то не за ѣду, Макаръ, а за умъ!

— За умъ, извѣстно... глупому человѣку капитала не сорудовать! А мое-то дѣло: бьешься, бьешься, и все-то у тебя въ нить тянется, все убыль, все-то одна убыль, говорю, куда не кинь... Ахъ ты, Господи!.. Вотъ ты теперь не гнушаешься насъ къ своему дѣлу пристягнуть, а я вотъ сижу, да и думаю: не дастъ онъ, поди, насъ въ обиду-то?—заключилъ онъ, искоса посмотрѣвъ на хозяина.

— Спроси Трофима, какъ я обижаю то!

— Не тебѣ бы, Макаръ Васильичъ...—укоризненно началъ было Трофимъ Кирилловичъ.

— Знаю, знаю, болѣзный ты мой!—поспѣшно прервалъ его Макаръ Васильевичъ, глаза котораго заслезились и самый голосъ понизился,—знаю, что не захочетъ онъ у нищаго-то...

— Не ты ли это нищій-то?

— Не вѣрьте, берите грѣхъ на душу!

— Макаръ!—остановилъ его Данила Иракліевичъ.

— Я... я Макаръ... што-жъ, душевный ты человѣкъ?

— Глянь-ко на божницу!

— На божницу?.. што-жъ... зачѣмъ на божницу?

— Погляди, говорю: аль совѣсть зазритъ?

— Што-жъ, погляжу, пошто совѣсти зазрить, Данила Ераклчъ... всѣ подъ Богомъ и по Его закону живемъ!—торопливо говорилъ онъ, умильно глядя на передній уголъ, блиставшій золотыми и серебряными ризами на иконахъ.

— Покрѣпче, мотри, гляди-то!..

— Гляжу, родной!.. што-жъ, во всѣ глаза гляжу: вижу, благословилъ тебя Богъ всѣмъ!—говорилъ плакавшій Макаръ Васильевичъ, не зная еще, къ чему клонится рѣчь Данилы Иракліевича.

— Слѣпнешь, а все на Бога поклепъ кладешь!—внушительно заговорилъ онъ;—не мы грѣхъ то на душу беремъ, а ты-ы!.. Нѣшто у тебя мало добра-то, а? Кого ты обманываешь? Ишь какой нищій нашелся... э э-эхъ, Ма-акаръ, Макаръ!—укоризненно покачавъ головой, заключилъ Данила Иракліевичъ.—Теперь ты моего-то чаю напился, всю недѣлю, поди, проплачешь! и, довольный своей остротой, засмѣялся.

Въ лицѣ Макара Васильевича мелькнуло что-то въ родѣ стыда. Онъ, понуривъ голову, глубоко вздохнулъ.

— Не мѣшай ему, Данила Еракычъ, пушшай проплачется: можетъ, ему и легче станетъ — привыкъ вѣдь ужъ онъ къ глазной-то насмокѣ!—подтрунилъ надъ нимъ и Анфиногенъ Борисовичъ, обведя довольнымъ взглядомъ улыбающагося Амвросія Николаевича и сидѣвшаго рядомъ съ нимъ Трофима Кирилловича. Послѣдній не смѣялся, а, понурившись, мялъ пальцами уголъ скатерти. Онъ зналъ, что, не смотря на самоуниженіе, въ Макарѣ Васильевичѣ таилось много самолюбія и злости, затрогивать которыя было бы неудобно.

— Много у тебя, Макаръ, хлѣба-то запасено?—снова спросилъ у него Данила Иракліевичъ, не обративъ вниманія на остроту Анфиногена Борисовича,—хоша бы ржи, а?

— Сотень шесть пудовъ наберется, поди!

— А бѣдный, говоришь, голоденъ, а? Э-э-эхъ!—снова покачавъ головой, протянулъ онъ; — гнѣвишь ты только Бога, гнѣ-ѣвишь ты Его, Макаръ!

— Въ долгъ, въ долгъ все набрано, Данила Еракычъ, вѣрь, не вѣрь, Богъ порука: вотъ и думаю, какъ на рукахъ-то сядетъ, а-а-ахъ! Торговое то дѣло безъ капиталу-то и не слезьми—кровью всплачешь: вотъ я и говорилъ Трофиму-то Кириллычу, што съ радостью отдамъ его тебѣ!

— А почемъ съ пуда отдашь на радостяхъ-то, а?

— Напередъ ты бы намъ сказалъ, какое твое награжденье будетъ, Данила Еракычъ?—обратился къ нему Прутковъ, — тогды бы ужъ мы обчій разговоръ повели, обчее-то дѣло вести и тебѣ-то подручнѣй бы, и намъ-то лестно бъ, а только все бы допрежъ польстить насъ надоть, а?

— Изъ экого то барыша — десять тыщъ?.. есть бы чѣмъ и польстить-то насъ!—произнесъ, глубоко вздохнувъ, Амвросій Николаевичъ; — Трофимъ-то Кириллычъ сулилъ намъ, што ты барышъ-то пополамъ съ нами подѣлишь, а?—вкрадчиво спросилъ онъ.

— Онъ тебѣ это сулилъ-то?

— Съобча всѣмъ... ну, и мнѣ!

— Трофимъ, ты ему объ этомъ говорилъ, а? — съ иронією спросилъ его Данила Иракліевичъ.

— Оно точно, съ твоихъ словъ я говорилъ имъ, — уклончиво отвѣтилъ тотъ,—какъ промежъ насъ, значитъ, было условлено!

— Я спрашиваю, ему ты говорилъ, што-ль?

— Разговоръ-то, пожалуй, болѣ съ Дарьей Семеновной былъ!—

отвѣтилъ онъ, догадавшись, наконецъ, къ чему ведутъ разспросы хозяина.

— А-ахъ-ха-ха-а!.. такъ ты што-жъ, Абросимъ, говоришь, што онъ съ тобой разговаривалъ, а? Вотъ ты бы допрежъ изъ-подъ бабьей-то понявы выбился, да опосля ужъ того... слово-то о барышѣ велъ! Бары-ы-ши,—протянулъ онъ, глядя на смущеннаго Амвросія Николаевича.—Ишь какъ вы на барыши-то падки, а? Не поймали, а ужъ ощипали! А вы, коли хотите барышъ получить, заслужите его. Польстить я польщу, я не даромъ зову, я и барышъ подѣлю; да вы наперво скажите-ка, почемъ мнѣ хлѣбъ поставите, а то на а... съ перваго слова и за барышъ!

— Коли на то ужъ разговоръ, други, пошелъ,—вмѣшался Трофимъ Кирилловичъ, все время молчавшій, пока дѣло не коснулось этого вопроса,—такъ ужъ и я вамъ, съ своей стороны, одно скажу: неужъ вы впервой Данилу-то Еракыча знаете, што въ сумнѣніи о награжденіи-то его, хоша бы вотъ ты, Макаръ Васильичъ, аль ты, Финогенъ Борисычъ! Неужъ таперя экій человѣкъ, съ экимъ почетомъ, съ капиталомъ, какой у него, да на обманъ пойдетъ, а-а-ахъ! — заключилъ онъ, качая головой.

— Не въ эфтомъ рѣ-ѣчь, сердешный ты другъ, — началъ было Макаръ Васильевичъ.

— Вѣдь я таперича съ его же слова говорилъ, — продолжалъ, не слушая его, Трофимъ Кирилловичъ,—не отъ себя выдумывалъ, не мое вѣдь это дѣло-то, а его, а Данила-то Еракычъ по губерніи извѣстный, не токма въ округѣ... на его-то словѣ можно стѣну класть! Такъ неужъ онъ васъ таперича въ обманъ вовлечетъ, а? А-ахъ, и говорить-то душа болитъ—ей-Богу! Говорено вѣдь было: хлѣбъ по своей цѣнѣ ставить, у кого въ какой пропорціи; коли деньги ты будешь задавать, то задавай съобча, штобъ обчему дѣлу не вредить, и гни пятнадцать копеекъ за пудъ, пятнадцать и ни почемъ болѣ! А выручку нашу съ казны мы, какъ сказано, подѣлимъ обоюдно; ну, чего-жъ исшо, о чемъ же разговоръ то?

— Объ обманѣ, нѣшто не понимашь! — прервалъ его Данила Иракліевичъ,—ишь, вотъ Данила Ераковъ ихъ обманывать станетъ, а-ахъ-ха-ха-а... и ума же...

— Што ты на обманъ-то все сводишь, Данило Еракычъ; не объ обманѣ и рѣчь-то моя идетъ, и ты вотъ, Трофимъ Кириллычъ... — придвигая стулъ ближе къ столу, началъ Макаръ Васильевичъ,—мы эвто слышали, што ты говорилъ-то намъ...

— А слышалъ, такъ чего исшо языкъ-то мозолишь, аль чешется?— грубо прервалъ его Данила Иракліевичъ.

— О своемъ добрѣ у всякаго языкъ зачешется, и тебя бы коснись...

— Отнимаютъ его у тебя, што-ль, добро-то твое? А-ахъ-ха-ха-а, не ты-ль сейчасъ клялся, на божницу глядѣлъ, што тѣ ѣсть нечего, такъ о какомъ это у тебя добрѣ-то зачесалось?

— Ты выслушай...

— Не хочу и слушать! Слушать-то нечего, тошнота беретъ, какъ ты поешь-то!

— Не пою я, милый ты человѣкъ!

— Ну, коли петь не будешь, говори; посмотрю я, сколь въ твоей головѣ ума-разума!

— Я говорю...—снова началъ Макаръ Васильевичъ.

— Слышу, што не молчишь; а ты съ дѣла начинай, а то я говорю, да я говорю, а разговоръ—што телѣга безъ колесъ, ни съ мѣста!.. ну!

— И крутъ же, а-ахъ ты, напасть, никакъ и ты не угодишь на него... Ну, Данила Еракычъ, говорить съ тобой надоть воды въ ротъ набравши!

— Понялъ-ли ты теперь, што я за человѣкъ? а-а?

— По-онялъ! Ни за што обругашь всякаго!

— Уму учу, а не ругаюсь; взялся коли ты говорить, говори основательно, штобы дѣло твое было прямо, какъ свѣча! А словами этими не тумань, не закидывай ими! Ну, о чемъ началъ рѣчь, говори,— слушаю.

— Ты сулишь барышъ подѣлить намъ?..

— Барышъ-то все мучитъ, а? Ну, да ладно, скажу ужъ тебѣ, коли заслужишь—подѣлю, за заслуги я награждаю! Спроси-ко вотъ Трофима, какое я кладу награжденье за службу! Я вотъ тебѣ исшо съ лихвой подѣлю его, отъ себя прикину, а твое дѣло заслужить!

— Дай тѣ Богъ, што ты на бѣдность нашу, да только...—и Макаръ Васильевичъ запнулся, и продолжалъ уже мягкимъ, умильно-слезливымъ тономъ, — да только вѣдь это все што ты говоришь, Данила Еракычъ, не во гнѣвъ сказать тебѣ, на словахъ, а ты бы намъ на всякой случай, потому всѣ мы подъ Богомъ, неравно, храни Богъ, не къ ночи, ко дню сказать, умрешь... лѣта-то преклонныя, и заботъ-то не мало, аль дѣло не потрафитъ, такъ штобъ маленькимъ людямъ разоренья не было... условьице на бумагѣ бы...—И кончивъ это трудное объясненіе, онъ вынулъ платокъ изъ-за пазухи и отеръ имъ потъ, крупными каплями выступившій на лбу.

— На бумагѣ? — переспросилъ Данила Иракліевичъ, глядя въ полъ.

— Ну, ну, што такъ и такъ, молъ, за забранный хлѣбъ расчетъ особый, а потому какъ онъ по своей цѣнѣ поставленъ, то въ награжденье барышъ, какой будетъ, обоюдно!

— Контрактъ это, што-ль?—снова съ той же миной спросилъ онъ.

— Обязательство бы на бумагѣ... просто условьице, а волость бы засвидѣтельствовала, единственно только, и говорю, на всякій случай, потому ты самъ, Данила Еракычъ, торговый человѣкъ—тебя не учить, порядки-то знашь!

— Слышалъ ты это, Трофимъ, а?

— Э-э-эхъ, Макаръ Васильичъ, Макаръ Васпльичъ! — укоризненно, качая головою, отвѣчалъ Трофимъ Кирилловичъ;—не отъ тебя бы этого ждать, не отъ тебя-я бы!

— Другъ, мы не изъ сумнѣнья, а всякій себя бережетъ, на всякой случай, говорю, торговое-то дѣло ты самъ знашь!

— Обманъ, што-ль?

— Бываетъ... случается и это!

— Это ты вотъ самъ-то, темная твоя душа, мужиковъ-то какъ путашь, за-все у тебя на языкѣ имя-то Божье всуе, такъ думашь, штобъ и я съ тобой пачкаться сталъ, а?

— Мужиками што-жъ меня корить и всѣ-то не меньше грѣшны! въ наживѣ около ихъ!

— Чего-о?

— Не сами, говорю, денегъ-то наковали, а изъ ихъ же кармановъ выгребли, а што точно, по слабости человѣческой, завсегда на Божье имя душу кладу! — смиренно отвѣтилъ Макаръ Васильевичъ.

— Што ты это разговариваешь-то, што ты это, я тебя спрашиваю, разговорился, а? Ты гдѣ, у кого ты сидишь, — опомнись, ровня ли я тебѣ?—весь вспыхнувъ и съ несвойственнымъ оживленіемъ взбросивъ голову, крикнулъ на него Данила Иракліевичъ.

— Гдѣ-ѣ ужъ ровняться, Данила Еракычъ: наше дѣло, аль твое; наше-то дай бы Господи сытымъ быть, а ты вонъ и тыщи кидашь!

— И кидаю! А у тебя што, слюни на нихъ текутъ? О обманывать это вотъ я ихъ сталъ, а? Ха-ха-ха-а! Да чѣмъ вы всѣ тутъ и глядите, такъ мнѣ не попахнетъ! Это вотъ смотрите-ко, добрые люди, Данила Ераковъ созвалъ таперича экихъ богачей, штобъ обманывать, а-а-ахъ-ха-ха-а!.. Своего, вишь, капиталу не стало, обнищалъ, ѣсть нечего, такъ на обманы пошелъ, ха-ха-ха-а! Трофимъ, напиши имъ условье клиномъ на берестѣ, слышь?

— Пошто же такъ-то клиномъ-то на берестѣ?

— Слышь, Трофимъ, клиномъ на берестѣ, говорю тебѣ, напиши,

вой,—я же по добротѣ хотѣлъ людямъ хлѣбъ насущный дать, потому ужъ ста-а-аръ, хошь и въ три горла хватай, такъ всего, чѣмъ Господь взыскалъ по щедротамъ своимъ, не перехватаешь, класть ужъ некуда! Коли-бъ дѣти были, и дѣтямъ-то не прожить бы и внукамъ-то, што ись: дай, думаю, другихъ усчастливлю, поминъ по душѣ оставлю! А они условье, ха-ха-ха-а-а, у-условье! Экого барышника, прости Господи, нашли, а? Не падоть же, никого инѣ не надоть, въ гробъ съ собой все велю сложить, а никому ни копейки.

— Што-жъ, Данила Еракычъ, серчать-то, не убилъ вѣдь я тебя эвтимъ словомъ-то!—снова слезливымъ голосомъ спросилъ его Макаръ Васильевичъ. И въ этихъ словахъ, помимо его воли, сказалось и раскаяніе, и уничиженіе, и эгоистически-жадная натура его, не знающая, какой путь вѣрнѣе избрать, чтобъ не упустить своей цѣли.

— Убилъ! — дрожащимъ голосомъ отвѣтилъ Данила Ираклієвичъ, —это штобъ я, при моихъ теперь лѣтахъ, въ обманъ, а-а?

— А-а-ахъ ты, Господи, вотъ напраслина то! Да нѣшто я сказалъ это, други?—вопросительно обведя всѣхъ, оправдывался онъ.

— Насквозь вижу всю твою душу, Макаръ!

— Ну, не хошь условія, и не надоть: по чести дѣло поведемъ!

— Есть-ли исшо она у тебя, честь-то, спросилъ бы ты, а?.. Нѣшто это честь, што ты за добро за мое, за мое расположенье, што я вотъ не забылъ васъ, самъ Трофима послалъ,—са-амъ: поѣзжай, говорю, зови, дадимъ и имъ хлѣбъ, не все же однимъ ѣсть; а ты мнѣ экіе выводы сталъ дѣлать, а?! Да кто я-то?..

— Ну, обмолвился... не по душѣ тебѣ—и прости... — смиренно произнесъ Макаръ Васильевичъ, присаживаясь на стулъ.

— О-обмолвился—ха, ха, ха! Несмышленочекъ, обмолвился онъ! Скажи лучше по душѣ: самъ хотѣлъ, по своей привычкѣ, обмануть?

— Ужъ это совсѣмъ ты напраслину, Данила Еракычъ, и-ей-Богу! По моему худому уму, однако, исшо и не родился такой человѣкъ, што тебя обманетъ.

— Не родился, вотъ это ты вѣрно сказалъ, — што вѣрно, то вѣрно, не потаю.

— Отъ Данилы Еракыча не скроешься, Макаръ Васильичъ, это точно: на-а-асквозь онъ видитъ всякую фальшь!—уставивъ глаза въ потолокъ и поглаживая бородку, вмѣшался Трофимъ Кирилловичъ.—А што размолвился опъ съ тобой,—продолжалъ онъ,—такъ и я скажу, хоша бы и до кого доведись, обидно недовѣріе-то ваше, особливо въ теперешнее время, што настало,—тя я-желое время: всѣмъ бы надоть вкупѣ быть, сообча, подружнѣй, а вы все врозь да врозь, а-а-а...

— Время, што сказать, трудное!—грустно отозвался и Макаръ Васильевичъ:—народъ все своеобычнѣе становится, все нѣтитъ, какъ бы нагрубить и обмануть... говорю, волю-то вотъ дали ему совсѣмъ не ко время...

— Не ко время; ножалуй, што отъ мужика ужъ нонѣ не жди добра, — подтвердилъ слова его Анфиногенъ Борисовичъ, увѣсисто выпрямившись на стулѣ,—не е жди-и!

— Ты слыхалъ-ли, кто нами нонѣ править-то будетъ, законы-то уставлять? спросилъ его Данила Ираклiевичъ.

— Окромя начальства кому-жъ бы!—съ недоумѣнiемъ посмотрѣвъ на него,—спросилъ Макаръ Васильевичъ въ свою очередь,—кому же болѣ-то?

— Начальство!.. да кто начальствомъ-то этимъ будетъ надъ нами — старшиной то нашимъ, къ кому вотъ ты долженъ будешь съ поклономъ-то идти?

— Въ народѣ-то поговариваютъ про Бычкова Егора...

— Ну, любъ онъ тебѣ?

— Не знаю я, Данила Ераклчъ, какъ тебѣ потрафить-то, а сказалъ бы, што съ экимъ старшиной окромя бѣды ничего мiръ не наживетъ.

— Што-жъ онъ не по тебѣ пришелся, а?

— Не мнѣ одному онъ солонъ-то!—со вздохомъ отвѣтилъ онъ.

— Ха-ха-а! што-жъ такъ? — мужикъ бы всѣмъ взялъ, сказываютъ, што и медвѣдей пугаетъ... а ахъ-ха-ха-а! Ты, Макаръ, поди, боишься?

— Бояться его мнѣ нечего, Данила Ераклчъ, я вѣдь не медвѣдь, а только скажу, что при прежнемъ горномъ начальствѣ энтому бы не бывать. А што-жъ ты не скажешь намъ, — вкрадчиво спросилъ онъ, впившись въ него своими подслѣповатыми глазами, — тебѣ-то онъ любъ-ли?

— Я-то?—я люблю его.

— О-о? Вѣдь, вишь, вотъ ты какой: съ тобой не знашь, какъ и говорить: тебѣ скажешь одно, а ты въ сердце войдешь да на другое своротишь. Можетъ, ты и любишь его, Данила Ераклчъ, кто тебя знаетъ!—говорилъ онъ, все также пытливо глядя на него, — а я на одномъ постою: сѣетъ онъ въ народѣ смуту, совсѣмъ неподходящую. Нашъ алтайскiй мужикъ и то ужъ совсѣмъ отъ рукъ отбился: начальству шапки не гнетъ, не токма простому человѣку; отъ грубостей-то проходу нѣту, да исшо старшину-то себѣ экаго подберетъ, такъ и изъ волости вонъ бѣги,—вѣрное слово тебѣ говорю, побѣжишь! Какой тебѣ

ждать управы отъ старшины, што самъ на ножъ лѣзетъ? Ты поглядико, чего у нихъ въ Бурановой-то дѣется: староста-то для одного названья сидитъ, а всѣмъ Бычковъ заправляетъ. Прошлой весной, скажу тебѣ, чего это онъ съ горнымъ чиновникомъ сдѣлалъ, такъ вѣдь вчужѣ смѣхъ, и-ей-Богу! Пріѣхалъ тотъ скликать народъ на опалку *); староста и наряди, и народъ собрался, а на ту пору изъ тайги и вынеси нелегкая этого самаго Егора; видитъ, мужики ѣдутъ. „Куда?“ спрашиваетъ.—„Да на опалку“.—„Што вы, молодцы, какая теперь, говоритъ, опалка, когда свѣжая трава, почесть, по лодыжку поросла, аль рубли въ карманѣ зудятъ? Ну, мужики-то и говорятъ ему: „требуютъ, самъ чиновникъ вонъ сзади насъ ѣдетъ“.—„А вотъ, говоритъ, къ посреднику предоставить его аль въ горное-правленье, такъ вѣрнѣй дѣло-то будетъ; пусшай, коли опаливать надоть, такъ ѣдетъ во-время, а не теперь, когда и палить нечего“. А мужики-то вѣдь горой за него,—и послушай его, вернись; чего-жъ?—вѣдь и чиновникъ-то ничего съ нимъ не подѣлалъ: кричалъ, кричалъ, грозилъ ему, грозилъ, а онъ одно, сказываютъ, — стоитъ да смѣется; такъ ни съ чѣмъ и уѣхалъ, и съ рукъ сошло—вотъ вѣдь диво-то! Ужъ коли онъ вотъ съ чиновникомъ экой порядокъ завелъ, такъ чего-жъ съ мужикомъ-то будетъ, а? Совсѣмъ это, говорю, напрасно Клеменъ Иванычъ даетъ расти ему: вырастетъ онъ ему на шею; помяни мое слово, Данила Ераклчъ, што и въ волость не пуститъ его, даромъ што онъ посредникъ!

— Станется: мужикъ самостоятельный!—прервалъ его Анфиногенъ Борисовичъ:—съ нимъ не скоро сговоришь, и-и умный же!

— Ума его, Финогенъ Борисычъ, никто не шевелитъ, какой только умъ-то это? Другое дѣло, если у человѣка есть умъ да въ тихости онъ

*) Алтайскіе лѣса составляютъ собственность кабинета Его Имп. Вел. и, для предохраненія ихъ отъ пожаровъ, особенно часто свирѣпствующихъ въ Сибири, ежегодно весною по деревнямъ разъѣзжаютъ особо отряжаемые отъ горнаго вѣдомства чиновники или урядники, на обязанности которыхъ лежитъ «опаливаніе лѣсовъ», т.-е. выжиганіе на извѣстномъ пространствѣ осенней травы на поляхъ, примыкающихъ къ лѣсамъ. Такъ какъ у сибирскихъ крестьянъ существуетъ обыкновеніе, для лучшаго урожая травъ, весною пускать на сѣнокосныя поля «палъ» для выжиганія прошлогодней травы, если около лѣса не было произведено предварительной опалки, огонь отъ опаловъ, доходя до лѣса, воспламеняетъ и его,—по крайней мѣрѣ, большинство лѣсныхъ пожаровъ приписывается этой случайности. Но выяснимъ фактъ, какъ производятся эти опалки. Отряжаемые для этой цѣли чиновники или урядники, пользуясь своимъ правомъ, требуютъ по деревнямъ для этой операціи гораздо болѣе народа, чѣмъ его нужно въ дѣйствительности, и въ дорогое для крестьянъ время «запашки полей», когда дорога каждая рабочая сила въ семьѣ, держутъ ихъ на этой операціи какъ можно дольше, съ цѣлью взять съ нихъ откупное, смотря по уговору. И часто сами крестьяне, чтобы избавиться, наконецъ, отъ этой ежегодной дани, зажигаютъ прилегающіе къ ихъ деревнѣ лѣса. Другое средство избавленія для нихъ не всегда доступно.

живетъ—сторонится отъ всего, а не мутитъ,—это у-у-унъ! А што и въ умѣ томъ, если онъ только норовитъ, какъ бы вредъ тебѣ сдѣлать да смуту! По правдѣ, говорятъ, живетъ; да его ли дѣло правду-то заводить! Правдой-то должно начальство вѣдать, а не мужи-ки: мужичье дѣло—покорись, а не строптивься!

— Мужику, Макаръ, должно быть завсегда въ покорствѣ... правда! Надоть бы спѣсь-то эту съ Егора-то сбить, надоть бы!

— Не намъ сбивать ее, Данила Еракычъ! Погляди, какъ онъ объѣхалъ мужиковъ то: гдѣ бы чего по волости не стряслось, все къ нему бѣгутъ, все къ Егору Семенычу за совѣтомъ! Сяле-енъ, какъ же ты собьешь-то его, а? Его шесть тысячъ душъ слушаютъ, а ты-то оди-инъ!

— Съ де-еньгами все можно!

— Деньги, што сказать, и камень точатъ, а все скажу: о-ой... не въ этакомъ дѣлѣ, а можетъ, ты и лучше знаешь, поучи!

— Для того вотъ я тебя и позвалъ, вотъ я и барышъ съ тобой дѣлю, штобы всѣмъ вмѣстѣ быть съ-обча! Ты знишь-ли, што онъ замышлятъ, Егоръ-то этотъ: всѣхъ хлѣбныхъ скупщиковъ прекратить; ты вотъ съ меня условье запросилъ, а?—съ волненіемъ въ голосѣ продолжалъ онъ,—а я вотъ коня посреднику подарилъ, а за што-о?.. За васъ, за вашу наживу, а-а?.. Ты слышалъ-ли это?

Какъ ни привыкли присутствующіе ко всѣмъ выходкамъ Даніилы Иракліевича, но все-таки послѣднее извѣстіе его было до того неожиданно, что даже узкіе глаза Макара Васильевича расширились и точно съ непривычки, точно свѣтъ отъ оплывшихъ сальныхъ свѣчъ рѣзалъ ихъ они заморгали, но все таки, усиливались хотя на нѣкоторое время сохранить это новое для нихъ положеніе.

— Што глядишь-то?.. Коня отдалъ, коня што тыщу рублевъ мнѣ стоитъ, штобъ только Егора вашего сократить, и не будетъ его, помяни меня, не будетъ!

— За это, Данила Еракычъ... точно... можно сказать... дай тебѣ Богъ!—произнесъ, наконецъ, Макаръ Васильевичъ,—и не я скажу, а всякой, кто потолковѣй, смута-то эта не по душѣ всякому, а чего-жъ Клеменъ-то Иванычъ говоритъ, а а?—тихо спросилъ онъ.

— Сказалъ, што не будетъ!

— Радѣетъ онъ о мірѣ-то, душу-то его спаси, Господи!

— Аль меня, говоритъ, не будетъ, аль Бычкова... его слово...

— Экой неосновательный мужикъ, какъ подумаю, а?.. и навяжется же этакой!—качая головой, съ раздумьемъ началъ Анфиногенъ Борисычъ.—Тревоги-то сколько и начальству, и міру, ну-у... о двухъ

головахъ, о-одной давно бы не сносить! Не выдадутъ только мужики-то его, Данила Еракычъ!

— Лѣса-то исшо не всѣ выгорѣли, ха-ха-ха-а... на науку-то хватитъ.

— Ха-ха-а... такъ-то, пожалуй!

— Трофимъ будетъ старшиной, это вотъ слышали-ли, а-а?—обведя ихъ самодовольнымъ взглядомъ, спросилъ онъ.

— О-о!.. Ну, Данила Еракычъ, у тебя што ни часъ, то новинка. Го-о-осподи, да энто ты съ чего?—изумленно взглянувъ на него, испуганнымъ голосомъ произнесъ Трофимъ Кириллычъ: — да неужто это изъ шести-то тысячъ народу-то въ волости и лучше-то не найдется? Слышали, други!—обратился онъ къ остальнымъ собесѣдникамъ, также изумленно поглядывавшимъ на Данилу Иракліевича, сидѣвшаго улыбаясь и пощелкивая пальцами.

— Испугался, ха-ха-а...

— Дро-огнешь, ай-яй, и шу-утникъ же только ты... погляжу я!

— А почему бы и не быть тебѣ, Трофимъ Кириллычъ, старшиной,—началъ съ раздумьемъ Макаръ Васильевичъ.—Чего-жъ бы пугаться-то: по крайности, ужъ человѣкъ вашей масти, пра-аво!

— Легко сказать это, Макаръ Васильевичъ, старшиной, да я...

— Служатъ же другіе,—вступился и Анфиногенъ Борисычъ,—неужто ты хуже того же Егора. Ужъ тутъ, по крайности, знать будешь, што точно надъ тобой старшина сидитъ, какое дѣло, не дастъ тебя въ обиду, не засвиститъ изъ чужихъ губъ.

— Не засвиститъ, правда, Финогенъ,—подтвердилъ Данила Иракліевичъ.—А чего-жъ ты-то испугался?—обратился онъ къ Трофиму Кирилловичу.

— А-ахъ, Данила Еракычъ, и умный ты человѣкъ, а какъ ты это судишь,—плаксиво отозвался онъ.—Дѣло мое маленькое, самъ ты знаешь, какіе мои капиталы, черезъ пень тычинка! Хорошо, што ты хлѣбъ даешь, пошли тебѣ Богъ: тобой и я, и семья сыты! А старшиной-то быть, вѣдь надо послѣдняго лишиться, чего и есть, гдѣ бы у тебя въ ину пору спѣшное дѣло по домашности, а тебя оторвутъ, то туда поѣзжай, то въ другое мѣсто—разоренье одно! И што-жъ, нѣтъ у насъ людей, што-ли? Можно сказать, въ тыщу кратъ достойнѣй Макаръ Васильичъ.

— Не тѣ года, Трофимъ Кириллычъ, и не суй меня въ эту кашу!

— Ну, ты не хошь,—Финогенъ Борисычъ... тоже слава Богу... есть бы изъ чего.

— Спа-асибо... это штобъ... нѣ-ѣтъ, Трофимъ Кириллычъ, не мое это дѣло!..—качая головой, отвѣтилъ тотъ.

— А-а-а, видите, всѣмъ вотъ нелюбо, всѣ себя стерегутъ, а што-жъ бы Амвросу Николаичу, слава Богу—не послѣдній человѣкъ: можно сказать, изъ первыхъ.

Амвросій Николаевичъ только, засмѣявшись, махнулъ рукой и отвернулся.

— И домомъ-то баба управляетъ, а то исшо волостью, а-а-ахъ, ха-ха...—и Данила Иракліевичъ захохоталъ.

Остальные, кромѣ Трофима Кирилловича, тоже засмѣялись.

— Слабъ, слабъ, и-и самъ знаю, што слабъ,—тряся головой и махая руками отозвался незлобивый Амвросій Николаевичъ.

— Всѣ вотъ вы въ сторону пятитесь, а за што же это меня-то въ эту петлю суете, аль што побѣднѣй, изъ чужихъ рукъ гляжу!—обидчиво началъ Трофимъ Кириллычъ.

— Коли тебя самъ начальникъ садитъ, такъ ты молчи!—крикнулъ на него Данила Иракліевичъ,—Клеменъ Иванычъ самъ мнѣ сказалъ: я, говоритъ, буду за все покоенъ!

— И правда!—въ одно почти слово отозвались и Макаръ Васильевичъ, и Анфиногенъ Борисовичъ.

— Правда... я его знаю!.. А ты молчи, сытъ будешь; не выходи только изъ моей воли, плакаться на нужу нечего, служи-и, а мы вотъ къ тебѣ съ поклономъ будемъ за все ходить, потому ты старшиной нашимъ будешь, судить насъ будешь, а-а-ахъ, ха-ха-а-а...

— Служи, Трофимъ Кириллычъ, служи-и, доброе это дѣло, человѣкъ ты тверезый, ума не занимать, Богъ тебѣ далъ на твою долю, за все ты будешь въ порядкѣ и-и-и любое дѣло, и намъ-то изъ-за тебя сподручнѣй!—наставительно ласкающимъ тономъ говорилъ ему Макаръ Васильевичъ,—право, лю-юбое дѣло!

— Своей масти человѣкъ, чего-жъ исшо лучше-то! правду ты давѣ сказалъ, Макаръ Васильичъ.

— Служи-и съ Богомъ, поддержимъ гдѣ надоть, не выдадимъ! и насъ коо-кто послушатъ, порадѣемъ за тебя!

— Вотъ энто и я говорю,—началъ Данила Иракліевичъ,—што надоть энтаго Егорку сбить съ мужичьей совѣсти, и Клеменъ Иванычъ это наказалъ! Таперя мы въ обчемъ дѣлѣ, порѣшено, такъ съ обча и дѣлать будемъ! Условье энто ты выбрось изъ головы,—обратился онъ къ Макару Васильичу,—я тѣ и безъ условья съ лихвой награжу, мнѣ и своего хватать некуда, а то я бы исшо твое сталъ хватать, а?.. и ты, Финогенъ, и ты вотъ, Амвросъ, скажи это мое слово своей Дарьѣ, она и баба, да у ней ума-то болѣ другого мужика, она дѣло-то понимаетъ, человѣка-то, говорю! Вотъ я и сказываю, будете вы деньги

задавать, то давай только тому мужику, што съ понятіемъ, што тебя будетъ слушать, копейку ему надбавь, другую, въ убыткѣ не будешь... награжу, а заставь себя слушать, штобъ онъ изъ твоей воли не выходилъ! А энтаго Егора штобы и въ поминѣ не было; чего ты не сдѣлашь—я сдѣлаю, не сдѣламъ мы, посредникъ сдѣлатъ, а ужъ не бывать Егору моимъ старшиной, не бывать! Анфимкѣ въ ноги поклонюсь, а не ему, не его гордынѣ! Чего тамъ будетъ, доложь мнѣ, а ужъ посредникъ нашъ за меня, говорю, што посадить-то вотъ меня куда не знаю... особенный, говоритъ, мужикъ-то ты, а?.. Мотри-жъ, говорю, штобъ это слово мое крѣпко было! А опосля, можетъ быть, я тѣ и условье дамъ... Слышали вы это: дамъ условье, штобъ души-то ваши не бились, какъ рыба въ сѣти, што Данила Ераковъ вашего добра хочетъ... только не выходи никто изъ моей воли, не серди меня!..

И долго еще говорилъ на эту тему Данила Иракліевичъ съ своими компаньонами. При первыхъ пѣтухахъ только скрыпнула калитка въ воротахъ дома его, запираемая заспавшимся Анфимомъ за ушедшими гостями. Въ весеннемъ, но еще морозномъ воздухѣ звучно раздавались и шаги ихъ, и говоръ. „А-а-ахъ, какъ вы это говорите, служи-и-и... не знамши чужого-то дѣла, да неужъ лучше-то человѣка нѣтъ, а?“ слышался пѣвуче-жалобный голосъ Трофима Кирилловича.— „Богъ милостивъ, сте-ер-пи, авось опосля и слюбится!“—утѣшалъ его Макаръ Васильевичъ.

Насколько искренно довѣряли компаньоны Данилѣ Иракліевичу, трудно было рѣшить, по крайней мѣрѣ относительно Вешнякова, настолько знавшаго людей, чтобъ не полагаться въ денежныхъ дѣлахъ на одни слова, неподкрѣпленныя формальными обязательствами, и опытомъ жизни убѣжденнаго въ истинѣ, что обстоятельства, чаще всего складывающіяся помимо воли людей, иногда, при всемъ искреннемъ намѣреніи послѣднихъ исполнить свое желаніе, лишаютъ ихъ этой возможности. Но какъ бы то ни было, они все-таки разстались съ своимъ благодѣтелемъ въ наилучшихъ отношеніяхъ, особенно съ Трофимомъ Кирилловичемъ, печальное настроеніе котораго, вызванное извѣстіемъ о возлагаемыхъ на него обязанностяхъ старшины, было такъ натурально, что и наблюдательные, хотя и подслѣповатые, глазки Макара Васильевича не открыли въ немъ ни одной черты, выдававшей дѣйствительность. Благодаря его ходатайству, Данила Иракліевичъ, тоже, въ свою очередь, безъ всякихъ росписокъ, собственноручно выдалъ имъ по 200 руб. на задатки крестьянамъ и, въ знакъ особеннаго благоволенія къ супругѣ Амвросія Николаевича, благоволенія, вызваннаго также

[illegible]

[illegible] тягостная когда быстро тонкимъ таетъ съ полей и лугъ. Наступающее время всегда застаетъ по деревнямъ [illegible] въ упадку, а къ другу [illegible] голодное существованіе. Весна въ то же время и самая тяжелая пора для крестьянина. Она [illegible] въ борьбу его недостаткомъ хлѣба, истощеніемъ скота, выступившія ребра и понуренная голова котораго краснорѣчиво говорятъ объ тяжкой силѣ [illegible] трудного и недостаточного корма. Приходитъ время запашки полей, а у многихъ изъ крестьянъ и плуги [illegible] починки, и требуетъ, если не ремонта, то полнаго обновленія: и зубья у бороны выпали, и засошникъ у сохи треснулъ и искривился. „Терпитъ время-то, авось къ веснѣ Богъ дастъ, и поправимся" думалъ онъ всю зиму, заглядывая подъ сарайчикъ, гдѣ хранились орудія; но приходитъ весна, [illegible] ожидаемой поправки въ хозяйствѣ, и, понуривъ голову, осматриваетъ мужичекъ испортившійся засошникъ и пустыя гнѣзда отъ зубьевъ въ боронѣ. А не приведи Богъ, если еще падетъ скотина, вчера такъ печально глядѣвшая на него своими тусклыми, слезящимися глазами и тихо-тихо [illegible] къ проруби на водопой. Скотина же чаще всего и падаетъ весной отъ безкормицы и истощенія. И если падетъ она, то вся семья въ голосъ оплачетъ ее, а болѣе всѣхъ бѣдный, потерявшій голову хозяинъ, на плечахъ котораго лежатъ всѣ заботы.

Впоможь похлопаетъ онъ себя, разводя руками по бедрамъ... „А-а-ахъ, ну-у!" взвизгиваетъ онъ не день, не два, изъ глазъ же катится горькая слеза, неутираемая и жесткимъ кулакомъ, онъ и не чувствуетъ ее. А гдѣ же было взять хорошаго сѣна или другого корма, чтобъ спасти лошадку или коровку, привычнаго его сотрудника, отъ преждевременной смерти, когда и семья-то его доѣдаетъ послѣдній хлѣбъ, смѣшанный съ отрубями, съ ячменемъ и со всякой мелухой, да еще и этотъ-то хлѣбъ взятъ въ долгъ подъ проценты полпуда на пудъ изъ свѣжаго умолота или купленъ на деньги, вырученныя отъ продажи чего-нибудь необходимаго въ его хозяйствѣ. „Надоть купить скотину", поминутно говоритъ онъ, „на одной-то и сохѣ до поля не довезешь, вишь, обезси-

лѣлъ скотъ-то!" А на что купить? звучитъ въ то же время въ умѣ его, и самой худой лошади не найдешь дешевле двѣнадцати рублей, и гдѣ же взять такую громадную для него сумму?" А-а-ахъ! ну, и жи-исть!" — говоритъ онъ, только всхлопывая руками и по бедрамъ. Умретъ въ то же время грудной ребенокъ, сосавшій у матери, истощенной скудною пищею, вмѣсто молока сыворотку, какой не вынесъ его нѣжный желудочекъ вмѣстѣ съ грубой кашей и отваромъ изъ мѣшаннаго хлѣба, даваемаго ему изъ вонючаго коровьяго сосца, и надъ нимъ никто уже не плачетъ, развѣ позеленѣвшая отъ истощенія мать проронитъ слезинку, да тутъ же и скажетъ: „Слава Богу, што и прибралъ Господь, мало бы тоже радости-то видѣлъ на вѣку!" Да почешетъ затылокъ отецъ, почешетъ съ горя, что волей-неволей подай тридцать копеекъ—за отпѣванье, а гдѣ ихъ взять?.. и мѣдная-то копейка давно уже небывалая въ домѣ гостья, и кожаный-то кошель съ ремнями и кольцами на немъ куда-то пропалъ изъ глазъ, затерянный дѣтьми, игравшими имъ.

Въ эту же тяжелую для него пору того и гляди заглянетъ въ избу староста съ сельскимъ писаремъ. Развернетъ послѣдній передъ вздыхающимъ мужичкомъ „сборную податную книгу" и неторопливо высчитаетъ передъ нимъ цифру слѣдующую съ него къ взносу за текущее время и много говорящую цифру старой недоимки. Молча выслушаетъ онъ его... и не разбирая, вѣрно или невѣрно высчитаны слѣдующія съ него суммы: въ подушный окладъ, въ оброчный и въ различные капиталы, молча повалится старостѣ въ ноги, прося отсрочки. И хорошо, если староста благоволитъ къ нему, тогда обойдется дѣло однимъ куражемъ надъ нимъ, да нотаціей: „что лѣность есть мать всѣхъ пороковъ!" хотя и самъ староста хорошо знаетъ, что утренняя заря выгоняла, а вечерняя загоняла его въ домъ отъ безпрерывной работы. Но безъ нотаціи нельзя обойтись; на то онъ и начальство, „чтобъ вразумлять подчиненныхъ и порядокъ блюсти". Но горе мужичку, если онъ чѣмъ-нибудь пообидѣлъ старосту или не уважилъ его — горе!.. Тогда однѣ только горькія слезы всей семьи, униженно валяющейся въ ногахъ его, могутъ вымолить отсрочку на недѣлю, а что же будетъ черезъ недѣлю, если не внесетъ онъ,—мы отчасти уже знаемъ...

И вотъ, одѣвшись почища, т.-е. въ сѣрый заплатанный кругомъ зипунъ и въ баранью шапку, также обильно украшенную ими, сотворивъ земной поклонъ передъ почернѣвшей отъ времени и изъѣденной тараканами иконой, висящей въ переднемъ углу душной избы его, онъ идетъ къ какому-нибудь „благодѣтелю" съ своей слезной просьбой о помощи, провожаемый напутственными благословеніями домочадцевъ. „Выручи, оте-е-ецъ, выручи: Вотъ какая нужа, а-ахъ..

штобъ ее и жисть эту, мертвому позавидуешь, и-ей-Богу!" со слезами говоритъ онъ и говоритъ горькую истину. Не одинъ изъ нихъ, узнавъ о смерти какого-нибудь Памфила Карпыча и придя проститься съ нимъ, долго стоялъ, глядя на спокойное лицо умершаго, лежащаго на лавкѣ подъ образами, съ подложеннымъ въ голову полѣномъ и накрытаго вмѣсто покрова холстомъ, глядѣлъ на руки его, лежавшія на груди съ растопыренными пальцами, не сложившимися въ крестъ, какъ ни старались родные согнуть ихъ, ихъ не согнула и смерть, и она была не въ силахъ размягчить обратившіяся въ кость мозоли, отнявшія подвижность въ сочлененіяхъ. Глядѣлъ, глядѣлъ, да и не вытерпѣлъ, съ тяжелымъ вздохомъ прямо изъ души вырвались слова: „ээхъ, Памфилъ Карпычъ, тебѣ-то исшо бы можно пожить, а вотъ мнѣ бы умереть-то, такъ лучше бы было!"

Не объясняется-ли подобными побужденіями то грустное апатичное равнодушіе къ жизни, какимъ отличается русскій простолюдинъ, не въ нихъ ли искать объясненія и того давно подмѣченнаго факта: „что онъ не любитъ умирать своей смертью!" То срубитъ онъ въ лѣсу дерево и, видя, что оно прямо падаетъ на него, не догадывается отскочить въ сторону, и пришибетъ его деревомъ. Другой съ высокаго стога сѣна покатится... прямо на вилы— стоящія около него... и навылетъ пропоретъ ими животъ. И нужно посмотрѣть потомъ, какъ умираетъ онъ. Вы не услышите ни одного стона, ни одной жалобы или сожалѣнія о преждевременно угасающей жизни; только предъ священникомъ, привезеннымъ для напутствованія его, и предъ собравшимися мірянами онъ тихо проговоритъ: „чтобъ никого не обвиняли въ его смерти". Подобныхъ случаевъ, гдѣ человѣкъ какъ будто бы нарочно напрашивается на смерть, ищетъ только удобнаго повода къ ней, слишкомъ много... и что болѣе всего бросается въ глаза людей, близко знакомыхъ съ бытомъ народа—это то, что всѣ они повторяются чаще всего весной, въ самое тяжелое въ быту его время *).

И много, много подобныхъ бѣдняковъ, застигнутыхъ разными невзгодами, шло и ѣхало изъ деревень и селъ и къ компаньонамъ Данилы Иракліевича, и къ самому Данилѣ Иракліевичу. Много горя давило и умъ, и душу каждаго изъ нихъ, и, говоря, не утаивая истины, всему этому люду въ эти минуты было не до того, чтобъ разбирать— кто будетъ надъ ними старшиной—Бычковъ или Шебалинъ. „Выручи только, о-о-отецъ... выручи! Вотъ какая нужда, а-а-ахъ!"

*) Превосходную характеристику такихъ будто бы случайныхъ смертей могутъ дать дѣла и производимыя дознанія о каждой изъ нихъ. Въ нихъ слишкомъ ясно очерчивается порою вся безвыходность положенія умершаго отъ несчастной случайности.

— Нонѣ не прежняя пора: я денегъ зря не задаю! — говорилъ обыкновенно Данила Иракліевичъ, когда къ нему собирались подобные просители, предварительно побывавшіе у Трофима Кирилловича съ просьбой о ходатайствѣ его. Но и съ Трофимомъ Кирилловичемъ произошла непонятная для всѣхъ перемѣна. „Я нонѣ этихъ дѣловъ не касаюсь; идите, просите сами, а я втунѣ“, — отвѣчалъ онъ на всѣ поклоны ихъ. И вотъ шли они къ самому Данилѣ Иракліевичу, съ понурыми головами, спрятавъ рукавицы и шапки за пазуху, шли и въ одиночку, шли и гурьбой, человѣкъ по шести, по десяти, какъ приводилось. И гурьбой шли чаще, чѣмъ въ одиночку: „все легче, а то одному-то и не сговорить“. И съ первыхъ же словъ его у каждаго изъ нихъ холодѣло сердце.

— Что-жъ ты это нонѣ завсю-то милость къ намъ на гнѣвъ смѣнилъ? — спрашивалъ его иной, болѣе другихъ находчивый на слово, проситель.

— Порядки не тѣ, какъ гляжу!—сумрачно отвѣчалъ онъ, гладя бороду или вытягивая пальцы и прищелкивая ими.

— Нѣшто мы угнѣвили чѣмъ? — печально допытывалъ проситель.—Кажись бы, брали чего, такъ не стояло за нами—завсе, то-исть, первому несли, и молитва-то бы наша только за тебя и была...

— И безъ вашихъ молитвъ мнѣ не холодно: живу, терпитъ исшо Богъ!

— Съ молитвы, што и говорить, извѣстно, не грѣетъ! все-жъ предъ Богомъ-то...

— Слышалъ вотъ я нонѣ,—прерывалъ онъ, — ума у васъ много стало.

— А-а-а! Да отколь же бы это?—удивленно спрашивали они:— какой былъ, ровно, тѣмъ и живемъ.

— Прибавилось, слухъ есть.

— Отколь же бы надбавкѣ-то быть?—съ недоумѣніемъ спрашивали просители, не зная, чему приписать подобныя выраженія.

— Учитель, вишь, сказываютъ, выискался: учитъ васъ новымъ порядкамъ! Съ вами бы вотъ теперь и разговаривать-то, къ примѣру, надоть бы не сидѣмши, а стоя. Лихо, что въ избѣ, а то бы и шапку снялъ!—насмѣшливо продолжалъ онъ.

— Часъ отъ часу не легше, ей-Богу! — произносили просители, переминаясь съ ноги на ногу и съ недоумѣніемъ посматривая другъ на друга. — Да ты намъ назови хошь его, учителя-то этого, все-жъ бы знать стали, а то экъ исшо на улицѣ его встрѣтишь и не поклонишься.

— И Егора Семеныча Бычкова знать перестали, а-а?

— Вона на кого мѣтитъ! Да што-жъ намъ Бычковъ, чему онъ насъ научилъ?

— На-аучитъ исшо, старшиной-то посадите.

— За добрую-то науку да слово мы и всякому, Данила Еракычъ, поклонъ отдадимъ. А Бычковъ Егоръ, сказать къ примѣру такъ бы надоть, худу не научитъ, и самъ знашь. Мужикъ онъ обстоятельный, завсе въ порядкѣ, худого про него и по волости не слыхивано. А только сказать, не тая правду, ничему исшо онъ не училъ насъ, напрасно ты это.

— На-а-учитъ, сказываю тебѣ, старшиной-то будетъ когда!

— Давай Богъ! отъ доброй науки никто въ отпоръ не пойдетъ.

— И поди къ нему, у него и учись, какъ жить. Можетъ, онъ тѣ съ наукой-то вмѣстѣ и денегъ дастъ, а у меня нѣту, — сурово уже отвѣчалъ Данила Иракліевичъ.

Недоумѣніе просителей возрастало прогрессивно съ каждымъ его словомъ. Каждый изъ нихъ терялся, доискиваясь въ умѣ, чего же, наконецъ, хочетъ онъ? Какъ вести себя передъ нимъ? Какъ приноравливать свое слово въ угоду своеобычнаго хозяина, чтобы не потерять въ немъ своей послѣдней опоры? И, тоскливо посматривая другъ на друга, они чесали затылки и, вздыхая, переминались съ ноги на ногу.

— У меня капиталъ наживной,—снова начиналъ Данила Иракліевичъ, прерывая тяжелое молчаніе,—мнѣ зря кидать его не приходится. Стало быть, по пустякамъ и разговаривать нечего. Дашь этакъ вамъ на нужу-то вашу, да опосля при вашемъ-то новомъ старшинѣ— при Егорѣ-то, говорю — и наплачешься съ вами не хуже Макара.

— Развѣ онъ старшиной исшо?

— Будетъ; сказываю тебѣ, что будетъ: такъ чего-жъ ты допытываешь-то, аль нужой-то уши заложило, не слышишь?

— Чѣмъ же бы онъ-то помѣха въ эвтомъ дѣлѣ, Данила ты Еракычъ? Разсуди, нѣшто онъ...

— Помѣха,—круто прерывалъ просителя Данила Иракліевичъ.

— Господи твоя воля! Часъ отъ часу не легше!

— Помѣха, слышалъ ты это? Я бы тѣ сейчасъ безъ сумнѣнья сто рублевъ далъ, кабы зналъ, что ты вотъ не учишься у него его-то порядкамъ, потому зналъ бы, што ты моего слова сталъ бы слушать, а ты его слушашь: ну, къ нему и за деньгами иди.

— Господи твоя воля!—снова въ голосъ произносили просители, разводя руками и хлопая ими по бедрамъ.—Вездѣ-то напасть, куда ни сунься! Да нѣшто ты видѣлъ, што мы ходили къ нему за наукой какой, а?

— Я все знаю: и не гляжу, да вижу.

— Господи Боже мой! Ну-у, други, и время же нонѣ стало!

— То и говорю,—прерывалъ онъ;—што не прежня пора, не тѣ порядки вы завели, а про новые-то про ваши у меня денегъ пѣтъ. Я себѣ не ворогъ! Это я и задавай бы вамъ деньги, а они себѣ въ старшины Бычкова посадятъ, Егора Семеныча,—а давно-ль онъ исшо Семенычемъ-то сталъ? Кто его взвеличалъ исшо Семенычемъ-то?—постепенно входя въ экстазъ и возвышая голосъ, говорилъ онъ.—Мужику только и клички было, Егорка да Егорка, а тутъ, на-а-а, и въ Семеныча выросъ! Какъ же, мужикъ горой за васъ стоитъ,—какъ, говорю, и не взвеличать! Я, говоритъ, и Данилу Еракова, и всѣхъ экихъ-то съ земли сотру, не дамъ міра въ обиду, чтобы на его слезы наживались. А кто-жъ бы и наживался на ваши-то слезы, а? Нѣшто вотъ я къ вамъ пришелъ денегъ-то просить, а? Нѣ-ѣ-ѣтъ, вы же сами пришли—нужа, вишь, заѣла! Я вотъ виноватъ, што ихъ нужа заѣла! такъ зазывалъ вотъ, вишь, стоя на перекресткѣ: идите, молъ, ко мнѣ, я на ваши слезы хоша копейку наживу, а-ахъ-ха-ха-а! Порядки! И задавай я это деньги тому, кто слушатъ его, да потакатъ ему, да норовитъ набольшимъ сдѣлать, старшиной, ха-ха-а! Нѣтъ, други, подите-ка со Христомъ, мотайте свою-то нужу Егору Семенову на уши, онъ же васъ и въ обиду-то не хочетъ давать, чтобъ на ваши-то слезы наживались. Ну-у, можетъ самъ у всѣхъ и утретъ ихъ, а я свои деньги только тѣмъ даю, кто меня слушаетъ, изъ моей воли не выходитъ.

— Нѣшто мы причинны въ этомъ, Данила Еракычъ? Егоръ говоритъ, а мы повинны, а? Да мнѣ первому што его слушать—не напоитъ, не накормитъ; міръ его старшиной садитъ, такъ мы-то при чемъ же? И-и диво же, братцы, и-ей-Богу, диво! Ну, научи ты насъ, чего намъ дѣлать, мы и не выйдемъ изъ твоей воли.

— Не выйдете? — болѣе уже смягченнымъ голосомъ спрашивалъ онъ.

— Говоримъ, што опричь твоего слова и слушать не будемъ, какого же исшо тебѣ покорства?

— Ты поешь-то на энтотъ голосъ, пока вотъ тѣ деньги надоть, а отхлынетъ отъ спины нужа-то и зачнете опять умъ показывать.

— Што нашъ умъ, коли ѣсть нечего, Данила Еракычъ! Нужа-то заставитъ забыть, какъ и зовутъ-то тебя.

— Спознались-таки, а? И будь бы вы это богаты, чего бы это и было съ вами, поглядѣть бы! Энто бы никакъ и набольшихъ-то не было надъ вами, а?—съ ироніей говорилъ онъ.—Го-о-ордыни-то бы это одной не обобрался, ха-ха-а-а! Нужа-то вотъ только смиряетъ, то

вамъ Господь-то и поправы не даетъ, што бодливой коровѣ роговъ, ха-ха-а! Вотъ я и говорю, ужъ коли вы и взаболь смирились, хотите моего добраго слова слушать, такъ кого тебѣ начальство садитъ въ старшины, того и держись, а не токма, штобъ на свой голосъ пѣть, вотъ и порядокъ будетъ.

— Што-жъ намъ?—кого не сади, все единственно: Егоръ ли Семеновъ, другой ли кто, порядокъ-то все одинъ будетъ—не напоятъ, не накормятъ, вольготы при пужѣ не дадутъ. Такъ чего-жъ ты на насъ-то серчаешь, причемъ мы тутъ, скажи намъ?

— Слышали-ли вы, што Шебалина, Трофима, міръ-то выбираетъ, а?

— Што-жъ, давай Богъ,—мужикъ тоже, худа не скажешь.

— И стой за него, а не за Егора, коли хошь моихъ денегъ.

— Постою-то нашего не спрашиваютъ, Данила Еракычъ. Постой-то заказывай богатымъ, а мы што-о: кто насъ слушатъ-то, да глядитъ-то на насъ? Намъ все единственно, кто ни будь надъ нами,—вѣдь легче не будетъ!—а ужъ выручи ты насъ, выручи: вотъ какъ намъ, а-ахъ, другъ ты сердешный, будь отецъ!

И подолгу длились подобныя сцены съ различными увѣщаніями и наставленіями Данилы Иракліевича, пока не достигали пріятнаго для просителей результата полученія денегъ отъ него. Но не всегда они и кончались такъ: находились люди, несмотря на крайнюю нужду, выказывавшіе самостоятельность. Особенно памятны остались для Данилы Иракліевича двое просителей, крестьяне деревни Г...ой, Ефимъ Крючковъ и Матвѣй Тарасовъ. Первый былъ когда-то мастеровымъ упраздненнаго Т...го завода, теперь же занимался хлѣбопашествомъ; второй и самъ былъ зажиточнымъ человѣкомъ, но потеря въ бытность сельскимъ старостой денегъ трехъ съ половиной тысячъ рублей, собранной съ крестьянъ подати, разорила его и довела въ послѣднее время до крайней нищеты.

Данила Иракліевичъ принялъ ихъ весьма любезно, не ожидая просьбы, предложилъ денегъ Матвѣю Степановичу Тарасову, къ которому онъ благоволилъ, помня его хлѣбъ-соль и хорошее житье въ двухъэтажномъ обшитомъ тесомъ домѣ, проданномъ, какъ весь скотъ и хозяйство, съ аукціона на пополненіе потерянной имъ суммы. Случай этотъ, разбившій благосостояніе Матвѣя Степановича, надломилъ и характеръ его. Въ былое время всегда веселый, немного даже безпечный человѣкъ, но ведшій трезвую, степенную жизнь, онъ сдѣлался угрюмымъ, раздражительнымъ и въ послѣднее время сильно придерживался чарочки, хотя отъ него нельзя было отнять ни силы воли, ни

ума и ума далеко недюжиннаго, Данила Иракліевичъ не зналъ одного обстоятельства изъ жизни его: Матвѣй Степановичъ былъ много обязанъ Бычкову не матеріальной, но въ нравственной поддержкѣ. Когда сдѣлалась извѣстной потеря денегъ и наряжено было слѣдствіе, въ средѣ крестьянъ родилось сомнѣніе, перешедшее въ общій говоръ, что онъ скрылъ ихъ. Одинъ Бычковъ заступился за него, пристыдивъ односельчанъ его въ несправедливыхъ нападкахъ на человѣка и безъ того убитаго несчастіемъ и, благодаря его справедливому голосу при повальномъ обыскѣ, о поведеніи Тарасова слышались одни одобрительные отзывы объ немъ, вслѣдствіе чего и самое дѣло о потерѣ имъ денегъ прекратилось съ пополненіемъ суммы, безъ всякихъ другихъ послѣдствій.

Зная слабость Матвѣя Степановича, Данила Иракліевичъ угостилъ его водкой и за чаемъ, также нарочно приготовленнымъ для него, незамѣтно отклонился отъ разговора о домашности къ интересовавшему его дѣлу, предстоящаго выбора старшины.

— Не тѣ ужъ нонѣ порядки, Матвѣй, какіе, говорю, допрежъ были! — дружески жаловался онъ. — Нонѣ ужъ всякъ норовитъ своимъ умомъ жить, незнать набольшихъ!

— На то и умъ данъ отъ Бога каждому, штобъ жить имъ! Чего-жъ скучать-то это, и худой умъ, да все свой, чѣмъ и добрый, да чужой!

— Отъ ума-то непорядки одни, непорядки, говорю! Есть вотъ тутъ учитель такой, выискался, народъ мутитъ!

— Кто-жъ бы?

— Неужъ не слыхалъ про Бычкова?

— Егора-то Семеныча, што-ль?—спросилъ Матвѣй Степановичъ, прищурившись и пристально глядя на Данилу Иракліевича.

— Ну, ну, Семеныча-то этого, што прежде все Егоркой кликали, а нонѣ и въ Семенычи произвели!

— Знаю его, какъ не знать! А чему-жъ онъ учитъ-то?—вкрадчиво спросилъ Матвѣй Степанычъ, съ какою-то двоедушною улыбкою въ лицѣ.

— Бо-ольшія науки-то его, разсказывать-то всѣ и языкъ свихнешь!

— Не слыхивалъ!.. Объ чемъ же это онъ, любопытно-бъ?

— Насъ сократить хочетъ—торгующихъ!..

— О-о!.. За што-жъ такъ взъѣлся?

— Міръ, говоритъ, зоримъ, ха-ха-а... Вишь, на мірскія слезы палаты наживаемъ, а мужикъ робитъ на насъ, што на баръ!

— Гля-яди-жъ!.. И-и не слыхивалъ, а чѣмъ же это онъ сократить-то хочетъ?

— Старшиной, вѣдь, сядетъ, такъ какъ же иначе-то, у старшины власти много, ну, и хочетъ всѣ хлѣбные магазеи пополнить, недоимку собрать, а скупщикамъ, разорителямъ-то, и ходу въ міръ не давать! И посредника-то, говоритъ, сокращу съ писаремъ, недокуда имъ народомъ-то помыкать, што непутной овцой, всякую правду установитъ, а-а-ахъ-ха-а!

— И установитъ, отъ него станется! — прервалъ его Матвѣй Степановичъ.

— Онъ-то?.. Да ты думашь, такъ онъ и сядетъ въ старшины-то, а? Нѣтъ, Матвѣй, дай Богъ здоровья Клемену Иванычу — истинно начальникъ!.. Не пуститъ онъ экаго блуда въ міръ... или меня, говоритъ, не будетъ, аль Бычкова со-о-отру! А старшиной-то мой Трофимъ будетъ!

— О-о!.. Ну, это худо! — внезапно измѣнившимся тономъ отвѣтилъ Матвѣй Степанычъ.

— Чего худо? — съ изумленіемъ глядя на него, спросилъ онъ.

— Этакого-то человѣка, какъ Егоръ Семенычъ, да стереть, — продолжалъ Матвѣй Степановичъ, укоризненно качая головой — ху-удо, это худо, Данила Еракычъ, што нашелся человѣкъ по волости съ умомъ, да съ чистой совѣстью, такъ его и стереть, а? Э-эхъ, не мнѣ бы слушать, а не тебѣ бы говорить это! — заключилъ онъ.

Данила Иракліевичъ съ минуту смотрѣлъ на него, среди наступившаго молчанія, съ глубокимъ недоумѣніемъ. Крючковъ, торопливо допивавшій чай, спѣшно накрылъ чашкой блюдце, положивъ оставшійся сахаръ на донышко ея и, лукаво покрякивая, смотрѣлъ на безмолвную, происходящую предъ нимъ, сцену.

— Чего-то я слушаю, да и не вѣрю, ушамъ-то своимъ, говорю, не вѣрю! — произнесъ Данила Иракліевичъ, — никакъ и ты съ его голоса запѣлъ, а?..

— Неужто правду-то поютъ только съ чужого голоса, а?.. — спросилъ его въ свою очередь Матвѣй Степанычъ.

— Пра-авда! да гдѣ она, правда-то эта?.. Чѣмъ онъ человѣкъ-то, по твоимъ словамъ, съ умомъ, да съ совѣстью, — нут-ко?..

— Э-эхъ, Данила Еракычъ!.. Этотъ человѣкъ, если сказать тебѣ, то всѣ-то мы, сколько и ни есть насъ, пяты его не стоимъ!

— А-а!.. Эвона ка-а-акъ!.. И я бы это...

— А штожъ бы ты такое, какая особица-то?..

— Никакъ ты, Матвѣй, погляжу я, опьянѣлъ, аль такъ ужъ съ

нищеты-то забылся! — изумленно расширивъ глаза, произнесъ Данила Иракліевичъ.

— Передъ кѣмъ бы это мнѣ забыться-то, а? Што ты нищетой-то меня коришь? — весь вспыхнувъ и дрожащимъ отъ волненія голосомъ, заговорилъ Матвѣй Степановичъ. — Божья воля была дать мнѣ — въ Его волѣ и отнять! О-опьянѣлъ!.. Аль правду-то, думашь, только пьяные говорятъ, а-а? И ты теперь грѣха не знашь, на экаго человѣка, какъ Бычковъ, поклепъ нести, а? Што онъ тебѣ сдѣлалъ худого? Учитъ онъ міръ добру, а не худу, и слава тѣ Господи, што слушаютъ его. Мно-ого Богъ далъ ему и ума, и совѣсти!

— А-а-ахъ, Матвѣй, Матвѣй, — съ улыбкой сожалѣнія, качая головой, прервалъ его Данила Иракліевичъ, — связался я съ тобой, какъ съ путнымъ, по душѣ... было...

— А я, вишь, и не путный, а-а, што не потрафляю твоимъ-то словамъ! Есть у тебя кому потрафлять-то имъ и безъ меня, правды-то только тебѣ никто не скажетъ!

— А-а... такъ не ты-ль это меня учить-то пріѣхалъ? — съ проніей спросилъ онъ.

— По Божьи, слѣпому завсегды дорогу укажу!

— Это я слѣпой-то?

— Ты!

— Ну, нечего дѣлать, надоть экому зрячему человѣку, што на путь направляетъ, пониже поклониться, — и, вставъ съ сундука, Данила Иракліевичъ съ глубокой насмѣшкой поклонился ему. — До-о-оволенъ-ли, а? — спросилъ онъ, садясь, — я все думалъ, въ простотѣ-то, што дальше всѣхъ гляжу, а на дѣлѣ-то и слѣпой оказался, а-а-ахъ, ха-ха-а... И дуракъ же ты, дуракъ! — качая головой, началъ онъ, — да тебѣ ли съ твоимъ умомъ учить-то меня, а-а?..

— Ты свою-то болѣзь, Ераныч, на чужу голову не складывай! ужъ коли пошло на правду, такъ знай, што дуракъ-то не я, а ты-ы, да еще непочатый дуракъ-то...

— Да... да... да... ты што это, въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ ужъ забылся...

— Скажи ты на милость, што ты за человѣкъ за такой, што съ тобой и не разговаривай, што ты за особь, што всѣхъ ругашь, а тебя и не тронь... такой же мужикъ, какъ и я, какъ и всѣ мы, што деньгами начиненъ, какъ постный пирогъ кашей, про-ости меня Господи! такъ вѣдь деньги-то ума не даютъ, а погляжу на тебя, такъ и послѣдній-то, какой былъ, отнимаютъ! Ужъ больно ты не въ мѣру зазнался! Вбилъ тебѣ Трофимка твой въ голову, што ты уменъ, штобы крѣпче

тебя дурачить, да обокрасть, а ума въ тебѣ и совсѣмъ нѣтъ... дурь одна... замѣсто его! Неужъ, кабы у тебя умъ-то былъ, такъ сталъ бы ты мѣнять такого человѣка, какъ Егоръ Семенычъ, на своего Трофимку! Твой-то Трофимка все-свѣтный мошенникъ, подхалимъ, только дурачитъ всѣхъ!.. Неужъ, ты думаешь, мы и не знамъ, што ты посреднику коня свелъ, штобъ его въ старшины посадить, а?.. Штобъ легче вамъ всѣмъ народъ-то грабить...

— Я... я...—и Данила Иракліевичъ побагровѣлъ, и, захлебнувшись отъ душившаго его волненія, закашлялся и, качая головой, схватывался отъ удушья за грудь.

— Што-о, пе-ершитъ?.. По-о-годи, не такая исшо перхоть тебя отъ Трофимки-то возьметъ! Наплюетъ онъ тебѣ въ карманы-то! Придетъ пора-а-а, вспо-омнишь, Еракычъ, и Матвѣя Тарасова, вспомнишь его слова! Богъ меня подъ старость нищетой убилъ,—съ дрожью въ голосѣ говорилъ онъ, колотя себя въ грудь,—да не отнялъ ни ума, ни совѣсти, а съ ними можно и нищимъ жить.

— Ефимъ!..—крикнулъ, наконецъ, Данила Иракліевичъ сквозь кашель, обращаясь къ Крючкову:—выгони его!

— Не пойду исшо!.. Я вотъ тѣ прежде образумлю отъ твоей-то дури, што ты затѣялъ съ посредникомъ-то своимъ! Неужъ будетъ путь, коли твой Трофимка въ старшины сядетъ? И безъ того мужику ни у кого пристанища нѣтъ, да исшо и старшину-то ему на шею садите, што за грошъ душу продастъ, а?

— Поди изъ моего дома вонъ, и не знай его, иди... иди!—оправившись, наконецъ, отъ кашля, крикнулъ Данила Иракліевичъ, вскочивъ съ сундука. Лицо его было багрово, глаза слезились отъ недавняго напряженія и рука, захватывавшая полу халата, дрожала.— Иди... Иди! — кричалъ онъ, намѣреваясь схватить за руку Матвѣя Степановича, но послѣдній всталъ, не ожидая этой любезности.

— У-уйду! — произнесъ онъ, направляясь къ двери, вмѣстѣ съ Крючковымъ, на лошади котораго и пріѣхалъ въ Ш...ъ. — Погоди исшо, Данила, вспо-о-мнишь ты меня!— говорилъ онъ, спускаясь съ крыльца. — Трофимъ-то тебѣ протретъ глаза, што и правду увидишь тогда и поумнѣшь, а мнѣ плевать на тебя и съ твоими деньгами.

Но Данила Иракліевичъ уже не слушалъ его. Захлопнувъ дверь, онъ напустился на племянницу, прибиравшую со стола чайную посуду, за то, что всякую свинью поятъ чаемъ, забывъ, что въ домѣ все дѣлалось по его приказанію; за подобное расточительство не ею нажитаго добра онъ грозилъ ее выгнать вмѣстѣ съ мужемъ и дѣтьми вонъ изъ дома. И весь тотъ день бушевалъ Данила Иракліевичъ, находя по-

минутно предлоги ругать то безотвѣтнаго племянника, то работника Анфима, дюжаго и угрюмаго человѣка, имѣвшаго странную привычку сморкаться въ рукава рубахи, то страдавшую одышкой и сидѣвшую неподвижно на полатяхъ супругу. И даже, чего никогда не случалось съ нимъ, выгналъ вонъ Трофима Кирилловича, пришедшаго было къ нему за какимъ-то совѣтомъ.

Въ то время, какъ дѣйствующія лица описанныхъ сценъ отвлекали крестьянъ отъ лучшаго изъ нихъ и уважаемаго ими человѣка, избравъ своимъ орудіемъ деньги, противъ него давно шла агитація, направленная совершенно съ другой стороны. Послѣ свиданія волостного писаря съ Клементіемъ Ивановичемъ, по волости неожиданно разнеслись слухи, Богъ вѣсть гдѣ взявшіе свое начало, волнуя и тревожа умы крестьянъ. Такъ говорили, что во время проѣзда черезъ К. уѣздъ одной весьма важной особы, Бычковъ подговаривалъ крестьянъ представить мирового посредника и чиновъ земской полиціи проѣзжавшей особѣ, какъ людей, угнетающихъ разными прижимками народъ, и всѣмъ обществомъ на колѣнахъ просить у особы защиты отъ нихъ и наказанія ихъ за угнетенія .. Говорили также, что когда, въ ожиданіи проѣзда особы, по волости шла экстренная и дѣятельная поправка дороги, то Бычковъ уговаривалъ крестьянъ бросить работу, увѣряя ихъ, что поѣздка особы есть ложно выдуманный слухъ посредникомъ и земскими властями, съ цѣлью, оторвавъ народъ, въ дорогое для него время полевыхъ работъ, собрать съ него крупную взятку за увольненіе отъ исправленія дороги, и многіе крестьяне потому только своевольно бросали поправку дороги и уѣзжали въ деревни, что слушали Бычкова. Когда же слухъ о проѣздѣ особы подтвердился, то Бычковъ, въ оправданіе себя предъ народомъ, говорилъ, что дороги приказано править за деньги, для чего и отпущено изъ казны 30.000 руб., но деньги эти посредникъ и земскія власти скрыли, подѣливъ между собой, народъ же заставляютъ править дороги безплатно. И, благодаря подобнымъ завѣреніямъ его, крестьяне противились свозить лѣсъ, необходимый для мостовъ и перилъ къ нимъ, и для перилъ къ оврагамъ и спускамъ съ крутыхъ и обрывистыхъ горъ. Что тотъ же Бычковъ, вмѣстѣ съ крестьяниномъ А—ъ, передъ проѣздомъ особы, разъѣзжали по деревнямъ, уговаривая народъ къ подачѣ прошеній на посредника, и А—ъ, какъ грамотный, самъ сочинялъ ихъ отъ имени крестьянъ, выдумывая на послѣдняго различныя, небывалыя преступленія по должности.

Передавать все то, что говорилось въ это знаменательное время

по У... волости, гдѣ дѣйствующимъ лицомъ вездѣ являлся Бычковъ, было бы лишнимъ... Достаточно сказать, что всѣ слухи заканчивались зловѣщею угрозой, что Бычкова привлекутъ къ слѣдствію и посадятъ въ острогъ. Какъ дѣйствовали всѣ эти новости на крестьянъ, особенно съ придаткомъ въ заключеніе ихъ слѣдствія и острога, я также не считаю нужнымъ разъяснять. Люди, сколько-нибудь знакомые съ жизнью нашего народа и со всѣми формальностями стараго судопроизводства, поймутъ это и безъ посторонннихъ разъясненій. Скажу только одно, что въ понятіи народа вкоренено тяжелыми, вѣковыми испытаніями убѣжденіе, что всякое слѣдствіе равносильно само по себѣ полному разоренію и гибели человѣка, острогъ же — только достойный начала финалъ.

Конечно, большинство крестьянъ, выслушавъ все это отъ какого-нибудь словоохотливаго, заѣзжаго мужика, скептически покачивая головами, прибавляло: „да не подвохъ ли исшо это подъ Егора-то? Мужикъ-то онъ основательный, тоже, братъ, зря-то въ омутъ не кинется!“ и тѣмъ чаще мысль эта появлялась у нихъ, что по волости давно не составляло секрета, какъ Безсомыкинъ, Вешняковъ и другіе задаютъ деньги только тѣмъ изъ крестьянъ, которые обѣщаютъ держать сторону Трофима Кирилловича. „Но, какъ знать, тутъ же съ раздумьемъ и добавляли они:—чужая душа потемки! А что Бычковъ съ начальствомъ мужикъ зазористый, не потаишь грѣха!“ Находились и такіе, болѣе любопытные люди, что, имѣя какое нибудь дѣло въ волости, между разговоромъ закидывали писарю вопросъ: „правду ли все это въ народѣ про Бычкова-то говорятъ?“ и получали отъ него лаконическій отвѣтъ, отъ котораго не одного любознателя кинуло въ дрожь, „при слѣдствіи-де все раскроется!“ „Ой-ой!“—тихо толковали крестьяне, выслушивая любознателей и чувствуя такое же впечатлѣніе на себѣ, какое охватывало и ихъ отъ фразы писаря,—„творится чего-то не на шутку, братцы... Ой, таперя надоть языкъ-то покрѣпче за зубами держать, да почашше оглядываться!“ Въ возможности же подобнаго слѣдствія нельзя было сомнѣваться; всему уѣзду было извѣстно, что въ одной изъ волостей болѣе мѣсяца жилъ особо присланный чиновникъ, производя изслѣдованіе по дѣлу въ родѣ такого же.

Въ болѣе развитой средѣ всегда бы родилась при этомъ мысль: „да кому же все это говорилъ Бычковъ, кто видѣлъ, что онъ мутилъ крестьянъ противъ посредника? Какихъ деревень крестьяне, послушавъ единственно его, съѣзжали самовольно съ дорогъ, бросая поправку ихъ и т. д.“ Но это возможно было бы тамъ, гдѣ существуетъ общественное мнѣніе, гдѣ дорожатъ имъ, какъ лучшей гарантіей об-

щежитія, гдѣ каждый человѣкъ находитъ въ немъ нравственную опору. А возможно ли оно въ средѣ полутемнаго міра?

Долетали эти слухи и до Бурановой и не могли не доходить до Егора Семеновича. Не смотря ни на какую обстановку, различіе условій и положеній, человѣкъ всегда и вездѣ обладаетъ одинаковыми недостатками. Кто откажетъ себѣ въ удовольствіи не передать подъ формою доброжелательства своему ближнему всего, что говорятъ про него дурного?.. И, не смотря иногда на всю мѣру уваженія къ подобному человѣку, у кого не появляется какое-то злорадное желаніе: „а ну-ко-де, посмотрю я, какъ это передернетъ тебя?“ И тѣ же самые люди, если не утаятъ, то передадутъ вамъ съ крайнею неохотою все хорошее, касающееся васъ, нерѣдко у самыхъ добродушныхъ и даже нравственно развитыхъ людей является при этомъ что-то въ родѣ зависти. Такъ и среди односельчанъ Егора Семеновича находились такіе доброжелатели, передававшіе ему, нерѣдко съ добавленіями своего собственнаго измышленія, все, говорившееся про него. Какъ и слѣдовало ожидать отъ человѣка съ твердымъ характеромъ, Егоръ Семеновичъ относился къ слухамъ про него болѣе чѣмъ равнодушно. Онъ смѣялся, узнавши о гоненіи, воздвигнутомъ на него Данилой Иракліевичемъ съ компаніонами, и уговаривалъ болѣе бѣдныхъ крестьянъ воспользоваться благопріятнымъ случаемъ для поправленія стѣсненныхъ обстоятельствъ. „Теперь они и по двадцати копеекъ на пудъ надбросятъ, такъ чего-жъ зѣвать-то: съ паршивой овцы и шерсти клокъ—прибыль!“ И тѣмъ съ большимъ равнодушіемъ онъ относился къ проискамъ ихъ, что не только не добивался званія старшины, хорошо сознавая тяжелое, положеніе въ какое будетъ поставленъ, и для него, какъ для человѣка небогатаго, всякая общественная служба должна была повлечь, если не полный, то значительный упадокъ хозяйства; но когда ему передавали общее желаніе волости имѣть его старшиной, то онъ говорилъ: „не пойду!“ и говорилъ это такъ же искренно, какъ искрено желалъ добра каждому... смѣялся Егоръ Семеновичъ надъ слухами и предостереженіями односельчанъ „почаще поглядывать около себя!“ до тѣхъ поръ, пока не сталъ замѣчать, что за нимъ дѣйствительно наблюдаютъ, слѣдятъ каждое его слово, каждый шагъ. Все чаще и чаще въ удаленную Буранову стали навѣдываться то волостные чины, то мужички, пользующіеся репутаціей „пріятеля писаря“. И мало того: вся родня его, всѣ его свояки и братья подвергались такимъ же наблюденіямъ и даже притѣсненіямъ. Такъ родной братъ его, человѣкъ совершенно съ другимъ складомъ характера, скромный и безотвѣтный, выселившійся при жизни отца изъ Бурановой въ село Т—ъ, пріѣхалъ однажды къ нему,

то слезами, жалуясь на незаслуженныя гоненія. Писарь настаивалъ, чтобъ онъ разобралъ избушку, выстроенную будто бы на чужой землѣ, и снесъ самый домъ, выдававшійся изъ линіи улицы. Избушка была поставлена уже нѣсколько лѣтъ и никто не изъявлялъ претензіи на землю подъ ней, какъ и на то, чтобъ выдававшійся домъ его портилъ линію улицы или планъ села. Этого факта было достаточно, чтобъ Егоръ Семеновичъ перемѣнилъ взглядъ на дѣло, сначала казавшееся шуточнымъ. Онъ понималъ, что можно относиться равнодушно ко всему, касающемуся личныхъ интересовъ его, но не тогда, когда страдательными лицами являются люди ни въ чемъ неповинные. Онъ понялъ и то, что для него настала минута борьбы, и борьбы не шуточной, въ которой каждая ставка этой темной игры должна повлечь за собой разореніе не одного его, но и другихъ лицъ, причастныхъ къ нему или узами родства или дружбы. И изчезла улыбка съ лица его, все сумрачнѣе и сумрачнѣе становился онъ, при каждомъ долетавшемъ до него слухѣ, хотя какъ ни сильно было сознаніе своей собственной правоты въ его возмущенной душѣ. Многое онъ понималъ слишкомъ ясно, для простого, развитого только опытомъ ума, но не понималъ одного, что подобное сознаніе—весьма слабая гарантія въ борьбѣ человѣка, какъ бы онъ ни былъ нравственно высокъ, какой бы не обладалъ энергіей, противъ интриги, на сторонѣ которой были люди, болѣе сильные, чѣмъ онъ. И кто же онъ, въ сравненіи съ ними? Простой и даже небогатый крестьянинъ, самая жизнь котораго всегда можетъ дать случай смять, уничтожить его безъ всякихъ усилій. И гдѣ же искать защиты? У кого? Какое начальство возьметъ сторону крестьянина въ борьбѣ съ посредникомъ и съ своимъ же братомъ, богатымъ мужикомъ?

На другой же день, послѣ пріѣзда брата, Егоръ Семеновичъ поѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ въ село Т—ъ, гдѣ находилось волостное правленіе, считая нравственною обязанностію заступиться за него. Притѣсненія брата были открытый вызовъ, брошенный ему писаремъ. Онъ зналъ, что писарь есть источникъ всѣхъ слуховъ, распространяемыхъ про него, и нерѣдко намекалъ крестьянамъ при разговорѣ: „что щепки-то отъ купленныхъ лѣсинокъ далеко летятъ!“ Догадывались и крестьяне, на что намекалъ онъ. День былъ праздничный, когда, пріѣхавши въ Т—ъ, онъ пошелъ въ волость къ писарю. Въ праздничные дни въ волостныхъ правленіяхъ всегда бываетъ болѣе дѣла и народа, особенно весной, лѣтомъ и осенью, когда будни посвящаются полевымъ работамъ. Въ праздничные дни сельскіе старосты спѣшатъ сдавать деньги, собранные въ подать, въ эти же дни наѣзжаютъ вызываемые по разнымъ дѣламъ и справкамъ крестьяне, и нерѣдко для

экзекуцій, по рѣшеніямъ окружного суда по малозначительнымъ дѣламъ, о покражѣ бадейки меду, двухъ, трехъ копенъ сѣна и т. п., по дѣламъ, тянувшимся лѣтъ по шести, по семи, о которыхъ и преступники, всегда круглые бѣдняки, забыли давно. Въ праздничные дни въ волости тѣснятся и мѣстные крестьяне, заходя посмотрѣть, что дѣлается въ ней, послушать, что говорятъ, для нихъ волость и почерпаемыя въ ней свѣдѣнія замѣняютъ журналы и газеты.

Писарь и помощники его занимались подготовленіемъ вѣдомостей о количествѣ выданнаго въ ссуду хлѣба изъ сельскихъ запасныхъ магазиновъ для засѣва полей. Одни богатые крестьяне засѣваютъ поля своимъ зерномъ. Большинство же беретъ для этого въ ссуду изъ магазиновъ, и нерѣдко въ весеннее время ими разбирается весь хлѣбъ, пополняемый потомъ осенью изъ свѣжаго умолота и тѣми полупудками, какой обязанъ вносить ежегодно каждый крестьянинъ, для составленія основного хлѣбнаго капитала *). Появленіе Егора Семеновича въ волости, благодаря всеобщему говору про него, придало къ нему еще болѣе вниманія, чѣмъ прежде. Въ тѣснящейся кучкѣ крестьянъ все стихло и инстинктивно разступилось, очистивъ ему путь къ писарскому столу, и затѣмъ плотною стѣною окружило ихъ. Десятки глазъ впились въ высокую, сановитую фигуру его, одѣтую въ нанковый халатъ, опоясанный кумачнымъ кушакомъ, въ выразительное лицо, полное самообладанія при взглядѣ на писаря, съ изумленіемъ поднявшаго при видѣ его голову. Моментъ былъ достойный наблюденія, и стоявшіе въ заднихъ рядахъ крестьяне поднимались на носки, наваливались на плечи переднихъ и жадно глядѣли и еще слушали, хотя ничего не было слышно, въ воцарившейся кругомъ тишинѣ. Они подмѣтили только, какъ писарь незамѣтно отодвинулся подалѣе отъ стола и на худощавомъ, постоянно блѣдномъ лицѣ его выступилъ румянецъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ двадцати трехъ, высокаго роста, съ флегматической походкой и жестами, вызываемыми скорѣе болѣзненностью, чѣмъ привычками, въ которыхъ бы отражался сформировавшійся характеръ. Житье Петра Степановича было очень завидное по своей комфортабельности и при-

*) Въ средѣ алтайскихъ инородцевъ, вносящихъ подать ясакомъ, не существуетъ этого благодѣтельнаго учрежденія, хотя большинство ихъ давно ведетъ осѣдлую жизнь и занимается хотя и небольшимъ хлѣбопашествомъ, насколько дозволяютъ имъ условія гористой мѣстности, и большинство ихъ «аиловъ» или «улусовъ» не уступаетъ въ обстройкѣ деревнямъ. Благодаря недостатку этого учрежденія, они постоянно входятъ во время голодовъ съ ходатайствомъ о ссудѣ ихъ хлѣбомъ изъ крестьянскихъ запасныхъ магазиновъ, что соединяется съ большою проволочкою времени и часто вызываетъ печальные случаи смертностей, буквально. съ голода.

волью. Въ непродолжительное время служенія онъ выстроилъ домъ нѣмецкой, игрушечной архитектуры, напоминавшей флигеля, примыкавшіе къ капитальнымъ постройкамъ въ усадьбахъ богатыхъ помѣщиковъ. Обстановка внутри дома также напоминала скорѣе помѣщичье житье, чѣмъ житье волостнаго писаря съ тремя стами рублей содержанія. Съ крестьянами онъ велъ себя недоступно, удостоивая пожатіемъ руки одного волостного старшину, съ чинами земской полиціи гордо и самонадѣянно, относясь къ нимъ скорѣе какъ равный, чѣмъ подчиненный. Эта же самонадѣянность и гордость проглядывала и въ отношеніяхъ его къ Шлепфельду и, повидимому, нисколько не смущала послѣдняго, хотя въ другихъ случаяхъ онъ относился весьма чувствительно ко всему, что затрогивало его самолюбіе. Проѣзжали-ли когда по участку значительныя лица, Клементій Ивановичъ всегда приказывалъ приготовлять квартиру и обѣдъ для лицъ у Петра Степаныча, при чемъ и представлялъ его лицамъ, какъ достойнаго по своимъ качествамъ писаря. Достоинства эти и отражались во всѣхъ служебныхъ дѣйствіяхъ Петра Степаныча въ формѣ „превышенія власти“ и впослѣдствіи разбили его карьеру.

Не скоро овладѣлъ собою Петръ Степанычъ, съ лихорадочною торопливостью перебирая книги и вѣдомости, къ какой безсознательно прибѣгаютъ люди, замаскировывая непріятное впечатлѣніе, вызванное чьимъ-нибудь посѣщеніемъ, и желая собрать въ это время во что-нибудь опредѣленное парализованныя мысли. Торопливость эта еще болѣе возбуждалась у него инстинктивнымъ чувствомъ на себѣ спокойнаго и наблюдательнаго взгляда противника и обращенныхъ на него взглядовъ посторонними зрителями. Ему въ то же время было и досадно, что онъ выдалъ себя этимъ непрошеннымъ смущеніемъ предъ человѣкомъ, котораго ненавидѣлъ, но хорошо сознавалъ, что не можетъ первенствовать надъ нимъ.

— Ты долго, Петръ Степанычъ, будешь разбираться съ бумагами-то? — съ характерной улыбкой спросилъ его Егоръ Семенычъ, заткнувъ пальцы рукъ за кушакъ.

— Отчетъ обязанъ я тебѣ отдавать, што-ли, долго ли чего буду дѣлать? — дрожащимъ и задорливымъ съ досады голосомъ отвѣтилъ онъ, не глядя на него.

— Отчета мнѣ въ эвтомъ отъ тебя и не надоть, а я бы въ другомъ кое-чемъ хотѣлъ поспрошать его!

— Начальникъ ты мой, што-ль? — спросилъ онъ, весь вспыхнувъ и гордо взглянувъ на него, — ты зачѣмъ сюда пришелъ-то, что тебѣ чужно?

— Что мнѣ надоть, не утаю, на то и спрашиваю: дѣламъ-то твоимъ не мѣшаю-ли, а то я и обожду, коли тебѣ къ спѣху, мнѣ-то время терпитъ!

— Если тебѣ што... нужно... дѣло какое, говори!

— Што мнѣ надо-то? Мнѣ много, Петръ Степанычъ, надо! Я вотъ терпѣлъ, терпѣлъ, да и счеты свесть пріѣхалъ, недоимка-то на тебѣ ужъ большая накопилась. Пора ее и съ косточекъ скинуть!—неторопливо, но полнымъ аргументаціи голосомъ отвѣтилъ онъ.

Петръ Степановичъ поблѣднѣлъ. Фигура говорившаго была такъ внушительна, что, въ дополненіе къ слышанному, въ умѣ его внезапно промелькнула мысль: „медвѣжье пугало!“

— Наперво, скажи-ко ты мнѣ,—тихо продолжалъ онъ, не ожидая отвѣта,—изъ какихъ порядковъ ты моему брату велишь избушку-то снести и домъ-то сломать, а?

— Ты что-жъ это допрашивать пріѣхалъ меня? — снова вспыхнувъ, дрожащимъ голосомъ спросилъ писарь.

— Аль ужъ ты такой недотрога, што тебя и не спроси, а? Ты въ сердце-то не входи, Петръ Степанычъ, а разговаривай-то потише, да толкомъ! Я вѣдь не пужливый, штобъ предъ тобой-то сробѣть, а на сердце-то и у меня сердце найдется, да только ловко-ли оно будетъ тебѣ, коли я-то его показывать стану? Такъ ты, говорю, потише будь, ты вѣдь не начальство какое, а писарь! Нонѣ и начальство-то съ нашимъ братомъ разговариваетъ, такъ ужъ тебѣ-то заѣдаться совсѣмъ не къ лицу! Я вотъ затѣмъ и пріѣхалъ, штобъ спросить тебя, а ты и отвѣть мнѣ тихимъ манеромъ, коли на этакой порядокъ есть законъ, я и замолчу, а коли нѣтъ, такъ ты мнѣ резонъ укажи, а не серчай!

— Это по приказанію посредника дѣлается! — отвѣтилъ Петръ Степановичъ, покраснѣвъ и потупившись.

— Бумагу онъ тѣ далъ на это какую, што-ли?

— Словесно!..

— Што-жъ это онъ такъ тебѣ-то приказалъ это, а? Вѣдь, на то старшина есть волостью-то править. Ну, старшины нѣтъ теперь, такъ кандидатъ по немъ до время правитъ! А коли онъ тебѣ приказалъ, такъ тебѣ бы, по-моему, въ этакое дѣло, што тебя не касающее, и не лѣзть бы, а передать бы старшинѣ его приказъ! А то, вишь, и старшина и староста всѣ молчатъ, а ты одинъ грозишь своей рукой разметать по бревнамъ! А посреднику бы она чѣмъ помѣшала, коли никому другому не мѣшаетъ? Изба и домъ, почесть, двадцать лѣтъ стоятъ на мѣстѣ, никому не мѣшали, а нонѣ посреднику, што за полтораста верстъ отъ насъ въ городѣ живетъ, помѣшали, и-и диво, ей-Богу, диво!..

Въ толпѣ прокатился смѣхъ. Обвернувшись, Егоръ Семеновичъ съ ироніей посмотрѣлъ на нее, и смѣхъ усилился и превратился въ дружный хохотъ, кой-гдѣ и съ отрывочными фразами: „ва-а-жно... ло-овко парень!“ и т. д. Писарь тоже оглянулся и, прищурившись, долго пристально смотрѣлъ на толпу, какъ бы желая запомнить физіономіи, мелькавшія въ ней. И точно понявъ его намѣреніе, задніе внезапно спустились съ носковъ и скрылись за рядами переднихъ, передніе же замолкли, неловко переминаясь.

— Такъ ужъ ты, Петръ Степанычъ,—снова началъ Егоръ Семеновичъ,—до-время-то не струни моего брата, мы и сами посредника-то спросимъ, въ чемъ ему помѣхой изба его, по какимъ порядкамъ ломать крестьянскія избы да дома, што по двадцати лѣтъ на мѣстѣ стоятъ, никому не мѣшаютъ! А таперя, вторительнымъ дѣломъ, скажи ты мнѣ: што тебѣ тоже посредникъ наказалъ, што-ли, экіе-то страхи про меня разсказывать, а?—и онъ пристально взглянулъ на него.

Какъ ни оправился Петръ Степановичъ, но вопросъ Егора Семеновича, касавшійся весьма щекотливаго дѣла, кольнулъ его и вызвалъ въ лицѣ багровыя пятна.

— Какіе страхи? — съ плохо замаскированнымъ изумленіемъ спросилъ онъ.

— Ты лучше знашь, такъ чего-жъ спрашиваешь, какіе? Неужъ ты думашь, Петръ Степанычъ, што мы ужъ такіе дураки, што и, въ самомъ дѣлѣ, не знаемъ, отколь какой вѣтеръ дуетъ, а? Ну-ко, скажи ты мнѣ теперь, какое слѣдствіе надо мной то будетъ, по какимъ-такимъ причинамъ?..

— Я съ тобой, Бычковъ, не намѣренъ разговаривать, слышишь!— отвѣтилъ писарь, все болѣе и болѣе краснѣя.

— Што-жъ такъ, аль ты только выдумывать, да разсказывать умѣшь, а отвѣтъ держать не твое дѣло?

— Скажи ты мнѣ, Бычковъ, что тебѣ нужно отъ меня, что ты привязываешься ко мнѣ? — снова тѣмъ же задорливымъ тономъ спросилъ Петръ Степановичъ.—Про него тамъ говорятъ, а онъ ко мнѣ лѣзетъ, да ты съ чего это взялъ-то, что я выдумываю про тебя?

— Не серчай, ой, не серчай и сердце свое спрячь, — прервалъ его Егоръ Семеновичъ.—Знаю я тебя давно, ты свиснешь, а я ужъ смыслю! Молодъ ты исшо въ эти-то игры играть, не обожгись, мотри! Ишь вотъ ты какой пакосникъ, не хуже кошки, только заячьей-то трухи въ тебѣ не по норову много! Ты разсказывалъ и встрѣчному, и поперечному, што надо мной слѣдствіе будетъ, всякія угрозы на меня наводилъ, а до дѣла дошло, и отъ своихъ словъ отперся... Бе-естыжіе

твои глаза! И неужъ ты думалъ напугать меня слѣдствіемъ-то, да каторгой! Видалъ ужъ я, Петръ Семенычъ, слѣдствій-то, не напужаешь меня ими, къ чистому-то грязь не шибко льнетъ! Въ каторгу-то тоже, братъ, зря не отправятъ, много надоть дѣловъ-то надѣлать, штобъ до каторги-то дойти, да не изъ тѣхъ я, што экія-то дѣла дѣлаютъ! А вотъ ты исшо мо-о-олодъ, ты бы допрежъ, чѣмъ на другого экой-то ремешокъ надѣвать, по своимъ бы плечамъ его примѣрилъ—не придется-ли исшо тебѣ въ пору! Што-жъ ты молчишь, языкъ-то прикусилъ, а? Вотъ, братцы,—обратившись къ стоявшимъ сзади ихъ крестьянамъ, произнесъ онъ,—людская-то совѣсть, а? Всѣ вы, почесть, знаете, чего только про меня не говорятъ? И слѣдствіемъ-то всякимъ, и каторгой-то уграживали, а дошло до дѣла .. пришелъ прямо свидъ на лицо, и первый выдумщикъ языкъ прикусилъ. Гдѣ-жъ она, правда-то, опосля этого, а?..

— Бычковъ, объ одномъ прошу тебя: уйди лучше отсюда!—произнесъ, весь поблѣднѣвъ, Слатвинскій.

— И не любъ сталъ, какъ правду-то заговорилъ, а?..

— Въ твоей правдѣ не нуждаются, никто ея не спрашиваетъ отъ тебя, слышишь, а время придетъ—все докажется!—произнесъ писарь съ многозначительнымъ удареніемъ на послѣднемъ словѣ.

— Што-жъ докажется-то?

— Говорю, такъ знаю что!

— Это ты правду сказалъ, Петръ Степанычъ, што правда, то правда! Придетъ это время, што все докажется! Докажется, какъ ты и медъ силой сбиралъ, и всякіе твои денежные поборы съ волости! Докажется, Петръ Степанычъ, какъ вы и воровъ, да убійцъ за деньги прикрываете! Ты погляди-ко: ни одного слѣдствія по воровству большому, да убійству не пройдетъ, штобъ вы его на-перво не спутали, да не прикрыли, а? Чижовки-то у васъ въ волости только отъ честнаго люду ломятся, одни воры, да мошенники безъ страха по свѣту гуляютъ! Къ вамъ въ волость-то безъ денегъ мужикъ и не заглядывай, хоть ходи не ходи, толку не добьется, только рубли вамъ ротъ-то отворяютъ, да руки шевелятъ! Ты посмотри-ко, сколько на міру-то однихъ фальшивыхъ бумажекъ расплодилось, а отколь все идутъ—отъ волостныхъ, гдѣ бы выводить экихъ мошенниковъ, а вы прикрываете, коли земскіе съ обыскомъ ѣдутъ къ экому плуту, а вы стороной даете знать ему: „припрячься-де, обыскивать ѣдутъ!“ А какой ни на есть безталанный мужикъ, по простотѣ, ничего не вѣдамши, попадается съ ней, такъ ку-уда тѣ, сичасъ оберете, а коли взять нечего, такъ въ полицію предоставите, купайся-де тамъ!

*

— Ребята, слышите, что онъ говоритъ—будьте свидѣтелями!— обратился писарь къ молчавшей толпѣ.

— Слышутъ, какъ имъ не слыхать.—съ иронiей прервалъ его Егоръ Семеновичъ.—на то и говорю, штобъ все слышали, да въ свидѣтели шли!

— Ну, Бычковъ, отвѣтишь ты за все это!

— Отвѣчу!—снова прервалъ онъ.—Я не въ тебя, прятаться не стану; чего я, Петръ Степанычъ, говорю, такъ знаю! Я вотъ на то и говорю, штобъ отвѣтить! Позаочь человѣка неповиннаго я не стану марать, да вылѣживать всякую прихвосню, хошя и мужикъ-отъ я не грамотный, да у меня совѣсть есть. Я Бога помню. А коли знаю чего сказать, такъ скажу въ глаза при всѣхъ, потому правду говорю! Ты зачѣмъ вотъ со старшиной то Клестеринымъ лонскаго года деньги собиралъ съ мужиковъ, штобъ имъ ихнiй же хлѣбъ на посѣвъ изъ магазеевъ выдать, а? Кто вамъ денегъ давалъ, такъ вы тому первому и выдавали, а кому нечего было дать, такъ того и волочили до самаго зимку-дѣ, иной исшо такъ и уѣзжалъ, обливаясь вмѣсто хлѣбнаго-то зерна слезами, а? Ну, што и это не правда, што-жъ ты не спрашиваешь мужиковъ-то, слышали-ли они, да не ставишь ихъ въ свидѣтели, а?

— Бычковъ...

— Я Бычковъ, ну, што-жъ?

— Чего ты хочешь, на что ты напрашиваешься?

— На правду!

— Кто ты такой, что такъ много-то берешь на себя? Куда ты пришелъ-то, опомнись...

— Въ волость! А што много беру, такъ и сдюжу! По росту, да дородству человѣкъ и ношу на плечи беретъ, на міру-то говорятъ, а вотъ ужъ ты на себя забралъ, Петръ Степанычъ, такъ совсѣмъ не по фигурѣ!

— Я тебѣ одно говорю, Бычковъ: опомнись, гдѣ ты!—сдержанно-дрожащимъ голосомъ, но въ которомъ слышались слезы, прервалъ его Слатвинскiй.

— Помню, въ волости!

— А знаешь-ли ты, что такое волость, какое же ты имѣешь право говорить дерзости въ присутственномъ мѣстѣ? Ты вотъ понимаешь-ли, что это стоитъ?—И писарь указалъ на зерцало.

— А-а-а, во-онъ оно што-о! Ты вотъ меня и зерцаломъ угрозилъ, што при немъ и говорить ничего нельзя, такъ, стало быть, и худого бы дѣлать при немъ ничего не надоть, а пошто же ты взятки-то здѣсь при немъ берешь, а-а? Аль это ничего, такъ и въ законѣ прописано, што

только за правую рѣчь при зерцалѣ отвѣчаютъ, а не за пакость, а? Только правды говорить не велѣно, а дѣлай чего хочешь, а?

Въ толпѣ снова прокатился задавленный смѣхъ.

— Совсѣмъ ты малъ молодецъ, Петръ Степанычъ, какъ погляжу я,—иронически качая головой, продолжалъ онъ,—только вотъ пакосникъ-то не по лѣтамъ, рано ужъ ты больно за эвто-то рукомесло взялся, не порѣжься! Ишь вотъ, ты теперь и стоишь, и хлопаешь глазами, то рдѣешь, какъ кумачъ, то бѣлешь, што холстъ, и не знаешь куда кинуться. Чего-бъ тебѣ сказать, чѣмъ бы угрозить, зажать бы ротъ, штоба правды-то про тебя не говорили. Совѣсть это въ тебѣ стучитъ, Петръ Степанычъ... и пакосникъ хоша ты, а все человѣкъ, и въ тебѣ есть энтотъ молотокъ-то, только не завсе ты ему ковать-то по своей душѣ даешь... А лучше-бы было, кабы ты почашше слушалъ, чего онъ тебѣ наколачиватъ-то!.. Э-э-эхъ, поумнѣй-то, да почеснѣй-то человѣкъ не пригоденъ бы, вишь ты, былъ на твоемъ-то мѣстѣ, вотъ и сажаютъ на наши-то головы такихъ, какъ ты! А лежалъ бы ты, Петръ Степанычъ, на полатяхъ, разводилъ бы съ бабами горохъ; вотъ это бы твое дѣло было самонастоящее, а то влѣзъ ты въ чужу кашу, да не знашь исшо, какъ ее расхлебывать! Ты вотъ одумался-ли, чего затѣялъ, аль одуматься-то некогда... съ чужого голоса пѣлъ свои-то рѣчи, а? Вѣдь теперь ужъ ты не утаишь, вся волость знаетъ, чего ты плелъ на меня-то: и посредника-то я хотѣлъ извести, и народъ-то смутилъ на дорогахъ; съ моего, вишь, голоса онъ съ работъ съѣзжалъ, а вы на Тройцынъ день со старшиной его за деньги распустили, такъ объ этомъ вотъ ты мо-олчишь! Я-то и про тыщи народу наговаривалъ, да я вотъ, вишь, и съ А—ъ ѣздилъ, училъ міръ прошенья на посредника подавать. Да нѣшто самъ-то міръ не знаетъ, чего вы дѣлаете, своихъ-то глазъ, да ушей нѣтъ у него, а? А все ему чужая наука надоть! Молчитъ вѣдь онъ, Петръ Степанычъ, молчитъ, да вѣдь молчитъ-то до время! Придетъ пора и заговори-и-тъ! Придетъ эта пора, сами вы заставите міръ-то заговорить своимъ голосомъ, только любы ли вамъ будутъ тогда рѣчи-то его? А то я вотъ всему, вишь, всѣхъ учу, а?.. Да если-бъ и училъ, да коли вы по правдѣ... по закону-то живете и дѣлаете, такъ чего-жъ бы вамъ чужихъ-то наукъ бояться, а? Вѣдь правда-то, што масло, въ водѣ ты его не утопишь—выплыветъ! Плелъ ты, Петръ Степанычъ, плелъ, страшилъ ты, страшилъ и слѣдствіемъ, и каторгой, а слѣдствія все нѣтъ, да нѣтъ! Такъ что-жъ пужать-то меня? Э-эхъ, Петръ Степанычъ, Петръ ты Степанычъ, да вѣдь коли-бъ слѣдствіе-то было, такъ вѣдь ты бы первой его испужался! Неужъ ты думашь, если бы пріѣхалъ къ намъ путный-

[illegible]

Выборы старшинъ и прочихъ волостныхъ начальниковъ производятся на [illegible]ской, а открытой подачей голосовъ. По закону, наличное число избирающихъ должно составлять не менѣе двухъ третей всего числа [illegible] волости, имѣющихъ право на подачу голоса, т.-е. совершеннолѣтнихъ и самостоятельныхъ домохозяевъ. Подобные сходы

всегда бываютъ шумны, благодаря партіямъ, предъявляющимъ своихъ кандидатовъ на то или другое званіе. Каждая партія считаетъ себя въ правѣ разбирать при этомъ удобномъ случаѣ достоинства и недостатки кандидата и, конечно, за каждымъ изъ нихъ послѣднихъ качествъ всегда оказывается болѣе, чѣмъ первыхъ. Здѣсь считается умѣстнымъ высказать все, что знаютъ про человѣка, и высказать какъ можно болѣе рѣзко и сильно. Сами кандидаты рѣдко посѣщаютъ эти сходы,— кому же пріятно выслушивать про себя горькія и всегда почти правдивыя мнѣнія!

Не ранѣе конца апрѣля, по приказанію Клементія Ивановича, съѣхались въ Т...ъ крестьяне У... волости для выбора старшины. Слатвинскій и не приступалъ къ своей обязанности провѣрить наличное число собравшихся. Напротивъ, его удивило единодушіе, охватившее на этотъ разъ крестьянъ, несмотря на то, что наступило рабочее время, въ которое они дорожатъ не только днемъ, но и часомъ. Въ средѣ ихъ не слышалось оживленныхъ толковъ и предположеній, какіе бываютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда еще неизвѣстно, за чьимъ именемъ останется перевѣсъ. Все было тихо, спокойно; болѣе говорили о своихъ домашнихъ дѣлахъ, чѣмъ о животрепещущемъ вопросѣ, для рѣшенія котораго собрались они, точно вопросъ этотъ давно уже былъ рѣшенъ всѣми и оставалось только оформить его. Конечно, и за Трофима Кирилловича слышалось много голосовъ, принадлежавшихъ не однимъ крестьянамъ, подготовленнымъ антагонистами Бычкова: большинство зажиточныхъ людей, интересы которыхъ вынуждали имѣть въ главѣ своей человѣка своей среды, также стояли за него. Упоминалась отрывками и фамилія кандидата по старшинѣ, правившаго въ настоящее время волостью, и еще двѣ-три фамиліи, но все это были какіе то неясные, лишенные опредѣленной цѣли, звуки, или безслѣдно замиравшіе, не находя себѣ отголосковъ въ большинствѣ, или вызывавшіе общій смѣхъ, конфузившій говорившихъ. Чего никогда не бывало, на сходъ пріѣхалъ и Данила Ираклiевичъ, остановившійся у писаря, около котораго группировались и компаньоны его, кромѣ Трофима Кирилловича, уѣхавшаго по дѣламъ подряда въ Т... Егоръ Семеновичъ не пріѣхалъ, но ко дню пріѣзда посредника, желавшаго присутствовать на сходѣ, за нимъ посланъ былъ нарочный съ приказаніемъ явиться въ волость. Шлепфельдъ остался доволенъ, что Слатвинскій не донесъ офиціальнымъ рапортомъ о поступкѣ Бычкова. Начать слѣдственное дѣло было бы неумѣстно: тогда бы дѣйствительно раскрылись многія темныя стороны дѣйствій волостныхъ чиновъ, и дѣло, начавшееся со снѣжинки, по мѣрѣ своего развитія, превратилось бы

въ лавину, смявъ и уничтоживъ своимъ стремительнымъ потокомъ все попадающееся на пути. Кончить дѣло домашнимъ, келейнымъ образомъ онъ находилъ и выгоднѣе, и безопаснѣе. Вечеромъ наканунѣ дня, назначеннаго для схода, Клементій Ивановичъ пріѣхалъ въ Т... въ щегольской бричкѣ, или, правильнѣе, полуколяскѣ. Завидѣвъ издали экипажъ его съ опущеннымъ фордекомъ, красный околышъ на фуражкѣ и сіяющую на груди цѣпь, народъ, тѣснившійся кучками по улицамъ, снимая шапки, низко кланялся ему, не получая на свою почтительную вѣжливость никакого отвѣта. Остановившись на этотъ разъ на земской квартирѣ, Клементій Ивановичъ послалъ за писаремъ и, узнавъ, что пріѣзда Бычкова можно ожидать не ранѣе слѣдующаго дня, остался недоволенъ его медленными распоряженіями.

На другой день, съ восходомъ солнца, волость постепенно наполнялась собиравшимся въ нее народомъ. Стеченіе его вызвало оживленіе въ селѣ, напоминавшее что-то праздничное. День былъ тихій, теплый, одинъ изъ тѣхъ, какими часто даритъ жителей сѣвера рано начавшаяся весна. Прилегающіе къ селу луга и поля зеленѣли сочными побѣгами свѣжей травы. Холмы напоминали видомъ шахматную доску: правильными квадратами чернѣли по склонамъ ихъ полосы, вспаханныя подъ яровые хлѣба, перемежаясь то ярко-желтой, прошлогодней, полосой пашни, оставленной на отдыхъ, то зеленѣющими озимами. На озерахъ, оставшихся отъ разлива рѣки, и на самой рѣкѣ, вошедшей въ русло, кишѣли стаи домашнихъ утокъ и гусей, оглашая воздухъ своими радостными криками. Пестрѣющія толпы народа, одѣтаго наряднѣе, чѣмъ въ обычные дни, дополняли эту картину. Онѣ осаждали и длинное одноэтажное зданіе волостного правленія, и крылечко, и рѣшетку, обносившую примыкавшіе къ нему садъ и домъ священника, стоявшіе рядомъ съ волостью, и зеленѣющую лужайку около каменной церкви, стоявшей наискось волости. Примыкавшіе къ этой мѣстности три кабака еще наканунѣ, съ утра, были закрыты, какъ требуется это закономъ, на время волостныхъ и сельскихъ сходовъ. Въ самой волости была невыносимая духота и давка, несмотря на раскрытыя настежь двери и окна. Красныя лица тѣснившихся, съ крупными каплями пота на лбу и носу, лучше всего говорили о непріятномъ положеніи ихъ, изъ котораго нельзя было и выйти, чтобъ протолкаться въ толпѣ, тѣмъ болѣе, что густыя массы народа тѣснились и у входа къ двери, и снаружи у оконъ. Въ народѣ мелькали и знакомыя намъ лица: подслѣповатые глазки Макара Васильевича Вешнякова слезились болѣе, чѣмъ когда-либо, — жаръ растравлялъ и безъ того слабые глазные нервы его. Какъ носимый волною, колыхался сжатый въ толпѣ Анфи-

погенъ Борисовичъ Прутковъ. Широкое лице его приняло сине-багровый цвѣтъ и было усѣяно потомъ, какъ передъ утромъ листья лопушника росой, толстыя же губы вздулись и были полуоткрыты. Изъ дальняго угла тоскливо выглядывалъ прижатый къ стѣнѣ Амвросій Николаевичъ Иволгинъ. По странному ли стеченію обстоятельствъ или съ предположенной заранѣе цѣлью, передніе ряды толпы, примыкавшіе къ дверямъ, ведущимъ въ волостную присутственную комнату, исключительно состояли изъ бывшихъ мастеровыхъ упраздненнаго Т... завода — самаго безпокойнаго элемента населенія, выработаннаго печальными условіями жизни. Всѣ они съ дѣтства выросли подъ игомъ обязательныхъ работъ и суроваго дисциплинарнаго обращенія, закалившаго ихъ до полной безчувственности къ физическимъ страданіямъ. Тяготѣвшій надъ ними въ былые дни гнетъ не забилъ ихъ, какъ бы слѣдовало ожидать, но развилъ въ каждомъ изъ нихъ стойкую самостоятельность, готовность оппонировать не тупо, а во имя убѣжденія, выработаннаго осмысленнымъ пониманіемъ дѣла. Этотъ, за немногими исключеніями, грамотный народъ, озлобленный экономическими условіями, въ какія онъ былъ поставленъ, былъ не безопасенъ. Народъ этотъ говорокъ и говорокъ, какихъ мало; ни къ кому такъ не подойдетъ пословица: „за словомъ въ карманъ не полѣзетъ“, какъ къ нему. Отъ большинства его отступились и мировые посредники, и земская полиція, и названіе „заводскій“ умаляетъ въ каждомъ изъ начальствующихъ пылъ строптивости и побуждаетъ обходить ихъ, какъ людей „отпѣтыхъ“.

Комната, въ которой происходило свиданіе Егора Семеновича съ писаремъ, на этотъ разъ была чисто вымыта и убрана, на столы было постлано красное сукно и самый орелъ на зерцалѣ стоялъ прямо, прикрѣпленный воскомъ. Въ ней, кромѣ писаря съ помощниками, собрались и волостные чины въ суконныхъ зипунахъ и тиковыхъ халатахъ, съ привѣшенными на груди мѣдными знаками ихъ достоинства. Въ кругу ихъ стоялъ и Данила Ираклiевичъ — въ силу почета, придаваемаго ему капиталомъ. Часу въ десятомъ пришелъ и Клементій Ивановичъ, чрезъ особенную дверь, прямо въ присутствіе. Выраженіе лица его было насмѣшливо, какъ и всегда, но въ глазахъ, сверкавшихъ изъ-подъ густой складки нависшихъ надъ ними бровей, выражалось слегка возбужденное состояніе. Съ появленіемъ его все стихло, и толпа глухо отозвалась на его привѣтствіе. Болѣе четверти часа прошло среди невозмутимой тишины. Народъ молчалъ, ожидая его слова; молчалъ и Клементій Ивановичъ, приготовляясь къ этому слову. Отъ вниманія его не ускользнула случайность, замѣченная и нами, что

въ переднихъ рядахъ стояли одни „заводскіе“, которыхъ онъ ненавидѣлъ болѣе, чѣмъ кто-либо. Но нужно сказать, что чувство это было взаимно и выражалось послѣдними въ каждой мелочи къ нему, даже въ такой мелочи, что когда проѣзжалъ онъ, то ему нарочно подпрягали худыхъ, изнуренныхъ лошадей, останавливавшихся на отдыхъ на каждой верстѣ, что было мучительно, при длинной и гористой дорогѣ, и — всегда приводило его въ бѣшенство.

— Ну, молодцы, кого-жъ вы надумали въ старшины себѣ?—подходя къ дверямъ, у которыхъ стѣснился народъ, спросилъ онъ мягкимъ, насмѣшливо заигрывающимъ голосомъ.

Въ толпѣ пронесся сначала гулъ, напоминавшій глухіе, сдавленные раскаты грома, какіе всегда предшествуютъ сильнымъ бурямъ, и вслѣдъ за нимъ зашумѣли и раскатились крики: „Бы-ычкова!“ „Шебалина-а!“—послышался точно оторванный, но не менѣе сильный ударъ расходившейся грозы.—„Ащеулова!“—внезапно крикнулъ гдѣ-то дискантъ, заглушенный общимъ хохотомъ массы и новыми криками: „Бы-ычкова-а!“

— Къ лѣшему огуменника Шебалина, Еракову подпорку!..

— Медвѣдей пужать, што-ль, Бычкова-то садите?—выразилось нѣсколько сильныхъ голосовъ.

— Плутовъ, што не плошь медвѣдя зорятъ! Бы-ычкова-а!—загудѣло и въ волости, и на улицѣ, подъ окнами вокругъ дома.—Шебалина-а!—застонало не менѣе сильно въ ней, снова покрываемое неистовымъ ревомъ и съ улицы, и внутри.—Бы-ычкова-а! Бычкова-а-а!

Въ этой бушующей сценѣ было много и комическаго. Потныя, раскраснѣвшіяся отъ духоты и волненія лица дѣйствовали не однимъ горломъ. Колыхаясь въ тѣснотѣ и напирая то взадъ, то впередъ, сотни рукъ, поднимаясь вверхъ, упираясь и въ плечи, и въ головы впереди стоящихъ; каждый выкрикивалъ своего кандидата. Среди общаго рева нельзя уже было слышать, но можно было только догадываться по страдающему выраженію нѣкоторыхъ лицъ объ отдѣльныхъ воплях: „о-ой, сдавили!“, „а-а-ахъ, штобъ тѣ! ногу отнялъ... то-о-шнехонько!“ Едва-ли найдется сила, которая бы заставила смолкнуть говоръ и ревъ взволнованнаго народа. Какъ ни горячился, какъ ни топалъ ногами выходившій изъ себя Клементій Ивановичъ, все было напрасно: толпа и не замѣчала его, она и забыла о немъ, увлеченная своимъ дѣломъ, и голосъ его безслѣдно терялся въ этомъ хаосѣ, какъ теряется отдѣльная нота въ волнахъ звуковъ, несущихся изъ оркестра. Крики „Бычкова!“ все болѣе и болѣе подавляли своимъ сильнымъ большинствомъ кандидатуру Шебалина и незамѣтно почти сливались въ одинъ общій голосъ.

Много прошло времени, прежде чѣмъ утихло вызванное волненіе.

— Отъ вашего реву не поймешь, кого вы больше хотите!—заговорилъ Клементій Ивановичъ, когда впереди все утихло и только въ заднихъ рядахъ, да на улицѣ несся еще говоръ. — Ну, ты кого хочешь? — спросилъ онъ стоявшаго впереди крестьянина, угрюмо, въ упоръ смотрѣвшаго на него.

— Бычкова!—рѣзко отвѣтилъ тотъ.

— А ты? — обратился онъ къ стоявшему рядомъ съ нимъ.

— Бычкова!

— Оно, ваше высокоблагородье, такъ надоть сказать, — въ голосъ заговорили вдругъ въ переднихъ рядахъ, а вслѣдъ за ними и въ заднихъ,—што опричь Бычкова намъ никого не надоть.

— Шебалина, вашскоблагородье: о-обходительнѣй дѣло-то!— раздалось вслѣдъ затѣмъ въ толпѣ.

— Ераково прихвосье галдитъ вѣдь это, вашскоблагородье!— снова подхватили впереди.

— Мо-о олчало-бъ, заводское мѣсиво, бродило-бъ въ своей пустой корчагѣ!..

— Аль березова-то каша не пріѣлась исшо? а-а-ахъ-ха-а!..

— Почемъ съ души Данила-то покупалъ васъ, а? — закричали въ отвѣтъ передніе.

— Съ пуда онъ ихъ нонѣ купилъ, а не съ души...

— Нонѣ они въ цѣнѣ, парень, были: по копейкѣ со всѣми потрохами и требухой, а-а-ахъ-ха-ха-а!..

— Душу-то продавши, и дерете горло за Шебалина: кабы свой голосъ-то былъ, такъ пожалѣли-бъ, а то чужой теперь, такъ чего жалѣть?—вотъ и натруждаете! — неслись въ народѣ похвальныя другъ другу рѣчи, безъ какихъ, какъ мы и сказали ранѣе, не обходятся подобные сходы.

— Тсс... мо-олчать! Что это за перебранка?—крикнулъ на нихъ, топнувъ ногой, Клементій Ивановичъ, — здѣсь сходъ, а не базаръ... мужичье!

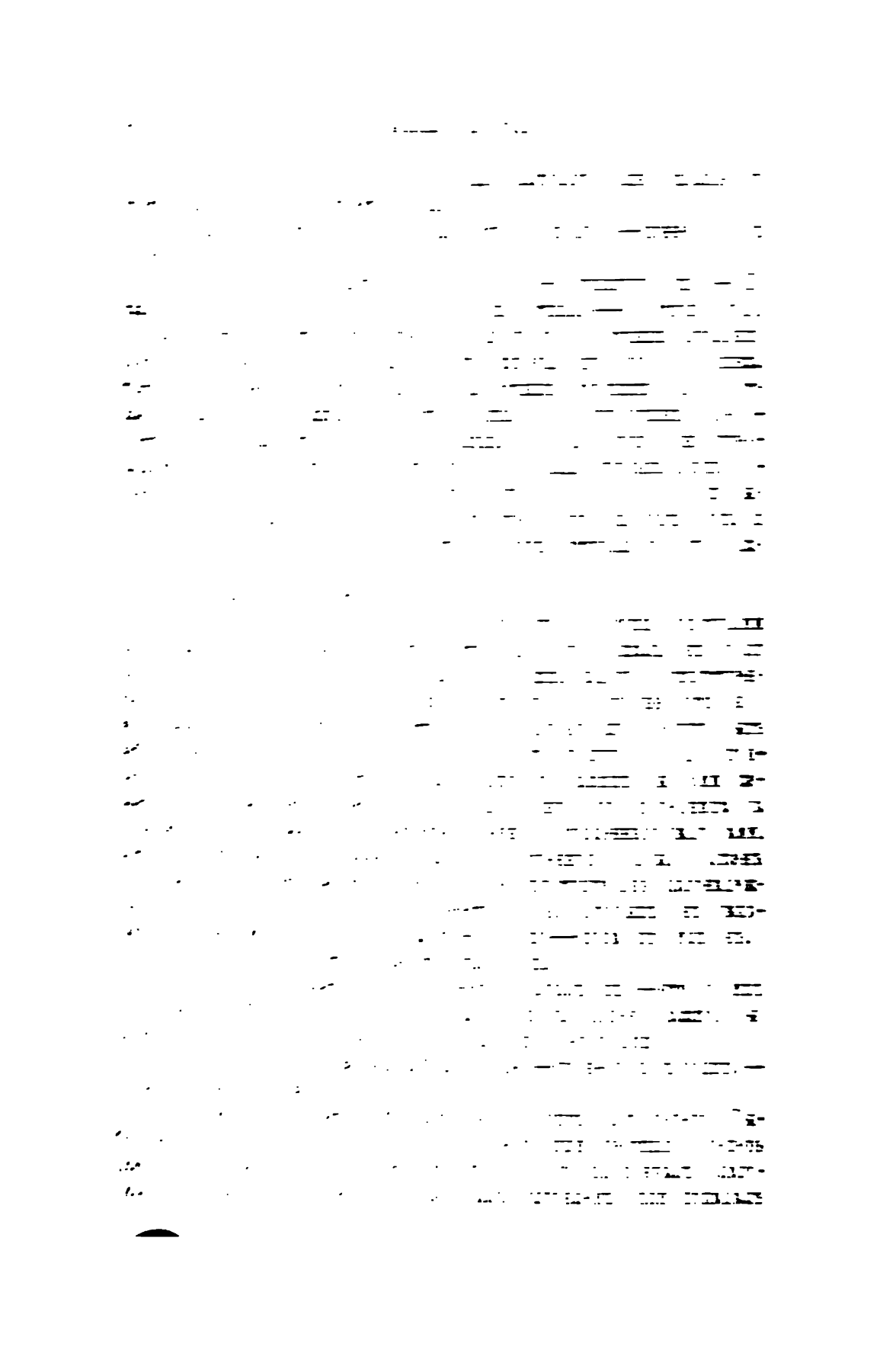
Толпа притихла.

— Кто за Шебалина—поднимай вверхъ правую руку!

Болѣе сотни рукъ поднялось въ серединѣ толпы и заторчало въ воздухѣ. Остальные стояли неподвижно. По этому, принятому въ крестьянской средѣ, обычаю онъ увидѣлъ, что дѣло желаемаго имъ кандидата плохо. Большинство голосовъ оставалось за Бычковымъ.

— Остальные за Бычкова?—спросилъ онъ.

— Бычкова!—прогудѣло въ отвѣтъ ему.



подъ судъ. Такъ теперь ужъ, молодцы, для вашей же пользы я не допущу въ старшины человѣка, неблагонадежность котораго напередъ знаю. Мнѣ надоѣли ужъ постоянныя ваши жалобы на волостныхъ начальниковъ и жалобы на нихъ полицейскихъ чиновниковъ; мировой съѣздъ заваленъ жалобами, да дѣлами о подсудности ихъ—это кладетъ черное пятно и на насъ, и на меня: на васъ потому, что какъ-будто по волости дѣйствительно нѣтъ хорошихъ людей, а на меня—что я смотрю сквозь пальцы и допускаю выбирать только однихъ негодяевъ. Отнынѣ этого не будетъ! Я Бычкова знаю лучше васъ, знаю, какія онъ заводитъ по волости пакости и кляузы, вооружаетъ васъ противъ властей, прикидывается честнымъ, желающимъ вамъ добра, для того, чтобъ пробраться въ старшины, да нажиться на вашъ же счетъ. Этотъ человѣкъ извѣстенъ былъ за негодяя еще при горныхъ управителяхъ, и въ мое время успѣлъ уже показать себя. Бычкову не быть вашимъ старшиной, слышите? Мѣсто его не въ старшинахъ, а въ острогѣ, и онъ попадетъ въ него, это я вамъ говорю,—слышите?

— Слышимъ!—пронеслось въ толпѣ.

— Ну, такъ я еще повторю вамъ, что онъ не будетъ старшиной: я не допущу этого; вы не пеняйте на меня—я вамъ же желаю добра; не хотите если Шебалина, хотя мужикъ этотъ, по моему мнѣнію, хорошій, умный, честный и вполнѣ достоинъ быть старшиной,—но если ужъ не хотите его и не хотите ссориться со мной, а хотите послушать моего добраго слова, такъ выбирайте другого, кого хотите, но только, еще разъ повторяю вамъ, не Бычкова!

Кончивъ свой длинный монологъ, Клементій Ивановичъ вынулъ изъ кармана платокъ и вытеръ имъ засохшія отъ жара губы. Въ толпѣ царила мертвая тишина, не нарушаемая продолжительное время ни звукомъ, ни шелестомъ. Всѣ стояли неподвижно, или склонивъ головы, или переглядываясь другъ съ другомъ. Доводы Клементія Ивановича были такъ рѣзки, хотя и бездоказательны; но, главное, теперь вполнѣ выяснился передъ народомъ взглядъ его на человѣка, котораго онъ тайно ненавидѣлъ, и ненависть его была извѣстна только какъ слухъ, не подтверждаемый никакими фактическими доказательствами.

— Ну, что-жъ, молодцы, кого-жъ вы надумываете, а?—снова спросилъ онъ, подходя къ нимъ.

Изъ переднихъ рядовъ выдвинулся впередъ, къ двери, крестьянинъ среднихъ лѣтъ, съ серьезнымъ и умнымъ выраженіемъ лица, слегка испорченнаго оспой. Остановившись передъ Клементіемъ Ивановичемъ, онъ молча поклонился ему.

— Сказать что-нибудь хочешь, а?—ласково спросилъ Клементій

Ивановичъ, пристально осмотрѣвъ его рваный зипунъ, запачканный дегтемъ, и неказистые, перетянутые бичевками бродни.

— Съ вашего бы дозволенія, вашвыскоблагородье, слова бы два перемолвить!—съ поклономъ отвѣтилъ тотъ.

— По своему дѣлу или сходъ тебѣ поручилъ говорить?

— Какія по нашему-то по хрестьянству порученія, вашскоблагородье? — назудитъ на душѣ-то, такъ и безъ разговоровъ знамъ, о чемъ міръ-то думатъ...

— Ну, говори,—произнесъ онъ, снова пристально всмотрѣвшись въ фигуру мужика,—о чемъ міръ-то думаетъ, послушаемъ!—съ ироніей добавилъ онъ.

— Одна у міра-то дума была, когда ты говорилъ-то намъ, што кабы эти слова-то твои, да Богу въ уши, штобы и взаболь завсе у насъ волостные-то были честные да правдивые люди и начальство-то бы завсе сажало намъ такихъ. Да нѣтъ, видно, мы исшо не замолили у Господа Бога грѣховъ-то нашихъ, вашвыскоблагородье! — со вздохомъ заключилъ онъ.

— Молитесь и отпустятся!—съ ироніей отвѣтилъ ему Клементій Ивановичъ.

— Молимся, вашвыскоблагородье Клеменъ Иванычъ, и... и... слезно молимся, да все не угодимъ никакъ! Кто вотъ по нашему-то худому уму плутъ, такъ, вишь, тотъ тебѣ нравится, а путные-то изъ насъ тебѣ плутами кажутся, вотъ мы никакъ и не сведемъ концовъ, стало быть, и не терпитъ Господь грѣхи наши!

Клементій Ивановичъ покраснѣлъ и прикусилъ верхнюю губу.

— Объ энтомъ вотъ, вашвыскоблагородье, вся и дума мужичья,— снова началъ онъ послѣ короткаго перерыва. — Вотъ мы слушали твои рѣчи про Егора-то Семеныча Бычкова, да по темнотѣ-то нашей никакъ въ толкъ не взяли, пошто онъ мошенникъ-то такой, по-твоему, какіе такіе грѣхи-то за нимъ?..

— Если я говорю, такъ, значитъ, знаю!—сердито отвѣтилъ ему Клементій Ивановичъ.

— Оно извѣстно, ты — начальникъ; кому же и знать мужичью душу, какъ не начальству? — съ смиренной, но худо скрытой ироніей отвѣтилъ крестьянинъ.—Не оставь ужъ ты насъ, вашвыскоблагородье, своей милостью!—съ низкимъ поклономъ продолжалъ онъ:—желательно бы вотъ и міру-то знать, какіе такіе грѣхи-то за нимъ водятся? Міръ-то вотъ говоритъ, что и подъ присягу пойдетъ, што окромя путныхъ-то рѣчей ничего отъ него не слыхивалъ.

— Вотъ эти-то путныя, по-вашему, рѣчи его и непутны!—тѣмъ же тономъ прервалъ его Клементій Ивановичъ.

— Статься можетъ; а по-нашему, по-мужичьи, такъ онѣ бы ровно и шибко путны, вашвыскоблагородье! Точно, когда Петръ Степанычъ захотѣлъ было съ міру по лѣсинкѣ на домъ сколотить, — говорилъ, что будто ты это наказывалъ, — ну, такъ Егоръ Семенычъ и поговорилъ съ нимъ тогды, штобъ онъ энту блажь выкинулъ, што у мужиковъ и лошадей нѣтъ даромъ лѣсъ возить на писарскій домъ. Такъ неужъ эта рѣчь и непутна была, вашвыскоблагородье? — съ ироніей посмотрѣвъ на него, заключилъ крестьянинъ.—Оно точно, не потаимъ,—снова продолжалъ онъ, съ тою же ироніею глядя на покраснѣвшаго и кусавшаго губы Клементія Ивановича, — когда и медокъ стали было на твою милость съ мужиковъ собирать, ну, такъ онъ сказалъ и тогды, што коли-де кто сладко ѣсть хочетъ, такъ пусшай и деньги на то припасаетъ; што пчела коли сладко ѣстъ, такъ она и робитъ досыта, а трутней-то, што даромъ къ меду ея лѣзутъ, убивать! Такъ неужъ и энта рѣчь его непутна была, вашвысокоблагородье?..

Звучный смѣхъ, прокатившійся въ толпѣ, прервалъ его.

— А ужъ опричь его, вашвыскоблагородье, мы и не знамъ человѣка-то,—снова началъ онъ; — отъ него мы завсегды и охрану-то видѣли... Оно точно, мы слыхали, што писарь да мужики-то, што побогаче, шибко не долюбливаютъ его... Мно-ого тутъ они про него росказней-то пускали въ народъ, только все это, вашвыскоблагородье, по-нашему фальшь одинъ, а на міру говорятъ, что на чужой ротокъ не накинешь платокъ... Мы ужъ изъ милости будемъ просить тебя, Клеменъ Иванычъ, не ломай ты нашей воли—дай намъ его!—снова съ низкимъ поклономъ заключилъ онъ.

— Ты заводскій?—вмѣсто отвѣта спросилъ Клементій Ивановичъ.

— Оно такъ точно: изъ мастеровыхъ.

— Знаю! Для того-то, вѣрно, и хлопочешь о немъ, что когда проворуешься иль набуйствуешь, такъ чтобъ онъ прикрылъ тебя. Знаю, знаю, что вы по себѣ его выбираете, — сверкнувъ глазами и съ сильнымъ удареніемъ на послѣднихъ словахъ, произнесъ онъ. — Вамъ честнаго не нужно, а мошенника, который бы потакалъ вамъ, да прикрывалъ васъ!

— Мошенниковъ-то ты, вашвыскоблагородье, около себя пошарь, скорѣе въ нихъ завязнутъ руки-то! — вырвалось вдругъ изъ толпы въ отвѣтъ ему;—тебѣ это честныхъ-то не надо, а не намъ!..

— Что-о-о?.. — протянулъ поблѣднѣвшій Клементій Ивановичъ...—это кто тамъ говоритъ, поди сюда!..

— Чей бы языкъ не сказалъ, все равно... была бы правда!.. — пронесся тотъ же голосъ среди общаго мертваго молчанья.

ворить, о томъ, чего знаетъ и видитъ!.. Неужъ въ энтомъ и безчинство мое, што я съ писаремъ ономнясь поговорилъ!..—съ ироніей спросилъ онъ.

— Не въ томъ, что ты съ писаремъ поговорилъ... говорить съ нимъ никому не воспрещается, а въ томъ, о чемъ ты поговорилъ съ нимъ!..

— Объ однихъ плутняхъ его... только.

Въ толпѣ прокатился смѣхъ.

— Безчинникомъ я, вашевыскоблагородье, не былъ... да можетъ, Богъ сохранитъ, и не буду имъ!.. — продолжалъ между тѣмъ Егоръ Семеновичъ.—Вотъ онъ и опять сплутовалъ, што не такъ нажалобился вамъ, какъ бы слѣдовало. Вѣдь тутъ народъ былъ, вашевыскоблагородье, видѣлъ, врывался-ли я насильно въ волость, а о чемъ я говорилъ съ нимъ, такъ я, вашвыскоблагородье, не отопрусь, а коли вашей милости будетъ угодно, и теперича при всемъ честномъ народѣ повторю!..

— Ну, я съ тобой объ этомъ не буду разговаривать... съ тобой поговоритъ объ этомъ судъ!..

— Судъ такъ судъ, на все Божья воля... да начальства, вашевыскоблагородье... не привыкать ужъ мнѣ къ энтимъ-то угрозамъ...— съ горечью въ голосѣ отвѣтилъ онъ.

— А-а!.. Такъ ты думаешь, што я только грожу?..

— Сами, вашвыскоблагородье, изволили сказать, что я подъ судъ пойду, вотъ я и спрошу вашу милость, не во гнѣвъ вамъ, за што же энто подъ судъ-то меня отдадутъ, какія провины-то мои, што угнетенія-то на меня такія?..

— Ну... мы потомъ поговоримъ, теперь не время...

— Нѣтъ, вашвыскоблагородье, теперь и самое время... Пусть весь честный народъ слышитъ, въ чемъ мои провины, убилъ-ли я кого, своровалъ-ли што, непокорство ли какое предъ начальствомъ сдѣлалъ?.. Пусшай всѣ слышутъ, за што я изъ мошенниковъ мошенникъ сталъ, неужъ вы думаете, вашвыскоблагородье,—дрожащимъ уже голосомъ говорилъ онъ,—што я мужикъ, такъ у меня и душа не болитъ, какъ порочатъ-то меня, какихъ только каторгъ мнѣ не насулили, да цѣпей...

— И надѣнутъ, будь увѣренъ... свое найдешь...—произнесъ, прервавъ его, Клементій Ивановичъ,—надѣнутъ!..—стиснувъ уже зубы, повторилъ онъ.

— Э-э-эхъ, вашвыскоблагородье... суди меня Богъ и великій государь, коли ужъ есть вины за мной, много честнаго народу въ цѣпяхъ-то ходитъ, не я первый буду, не я послѣдній...

— Што-о-о... што... што-о... повтори!.. — протянулъ Клементій Ивановичъ... остолбенѣвъ... и растерявшись...—„взять его!“—крикнулъ, наконецъ, онъ, обратившись къ не менѣе растерявшимся волостнымъ начальникамъ и писарю, опомнившись отъ перваго впечатлѣнія, произведеннаго на него послѣдними словами Бычкова.

Одинъ изъ волостныхъ засѣдателей, повинуясь приказанію его, подошелъ къ Бычкову и взялъ его за руку.

— Я и самъ пойду, куда велятъ! — спокойно отвѣтилъ онъ и сдѣлалъ шага два отъ толпы... но въ толпѣ въ это время точно что-то дрогнуло.

— За што это брать его... куда! — раздались голоса въ ней, и толпа внезапно налегла на дверь.

— Чего онъ такое сдѣлалъ, што взять его!..—все громче и громче заговорили впереди ея, напирая къ двери, — нѣ-ѣтъ, живого-то человѣка мы хоронить не дадимъ... ты на-перво скажи намъ, за што его взять велишь, аль што міръ захотѣлъ честнаго мужика надъ собой имѣть, охрану въ немъ видѣть, правды на рубли не покупать, такъ и брать его и сажать... за то вѣрно онъ и мошенникъ, што писарю воровать не даетъ да надъ бѣдностью... богатымъ глумиться... што по двугривенному мужичьи души покупали... за энто мы рыть живого человѣка не дади-имъ. Ты допрежъ цѣпи-то да острогъ для писаря припаси съ его богатой прихвосней...

Растерявшись, слушалъ эти энергичные... сыпавшіеся градомъ крики... Клементій Ивановичъ... и не дослушалъ ихъ, блѣдный отъ безсильной злобы, надѣлъ фуражку и быстро вышелъ изъ волости, сопровождаемый писаремъ. Съ уходомъ его сходъ зашумѣлъ неудержимымъ потокомъ, и никто не замѣтилъ, что Клементій Ивановичъ, приказавъ писарю и кандидату по старшинѣ не распускать схода впредь до особаго распоряженія, уѣхалъ обратно въ городъ, миновавъ волость, окольной дорогой.

Похожій на бѣгство отъѣздъ его произвелъ на крестьянъ сильное впечатлѣніе, особенно распоряженіе его не распускать схода. „Какъ же это, братцы? чего же будетъ съ нами, чего это дѣется на свѣтѣ-то? Ну, и поря-я-дки!“—говорили они, съ изумленіемъ похлопывая руками по бедрамъ.—„Кто же теперя старшиной-то будетъ? диво же это!“—спрашивали они другъ друга. Другіе же, болѣе положительные, присоединяли къ этому и другой вопросъ: „докуда же намъ жить-то? Ѣхали на день, а живемъ три, а все исшо никакого распорядка нѣтъ! А теперь время такое, что и минута дорога; пропустишь ее, такъ опосля ни за какія деньги не купишь!“—И шелъ у нихъ въ этихъ взаим-

ныхъ вопросахъ да разсужденіяхъ день за днемъ, а распоряженія относительно схода и утвержденія старшины все еще не выходило. Не послѣдовало никакого распоряженія и о Бычковѣ, и на другой день онъ уѣхалъ домой, но послѣ этого столкновенія мрачныя предчувствія о своемъ будущемъ не обманывали его.

Прошло шесть дней въ этомъ съ часу на часъ ожиданіи, что вотъ-де скажутъ же что-нибудь, но все напрасно. Писарь заперся и не показывался народу. Скучали вмѣстѣ съ народомъ и волостные чины. Погода все время стояла ясная, жаркая — самая благопріятная для работъ. У каждаго оставались вспаханныя, но незасѣянныя поля, а кто засѣялъ, тотъ не успѣлъ заборонить, и зерно, оставаясь наверху, дѣлалось добычею птицы. У каждаго было вдоволь работъ; уѣхать же самовольно удерживалъ страхъ отвѣтственности; конечно, нашлись такіе смѣльчаки, что уѣхали втихомолку, махнувъ рукой и на мірское дѣло: „что, вѣдь міръ не напоитъ, не накормитъ, поля засѣять не поможетъ, какъ время-то упустишь!“ Но большинство все-таки ждало, становясь въ тягость своякамъ и знакомымъ, у которыхъ нашло пріютъ. „Да — докуда-жъ это будетъ, чего-жъ это дѣютъ-то съ нами, братцы?“ — все громче и громче раздавалось среди нихъ, и на седьмой день это неудовольствіе перешло въ открытый ропотъ. Собрался сходъ въ волость и послалъ за писаремъ. Писарь не пошелъ, отозвавшись болѣзнью. Послали въ другой разъ — тотъ же отвѣтъ. Пошло человѣкъ семь крестьянъ къ нему на домъ.

— Чего-жъ это дѣете съ нами? докедова-жъ это держать-то насъ будете, скажи ты намъ? — спросилъ вышедшаго къ нимъ съ обвязанной головой Петра Степановича тотъ самый энергичный говорокъ, слова котораго такъ сильно повліяли на Шлепфельда.

— Я ничего не знаю; вы сами знаете, что вѣдь это не въ моей волѣ, — отвѣтилъ онъ.

— Ты не знашь, другой не знатъ, такъ кто-жъ знать-то будетъ? Чего-жъ вы держите насъ, вѣдь теперь, ты самъ знашь, какое время-то: не токма день, а часъ-то дорогъ, а вѣдь ужъ вотъ, слава тѣ, Господи, сегодня семой денекъ, ни за што проѣдаемся! А што какъ непогодь ударитъ, какъ ты робить-то будешь тогда? а упустишь ты время, да неурожайно отъ этого будетъ, такъ кто насъ кормить-то опосля станетъ, а?..

— Што-жъ вы ко мнѣ-то пристаете — развѣ это моя вина? — оправдывался писарь.

— Ты — писарь?

— Што-жъ, што писарь?

— Какъ это? Ты заодно съ посредникомъ дѣла-то дѣлаешь, ты и долженъ знать, чего онъ насъ держитъ, чего добивается то отъ насъ.

— Спросите его, а я ничего не знаю!

— Такъ энто ясно къ нему въ городъ ѣхать!

— Конечно, ѣхать въ городъ; выберите кого-нибудь, да и пошлите къ нему, а я ничего не знаю.

— Энто ты ясно пошлешь къ нему, а онъ возьметъ да въ острогъ посадитъ!..—пытливо допрашивали они.

— И этого ничего не знаю, посадитъ или нѣтъ, сами лучше должны знать.

— Ну, и порядки, а-ахъ ты, братецъ, а! Вотъ тѣ и поря-я-ядки!—хлопая руками по бедрамъ, говорили депутаты, возвратившись на сходъ. Но дѣло отъ этого все-таки не подвинулось впередъ. Много и шумно говорили они, шумно до того, что другой и самъ не слыхалъ своихъ словъ, пока порѣшили послать за спросомъ къ Клементію Ивановичу. Налегъ сначала міръ съ своей просьбой ѣхать на кандидата по старшинѣ, но тотъ, какъ человѣкъ весьма тактичный, притворился больнымъ до того, что не могъ слѣзть съ печи; насилу удалось уговорить имъ одного изъ волостныхъ засѣдателей и двухъ выбранныхъ общимъ голосомъ крестьянъ принять на себя эту миссію.

Прошло еще пять дней въ мучительномъ ожиданіи отвѣта. А сходъ, между тѣмъ, съ каждымъ днемъ замѣтно рѣдѣлъ отъ самовольно отъѣзжавшихъ крестьянъ, махнувшихъ, наконецъ, рукой „на всѣ эти порядки". Но большинство все еще ждало, тоскливо посиживая съ утра и до ночи у волостного крылечка и у церковной ограды и поглядывая на дорогу, узкой лентой вившуюся въ гору. Заходили другіе и къ мѣстному священнику, отцу Ефиму, поговорить о своемъ мірскомъ дѣлѣ и послушать его совѣта. Но отецъ Ефимъ былъ человѣкъ осторожный и не податливый, въ подобныхъ дѣлахъ, на совѣты. Онъ или молчалъ, съ улыбкой посматривая на волнующихся крестьянъ, или отклонялъ разговоръ на посторонніе предметы. И уходили они отъ него, говоря втихомолку, „што тугой же на слово человѣкъ отецъ Ефимъ, ой-оой!" Ночью на шестыя сутки возвратились посланные, и на утро передали съ нетерпѣніемъ собравшемуся сходу немногословное рѣшеніе Клементія Ивановича.

Когда хотятъ выбрать Шебалина, то пусть выбираютъ и разъѣзжаются. Бычкова же я не допущу и донесу начальству объ ихъ неповиновеніи.

Молча выслушалъ сходъ эти полновѣсныя слова и задумался. Да и было надъ чѣмъ. Не обошлось, конечно, и безъ говора, и говора рѣз-

каго, желчнаго, не обошлось и безъ аханья, и безъ любимаго, многовыражающаго у крестьянина жеста — похлопыванья себя руками по бедрамъ. Но все это въ концѣ-концовъ привело къ тому, что многіе уѣхали молча, другіе же подали свой голосъ за Трофима Кирилловича, и къ вечеру того же дня шумное село опустѣло, и всѣ дороги и тропинки усѣялись народомъ, ѣхавшимъ по домамъ и громко толковавшимъ о наставшихъ порядкахъ.

Не прошло и мѣсяца послѣ выбора старшины, какъ по волости распространилась вѣсть объ арестѣ Бычкова, и снова разлились въ народѣ тѣ же зловѣщіе слухи и предвѣщанія, на этотъ разъ небезосновательные. Онъ, дѣйствительно, былъ посаженъ въ тюрьму при волости, по приказанію Шлепфельда. Къ нему не допускали для свиданія ни жены, ни сына, не говоря уже о другихъ родныхъ и посторонникъ лицахъ, сохранившихъ къ нему привязанность. Арестъ его поразилъ всю семью, заживо оплакивавшую его, и губительно отразился на хозяйствѣ. Произвелъ онъ впечатлѣніе и на народъ. „Ну-у, таперя попалъ въ руки, такъ ужъ“... и не договаривали крестьяне, а только съ сожалѣніемъ покачивали головами. Про себя, втихомолку, другой и прибавлялъ: „съѣли-де мужика, ни за што съѣли“, но о защитѣ его никто изъ нихъ не смѣлъ и думать. Насколько сильно было въ массѣ участіе къ нему, настолько сильна была и радость враговъ его, особенно Слатвинскаго, гордо поднявшаго голову и возвысившаго голосъ послѣ выборовъ. И чего ему было опасаться теперь, когда старшиной сидѣлъ Трофимъ Кирилловичъ, человѣкъ кроткій и податливый на всякіе совѣты, съ которымъ онъ и ранѣе находился въ наилучшихъ дружественныхъ отношеніяхъ? Произволъ Слатвинскаго, вытекавшій изъ мщенія Бычкову, простирался до того, что доставляемыя ему родными его пища и бѣлье не доходили по назначенію; ему не передавали даже и подаяній, какія приносили къ нему крестьяне, помнившіе его хлѣбъ-соль и уважавшіе его. Сама стража къ нему была приставлена, по выбору писаря, изъ людей надежныхъ, которые ни въ чемъ не нарушали предѣловъ данной имъ инструкціи. Егоръ Семеновичъ, какъ и всѣ арестанты, питался на мірской счетъ *). Вообще арестанты, со-

*) Продовольствіе арестантовъ, содержащихся при волостныхъ правленіяхъ производится двоякимъ образомъ. Иногда, при отдачѣ обществомъ съ торговъ земской гоньбы и земской квартиры для остановокъ чиновниковъ, общество обязываетъ этихъ подрядчиковъ за ту же сумму продовольствовать волостныхъ сотниковъ, состоящихъ при волости для развозки почты, для разсылки нарочными и для составленія стражи при арестованныхъ, а также продовольствовать и самихъ

держащіеся при волостныхъ тюрьмахъ, терпятъ чуть-ли не худшую долю, чѣмъ въ острогахъ, не отъ одного недостатка въ пищѣ, но и отъ помѣщеній,—узкихъ, низкихъ, лишенныхъ свѣта, едва проходящаго чрезъ маленькое, загороженное рѣшеткою, отверстіе въ двери. Обыкновенно подъ тюрьму отдѣляется обширная комната, раздѣленная перегородкою на двое; въ перегородкѣ этой и устраиваются двери, ведущія въ казематы, похожіе скорѣе на клѣтки, чѣмъ на комнаты. Арестантъ можетъ только сидѣть въ ней или лежать, потому что отъ наръ, замѣняющихъ ему койку, до двери пространства не болѣе шагу; въ другой половинѣ комнаты помѣщается стража, и часто вся-то эта комната освѣщается однимъ окошкомъ съ двойными рамами, безъ всякихъ признаковъ форточки или другихъ вентиляторовъ, о которыхъ не имѣютъ и понятія сельскіе архитекторы. Вонь, духота отъ махорки, а зимою отъ прѣющей одежды, просушиваемой у печи, и постоянный угаръ,—вотъ что вдыхаютъ въ себя несчастные узники. Мы не говоримъ о паразитахъ, массами развивающихся отъ нечистотъ, въ какія брошены заключенные *); для пойманныхъ бродягъ, содержащихся иногда мѣсяцъ, два, прежде чѣмъ произведется слѣдствіе, волостная тюрьма есть чистилище, предшествующее переходу его въ рай, т.-е. въ острогъ. Тамъ, по крайней мѣрѣ, онъ не лишенъ свѣта да и представляется возможность ходить; тамъ ему дадутъ рубаху и другое бѣлье, взамѣнъ истлѣвшаго на немъ и потерявшаго всякое подобіе бѣлья. И, что всего ужаснѣе, эти тюрьмы лишены всякаго контроля и вниманія: въ нихъ никто и никогда не заглядываетъ!

Напрасно протестовалъ Егоръ Семеновичъ, требуя къ себѣ писаря, чтобъ узнать, наконецъ, въ чемъ его вина, за что онъ содержится, наконецъ, будетъ-ли какое слѣдствіе и судъ, чтобъ прекратить томительную пытку заключенія въ тѣсной и смрадной тюрьмѣ, — томительную тѣмъ болѣе, что онъ ничего не зналъ о своихъ домашнихъ: живы ли они, здоровы ли? Какъ идетъ хозяйство? Для домовитаго крестьянина въ этомъ вопросѣ заключается все его насущное, и тѣмъ

арестованныхъ. Если же не существуетъ подобнаго уговора съ подрядчиками, то арестованные въ такихъ случаяхъ продовольствуются всею деревнею по-очередно, т.-е. сегодня у одного крестьянина, завтра у другого. Нечего и говорить, что и въ томъ, и въ другомъ случаѣ продовольствіе ихъ бываетъ скудное, состоящее изъ щей съ крупой, да капустой, а иногда и просто изъ кваса съ лукомъ, да молока. Положеніе этихъ арестантовъ было бы ужасно, если-бъ всегда добрый, всегда сочувствующій несчастію простолюдинъ не облегчалъ его своими подаяніями.

*) Автору нерѣдко приводилось видѣть на тѣлѣ подсудимыхъ, содержащихся при волостныхъ тюрьмахъ, раны, происходящія отъ скопленія паразитовъ; единственная мольба этихъ несчастныхъ съ перваго же слова заключалась въ дозволеніи сходить въ баню и дать хоть какое-нибудь подобіе рубахи для перемѣны.

болѣе для него, для пчеловода, оторваннаго въ дорогую пору роенія пчелъ. Все было напрасно: писарь не шелъ и окружающіе его оставались глухи на всѣ его просьбы и мольбы. Напрасно прибѣгали съ слезной просьбой къ писарю жена его и сынъ, давали ему деньги, чтобъ допустить для свиданія съ нимъ. Онъ не взялъ и денегъ. Ѣздили они и въ городъ съ тою же просьбою къ Шлепфельду, но ихъ и не допустили до него. Нерадостныя бы вѣсти передали они Егору Семеновичу. Хозяйство падало, лишенное такихъ сильныхъ рабочихъ рукъ, какъ его. Много пчелъ сгибло, вслѣдствіе вкравшейся отъ недосмотра неопытнаго въ этомъ дѣлѣ сына болѣзни, среди крестьянъ извѣстной подъ названіемъ „гнилецъ“. Рои удались, но большая часть ихъ, также отъ недосмотра, слетѣла въ тайгу. Одному сыну и невозможно было слѣдить въ одно и то же время и за пасѣкой, находившейся въ пятнадцати верстахъ отъ деревни, и заниматься лежавшими на немъ полевыми работами; нанять же въ помощь работниковъ не было средствъ. Подать просьбу? — но кому и о чемъ — они и не знали еще, да и опасались, чтобы не надѣлать чего нибудь для него худшаго своими жалобами. Про него же говорилось такъ много, а почемъ же имъ было знать, правъ онъ или виноватъ? Егоръ Семеновичъ не любилъ дѣлиться съ ними своими тайнами.

Болѣе всѣхъ торжествовалъ Данила Иракліевичъ. Самолюбіе его было вполнѣ удовлетворено избраніемъ Шебалина. Радовался онъ и аресту Егора Семеновича, который лично для него не сдѣлалъ ничего дурного. Но таково ужъ свойство человѣческой природы—радоваться несчастію людей, въ которыхъ можно предвидѣть своихъ враговъ, радоваться паденію правды и добра, выступающаго еще ярче отъ сознанія въ самомъ себѣ однѣхъ темныхъ сторонъ.

— А а-ахъ-ха-ха-а-а! — говорилъ онъ каждому, навѣщавшему его,—съ кѣмъ выдумалъ тягаться, съ Клеменомъ Ивановичемъ, а?! Да его што-ись и чиновники-то опасаются, потому съ силой онъ человѣкъ, а то мужикъ, а-а-ахъ-ха-ха-а-а! Посиди-ко вотъ теперь, извѣдай, каково оно супротивъ начальства-то строптивиться!

Добившись своей цѣли, Трофимъ Кирилловичъ не выражалъ явно своего удовольствія. По возвращеніи изъ города, узнавъ о своемъ выборѣ, онъ поѣхалъ представиться Шлепфельду и удостоился лестнаго и многоназидательнаго пріема. Сознавая, что онъ избранъ противъ воли и желанія народа, Трофимъ Кирилловичъ употребилъ всю свою тактичность, чтобъ загладить въ немъ это непріятное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что оно родилось противъ него въ виду происковъ Данилы Иракліевича, изъ антагонизма посреднику и писарю и отъ сопо-

сдѣлалъ, што и-и слова-то такого не подберешь, какъ и чевствовать тебя!

— И чевствуй! а ты исшо не хотѣлъ служить, а?.. Ужъ ты должонъ бы знать, што коли я чего дѣлаю, такъ стало быть хорошо!

— Энто ину пору, Данила Еракычъ, пораздумаешься, да вспомнишь все-то, всю-то твою милость, снисхожденье-то ко мнѣ, такъ индѣ сердце взыграетъ!.. чѣмъ это, думаю, только заслужить-то мнѣ?

— Будь, говорю, только завсе въ покорствѣ, Трофимъ, почтителенъ, и не такъ исшо усчастливлю я тебя!

Когда къ Данилѣ Иракліевичу обращался кто-нибудь изъ крестьянъ съ просьбою, то, выслушавъ его, онъ многозначительно произносилъ: „поди къ Трофиму, къ старшинѣ-то вашему, скажи, што я ему приказалъ сдѣлать это тебѣ!“ Крестьянинъ, конечно, шелъ къ старшинѣ и буквально передавалъ ему эти слова. И Трофимъ Кирилловичъ исполнялъ подобныя начальственныя приказанія Данилы Иракліевича. Послѣднему льстила болѣе всего такая покорность старшины, выказываемая ему передъ другими. Но какъ же былъ доволенъ онъ, когда въ одно изъ посѣщеній Шлепфельдъ высказалъ ему: „а твой Трофимъ, братъ, молодецъ: имъ всѣ довольны!“

— Што, не говорилъ-ли я тебѣ, Клеменъ Иванычъ, што экого мужика поискать, да и поиска-ать, а?

— Молодецъ!

— Вотъ ты и должонъ теперь знать, што ужъ коли я чего тебѣ говорю, такъ стало быть ужъ добро. Добра, говорю, желаю, а ты только слушай меня, въ накладѣ не будешь!—хвастливо говорилъ онъ.

Но Клементій Ивановичъ, вмѣсто отвѣта, только съ иронією посмотрѣлъ на него.

Въ такомъ пріятномъ настроеніи всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, кромѣ Бычкова, прошло около пяти мѣсяцевъ. Съ компаньонами Трофимъ Кирилловичъ, со времени послѣдняго свиданія съ ними, сближался все тѣснѣе и тѣснѣе, отчасти посвящая ихъ и въ свои дальнѣйшіе планы, особенно Вешнякова. Они поняли другъ друга, обоюдность своихъ интересовъ, и объ условіи болѣе не было и помину. Поставка хлѣба отъ нихъ шла дѣятельно, а осенью и крестьяне, забравшіе деньги, постепенно подвозили его. Были и въ этотъ разъ, какъ всегда, случаи, что иные изъ нихъ поставляли половину, другіе и третью часть, взамѣнъ условленнаго количества и забранныхъ впередъ денегъ, но Трофимъ Кирилловичъ не налегалъ на подобныхъ недоимщиковъ и отнесся къ нимъ съ большею снисходительностью, чѣмъ въ былое время. Ему нужно было укрѣпиться, заискать расположеніе къ себѣ и у этихъ бѣдняковъ.

Только положеніе Егора Семеновича не измѣнилось: несмотря на всѣ его протесты, онъ содержался уже пятый мѣсяцъ, и о немъ какъ будто забыли. Здоровый, крѣпкій организмъ его пошатнулся наконецъ. Онъ похудѣлъ, сгорбился, въ волосы прокралась сѣдина, и морщины одна за другой пролегали на лбу его. И, вѣроятно, долго бы еще содержался онъ, если-бъ не выручилъ его случай. Тайно, чрезъ какого-то благодѣтельнаго сотника, ему удалось выпросить свиданіе у проѣзжавшаго на слѣдствіе засѣдателя. Тотъ посѣтилъ волость и, къ крайнему удивленію Слатвинскаго, спросилъ: гдѣ и за что содержится крестьянинъ Бычковъ?—и получилъ въ отвѣтъ: по распоряженію мирового посредника. Никогда и никому не кланялся въ ноги Егоръ Семеновичъ, но тутъ поклонился и со слезами на глазахъ просилъ заступничества, разсказавъ свою незамысловатую исторію. Тронула ли исторія его засѣдателя, или, какъ молодой человѣкъ, неуспѣвшій еще опуститься и не только не поддавшійся вліянію Клементія Ивановича, но, напавъ при слѣдственныхъ дѣлахъ на слѣды многихъ неблаговидныхъ дѣйствій волостныхъ чиновъ и зная источникъ ихъ, слегка подбиравшійся и къ самому Клементію Ивановичу, засѣдатель обратился къ нему отношеніемъ: „за что именно содержится крестьянинъ Бычковъ подъ строжайшимъ арестомъ, такъ какъ изъ слѣдственныхъ дѣлъ, находящихся въ производствѣ у него, никакого дѣла о Бычковѣ, влекущаго за собой мѣры лишенія свободы, не имѣется?“ Клементій Ивановичъ, опираясь на свой авторитетъ, отношеніе его оставилъ безъ всякаго отвѣта. Презрительное молчаніе его, длившееся болѣе мѣсяца, затронуло самолюбіе засѣдателя и онъ вошелъ вторично съ тѣмъ же вопросомъ, только добавивъ, что, въ противномъ случаѣ, имъ, помимо окружного стряпчаго, будетъ донесено объ этомъ губернскому прокурору и губернатору, такъ какъ подвергать такому долговременному заключенію безъ суда и слѣдствія въ законѣ нѣтъ указаній. Послѣдняя угроза подѣйствовала на Шлепфельда: онъ струхнулъ и далъ отвѣтъ, достойный своей политики: „что ему ничего неизвѣстно, за что, кѣмъ и когда посаженъ подъ арестъ крестьянинъ Бычковъ“. Возникшія между властями пререканія и спасли его. Его выпустили. Но гоненія этимъ не кончились: не въ характерѣ Клементія Ивановича было забывать и оставлять въ покоѣ человѣка, нанесшаго ему какое-нибудь оскорбленіе. Мы не будемъ говорить о томъ, что почувствовалъ Егоръ Семеновичъ при видѣ своего упавшаго хозяйства, возстановить которое въ прежней полнотѣ нужны были годы усиленнаго труда и сбереженій. Не будемъ говорить и о томъ, какой нравственный переломъ произвелъ на него арестъ. Онъ не лишился уваженія и сочувствія

окружающихъ, потому что не въ натурѣ русскаго простолюдина отталкиваться отъ несчастія, но боязливость и таинственность, въ какой выражались они изъ опасенія вызвать преслѣдованія и на себя,—больнѣе отдавались въ немъ, чѣмъ если-бъ и совсѣмъ ихъ не было. Явно, отъ него сторонились, какъ отъ зараженнаго, не рѣшаясь переступить и порога всегда привѣтливаго дома его. Подобныя отношенія неминуемо развиваютъ въ людяхъ болѣзненную наблюдательность и неизмѣнную съ нею мнительность, гдѣ каждому слову, взгляду, жесту невольно придается особый смыслъ, нерѣдко совершенно ошибочный, въ каждомъ человѣкѣ видится скорѣе врагъ, чѣмъ другъ. Онъ сдѣлался нелюдимымъ, избѣгалъ людей, опасаясь самыхъ ничтожныхъ столкновеній съ ними. Онъ не вступался горячо, какъ прежде, не обращалъ болѣе вниманія на мелкія придирки и притѣсненія, какими преслѣдовали, и волостные чины, и писарь его и вновь избранный сельскій староста, точно сберегая свои силы для того, чтобы вынести послѣдній ударъ, поразившій его въ самое больное мѣсто. Онъ имѣлъ только одного сына и любилъ его, какъ надежную опору своего хозяйства, своей старости, и этого то сына-одиночку, по настоянію Шлепфельда и писаря, на волостномъ сходѣ включили въ списокъ рекрутовъ при первомъ же рекрутскомъ наборѣ, мотивируя свой поступокъ тѣмъ, что отецъ его еще въ порѣ лѣтъ, силенъ и человѣкъ не бѣдный, тогда какъ часто зачисляются въ рекрута одиночки изъ семей бѣдныхъ и престарѣлыхъ. Что могъ сказать народъ въ защиту Бычкова при видѣ этой явной несправедливости? Да, подобныя дѣла только и могутъ свершаться въ захолустьяхъ, гдѣ подъ давленіемъ силы гибнутъ люди, ни въ комъ и нигдѣ не встрѣчая защиты! Ударъ былъ силенъ: въ нѣсколько дней онъ состарилъ и сломилъ окончательно эту сильную энергичную, натуру и сломилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и послѣднее благосостояніе его. Все было продано имъ, что только можно было продать и выручить хотя копейку. Оказалась необходимой и посторонняя помощь, и человѣкъ, всегда находившій опору только въ собственномъ трудѣ, не прибѣгавшій въ жизни своей даже къ мелочному займу, пошелъ породнымъ и знакомымъ, со слезами умаливая о ссудѣ. И никогда ни въ чемъ не выражалась такъ сильно любовь къ нему, какъ при этомъ случаѣ: каждый съ безграничнымъ довѣріемъ отдавалъ ему все, что могъ. Съ вырученными деньгами онъ поѣхалъ въ Т. и тамъ удалось ему пріобрѣсти рекрутскую квитанцію и выручить тѣмъ забритаго уже сына. Послѣ этой катастрофы для него не оставалось иного выхода, какъ выселиться въ другой округъ и снова начать терпкую, трудовую жизнь, чтобъ расплатиться съ долгами и не умереть въ ни-

мѣтѣ. Но и это оказалось для него далеко не легкимъ. Большихъ трудовъ и усилій стоило ему выхлопотать увольнительный приговоръ для причисленія къ одной изъ деревень З... округа. Много времени прошло въ различныхъ [illegible] въ волостномъ правленіи: не существуетъ-ли за нимъ казенныхъ взысканій, нѣтъ ли прикосновенности къ какимъ-нибудь дѣламъ и т. д. Клементію Ивановичу не хотѣлось такъ дешево разстаться съ Бычковымъ, выпустить изъ своихъ рукъ [illegible], но онъ [illegible] недобиться [illegible] своего [illegible]. Ему хотѣлось одержать такое слово, „что онъ будетъ въ острогѣ и въ [illegible]“. Но, къ счастію Бычкова, не смотря на всѣ усилія, не встрѣтилось ни одной уважительной причины, чтобъ задержать его, и Шлиферельтъ, скрѣпя сердце, утвердилъ увольнительный приговоръ.

Много раздалось въ средѣ крестьянъ У... волости чистосердечныхъ напутственныхъ желаній Бычкову при извѣстіи о выселеніи его. Вдоволь поплакала его семья надъ старымъ, родимымъ своимъ пепелищемъ; навертывались слезы и на глазахъ Егора Семеновича. Все имущество когда-то зажиточнаго семейства уложилось теперь на одну телѣгу, накрытую холстиннымъ пологомъ. Изъ скота осталась одна лошадь, и бодро везла она свой не тяжелый грузъ. Вѣрный старинному русскому обычаю, онъ не забылъ завязать въ узелочекъ земли съ могилъ своего отца, матери и дѣда, и будетъ она висѣть у иконы, напоминая ему его родину и теплое, когда-то зажиточное, гнѣздо. Вся деревня далеко за околицу со слезами провожала этотъ скромный караванъ; каждая семья радушно принесла свою хлѣбъ-соль — послѣдній даръ отъѣзжающему земляку. Не обошлось и безъ горькихъ рыданій при послѣднемъ „прости“ и съ родимыми мѣстами, и съ людьми, съ которыми сжились они съ дѣтства. Когда кибитка скрылась изъ виду за горой, односельчане грустно разошлись по домамъ, вспоминая о Бычковѣ, и долго слышалось еще послѣ того по У... волости: „добрый былъ мужикъ; правды-то въ немъ много было, да такъ вотъ ни за что сгубили человѣка!“

Не погибъ Егоръ Семеновичъ. На мѣстѣ своего новаго жительства онъ встрѣтилъ себѣ достойную оцѣнку. Черезъ два года послѣ переселенія его, крестьяне той волости, къ которой приписался онъ, единодушно выбрали его въ волостные старшины.

Наступило время и выполненія подряда, взятаго Даниломъ Иракліевичемъ. Въ началѣ декабря Трофимъ Кирилловичъ взялъ на мѣсяцъ увольненіе и уѣхалъ въ Т. принимать отправленные съ хлѣбомъ обозы и сдавать ихъ въ казну. Сдача шла быстро, благодаря подачкѣ тѣмъ лицамъ, которыя завѣдывали пріемкою. Поставленный хлѣбъ

оказался хорошъ и въ томъ количествѣ, какое значилось въ контрактѣ. За три дня до новаго года ему выдали расчетную квитанцію и талонъ на полученіе залога и денегъ, причитающихся съ казны. Подрядъ принесъ значительныя выгоды, хотя и не такія, какими ласкалъ себя Данила Ираклiевичъ, съ нетерпѣніемъ ожидавшій возвращенія своего довѣреннаго. Въ успѣшномъ выполненіи дѣла онъ не сомнѣвался. „Не такой парень, Трофимъ-то, штобы сплоховать!“ — говорилъ онъ, но его мучило желаніе, знакомое однимъ подрядчикамъ, да различнымъ концессіонерамъ, — желаніе скорѣе осязать въ рукахъ плоды своихъ предпріятій. Каково же было изумленіе его, предоставляю судить читателю, когда онъ узналъ, что Трофимъ Кирилловичъ, возвратившись ночью въ Ш., на другой день рано утромъ уѣхалъ. Прошелъ день, два самаго мучительнаго ожиданія, а Трофима Кирилловича нѣтъ, да нѣтъ.

— Чего-жъ бы это, а?... Неужъ это онъ... да нѣ-ѣ-ѣтъ, не такой онъ парень, штоба экъ-то сдѣлать, обмануть-то, говорю! — успокаивалъ онъ себя предъ своими домашними, не менѣе его удивлявшимися загадочному отсутствію его довѣреннаго. Но удивленіе его возросло еще болѣе, когда возвратившійся Трофимъ Кирилловичъ не пошелъ къ нему, а послалъ за нимъ, прося его къ себѣ.

— Это чего исшо онъ выдумалъ, штобъ я къ нему на поклонъ шелъ, што-ль? — взбѣленился было онъ, но одумался: коммерческій умъ его начинали тревожить серьезныя опасенія, возбужденныя поведеніемъ Трофима Кирилловича; онъ понялъ, что находится теперь въ рукахъ когда-то бывшаго покорнаго его слуги. Первое впечатлѣніе, произведенное на него встрѣчей съ нимъ, успокоило его самолюбіе, и если не разсѣяло, то значительно ослабило родившееся опасеніе. Трофимъ Кирилловичъ встрѣтилъ его съ почтительной покорностью, какъ и всегда; въ чисто прибранной горенкѣ его, на столѣ, накрытомъ скатертью, была приготовлена закуска. Жена хлопотала съ самоваромъ.

— Ты чего это, Трофимъ, никакъ дурѣть начинаешь, а?—строго спросилъ онъ, усаживаясь въ передній уголъ передъ столомъ, — аль ужъ я опостылъ, што ты и заглянуть съ пріѣзда-то не захотѣлъ ко мнѣ, а?

— Э-эхъ, Данила Ераклычъ, ты и не думай про меня этого. Дѣла-то, подь они къ Богу: совсѣмъ замотался съ ними, просто ни день, ни ночь вздыху не знаю! — жаловался тотъ, оправдывая свое отсутствіе.

— То-то, а я ужъ было и ни вѣсть чего надумалъ! — прервалъ онъ.

— И въ помыслѣ ничего не было... што ты это, Господь съ то-

бою! Да мнѣ-ль супротивъ тебя идти? а што къ тебѣ-то не пошелъ, а тебя теперича потревожилъ, такъ вѣдь и то надоть сказать, Данила Еракычъ, не все твою хлѣбъ-соль ѣсть; слава тѣ Господи, поѣли, пора и честь знать, и къ себѣ зазвать добрыхъ людей, а такъ-то бы ты когда-поди собрался, кабы не этотъ случай-то!

— Такъ ты вонъ это съ чего!.. ну, ну, я не спѣсивый! Вотъ, вишь, и у тебя въ гостяхъ, угошшай, коли такъ!—совсѣмъ уже успокоенный, самодовольно говорилъ онъ:—ну что, все ладно сошло, а? Говори скорѣй, не мучь!—торопилъ онъ.

— Такъ надоть сказать, што совсѣмъ слава Богу!

— Ну, и слава тѣ Господи! И деньги всѣ получилъ?

— Сполна, какъ есть! По моему счету, тысячъ шесть зашибли барыша-то, Данила Еракычъ!

— Шесть тысячъ!..—удивленно произнесъ онъ, вперивъ въ него глаза:—да што такъ мало?

— Какъ мало?— вѣдь это ужъ совсѣмъ чистыя Богъ послалъ!..

— Мало; я болѣ думалъ: я думалъ, тысячъ десять придетъ! Да ты вѣрно-ль считалъ?

— Не учиться, на этомъ и взросли!

Жена Трофима Кирилловича въ это время съ низкимъ поклономъ поднесла Данилѣ Иракліевичу рюмку краснаго вина и чашку чаю.

— Ма-ало!—въ раздумьѣ произнесъ онъ, принимая съ подноса и чай, и рюмку.—Экъ я вдругорядь и не возьмусь ни за што; хлопочи, убивайся съ утра до ночи, да есть изъ чего—за экое награжденье!—съ неудовольствіемъ ворчалъ онъ,—безъ мала, почесть, годъ возился, да я-бъ на эти деньги-то...

— По моему, и за энто бы благодаренье Господу!—прервалъ его Трофимъ Кирилловичъ.

— Эго за шесть-то тысячъ?—есть за што!

— Нѣшто не капиталъ?

— По-твоему—такъ, а по-моему—и связываться не стоило! Какъ я ихъ теперь долженъ распредѣлить? Вотъ поди и ты награжденья запросишь, а изъ чего... изъ чего, говорю, мнѣ дать энто-то награжденье? Чего я дамъ изъ шести-то тысячъ? энто и моего-то расходу не покроетъ...

Трофимъ Кирилловичъ, спрятавъ глаза въ окружающія ихъ морщины, пристально смотрѣлъ на него.

— Да вѣдь я говорю тебѣ, Данила Еракычъ, што вѣдь это барышъ ужъ, барышъ,—снова повторилъ онъ,—тѣ, што мы израсходовали, само-собой воротились!

— Все-таки мало, не покроетъ! Ты почемъ знашь, какіе исшо у меня расходы былп? можетъ, у меня ихъ на двадцать тысячъ было. Гдѣ они, деньги то, давай-ко я исшо самъ провѣрю,—можетъ, и просчетъ гдѣ ни па есть.

— Вѣрно сосчитаны и провѣрять нечего!

— Твои они, што-ль, стоишь-то за нихъ такъ?—грубо спросилъ онъ. — Я хозяинъ-то, коли говорю давай, такъ ты и должонъ безъ слова выложить!

— А по-моему, такъ они не твои, Данила Еракычъ, а общія.

— Съ чего ты взялъ общими-то ихъ считать?—изумленно спросилъ онъ,—нѣшто ты клалъ въ нихъ чего?

— По совѣсти-то говоря, такъ не мало и моихъ!

— Твоихъ?

— Такъ точно!

— Трофимъ... ты што-жъ это: никакъ и ты забылся, а?..

— И въ помышленіи не было, Данила Еракычъ, а говорю только, какъ оно на дѣлѣ было. Половина хлѣба, почесть, закуплена на мои деньги. Свои деньги я и Вешнякову, и Пруткову, и Иволгину задавалъ; нѣшто каждый изъ нихъ хлѣба-то только на тѣ 200 рублевъ поставилъ, што ты далъ имъ? Ты вотъ, Данила Еракычъ, говоришь же, што убивался, убивался съ утра до ночи въ хлопотахъ, а какія твои-то хлопоты были?—только будто съ лежанки на сундукъ перейти, а съ сундука на лежанку. А што я ни день, ни ночь покою не зналъ, загонялъ въ разъѣздахъ-то всю скотину свою, сколько разъ въ городъ ѣздилъ, проживался все изъ своего кармана, такъ пошто-жъ ты этого ничего не считаешь?.. Стало быть, твоего тутъ, Данила Еракычъ, совсѣмъ немного, будто залоги одни... ну и возьми ихъ, они твои! А ужъ энти деньги, Данила Еракычъ, не погнѣви на меня, за все мое утружденье и какъ, стало быть, за всю мою службу тебѣ... я себѣ возьму, тебѣ и считать ихъ нечего! — твердымъ и рѣшительнымъ тономъ, въ которомъ не слышалось и тѣни прежняго подобострастія, отвѣтилъ Трофимъ Кирилловичъ.

Данила Ираклiевичъ сидѣлъ какъ оглушенный громомъ. Нѣсколько разъ ротъ его раскрывался, какъ бы желая произнести что-нибудь, но видно еще парализованный неожиданностью умъ не нашелъ соотвѣтствующаго положенію его слова.

— Да што-жъ винца-то не пригубишь, Данила Еракычъ? — съ ироніей произнесъ Трофимъ Кирилловичъ,—я вѣдь за всю твою хлѣбъ-соль... отъ чистаго сердца... не погнушайся... я то-исъ завсегды...

— Такъ ты звона какъ, за все то мое довѣріе, за добро-то мое

платишь!—качая головой, и надорваннымъ голосомъ прервалъ Данила Ераклiевичъ,—вѣдь это ты што-жъ затѣялъ, грабежъ?

— Зачѣмъ ты экія-то слова, Данила Еракычъ, говоришь? — укоризненно отвѣтилъ тотъ,—гдѣ-жъ онъ, грабежъ-то?

— Ты... ты... вѣдь воръ опосля того!

— Оборони Господи!

— Ты... ты што-жъ это со мной-то дѣлашь? —продолжалъ онъ дрожащимъ голосомъ, то блѣднѣя, то краснѣя, — ты въ гробъ меня уложить хошь, а?.. въ гробъ?

— И въ помышленіи не было: живи, Господь съ тобой, што ты это? на свѣтѣ всѣмъ мѣста будетъ, я тѣ не помѣха!—снова съ ироніей отвѣтилъ онъ, успокоивая его.

— Трофимъ!

— Чего-съ?

— Погляди ты на меня... въ глаза-то мнѣ!

— Я завсе, Данила Еракычъ, съ моимъ удовольствіемъ... што-жъ... особливо, какъ за всю вашу хлѣбъ-соль...—отрывисто говорилъ онъ, смотря, повидимому, прямо на него спрятанными въ морщинахъ глазами.

— Ты... ты, можетъ, пошутилъ это, а? — тѣмъ надрывающимся отъ слезъ, но заискивающимъ голосомъ спросилъ Данила Ираклiевичъ, какимъ часто спрашиваютъ дѣти и женщины, не желая вѣрить печальному извѣстію, хотя въ душѣ они и увѣрены, что это вовсе не шутка, а правда.

— Нѣшто дѣломъ-то шутятъ, Данила Еракычъ?—серьезно спросилъ Трофимъ Кирилловичъ;—стало быть, и ты пошутилъ, сказамши, што тебѣ и подѣлить не изъ чего за мое утрудненье, а?

— Пошутилъ, Трофимъ, ей-Богу, это пошутилъ... дай, молъ, чего будетъ! Я съ тобой подѣлю, — только съ тобой, слышь, болѣ ни съ кѣмъ! Вѣдь это, Трофимъ, а-а-ахъ, вѣдь это кровное мое, не обидь ты меня, старый вѣдь я человѣкъ-то!..

— Я и не обижу, а энто, по-моему, ближай обида, што вы таперича видѣли, какъ человѣкъ убивается за вашу прибыль — можно сказать, не токма своихъ крохъ аль животины, души-то не щадилъ: сколькой годъ всѣмъ вашимъ дѣломъ орудовалъ, помыкали вы, значитъ, мной, какъ послѣднимъ батракомъ: и туда поди, Трофимъ, и въ другое мѣсто съѣзди! Што-жъ вѣдь, я не рабъ вашъ! Дѣлалъ вамъ все, а жалованья не получалъ. А сколько вы изъ-за меня прибытковъ-то имѣли, во всю то мою службу, а вѣдь ни разу не сказали, дай-де награжу... и я-то спроста не просилъ, все думалъ: ну, пороблю, пороблю,

авось человѣка и совѣсть возьметъ — заплатитъ... ну, вотъ и заплатите!

— Я заплачу, Трофимъ, я тыщу тебѣ дамъ... ну, Богъ ужъ съ тобой, коли ты меня, старика....

— Тыщей-то не стоитъ и рукъ пачкать!—глядя въ сторону отвѣтилъ онъ,—я вамъ, почесть, десять лѣтъ служилъ, мыкался; по 600 рублей въ годъ положьте, вотъ и шесть тысячъ, а я, можетъ, каждый годъ прибыли-то приносилъ вамъ не на двѣ, не на три тыщи,—такъ это и не въ счетъ по-вашему?

— А кто усчастливилъ-то тебя, Трофимъ, а? по чьей ты милости старшиной-то сидишь, о-опомнись!

— Обчество посадило, да Клименъ Иванычъ, такъ полагаю...

— Обчество-о?.. Посадило бы тебя обчество, коли-бъ я коня не свелъ!.. Кого обчество-то садило, забылъ развѣ, а? Тебя нѣшто?

— Не мое это дѣло...

— Не твое? Не за тебя-ль я дары-то дарилъ, хлопоталъ, убивался; мало тебѣ, а?

— Свою охоту тѣшили: я не просилъ даровъ-то раздаривать и отъ старшинъ-то крестомъ и пестомъ отмаливался; вы-жъ упрашивали—служи, да служи, такъ чѣмъ же тутъ оно попрекать-то?

— А-а-ахъ, Трофимъ, Трофимъ! забылъ ты нѣшто, какъ руки-то мои цѣловалъ, отцомъ-то кликалъ, а?

— Я и теперь... я и завсе... то-исть... съ моимъ удовольствіемъ.— Да што-жъ вы хоша бы чайку-то аль винца-бъ...

— Трофимъ, отдай ты мнѣ мое-то... — плача говорилъ Данила Иракліевичъ, утирая глаза клѣтчатымъ платкомъ.

— Денежка счетъ любитъ, Данила Еракычъ.

— Мое... вѣдь... это кровное... не грабь ты меня, есть ли у тебя Богъ-то?

— Вы бы себя спросили наперво, Данила Еракычъ, у васъ-то онъ есть ли?—покраснѣвъ, какъ кумачъ, заговорилъ онъ,—не вы-ль бѣдность-то зорите, да помыкаете ей, да ругаете ее, такъ неужъ вы-то Бога помните? Мало рази вы народу-то пустили по міру, опомнитесь-ка? Што я свое беру отъ васъ за всю свою службу, такъ у меня Бога нѣтъ! А што вы помыкали мной, да ругались, да не придержи я энтихъ денегъ, такъ, стало быть, послѣднія бы мои крохи отжилили, такъ у васъ и Богъ есть? Не вы-ль таперича, Данила Еракычъ, уговаривали меня обмануть хоша бы того же Вешнякова, Пруткова, да Иволгина за то, што они объ вашемъ же дѣлѣ радѣли, такъ это ничего-о?.. Такъ, стало быть, я и себѣ долженъ былъ эту же участь про-

видѣть. Ну, я только, значитъ, первѣй всѣхъ опомнился... оно и чище дѣло... оно, стало быть, и квитъ... А за вашу хлѣбъ-соль я то-исъ и завсегды съ моимъ удовольствіемъ!

Данила Иракліевичъ не выдержалъ и заплакалъ горькими слезами, — заплакалъ въ первый разъ въ жизни. Родные не узнали его, когда онъ возвратился домой отъ Трофима Кирилловича. Лицо его осунулось, глаза потускли; шатаясь, добрался онъ до лежанки и молча упалъ на нее. Болѣе недѣли хворалъ онъ и, оправившись, поѣхалъ въ городъ съ жалобой и съ просьбой о заступничествѣ къ Шлепфельду. Но не помогъ ему и Шлепфельдъ, какъ ни уговаривалъ Трофима Кирилловича честно раздѣлаться съ своимъ патрономъ. Онъ не только остался при своемъ, но совсѣмъ отперся отъ всякаго барыша. Онъ возвратилъ ему только залоги, да деньги, причитавшіяся за хлѣбъ, поставленный изъ его запаса; точно такъ же онъ поступилъ и съ компаньонами, кромѣ Вешнякова, на котораго разсчитывалъ въ будущемъ болѣе всѣхъ. Подалъ Данила Иракліевичъ и просьбу, а вслѣдъ за нимъ и Дарья Семеновна Иволгина, обманутая въ своихъ надеждахъ, завела ожесточенную тяжбу, но и ей, и Данилѣ Иракліевичу было отказано, по неимѣнію документальныхъ доказательствъ. Много произвела смѣха и говора въ средѣ крестьянъ исторія разорившихся кулаковъ. Горько жаловался Данила Иракліевичъ на неблагодарность Трофима, поздно вспоминая правдивыя рѣчи Тарасова, умершаго въ тотъ же годъ, но въ тайнѣ онъ все-таки сожалѣлъ о „своемъ Трофимѣ“. Съ отсутствіемъ этого дѣятельнаго сотрудника дѣла его пошли все хуже и хуже. Зато разцвѣлъ и усилилъ свои обороты Трофимъ Кирилловичъ. „Плутъ, плутъ, но умный плутъ!“ — отзывался о немъ Шлепфельдъ, и ничего не могъ сдѣлать съ нимъ, несмотря на громкій, годъ отъ году возвышавшійся, ропотъ и жалобы крестьянъ, поздно почувствовавшихъ на себѣ желѣзную и крайне нечистую руку изворотливаго старшины и съ тяжелыми вздохами вспоминавшихъ честнаго и правдиваго Егора Семеновича.

*PB-00476-SB
5-29

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Умалишенный. (Психологическій этюдъ) 1
Поскотникъ. (Разсказъ). 25
Паутина. (Сцены) 53
Послѣднее прости. 192
Кающійся. (Очеркъ). 196
Яшникъ. (Очеркъ) 211
У перевоза. 229
Куда ни кинь—все клинъ. (Сцены). 242
Зажора. (Разсказъ) 280
Юровая. 308
Горная идиллія. (Очеркъ). 370
Крестьянскіе выборы. 418

Stanford University Libraries
3 6105 124 450 904

PG
3467
N26
1897
v.1

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

NOV 2 3 1990